



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все заметки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

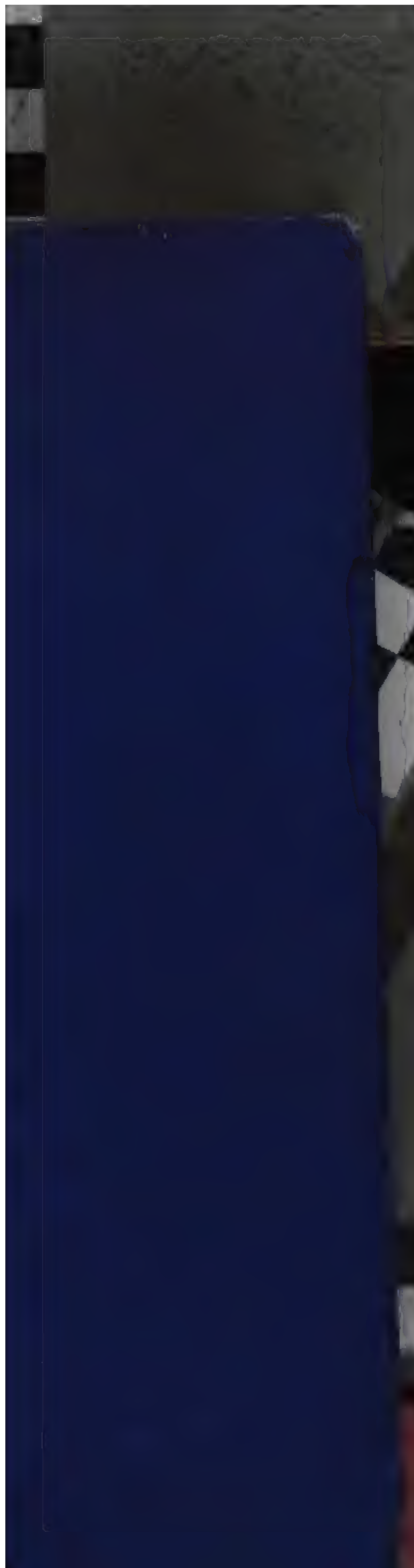
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

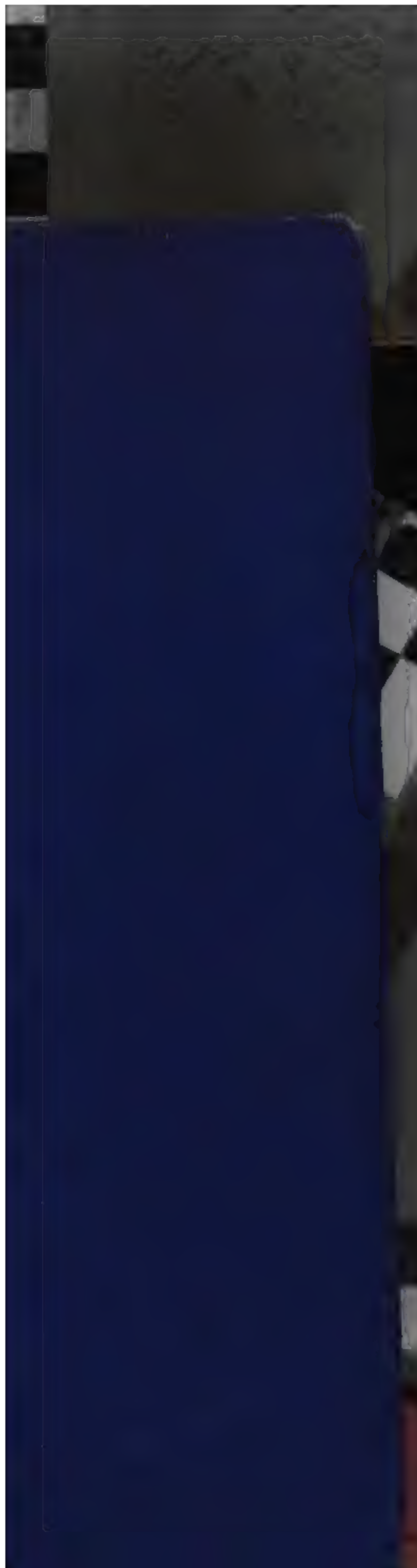
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





Включено
в
каталог

1959



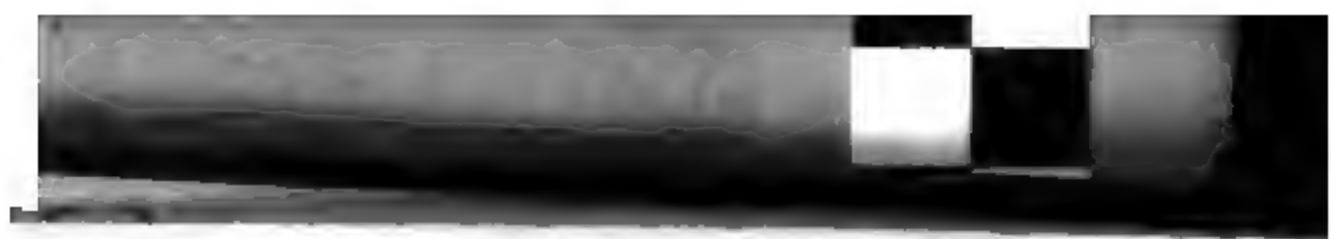
ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

85612



K/66/2594





Et

—

Н. СТРАХОВЪ.

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

ВЪ

НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ

ИСТОРИЧЕСКІЕ И КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

ВНИЖКА ВТОРАЯ

издание 2-е

Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.—Роковой вопросъ.—Наша культура и всемірное единство.—Дарвинъ.—Полное опроверженіе дарвинизма.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

REF ID: A58758

млад. Лисава, 3

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія брат. Пантелеевых. Казанская ул., д. № 35.
1890.

Y.

ИЮН 1936 г.

ИЮЛ 1939

Того-же автора:

Замѣтки о Пушкинѣ и другихъ поэтахъ. Сиб. 1888.

О вѣчныхъ истинахъ (жой споръ о спиритизмѣ). Сиб. 1887.

Объ основныхъ понятіяхъ психологіи и физиологіи. Сиб. 1886.

Критическія статьи объ М. С. Тургеневѣ и Л. Н. Толстомъ. (1862—1885). Изданіе 2-е. Сиб. 1887.

Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. Книжка первая. Изданіе 2-е. (Герцекъ.—Мизъ.—Парижская коммуна.—Реманъ.—Историкъ безъ принциповъ.—Штраусъ.—Поминокъ по Н. С. Аксаковѣ). Сиб. 1887.

Миръ какъ цѣлое. Черты изъ науки о природѣ. Сиб. 1872.

Бѣдность нашей литературы. Критическій и историческій очеркъ. Сиб. 1887.

О методѣ естественныхъ наукъ и значеніи ихъ въ обществѣ образованіи. Сиб. 1885.

PG 2975

S75

1887

V.2

1948

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе ко второму изданію	стр. VII
Предисловіе къ первому изданію	XX
I. Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова (1873)	1
Глава 1. Задача исторіи литературы. Исторія, какъ судъ потомства.—Исторія, какъ изображеніе прогресса.—Писатели, какъ самостоятельныя явленія.—Народный духъ.—Слова Дройзена.—Значеніе исторіи литературы	1
Глава 2. Самобытность въ ходѣ нашей литературы. Точка зрѣнія самобытности.—Ломоносовъ и его ода.—Ложноклассическая эпоха.—Мнѣніе Шербюлье.—Наша слава и нашъ восторгъ.—Нашъ литературный языкъ.—Равенство съ Европою.—Карамзинъ и Жуковский.—Вѣра въ свою литературу.—Пушкинъ и его борьба съ чужимъ.—Побѣда. . . .	11
Глава 3. Связь литературы съ вѣкомъ и народомъ. Литература—не особый организмъ.—Общіе корни явленій.—Связь между вѣкомъ и писателемъ.—Недостатокъ у насъ исторіи.—Ясныя черты связи.—1812 годъ.—Батюшковъ въ Парижѣ.—Вѣра въ себя.—Пушкинъ.—«Клеветникамъ Россіи».—Гоголь и Императоръ Николай	22
Глава 4. Ломоносовъ и Карамзинъ. Ломоносовъ и Петръ Великій.—Поэтический и ученый подвигъ Ломоносова.—Его поэзія.—Отзывъ Пушкина.—Карамзинъ и Екатерина.—Космополитизмъ и народность.—Сентиментальность.—«Исторія Государства Россійскаго»	33
Глава 5. Движеніе литературы въ прошлое царствованіе. Возбужденіе, начавшееся въ 1856 г.—Отвлеченныя идеи.—Идея матеріальнаго благосостоянія.—Ея безспіе.—Сила нравственныхъ идей.—Отрицаніе искусства.—Красота природы.—Любовь.—Пакостныя понятія.—Правило художника.	44

	стр.
II. Письма объ нигилизмѣ (1881)	61
Письмо 1. Наша слѣпота.—Трудность взвѣшенія.—Исторія.—Простой народъ.—Гдѣ источникъ зла?—Личныя побужденія.—Племенная ненависть.—Нигилизмъ.—Порокъ въ домѣ.—Реальная злоба.—Трансцендентальный грѣхъ . . .	61
Письмо 2. Гордость.—Презрѣніе.—Ненависть.—Самохолодство.—Долгъ и самопожертвованіе.—Проповѣдь и ея оіаско.—Бездарность и ложь.—Злодѣйство.—Безсердечіе.—Молодость.—Распространеніе заразы.—Непоследовательность.—Гордость просвѣщеніемъ.—Самостоятельное мышленіе.—Политическое честолюбіе.—Политическія преступленія.—Бѣдствія впереди	76
Письмо 3. Шаткость всѣхъ понатій.—Вѣковѣчныя начала.—Счастливое время.—Мечтательность и дѣйствительность.—Новое божество—прогрессъ.—Внутреннее противорѣчіе.—Жажда страданія.—Замѣна религіи.—Идеальная потребность.—Цѣль освящаетъ средства.—Неизбѣжныя бѣдствія	90
Письмо 4. Истинное просвѣщеніе.—Прогрессъ.—Современная нравственность.—Добродѣтели времени упадка.—Расправленіе эгоизма.—Блаженныя нищіе.—Ненависть.—Проповѣдь борьбы.—Слова В. Гюго	100
Заключеніе	109
III. Роковой вопросъ (1863)	111
Письмо въ редакцію «Московскихъ Вѣдомостей»	129
Письмо М. Н. Баткова	134
Письмо къ редактору «Дня»	136
IV. Рядъ статей о русской литературѣ (1864) . .	147
Статья 1. Переломъ	147
Статья 2. Воздушныя явленія	176
V. Герценъ о Парижѣ и старой Польшѣ (1867) .	209
VI. Наша культура и всемірное единство (1888).	218
I. Обвиненія	222
II. Начало народности	227
III. Человѣчество какъ организмъ	234
IV. Естественная система въ исторіи	241
V. Объединители	250
VI. Общая сокровищница	260

	стр.
VII. Религія и наука	265
VIII. Научная самобытность	271
IX. Упреки и сомнѣнія	282
VII. Послѣдній отвѣтъ г. Вл. Соловьеву (1889) .	287
VIII. Дарвинъ (1872—73)	305
Глава 1. Переворотъ въ наукѣ. Неожиданный успѣхъ.—Ученый ареопагъ.—Авторитетъ Кювье.—Движеніемъ ума за- прзвляеть сердце.—Ходъ философскихъ ученій.—Сила фантастическихъ понятій.—Ученіе Кювье о постоянствѣ видовъ.—Теорія Дарвина.—Отрицаніе явленій.—Главное возраженіе противъ Дарвина.—Естественная смерть.—Европейскій нигилизмъ.—	305
Глава 2. Послѣдователи и противники. Путаница въ умахъ.—Геккель.—Механическое объясненіе происхожденія видовъ.—Роста и наслѣдственности не объясняетъ Дарвинъ.—Цѣлесообразность.—Слова Гельмгольца.—Агасизъ.—Бэръ.—Замѣтка о переводахъ.	330
IX. Полное опроверженіе Дарвинизма (1887) .	342
I. Н. Я. Данилевскій	342
II. Безпристрастіе	350
III. Схема теоріи и ея критики	356
IV. Псевдозволюція и псевдотелеологія	363
V. Анализъ теоріи	367
VI. Наслѣдственность	372
VII. Естественный подборъ	375
VIII. Искусственный подборъ	380
IX. Телеологія	389
X. Борьба за существованіе	395
XI. Морфологическій принципъ	403
XII. Упадокъ научнаго духа и эстетическаго пониманія . . .	411
X. Всегдашняя ошибка дарвинистовъ (1887) .	418
I. Начало полемики	418
II. Мои затрудненія	421
III. Возможность и дѣйствительность	428
IV. Книга природы	432
V. Стереотипъ	438
VI. Примѣръ сирени	442
VII. Нѣчто объ открытіяхъ	448
VIII. О сохраненіи всего въ природѣ	454

	стр.
IX. Скрещиваніе	458
X. Ограниченіе скрещиванія	470
XI. Всегдашняя ошибка	476
XII. Значеніе численности	487
XIII. Слѣпая природа	498
XIV. Заключение	508
XI. Сужденіе Андр. С. Фаминцына о „Дарвинизмѣ“	
Н. Я. Данилевскаго (1889)	515
I. Научное достоинство «Дарвинизма»	516
II. Религіозный вопросъ	519
III. Безпристрастіе	527
IV. Самобытныя достоинства «Дарвинизма»	531
XII. Споръ изъ-за книгъ Н. Я. Данилевскаго (1889).	542
I. Общій ходъ и характеръ спора	542
II.	551
III.	554
IV. Какъ меня бранятъ	558
V. Опроверженіе теоріи изъ ея защиты	560

Предисловіе къ настоящему изданію.

Большая часть этого новаго изданія 2-й книжки занята статьями, которыхъ не было въ первомъ изданіи. Послѣ очерка *Ходъ нашей литературы* и *Писемъ объ нигилизмѣ*, вполне примыкающихъ къ этому очерку, здѣсь помѣщена давнишняя статья *Роковой вопросъ* и цѣлый рядъ статей, писанныхъ тогда же для разъясненія и оправданія этой статьи, но не появившихся въ печати вслѣдствіе тогдашнихъ цензурныхъ обстоятельствъ. Если я рѣшился теперь просить вниманія читателей къ этимъ старымъ своимъ писаніямъ, то лишь потому, что въ нихъ изложены взгляды, вполне сохраняющіе для меня ту самую цѣну, какую имѣли тогда, почти тридцать лѣтъ назадъ. Съ великимъ удовольствіемъ я нахожу, что мои тогдашнія мысли ничуть не расходятся съ ученіемъ, которое потомъ такъ блистательно развилъ Н. Я. Данилевскій. Еще недавно одинъ изъ нашихъ мыслителей постарался представить славянофильство и его исторію въ какомъ-то загадочно-нелѣпомъ видѣ. Между тѣмъ, славянофильство имѣетъ крѣпкую внутреннюю логику, и эта логика неизбѣжно приводитъ къ однимъ и тѣмъ же понятіямъ всякаго, кто не только примкнулъ къ этому направленію, но и трудится мыслью надъ уясненіемъ его себѣ. Какъ естественная реакція своеобразнаго русскаго развитія противъ увлекающаго и подавляющаго вліянія Европы, славянофильство

въ зачаточныхъ и неясныхъ, хотя иногда и рѣзкихъ, формахъ обнаруживается съ незапамятныхъ временъ, съ той самой поры, какъ началось это вліяніе. Потомъ, по мѣрѣ пробуждающихъ сознаніе событій и по мѣрѣ умственного роста Россіи, славянофильство стало проявляться все сознательнѣе и опредѣленнѣе, такъ что его великая идея, къ удивленію нашихъ западниковъ, считавшихъ ее за выдумку нѣсколькихъ несуразныхъ чудаковъ, пріобрѣла у насъ уже не мало твердости, уваженія и распространенія. У нея есть уже цѣлая литература, и какая литература! Западническіе мыслители несомнѣнно уступаютъ ей, не по объему, а по достоинству своихъ писаній. Очевидно, это идея органическая, растущая и раскрывающаяся своею внутреннею силою. Мыслящіе люди обязаны приводить къ сознанію себѣ и другимъ это раскрытіе, давать выраженіе и силу существеннымъ чертамъ идеи и освобождать ихъ отъ всякихъ чуждыхъ примѣсей и уродливыхъ односторонностей. Въ настоящее время у насъ явилось довольно много консерваторовъ, монархистовъ, защитниковъ православія, націоналистовъ, самобытниковъ и т. п. Но огромное большинство ихъ руководится только инстинктивнымъ чувствомъ, и если у иныхъ это чувство вполне чистое, то сколько такихъ, у которыхъ оно искажено или вовсе замѣщено горячимъ своекорыстіемъ! Между тѣмъ, думать и учиться никто не хочетъ, и если кто умствуетъ и пишетъ, то хватается за что попало для подтвержденія своихъ мнѣній и вожделѣній, и такимъ образомъ часто только пачкаетъ свѣтлую идею всею грязью своего невѣжества и дурнаго сердца. Поэтому, нѣтъ заботы болѣе настоящей, какъ разъясненіе истинныхъ славянофильскихъ понятій, которыхъ высоты, ширины и твердости многіе и не подозреваютъ. Только такое разъясненіе можетъ дать смыслъ и устойчивость нашему патріотизму и консерватизму, обыкновенно вспыхиваю-

щему въ отдѣльныхъ случаяхъ и потомъ гаснущему безъ всякаго слѣда въ умахъ. Поэтому, нельзя не считать великимъ счастіемъ послѣднихъ лѣтъ — быстрое и широкое распространеніе книги *Россія и Европа*. Эта книга принадлежитъ къ числу тѣхъ, которыя *покоряютъ* себѣ читателей, а по своей ясности и строгости она прочно устанавливаетъ въ умахъ опредѣленные понятія.

Въ „Роковомъ вопросѣ“ дѣло идетъ о судьбахъ одной изъ нашихъ иноплеменныхъ окраинъ. Наше общее отношеніе къ инородцамъ, кажется, достаточно извѣстно. Ко всякому племени и ко всякому человѣку русскій человѣкъ относится съ чувствомъ дѣйствительнаго равенства и братства, и такое настроеніе нашего народнаго духа обнаруживается на всемъ протяженіи нашей государственной исторіи.

Были у насъ совершаемы въ отношеніи къ инородцамъ несправедливости и жестокости, но никогда не было систематическаго и злостнаго отверженія, и сами татары не могли бы сказать, что мы ихъ чуждались послѣ того, какъ свергли ихъ иго и утвердили свою власть надъ ними. Русская исторія въ этомъ отношеніи не похожа на исторію Европы и ея старшей дочери Америки; у насъ не было ничего подобнаго поголовнымъ истребленіямъ чужихъ племенъ, или торговлѣ неграми и ихъ невольничеству, даже ничего подобнаго непрерывному угнетенію Ирландіи. Напротивъ, мы можемъ указать примѣры, что инородцамъ были даруемы такія щедрыя льготы и даже преимущества, которыя странно противорѣчили общему государственному строю.

Что касается до инородныхъ окраинъ, то, подъ могущею охраною Россіи, онѣ спокойно процвѣтаютъ, и конечно, не довелось бы имъ такъ жить при другихъ обстоятельствахъ. Но тутъ встрѣчается особый элементъ, нарушающій иногда равновѣсіе. Въ нѣкоторыхъ окраинахъ культура выше

по развитію, чѣмъ русская культура, и эта разница составляетъ постоянный источникъ раздраженія для подвластнаго племени. Понятно, что съ русской стороны тутъ можетъ быть только одна забота, — возвысить и развить свою собственную культуру; чѣмъ усерднѣе мы будемъ это дѣлать, тѣмъ успешнѣе, съ каждымъ своимъ шагомъ впередъ, будемъ сглаживать и указанный разладъ. Впрочемъ, въ области этихъ отношеній, мы, кажется, можемъ не ограничиваться одними надеждами. Культуры болѣе старыя часто упорно сохраняютъ въ себѣ инныя уже отжившія черты, и нельзя не видѣть, что русская власть дѣйствуетъ благотворно, живительно, когда вводитъ порядки, устраняющіе это наслѣдственное зло; къ такимъ дѣйствіямъ принадлежатъ: устройство польскихъ крестьянъ, отмѣна старыхъ судовъ въ остзейскомъ краѣ, и т. д. Дай Богъ, чтобы современемъ исцѣлились и отрезвѣли тѣ польскіе умы, которые заражены къ намъ враждою; мы, русскіе, уже не разъ доказывали, что, будь только поляки искренно готовы къ сердечному примиренію, за нами дѣло не станетъ.

Кстати, исправлю здѣсь ошибку, которую сдѣлалъ въ *Воспоминаніяхъ* объ *Θ. М. Достоевскомъ*, гдѣ мною рассказана вся исторія злополучнаго „Роковаго вопроса“ *). Тамъ я высказалъ такое предположеніе: „Замѣткѣ *Русскаго Вѣстника* слѣдуетъ, кажется, приписывать и то, что никого изъ насъ больше не трогали, и то, что черезъ восемь мѣсяцевъ *М. Достоевскому* дозволено было начать новый журналъ“ (стр. 256). Вскорѣ послѣ появленія *Воспоминаній* встрѣтился со мною *М. Н. Туруновъ*, (недавно скончавшійся), занимавшій въ 1863 г. одно изъ главныхъ мѣстъ въ цензурѣ; онъ объяснилъ мнѣ, что догадка моя

*) «Воспоминанія» помѣщены въ 1-мъ томѣ *Сочиненій Θ. М. Достоевскаго*, изданіе 1883 г. См. о *Роковомъ вопросѣ* стр. 245—258.

совершенно неправильна. „Катковъ“, говорилъ онъ, „дѣйствительно хлопоталъ за васъ и за вашъ журналъ чрезвычайно усердно; но Валуеву *) тогда былъ въ высшей степени противенъ духъ, въ которомъ писалъ Катковъ, такъ что, чѣмъ усерднѣе хлопоталъ Катковъ, тѣмъ упорнѣе противился Валуевъ и не давалъ хода вашему дѣлу; мнѣ все это было совершенно хорошо извѣстно. Прочитавши ваши „воспоминанія“, я искалъ случая сообщить вамъ, какъ было дѣло“.

Конечно мы, т. е. братья Достоевскіе и я, въ 1863 г. не имѣли объ этомъ никакого понятія и только удивлялись, что цензура, уже убѣдившаяся въ своей ошибкѣ, продолжала ставить намъ затрудненія.

Вторая половина этой книжки почти вся занята полемикою изъ-за *Россіи и Европы* и *Дарвинизма*. Очень жаль, что для иныхъ форма полемики закрываетъ сущность дѣла; но правильная полемика чрезвычайно занимательна для всякаго, кто ищетъ точныхъ понятій и потому старается строго отличить мысль, признаваемую имъ за истину, отъ другихъ мыслей о томъ же предметѣ. Въ полемикѣ я старался выбирать не самыя больныя мѣста противниковъ, а самыя существенныя стороны дѣла. Поэтому я многое опускалъ; такъ, напримѣръ, мною были оставлены безъ отвѣта возраженія противъ существованія двухъ отдѣльныхъ культурно-историческихъ типовъ, *греческаго* и *римскаго*, указанныхъ Н. Я. Данилевскимъ. Возражатель отрицалъ ихъ раздѣленіе въ исторіи и потомъ упрекалъ меня за умолчаніе о такомъ

*) П. А. Валуевъ былъ тогда министромъ внутреннихъ дѣлъ, и цензура только что была переведена въ его министерство изъ министерства нар. просв.

важномъ возраженіи. Между тѣмъ, этотъ же возражатель постоянно проповѣдуетъ о необходимости соединенія церквей, изъ которыхъ одна называется *Греко-Россійскою*, а другая *Римско-католическою*. Вотъ, значитъ, какъ далеко отразилось первоначальное существованіе двухъ особыхъ типовъ! Въ нашихъ мысляхъ мы легко соединяемъ самое разнородное; но въ дѣйствительности раздѣленіе часто имѣетъ силу неодолимую.

Вообще, я старался не только защитить теорію культурно-историческихъ типовъ, но отчасти и истолковать ея положенія, а также свойства самой книги *Россія и Европа*.

Отдѣлъ, посвященный теоріи Дарвина, состоитъ изъ моихъ старыхъ статей объ этой теоріи и изъ статей, истолковывающихъ книгу *Дарвинизмъ*. Все это вмѣстѣ взятое въ такой мѣрѣ разъясняетъ предметъ, что, по моему убѣжденію, читатель найдетъ здѣсь вполне достаточные аргументы, опровергающіе знаменитую теорію, а также полное руководство къ пониманію книги Н. Я. Данилевскаго.

Прошу извиненія у читателей за нѣкоторую рѣзкость въ полемикѣ; эта рѣзкость была невольна вызвана глубокою неправильностію въ настроеніи умовъ. Авторитетъ Дарвина разросся до чудовищности, до непоколебимаго суевѣрія. „Какъ?“ говорили намъ, „вы противъ Дарвина? Да развѣ можно опровергать Дарвина? Да развѣ нужно это дѣлать? Вѣдь это великій геній, равный Сократу, Копернику, Ньютону. Вы спорите противъ его положеній? Но это, должно быть только *гипотезы*, которыми онъ хотѣлъ подвинуть изслѣдованіе, а не что-нибудь утвердительное. Вы находите ошибки, нелѣпости? Но, должно быть, все это надѣлали только неразумные послѣдователи, а никакъ не самъ Дарвинъ. Вы говорите о низменныхъ и скудныхъ началахъ? Помилуйте, Дарвинъ, должно быть, былъ про-

„никнуть самыми высокими началами, и вы, вѣроятно, не „поняли его глубокихъ взглядовъ“ и т. д. Такъ говорятъ люди, не знакомые съ дѣломъ; но и ученые, хорошо знающіе, что такъ говорить нельзя, питаютъ къ Дарвину, со своей, съ научной точки зрѣнія, такое же слѣпое благоговѣніе. Онъ представляется имъ образцомъ строгой и ясной методы, глубочайшимъ знатокомъ фактовъ, остроумнѣйшимъ и безупречнымъ логикомъ въ выводахъ.

Что же изъ этого выходитъ? Естественно, что дарвинисты смотрятъ на возражателей съ негодованіемъ и презрѣніемъ, не хотятъ вникать въ ихъ возраженія, да не обдумываютъ хорошенько и своихъ отвѣтовъ; естественно, что возражатели возмущаются противъ такого жестокаго предубѣжденія и хотятъ показать все легкомысліе этихъ высокомерныхъ выходокъ. Пусть не ошибается читатель, если найдетъ въ какихъ-нибудь моихъ замѣчаніяхъ, по видимому, что-то личное. Для личностей у меня не было ни повода, ни охоты: я хотѣлъ только вообще указать на ненормальную судьбу ученій, на силу предразсудковъ, на всѣ тѣ трудности, съ которыми приходится бороться, дѣйствуя въ мірѣ ума и науки. Увы! Ни успѣхи наукъ, ни обиліе ученыхъ, ни общее уваженіе къ знаніямъ — не ручаются намъ за то, что мы не попадемъ въ заблужденіе. Напротивъ, заблужденія нынче стали достигать иногда такого грандіознаго размѣра, что уберечься отъ нихъ труднѣе прежняго.

Впрочемъ, кажется, въ нашемъ вопросѣ дѣло идетъ къ концу. Съ истинной радостью могу указать здѣсь на рѣчь г. Тимирязева, „Факторы органической эволюціи“, произнесенную имъ на бывшемъ недавно съѣздѣ нашихъ натуралистовъ *).

*) *Дневникъ VIII-го Съезда русскихъ естествоиспытателей и врачей.* № 10. 8 Января 1890. Прибавленіе.

По моему убѣжденію, въ этой любонитной и важной рѣчи, авторъ, хотя онъ самъ думаетъ, что только *дополняетъ* теорію Дарвина, въ сущности дѣлаетъ уступку ея противникамъ, и притомъ такую уступку, которая, если вникнуть въ дѣло, ведетъ къ отказу отъ теоріи, къ полному ея отверженію.

Изложимъ дѣло вкратцѣ и, по возможности, словами самого автора. По его мнѣнію, органическая эволюція есть результатъ трехъ факторовъ: „среды—измѣняющей, *наслѣдственности*—усложняющей, и *отбора*—приспособляющаго, „организующаго, налагающаго на живыя формы ту печать „совершенства, которая представлялась назойливой загадкой „съ той минуты, какъ человѣкъ началъ мыслить“.

Совмѣстное дѣйствіе этихъ факторовъ излагается слѣдующимъ образомъ: „Несомнѣнно, что среда измѣняетъ организмы. Также несомнѣнно, что *наслѣдственность* *накопляетъ* эти измѣненія,—усложняетъ организмы. Но напрасно „пытались бы мы въ этихъ двухъ факторахъ, взятыхъ порознь или вмѣстѣ, искать разгадки основнаго свойства организмовъ—ихъ цѣлесообразныхъ приспособленій“. „Совершается то сочетаніе безграничной производительности и неумолимой критики, которое мы иносказательно „называемъ естественнымъ отборомъ“ (стр. 17).

Уступка, которую мы находимъ въ этомъ взглядѣ, состоитъ въ томъ, что *среда* и *наслѣдственность* здѣсь признаются самостоятельными факторами, т. е. такими, которые независимо и существенно дѣйствуютъ въ опредѣленіи органическихъ формъ. Дарвинъ этого не признавалъ; онъ отрицалъ и значеніе внѣшнихъ вліяній, и какую-нибудь закономерность въ *наслѣдственности*, и въ этомъ отрицаніи и состоитъ самая сущность его теоріи. Ибо онъ не хотѣлъ признавать никакого правильнаго и постояннаго процесса въ разви-

тіи организмѣвъ, который пришлось бы вѣдь признать вмѣстѣи источникомъ ихъ цѣлесообразности, а желалъ свести всю эту цѣлесообразность на естественный подборъ, зависящій отъ случайныхъ соотвѣтствій между измѣненіемъ организма и окружающими его обстоятельствами. Поэтому Дарвинъ принималъ неопредѣленную, всестороннюю, но непостоянную и мелкую измѣнчивость, какъ бы зыбкость организмѣвъ, зависящую отъ ихъ внутренней неустойчивости. Иначе вся выдумка естественнаго подбора ни къ чему бы не вела. Г. Тимирязевъ, перечисляя факторы развитія, не даромъ поставилъ на первомъ мѣстѣ среду, на второмъ —наслѣдственность, а отборъ— на третьемъ. Таковъ логическій ихъ порядокъ; формы организмѣвъ будутъ, очевидно, зависѣть отъ дѣйствія среды и законовъ наслѣдственности, а отбору, если онъ точно существуетъ, остается лишь третьестепенная роль; во всякомъ случаѣ уже нельзя будетъ навѣрное приписать ему ни одной черты ни въ одномъ организмѣ. У Дарвина, наоборотъ, все приписывалось подбору, и не было другаго фактора, опредѣляющаго и сохраняющаго черты органическаго строенія.

Развивая свою тему, авторъ рѣчи не говоритъ ни о подборѣ, ни о наслѣдственности, но останавливается на вліяніи среды и приводитъ новыя изслѣдованія по этому предмету, чрезвычайно любопытныя и важныя. Вопреки Дарвину, на опытѣ доказана зависимость между средою и извѣстными формами растеній. И тутъ мы встрѣчаемъ факты, которые показываютъ, что не только организмы подлежатъ закономѣрной, послѣдовательной измѣнчивости отъ вліянія среды, но что это вліяніе можетъ вызывать въ организмѣхъ, независимо отъ всякаго подбора, въ высшей степени *цѣлесообразныя* измѣненія. Мы видѣли, что г. Тимирязевъ, различая свои три фактора, прямо утверждаетъ, что дѣйствію среды ви-

какъ нельзя приписывать „основнаго свойства организмовъ,— ихъ цѣлесообразныхъ приспособленій“. Между тѣмъ, нѣсколько выше, онъ самъ же говоритъ слѣдующее:

„Самую опредѣленную фізіологическую функцію представляютъ ткани: такъ-называемыя *покровныя*, служащія *защитой*, одеждой растенія, и ткань *механическая*, служащая *ему твердымъ остономъ*“.

„Остановимся на приспособленіяхъ для защиты отъ вреднаго для растенія излишняго испаренія. Растеніе борется съ этимъ вредомъ, облекая листья кожицей съ утолщенными стѣнками клѣточекъ, состоящими притомъ изъ вещества непроницаемаго для воды. Средствомъ, умѣряющимъ дѣйствіе свѣта и вѣтра, является опушеніе поверхностей, доходящее иногда до образованія какъ бы бѣлаго войлока“. „Недавнѣе, крайне любопытныя опыты Кюля показываютъ, что всѣ эти приспособленія, въ значительной мѣрѣ, вызываются самымъ актомъ испаренія“. „Въ сухой атмосферѣ, при недостаткѣ воды въ почвѣ, растеніе сильно утолщаетъ стѣнки клѣтокъ своей кожицы и лежащихъ подъ нею тканей, а также обнаруживаетъ стремленіе къ образованію волосковъ, — словомъ вырабатывается типъ растенія приспособленнаго къ борьбѣ съ сухимъ климатомъ“. „Наоборотъ, воспитывая растеніе въ атмосферѣ насыщенной парами, получаемъ совершенно обратный типъ“.

„На смѣну кожицѣ, покрывающей молодые стебли, появляется, какъ извѣстно, пробка. Объ ней мы давно знаемъ, что ея образованіе можно вызвать по произволу на пораженныхъ мѣстахъ, но только недавнія обстоятельныя изслѣдованія Кюни показали несомнѣнно, что факторомъ, вызывающимъ образованіе пробки, должно считать кислородъ. Эти два приспособленія, кожица и пробка, выработанныя организмомъ для противодѣйствія испаренію, особенно любо-

„пытны въ томъ отношеніи, что представляются, такъ сказать, автоматическими. Сухость атмосферы и кислородъ воздуха сами создаютъ растенію оружіе для борьбы съ наносимымъ ими вредомъ. Очевидно, что въ связи съ этимъ основнымъ химическимъ свойствомъ растительной клѣтки находится самая возможность наземной растительности. Безъ этого простаго свойства, растеніе никогда не выбралось бы на сушу“ (стр. 15).

Конечно, все это въ высшей степени не согласно съ теоріей Дарвина, утверждающей, что *выгодныя* для организма измѣненія происходятъ въ немъ лишь случайно, лишь *попадаются* въ числѣ всяческихъ другихъ измѣненій (см. ниже стр. 526).

Но всего важнѣе то, что мы видимъ здѣсь на ясномъ примѣрѣ дѣйствительныя черты того удивительнаго процесса, который происходитъ въ измѣняющихся организмахъ. Внѣшнія вліянія, конечно, дѣйствуютъ слѣпо; по этому, когда говорится, что сухость воздуха и его кислородъ вредятъ растенію, но *сами же создаютъ ему оружіе для борьбы съ этимъ вредомъ*, то это лишь фигуральныя выраженія. Прямое же выраженіе факта состоитъ въ томъ, что растеніе на внѣшнія вліянія *отвѣчаетъ* извѣстнымъ измѣненіемъ, что оно утолщаетъ стѣнки своихъ клѣтокъ, производитъ волоски и т. д., словомъ, вырабатываетъ въ себѣ нужное приспособленіе. *Причины* этихъ измѣненій, очевидно, заключаются въ самомъ организмѣ, а внѣшнія вліянія суть только *поводы*, только *вызываютъ* дѣйствіе этихъ внутреннихъ причинъ. И, значитъ, мы самому организму должны приписать способность производить въ себѣ цѣлесообразныя измѣненія.

Но если такъ, если оказалось, что слѣпымъ напряженіемъ внѣшнихъ силъ вызывается нѣчто цѣлесообразное, то можно, пожалуй, принять и все строеніе организма, и даже прису-

щую ему психическую жизнь за нѣчто вызываемое, т. е. предположить, что все внутреннее развитіе совершается по какому-нибудь внѣшнему поводу. Лучи свѣта и волны звука сами по себѣ слѣпы и глухи и не могутъ произвести ничего подобнаго зрѣнію и слуху; но организмъ, обливаемый этими лучами и волнами, стремится ихъ видѣть и слышать и раститъ у себя глазъ и ухо съ ихъ удивительными приспособленіями. Точно такъ, въ отвѣтъ на всякія впечатлѣнія организмъ раждаетъ въ себѣ разнообразныя ощущенія, по поводу ощущеній возникаютъ въ немъ представленія и желанія, и т. д. Изъ неразумнаго не можетъ произойти разумное, изъ слѣпаго цѣлесообразное; вообще, нигдѣ въ развитіи мы не имѣемъ права предполагать, что высшее происходитъ изъ низшаго, какъ изъ своей основы и причины, и признавать это было бы также неправильно, какъ, видя человѣка поднимающагося по лѣстницѣ, думать, что причина его поднятія заключается въ лѣстницѣ, что лѣстница его поднимаетъ, а не его собственныя движенія. Но вездѣ мы можемъ предполагать, что низшее образуетъ въ организмѣ точку опоры, условіе для болѣе высокаго, составляющаго, однако, совершенно самобытное и новое проявленіе, слѣдовательно возникающаго въ силу нѣкотораго дѣйствительнаго творчества. Такъ и училъ великій натуралистъ Бэръ, указывая, что нужно „искать зиждительнаго начала въ каждомъ организмѣ“ (см. ниже, стр. 524); ту же мысль выразилъ и Н. Я. Данилевскій, говоря, что признавать подобный взглядъ на развитіе значитъ принять „теорію созданія, раздѣленнаго на темпы“ (ниже, стр. 486).

Спасти понятіе такого видимо проявляющагося творчества отъ попытки Дарвина, думавшаго, посредствомъ своей псевдотелеологіи и псевдоэволюціи, совершенно устранить это понятіе изъ разсмотрѣнія органическаго міра, — такова была

главная цѣль Н. Я. Данилевскаго. Въ тѣлесной сторонѣ организмовъ творчество обнаруживается въ томъ, что Н. Я. Данилевскій называлъ „морфологическимъ принципомъ“, въ стремленіяхъ, которыми управляются органическія формы со всѣмъ ихъ разнообразіемъ и развитіемъ. Анализируя и защищая „Дарвинизмъ“, я старательно показалъ, какъ всѣ разсужденія автора приводятъ его къ этому принципу, который и установленъ имъ съ большою твердостію и ясностію.

Въ заключеніе прибавлю нѣсколько словъ о своемъ отношеніи къ писаніямъ Н. Я. Данилевскаго. Читатель можетъ быть недоволенъ, что находитъ въ моей книгѣ не критику, т. е. не полное обсужденіе этихъ писаній, а только восхваленіе ихъ и защиту. Такая односторонность можетъ внушить недо-вѣріе, если не къ искренности, то къ твердости моихъ сужденій и къ ихъ самостоятельности. Но надѣюсь, дѣло будетъ говорить само за себя. Въ частности, относительно воззрѣній на организмы и вообще на природу, я не могу сказать, что во всемъ былъ согласенъ съ Н. Я. Данилевскимъ; между нами происходили бывало долгіе и горячіе споры, которые иногда приводили меня даже въ огорченіе. Только въ послѣдніе годы стали мы приходить къ значительному согласію. Но, что касается „Дарвинизма“, то не только задача этой книги и непобѣдимая сила ея точной и ясной аргументаціи, но и строгое исканіе правильныхъ понятій, и отчетливость сдержанныхъ выводовъ, внушили мнѣ истинное восхищеніе. Если бы я вздумалъ заявлять какое нибудь несогласіе, то оно относилось бы или къ мѣстамъ совершенно второстепеннымъ, или къ словамъ сказаннымъ мимоходомъ. Между тѣмъ, нужно было не то, требовалось говорить о главномъ содержаніи книги, излагать его и защищать. Такъ написались статьи,

ближайшая цѣль которыхъ—быть руководствомъ при чтеніи такого монументальнаго произведенія какъ „Дарвинизмъ“, и я почту себя за честь, если ихъ найдутъ пригодными для этой цѣли.

29 марта.

Предисловіе къ первому изданію.

Покорно благодарю читателей, такъ быстро раскупившихъ книжку, изданную мною въ прошломъ году. Предполагая, что многіе изъ нихъ были заинтересованы не только запретными именами Герцена, Ренана и пр., а и мыслями, которыя объ нихъ высказываются, предлагаю имъ новую книжку, составляющую дополненіе и продолженіе первой. Меня упрекали, что мало было сказано о значеніи Запада для нашей литературы взятой въ цѣломъ; въ статьѣ *Ходъ нашей литературы* читатель найдетъ взглядъ на это значеніе, проведенный по главнымъ литературнымъ періодамъ. Мнѣ говорили, что нужно было бы помѣстить статьи о *Фейербахѣ* и объ *нигилизмѣ*; исполняю это желаніе *). Остальныя статьи развиваютъ и продолжаютъ все ту же тему,—борьбу съ господствующими на Западѣ авторитетами и ученіями.

Такой важный предметъ, какъ обсужденіе западнаго просвѣщенія, и слѣдовательно, забота о правильности нашего соб-

*) Въ теперешнемъ изданіи выпущены статьи о *Фейербахѣ*, *Целлерѣ* и *Миллѣ*; предполагаю помѣстить ихъ въ другомъ сборникѣ.

ственного просвѣщенія—справедливо можетъ показаться читателямъ слишкомъ труднымъ и высокимъ, и потому возбудить недовѣріе къ моимъ силамъ. Какія у меня права братья за такіе вопросы и думать, что могу произносить объ нихъ вѣрныя сужденія? Но пусть читатели не останавливаются на этомъ естественномъ предубѣжденіи, а вникнуть въ мысли, которыя имъ предлагаются. Они увидятъ, что здѣсь нѣтъ смѣлыхъ обобщеній, новыхъ умозрительныхъ порывовъ, оригинальныхъ взглядовъ и попытокъ; напротивъ, я останавливаюсь на самыхъ простыхъ и твердыхъ точкахъ зрѣнія, на истинахъ очевидныхъ и извѣстныхъ, и только пробую болѣе правильно и логически приложить ихъ къ предмету. Въ такое мечтательное и смутное время, какъ наше, при той умственной зыбкости, которою мы, русскіе, отличаемся, при укоренившейся привычкѣ отдаваться безъ оглядки и на перегонку всякимъ чувствамъ и ученіямъ, не стоитъ ли, наконецъ, великая надобность позаботиться о трезвости и ясности въ мысляхъ? Вѣчные ученики Запада, мы избалованы обиліемъ чужаго ума, мы поглощаемъ его безъ разбора и не можемъ отвыкнуть отъ легкомыслія и непослѣдовательности. Отъ этого наше просвѣщеніе не только не исполняетъ высшихъ и глубокихъ своихъ задачъ, а явно грѣшитъ противъ самыхъ общихъ и элементарныхъ требованій. Сама европейская наука, если бы мы усвоивали не современныя ея увлеченія, а существенный ея духъ, основныя приемы, могла бы содѣйствовать намъ къ пріобрѣтенію умственной самостоятельности, и во всякомъ случаѣ, дать намъ опоры для сужденія о Западѣ, для пониманія упадка и внутренняго противорѣчія въ его жизни. Научный духъ заставилъ бы насъ вездѣ доходить до началъ, не уклоняться отъ выводовъ, не останавливаться на полдорогѣ, искать согласія между нашими понятіями, не принимать ничего на слово. Тогда бы мы легко убѣдились въ

глубокомъ противорѣчіи нашихъ русскихъ инстинктовъ съ наплывающими на насъ западными ученіями и ясно бы увидѣли ту *умственную анархію* Запада, которая очевидна уже для многихъ изъ самихъ европейцевъ и составляетъ столь же несомнѣнный фактъ нынѣшняго времени, какъ социализмъ, какъ динамитъ и игольчатые ружья.

Уже нѣсколько десятковъ лѣтъ, почти полвѣка, въ умственной жизни Запада явственно обнаружилось и все больше обнаруживается отсутствіе руководительныхъ началъ. Западъ живетъ нынче *безъ философіи*, то есть безъ такого высшаго научнаго взгляда, который бы ставилъ и рѣшалъ коренные вопросы знанія и бытія, и потому указывалъ бы цѣль и направленіе частнымъ научнымъ изслѣдованіямъ. Мало того, что Западъ живетъ безъ философіи, онъ теперь ненавидитъ философію, онъ неумоимо враждуетъ съ нею, преслѣдуя ее почти съ тѣмъ же фанатизмомъ, какъ религію.

Всего яснѣе намъ будетъ нынѣшнее положеніе умовъ, если мы сравнимъ его съ тѣмъ, какое бывало прежде, и даже очень еще недавно. Событія, происходившія въ исторіи философіи за послѣднія полтора столѣтія, чрезвычайно поразительны. Между тѣмъ какъ, въ прошломъ вѣкѣ, во Франціи и въ Англіи, то есть въ самомъ центрѣ тогдашняго просвѣщенія, получили полную силу скептицизмъ и матеріализмъ, Германія, на которую этотъ центръ смотрѣлъ еще съ большимъ высокомѣріемъ, была совершенно спасена отъ этого могущественнаго движенія отрицанія. Ее спасла и направила на другой путь философія, которая именно въ это время начала у нѣмцевъ самый блестящій циклъ своего развитія. Лейбницъ, Вольфъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель одинъ за другимъ господствовали въ умственномъ мірѣ Германіи, давали ей глубокоемысленное и высокое настроеніе, сдѣлали ее философскою школою всего образованнаго міра. Послѣд-

ній изъ этой цѣпи философовъ, Гегель, — казалось достигъ вѣнца всѣхъ усилій; онъ провозгласилъ полную реставрацію всѣхъ основъ религіозной, умственной и политической жизни, основъ, подвергавшихся такимъ жестокимъ колебаніямъ со времени возрожденія и реформаціи.

Какъ бы мы ни смотрѣли на эту мудрость, какое бы малое значеніе ни давали ей съ безусловной точки зрѣнія, мы должны признать, что она совершила дѣло удивительное: до половины оороковыхъ годовъ нашего вѣка, скептицизмъ и матеріализмъ не смѣли поднять головы въ Германіи, а потому стояли на заднемъ планѣ и во всемъ образованномъ мірѣ; во Франціи Кузенъ успѣлъ дать ходъ философской реставраціи, похожей на нѣмецкую; въ Англіи такіе люди, какъ Карлейль, Уэвель, и другіе почитатели нѣмецкаго идеализма, сдерживали туземный скептицизмъ. Чтобы судить объ авторитетѣ этого великаго идеализма, всего лучше заглянуть въ нѣмецкія книги послѣднихъ десятилѣтій, въ тѣ книги, которыя пишутся уже послѣ низверженія этого авторитета. До сихъ поръ, чуть только зайдетъ о немъ рѣчь, ученые люди раздражаются негодованіемъ и ужасомъ; говоря о временахъ Шеллинга и Гегеля, они какъ будто вспоминаютъ какое-то тяжкое иго, и до сихъ поръ не могутъ на-радоваться, что освободились отъ него, до сихъ поръ не могутъ удержаться отъ всякихъ на него ругательствъ.

Увы! Кажется, въ этомъ и заключается разгадка всей исторіи. Философскій прогрессъ, совершенный въ нашемъ столѣтіи Европою, кажется, состоитъ не въ послѣдовательномъ развитіи извѣстныхъ идей, а въ низверженіи идей, въ попыткѣ вовсе отъ нихъ освободиться. Гегель давалъ исторіи философіи и вообще исторіи человѣчества глубокую значительность и приписывалъ ей нѣкоторый непрерывный и правильный ходъ; но, кажется, дѣло идетъ не всегда такъ.

Кажется, правильнѣе видѣть въ исторіи лишь непрерывную борьбу высокихъ началъ съ низкими, жизни и развитія съ смертью и вырожденіемъ. Чѣмъ прекраснѣе и выше возникающія явленія человѣческаго духа, тѣмъ неизбѣжнѣе они заносятся потомъ безконечнымъ пескомъ мелкихъ и низменныхъ явленій. За подъемомъ духа слѣдуетъ упадокъ, волны смыкаются за величественнымъ кораблемъ, и сонъ смѣняетъ горячую дѣятельность.

Такъ и нынѣшнее гоненіе на философію—не прогрессъ, а упадокъ, не развитіе, а остановка. Передовые застрѣльщики этого бунта противъ философіи, нѣкогда знаменитые Фохтъ, Молешотъ и Бюхнеръ, какъ извѣстно, вовсе не интересовались философіею, и именно на этомъ основаніи объявили, что она не нужна. И Германія, очевидно, потеряла нынче умственную самостоятельность; она давно уже больше питается мыслями Миллей, Фарадеевъ, Дарвиновъ, чѣмъ своими собственными. Потомство будетъ когда-нибудь безмѣрно удивляться этому народу, который нѣкогда, бѣдный и раздробленный, показалъ невообразимо высокій подъема духа и создалъ свою великую литературу и философію, но потомъ соблазнился общимъ потокомъ времени, отрекся отъ своихъ подвиговъ, и съ жаромъ бросился соперничать съ другими народами въ низменности цѣлей и понятій.

Какъ бы то ни было, въ настоящее время нигдѣ нѣтъ въ Европѣ философскаго ученія, которое имѣло бы, или могло бы имѣть, притязаніе на господствующій авторитетъ. Да и потребность въ такомъ ученіи чувствуется все слабѣе и слабѣе. Мѣсто философіи заступила та популярная мудрость, которая, повидимому, вполне удовлетворяетъ умственный голодъ большинства современныхъ людей. Такъ какъ эта мудрость въ сущности ведетъ къ отрицанію всякихъ руководительныхъ началъ, то ее можно назвать вообще *европей-*

скимъ нигилизмомъ. Это тотъ духъ сомнѣнія и отрицанія, который проникаетъ собою всю умственную атмосферу Европы, получаетъ все большее и большее преобладаніе во всѣхъ ея научныхъ и общественныхъ стремленіяхъ и современемъ долженъ получить рѣшительное господство. Нашъ нигилизмъ въ началѣ былъ порожденъ и возвращенъ этимъ духомъ, а теперь постоянно имъ питается и обновляется. Въ нигилизмѣ, какъ и во многомъ другомъ, мы только подражаемъ Европѣ, только ревностные ея ученики. Напрасно европейцы, по своей всегдашней нелюбви и презрѣнію къ Россіи, стараются выставить нигилизмъ со всѣми его безобразіями чѣмъ-то специально русскимъ, порожденіемъ нашего варварства, невозможнымъ среди образованныхъ странъ. Если есть въ нигилизмѣ что-нибудь специально-русское, то оно состоитъ только въ несчастномъ умственномъ рабствѣ, по которому мы, отрекаясь отъ всѣхъ основъ своей родной жизни, способны легче всѣхъ другихъ народовъ подчиняться чужимъ мыслямъ и направленіямъ, да еще въ томъ, что, по нашей бойкости, мы доводимъ всякую воспринятую мысль до конца, до послѣднихъ ея выводовъ, а по нашему легкомыслію и искренности, сейчасъ же стремимся приводить наши мысли въ исполненіе. Такимъ образомъ часто выходитъ, что ученики опережаютъ своихъ учителей, и въ нигилизмѣ мы, безъ всякаго сомнѣнія, идемъ впереди Европы. Тутъ уже не мы подражаемъ, а наоборотъ, европейскіе нигилисты подражаютъ нашимъ. Припомните, какъ подѣйствовало дѣло Зосуличъ, какъ оно вызвало въ Европѣ цѣлый рядъ покушеній, къ числу которыхъ относятся и покушенія на Германскаго Императора; припомните и Бакунина, и Крапоткина, — и цѣлый рядъ подобныхъ фактовъ и явленій.

Напрасно также, наши русскіе европейцы, люди, заявляющіе себя поклонниками Европы, усвоивающіе, или по край-

ней мѣръ постоянно старающіеся усвоить себѣ ея просвѣщеніе, часто утверждаютъ, что оно не имѣетъ ничего общаго съ нигилизмомъ, что въ этомъ просвѣщеніи и въ настоящее время содержатся нѣкоторыя твердыя начала, не подвергающіяся никакой опасности со стороны духа сомнѣнія и отрицанія и могущія служить намъ и всѣмъ просвѣщеннымъ людямъ руководствомъ и опорой. Такое мнѣніе есть заблужденіе, притомъ одно изъ самыхъ увлекательныхъ и самыхъ вредныхъ по своимъ послѣдствіямъ заблужденій. Эти люди, обыкновенно благонамѣренныя и очень часто добросовѣстные, очевидно, останавливаются на половинѣ дороги, совершенно такъ, какъ стоитъ на половинѣ дороги и большинство европейцевъ. По преданію, по привычкѣ, по кровной связи съ своимъ прошлымъ, они держатся за нѣкоторыя старыя свои понятія, не замѣчая, что всѣ основы этихъ понятій уже подорваны, что сами же они, увлекаемые духомъ вѣка, проповѣдываютъ и защищаютъ въ то же время другія понятія, другіе пріемы мысли, прямо противорѣчащіе первымъ. Умственная жизнь народовъ имѣетъ свои корни въ ихъ психической жизни. Этимъ объясняется, почему въ душахъ людей могутъ уживаться мысли и несвязныя, и несогласныя между собою. Такъ и въ нынѣшней Европѣ, отъ ея долгой и богатой духовной жизни осталось много формъ и понятій, которыя не только упорно держатся противъ потока нигилизма, но и уживаются въ однихъ и тѣхъ же умахъ съ самыми рѣзкими пріемами отрицанія. Очевидно, однако, такое положеніе умовъ только временное, и внутреннее ихъ противорѣчіе должно разрѣшиться побѣдою отрицанія надо всѣмъ, что держится только по инерціи.

У насъ этотъ процессъ совершается очень ясно и, такъ сказать, наглядно. Какой-нибудь профессоръ, или писатель, благонамѣренный, и однако современный, внушаетъ читате-

лямъ и слушателямъ всяческіе критическіе приемы нынѣшней науки, но въ то же время крѣпко стоитъ за извѣстныя положительныя начала, выбранныя имъ по крайнему разумѣнію. Онъ усердно проповѣдуетъ, не замѣчая внутренняго противорѣчія своей проповѣди. Но это противорѣчіе прямо передъ его глазами принимаетъ плоть и кровь и является въ живомъ образѣ. Учащіеся, какъ молодые люди, бываютъ свободнѣе отъ предвзятыхъ мнѣній, они могутъ получить откуда-нибудь совершенно иныя психическія настроенія, и вотъ они проводятъ до конца принципы своего наставника, логически ниспровергаютъ одну часть его рѣчей на основаніи другой, и выходятъ полными нигилистами, иногда къ великому его сокрушенію и изумленію.

Мы говоримъ здѣсь о добросовѣстныхъ писателяхъ и преподавателяхъ, а не о тѣхъ, кто расположенъ лукавить и популяричать. Для такихъ современное настроеніе европейской науки даетъ полную возможность безпрестанно сворачивать на путь отрицанія. Есть, наконецъ, и честные люди, держащіеся этого пути прямо по долгу науки и логической вѣрности духу, который они справедливо признаютъ за истинный духъ нынѣшняго научнаго движенія.

Вотъ постоянный и главнѣйшій источникъ нигилизма; европейское просвѣщеніе, и у насъ и на Западѣ, среди другихъ своихъ плодовъ, постоянно приноситъ и эти цвѣтки и ягоды. Поэтому, просвѣщенные классы вездѣ чувствуютъ свое сродство съ нигилизмомъ, составляющимъ лишь послѣдовательное проведеніе нѣкоторыхъ началъ, исповѣдуемыхъ самими этими классами; а главное, поэтому просвѣщенные классы, обыкновенно упирающіеся противъ этой послѣдовательности и для этого хватающіеся за остатки всякаго рода положительныхъ началъ, оказываются совершенно *бесильными противъ нигилизма*. Что касается до Запада, то онъ уже весь вну-

тренно содрогается отъ грозящей ему опасности; среди образованнаго міра только наша великая родина въ огромной своей части еще спитъ своимъ здоровымъ сномъ, не испытывая и тѣни той душевной разладицы, которая свирѣпѣетъ въ одномъ наружномъ ея словѣ, въ такъ называемыхъ образованныхъ людяхъ.

Между тѣмъ, мы все еще возлагаемъ наши надежды на Западъ; мы ищемъ спасенія отъ нигилизма въ какихъ-нибудь научныхъ началахъ, которыя тамъ надѣемся найти; мы слѣдимъ за тамошней литературной борьбой и хватаемся за чужое оружіе, которое намъ покажется покрѣпче и половчѣе для употребленія. Въ этомъ случаѣ мы, по обыкновенію, отстаемъ отъ Европы; мы, такіе ревностные ученики и перениматели, такъ усердно слѣдящіе за всѣмъ новенькимъ, мы не замѣчаемъ, что Европа уже очень мало вѣритъ во многое, что въ ней еще очень громко провозглашается, мы не умѣемъ отличить того, что имѣетъ истинную силу, отъ того, что только принимаетъ видъ силы.

Велики научныя сокровища Запада и выше всякихъ похвалъ его умственные подвиги; но они не пойдутъ намъ въ прокъ, пока мы не откинемъ привычекъ духовнаго рабства и не станемъ крѣпко на своихъ ногахъ. Что касается нигилизма, то вотъ именно случай, въ которомъ можно убѣдиться, что Западъ не можетъ дать намъ началъ для выхода изъ этого вопроса, что, слѣдовательно, если мы желаемъ теоретически противодѣйствовать этому направленію, намъ нужно вносить въ различныя области знанія свои собственныя начала. Требованіе огромное и тяжелое, которое звучитъ особенно страшно для насъ, такихъ робкихъ и смиренныхъ поклонниковъ западнаго просвѣщенія. Но требованіе неизбежное, и возможность его исполненія, въ сущности, ясна. Въ научномъ движеніи Европы отразилась ея жизнь, ея

психическій строй, ея глубочайшія стремленія. Русская жизнь имѣетъ другой строй, другія стремленія; намъ слѣдуетъ возвести эти стремленія въ сознательныя начала, которыя и дадутъ иное направленіе научнымъ развитіямъ.

Въ заключеніе, прошу извиненія за рѣзкость тона нѣкоторыхъ мѣстъ настоящей книги. Тѣхъ, кого этотъ тонъ коснулся, усердно прошу поставить интересъ дѣла выше этой дурной журнальной привычки; менѣе виновать я, кажется, въ другихъ недостаткахъ журнальнаго писанія, въ многословіи и безпорядкѣ.

12 марта 1883.

Н. Страховъ.

О П Е Ч А Т К И:

<i>Стран.</i>	<i>Строк.</i>	<i>Напечат.</i>	<i>Читать.</i>
2	11	было-бы	была-бы
106	12 см.	бессознательно	бессознательно
159	8	долгое	долго
163	7	невывразимѣ	невывразимый
173	14	проясходять	приходить
178	4	затемняющія	затемняющіе
218	4	1889	1888

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ ВЪ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Книжка вторая.

I.

Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Задача исторіи литературы *).

Исторія, какъ судъ потомства.—Исторія, какъ изображеніе прогресса.—Писатели, какъ самостоятельныя явленія.— Народный духъ.— Слова Дройзена.—Значеніе исторіи литературы.

На томъ, какъ у насъ пишется исторія литературы, можетъ быть яснѣе, чѣмъ на' всякомъ другомъ предметѣ, обнаруживается жалкое состояніе нашего просвѣщенія: отсутствіе твердыхъ основъ, хаосъ предразсудковъ и недоразумѣній. Для пониманія этой драгоцѣнной исторіи требуется слишкомъ много, и вотъ почему она покрыта особенно густымъ мракомъ. Поэтому, когда мы нашли, что въ книгѣ г. Полевого всего слабѣе характеристика писателей, изложеніе ихъ духа и значенія, мы ни мало не винили составителя книги. На нѣтъ и

*) *Исторія русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ.* Соч. П. Полевого. Гравюры исполнены Л. Сѣряковымъ. Спб. 1872.

суда нѣтъ; гдѣ было взять автору правильный и ясный взглядъ на нашу литературу? Онъ сдѣлалъ что могъ, а въ нѣкоторыхъ очеркахъ, напр. Державина, Крылова и пр., онъ обнаружилъ даже любовь къ своему предмету, любовь къ русскимъ писателямъ, качество превосходное и, по нынѣшнему времени, совершенно неожиданное и удивительное.

Писать исторію литературы въ простотѣ сердечной, не мудрствуя лукаво, но лишь всею душою любя и уважая дѣятелей литературы—нынче уже никто не хочетъ. Между тѣмъ, это было бы, можетъ быть, наилучшая метода для многихъ историковъ, метода, которая спасла бы ихъ отъ излишнихъ и невѣрныхъ разсужденій. Обыкновенно у насъ держатся другой методы, и историки приступаютъ къ своему предмету если не съ прямою ненавистью, то съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ и злорадствомъ. И г. Полевой не ушелъ отъ общаго настроенія; и у него кой-кому досталось, напр. Гоголю, Карамзину; а Пушкину такъ и очень досталось. Подмѣтить и раздуть темную черту составляетъ истинное наслажденіе для нашихъ историковъ.

Говорили когда-то, что исторія есть безпристрастный судъ потомства. „Настанетъ часъ—и насъ не будетъ; но останутся дѣла наши—и потомство благословитъ память нашу“. Такъ утѣшалъ себя благодушный Карамзинъ и, въ минуту чистой гордости, надписалъ надъ одной изъ своихъ бумагъ: „для потомства“. Какъ жестоко онъ обманулся! Съ чего онъ взялъ, простодушный человѣкъ, что потомство будетъ безпристрастнѣе современниковъ? У потомства будутъ свои страсти, свои занятія, свои предразсудки, и нѣтъ никакой причины думать, что оно съумѣетъ лучше оцѣнить человѣка, чѣмъ тѣ, которые

его чтили и любили при его жизни. Что пользы въ томъ, что тысячи книгъ испещрены именами Карамзина, Пушкина, Шиллера и пр., что безчисленные толпы школьниковъ каждаго поколѣнія повторяютъ эти имена, если въ памяти людей уже изгладились свѣтлые образы этихъ писателей, если ихъ поэзія уже не находитъ себѣ никакого отзыва? Это ли та слава въ потомствѣ, которой можно желать и о которой мечтаютъ поэты?

Можно сказать, что каждое поколѣніе, по неизбежному ходу вещей, наноситъ новую обиду, новое оскорбленіе каждому изъ великихъ писателей. При жизни Пушкина, многіе предпочитали ему Державина, въ чемъ, вѣроятно, онъ не видѣлъ большой обиды. Но если бы теперь онъ узналъ въ своемъ гробѣ, что все молодое поколѣніе уже не читаетъ его больше и предпочитаетъ ему Некрасова, то, можетъ быть, онъ почувствовалъ бы не малую горечь. И, вѣроятно, будутъ поколѣнія, когда поэты и съ несравненно меньшимъ талантомъ, чѣмъ у Некрасова, будутъ восхищать собою главную толпу публики и будутъ ставимы ею выше Пушкина. Вотъ что значить слава въ потомствѣ!

И съ какихъ точекъ зрѣнія судить потомство о писателяхъ прошлыхъ временъ? Каждое поколѣніе въ нелѣпой гордости считаетъ свои понятія, свои нужды, свои стремленія за единственно истинныя и существенныя; въ исторіи оно ищетъ того, чѣмъ само оно умѣетъ интересоваться, хвалить только то, чему само оно способно сочувствовать. И чѣмъ живѣе собственные интересы и стремленія потомства, тѣмъ оно пристрастнѣе, тѣмъ несправедливѣе. Оно вступаетъ въ *полемику* съ знаменитыми мертвецами, оно пропускаетъ мимо ушей лучшіе звуки ихъ души, для него непонятные, и вазнить за

все, въ чемъ найдетъ понятное противорѣчіе своимъ мыслямъ. Такимъ образомъ, человѣку, въ которомъ горитъ геній, остается только то утѣшеніе, что, среди множества тупыхъ, равнодушныхъ и пристрастныхъ людей, вниманіе которыхъ будетъ привлечено его именемъ, въ видѣ исключенія попадется вѣроятно и нѣсколько умовъ, которые будутъ способны понять его, которые, можетъ быть, оцѣнятъ его даже вѣрнѣе, чѣмъ сумѣли оцѣнить близко знавшіе его современники.

Отсюда мы видимъ, въ чемъ состоитъ истинная задача историка (и слѣдовательно критика). Историкъ по самому существу дѣла есть консерваторъ, хранитель преданій, любитель прошлаго. Онъ долженъ противодействовать безпамятству людей, ихъ увлеченію настоящимъ, отвлекать ихъ отъ интересовъ минуты къ интересамъ болѣе важнымъ и общимъ. Его усилія должны быть направлены къ тому, чтобы задержать прогрессъ, не дать ему мельчать и отрываться отъ прошлаго, замедлить его теченіе всѣмъ бременемъ минувшихъ дѣлъ и мыслей. Пусть не ошибаются историки, воображающіе себя рьяными прогрессистами: они на ложной дорогѣ, они уклоняются отъ своего прямого назначенія. Въ одномъ журналѣ уже было замѣчено г. Полевому, что онъ напрасно посвятилъ около трети своей книги исторіи допетровской литературы, что эта исторія не интересна большинству публики. Съ прогрессивной точки зрѣнія какой справедливый упрекъ! Зачѣмъ возбуждать интересъ къ отжившему, среди множества современныхъ животрепещущихъ интересовъ? Впередъ и впередъ, и чѣмъ меньше мы будемъ думать и жалѣть о старомъ, тѣмъ лучше. Вотъ почему истинно-прогрессивный историкъ занимается лишь тѣмъ, что бранить старое, и у насъ дѣйствительно есть

истории литературы, которые не видят въ ея исторіи ничего свѣтлаго и замѣчательнаго почти вплоть до того времени, когда они сами стали писать.

Обыкновенный, наивный взглядъ на исторію гораздо ближе къ сущности дѣла. Обыкновенно люди не видятъ хорошаго въ настоящемъ и любовно обращаются къ прошлому, гдѣ можно найти столько прекраснаго. Если приложить этотъ анти-прогрессивный взглядъ къ литературѣ, то онъ окажется очень естественнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, если взять настоящую минуту, то гдѣ мы найдемъ въ нашей литературѣ такую могучую и теплую поэзію, какъ у Пушкина, такую яркость и несравненный юморъ, какъ у Гоголя, такую чистоту и благость души, какъ у Карамзина, такой свѣтлый и крѣпкій духъ, какъ у Ломоносова? Все это было когда-то, и хотя можетъ-быть живетъ въ насъ, но, по вѣчному закону исторіи, уже не повторяется въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ было предметомъ нашего восторга. Старое—увы!—не замѣняется новымъ, что бы ни толковали прогрессисты. Исторія есть рядъ откровеній, которыя потому и дороги, потому и достойны изученія, что, по слабости и ограниченности человѣка, не могутъ являться вновь. Это такое наше имущество, такое наслѣдство, которымъ мы отчасти можемъ обладать, но котораго сами пріобрѣсти неспособны.

Съ этой точки зрѣнія то, что называется прогрессомъ и развитіемъ, есть дѣло довольно мудреное для точнаго опредѣленія. На литературѣ яснѣе, чѣмъ на другихъ сферахъ, видно, что непрерывный и послѣдовательный прогрессъ совершается лишь въ низшихъ областяхъ, въ явленіяхъ не главныхъ, а подчиненныхъ. Такъ, число книгъ постепенно увеличивается, но никто не сва-

жетъ, что онѣ непремѣнно становятся умнѣе и значительнѣе; знанія распространяются, но основательное и глубокое изученіе есть всегда рѣдкое и капризное исключеніе; пишущихъ становится все больше и больше, но люди талантливые и геніальные часто почти вовсе исчезаютъ, и ихъ появленіе не подчинено никакому закону; самый языкъ, постоянно обогащаясь, постоянно становясь точнѣе и аналитичнѣе, колеблется въ разсужденіи своихъ высшихъ качествъ, красоты и силы. И вотъ почему истинные прогрессисты не любятъ литературы въ высшемъ ея смыслѣ, въ томъ смыслѣ, который не укладывается въ ровную и узкую колею прогресса. Поклоненіе генію для нихъ ненавистно не только въ поэзіи, но даже въ наукѣ; они желали бы свести всѣ знанія на общедоступныя и ни для кого не составляющія заслуги; они желали бы изгнать всякую поэзію, все, что требуетъ особаго дара небесъ, и оставить лишь ту литературу, для которой довольно усердія и расторопности, и нѣтъ нужды въ талантахъ.

Если возьмемъ отдѣльныя явленія литературы, отдѣльныхъ писателей, то, всматриваясь въ ихъ развитіе, мы встрѣтимъ непобѣдимыя трудности, когда станемъ подводить ихъ подъ формулу прогрессивнаго движенія. Историки литературы очень любятъ указывать вліяніе, которому одинъ писатель подвергался отъ другаго, или отъ общаго умственнаго настроенія, отъ духа вѣка. Такимъ образомъ они пытаются и надѣются связать факты литературы въ нѣкоторую непрерывную нить. Но легко видѣть, что эта нить въ дѣйствительности разрывается на каждомъ шагу и что вполнѣ связать ее никогда не удастся. Каждый писатель, стоящій вниманія историка, есть нѣчто самобытное, независимый организмъ. Натуры

подражательныя, остающіяся всю жизнь эхомъ чужихъ мыслей и рѣчей, хотя могутъ быть иногда весьма даровиты и плодовиты, хотя иногда чрезвычайно восхваляются поклонниками прогресса, какъ носители и распространители извѣстныхъ идей, не составляютъ однако-же истинныхъ двигателей и вкладчиковъ литературы. Они относятся къ той низшей области, которая можетъ вполне войти въ колею прогресса. Если бы всѣ писатели подражали, о,—тогда прогрессъ дѣйствительно шелъ бы непрерывно и постепенно; онъ по прямой линіи завелъ бы насъ — вѣроятно въ какія нибудь тѣснины, несносныя для души человѣка.

Но не всѣ подражаютъ; являются люди, которые, иногда послѣ долгой и тяжелой борьбы, выходятъ изъ подъ вліянія вѣка, господствующихъ идей, прежнихъ писателей, которые осмѣливаются быть самими собою и говорить то, что откуда-то, изъ какой-то невѣдомой глубины, приходитъ имъ на умъ и на сердце;—и вотъ эти-то люди составляютъ настоящую литературу, совершаютъ въ ней дѣйствительный прогрессъ. Дѣятельность такихъ людей не опредѣляется тѣми вліяніями, подъ которыми они развиваются, а развѣ только оплодотворяется. Конечно, если существуетъ постоянный и сильный источникъ вліяній, какъ на примѣръ для насъ онъ существуетъ въ литературахъ Запада, то мы едва-ли найдемъ большее достоинство въ писателѣ, который остался глухъ и недоступенъ для этого могучаго воздѣйствія. Воспріимчивость, и даже очень сильная, всегда свойственна даровитымъ натурамъ. Но наконецъ она побѣждается собственнымъ голосомъ души, и эта побѣда бываетъ тѣмъ выше, чѣмъ сильнѣе то, что требовалось побѣдить.

Понятно, что такіе люди неизбежно встрѣчаютъ про-

тиводѣйствіе и недоброжелательство со стороны современниковъ, а мы прибавимъ—и со стороны потомства. Ибо, какъ современники, такъ и потомство составляютъ ту толпу, для которой всего удобнѣе и привычнѣе двигаться по ровной колесѣ прогресса, преуспѣвать въ подражаніи и перениманіи. Задача историка состоитъ въ томъ, чтобы стать выше такого общаго хода вещей и наводить читателей на болѣе справедливое и глубокое пониманіе. У насъ, какъ извѣстно, дѣло идетъ обратнымъ порядкомъ; историки хвалятъ нашихъ писателей, напр. Карамзина, Пушкина, только до тѣхъ поръ, пока они не достигли самостоятельности, пока были подъ вліяніемъ Запада; когда же они становятся на свои ноги, мудрые историки не чувствуютъ даже любопытства, а только одно негодованіе.

Но если такъ, если писатели суть самостоятельныя явленія, не связанные между собою и не порождаемыя вліяніями, точно такъ, какъ не связаны между собою и не порождены вѣтромъ и дождемъ цвѣты одного луга, то въ чемъ мы поставимъ ихъ общее родство, какими нитями свяжемъ ихъ во едино? Каждый писатель, въ той или другой мѣрѣ, въ той или другой формѣ, есть выразитель народнаго духа; вотъ та общая почва, на которой они растутъ. Въ одномъ сказалось одно, въ другомъ другое, но корень общій. Народный духъ — такъ назовемъ мы пока ту таинственную силу, отъ которой въ глубочайшемъ корнѣ зависятъ проявленія человѣческихъ душъ. Люди вѣдь напрасно думаютъ, что они сами строятъ свою жизнь; въ самыхъ важныхъ случаяхъ ими движутъ силы, ускользающія отъ сознанія и недоступныя для нашего познанія лишь отчасти, лишь при большихъ усиліяхъ.

Съ этой точки зрѣнія исторія литературы представляетъ величайшій интересъ и безконечное поприще для созерцанія. Всякій предметъ, какъ извѣстно, неисчерпаемъ; но едва ли есть другой предметъ, въ который, повидимому, такъ легко углубляться, какъ въ исторію литературы, гдѣ можно бы легче находить столько пищи для души.

Нѣмецкій историкъ Дройзенъ, прогрессистъ, какъ всѣ просвѣщенные Нѣмцы, пишетъ: „У насъ, у людей, есть только настоящее, только *зѣтс* да *теперь*“. „Все прошлое, вся исторія содержитсяъ идеально въ настоящемъ и въ томъ, чѣмъ обладаетъ настоящее“. Вотъ разсужденіе, по нашему мнѣнію, совершенно анти-историческое и глубоко ложное. Оно основано на той дерзостной мысли, въ которой привыкли нѣмцы, что будто бы человечество въ каждую минуту воплощаетъ въ себѣ всю сущность міра, исчерпываетъ собою всю его божественность. Тутъ высказывается полное отрицаніе человеческой слабости и ограниченности.

Какая безмѣрно-гордая, но вмѣстѣ и какая печальная точка зрѣнія! Разумѣется, при такомъ взглядѣ исторія имѣетъ мало значенія. Если въ насъ воплощается божество во всей его цѣлости и въ послѣднемъ фазисѣ его развитія, то зачѣмъ намъ думать о прежнихъ фазисахъ? Мы и безъ того носимъ ихъ въ себѣ. Прошлое несуществуетъ потому, что оно уже недостойно существовать.

Но если такъ, то волей-неволей мы должны довольствоваться настоящимъ — вотъ нестерпимое слѣдствіе. Мы не имѣемъ права находить жалкими современныхъ людей, не имѣемъ права думать, что нѣкогда человеческая доблесть, человеческій разумъ, словомъ вся кра-

сота человѣческой души выражались выше и чище, чѣмъ въ наши дни. Противъ подобныхъ взглядовъ какой живой протестъ представляютъ произведенія литературы! Нѣтъ явленій болѣе долговѣчныхъ, болѣе упорно сохраняющихъ свою жизнь. Кто осмѣлится сказать, что геній Пушкина вполне усвоенъ и претворенъ нынѣшними умами, что онъ въ нихъ содержится? Но если, въ силу прогресса и развитія, настанутъ и такія поколѣнія, для которыхъ сочиненія Пушкина обратятся въ простую печатную бумагу, Пушкинъ все-таки не умретъ. Отдаленный потомокъ можетъ услышать его голосъ, и можетъ-быть разслушаетъ что-нибудь даже яснѣе, нежели мы.

Будучи существами ограниченными, измѣнчивыми, случайными, мы должны беречь исторію преимущественно какъ память о томъ, что было выше насъ, и что въ насъ самихъ иногда отражается лишь малою своею частью.

Отъ этихъ общихъ соображеній перейдемъ въ частности къ русской литературѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Самобытность въ ходъ нашей литературы.

Точка зрѣнія *самобытности*.—Ломоносовъ и его ода.—Ложно-классическая эпоха.—Мнѣніе Шербюлье.—Наша слава и нашъ восторгъ.—Нашъ литературный языкъ.—Равенство съ Европою.—Карамзинъ и Жуковскій.—Вѣра въ свою литературу.—Пушкинъ и его борьба съ чужимъ.—Побѣда.

Исторію русской литературы можно разсматривать какъ исторію постепеннаго освобожденія русскаго ума и чувства отъ западныхъ вліяній, постепеннаго развитія нашей *самобытности* въ словесномъ художествѣ. Благодаря небесамъ, мы теперь стоимъ крѣпко на своихъ ногахъ, и потому можемъ уже понимать эту исторію, имѣемъ твердыя основанія для сужденія объ ея явленіяхъ—съ этой точки зрѣнія.

Отъ Ломоносова начинается у насъ рядъ такихъ европейскихъ вліяній, которыя уже не порождаютъ одной подражательности, а дѣйствительно вызываютъ къ само-дѣятельности нашъ народный духъ. Для прогрессивныхъ историковъ, каковъ и г. Полевой, Ломоносовъ сливается съ предшествующими и современными ему писателями; но для насъ онъ выдѣляется рѣзко; въ немъ совершилось чудо—созданы произведенія, равныя своимъ образ-

амъ, и явился языкъ, вполне пригодный для такихъ произведеній.

Ломоносовская ода есть явленіе удивительное. Искренность и живость многихъ стиховъ поразительны; великолѣпное теченіе рѣчи, которое вполне усвоилъ себѣ только Пушкинъ, не уступить никакимъ одамъ въ мірѣ.

Вообще, на такъ называемую ложно-классическую эпоху нашей литературы вовсе не слѣдуетъ смотрѣть такъ презрительно, какъ на нее обыкновенно смотрятъ. Въ ней видятъ одну подражательную напыщенность, одну ложь, возникшую въ подобіе тому, что само было ложью, то-есть французскому псевдо-классицизму. Но подобная оцѣнка была умѣстна развѣ только въ минуту борьбы, во время стремленія къ новымъ, болѣе естественнымъ формамъ. Теперь, слава Богу, мы давно уже свободны отъ псевдо-классицизма, и пора бы намъ перестать воевать съ нимъ.

Самъ французскій псевдо-классицизмъ до сихъ поръ не оцѣненъ безпристрастно, и мы все повторяемъ тѣ сужденія, которыя нѣкогда высказалъ Лессингъ въ раздраженіи борьбы. Одинъ умный французъ, Викторъ Шербюлье, справедливо замѣчаетъ, что Лессингу были непонятны герои французскихъ трагедій, такъ какъ тогдашняя нѣмецкая жизнь не представляла ничего подобнаго. Шербюлье говоритъ, что, живи онъ во время Лессинга, онъ обратился бы къ нѣмцамъ съ такой рѣчью: „Послушайте, друзья мои! Какая муха васъ укусила и что случилось между вами и Мельпоменою? Позвольте вамъ сказать на ушко: вы просто школьники. Развѣ вы видѣли близко великихъ людей и великія дѣла? Были ли вы допущены Ришелье въ его кругъ? Гуляли ли вы въ свитѣ великаго Конде въ тѣни аллеи Шантильи и раз-

сказывалъ-ли онъ вамъ о битвѣ при Рокруа? Бывали-ли вы въ Версали? Являлась-ли вамъ во снѣ тѣнь Монте-спанъ? Повѣрьте мнѣ, *оставьте героевъ въ покое...* Поищите другихъ средствъ нравиться вашимъ добрымъ лейпцигскимъ и гамбургскимъ мѣщанамъ“. Тутъ выражена вѣрная мысль, что псевдо-классическое искусство имѣло тѣсную связь съ тою жизнью, среди которой оно процвѣтало, что формы, въ которыхъ героизмъ являлся на театральной сценѣ, были отраженіемъ явленій дѣйствительности. Лессингъ протестовалъ во имя своей нѣмецкой дѣйствительности, и вмѣсто трагедіи царей и героевъ создалъ мѣщанскую драму.

То же замѣчаніе нужно примѣнить и къ нашему подражательному псевдо-классицизму. Нѣтъ сомнѣнія, что въ самой жизни было нѣчто поддерживавшее высокопарность нашихъ одъ и ходульность нашихъ трагедій. Россія въ тотъ періодъ очевидно питала великія надежды и по временамъ испытывала упоеніе славы. Сближаясь съ Европою, мы сразу показали себя равными ей въ одномъ отношеніи — въ государственномъ могуществѣ, и это не могло не возбудить нашей гордости. Ясно было, что намъ открывается безмѣрное поприще, всемірно-историческое значеніе; европейская цивилизація тогда еще не пугала и не подавляла насъ, какъ теперь, а напротивъ возбуждала въ насъ только юношескую бодрость и надежду. Эпоха Петра была блистательнымъ заявленіемъ нашего могущества, вѣкъ Екатерины былъ вѣкомъ твердой, громкой славы. Было бы странно, еслибы литература не отразила въ себѣ того героическаго восторга, который составлялъ самую свѣтлую сторону тогдашней жизни Россіи. Было бы странно, еслибы при такомъ ненатуральномъ, приподнятомъ по-

ложеніи народа, литература была натуральною, еслибы она отражала въ себѣ тогдашнюю будничную дѣйствительность, а не тѣ порывы и помыслы, которые носились поверхъ этой дѣйствительности.

Этотъ молодой восторгъ прошелъ, какъ мы знаемъ; болѣе близкое знакомство съ Европою, болѣе точный анализъ нашего положенія подорвали наши надежды и показали намъ ту сложность и трудность задачи, которой мы сперва и не подозрѣвали; но *періодъ восторга* (отъ Ломоносова до Карамзина), періодъ оды и трагедіи принесть и свой положительный плодъ, оставилъ намъ долговѣчное наслѣдство. Самая восторженность не умерла въ насъ, и еще не вовсе потухли въ насъ искры того пламени, которое вспыхивало въ Ломоносовѣ и Державинѣ; но осталось и болѣе явное и, такъ сказать, осязательное наслѣдство—нашъ литературный языкъ.

Когда явился Пушкинъ, языкъ для него былъ уже готовъ. Языкъ, вообще, есть дѣло очень таинственное. Ломоносовъ, на примѣръ, едва ли ясно видѣлъ размѣры подвига, который онъ совершилъ въ этомъ отношеніи. Отлично чувствуя красоты и силы языка, онъ заранѣе вѣрилъ, что найдетъ въ немъ всѣ средства для выраженія своихъ мыслей; создавать, казалось, ничего не нужно было; а между тѣмъ вышелъ новый языкъ, которымъ еще никто до него не писалъ.

Задача вообще предстояла огромная. Еслибы тогда водились у насъ скептики и нигилисты, смиренно преклоняющіеся передъ Европою и невѣрящіе въ русскія духовныя силы, то они, повидимому совершенно основательно, могли бы говорить, что пытаться писать русскія поэмы и трагедіи, подобныя европейскимъ, есть совершенная нелѣпость, несбыточная затѣя, такъ какъ у насъ

нѣтъ языка, нѣтъ оборотовъ и выраженій для высокихъ и тонкихъ мыслей. Даже въ тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія одинъ изъ нашихъ министровъ народнаго просвѣщенія сказалъ же русскому ученому, просившему пособія на изданіе перевода Платона, что онъ не думаетъ, чтобы можно было русскимъ языкомъ удачно передать рѣчь греческаго мудреца, что французскій языкъ, какъ у Кузена, — совсѣмъ другое дѣло.

Итакъ, какъ же совершилось чудо? Какимъ образомъ русскихъ людей не остановили сомнѣнія, столь очевидныя и основательныя? Вѣра ихъ была такъ крѣпка, что не задумывалась и не колебалась. И вотъ они пустились на истинно варварскомъ языкѣ выражать самыя возвышенныя чувства, изысканный героизмъ, напряженныя и величественныя страсти. Все, что образованный міръ наслѣдовалъ отъ древнихъ и внесъ отъ себя, что признавалось въ тѣ дни поэтическимъ и высокимъ, было пересказано порусски. Для того, чтобы представить себѣ ту живость и естественность, до которой доходило это перениманіе, нужно вспомнить театръ той эпохи, тотъ театръ, который еще во всемъ блескѣ засталъ Пушкинъ —

Гдѣ Озеровъ невольны дни
Народныхъ слезъ, рукоплесканій
Съ молодой Семеновой дѣлилъ,
Гдѣ нашъ Катенинъ воскресилъ
Корнея геній величавый.

Говоря о Сумароковѣ, г. Полевой подробно излагаетъ недостатки того рода драматическихъ произведеній, который тогда господствовалъ (стр. 307 — 309); но онъ ни слова не говоритъ о томъ, въ чемъ могла состоять привлекательность этихъ произведеній, что выходило изъ нихъ для зрителей. Въ то время явились первые рус-

скіе актеры, то есть явились люди, которые своимъ голосомъ, лицомъ и всею фігурой взялись изображать эти неестественныя лица, эти ходульныя чувства, и дѣлали это превосходно, *въ высшей степени естественно*. Русскіе оказались чрезвычайно способными къ актерству. Кто хочетъ имѣть понятіе о томъ, что изъ этого выходило, пусть прочтетъ *Воспоминанія* С. Т. Аксакова. Изящнѣйшіе рыцари, величественнѣйшіе герои, несравненные полубоги являлись предъ зрителями, какъ живыя лица, и поражали ихъ восторгомъ и умиленіемъ. Идеализація воплощалась въ словѣ, въ дикціи, въ жестѣ и выраженіи лица.

Несомнѣнно, что такимъ образомъ были пріобрѣтены великія богатства. Языкъ и стихъ поднялись въ своей выразительности до самой крайней высоты. Трудамъ и талантамъ этого періода мы отчасти обязаны тѣмъ, что свободно можемъ выражать на своемъ языкѣ всякую поэзію, всякую мысль.

За Ломоносовскимъ періодомъ слѣдовалъ Карамзинскій, въ которомъ безсознательная вѣра была не менѣе сильна и принесла не менѣе обильные плоды. Карамзинъ, Жуковскій, Батюшкінъ и пр. интересны въ томъ отношеніи, что ни мало не сомнѣваются въ нашемъ равенствѣ съ Европою, простодушно становятся наравнѣ съ нею. И происходятъ чудеса, не уступающія прежнимъ. Вдругъ является *русская исторія*, является во всеоружіи, въ столь крѣпкихъ очеркахъ, что для нея потомъ безвредно проходятъ всѣ бури сомнѣній и невѣрій, продолжающіяся до сего дня. Вдругъ область поэзіи расширяется неизмѣримо, спускаясь до ежедневныхъ чувствъ, до будничныхъ мелочей.

Г. Полевой смотритъ на Жуковскаго исключительно



какъ на подражателя (стр. 490). Такой взглядъ намъ кажется одностороннимъ, такъ какъ захватываетъ только внѣшность вещей. Жуковскій нѣчто *создалъ* въ русской литературѣ, именно создалъ ту манеру мыслить, чувствовать и выражаться, которой до него не знали, и въ которой нашли себѣ выходъ извѣстныя поэтическія стремленія русской души. Мечтательность, сантиментальность не были у Жуковскаго и Карамзина чѣмъ-нибудь напускнымъ и заимствованнымъ; это были ихъ естественныя, прирожденные свойства, и никто насъ не увѣритъ (хоть и пытались), что Карамзинъ былъ въ сущности человѣкъ жестокосердый, а Жуковскій — хитрый придворный пролаза. Европейскія вліянія только пробудили тѣ струны и силы, которыя уже хранились въ русскихъ душахъ.

212
85612
Да писатели этого періода вовсе и не думаютъ подражать; они, какъ мы уже сказали, думаютъ просто стать *наравнѣ* съ европейскими геніями, которые тогда славились. Вотъ откуда ихъ смѣлость, ихъ расположеніе бороться съ своими образцами, ихъ постоянныя попытки оригинальныхъ созданій. Рабства и копированія въ нихъ нѣтъ и слѣда. Тогда мы вѣрили въ свою литературу такъ, какъ никогда не вѣрили ни прежде, ни потомъ. Мы имѣли лирику, драму, басню, исторію, имѣли произведенія во всѣхъ родахъ, и среди восторговъ отъ этихъ произведеній ни одна мысль о бѣдности нашей литературы и объ ея подражательномъ характерѣ не приходила въ голову ни читателямъ, ни писателямъ.

Таковы нѣкоторыя черты той исторіи, которая послужила подножіемъ для дѣйствительнаго основателя самобытной русской литературы, для Пушкина. Пушкинъ — вотъ роскошный плодъ этихъ усилій, этого обилія вѣры

въ себя, этихъ подражаній, чуждыхъ рабства. Въ Пушкинѣ завершился нашъ языкъ, завершилось распространіе кругозора нашей поэзіи, и идеаль русской души, истинная мѣра ея чувствъ и движеній выразились въ такой полнотѣ, что вся дальнѣйшая литература можетъ быть рассматриваема какъ развитіе зачатковъ, положенныхъ Пушкинымъ.

А между тѣмъ Пушкинъ, повидимому, есть тоже подражатель. Его языкъ, пріемы, формы — все принадлежитъ современной ему литературѣ. Вотъ самый поразительный примѣръ, какъ внѣшность въ этомъ случаѣ обманчива, какъ строго нужно обращать вниманіе на духъ писателя, на его такъ-сказать *внутреннюю форму*, чтобы понять его настоящій смыслъ. Какъ французскій псевдо-классицизмъ въ сущности былъ выраженіемъ чисто-французскихъ идеаловъ, воплощалъ духъ и понятія великой націи, такъ и въ Пушкинѣ подъ чужими формами развилось совершенно самобытное содержаніе.

Геній Пушкина не тяготился формою. Съ чисто-русской гибкостью онъ схватываетъ и усваиваетъ себѣ все, всякую форму и всякій языкъ. Процессъ, который при этомъ совершался въ поэтѣ, который происходилъ въ немъ съ чрезвычайной быстротой, силою и отчетливостію, есть дѣло въ высшей степени важное и любопытное. Чужое усваивалось во всей его полнотѣ и многосторонности; потомъ наступала борьба съ чужимъ и его разложеніе; наконецъ или, лучше, одновременно съ этимъ, возникало свое, били ключи изъ невѣдомой глубины народнаго духа.

Схватки съ чужимъ носятъ иногда на себѣ характеръ умышленной, нарочно-затѣваемой борьбы, которая для такого силача не только не казалась страшною, а

переходила почти въ забаву. Обозрѣвая весь свой умственный міръ, онъ, какъ будто шутя, пробуетъ писать въ духѣ то Аріоста, то Альфіери, то Державина, то Данта, то народныхъ сказокъ и пѣсенъ,—и т. д. и т. д. Выходятъ или произведенія, которыхъ не отличишь отъ образцовъ, или—замѣчательное дѣло—*пародіи*. Такъ въ Борисѣ Годуновѣ есть сцены шекспировскія, въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова; такъ стихотвореніе „Въ младенцествѣ моемъ она меня любила“ писалъ точно самъ Батюшковъ, а „Если жизнь тебя обманетъ“—точно самъ Жуковскій. Но, схватывая чужую манеру, чужой тонъ и духъ, Пушкинъ иногда невольно чувствовалъ себя выше писателя, съ которымъ вздумалъ состязаться; и тогда выходила пародія невообразимой мѣткости и глубины. Такъ пародическая струйка есть въ удивительныхъ „Подражаніяхъ Корану“, въ которыхъ къ яркой поэзіи примѣшана и нѣкоторая доля восточной бессмыслицы; такъ „Подражанія Данту“ распадаются на двѣ части, — на дѣйствительное подражаніе и на чистую пародію.

Вотъ небольшіе образчики того, что значили для Пушкина вліянія, среди которыхъ онъ развивался. Это были только поводы къ побѣдамъ, только вызовы къ исполнѣ самостоятельному творчеству. Такъ поборолъ онъ французскій псевдо-классицизмъ, нѣмецкій романтизмъ, англійскій байронизмъ, и вышелъ самымъ собою, несравненнымъ русскимъ поэтомъ. Если *Исторія* Карамзина все еще носитъ на себѣ слѣды чужаго духа, несоотвѣтствующаго предмету тона и языка, то, напримѣръ, *Капитанская Дочка*, хотя и написана въ формѣ романовъ Вальтеръ-Скотта, есть, однакожь, произведеніе чисто русское не только по духу, но и по всему тону и складу

разсказа. Пушкинъ нашелъ и воплотилъ въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ—*правильное отношеніе къ русской дѣйствительности*, нашелъ приемы, посредствомъ которыхъ можно возводить въ поэзію эту дѣйствительность, не прикрашивая ея, не измѣняя и не переодѣвая. Отсюда становится понятнымъ, почему всѣ послѣдовавшіе писатели могутъ быть въ извѣстномъ смыслѣ сведены на Пушкина; именно: въ Пушкинѣ всегда можно найти ту струну, ту сферу чувства и пониманія, которая составляла въ послѣдствіи особенность какого-нибудь писателя, была имъ спеціально разрабатываема. Такъ, зачатки Гоголя можно найти въ „Гробовщикѣ“; Островскій конечно ведетъ свое происхожденіе отъ „Бориса Годунова“; тонъ Некрасова уже взятъ въ замѣчательномъ стихотвореніи „Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый“, приведенномъ у г. Полеваго (стр. 557); Достоевскій начинается отъ „Станціоннаго Смотрителя“; С. Т. Аксаковъ и Л. Н. Толстой отъ „Капитанской Дочки.“ Мы указали при этомъ на самыхъ оригинальныхъ нашихъ писателей, вносящихъ въ литературу повидимому совершенно новый элементъ, „новое слово“.

Этими замѣчаніями мы желали бы дать почувствовать читателю, что въ Пушкинѣ, очевидно, совершалось поэтическое душевное движеніе огромныхъ размѣровъ и глубочайшаго значенія. Объ этомъ движеніи, которое первый понялъ Ап. Григорьевъ, у насъ обыкновенно не имѣютъ нивакого понятія; объ немъ ни слова не говоритъ и г. Полевой, упоминающій о такихъ произведеніяхъ, какъ „Пиковая Дама“, „Капитанская Дочка“,—не только равнодушно, а даже съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ.

Вообще, величайшій нашъ писатель повесъ отъ насъ, какъ тому и слѣдовало быть, величайшія обиды; ни для кого не былъ такъ несправедливъ пресловутый *судъ потомства*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Связь литературы съ вѣкомъ и народомъ.

Литература не особый организмъ. — Общія корни явленій. — Связь между вѣкомъ и писателемъ. — Недостатокъ у насъ исторіи. — Ясныя черты связи. — 1812 годъ. — Батюшковъ въ Парижѣ. — Вѣра въ себя. — Пушкинъ. — «Клеветникамъ Россіи». — Гоголь и Императоръ Николай.

Нѣмцы, вслѣдствіе сильнаго расположенія къ отвлеченности, постояннаго обращенія мысли среди голыхъ понятій, вообразили наконецъ, что эти понятія имѣютъ какое-то самостоятельное существованіе, что они живутъ особою жизнью, какъ независимые организмы. Послушать ихъ, — то наука, искусство, поэзія, философія и пр. имѣютъ внутреннее, самобытное развитіе, такую исторію, въ которой каждое явленіе извѣстной области главнѣйшимъ образомъ происходитъ изъ предъидущихъ явленій той же области. Такъ, каждая философская система производится историками изъ предшествующихъ системъ, одинъ періодъ литературы выводится изъ другаго и т. д.

Между тѣмъ, самостоятельныхъ организмовъ такого рода вовсе нѣтъ, хотя и существуетъ нѣкоторая связь и преемственность между явленіями каждой области. Каждое явленіе имѣетъ одинаковый, *общій* корень съ другими, ему однородными, и развивается *по общимъ*

ихъ законамъ, а не коренится одно явленіе въ другомъ, и не составляетъ одно явленіе новаго фазиса, зависящаго отъ фазиса предыдущаго. Въ какую-бы эпоху ни явился философъ или поэтъ, это будетъ, въ сущности, все то же явленіе, и въ новыхъ формахъ повторятся все тѣ же черты, тѣ же существенные законы. Каждое новое явленіе только уясняетъ намъ общую сущность, лежащую въ ихъ основаніи, а не приноситъ намъ чего-либо абсолютно-новаго. Такимъ образомъ, если мы пишемъ, на примѣръ, исторію философіи, то нашей цѣлью не можетъ быть изложеніе какихъ-нибудь послѣднихъ результатовъ и рассказъ о той работѣ, о тѣхъ послѣдовательныхъ шагахъ, которыми эти результаты достигнуты. Такая цѣль была бы недостаточно важна и занимательна. Историкъ, по нашему мнѣнію, долженъ имѣть въ виду *идею философіи*, во всѣ вѣка ту же самую, воплощавшуюся въ болѣе или менѣе ясныхъ и совершенныхъ формахъ, но всегда по одинаковымъ законамъ. При такомъ взглядѣ, каждое историческое явленіе, то есть извѣстный философъ, опредѣленная философская система, составляетъ лишь частный примѣръ общаго явленія—философскаго мышленія, которое въ зачаткахъ есть всегда и вездѣ, но лишь изрѣдка развивается въ крупныхъ размѣрахъ. Въ Платонѣ, въ Спинозѣ, способность въ философіи, нужно полагать, воплотилась полнѣе и явственнѣе, чѣмъ въ Миллѣ или Бюхнерѣ.

Отсюда же получается возможность тѣснѣе связывать явленія особой области человѣческихъ проявленій съ остальными фактами жизни человѣчества. Въ людяхъ хранится постоянная возможность, постоянное расположеніе къ поэзіи, философіи, литературѣ. Эта возможность переходитъ въ дѣло только при благопріятныхъ

обстоятельствахъ, при особомъ возбужденіи и при существованіи особо одаренныхъ людей. Не вся поэзія, существовавшая и существующая въ душахъ людей, записана стихами; можетъ быть лучшая и чистѣйшая осталась невысказанною и намъ неизвѣстна. И, каждый разъ, когда является поэтъ, ему не нужно искать источника поэзіи у своихъ предшественниковъ; главный источникъ въ немъ самомъ. Вслѣдствіе такой независимости, онъ прямо черпаетъ изъ жизни, онъ не столько связанъ съ предъидущею литературою, сколько съ современными ему историческими событіями. Поэтому, каждаго поэта нужно объяснять, главнымъ образомъ, изъ свойствъ его народа и изъ современныхъ ему событій этого народа, а не изъ развитія идей, выраженныхъ предшественниками, и не изъ вліянія какихъ-нибудь иностранныхъ образцовъ. По крайней мѣрѣ, истинная поэтическая сила такъ дѣйствуетъ, самобытно, по однимъ лишь своимъ вѣчнымъ законамъ. Да и во второстепенныхъ писателяхъ—эту сторону дѣятельности нужно считать главною.

Жуковскій, воспѣвая событія 1812 года, нигдѣ не говоритъ о пушкахъ и выстрѣлахъ; у него вездѣ только *мечи и стрѣлы*. Вотъ черта той подражательности и преемственности, которую любятъ замѣчать историки. Но Пушкинъ уже рисуетъ все красками, ни у кого не заимствованными, а взятыми изъ жизни. Такъ, говоря о Кавказѣ, онъ воспоминаетъ времена,

Когда на Терекѣ сѣдомъ
Впервые грянулъ битвы громъ
И грохотъ русскихъ барабановъ.

Если вспомнимъ, что дѣло идетъ объ ущельѣ, въ которомъ этотъ зловѣщій грохотъ долженъ былъ раздаваться особенно ярко, то мы поймемъ, какъ жива здѣсь

иерта, схваченная поэтомъ. И онъ схватилъ ее уже въ *Кавказскомъ плѣнникѣ*, когда стихи Жуковскаго еще не извучали, когда вся Россія еще твердила о *сѣчахъ и звукѣ мечей*, о *щитахъ и стрѣлахъ*.

Связь между развитіемъ писателя и его вѣкомъ есть дѣло первой важности, такъ какъ истинная поэзія не есть отвлеченная вещь, а сливается съ глубочайшими движеніями жизни народа. Если же такъ, то легко понять, почему столь несовершенна исторія нашей новой литературы: у насъ почти вовсе нѣтъ исторіи государства и народа за послѣдній періодъ, начинающійся съ Петра. Совершенно ясно, что этотъ періодъ еще не конченъ, что мы сами еще охвачены его интересами и столкновеніями; преобразованія минувшаго царствованія, хотя въ нихъ и „*послышалась намъ наша старина*“, все-таки составляютъ продолженіе эпохи, начатой Петромъ. Понятно поэтому, что мы не можемъ смотрѣть на явленія этого періода объективно и безпристрастно, что мы не имѣемъ объ нихъ установившихся понятій. Сверхъ того, и самая сущность дѣла, какъ намъ кажется, трудна необыкновенно; жизненное движеніе, происходившее въ этомъ періодѣ, такъ сложно, противорѣчиво, неясно, что нужны очень гибкія и необыкновенныя категоріи, чтобы уложить его въ опредѣленныя формы мысли. И вотъ какъ случилось, что до сихъ поръ мы, собственно, стоимъ въ недоумѣніи передъ новою русскою исторіею, и, проживши энергическою жизнью полтора столѣтія, наполнивши міръ славою и страхомъ, создавши свою литературу, театръ, музыку, чувствуя въ себѣ крѣпость силъ непоколебимую, мы все еще съ изумленіемъ оглядываемъ сами себя и готовы въ минуту сомнѣнія счесть всю эту исторію почти за бессмыслицу.

А если такъ, то мудро намъ и понимать связь между нашими писателями и тѣмъ временемъ, которое ихъ воспитало. Нѣкоторыя черты, впрочемъ, такъ ясны, что ихъ смѣло можно указать. Напримѣръ, Ломоносовъ есть, очевидно, воспитанникъ Петровской эпохи; Карамзинъ — плодъ Екатерининскаго времени; Пушкинъ и плеяда поэтовъ, его окружавшихъ, порождены 1812 годомъ, Левъ Толстой есть порожденіе того, что самъ онъ называетъ „Севастопольской эпопеей“. Такимъ образомъ ясно, что время особенныхъ напряженій народныхъ, время, когда духъ народа подымался и чувствовалъ свою мощь, оставляло слѣды въ избранныхъ душахъ, оплодотворяло дарованія. Можно сдѣлать и обратное заключеніе: если мы находимъ, что извѣстная эпоха отразилась въ крупныхъ явленіяхъ литературы, то это доказываетъ, что она дѣйствительно отличалась усиленною жизнію народнаго духа. Стихи Державина лучше всякихъ изысканій показываютъ, что Россія того времени упивалась восторгомъ отъ своей славы, а строй мыслей и чувствъ Карамзина непрерываемо свидѣтельствуетъ о лучшихъ сторонахъ того духа, которымъ было проникнуто царствованіе Екатерины. При слабости нашего историческаго пониманія близкихъ къ намъ эпохъ, указанія литературы составляютъ даже почти единственную путеводную нить при воссозданіи той жизни, которая одушевляла эти эпохи.

Возьмемъ какуюнибудь частность, напримѣръ 1812 годъ. Г. Полевой не видитъ ничего хорошаго въ томъ дѣйстви, которое произвела эта вѣчнопамятная война съ Европою на нашу литературу. Онъ, во-первыхъ, считаетъ за нѣкоторую помѣху развитію нашей литературы то, что тогдашніе писатели такъ легко увлекались воинскимъ духомъ. Изъ нашихъ знаменитостей, какъ

извѣстно, Жуковскій былъ въ ополченіи, Батюшковъ дѣлалъ весь походъ по Европѣ; о Грибоѣдовѣ нашъ историкъ рассказываетъ такъ: „1812 годъ и ему, какъ *большой части тогдашняго русскаго юношества, становится поперегъ дороги*: 17-лѣтній Грибоѣдовъ бросаетъ все, поступаетъ корнетомъ въ Салтыковскій гусарскій полкъ, и въ 1813 году является уже въ Брестъ-Литовскъ, въ одномъ изъ нашихъ гусарскихъ полковъ... Объ этомъ пребываніи своемъ въ гусарахъ Грибоѣдовъ не могъ вспомнить безъ особеннаго негодованія, и утверждалъ, что „пробывъ всего четыре мѣсяца въ этой дружинѣ, цѣлыхъ четыре года не могъ потомъ попасть на путь истинный“. (стр. 568).

Такимъ образомъ, г. Полевой, какъ видимъ, готовъ предположить, что, если бы русскіе юноши того времени не поддавались общему теченію и не поступали въ гусарскіе и другіе ужасные полки, а занимались бы науками и опытами въ словесности, то наша литература и все развитіе оказали бы несравненно большіе успѣхи.

Но еще хуже, по мнѣнію г. Полеваго, тѣ послѣдствія, которыя порождены были нашими побѣдами, безмѣрнымъ патріотическимъ воодушевленіемъ. Интересный образчикъ того, какъ извращены были взгляды этимъ настроеніемъ, г. Полевой приводитъ въ біографіи Батюшкова:

„Дошедшія до насъ письма его, писанныя изъ Парижа, указываютъ на то, что и Батюшковъ, наравнѣ со множествомъ современниковъ своихъ, *рѣшительно потерялъ голову въ чадѣ* упоенія той славой, которая такъ изобильно увѣнчала лаврами наше оружіе, и тою рыцарскою, безкорыстною борьбою за свободу Европы, которую мы такъ твердо вынесли. Видно, что Батюш-

ковъ и въ это время все еще продолжалъ жить однимъ только настоящимъ, не задумываясь о завтрашнемъ днѣ, да къ тому же и *очень легко приходилъ въ восторгъ*.

“...„Я часто съ удовольствіемъ смотрю“, пишетъ онъ изъ Парижа Данилову — „какъ наши казаки безопасно проѣзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, любуясь его удивительнымъ построеніемъ; съ удовольствіемъ неизъяснимымъ вижу русскихъ гренадеръ передъ Траяновой колонной или урѣшетки Тюльери, передъ Arc de Triomphe, гдѣ изображены и Ульмъ, и Аустерлицъ, и Фридландъ, и Іена... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный другъ““.

„Такимъ-же увлеченіемъ и заносчивымъ поверхностнымъ взглядомъ на Францію, на французскую литературу и просвѣщеніе, отзывается вообще все то, что Батюшковъ пишетъ изъ Парижа о пребываніи въ немъ, причемъ называетъ себя „маленькимъ Тибулломъ, или проще, капитаномъ русской императорской службы, что въ нынѣшнее время важнѣе, нежели бывший кавалеръ или всадникъ римскій (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертваго льва“)“...““.

„Особенно странно и непріятно поражаютъ насъ сужденія „маленькаго Тибулла“ о современномъ состояніи французской литературы:

„Нынѣшній годъ была предложена въ увѣнчанію (въ академіи) „Смерть Баярда“; но, по слабости поэзіи, не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предметъ назначенъ для будущаго года?—„Польза прививанія коровьей оспы“!! Это хоть бы нашей Академіи выдумать! По этому, любезный другъ, можете судить о состояніи французской словесности. Ея не любилъ Наполеонъ... что не мало послужило къ упадку

академіи французской. *Правленіе должно лелѣять и баловать музъ; иначе они будутъ безплодны* *). Слѣдую обыкновенному теченію вещей, я думаю, что вѣкъ славы для французской словесности прошелъ и врядъ-ли можетъ когда воротиться. Впрочемъ, мирное отечественное правленіе будетъ во сто разъ благосклоннѣе для музъ судорожнаго тиранскаго правленія корсиканца...“ (стр. 509).

Мы понимаемъ, почему эти слова Батюшкова кажутся г. Полевому одни—просто странными и непріятными, а другія—особенно странными и непріятными. Батюшковъ восхищается и гордится тѣмъ, чѣмъ, по мнѣнію г. Полеваго, нельзя гордиться, и отзывается очень смѣло и поверхностно о томъ, передъ чѣмъ слѣдуетъ благоговѣть. Онъ осмѣливается смотрѣть свысока на французскую словесность—какова дерзость! Онъ осмѣливается мечтать, что правленіе, которое мы тогда установили во Франціи, будетъ благопріятнѣе музамъ, чѣмъ Наполеонъ,—каково ослѣпленіе!

Что касается до насъ, то этотъ тонъ самоувѣренности и радости представляетъ для насъ явленіе истинно-пріятное. Такое настроеніе должно было сильно содѣйствовать развитію нашей литературы. Именно какъ? Писатель въ тѣ времена считалъ для себя возможнымъ ту же славу, тотъ же геній, какіе онъ находилъ у другихъ народовъ. Мы признали *своею* всю поэзію, какую только знали; отсюда такое множество переводовъ и подражаній, неуступающихъ подлинникамъ и имѣющихъ все значеніе оригинальныхъ произведеній. Отсюда нѣсколько ложный, но истинно чудесный колоритъ, который наброшенъ былъ на всѣ явленія русской жизни; все было

*) Это мѣсто и предъидущее подчеркнуты не нами, а г. Полевымъ.

опоэтизировано и, хотя облечено было въ формы отчасти чужія, но въ нихъ сказалось много и своего. Батюшковъ не даромъ называетъ себя Тибулломъ и мечтаетъ, глядя на нашихъ солдатъ въ Парижѣ, что онъ ничѣмъ не хуже какого-нибудь римскаго всадника.

Безъ вѣры въ себя невозможно никакое развитіе, и, только вѣруя въ свой народъ, Карамзинъ могъ создать свою *Исторію*—въ подражаніе Юму, а Пушкинъ *Капитанскую Дочку*—въ подражаніе Вальтеръ-Скотту. Вѣрою же мы на долго запаслись въ 1812 году, и ни въ комъ она не проявилась такъ сильно, живо, безгранично смѣло, какъ въ Пушкинѣ. Всѣ мѣста, гдѣ Пушкинъ говоритъ о 1812 годѣ, свидѣтельствуютъ о неизгладимомъ и несравненномъ впечатлѣніи. Пушкинъ былъ въ это время отрокомъ и, слѣдовательно, въ той порѣ, когда впервые раскрывается душа и впечатлѣнія дѣйствуютъ всего могущественнѣе.

Вы помните? Текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умираетъ
Шелъ мимо насъ.

Какъ искренно и какъ глубоко! Идти на войну не значить, какъ воображаетъ, кажется, большая часть нынѣшнихъ писателей, идти *убивать* другихъ; это значить, прежде всего, идти самому на смерть.

Соображая все это, мы были очень удивлены, встрѣтивъ у г. Полеваго о стихотвореніяхъ Пушкина: *Клеветникамъ Россіи* и *Бородинская годовщина*—такой отзывъ:

„Въ нихъ совершенно нѣтъ ни того теплаго чувства, ни той искренности, которыя одни только и способны придать значеніе всякому патріотическому стихотворенію“. (стр. 552).

Дальше этого, по нашему мнѣнію, непониманіе дѣла простираться не можетъ. Стихотворенія эти не только говорятъ сами за себя, но и согласуются строжайшимъ образомъ со всею исторіею развитія Пушкина, со всѣмъ, что онъ говорилъ и писалъ.

Замѣтимъ, что уже Пушкинъ хорошо зналъ сомнѣнія относительно нашей славы, что онъ уже слышалъ скептическіе голоса—и свои, и чужіе. Онъ спрашиваетъ:

Что взяли вы? Еще-ли Россѣ
Больной, ослабленный колоссъ?
Еще ли сѣверная слава
Пустая притча, лживый сонъ?

Но эти сомнѣнія потомъ выросли и заполонили насъ до такой степени, что многіе у насъ перестали понимать самую возможность искренней и живой вѣры въ Россію. Между тѣмъ, если мы не понимаемъ вѣры въ Россію, то мы ровно ничего не поймемъ въ русской литературѣ—вотъ какая бѣда грозитъ новымъ, просвѣщеннымъ историкамъ этой литературы. Если мы думаемъ, что Россія—больной, ослабленный колоссъ, и что ея слава—пустая притча, то на людей, восхищающихся этою славою, мы естественно будемъ смотрѣть или какъ на глупцовъ, не понимающихъ дѣла, или какъ на лгуновъ, писавшихъ громкія фразы ради лести и изъ видовъ. Тогда намъ покажется страненъ и непріятенъ Батюшковъ, любующійся казаками на Аустерлицкомъ мосту, и мы не найдемъ ни искренности, ни теплоты въ стихотвореніи *Клеветникамъ Россіи*. Тогда вся наша литература окажется и фальшивою, и непонятною; ибо не только всѣ большіе русскіе писатели, отъ Ломоносова до Льва Толстого, проникнуты вѣрою въ Россію, но эта вѣра была существеннымъ, главнымъ условіемъ ихъ дѣя-

тельности. Скептицизмъ есть чувство непроеизводительное, и напрасно думаютъ наши историки, что наши сатирическіе писатели, которыхъ они особенно любятъ, фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и т. п., питались однимъ разочарованіемъ и невѣріемъ. Дать полную волю своей насмѣшливости, казнить безъ пощады каждое темное явленіе возможно только при непоколебимой вѣрѣ, что эти явленія суть частности и случайности, не имѣющія существеннаго значенія для здоровья и силы цѣлой Россіи. Императоръ Николай разрѣшилъ постановку *Ревизора* и самъ смѣялся на представленіи. Скептикъ Чадаевъ удивляется этому факту, не понимая, что только онъ, маловѣрный, могъ видѣть въ этой комедіи обличеніе несостоятельности всей русской жизни; Николаю же, при его обиліи вѣры, не могло прійти въ голову бояться того, что глупость и подлость, встрѣчающіяся у насъ, всенародно казнятся на сценѣ. И можемъ увѣрить нашихъ историковъ, что Гоголь имѣлъ въ этомъ случаѣ такіа-же чувства, какъ Императоръ Николай.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Ломоносовъ и Карамзинъ.

Ломоносовъ и Петръ Великій.—Поэтический и ученый подвигъ Ломоносова.—Его поэзія.—Отзывъ Пушкина.—Карамзинъ и Екатерина.—Космополитизмъ и народность.—Сентиментальность.—„Исторія Государства Россійскаго“.

Русская литература, въ своей исторіи, представляетъ стремленіе освободиться отъ чужеземныхъ вліяній, претворить ихъ въ себѣ, побѣдить ихъ и стать вполне самостоятельною. Въ этой работѣ, составляющей ея существенное дѣло, литература находится въ тѣсной зависимости отъ общихъ судебъ русскаго народа, русскаго государства. Такимъ образомъ эпохи Петра, Екатерины, 1812-го года, Севатополя — отражаются въ усиленномъ развитіи литературы, наступающемъ черезъ извѣстный промежутокъ времени. Что эти возбужденія дѣйствуютъ именно въ такомъ смыслѣ, что они все больше и больше развиваютъ въ насъ чувство нашей духовной самобытности, — легко замѣтить даже при поверхностномъ вниманіи.

Ломоносовъ, котораго любимымъ героемъ былъ Петръ, а любимой мыслью — науки и просвѣщеніе, — создаетъ намъ языкъ и стихъ. Съ легкой руки Пушкина у насъ вошло въ моду мало цѣнить эту заслугу Ломоносова и восхвалять его больше какъ ученаго и дѣятеля просвѣ-

щенія. Но если мы взвѣсимъ относительную важность того и другаго подвига Ломоносова въ дѣлѣ нашего развитія, то увидимъ, что *поэтический* подвигъ далеко превосходитъ своимъ значеніемъ подвигъ *ученый*. Мы можемъ смѣло это утверждать, не смотря на мнѣнія самого Ломоносова и не смотря на отзывъ Пушкина. Ломоносовъ смотрѣлъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ на свои упражненія въ словесности,—но это не должно насъ обманывать; это только доказываетъ намъ въ тысячный разъ, что великія дѣла дѣлаются безсознательно, и что часто бываетъ не дано человѣку самому понимать свои силы и смыслъ своей дѣятельности. Что касается до отзыва Пушкина, то въ немъ ясно выражается только чувство того неизмѣримаго превосходства, которое находилъ Пушкинъ въ своемъ языкѣ и своей поэзіи надъ языкомъ и поэзіею Ломоносова. Не забудемъ, что въ то время, какъ и во всякое, существовало великое множество старовѣровъ, которые презрительно смотрѣли на Пушкина и съ благоговѣніемъ вспоминали Ломоносова и Державина. Понятно, что человѣкъ, увѣренный въ красоту своихъ созданій, вздумалъ сравнить себя съ этими авторитетами не *исторически*, а такъ, какъ будто они были его современниками, и въ нѣсколькихъ словахъ записалъ ту огромную разницу, которую нашелъ между ними и собою. Разница записана вѣрно, но выводъ изъ нея сдѣланъ несправедливый. Ибо, изъ того, что поэзія Ломоносова оказалась малою и несовершенною сравнительно съ поэзіею Пушкина, не слѣдуетъ, что величіе Ломоносова не можетъ заключаться въ созданіи столь малой и несовершенной поэзіи и должно быть отыскиваемо въ чемъ-нибудь другомъ, напримѣръ въ его ученыхъ трудахъ или въ заботахъ о просвѣщеніи.

Да поэзію эту, въ сущности, вѣдь нельзя назвать и малою. Она не есть великое дѣло въ полномъ его развитіи, но она, очевидно, есть уже зачатокъ великаго дѣла, то есть такой зачатокъ, который уже носитъ на себѣ черты будущаго величія. Въ стихахъ и прозѣ Ломоносова слышался какой-то тонъ, раздались неожиданно какіе-то звуки, мощные, широкіе, съ такимъ размахомъ, съ такою мужественною мелодіею, что въ этомъ отношеніи ихъ не превзошла до сихъ поръ наша литература. Въ этихъ звукахъ еще не было опредѣленнаго, яснаго поэтическаго содержанія; они были наполнены избытками риторическими образами, отвлеченными и изуродованными преувеличеніями и напыщенными мыслями. Но слѣдуетъ также сообразить и то: откуда-бы могъ почерпнуть Ломоносовъ содержаніе для своей поэзіи? Развѣ могъ хаосъ тогдашней русской жизни дать ему твердую точку опоры? Время было слишкомъ безпокойное; не было ничего установившагося ни въ бытѣ, ни въ понятіяхъ. Но оживленіе было великое, стремленія и надежды, оторвавшія самого Ломоносова отъ рыбацкихъ сѣтей, говорили громко. И вотъ раздались его стихи и его проза, въ которыхъ на первый разъ сказалось только неопредѣленное чувство восторга и силы и уловлена музыкальность русской рѣчи. Ломоносовъ, такъ сказать, задалъ тонъ нашей литературѣ. Вспомнимъ, что въ складѣ стиховъ Пушкина вполнѣ повторяется и только развивается дальше складъ Ломоносовскихъ стиховъ. Пушкинъ любилъ тѣ же размѣры, и безподобное теченіе его рѣчи живо напоминаетъ рѣчь Ломоносова. Въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ Пушкинъ однажды почувствовалъ, что его тонъ совершенно сбивается на тонъ Ломоносова, и ради шутки вставилъ цѣликомъ три Ломоносовскихъ стиха:

*Зоря багряною рукою
Уже отъ утреннихъ долинъ
Выводитъ съ солнцемъ за собою
Веселый праздникъ имянинъ.*

Ученая дѣятельность Ломоносова, которою такъ дорожилъ онъ самъ, которую такъ восхваляетъ Пушкинъ и которую теперь часто ставятъ выше заслугъ Ломоносова въ словесности, по самой сущности дѣла, не могла имѣть большаго значенія. Естественнo, что Ломоносовъ былъ ревностнымъ ученикомъ европейской науки; но эта ревность, даже и при гораздо большихъ успѣхахъ, не могла принести особенныхъ плодовъ ни для науки, ни для Россіи. На ученомъ поприщѣ, Ломоносовъ становился въ ряды всего множества тогдашнихъ европейскихъ ученыхъ, брался за дѣло давно и усердно разрабатываемое; слѣдовательно, быть оригинальнымъ или даже первенствующимъ тутъ было трудно. И дѣйствительно, хотя онъ поравнялся съ лучшими тогдашними учеными, но не оставилъ намъ ни великаго открытія, ни такого направленія въ наукѣ, которое мы могли-бы считать заслугою русскаго ума. Для Россіи Ломоносовъ оставилъ конечно превосходный примѣръ, оставилъ доказательство, что русскіе способны къ наукамъ, что наша академія можетъ со временемъ состоять изъ русскихъ и не уступать другимъ европейскимъ академіямъ. Но, если-бы даже за Ломоносовымъ считались значительныя открытія, его имя для всякаго юноши, посвящающаго себя наукѣ, заслонялось-бы множествомъ именъ другихъ свѣтилъ, и не могло-бы быть путеводною звѣздою, какъ имена Галилея, Ньютона, Кювье и т. п.

Совершенно иное дѣло въ литературѣ. Тутъ нѣкогда Ломоносовъ былъ первымъ и единственнымъ; тутъ онъ совершилъ нѣчто въ высшей степени оригинальное и

оставилъ намъ звуки, которые живутъ до сихъ поръ; тутъ онъ безсмертенъ и послужилъ намъ не только хорошимъ примѣромъ, а и самымъ дѣломъ, результаты котораго будутъ продолжаться, пока будетъ существовать русскій языкъ. Сколько поколѣній воспитывалось на его стихахъ, сколько душъ было согрѣто радостію и вѣрою, которая въ нихъ дышетъ!

Не скажутъ-ли, что это дѣло потому у него вышло успѣшнѣе, что было легче? Не думаемъ, чтобы оно въ сущности было легче, то есть, требовало меньшихъ силъ; но оно было, можетъ быть, естественнѣе, находило себѣ больше естественныхъ средствъ и орудій въ дуплѣ Ломоносова. Можетъ быть вслѣдствіе этой кажущейся легкости, онъ и смотрѣлъ на него нѣсколько свысока. Могъ-ли онъ поставлять себѣ въ особенную заслугу, что хорошо владѣетъ русскимъ языкомъ и чувствуетъ красоту и силу его словъ и словосочетаній? Это казалось ему дѣломъ простымъ. Могъ-ли онъ сознательно оцѣнить и признать за великое свое достоинство тотъ спокойный и свѣтлый восторгъ, которымъ звучатъ его стихи? Для насъ, издали, эта вѣра и сила являются великими; Ломоносовъ-же больше цѣнилъ то, что составляло для него настоящій трудъ и для чего были готовыя мѣрки—свои успѣхи въ наукахъ.

Пушкинъ считалъ главнымъ недостаткомъ Ломоносова „отсутствіе всякой народности и оригинальности“. Этотъ приговоръ относится очевидно только въ содержанію, въ опредѣленнымъ мыслямъ и образамъ, а никакъ не въ языку и тону. Истинная *народность* и *оригинальность* (мы нынче сказали-бы: *самобытность*) принесены намъ, конечно, только Пушкинымъ; до него они появлялись только въ зачаткахъ. Но языкъ и тонъ Ло-

моносова были уже вполне народны и оригинальны, какъ это доказывается и тѣмъ, что они вошли, какъ основной элементъ, въ языкъ и тонъ Пушкина.

До народности и оригинальности содержанія было еще очень далеко; нужно было еще пережить цѣлый періодъ новой фальши, новой амальгамы русскихъ чувствъ и мыслей съ чужими формами и настроеніями, именно Карамзинскій періодъ. Карамзинъ былъ сынъ Екатерининскаго времени, и существенныя свойства дѣятельности Карамзина объясняются вполне только свойствами этого времени. Геніальная царица отзывалась широкою душою на всѣ лучшіе призывы, какіе слышала вокругъ себя: она была одною изъ представительницъ тогдашняго гуманнаго европейскаго просвѣщенія и вмѣстѣ искренно любила Россію, вѣрно понимала и берегла интересы своего народа. Та-же амальгама въ Карамзинѣ; онъ вполне проникнутъ просвѣщеніемъ XVIII вѣка и вмѣстѣ безграничною любовью къ родинѣ, къ тѣмъ людямъ, которые, по свидѣтельству современныхъ нашихъ журналовъ, и были и остаются „первобытными, звѣрообразными варварами“ (Дѣло, 1872, № 1, стр. 7).

Эта способность великихъ душъ обнимать и примирять въ себѣ многое, повидимому различное и непримиримое, кажется непослѣдовательностію мелкимъ и узкимъ умамъ, и они готовы предпочесть этому обилію, этой широтѣ умственной и сердечной жизни одностороннюю дѣятельность человѣка, который слѣпъ и глухъ для всего, кромѣ одной мысли, одного чувства. Такъ, понемногу вошло въ моду у прогрессивныхъ людей прославлять Радищева и отважно ставить его выше Карамзина. Между тѣмъ, очевидно, что Радищевъ не принадлежитъ къ числу влѣстителей своего времени, а есть

его несчастная жертва, раздавленная тѣмъ противорѣчіемъ, въ которое онъ попалъ и относительно котораго онъ стоялъ, конечно, ниже, а никакъ не выше.

Время Екатерины было временемъ удивительнаго примиренія двухъ противоположныхъ началъ, подѣйствиемъ которыхъ развивалась Россія, — наплыва Европейскаго просвѣщенія, и ревниваго охраненія своей самобытности, своей государственной силы, своихъ народныхъ интересовъ. Космополитизмъ въ принципахъ народность въ практикѣ — уживались и не мѣшали другъ другу почти непонятнымъ образомъ. Это было время мира, который, очевидно, не могъ удержаться и грозилъ перейти въ жестокую борьбу; но въ ту минуту никто не замѣчалъ этой опасности. И этотъ миръ принесъ свои прекрасные плоды. Карамзинъ былъ вполне сынъ XVIII вѣка, былъ проникнутъ всѣми лучшими сторонами тогдашняго просвѣщенія, его сентиментальностію, любовью къ людямъ, розовыми надеждами на возможное и близкое счастье человѣчества. Онъ прочелъ лучшія тогдашнія книги и познакомился съ Европою въ своемъ путешествіи, такъ что былъ, безъ сомнѣнія, однимъ изъ лучшихъ тогдашнихъ европейцевъ. Но въ то-же время онъ былъ вполне русскій, гордился своею царицею, глубоко восхищался славою и могуществомъ Россіи, юношески вѣрилъ въ то, что она счастлива и процвѣтаетъ, любилъ душевно свой народъ, отнюдь не видя въ немъ „первобытныхъ и звѣрообразныхъ варваровъ“.

Только при такомъ двойственномъ настроеніи возможно было сдѣлать то, что сдѣлалъ Карамзинъ. Во первыхъ, онъ сблизилъ литературу съ жизнью; во вторыхъ, онъ создалъ Русскую исторію.

Карамзинъ не создалъ великихъ поэтическихъ произведеній; въ отношеніи къ поэзіи онъ стоитъ далеко ниже Ломоносова и Державина. Тѣмъ не менѣе, онъ сдѣлалъ дѣло великое: онъ безмѣрно расширилъ область литературы и если не осуществилъ, то показалъ возможность въ ней такихъ формъ и предметовъ, о которыхъ прежде и не слыхано было. Повѣсть изъ современной московской жизни, повѣсть изъ временъ Новгорода или Алексѣя Михайловича, стихи, выражающіе мимолетное, легкое чувство, изображеніе ежедневныхъ предметовъ и мыслей, сочиненія столь безпритязательныя, что самъ авторъ называетъ ихъ *Бездѣлками*, — вотъ что явилось среди одъ, трагедій и похвальныхъ словъ, и въ первый разъ явилось облеченное въ несомнѣнную, неотразимую красоту. Такія явленія возможны были только при полной вѣрѣ въ себя и въ ту жизнь, которою былъ окруженъ писатель, при наивной увѣренности, что весь строй этой жизни имѣетъ право на поэтическое воспроизведеніе. Нужно было много благодушія, много душевной теплоты и чистоты, чтобы такъ заразительно обманываться и въ этомъ самообольщеніи выразить одну изъ существенныхъ чертъ русскаго духа. Невѣрно видѣлъ и изображалъ Карамзинъ внѣшнюю жизнь своего общества и народа; но очень живо и вѣрно сказалась въ немъ одна черта внутренней жизни этого общества и народа.

Сантиментальность — такъ называется то душевное настроеніе, которое проникаетъ собою сочиненія Карамзина. Хотя это настроеніе, благодаря его сочиненіямъ, увлекло все тогдашнее общество, хотя едва ли какое другое настроеніе достигало у насъ такого распространенія и долгаго господства, однако обыкно-

венно на сентиментальность смотреть, какъ на повѣтріе, занесенное съ Запада, считаютъ ее чуждою и даже противоположною русскому характеру. Не думаемъ, чтобы это мнѣніе было вполне справедливо. Та душевная мягкость, которою отличаются Славяне и которая находится въ связи съ ихъ безволіемъ, съ ихъ распущенностію, съ легкою отзывчивостію на всевозможныя вліянія, съ гибкостію и неустойчивостію чувствъ и мыслей, — эта мягкость очевидно представляла удобную почву для развитія сентиментальности, и русское общество по природному расположенію такъ живо отозвалось на проповѣдь нѣжности и чувствительности. Признать это нисколько не мѣшаетъ то обстоятельство, что русскій характеръ представляетъ многія черты, прямо противоположныя всякой сентиментальности. Психическій строй отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ народовъ кажется нерѣдко развивается по закону полярности, т. е. развитіе однихъ свойствъ вызываетъ и поддерживаетъ развитіе свойствъ прямо противоположныхъ. Французы одинаково знамениты и горячею религіозностію, и вольнодумствомъ; англичане прославились какъ своимъ эгоизмомъ, такъ и благотворительностію; нѣмцы — народъ, въ одно время, и самый идеальный, и самый филистерскій. Такъ и въ русскомъ характерѣ нѣжность и чувствительность (употребляемъ слова Карамзина) сочетаются съ суровостію и холодомъ, расположеніе къ энтузіазму съ вѣчною насмѣшливостію и недоувѣріемъ. Во всякомъ случаѣ, если перебрать всѣ явленія русской литературы, мы кажется найдемъ не мало доказательствъ, что сентиментальность имѣла корни въ самой русской натурѣ. Характеръ самого Карамзина представляетъ одинъ изъ лучшихъ и поразительнѣйшихъ примѣровъ. Итакъ, онъ

имѣлъ нѣкоторое право облекать все въ тѣ звуки и краски, которые такъ ясно звучали и ярко свѣтились въ его собственной душѣ. Картина выходила ложная только на половину и увлекала всѣхъ, очевидно потому, что въ этомъ обманѣ не все было обманомъ.

Но всего поразительнѣе то простодушіе, та геніальная наивность, въ силу которыхъ Карамзинъ создалъ свое важнѣйшее произведеніе, „Исторію Государства Россійскаго“. Для этого труда, для того, чтобы долгіе годы вести его съ пламеннымъ усердіемъ, нужны были совершенно особыя условія, которыя счастливо соединились въ душѣ Карамзина. Нужно было, во первыхъ, высокое развитіе, именно, нужна была большая художественная и нравственная чуткость, такъ, чтобы историкъ могъ понимать и правильно цѣнить характеры лицъ, чтобы образы ихъ воссоздавались передъ нимъ съ приблизительно вѣрнымъ распредѣленіемъ свѣта и тѣней. Но, при этомъ развитіи, нужно было, чтобы историкъ не считалъ себя выше своего народа, какъ считаютъ себя обыкновенно наши просвѣщенные люди, чтобы онъ не смотрѣлъ на этотъ народъ, какъ на „первобытныхъ и звѣрообразныхъ варваровъ“, а напротивъ, твердо вѣрилъ въ его славу, въ принадлежность его къ семьѣ великихъ народовъ, въ то, что его исторія равняется своею значительностію другимъ исторіямъ.

Вспомнимъ то время, когда развивался Карамзинъ, когда складывались его понятія и то душевное настроеніе, которымъ проникнуты его чисто-литературныя произведенія. Въ Европѣ это былъ вѣкъ *анти-историческій*, вѣкъ самодовольнаго просвѣщенія, смотрѣвшаго съ пренебреженіемъ на прошлое и готоваго все пересоздать по новымъ идеямъ. Не заключается-ли по-

этому странная и знаменательная загадка въ томъ, что у насъ одинъ изъ сыновъ этого вѣка, глубоко воспринявшій его идеи, сдѣлался историкомъ своего народа, такъ что просвѣщеніе XVIII столѣтія у насъ отразилось, между прочимъ, созданіемъ исторіи, то есть наращеніемъ любви и уваженія къ прошлому?

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Движеніе литературы въ прошлое царствованіе.

Возбужденіе начавшееся съ 1856 г.—Отвлеченныя идеи.—Идея матеріальнаго благосостоянія.—Ея безсиліе.—Сила нравственныхъ идей.—Отрицаніе искусства.—Красота природы.—Любовь.—Павостныя понятія.—Правило художника.

Какія благородныя, чистыя, сіяющія исходныя точки имѣла та литература, которая началась вмѣстѣ съ минувшимъ царствованіемъ! Можно ли было ожидать, что мы придемъ къ теперешнему печальному положенію? Вспомните, — это была проповѣдь просвѣщенія, свободы, справедливости, это было негодованіе противъ всякихъ золъ и пороковъ, это былъ призывъ къ полному обновленію, къ горячей дѣятельности умственной и нравственной. И что же вышло! Такая жестокая и странная неудача стоитъ того, чтобы объ ней подумать. Какой-то червь подточилъ всѣ тогдашніе всходы, и мы теперь грустно раздумываемъ, скоро-ли и откуда начнется новое движеніе.

Очевидно, начала, лежавшія въ основѣ литературнаго движенія, начавшагося съ 1856 года, были мало содержательны и недолговѣчны. Дѣло было испорчено тѣмъ всемогущимъ вліяніемъ, отъ котораго у насъ много выходитъ зла, — вліяніемъ Европы. Наше возбужденіе, наше одушевленіе послѣ минувшей тишины и скрытаго броженія, приняло направленіе, опредѣленное вѣтромъ дув-

шимъ съ Запада, и принесло насъ на мель. Странное, лихорадочное, почти фантастическое волненіе, овладѣвшее русскимъ обществомъ и возраставшее до 1863 года, не оставило послѣ себя никакихъ почти плодовъ; кромѣ сорныхъ травъ и пустоцвѣта, ничего не укоренилось и не разрослось на русской почвѣ; послѣ всей этой исторіи общество остается въ прежнемъ недоумѣніи, только болѣе разочарованное, меньше прежняго способное держаться чего-нибудь крѣпко и послѣдовательно.

Состояніе Запада въ настоящее время неясно только очень поверхностнымъ людямъ; но всякій, кто искренно и серьезно обращался или обращается къ Европѣ за нравственнымъ руководствомъ, кто дѣйствительно ищетъ въ ней для своихъ мыслей и дѣйствій руководящаго начала,—всякій знаетъ, что Западъ тяжело боленъ, что онъ не исполненъ надеждъ, какъ когда-то было, а весь потрясенъ внутреннимъ страхомъ, ищетъ и не находитъ выхода изъ противорѣчій, зародившихся въ его жизни.

Просвѣщеніе—вещь прекрасная; но вѣдь неизбѣженъ вопросъ: *чему* слѣдуетъ намъ учить непросвѣщенныхъ? какое *содержаніе* въ нашемъ просвѣщеніи? Свобода—дѣло неоцѣненное; но вѣдь свобода есть понятіе отрицательное; спрашивается, *что* намъ дѣлать, когда мы получимъ свободу? *Что* мы хотимъ осуществить въ своей жизни? Для *чего* именно нужна намъ свобода?—Справедливость дорога каждому нравственному человѣку; но въ чемъ состоятъ ея правила? *Что* нужно дѣлать, чтобы быть справедливымъ?

Гордый Западъ когда-то много на себя надѣялся и думалъ, что эти вопросы разрѣшатся сами собою, что истина получится изъ свободы его мысли и правда выяснится изъ борьбы его партій; но теперь эти надежды

ослабѣли и почти угасли; борьба идей привела къ скептицизму, а борьба интересовъ къ неутолимой враждѣ.

Отвлеченныя идеи просвѣщенія, свободы, справедливости не могутъ составлять внутреннихъ двигателей исторіи; содержаніе всему движенію дается другаго рода идеями, имѣющими прямое, опредѣленное значеніе для жизни человѣка. Такъ и въ нашемъ вѣкѣ явилась мысль, которая стала дѣйствительно заправлять исторіею и сдѣлалась мѣриломъ для другихъ мыслей; эта мысль есть идея общаго матеріальнаго благосостоянія, избавленія отъ физическихъ золъ и столь возможно лучшаго пользованія благами жизни. Въ умахъ огромнаго множества людей—къ этой идеѣ, какъ къ главной и центральной, сводятся теперь всѣ другія идеи; и просвѣщеніе, и свобода, и справедливость имѣютъ для этого множества одну верховную цѣль и одно неизмѣнное условіе—матеріальное благосостояніе. Оно есть истинное содержаніе дѣла, а все прочее только формы и пособія.

И вотъ, въ то время, когда мы были такъ сильно возбуждены, когда порывались съ восторгомъ впередъ и готовы были, кажется, на всевозможные подвиги, на юношескую отвагу и самоотверженіе, Европа ничего не могла предложить намъ для руководства, кромѣ этой идеи. Мы приняли ее съ величайшимъ увлеченіемъ, перевертывали на тысячу ладовъ, приложили ко всему на свѣтѣ, довели до величайшихъ крайностей, до отчаяннаго нигилизма, до холоднаго разврата и преступленія, и, такимъ образомъ, въ самый короткій срокъ до того истаскали и измыкали европейскую идею, что она намъ опротивѣла до тошноты.

Европа еще долго будетъ болѣть этою идеею; она принимаетъ ее серіозно и будетъ проводить ее въ жизнь

со своею всегдашнею энергіею и послѣдовательностію. О, еслибы у насъ было иначе! Еслибы эта болѣзнь уже не возвращалась мутить наши умы и сердца! На такое благополучіе, можетъ быть, не слѣдуетъ терять надежды; очень можетъ быть, что *прививная* болѣзнь избавитъ насъ отъ настоящей.

Такимъ образомъ, исторія нашей литературы за минувшее царствованіе весьма поучительна; она представляетъ новый рассказъ о много разъ повторявшемся случаѣ, о томъ, какъ инныя европейскія идеи овладѣвали умами русскаго общества, какъ онѣ развивались, видоизмѣнялись и изнашивались въ этихъ умахъ, и какъ, наконецъ, исчезали, оставляя по себѣ смуту и бесплодную умственную ниву, на которой никакъ не могли укорениться европейскія сѣмена. Вотъ ясное, бросающееся въ глаза содержаніе этой исторіи; если же при этомъ совершалось и что-нибудь положительное, если въ глубинѣ зрѣла понемножку самобытная русская мысль и получила, можетъ быть, нѣкоторое оживленіе отъ самыхъ этихъ исчезающихъ метеоровъ, то это будетъ уже другая исторія, очень темная и очень трудная.

Но что же дурнаго въ идеѣ общаго матеріальнаго благосостоянія? Или точнѣе, почему эта идея оказалась у насъ такою слабою, почему ея жизненность такъ быстро истощилась?

На первый взглядъ это идея прекрасная; безъ сомнѣнія, всякій желалъ бы ея осуществленія; но сказать, что выше ея не должно быть никакого принципа, что она есть главная идея — вотъ что мы считаемъ и невѣрнымъ, и вреднымъ.

Защитники ея насъ увѣряютъ, что будто бы „всѣ, желающіе равномѣрнаго распредѣленія матеріальнаго благосостоянія, желаютъ и равномѣрнаго распредѣленія *духовныхъ благъ и наслажденій*“; намъ говорятъ, что, конечно, невозможно считать за что-нибудь дурное „желаніе снабдить сосѣда тѣмъ, чего у него нѣтъ“; наконецъ насъ спрашиваютъ: „Развѣ желаніе надѣлать всѣхъ и cadaго матеріальнымъ благосостояніемъ не способно составить *идеалъ*, вызвать *высокія чувства, великія мысли*? Развѣ, наконецъ, мы не видимъ этого и въ дѣйствительности, хотя бы и въ слабомъ размѣрѣ?“ („Отеч. Зап.“ 1872. Сентябрь, стр. 132).

Вотъ постановка дѣла, которую мы охотно принимаемъ; мы очень желаемъ, чтобы вопросъ, намъ предлагаемый, не былъ мимолетною журнальною фразою, а былъ дѣйствительною, серіозною мыслью, и будемъ отвѣчать на него въ этомъ смыслѣ. Мы скажемъ рѣшительно: нѣтъ, мысль о благосостояніи неспособна составить идеалъ, не можетъ вызвать высокія чувства и великія мысли. Къ этому способны и это могутъ дѣлать только идеи чисто нравственныя, то есть такія, вся цѣль которыхъ заключается въ нравственномъ усовершенствованіи чело-вѣка, въ возвышеніи достоинства его жизни. Любовь въ ближнему заповѣдана намъ вовсе не какъ средство въ общему матеріальному благосостоянію, а какъ чувство, которое долженъ питать въ себѣ чело-вѣкъ для блага своей души, для такого блага, которое стоитъ выше всего временнаго, всякаго имущества и наслажденія.

Только такими и подобными идеями живетъ чело-вѣчество; напрасно думаютъ, что матеріальная жизнь когда-нибудь много значила, или будетъ значить, въ историческихъ явленіяхъ и дѣйствіяхъ людей. Идея благосостоя-

я сама по себѣ совершенно безсильна, и получаетъ лу только тогда, когда возбуждаетъ собою другія идеи, примѣръ, идеи состраданія, самоотверженія, любви, и же, наоборотъ, идеи злобы, зависти, мести. Человѣкъ, обще, живетъ не имуществомъ, а тѣмъ чувствомъ, которое онъ въ себѣ носитъ и которое его грѣтъ и даетъ у силу. И слѣдовательно, чтобы идея была плодотворна, обы она могла способствовать развитію человѣческихъ душъ, она должна содержать правило чувствъ, лжна быть руководствомъ для сердецъ людей. А этого- и нѣтъ въ идеѣ благосостоянія; и вотъ почему, она только не можетъ считаться *прямымъ* источникомъ совѣхъ чувствъ, но справедливо обвиняется въ томъ, о никакъ не препятствуетъ развитію дурныхъ и злыхъ растей. Когда любовь къ ближнему считается лишь едствомъ къ общему благосостоянію, то недалеко ислъ:—не поискать ли и другихъ средствъ, и не возможно ли обойтись безъ этой любви?

Если намъ указываютъ, что идея благосостоянія *въ дѣй- вительности* уже была источникомъ *высокихъ чувствъ*, на это мы должны сказать, что тутъ дивится рѣ- ительно нечему, что не только эта благовидная идея, и всякія чудовищныя и дикія фантазіи могутъ вызы- ть благороднѣйшія чувства и самый крайній героизмъ. Все ужъ созданіе человѣкъ, что онъ легко хватается всѣ случаи, гдѣ требуется великодушіе и самопо- ртвованіе. Когда раздается кличъ войны, посмотрите гда на людей, если желаете понимать ихъ истинную ироду. Всѣ вдругъ вострепнутъ, какъ будто кончились дни и начинается какой-то праздникъ. Игра въ жизнь смерть, возможность каждую минуту за что-то по- радать и умереть—безконечно привлекательны и зара-

зительны. Энтузіазмъ загорается въ самыхъ вялыхъ и лѣнливыхъ; зрители слѣдятъ за кровавымъ зрѣлищемъ съ жадностью и радостнымъ любопытствомъ—они готовы сами вмѣшаться въ дѣло.

При такой натурѣ людей, что же мудренаго, что идея матеріальнаго благосостоянія нашла поклонниковъ, готовыхъ положить за нее свою душу? Все-таки, она никогда не будетъ главною двигающею идеею, ни зиждительною, ни разрушительною; идеи болѣе сильныя, дѣйствительно способныя насытить человѣческое сердце, всегда возьмутъ верхъ надъ мыслью о благосостояніи, и она будетъ лишь орудіемъ въ ихъ рукахъ. Изъ исторіи мы видимъ, какія идеи потрясали и обновляли человѣчество. Христіанство было проповѣдью блаженствъ, которыя *не отъ міра сего*, проповѣдью новой нравственности. Реформація—первое проявленіе могущественнаго германскаго духа, держалась на той мысли, что нравственное достоинство человѣка зависитъ не отъ папы и его индульгенцій, а отъ Бога и совѣсти cadaго. И тѣ идеи, которыя породили Революцію и до сихъ поръ, развиваясь и видоизмѣняясь, движутъ Европу, состояли не въ одномъ желаніи правъ, имущества, устраненія гнета и т. п., а имѣли нравственную подкладку, отъ которой и заимствовали всю свою силу. Онѣ опирались на мысль, что человѣкъ по самой своей природѣ добрѣ и хорошѣ, что нравственное зло есть случайность, которую возможно устранить безъ нравственныхъ усилій, что для этого нужно лишь поборотъ внѣшнія условія, искажающія жизнь людей.

Идея матеріальнаго благосостоянія, въ которую, наконецъ, съюзились понятія о счастіи жизни и ея достоинствѣ, есть очевидное порожденіе того же поворота въ нравственныхъ взглядахъ людей. Но она, если про-

водить ее строго и послѣдовательно, собственно уже отрицаетъ всякія стремленія, дурныя и хорошія, но имѣющія нравственный, духовный характеръ. Конечно, она никогда не возобладаетъ надъ ними на дѣлѣ, въ дѣйствительности; но въ своей настоящей сферѣ, въ области идей, въ людскихъ умахъ и понятіяхъ, она можетъ получить большую силу, и тутъ она дѣйствуетъ несомнѣнно отрицательнымъ образомъ, расшатывая и разрушая другія идеи, и слѣдовательно, въ сущности, ослабляя силы людей. Всѣ чисто духовныя стремленія—наука, искусство, благородство и чистота души—теряютъ свою истинную, высокую цѣну и разсматриваются только какъ орудія, какъ средства для нѣкоторой высшей цѣли. Какъ нѣкогда въ Средніе Вѣка наука была только *служанкой* богословія, такъ теперь она для многихъ умовъ стала служанкой матеріальнаго благосостоянія. Отъ искусства безпрестанно требуютъ такого же рабства. Наконецъ, подлости и преступленія считаются чуть не героизмомъ, если они служатъ прогрессу. Такъ оправдалось давно сказанное слово, что нельзя служить въ одно время Богу и мамонѣ.

Такимъ образомъ, просвѣщеніе для многихъ современныхъ людей состоитъ преимущественно въ отрицаніи всякихъ духовныхъ требованій, какъ устарѣлыхъ предразсудковъ; свобода—только въ освобожденіи отъ давящей силы капитала; справедливость—только въ равномерномъ распредѣленіи матеріальныхъ удобствъ жизни.

До какой степени такія идеи противны коренному духу русской жизни,—намъ вѣжется, не требуетъ поясненій и доказательствъ. Насколько въ этихъ идеяхъ было призыва въ великодушію и жертвѣ, настолько онѣ и были для насъ привлекательны. Но развиться и

укорениться на нашей почвѣ въ своемъ чистомъ видѣ онѣ не могли. Европа стара; она отжила свои духовныя стремленія. Мы же молоды, и старческія мысли скоро должны намъ опротивѣть. Наша полная духовная жизнь еще впереди, и, если насъ не обманываетъ наша любовь и вѣра, должна распуститься пышными цвѣтами и плодами.

Изъ тѣхъ же идей проистекли и ходячія ученія о поэзіи, которыя унизили смыслъ искусства и много повредили ему, и въ общемъ мнѣніи, и въ развитіи самихъ художниковъ. Идеи политической борьбы, насущной пользы, общаго благосостоянія и т. п. фанатически требовали себѣ главнаго мѣста, устраненія или подчиненія другихъ идей. Когда создаются новые боги, то старые должны быть низвержены, или даже обращаются въ демоновъ-соблазнитель, считаются врагами новаго божества. Кто не съ нами, тотъ противъ насъ. Книги, въ которыхъ писано не то, что въ нашемъ коранѣ,—вредныя книги и должны быть истреблены. Вотъ давнишнія правила нетерпимости и фанатизма, въ силу которыхъ въ нашъ просвѣщенный вѣкъ поэзія подверглась такому гоненію и утѣсненію, каковаго еще не бывало. Мудренаго тутъ ничего нѣтъ; нашъ вѣкъ такое же поприще страстей и узкихъ мыслей, какъ и другіе вѣка; минуты, когда человѣчество устремляется къ идеямъ широкимъ и истинно-чистымъ, рѣдки и скоро проходятъ.

Всякая вещь только тогда бываетъ предметомъ искреннихъ желаній и усилій, когда цѣнится сама по себѣ, а не разсматривается только какъ средство для другой вещи. Къ вещамъ, которыя нужны намъ только какъ средства, мы бываемъ совершенно равнодушны, мы ихъ

бросаемъ, какъ скоро употребили ихъ въ дѣло, мы готовы замѣнить ихъ другими вещами, мы часто питаемъ къ нимъ даже отвращеніе. Мы не любимъ и не имѣемъ никакой надобности любить тѣ лекарства, которыя возвращаютъ намъ здоровье, или тотъ костыль, который замѣняетъ намъ хроую ногу. Вотъ почему, признать какой-нибудь предметъ *средствомъ* значитъ безмѣрно умалить его значеніе; и вотъ гдѣ основаніе для знаменитой формулы *искусства для искусства*. Она имѣетъ тотъ простой смыслъ, что искусство есть предметъ хорошій самъ по себѣ, всегда достойный любви и желанія, и слѣдовательно не можетъ быть рассматриваемо какъ средство. Противники этой формулы должны доказать, что искусство само по себѣ безразлично, что оно ни хорошо ни дурно, а получаетъ различную цѣну, смотря по своимъ результатамъ. Они должны, поэтому, доказывать, что есть случаи, когда искусство дурно, когда оно бываетъ бесполезно, или безнравственно, или вредно въ какомъ-нибудь отношеніи.

Такъ они и доказываютъ.

Искусство, говорятъ они, не всегда ведетъ къ *нашимъ* цѣлямъ, а иногда и противодѣйствуетъ имъ; слѣдовательно оно бываетъ вредно. Вотъ положеніе, которое, по нашему мнѣнію, такъ же трудно доказать, какъ и то, что пищевареніе или дыханіе мѣшаютъ и противодѣйствуютъ чему-нибудь и потому бываютъ вредны.

Возьмемъ частный примѣръ. Лозунгъ къ отрицанію истиннаго достоинства искусства далъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ, Некрасовъ. Еще въ 1856 году онъ написалъ стихотвореніе *Поэтъ и Гражданинъ*, въ которомъ гражданинъ говоритъ поэту:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать;
Еще стыднѣе въ годину горя

*Красу долинь, небесъ и моря
И ласки милой воспѣвать...*

И такъ, два предмета самымъ прямымъ и настоятельнымъ образомъ запрещаются поэзіи: *краса долинь, небесъ и моря*, т. е. природа, и *ласки милой*, то есть любовь. Спрашивается, почему же эти предметы вредны? Некрасовскій гражданинъ увѣряетъ, что непомѣрно стыдно думать о нихъ *въ годину горя*. Но развѣ можно куда-нибудь убѣжать отъ природы и любви? Развѣ это зависитъ отъ человѣческаго произвола?

И чему же могутъ мѣшать природа и любовь? Не составляютъ ли они нашей лучшей радости, не укрѣпляютъ ли они насъ въ минуты величайшаго горя? Насъ увѣряютъ, что взглянуть на небо и подумать о любимомъ существѣ бываетъ иногда стыдно; да это не стыдно не только „въ годину горя“, а и въ минуту самой смерти.

Посмотрите, чтѣ дѣлаетъ народъ, тотъ самый народъ, въ сочувствіи къ которому такъ усердно увѣряютъ насъ наши поэты. Пѣсня для него ежедневная, насущная потребность; въ горѣ и трудѣ онъ поетъ про *синее море* и про *милую друга*.

Но, какъ видно, есть разница между настоящею пѣснью, настоящею поэзіею, наполняющею душу и вырывающеюся изъ души, и стихами, которые продолжительно и упорно сочиняются въ петербургскихъ комнатахъ и предназначаются для украшенія журнальных книжекъ. Никогда истинный поэтъ не усумнится взять предметомъ своего пѣснопѣнія природу или любовь; но стихотворецъ, сочинитель стиховъ, вынужденный подогрѣвать и растягивать свои маленькія чувства, для того чтобы изъ нихъ что-нибудь вышло, конечно можетъ потерять вѣру въ достоинство такихъ предметовъ.

Какой смысл имѣютъ для Некрасовскаго гражданина природа и любовь, если онъ отозвался объ нихъ съ такимъ презрѣніемъ? „Краса долинъ, небесъ и моря“ есть для него предметъ празднаго созерцанія, зрѣлище почему-то пріятное для глазъ, но ничего не говорящее уму и сердцу. А между тѣмъ, природа въ своей вѣчной красотѣ есть великая тайна. Точно такъ, любовь ему является только какъ наслажденіе, какъ *ласки милой*, которыя дѣйствительно *стыдно воспрѣватъ*, если съ ними не связано ничего, кромѣ мысли объ удовольствіи. Между тѣмъ, любовь вѣдь не состоитъ изъ одной клубнички и имѣетъ ту духовную сторону, которая безмѣрно глубока и которой кажется ни на минуту не долженъ бы забывать ни одинъ поэтъ.

Мы вовсе не думаемъ искажать серіознаго значенія, въ которомъ сдѣланы эти выходки; это, изволите видѣть, нѣкоторый суровый аскетизмъ, гражданское монашество. Отреченіе отъ любви есть знакъ отреченія отъ радостей жизни; отреченіе отъ природы есть фанатическое отрицаніе всѣхъ отвлеченныхъ, неправтическихъ интересовъ; созерцаніе природы, какъ извѣстно, есть дѣло вполне безкорыстное и вполне свободное отъ чувственности. Вотъ та суровая гражданская мысль, въ силу которой Некрасовъ такъ рѣшительно подсмѣялся надъ „красою долинъ, небесъ и моря“ и надъ „ласками милой“.

Но посмотрите, что вышло изъ такого противоположнаго и анти-поэтическаго настроенія, изъ такой неосмысленной дерзости противъ существенныхъ законовъ природы и человѣка. Настроеніе, овладѣвшее Некрасовымъ еще въ 1856 году, въ послѣдствіи нашло себѣ весьма пригодную почву въ нашемъ подвижномъ обществѣ, разрослось и стало господствовать. Только немно-

гіе поэты, преимущественно тѣ три, которые заключаются въ стихѣ Добролюбова—

Майковъ, Полонскій и Фетъ

не поддались общему теченію (одинъ изъ нихъ, однако, изрѣдка поддавался); всѣ остальные стихописатели захотѣли непременно быть „гражданскими“ поэтами, стали выбирать предметомъ пѣнія „гражданскіе мотивы“ и стали проливать „гражданскія слезы“. Что же вышло? Расплодилось невыносимая реторика, которая имѣетъ себѣ равную только въ реторикѣ нашихъ одъ конца прошлаго столѣтія; настоящая же поэзія, истинное вдохновеніе—почти вовсе исчезли. Новыхъ поэтовъ не является; молодые люди съ поэтической струйкою сейчасъ-же попадаютъ подъ вредное вліяніе господствующей школы, и—прощай поэзія!

Но вышло нѣчто и гораздо худшее. Такъ какъ стыдно стало воспѣвать „красу долинъ, небесъ и моря“, то наши стихотворцы и читатели журналовъ перестали глядѣть на небо и оборотились спиною къ морю. Бѣда была конечно еще не большая. Небо и море отъ этого не измѣнились; небо по прежнему одинаково сіяло

Надъ безпорочнымъ и виновнымъ;

море по прежнему было могуче и величественно, по прежнему билось въ свои берега и безъ конца мѣняло видъ на своемъ просторѣ. По счастью, скажемъ встати, природа недоступна никакой власти даже сильнѣйшаго прогресса, а безъ того, нѣтъ сомнѣнія, ей пришлось бы плохо. Подъ вліяніемъ своихъ идей люди давно бы ее исковеркали; какая-нибудь новая коммуна, перебивши всѣ статуи и сожегши всѣ картины, пожалуй обратила бы вниманіе и на соблазнъ, вносимый въ общество „кра-

сою долинь, небесъ и моря“, и — будь только это въ ея власти — не задумавшись стерла бы эту сіяющую красоту съ лица, природы.

И такъ, природа намъ осталась такою же, какъ была. Но не то вышло съ любовью. Любви устыдились и перестали ее воспѣвать. Но спрашивается, перестали-ли влюбляться и жениться? О, нѣтъ! влюблялись и женились по прежнему, только въ тихомолку, не дѣлая изъ этого серіознаго дѣла и не поднимая большаго шума изъ за такихъ пустяковъ. Перестали думать и говорить о любви, но на дѣлѣ отъ нея нисколько не отказались. И вотъ, такъ какъ понятія о любви понизились, упростились и огрубѣли, то стали происходить явленія смѣшныя и бессмысленныя, или даже отвратительныя и ужасныя. Смѣшно было, когда влюбленные скрывали свои постыдныя чувства и сохраняли видъ гражданской суровости и равнодушія; отвратительно было, когда никакого чувства дѣйствительно не было и любовь принималась за *естественную потребность*, въ родѣ ѣды и питья.

Наибольшее зло понесли въ этомъ случаѣ женщины. Истинкть, побуждающій женщину стать женою и матерью, такъ силенъ въ ея натурѣ, что можетъ все заглушить и вмѣшивается во всѣ женскія дѣла и отношенія. Когда мужчины стали проповѣдывать, что любовь не дѣло серіозныхъ людей, что умные люди не должны исполнѣ отдаваться поэзіи этого чувства, что даже вся эта поэзія вздоръ, а главное — трудъ, наука, политическіе разговоры, — женщины ничего не сумѣли возразить на это отрицаніе своего значенія; онѣ повидимому покорились, остригли волосы, перестали наряжаться, стали возиться съ книгами, размахивать руками и толковать тоже о трудѣ, наукѣ, политическихъ вопросахъ. Но сво-

его онѣ достигли *)—любовь процвѣтала по прежнему, не смотря на простоту и суровость новыхъ формъ. Тайнственное влеченіе и сродство душъ было осмѣяно и отвергнуто; за то явилось новое начало, дѣйствующее даже гораздо сильнѣе—*сходство убѣжденій*.

Мы слегка касаемся здѣсь предмета очень обширнаго, представляющаго безчисленныя варіаціи. Странное и печальное зрѣлище представляетъ это извращеніе душъ подъ вліяніемъ противоестественныхъ идей. Вотъ намъ наглядное доказательство, какъ права, естественна и полезна поэзія, воспѣвающая любовь. Она одухотворяетъ это чувство, возвышаетъ и истолковываетъ лучшее его значеніе и такимъ образомъ противодѣйствуетъ всякаго рода разврату, который неизбежно является, какъ скоро отношенія между полами опредѣляются какими-нибудь другими началами, все равно деньгами, или гражданскими убѣжденіями. Даже чувственную страсть можно считать въ этомъ случаѣ лучшимъ правиломъ, чѣмъ низведеніе любви на степень простой физической потребности, чѣмъ холодное сластолюбіе, неоправдываемое никакою страстью, не дѣлающее никакого выбора.

Каковъ бы ни былъ смыслъ, въ которомъ прежніе поэты выставляли любовь, онъ, по самому свойству поэзіи, никогда не заключалъ въ себѣ ничего грязнаго. Пушкинъ, напримѣръ, котораго Добролюбовъ называлъ съ насмѣшкою *эротическимъ* поэтомъ, есть истинный образецъ цѣломудрія **). Онъ возвелъ въ нашей литературѣ

*) Правильнѣе было-бы сказать: «но отъ своего онѣ не ушли». Впрочемъ, въ извѣстной мѣрѣ справедливо и первое выраженіе.

**) Это требовало бы подробнаго развитія и доказательства. Цѣломудріе состоитъ не въ томъ, что объ извѣстныхъ предметахъ умалчивается, а въ томъ, какъ объ нихъ говорится. Есть люди, которые ока-

чувство любви до его совершенной чистоты; онъ умѣлъ
смотрѣть на женщину,

Благовѣя богомольно
Передъ святыней красоты.

Между тѣмъ, теперь мы дошли до того, что не понимаемъ этой святыни и этого цѣломудрія. Любовь стала синонимомъ клубнички. Съ какимъ азартомъ журналистка набрасывалась и набрасывается на всякаго поэта или романиста, который вздумаетъ изображать любовь! Можно подумать, что здѣсь дѣйствуетъ достойный почтенія ригоризмъ, гражданское пуританство. Между тѣмъ, въ дѣйствительности тутъ иногда обнаруживается только развратное понятіе о любви; любовь считается вещью совершенно дозволительною, простою, ежедневною, но говорить о ней нельзя, такъ какъ въ сущности она все-таки только клубничка, и на бѣльшее значеніе претендовать не должна, чтобы какънибудь—сохрани Боже!—не отвлечь насъ отъ тѣхъ серьезныхъ дѣлъ, которыя мы постоянно дѣлаемъ.

Естественно, что, когда стихотворцы имѣютъ такіа пакостныя понятія, то у насъ не будетъ и пѣсенъ о любви. И вообще, понятно, почему при такомъ настроеніи у насъ упала поэзія, и никто не хочетъ читать стиховъ

зываются нецѣломудренными даже въ самомъ стараніи избѣгать этихъ предметовъ и въ той осторожности, съ которою ихъ касаются. Пушкинъ же, написавшій столько шуточныхъ неприличностей, и въ нихъ не возмущаетъ истинно-цѣломудреннаго чувства; а въ серьезныхъ произведеніяхъ у него не только всегда на грязные предметы устремленъ совершенно чистый взглядъ; но и является въ удивительной простотѣ и высотѣ тотъ перевѣсъ духа надъ плотью, который свойственъ настоящей поэзіи и настоящему цѣломудрію.

даже съ наилучшими гражданскими чувствами. Мы наказаны за то, что измѣнили завѣту Шиллера:

Пѣвецъ о любви благодатной поетъ,
О всемъ, что святаго есть въ мірѣ,
Что душу волнуетъ, что сердце манитъ.

Мы вздумали обратить поэзію въ средство, и поэзія исчезла; мы забыли, что говорить поэту императоръ:

Не мнѣ управлять пѣснопѣвца душой!
Онъ высшую силу призналъ надъ собой:
Минута—ему повелитель.

Въ этихъ словахъ выражена истинная, неизмѣнная природа поэзіи. Поэтъ, который пересталъ имъ вѣрить и ихъ соблюдать, перестаетъ быть поэтомъ.

(1873 г.)

II.

ПИСЬМА О НИГИЛИЗМѢ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Помутилось сердце человеческое.
*Достоевскій *).*

Наша слѣпота.—Трудность исцѣленія.—Исторія.—Простой народъ.—
Гдѣ источникъ зла?—Личныя побужденія.—Племенная ненависть.—
Нигилизмъ.—Порохъ въ домѣ.—Реальная злоба.—Трансцендентальный
грѣхъ.

Опомнися ли мы? Боже мой! Собираюсь писать, и чувствую всю бесполезность своего труда, такъ ясно чувствую, такъ опредѣленно вижу, что едва могу преодолѣть желаніе оставить перо. Нѣтъ, мы не опомнися! Какъ мы можемъ опомниться, когда и вся жизнь человека, вся его дѣятельность держится на какихъ-то самообманахъ, обманахъ явныхъ, ежеминутно разоблачающихся передъ нами съ страшною очевидностію, и все-таки продолжающихъ насъ обманывать? Тотъ древній мудрецъ, который, узнавъ о смерти сына, остался совершенно спокоенъ, и когда удивлялись этому равнодушію, отвѣчалъ: „я зналъ, что онъ былъ смертенъ“,—этотъ мудрецъ сказалъ повидимому непростительную наивность;

*) «Преступленіе и наказаніе.» II. 209.

но въ сущности онъ былъ правъ. Въ сущности мы дѣйствительно не знаемъ, что мы смертны. Когда умираетъ человѣкъ, котораго мы давно знали, мы всегда бываемъ такъ поражены, такъ застигнуты врасплохъ, что всего точнѣе мы выразили бы наши чувства, если бы сказали: „ахъ, а мы думали, что онъ никогда не умретъ!“ И когда смерть приходитъ за нами самими, мы встрѣчаемъ ее какъ что-то совершенно необыкновенное и незаконное, мы съ изумленіемъ говоримъ: „неужели я долженъ умереть? Я не хочу!“

Бѣдныя созданія! Мы окружены гробами, мы ходимъ по гробамъ, мы каждый день носимъ на себѣ гробы, и все-таки имъ не вѣримъ!

И та же слѣпота во всемъ. Теперь, въ настоящую минуту, мы потрясены ужасомъ, скорбію, стыдомъ отъ совершившагося цареубійства, мы напрягаемъ всю нашу душу, всѣ силы ума, чтобы понять это дѣло, уразумѣть, откуда зло и, главное, какъ намъ быть, что намъ дѣлать. Самые равнодушные, самые закоренѣлые поражены, возмущены. Спросите же себя: почему же ранѣе, почему давно мы не испытывали такого же потрясенія и напряженія? Развѣ въ первый разъ покушаются на Царя? Если ужъ нужны покушенія, чтобы разбудить насъ, то эти покушенія совершались *пятнадцать лѣтъ* сряду. Пятнадцать лѣтъ! Почему же мы не думали объ этомъ такъ, какъ теперь думаемъ? Источникъ этихъ злодѣйствъ былъ тотъ же, какъ и теперь, тѣ же приемы пускались въ дѣло, та же злая мысль ими руководила. Почему же мы не такъ же потрясались и изумлялись? Что же новое могло насъ потрясти и изумить теперь? Не то ли, что нашъ Царь убитъ наконецъ? Въ самомъ дѣлѣ, это удивительно и неожиданно. Мы пятнадцать лѣтъ не

могли повѣрить, что его можно убить; мы въ эти пятнадцать лѣтъ даже совершенно привыкли не вѣрить этому. Да, мы, должно быть, рѣшительно считали его неуязвимымъ, бессмертнымъ, и только теперь, когда мы его хоронимъ, мы поняли наконецъ съ совершенною ясностію, что онъ могъ быть убитъ даже тѣмъ первымъ выстрѣломъ, съ котораго начались эти пятнадцать лѣтъ покушеній, что уже тогда были всѣ причины для того ужаса, скорби и стыда, которыя мы испытываемъ теперь, всѣ причины напрягать всѣ силы нашего ума, всю нашу душу къ пониманію и устраненію зла.

И то же, конечно, будетъ и впередъ. Мы, очевидно, поражены какимъ-то страннымъ ослѣпленіемъ. Теперь, въ настоящую минуту ужаса и стыда, мы смутно чувствуемъ, что мы слѣпы, что намъ слѣдуетъ прозрѣть, и мы мечемся душою, мы готовы съ сокрушеніемъ восклицать: мы всѣ виноваты, всѣ виноваты! Но такъ же, какъ мы обыкновенно не помнимъ, что мы смертны и что кто-нибудь смертенъ, такъ мы скоро забудемъ нашъ ужасъ и стыдъ, и будемъ жить, не слыша подъ собою колебанія земли и внутри себя колебанія своей совѣсти. Мы такъ привыкли въ спокойной жизни, мы такъ увѣрены въ возможности благополучія, что мы будемъ плыть все въ ту же сторону и будемъ бессмысленно работать можетъ быть въ пользу того самаго зла, которое насъ испугало на минуту.

Мы не можемъ прозрѣть. Ложь и зло до такой степени проникли во всю нашу жизнь, такъ слились даже съ лучшими нашими инстинктами, что мы не можемъ отъ нихъ освободиться. Дѣло зашло слишкомъ далеко. Насъ ожидаютъ страшныя, чудовищныя бѣдствія, но что всего ужаснѣе,—нельзя надѣяться, чтобы эти бѣдствія

образумили насъ. Эти безпощадные уроки насъ ничему не научатъ, потому что мы потеряли способность понимать ихъ смыслъ. И если найдутся отдѣльные люди, которые прозрятъ и уразумѣютъ эти уроки, то что же они сдѣлаютъ, что они могутъ сдѣлать противъ общаго потока, среди этого гама изступленныхъ и подобострастныхъ голосовъ? Развѣ можно измѣнить исторію? Развѣ можно повернуть то русло, по которому течетъ вся европейская жизнь, а за нею и наша? Эта исторія совершитъ свое дѣло. Мы вѣдь съ непростительною наивностію, съ дѣтскимъ неразуміемъ, все думаемъ, что исторія ведетъ къ какому-то благу, что впереди насъ ожидаетъ какое-то счастье; а вотъ она приведетъ насъ къ крови и огню, къ такой крови и такому огню, какихъ мы еще не видали. Исторія насъ никогда не обманывала; ея уроки ясны и непрерывны; она отъ начала до конца показывала намъ рядъ преступленій и бѣдствій, рядъ проявленій человѣческаго бездушія и звѣрства; но мы всегда такъ умѣли сочинять и преподавать исторію, что нимало не пугались, а напротивъ, даже утверждались въ нашемъ спокойствіи и нашей безопасности. Такъ и наличныя бѣдствія не заставляютъ насъ одуматься, такъ мы не будемъ понимать и той исторіи, которая совершается передъ нашими глазами.

Въ одно я вѣрю всѣмъ сердцемъ, и одна твердая надежда меня утѣшаетъ,—та, что, какой бы позоръ и какая бы гибель намъ ни грозили, черезъ нихъ пройдетъ невредимо нашъ Русскій народъ, т. е. простой народъ. Онъ чуждъ нашихъ понятій, того разврата мысли, который разъѣдаетъ насъ, и онъ смотритъ на жизнь совершенно иначе: онъ всегда, всякую минуту готовъ къ горю и бѣдѣ, онъ не забываетъ своего смертнаго часа, для него

жить—значить исполнять нѣкоторый долгъ, нести возложенное бремя. Онъ спасется, какъ и прежде спасался, своимъ безграничнымъ терпѣніемъ, своимъ безграничнымъ самопожертвованіемъ. Онъ будетъ расти и множиться и шириться, какъ и до сихъ поръ,—и для насъ (если мы уразумѣемъ, что намъ грозитъ позоръ и гибель) остается одно средство спасенія—примкнуть къ народу, т. е. прилѣпиться душою къ его образу чувствъ и мыслей, и отказаться отъ безумія, среди котораго мы живемъ.

А развѣ это возможно? Для отдѣльныхъ лицъ конечно возможно; но для большинства такъ же невозможно не впитывать въ себя ежедневно заразу безумныхъ и вредныхъ понятій, проникающую всю нашу умственную и нравственную атмосферу, [какъ нельзя перестать дышать воздухомъ. Тутъ нельзя ждать поворота, тутъ бессильна всякая мысль, всякое слово. И потому, если вы допустите на страницы „Руси“ *) мои странныя мысли,—прошу простить мнѣ слабость выраженія и мое волненіе и уныніе; читатель же пусть заранѣе знаетъ, что мнѣ чуждо всякое желаніе умничать, поучать, агитировать. Одного хотѣлось бы: исполнить должное по крайней своей силѣ и по крайнему разумѣнію, сказать свою мысль, какъ бы рѣзко она ни противорѣчила общепринятымъ мнѣніямъ. Все-таки это будетъ заявленный протестъ противъ ходячихъ заблужденій, и можетъ быть онъ въ комъ нибудь найдетъ себѣ отзывъ; можетъ быть мы дождемся когда нибудь и громкаго голоса, зовущаго насъ на истинный путь, дождемся, что Небо пошлетъ намъ

пророка
Съ горячей и смѣлой душой,
Чтобъ міръ оглашалъ онъ далеко
Глаголами правды святой.

*) Письма объ нигилизмѣ печатались въ еженедѣльной газетѣ И. С. Аксакова *Русь*. Москва, 1881. №№ 23, 24, 25 и 27.

Но если кто содрогнулся отъ страшныхъ событій, пусть же теперь работаетъ умомъ и сердцемъ; пусть никто не засыпаетъ, въ комъ пробудилась душа.

Причины зла, источникъ его — вотъ самый важный вопросъ въ настоящее время. Кто не думаетъ объ этомъ, не стремится всѣми силами уяснить себѣ дѣло, тотъ не заслуживаетъ названія соріознаго человѣка. А тотъ, кто думаетъ при этомъ не объ общей бѣдѣ, а только о томъ, какъ бы воспользоваться этою бѣдою, какъ бы при этомъ случаѣ обдѣлать свои дѣла, тотъ не стоитъ имени честнаго человѣка.

Между тѣмъ, мнѣ все кажется, что серіозно размышляющихъ о вопросѣ, вникающихъ въ него съ искреннимъ усиліемъ, между нами очень мало, почти нѣтъ. Мало того, почти нѣтъ и такихъ, которые сознавали бы надобность подумать. Зачѣмъ думать? Да у каждаго сейчасъ же, черезъ двѣ минуты послѣ событія, готовъ отвѣтъ, каждый все рѣшилъ какъ по пальцамъ, и потому принимается усердно выкрикивать свое мнѣніе и думаетъ только объ одномъ: какъ бы половчѣе защищать его. И часто, поспѣшнымъ и легкомысленнымъ является тотъ, кто горячѣе другихъ принялъ дѣло къ сердцу.

Что же это за рѣшенія? Горе въ томъ, что при этомъ каждый не видитъ нужды выходить изъ сферы своихъ привычныхъ понятій, и каждый ищетъ источника злодѣйства въ томъ, въ чемъ привыкъ полагать наибольшее зло, на чемъ привыкъ сосредоточивать свою вражду. Злодѣи должны были руководиться злобою; убійцы Русскаго царя должны были питать ненависть къ Русскому царству—вотъ общій смыслъ разнообразныхъ предположеній, вотъ выводъ по видимому таковой простой и естественный, что ему невозможно противорѣчить. Корень

дѣла-- или озлобленіе противъ царя, или ненависть въ Русской землѣ; изъ этой дилеммы, повидимому, нѣтъ выхода. Можно даже вознегодовать на того, кто рѣшился бы отвергать такую ясную мысль. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, можно полагать, что не злоба была главнымъ двигателемъ безчеловѣчнаго преступленія, что не ненависть въ Россіи руководила ударомъ, отъ котораго застонала Россія?

И вотъ, мы готовы безъ конца перебирать причины, которыя соотвѣтствуютъ такимъ предположеніямъ. Мы спрашиваемъ, не было ли у Государя личныхъ враговъ, людей раздраженныхъ и озлобленныхъ чѣмъ-нибудь прямо противъ его лица? Потомъ, не было ли такихъ, которые злobiliсь не на него лично, а на его управленіе, на тотъ строй, во главѣ котораго онъ стоялъ? Мы перебираемъ всѣхъ, кто могъ понести несправедливости и притѣсненія, мы мысленно соединяемъ въ одну картину всѣ тягости, всѣ неправды, всякое правительственное зло, какое у насъ было или могло быть, и спрашиваемъ: не отсюда ли явились злодѣи? Это страшное злодѣйство не составляетъ ли отголоска озлобленія, зародившагося въ какомъ-нибудь углу Россіи, не вызвано ли оно неправильнымъ распоряженіемъ, чрезмѣрною строгостію къ какимъ-нибудь лицамъ или дѣламъ? Тутъ намъ открывается обширное поприще соображеній. Мы допытываемся, какого званія и происхожденія преступники, чѣмъ они занимались, съ кѣмъ водились, отъ кого и отъ чего могли пострадать и вознегодовать, и когда найдемъ причины раздраженія, мы удовлетворяемся и даже, пожалуй, сами начинаемъ проповѣдывать противъ порядковъ и случаевъ, вызвавшихъ это раздраженіе.

Однимъ словомъ, мы тутъ приписываемъ преступленіе

...не время наболевшему невинный в
чаяхъ, пожалуй, возвышается и до
добрых и невинных души особенно
кому идилическому взгляду.

Увы! доброта и невинность не пом
путываніи этого узла. Мы должны
человѣкъ, живущемъ въ государствѣ
ніа неспособны имѣть такую силу.
привыкаетъ къ мысли, что тяжелая
государства можетъ наносить ущербъ
всѣ мы каждый день чувствуемъ хот
гости, происходящей отъ того, что мы
держимъ на себѣ государство. Бунтъ, с
суть вещи очень обыкновенныя, но
только очень опредѣленными, соверш
частными явленіями, такъ что винова
ливо обнаруживаютъ во всѣхъ своихъ
они идутъ противъ извѣстнаго лица, и
а не противъ государства вообще, и
тельства и законовъ вообще.

Нѣтъ, злодѣйства происходятъ —

силы. Наши политики и историки очень естественно останавливаются на этих соображеніяхъ. Польскій фанатизмъ, или, можетъ быть, ярость обезумѣвшихъ хохломановъ, — вотъ гдѣ злоба дѣйствительно можетъ dorости до тѣхъ размѣровъ, въ какихъ мы видимъ ее передъ собою.

Такое разрѣшеніе вопроса, конечно, несравненно выше, чѣмъ выводъ всего дѣла изъ личныхъ побужденій. Наши приступники, очевидно, посягаютъ на политическое существованіе Россіи; слѣдовательно, они дѣйствуютъ за одно съ ея политическими врагами. Эти враги должны радоваться ихъ дѣйствіямъ; всякій, кто ненавидитъ русскую силу въ Европѣ, долженъ чувствовать желаніе помочь нашимъ анархистамъ, можетъ быть и дѣйствительно помогаетъ, можетъ быть даже самъ становится въ ихъ ряды. У тѣхъ и другихъ одна цѣль, одно желаніе, такъ что ни по результатамъ, ни по способу дѣйствій невозможно отличить однихъ отъ другихъ.

Между тѣмъ различить необходимо. Если есть различіе, то мы должны его отыскать и опредѣлить; иначе мы вѣдь не узнаемъ настоящаго корня зла, иначе страшные уроки исторіи пропадутъ даромъ, и мы будемъ слѣпо двигаться къ пропасти, и мы не будемъ знать, что намъ дѣлать, если только мы способны что-нибудь дѣлать противъ этой опасности. Кажется, есть надъ чѣмъ подумать, кажется, пора попробовать собрать свои мысли, а не твердить одно и то же, не двигаться все по однимъ и тѣмъ же колеямъ.

Корень зла — нигилизмъ, а не политическая или національная вражда. Эта вражда, какъ и всякое недовольство, всякая ненависть, составляетъ только пищу нигилизма, поддерживаетъ его, но не она его создала, не

она имъ управляетъ. Если какой-нибудь ненавистникъ Россіи далъ денегъ или прислалъ бомбы для нашихъ анархистовъ, то это значитъ только, что онъ сталъ слугою нигилизма, работаетъ въ его пользу, а не наоборотъ, не нигилизмъ ему служить. Разница огромная и существенная, которую мы никакъ не должны упускать изъ виду, если желаемъ правильнаго смысла въ нашихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ. Вообразимъ, что въ какомъ-нибудь обширномъ домѣ вдругъ оказалось, что въ разныхъ темныхъ и незамѣтныхъ углахъ насыпанъ порохъ. Отъ времени до времени происходятъ взрывы этого пороха, производятъ разрушеніе и ужасъ, и, пожалуй, скоро обратятъ весь домъ въ развалины. Чтѣ бы мы сказали, если бы хозяинъ этого дома вовсе не беспокоился о разложенномъ у него порохѣ, а только сердился бы на тѣхъ, кто его поджигаетъ? Порохъ, это—нашъ нигилизмъ; вмѣсто того, чтобы думать только объ его поджигателяхъ, не разумнѣе-ли позаботиться объ уничтоженіи пороха? Притомъ, какая наивность, какой верхъ наивности—думать, что порохъ самъ по себѣ ничего, что тотъ, кто только владетъ порохъ, еще не дѣлаетъ ничего дурнаго, что можетъ быть онъ вовсе не имѣетъ въ виду произвести взрывъ, а что истинные злодѣи, настоящіи источникъ зла—это люди, поджигающіе порохъ! Вотъ въ какую жестокую ошибку мы можемъ попасть. Прѣ всѣхъ своихъ усилійхъ противъ поджигателей, если дѣ же они и найдутся, мы можемъ довести дѣло до того что во всѣхъ углахъ у насъ будетъ порохъ, и тогда одной искры будетъ довольно, чтобы все поднять на воздухъ. Не лучше же ли подумать, какъ бы очищать пороха наши углы? Не въ этомъ ли должна состоя наша главная забота? Когда бы домъ нашъ былъ чи

отъ пороха, то мы могли бы не бояться взрывовъ, и поджигатели были бы намъ уже не такъ страшны.

Вотъ правильная постановка дѣла, вотъ прямое рѣшеніе вопроса. Но боюсь и предчувствую, что эта постановка не будетъ принята, и это рѣшеніе будетъ отвергнуто. Съ одной стороны, дѣло въ такомъ видѣ является слишкомъ сложнымъ и труднымъ; съ другой стороны, оно для большинства кажется непонятнымъ, невѣроятнымъ.

Нигилизмъ! Да возможно ли мечтать объ его уничтоженіи? Если бы дѣло шло только объ истребленіи наличныхъ нигилистовъ, то можетъ быть нашлись бы еще люди, которые сочли бы эту мѣру достойною вниманія и разсмотрѣнія. Но дѣло вовсе не въ нигилистахъ, а въ нигилизмѣ. Какъ сдѣлать, чтобы ослабѣло и умалилось это направленіе? Какъ обратить на истинный путь тѣхъ, кто стоитъ теперь на этомъ ложномъ? Какъ предупредить по крайней мѣрѣ, чтобы ежегодно и ежедневно тысячи и тысячи молодыхъ людей не сбивались съ пути, не вербовались въ эту незримую армію? Истреблять зараженныхъ дѣло не хитрое; но какъ истребить заразу? Тутъ невозможность такъ ясна для всѣхъ, такъ уже признана всѣми, что объ ней обыкновенно и не разсуждаютъ. Признано, что нигилизмъ составляетъ какъ бы естественное зло нашей земли, болѣзнь, имѣющую свои давніе и постоянные источники и неизбежно поражающую извѣстную часть молодаго поколѣнія. Самые смѣлые замыслы и попытки измѣнить наше образованіе и дать умамъ другое направленіе останавливаются только на мысли—воспитать часть молодыхъ людей въ другихъ началахъ, а никакъ не смѣютъ простираться до мечтаній о полномъ ослабленіи нигилизма.

Если же такъ, то большинство тѣмъ охотнѣе начинаетъ невѣрить въ самую силу нигилизма. „Нѣтъ“, говорятъ, „эти недоучившіеся мальчишки не могутъ имѣть никакого серіознаго значенія; у нихъ нѣтъ ни средствъ, ни опредѣленнаго плана, ни такой цѣли, которая внушала бы эту дьявольскую энергію. Если вы утверждаете, что нигилисты произвели этотъ рядъ покушеній, то скажите намъ, какую цѣль они могли имѣть въ виду? Какую разумную цѣль можно придумать для этихъ дѣйствій? Только для враговъ Россіи могутъ быть выгодны эти потрясенія: а кто не врагъ Россіи, тотъ можетъ ихъ дѣлать только изъ чистаго желанія зла, изъ жажды разрушенія для разрушенія. Ужели же это возможно? Ужели такая дивная мысль можетъ кого-нибудь воодушевлять и доводить до отчаянныхъ усилій, до пожертвованія собою?“

Да, это дѣйствительно трудно понять; между тѣмъ, кто не пойметъ этого, тотъ не пойметъ и существа дѣла. Трудно, очень трудно понять, что вовсе не какіе-нибудь реальные интересы, не опредѣленные личные, временныя, мѣстные побужденія порождаютъ эти ужасы, а порождаютъ ихъ отвлеченныя мысли, призранныя желанія, фантастическія цѣли. Если же кто понялъ это, тотъ, мнѣ думается, долженъ невыразимо содрогнуться передъ этимъ безуміемъ, содрогнуться съ несравненно бѣльшимъ страхомъ, чѣмъ передъ всякою реальною злобою, чѣмъ передъ самой чудовищной, но реальной ненавистью. Ибо, реальные желанія можно удовлетворить, реальную ненависть можно отразить и обезоружить; но что сдѣлать съ фантастическою ненавистью, которая питается сама собою, надъ которою ничто реальное не имѣетъ силы? Да, наша бѣда истинно ужасна, наша опасность без-

мѣрна; напрасно мы стали бы уменьшать ея размѣры,— это ничему не поможетъ.

Посмотрите, какъ просто было бы дѣло, если бы Государя убилъ кто-нибудь, питавшій лично къ нему безумную ненависть. Тогда это была бы случайность, которой никогда невозможно избѣжать и надъ которою нечего было бы думать. Точно такъ, если бы убійцы были люди, обиженные властями, пострадавшіе отъ суда или администраціи, то самое большее, что отсюда можно было бы вывести, состояло бы въ томъ, что открылся бы нѣкоторый совершенно опредѣленный порокъ въ государственной машинѣ, порокъ, доводящій людей до отчаянія. Говоримъ, *совершенно опредѣленный*, ибо дойти до посягательства на жизнь Государя вслѣдствіе вообще какой-нибудь понесенной несправедливости— есть безуміе, въ которомъ неспособны вполнѣ неповрежденные люди.

Въ этомъ отношеніи, чрезвычайно ясный смыслъ имѣетъ предубѣжденіе, встрѣчавшееся у простаго народа, будто-бы виновники покушеній принадлежать къ числу лицъ, потерпѣвшихъ убытки вслѣдствіе крестьянской реформы. Вотъ, въ самомъ дѣлѣ, мѣра, которая отразилась на жизни множества людей и, по грубому понятію, должна была озлобить кого-нибудь изъ нихъ. Это совершенно невѣрно, но, по крайней мѣрѣ похоже на объясненіе, не говоря даже о высшемъ его смыслѣ. Люди, охладѣвающіе къ родному языку, вѣрѣ и обычаю, становятся чуждыми народу, и онъ, въ своей темнотѣ, можетъ причислить къ нимъ злодѣевъ, въ которыхъ находитъ полное отреченіе отъ своего духа и отъ глубочайшихъ своихъ интересовъ. Другаго подобнаго, хотя бы и ложнаго, объясненія выставить невозможно. Въ одномъ изъ недавнихъ политическихъ процессовъ,

совершившій покушеніе подсудимый говорилъ о свободѣ печати, и судившіе снисходительно его выслушали. Ну развѣ не было бы верхомъ нелѣпости, если бы мы вообразили, что этотъ преступникъ принадлежитъ къ большой массѣ людей, пламенно желающихъ печатно высказывать свои нецензурныя мысли, и что онъ, когда другіе только терпѣли и негодовали, дошелъ до ярой ненависти, сѣлъ на лошадь и выстрѣлилъ въ проѣзжавшаго начальника 3-го Отдѣленія? Совершенно ясно, что свобода печати была для него не дѣйствительная, личная потребность, а отвлеченная мысль. Нѣтъ, эти покушенія не протестъ, не мщеніе, не требованіе; иначе они имѣли бы не общій, а частный смыслъ, имѣли бы ясно-опредѣленное значеніе.

Національная и политическая ненависть, вотъ это — нѣчто совершенно опредѣленное. И опять скажемъ, что если бы дѣло сводилось къ этой ненависти, то сравнительно это была бы меньшая бѣда и меньшій ужасъ. Между поляками и хохломанами есть заклятые враги Россіи; но что бы они значили безъ союза съ нашимъ чисто-внутреннимъ врагомъ? И во всякомъ случаѣ, если бы это были чистые націоналы, они могли бы постепенно образумиться вмѣстѣ съ успокоеніемъ своего народа. Рано или поздно можно было бы предвидѣть ихъ ослабленіе, если только позволительно предвидѣть въ челоуѣчествѣ ослабленіе коварства и злобы, если только можно думать, что ненависть не всегда же ищетъ себѣ поводовъ, когда не имѣетъ для себя причинъ.

Но той бѣды, которая пришла на насъ, мы не избудемъ ни реформами, ни умиротвореніемъ народностей. Нигилизмъ есть движеніе, которое въ сущности ничѣмъ не удовлетворяется, кромѣ полного разрушенія. О, понятно, почему есть столько людей, которые не въ си-

лахъ этому повѣрить, не могутъ вмѣстить этого въ своихъ понятіяхъ. Нигилизмъ это не простой грѣхъ, не простое злодѣйство; это и не политическое преступленіе, не такъ называемое революціонное пламя. Поднимитесь, если можете, еще на одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противленій законамъ души и совѣсти; нигилизмъ, это—грѣхъ трансцендентальный, это—грѣхъ нечеловѣческой гордости, обуявшей въ наши дни умы людей, это—чудовищное извращеніе души, при которомъ злодѣяніе является добродѣтелью, кровопролитіе—благодѣяніемъ, разрушеніе—лучшимъ залогомъ жизни. Человѣкъ вообразилъ, что онъ полный владыка своей судьбы, что ему нужно поправить всемірную исторію, что слѣдуетъ преобразовать душу человѣческую. Онъ, по гордости, пренебрегаетъ и отвергаетъ всякія другія цѣли, кромѣ этой высшей и самой существенной, и потому дошелъ до неслыханнаго цинизма въ своихъ дѣйствіяхъ, до кощунственнаго посягательства на все, передъ чѣмъ благоговѣютъ люди. Это—безуміе соблазнительное и глубокое, потому что подъ видомъ доблести даетъ просторъ всѣмъ страстямъ человѣка, позволяетъ ему—быть звѣремъ и считать себя святымъ.

И это направленіе—не случайность, не помѣшательство; нѣтъ, въ немъ, какъ въ фокусѣ, отразились всѣ нынѣшнія господствующія стремленія, весь духъ нашего времени; вотъ что хотѣлъ бы я объяснить въ этихъ письмахъ, насколько смогу и съумѣю.

Если мы не отыщемъ другихъ началъ, если не прилѣпимся къ нимъ всею душою, мы погибнемъ.

19 марта 1881.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Сей возраст жалости не знаетъ.

Крыл.

Гордость.—Презрѣніе.— Ненависть.—Самодовольство.—Долгъ и самопожертвованіе.—Проповѣдь и ея фіаско.—Бездарность и ложь.—Злодѣйство.—Безсердечіе.—Молодость.—Распространеніе заразы.—Непоследовательность.— Гордость просвѣщеніемъ.— Самостоятельное мышленіе.— Политическое честолюбіе.— Политическія преступленія.— Бѣдствія впереди.

Программа нигилистовъ извѣстна. Но мнѣ хотѣлось бы сдѣлать общій ея очеркъ, взявъ дѣло съ той стороны, на которую часто не обращаютъ вниманія. Нигилизмъ весь основывается на дурныхъ свойствахъ человѣческой души, но на такихъ, въ которыхъ возможно самообольщеніе, то есть можно принимать свой недостатокъ за достоинство. Эти жалкіе и страшные безумцы, такъ много толкующіе о матеріальныхъ интересахъ, видящіе въ нихъ главный стержень жизни и исторіи, сами увлекаются на свой путь не матеріальными, а духовными соблазнами; эти извращенные люди доказываютъ самымъ своимъ извращеніемъ, что не плоть, а духъ главное начало въ человѣкѣ.

Коренная черта нигилизма есть *гордость* своимъ умомъ и просвѣщеніемъ, какими-то правильными понятіями и разумными взглядами, до которыхъ наконецъ достигло, будто бы, наше время. Никакъ нельзя сказать, однакоже,

чтобы мудрость, исповѣдуемая этими мудрецами, представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большею частию это грубѣйшій и безтолковѣйшій матеріализмъ, ученіе столь простое, такъ мало требующее ума и дающее пищи уму, что оно доступно самымъ неразвитымъ и несвѣдущимъ людямъ. Нигилисты сами невольно чувствуютъ эту скудость своего умственного достоянія, сознаютъ, что такою мудростію трудно гордиться. Поэтому, ихъ самолюбіе прибѣгаетъ къ извороту, и они начинаютъ тщеславиться не тѣмъ, что они сами знаютъ, а отрицаніемъ того, что признаютъ и во что вѣрятъ другіе люди. Здѣсь—безконечное поприще для самодовольства, ежеминутно питающагося *презрѣніемъ* ко всему остальному человечеству. Считая всѣхъ другихъ живущими въ темнотѣ невѣжества и предразсудковъ, нигилисты получаютъ возможность ставить себя выше толпы, принимать себя за избранныхъ, передовыхъ, за соль земли. Въмѣсто того, чтобы, чувствуя скудость своихъ понятій, приходитъ въ недоумѣніе и отчаяніе, они, напротивъ, постоянно потѣшаются созерцаніемъ чужаго невѣжества, постоянно упражняются въ отрицаніи чужихъ понятій и тѣмъ поддерживаютъ свою гордость.

Въ отношеніи къ нравственности у нихъ тоже выходитъ нѣчто подобное. Ихъ требованія отъ себя и отъ жизни очень смутны и скудны. Они почти не заботятся о собственномъ усовершенствованіи, какъ будто считая себя отъ природы совершенными; прямыя цѣли, которыя долженъ ставить себѣ человекъ въ жизни, у нихъ выходятъ невысокія и неясныя: больше всего они толкуютъ о матеріальномъ благосостояніи, о равенствѣ и свободѣ, но толкуютъ на разные лады и даже не осо-

бенно ищутъ отчетливаго опредѣленія этихъ своихъ высшихъ благъ и взаимнаго соглашенія въ ихъ пониманіи. И вотъ, чувствуя скудость своихъ идеаловъ, видя, что нельзя питать душу этимъ плоскимъ взглядомъ на жизнь, они невольно прибѣгаютъ къ хитрости, дѣлаютъ душевный изворотъ и возбуждаютъ свое нравственное чувство не къ положительнымъ стремленіямъ, а къ *ненависти*. Не тѣмъ доволенъ нигилистъ, что онъ нашелъ истинное благо и что пламенѣетъ къ нему любовью, а тѣмъ, что онъ исполненъ такъ-называемаго благороднаго негодованія къ господствующему злу. Зло — есть необходимая пища для его души, и онъ отыскиваетъ зло всюду, даже тамъ, гдѣ и самая мысль о злѣ не можетъ прійти въ голову непросвѣщеннымъ людямъ. Всякое установленіе, всякая связь между людьми, даже связь между мужемъ и женою, между отцемъ и сыномъ, оказываются нарушеніемъ свободы; всякая собственность, всякое различіе, естественное или пріобрѣтенное, выходитъ нарушеніемъ равенства; всякія требованія, ставимыя природою или обществомъ, не могутъ быть выполнены безъ извѣстныхъ ограниченій — и равенства, и свободы, и матеріальнаго благосостоянія. Эта критика существующаго порядка такъ радикальна, идетъ такъ далеко, что совершенно ясно и послѣдовательно приходитъ къ отрицанію не только всякаго порядка, но почти и всего существующаго. Можно было бы удивиться безумію этихъ людей, не видящихъ, въ какую ловушку они зашли, не понимающихъ, что возможность зла возникаетъ изъ самаго существованія опредѣленнаго, имѣющаго свои условія, добра, если-бы эти люди не находили въ своихъ нелѣпостяхъ пищи для своей души. Эта пища, второю они живутъ, есть раздраженіе, гнѣвъ, не-

ненависть; не самое благо имъ нужно; вмѣсто того, чтобы унывать и скорбѣть о пустотѣ того идеала, въ который у нихъ разрѣшается понятіе о жизни, они, напротивъ, полны восторга, что чужды какому-то злу и что ненавидятъ это зло.

Таковы нигилисты; нѣтъ людей болѣе самодовольныхъ, болѣе удовлетворенныхъ умственно и нравственно; а посмотрите, какими простыми средствами это достигается! Они считаютъ себя умными только потому, что ни во что не вѣрятъ, и добрыми только потому, что не участвуютъ въ жизни другихъ людей и смотрятъ на нее съ негодованіемъ. И, такъ какъ для этого вовсе не нужно ни большаго ума, ни большой душевной доблести, то оказывается, что даже жалчайшія и презрѣннѣйшія существа, неспособныя ни въ какому дѣлу и достоинству, а только чувствующія въ себѣ нѣкоторый позывъ къ гордости и ненависти, обращаются въ нигилистовъ и могутъ не уступать въ своемъ нигилизмѣ самымъ способнымъ и благороднымъ сотоварищамъ. Самолюбіе, зависть, бездарность, дурное сердце—вотъ часто дорога къ нигилизму, и нигилизмъ не имѣетъ въ себѣ ничего противъ этихъ недостатковъ, напротивъ даетъ имъ пищу и пріютъ.

Такое положеніе дѣла не можетъ не чувствоваться и самимъ нигилизмомъ; душа человѣческая не можетъ успокоиться на такомъ явномъ пониженіи, на такомъ пошломъ и глупомъ выходѣ. И вотъ; вступаютъ въ силу старыя забытыя слова, *долгъ, служеніе, самопожертвованіе*, и чѣмъ отчаяннѣе была пустота въ ихъ душѣ, чѣмъ гнуснѣе были позывы гордости и ненависти, тѣмъ съ большею силою душа выходитъ на этотъ путь, тѣмъ съ большею ревностію она предается этому послѣднему соблазну, дальше котораго уже некуда идти и нечѣмъ

соблазняться. Ихъ гонить сюда внутреннее отчаяніе. Нигилистъ, рѣшающійся дѣйствовать и для этого рискующій своею жизнью, конечно можетъ воображать, что онъ дошелъ до конца и жертвуетъ самымъ дорогимъ, чтò у него есть; но, въ сущности, это дорогое можетъ быть и не очень-то для него дорого.

Въ чемъ-же этотъ долгъ и это служеніе? Такъ какъ нигилисты считаютъ лишнимъ заботиться о своемъ собственномъ умѣ и сердцѣ, такъ какъ они не видятъ въ жизни людей никакого добра, никакого хорошаго дѣла, которому можно бы служить, то они придумали себѣ другія обязанности, болѣе высокаго разбора. Будучи вполне довольны своимъ просвѣщеніемъ и поведеніемъ и вполне недовольны существующимъ порядкомъ, они должны были признать своимъ главнымъ долгомъ просвѣщать другихъ и содѣйствовать ихъ прогрессу. Всѣ нигилисты непременно политики, страдаютъ гражданскою скорбью и заботятся объ общемъ благѣ. Первое и прямое поприще для этихъ заботъ, конечно, — проповѣдь, литература, прокламація. И вотъ они пробуютъ на все возможные лады вести пропаганду 'своихъ идей, разрушать предрасудки, раскрывать господствующее зло, обличать, возбуждать то негодованіе, которымъ сами переполнены. Они самоуверенно выходятъ на тотъ путь, которомъ такъ прославились Прудоны, Герцены, Лсали, и даже думаютъ, что сейчасъ же превзойдутъ ихъ учителей.

Никто и никого не имѣетъ права порицать за повѣдываніе своихъ убѣжденій. Въ нашемъ мірѣ, вѣтанномъ на христіанствѣ, мы должны признавать за дымъ право ставить свою совѣсть выше всего; ка ни была извращена эта совѣсть, для нея еще есть

спасенія, если она не отравлена ложью, если не отрывается отъ самой себя. Поэтому, меньше всего можно винить нигилистовъ за самое ихъ желаніе проповѣдывать; мы не будемъ называть ихъ *непризванными учителями*, не будемъ упрекать, что они взялись *не за свое дѣло*. Если бы они дѣйствительно вели борьбу только духовнымъ оружіемъ мысли и слова и были бы искренни, то ихъ слѣдовало бы признать терпимыми, какія бы безумія они не проповѣдывали. Но полная искренность, но борьба чисто духовнымъ оружіемъ суть дѣла столь высокія и трудныя, какъ того и не подозрѣваетъ большинство проповѣдниковъ. Не мудрено, что нигилисты не выдержали своихъ притязаній; они потерпѣли двойную неудачу: во-первыхъ, они не имѣли литературнаго успѣха, во-вторыхъ, они очень скоро потеряли главную пружину всякой проповѣди, совѣсть, и впали въ ложь.

Подъ литературнымъ фіаско нигилистовъ я разумѣю то рѣшительное пренебреженіе къ ихъ заграничнымъ писаніямъ и къ ихъ подпольнымъ изданіямъ внутри Россіи, которое началось у насъ съ 1863 года и доросло въ послѣдніе годы до какого-то подавляющаго презрѣнія и равнодушія. Эта непрерывная неудача тѣмъ поразительнѣе, что ей предшествовалъ блестящій успѣхъ. Герценъ, уѣхавши за границу, рѣшился остаться тамъ навсегда именно для того, чтобы свободно высказывать свои вольнодумныя мысли, и на первыхъ порахъ казалось, что слово, сдѣлавшееся свободнымъ, получило невообразимую, волшебную силу дѣйствія на умы. Точно также, первыя подпольныя прокламаціи, появлявшіяся въ Петербургѣ, не смотря на дикость своего содержанія, передавались изъ рукъ въ руки и читались съ величайшимъ любопытствомъ. Казалось, такимъ образомъ, что

найденъ прямой путь дѣйствія, что нужно только постараться, и Россія быстро измѣнитъ свой умственный и нравственный образъ и начнетъ новую жизнь. Увы, обольщеніе быстро разсѣялось. Оказалось, что вся сила была не въ свободномъ словѣ, а въ талантѣ и остроуміи Герцена, и что, когда прошло любопытство новизны, никто не сталъ читать плохихъ и безтолковыхъ писаній. Но, разумѣется, нигилисты продолжали упорствовать въ своихъ надеждахъ и не догадывались, въ чемъ дѣло. Цѣлыя толпы уходили за границу, чтобы обречь себя на писательское поприще, и плодили изданія, которыми подъ конецъ интересовался развѣ ихъ собственный кружокъ. Кромѣ бездарности, эту неудачу довершила та страшная ложь, которая развилась въ этихъ писаніяхъ. Принципъ этой лжи тотъ же, который заражаетъ болѣе или менѣе всякую политическую литературу. Когда писаніе совершается не для того, чтобы выразить душу пишущаго, а имѣетъ цѣль внѣ себя, хочетъ служить постороннему дѣлу, оно легко впадаетъ въ адвокатскіе приемы; люди начинаютъ обманывать себя и другихъ, и сами губятъ себя ложью. Въ послѣдней прокламаціи, какъ было приведено въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, нашъ благодушнѣйшій покойный Государь названъ *тираномъ*. Съ великими опасностями и трудами нигилисты напечатали это заявленіе; но спрашивается, какой же человѣческій смыслъ оно можетъ имѣть и на кого можетъ подѣйствовать, кромѣ такихъ же бѣсноватыхъ?

Несчастный Герценъ, завлекшись въ агитацію и запутавшись въ ней, наконецъ бросилъ всю эту ложь и глупость, и тоскливо прожилъ въ бездѣйствіи свои послѣдніе годы, ваясь въ своихъ ошибкахъ. Другіе проповѣдники терпѣли постоянную неудачу. Оказывалось,

что самое удобное мѣсто для нигилистической литературы не на свободѣ, а внутри Россіи. Тутъ, являясь въ печати, нигилизмъ сдерживался и невольно принималъ болѣе умный и благородный видъ. Цензура не давала говорить слишкомъ явныхъ глупостей и лжей, а между тѣмъ писатель могъ намеками внушать читателямъ очень высокое понятіе о тѣхъ сокровищахъ просвѣщенія и гуманности, которыя онъ вынужденъ хранить про себя; да кромѣ того — считалъ себя вообще уже въ полномъ правѣ на всякое лукавство и всякую неправду.

Такимъ образомъ, литературная дѣятельность, то есть единственная дѣятельность нигилизма, могущая быть законною, была слишкомъ медленна и неудачна, и не могла удовлетворить нигилистовъ, даже если бы они были расположены одною ею ограничиваться. Они стали искать другаго поприща, чтобы дѣйствовать, и многіе *пошли въ народъ*, чтобы распространять свои мысли и разжигать недовольство въ простыхъ людяхъ. И тутъ удача была ничтожная въ сравненіи съ ожиданіями; мужики, которымъ (какъ было напечатано лѣтъ двадцать назадъ въ одномъ журналѣ) *въ десять минутъ* разговора умный человѣкъ могъ надѣяться вполне раскрыть ихъ истинные интересы, оказались ужасно непонятливыми и упорными. Сѣмена революціи не принимались на русской почвѣ, и старый порядокъ стоялъ крѣпко. Понятно, что самые смѣлые и ожесточенные нигилисты давно стали выходить на другой путь, на единственный путь, обѣщавшій вѣрные успѣхи, на путь злодѣйствъ. Вы видите, какая логика сюда ихъ привела; они разрѣшили себѣ всякое зло, какое физически можетъ причинять человѣкъ другимъ людямъ, и они вдругъ изъ безсильныхъ и пренебрегаемыхъ сдѣлались могучими и страшными. Прежде

они готовы были разрѣшить себѣ, и даже разрѣшали, всякій нравственный ядъ и нравственный динамитъ; но эти средства въ ихъ рукахъ почему-то очень слабо дѣйствовали. Тогда они прибѣгли къ физикѣ и химіи, которыя дѣйствуютъ неотразимо, и дѣло пошло гораздо успѣшнѣе. Они не могли убить враждебные имъ принципы; тогда они стали убивать людей, представлявшихъ собою эти принципы. Какая радость для злодѣя сознавать, что онъ можетъ поколебать цѣлое государство, навести ужасъ на милліоны людей, и что всякая власть и сила, всякая любовь и преданность безсильны противъ его покушеній! Чтобы достигнуть такого адскаго могущества, ему приходится рисковать собою; но цѣль очевидно слишкомъ высока и соблазнительна въ сравненіи съ той цѣною, которою она покупается. Въ дурной нашъ вѣкъ жизнь, какъ извѣстно, очень понизилась въ цѣнѣ; да и никогда человѣкъ не дорожилъ ею такъ, чтобы не рисковать ею на разные лады, чтобы не жертвовать собою въ какой-нибудь игрѣ, несравненно менѣе завлекательной, чѣмъ эта нынѣшняя игра.

Всѣ люди имѣютъ стремленіе жить умомъ и сердцемъ; всѣ стремятся и къ нѣкоторой дѣятельности; если эти стремленія представляютъ большую энергію, мы всегда склонны видѣть въ ней что-то хорошее, обѣщающее. Но посмотрите, какъ жестоко извращены эти силы у нигилистовъ: умъ ихъ направленъ къ отрицанію, сердце къ ненависти, дѣятельность къ разрушенію. Притомъ, сами они ставятъ все это себѣ въ величайшее достоинство, безъ чего конечно и невозможна была бы ихъ душевная чудовищность. Никто сознательно не хочетъ быть дурнымъ; такъ и нигилисты, чтобы воснѣтъ въ своемъ злѣ, должны постоянно обманывать самихъ себя. Они

итаютъ себя умными, но оказывается, что они умны
лько чужой глупостью; они считаютъ себя чистыми и
презрѣніемъ смотрятъ на другихъ, но на самомъ
лѣ они святы только чужими грѣхами. Они видятъ
себѣ благодѣтелей рода человѣческаго, а въ дѣйст-
тельности они потому сдѣлали своимъ орудіемъ зло,
о неспособны произвести ничего добраго. Они выбра-
тотъ путь, который съ наименьшими требованіями и
наибольшею легкостью можетъ удовлетворять ихъ са-
любію, ихъ жаждѣ проявлять себя. Поэтому, величай-
ія душевныя гадости могутъ уживаться съ нигилизмомъ;
я совершенія того, что они считаютъ своими геройскими
двигами, часто достаточно одной тупости, и, во всякомъ
учаѣ, требуется только звѣриная хитрость и ненасытное
орадство. Истинно-благородная душа должна чувство-
тъ къ дѣламъ этого рода глубокое отвращеніе.

Нѣтъ, это безуміе имѣетъ своимъ источникомъ не лю-
вь къ людямъ, которую оно осмѣливается писать на
оємъ знамени, а именно *безсердечіе*, отсутствіе истин-
го чувства добра, нравственную слѣпоту. Это не жи-
е, теплое стремленіе сердца, а напротивъ, отвлеченная
зесточенность, холодный, головной порывъ. Вотъ по-
му, это безуміе встрѣчается въ крайней степени толь-
у молодыхъ людей, когда сердце еще не выросло, а
лова и самолюбіе уже распалены, когда настоящая
изнь и настоящія человѣческія отношенія еще невѣ-
мы, когда человѣкъ еще эгоистиченъ и безжалостенъ,
къ малый ребенокъ, а между тѣмъ несетъ себя высоко
воображаетъ себя призваннымъ для распоряженія судь-
ю другихъ людей.

Острыя формы этой болѣзни поражаютъ, какъ извѣ-
но, только людей недозрѣлыхъ; но согласитесь, что, въ

общихъ своихъ чертахъ и въ болѣе мягкихъ формахъ, эта самая зараза у насъ распространена во всѣхъ слояхъ общества, кромѣ простаго народа. И въ этомъ-то наша главная бѣда и опасность. Болѣзнь постоянно поддерживается тѣми самыми людьми, которые приходятъ въ непритворный ужасъ отъ злокачественныхъ ея проявленій. Весь умственный складъ нашей интеллигенціи, даже той, которая далека отъ прямого нигилизма, направленъ однако въ его сторону; нигилисты часто имѣютъ полное право говорить, что они только послѣдовательнѣе другихъ, только доходятъ до крайнихъ выводовъ изъ тѣхъ началъ, какія ежедневно проповѣдуются съ кафедръ и проводятся въ печати. Жизнь, конечно, рѣдко послѣдовательна; люди съ самыми дурными началами часто не видятъ законныхъ слѣдствій этихъ началъ, и сами ведутъ себя совершенно по другимъ началамъ, о которыхъ не догадываются. Но, если дурныя начала существуютъ, то они наконецъ должны обнаруживать и свое дурное дѣйствіе. Мы совершенно въ правѣ осуждать сердце и душу людей, поддавшихся этому дѣйствію, но не имѣемъ права не видѣть ихъ послѣдовательности; напротивъ, намъ слѣдуетъ изучать эту логику, чтобы добраться и до тѣхъ первыхъ посылокъ, которыя она принимаетъ за исходныя точки.

Гордость просвѣщеніемъ есть безъ сомнѣнія общая черта нашего времени, а не свойство однихъ нигилистовъ. Конечно, очень дикое явленіе представляетъ недошедшій до конца курса гимназистъ, уже съ презрѣніемъ смотрящій на все окружающее и видящій во всей исторіи, и даже въ томъ, что было десять лѣтъ назадъ, уже темную, невѣжественную старину. Но развѣ онъ самъ додумался до этой гордости? Онъ ее всосалъ изъ разгово-

ь своихъ наставниковъ; онъ ее заимствовалъ изъ ка-
тъ-нибудь книгъ, имѣющихъ притязаніе на свѣжую
ременность, изъ *Бокля*, изъ *Голоса*, изъ первой по-
шейся популярной брошюры. Ученая и литератур-
гордость разрослась въ наше время до чрезвычай-
ти и пронибла всюду.

Замоувѣренный молодой человѣкъ начинаетъ тѣшить
й умъ упражненіями въ отрицаніи; онъ отрицаетъ
ь легче и смѣлѣе, чѣмъ меньше понимаетъ; онъ, какъ
тливый ребенокъ, непрерывно задаетъ вопросы, ко-
ыхъ правильная постановка и настоящій смыслъ ему
по силамъ, и очень доволенъ нелѣпостію, которая
этого выходитъ. Но развѣ онъ виноватъ? Его, мо-
тъ быть, съ пяти лѣтъ кто-нибудь старался обучить
остоятельному мышленію и увѣрялъ, что до всего
дуетъ доходить своимъ умомъ; если же этого не было,
и въ школѣ, и въ университетѣ онъ непремѣнно
ышитъ, что отрицаніе есть великая сила, заправляю-
и прогрессомъ цивилизаціи, и тому подобное.

Гочно такъ, политическое честолюбіе, непремѣнное
ланіе быть дѣятелемъ на поприщѣ общаго блага, есть
а изъ самыхъ распространенныхъ чертъ нашего вре-
и. На человѣка, удаляющагося отъ участія въ об-
ственныхъ дѣлахъ, смотрятъ почти съ презрѣніемъ;
й умъ и свое благородство мы больше всего стре-
ся показать горячимъ вмѣшательствомъ въ государ-
енные и соціальные вопросы.

Говорить ли, къ чему сводится это вмѣшательство?
зкончаемое злорѣчіе, повальное злорадное охуденіе —
тъ занятіе просвѣщенныхъ людей. Люди умные и опыт-
е конечно ведутъ себя при этомъ прекрасно: они тѣ-
гся злорѣчивыми бесѣдами, но на практикѣ очень

смирны и уживчивы. Но наивный юноша легко можетъ принять дѣло серіозно, огорчиться и озлобиться на самомъ дѣлѣ.

Не подумайте, что я здѣсь говорю только объ Россіи; то же самое дѣлается во всей Европѣ. Вся Европа жаждетъ прогресса и увѣрена въ скоромъ наступленіи лучшихъ временъ. Наше время считается переходнымъ и твердо признается, что мы живемъ не въ нормальномъ положеніи. А что прогрессъ совершается революціями, это доказывается всемірною исторіею. Поэтому, политическія преступленія собственно не считаются преступлениями и караются какъ бы только изъ приличія. Общество невольно чувствуетъ, что эти преступники составляютъ его собственное порожденіе, и что часто они только выполняютъ на дѣлѣ убѣжденія, съ которыми многіе другіе носятъ всю жизнь, не приводя ихъ въ исполненіе,—причемъ свое бездѣйствіе эти несчастные не умѣютъ ничѣмъ и объяснить себѣ, кромѣ собственной подлости.

При такомъ общемъ направленіи мнѣній и чувствъ, понятно происхожденіе нигилистовъ, понятно, что они должны постоянно вновь нараждаться и плодиться, и что, подвергаясь преслѣдованію правительствъ и карѣ законовъ, они не могутъ не встрѣчать въ интеллигенціи нѣкотораго сочувствія и оправданія. И этотъ ходъ дѣлъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не вступятъ въ силу другія начала, могущія измѣнить настроеніе умовъ и дать всей нравственной жизни иное направленіе. Эти начала конечно существуютъ; но они заглохли или затерялись среди общаго могущественнаго потока европейскаго просвѣщенія. И люди не образумятся и не отрезвятся до тѣхъ поръ, пока не *изживутъ* своихъ нынѣш-

НИХЪ ПОНЯТІЙ, ПОКА НА ДѢЛѢ, НА ЖИЗНИ НЕ ИСПЫТАЮТЪ ТОГО, ВЪ ЧЕМУ ВЕДУТЪ ИХЪ ТЕПЕРЕШНІЯ ЖЕЛАНІЯ. ПОЭТОМУ, МОЖНО ПРЕДВИДѢТЬ ВПЕРЕДИ ВЕЛИКІЯ БѢДСТВІЯ, СТРАШНЫЯ ПОТРАСЕНІЯ: ЛЮДИ ДОЛГО БУДУТЪ СЛѢПЫ И НЕ БУДУТЪ ВНИМАТЬ САМЫМЪ ЯСНЫМЪ УРОКАМЪ, САМЫМЪ ГОРЬКИМЪ ОПЫТАМЪ.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Шаткость всѣхъ понятій.—Вѣковѣчныя начала.—Счастливое время.—Мечтательность и дѣйствительность.—Новое божество — прогрессъ.—Внутреннее противорѣчіе.—Жажда страдальчества.—Замѣна религіи.—Идеальная потребность.—Цѣль освящаетъ средства.—Неизбѣжныя бѣдствія.

Кажется, всего поразительнѣе въ наше время—*шаткость* всѣхъ понятій, странное (и въ сущности страшное) отсутствіе полной, твердой увѣренности въ какихъ бы то ни было началахъ, научныхъ, нравственныхъ, политическихъ, экономическихъ.

Наше время, считающее себя просвѣщеннѣйшимъ изъ всѣхъ временъ, кажется, ничего не признаетъ за неизблемую, вѣковѣчную истину. Такой скептицизмъ даже прямо возводится въ принципъ: „да“, говорятъ, „мы сегодня думаемъ такъ и такъ, но прогрессъ идетъ, человечество движется впередъ, и какъ знать? Что сегодня мы считаемъ истиною, завтра окажется ложью, что признаемъ за добро, то, можетъ быть, завтра признаемъ за зло“.

Это колебаніе, это отверженіе твердыхъ точекъ опоры простирается рѣшительно на все, не только на философію, исторію, науку права, политическую экономію, но и на то, что называется точными науками, на тѣ естественныя науки, которыми всего больше гордится

наше время, въ которыхъ оно нашло, повидимому, наилучшее, самое блистательное поприще для человѣческаго ума. Не могу забыть, какъ, разсуждая съ однимъ знаменитымъ химикомъ, я услышалъ отъ него, что онъ ожидаетъ нахожденія фактовъ, которые могутъ опровергнуть и законъ *сохраненія вещества*, и законъ *сохраненія силы*. Мое изумленіе было безмѣрно: чтò же есть твердаго во всѣхъ наукахъ о природѣ, если даже эти истины не окончательно тверды? И гдѣ же искать незыблемыхъ познаній, если и здѣсь нѣтъ ничего незыблемаго?

Сказать ли прямо мое убѣжденіе? Мнѣ кажется, нашъ вѣкъ глубоко ошибается, исповѣдуя такой скептицизмъ, такое отсутствіе вѣковѣчныхъ началъ и въ жизни природы, и въ жизни человѣческой. Они есть, эти начала, они дѣйствуютъ и дѣйствовали искони, и непреклонное ихъ могущество не можетъ быть сломлено никакою силою, никакимъ прогрессомъ. Нашъ вѣкъ впалъ въ большое легкомысліе, не признавая основъ мірозданія, вообразивъ, что можно ихъ замѣнить чѣмъ-то другимъ, или передѣлать, усовершенствовать. И онъ несомнѣнно будетъ наказанъ за свое легкомысліе. Люди вѣка теперь образуютъ два отдѣла: одни смутно тоскуютъ, чувствуя, что чего-то не достаетъ въ жизни, нѣтъ ни единой твердой точки подъ ногами; другіе, наиболѣе бодрые, играютъ, какъ бы радуясь, что не на чтò опереться, и строятъ разные воздушные замки прогресса, смотря по своимъ вкусамъ и желаніямъ. Нашъ вѣкъ безъ сомнѣнія нужно считать сравнительно спокойнымъ и счастливымъ временемъ, въ которомъ надъ множествомъ людей дѣйствительность тяготѣетъ очень слабо. Пользуясь существующимъ порядкомъ, можетъ быть очень несовершен-

нымъ и дурнымъ, но имѣющимъ то достоинство, что это не мнимый, а реальный порядокъ,—пользуясь имъ, мы можемъ свободно предаваться мечтамъ, воображать себя очень умными и доблестными, достойными величайшихъ благъ, критиковать этотъ самый порядокъ, относиться къ нему съ строжайшею требовательностію и даже отвращеніемъ, и строить въ своей фантазіи новыя человѣческія отношенія, въ которыхъ не будетъ золь, насъ огорчающихъ. Такія занятія очень пріятны и завлекательны, но они не могутъ продолжаться безъ конца. По всегдашнему требованію души человѣческой, люди будутъ искать дѣятельности, будутъ такъ или иначе пытаться воплощать свои понятія. И какъ только они выступятъ въ жизнь, такъ и начнутся разочарованія, тѣмъ болѣе горькія, чѣмъ слаще были мечтанія. Все то, что отрицалось и подвергалось сомнѣнію, всѣ дѣйствительныя силы и свойства міра человѣческаго, заявятъ свою непобѣдимую реальность. Вдругъ обнаружатся истинныя душевныя качества людей, признававшихъ за собою Богъ знаетъ какія высокія достоинства. Проповѣдники терпимости и гуманности вдругъ окажутся нетерпимѣйшими фанатиками, отрицатели авторитетовъ—раболѣпными поклонниками какихъ нибудь новыхъ идеаловъ, противники войны и казни—жестокими и кровожадными преслѣдователями, либералы—властолюбцами и притѣснителями, словомъ—души явятся въ ихъ настоящемъ, давно извѣстномъ видѣ. Для разрушенія у людей хватить силъ; найдется до вольно ненависти и дурныхъ инстинктовъ, чтобы до конца расшатать созданія многихъ вѣковъ. Но, когда придется созидать новое, окажется, что это вовсе не такъ легко, какъ представлялось мечтателямъ, что все ихъ остроуміе—пустая игра фантазіи, и они, измученные и

отрезвѣвшіе, прибѣгнуть наконецъ въ какой нубудъ изъ давнишнихъ формъ общежитія, которую нѣкогда гордо отвергли, и которую будутъ всѣми силами возобновлять для своего спасенія.

Вотъ какой прогрессъ можно предвидѣть; если мы идемъ въ лучшему, то это лучшее состоитъ только въ нашемъ излѣченіи отъ скептицизма и мечтательности; но мы дорого заплатимъ за это излѣченіе.

Было бы великимъ дѣломъ, если бы кто нибудь научилъ насъ не ждать другаго прогресса, если бы мы могли, такъ сказать, теоретически уразумѣть то, что признать заставить насъ горькій опытъ. Но это невозможно; еще ни въ какое мечтательное время вѣра въ прогрессъ не была такъ сильна, какъ въ наше; это — новый богъ, которому приносятся кровавыя жертвы и подъ торжественную колесницу котораго бросаются люди, когда думаютъ, что по ихъ раздавленнымъ тѣламъ легче и скорѣе пойдетъ движеніе колесъ. Потому что, вѣдь таковъ настоящій смыслъ производимаго ими террора, убійствъ, пожаровъ, взрывовъ и всякаго тайнаго зла, какое только можно придумать. Они, анархисты, думаютъ, что чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, что нужно способствовать прогрессу всѣми силами и всѣми средствами, что это есть лучшій подвигъ и высшее назначеніе человека, что за разрушеніемъ должно послѣдовать обновленіе, новая лучшая жизнь, новый періодъ человѣчества.

Просвѣщенные люди часто любятъ вспоминать инквизицію, какъ ужасный примѣръ того, до чего можетъ довести фанатическое суевѣріе; но теперь оказывается, что противники всякаго фанатизма и суевѣрія сами способны доходить до ужасовъ, равняющихся ужасамъ

инквизиціи, и доходятъ до нихъ, загораясь новымъ, такъ сказать обратнымъ фанатизмомъ, обратнымъ суевѣріемъ. Природа беретъ свое, и того, что легко отрицать на словахъ, невозможно избѣжать на дѣлѣ.

Трудно высказать всю мѣру того внутренняго противорѣчія, той вопіющей душевной путаницы, въ которой живетъ современный человѣкъ, и которая могла бы его замучить, если бы она только сознавалась, если бы эти повлоники разума и критики не были въ сущности легкомысленны и слѣпы, какъ малыя дѣти.

Вотъ мы отвергли религію, мы съ торжествомъ и гнѣвомъ преслѣдуемъ каждое ея обнаруженіе. Но вѣдь душу, разъ пріобщившуюся этому началу, уже повернуть назадъ нельзя; мы откинули религію, но религіозности мы откинуть не могли. И вотъ, люди, видящіе всѣ идеалы въ земныхъ благахъ, стремятся къ отреченію отъ этихъ благъ, къ самоотверженію, къ подвижничеству, къ самопожертвованію. Разумные люди, реалисты, отвергнувшіе всякіе мнимые страхи и узы, умѣющіе повидимому разрѣшить очень просто всякій житейскій узелъ, вдругъ начинаютъ чувствовать потребность на что-то жаловаться, отъ чего-то сокрушаться и находятъ себя несчастными. Достатка, безопасности, спокойной работы, этихъ, по ихъ собственному мнѣнію, лучшихъ цѣлей жизни, никто не хочетъ; напротивъ, безпрестанно являются люди, которые хотятъ быть страдальцами, мучениками, и, за неимѣніемъ дѣйствительныхъ страданій, придумываютъ себѣ мнимыя, за неимѣніемъ наличныхъ бѣдъ, нарочно лѣзутъ въ бѣду, въ которую ихъ никто не тянулъ.

Отчего же это? Да очевидно отъ того, что здоровье, свобода, матеріальное обезпеченіе, работа—все это вздоръ передъ тайными требованіями ихъ души; душѣ человѣ-

ой нужна иная пища, нуженъ идеаль, которому
но было бы жертвовать всѣмъ, за который бы можно
умереть. Если нѣтъ у насъ такой высшей цѣли,
рой бы можно служить беззавѣтно, передъ которою
ожна земная жизнь, то намъ, христіанамъ по вос-
нію, противѣютъ заботы о личныхъ благахъ и удоб-
хъ, намъ становится стыдно нашего благополучія, и
легче чувствуется, когда мы терпимъ бѣду и обиду,
когда насъ ничто не тревожитъ. Поэтому, револю-
еръ напрасно думаетъ, что его мучить земля мужи-
, или ихъ тяжкія подати; все это и подобное—не
еко настоящая причина, сколько предлогъ для му-
а, для того душевнаго изворота, которымъ заглу-
ся пустота души. Роль страдальца очень соблазни-
на для нашей гордости; поэтому, за неимѣніемъ
хъ печалей достойныхъ этой роли, мы беремъ на себя
умѣется мысленно) чужія страданія, и этимъ удовле-
емся. Высокоумный революціонеръ не замѣчаетъ,
онъ въ сущности обижаетъ бѣдныхъ мужиковъ: имъ
онъ даетъ въ удѣлъ только матеріальныя нужды и
данія, онъ только въ этомъ отношеніи плачетъ объ
; себѣ же выбираетъ долю возвышеннаго страдальца,
ически волнующагося объ общемъ благѣ. Онъ не знаетъ,
астный, что эта мудрость самоотверженія, до кото-
онъ додумался и которую извратилъ, знакома этимъ
икамъ отъ колыбели, что они ее сознательно исполня-
на дѣлѣ всю свою жизнь, что они твердо и ясно зна-
то высшее благо, безъ котораго никакая жизнь не
етъ цѣны и о которомъ бессознательно тоскуютъ
вѣщенные люди. Вокругъ насъ безконечное море
мужиковъ, твердыхъ, спокойныхъ, ясныхъ, знаю-
тъ, какъ имъ жить и какъ умирать. Не мы, а они

счастливы, хотя бы они ходили въ лохмотьяхъ и нуждались въ хлѣбѣ; не мы, а они истинно-мудры, и мы только по крайней своей глупости вообразили, что на насъ лежитъ долгъ и внушить имъ правильныя понятія о жизни, и обратить эту жизнь изъ несчастной въ счастливую.

Нельзя вообще не видѣть, что политическое честолюбіе, служеніе общему благу, заняло въ наше время то мѣсто, которое осталось пустымъ въ человѣческихъ душахъ, когда изъ нихъ исчезли религіозныя стремленія. Нашъ вѣкъ есть по преимуществу вѣкъ политическій; политика, какъ верховное начало, подчиняетъ себѣ нынѣ все: литературу, науку, искусство и даже самую религію, насколько ея осталось. Какъ прежде для человѣка считалось высшею задачей—спасеніе его души, такъ теперь считается—обязанность чѣмъ-нибудь содѣйствовать общему благу. Быть общественнымъ дѣятелемъ — вотъ одна цѣль, достиженіе которой можетъ сколько-нибудь удовлетворить современнаго человѣка. Иначе онъ будетъ считать себя ничтожнымъ членомъ бессмысленно и бесполезно живущей толпы, и не будетъ ему никакого утѣшенія въ его ничтожествѣ. Очевидно, тутъ нами движетъ не дѣйствительный интересъ, т. е. мы не потому добиваемся общаго блага, что желаемъ имъ пользоваться, что съ его развитіемъ связано и наше частное благо, а дѣйствуетъ въ насъ интересъ идеальный, т. е. мы желаемъ служить чему-нибудь, чтобы не служить одному лишь себѣ, чтобы имѣть гордое утѣшеніе, что наше собственное благо не составляетъ нашего высшаго интереса. Быть частнымъ человѣкомъ въ полномъ смыслѣ этого слова — никто не хочетъ, хотя всѣ хлопочутъ о благѣ именно частныхъ людей.

Понятно, какое противорѣчіе, какое жестокое безпокойство вносится въ жизнь такими стремленіями; политическое волненіе, постепенно охватывающее Европу, вносится въ нее, главнымъ образомъ, высшими классами, людьми не страдающими, а наиболѣе пользующимися общими благами нынѣшняго могущественнаго государственнаго устройства, но ищущими какого-нибудь исхода для пустоты своей совѣсти, чувствующими, что нельзя жить не имѣя служенія, не подчиняясь какимъ-нибудь совершенно безкорыстнымъ требованіямъ. Существуетъ, въ настоящее время, огромное, никогда не бывалое на земномъ шарѣ множество достаточныхъ, или даже богатыхъ, частныхъ людей, которые не несутъ на себѣ почти никакого долга, а живутъ лишь для себя, пользуясь твердостью всячески ограждающаго ихъ государственнаго порядка. Такое положеніе не даетъ никакой пищи для совѣсти, и потому, многіе изъ нихъ стараются создать себѣ долгъ и обращаютъ свою душу къ общественнымъ вопросамъ. Самые крайніе и требовательные приходятъ наконецъ къ отреченію отъ своего класса, отъ выгодъ своего положенія — и вотъ самый чистый изъ источниковъ социализма. Соціалистическія ученія и порождены и поддерживаются не столько тѣми классами, интересъ которыхъ составляетъ ихъ цѣль, сколько людьми, для которыхъ этотъ интересъ сталъ идеальной потребностью. Сень-Симонъ былъ графъ, Оуэнъ — фабрикантъ, а Фурье — купецъ.

Что же касается до прямыхъ революціонеровъ и анархистовъ, то весь складъ ихъ жизни ясно указываетъ, чѣмъ питаютъ они свою совѣсть. Ихъ нравственный разрывъ съ обществомъ, съ грѣховнымъ міромъ, жизнь отщепенцевъ, тайныя сходки, связи, основанныя на от-

влеченныхъ чувствахъ и началахъ, опасность и перспектива самопожертвованія,—все это черты, въ которыхъ можетъ искать себѣ удовлетворенія извращенное религіозное чувство. Какъ видно, легче человѣку поклониться злу, чѣмъ остаться вовсе безъ предмета поклоненія.

Но какая глубокая разница между настоящею религіею и тѣмъ суррогатомъ религіи, который въ различныхъ формахъ все больше и больше овладѣваетъ теперь европейскими людьми! Человѣкъ, ищущій спасенія души, выше всего ставитъ чистоту души и потому избѣгаетъ всего дурнаго. Человѣкъ же, поставившій себѣ цѣль внѣ себя, желающій достигнуть опредѣленнаго внѣшняго, объективнаго результата, долженъ рано или поздно прійти къ мысли, что цѣль освящаетъ средства, что нужно жертвовать даже совѣстію, если того непременно требуетъ дѣло. Политическая дѣятельность, если мы возьмемъ всѣ ея виды, даетъ и вообще большой просторъ страстямъ человѣка; тутъ есть мѣсто и для вражды, и для честолюбія и для гордости. Но кромѣ того, въ этой дѣятельности есть, очевидно, неудержимый наклонъ ко лжи и преступленію. Это поприще такъ скользко въ этомъ отношеніи, что люди осторожные боятся выходить на него, и что на немъ охотнѣе подвизаются тѣ, кто болѣе развязенъ. *Журналистъ* и *политикъ* сдѣлались почти синонимами *обманщика*, и ни за какого революціонера нельзя ручаться, что изъ него не выйдетъ преступникъ.

Тутъ есть своя послѣдовательность, своя логика. Если даже въ религіозной сферѣ могло возникнуть ученіе, что грѣхи нужны, чтобы возможно было покаяніе, то въ политической сферѣ, какъ скоро она поставила себя выше всѣхъ другихъ сферъ человѣческой жизни, ничто не мог-

до препятствовать выводу, что успѣхъ все оправдываетъ, что для него, какъ для высшаго блага, всѣ средства позволительны. Поэтому, совѣсть Европы не находитъ въ себѣ основъ для причисленія политическихъ преступленій къ настоящимъ преступленіямъ, и злодѣевъ этого рода не умѣетъ отличить отъ героевъ.

Таковы нѣкоторыя черты нравственнаго состоянія нашего вѣва. Онъ представляетъ чрезвычайно странное явленіе душевнаго разлада: жизненныхъ силъ въ немъ больше чѣмъ когда-нибудь, но онъ потерялъ реальное поприще для ихъ удовлетворенія и бросается на фальшь, на призраки. Потребность дѣйствовать и жертвовать въ немъ иногда даже сильнѣе, чѣмъ потребность вѣрить, и потому онъ жертвуетъ даже тому, во что почти не вѣрить. Дѣятельность кипитъ, безъ ясныхъ цѣлей, безъ опредѣленныхъ идеаловъ; онъ обманываетъ самъ себя, чтобы только дать просторъ своимъ страстямъ, но изъ мнимо-добрыхъ стремленій выходитъ зло, и будетъ выходить все больше и больше, пока цѣлый рядъ бѣдствій не заставитъ людей опомниться и превратить наконецъ эту недостойную игру. Рано или поздно люди принуждены будутъ вернуться къ реальнымъ началамъ человѣческой жизни, забытымъ и гложущимъ среди нашего прогресса и просвѣщенія.

18-го апр.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Истинное просвѣщеніе. — Прогрессъ. — Современная нравственность. — Добродѣтели временъ упадка. — Растравленіе эгоизма. — *Блаженны нищіе*. — Ненависть. — Проповѣдь борьбы. — Слова В. Гюго.

Конечно, мы достигли бы наилучшаго успѣха въ нашемъ просвѣщеніи, если бы у насъ изъ всѣхъ учебныхъ заведеній юноши выходили съ твердымъ сознаніемъ, что они еще большіе невѣжды, что имъ нужно еще много и долго трудиться, чтобы достигнуть степени истинно-просвѣщеннаго человѣка, и что большинству изъ нихъ вовсе не суждено достигнуть этой степени. Тогда можно было бы сказать, что этихъ юношей основательно учили, и что они правильно понимаютъ, что они такое въ дѣйствительности.

Точно также, было бы благотворнѣйшею переменною въ умахъ, если бы наши молодые и зрѣлые люди стали питать убѣжденіе, что прогрессъ есть большею частію предразсудокъ, что, если въ человѣчествѣ и совершается нѣкоторый существенный прогрессъ, то по своей медленности онъ не можетъ быть ясно опредѣленъ, и иногда даже не можетъ быть замѣченъ, что всяческое зло, физическое, нравственное, историческое, принимаетъ только различныя формы, но свирѣпствуетъ въ насъ и всюду вокругъ насъ такъ же, какъ и прежде, что мы не можемъ даже рѣшить, идемъ ли мы къ лучшему впереди,

или насъ ожидаетъ въ будущемъ эпоха паденія, болѣзни, разложенія.

При такихъ мысляхъ, люди не питали бы высокаго мнѣнія о себѣ и о своемъ вѣкѣ, перестали бы смотрѣть сомнительно и надменно на наслѣдіе, завѣщанное намъ прошедшимъ, не стали бы ждать какихъ-то новыхъ чудесъ отъ будущаго, и, слѣдовательно, чувствовали бы только одинъ долгъ — всѣми силами держаться давнишняго пути добра и истины, не принимая нисколько въ расчетъ прогресса и зная, что безчисленные усилія безчисленныхъ поколѣній будутъ истощаться въ той же борьбѣ добра и зла, свѣта и тьмы, среди которой живемъ и мы.

Das Rechte, das Gute führt ewig Streit,
Nie wird ihm der Feind erliegen, *)

какъ говоритъ Шиллеръ. Душевная работа должна быть сосредоточена на настоящемъ; тутъ ея главная награда и ея главное достоинство; изъ-за мечтаній о будущемъ, изъ-за стремленія работать для новой эпохи человечества, мы не должны ни на минуту забывать свой долгъ, а еще меньше измѣнять ему сознательно.

Какъ всѣмъ извѣстно, обыкновенныя наши настроенія имѣютъ совершенно обратное направленіе. Молодые люди у насъ заражаются большимъ высокомеріемъ, считают себя обладателями какихъ-то удивительно свѣтлыхъ понятій и смотрятъ презрительно на невѣжественную массу. И не они въ этомъ виноваты; таковъ складъ просвѣщенія нашего времени. Нашъ вѣкъ очень гордится своими познаніями, готовъ видѣть въ нихъ новую, еще небыва-

*) Правда и добро ведутъ вѣчную борьбу; никогда враждебное имъ не оскудѣетъ.

лую мудрость и распространяетъ ее всѣми способами. Онъ помѣшанъ на популяризаціи знаній, на сообщеніи готовыхъ результатовъ, послѣднихъ словъ науки; онъ придумываетъ всякіе облегченные и упрощенные способы обученія, какъ будто трудъ мысли, серьезная работа ума есть вреднѣйшая вещь въ мірѣ, какъ будто вся задача образованія—приготовить какъ можно больше легкомысленныхъ болтуновъ, твердящихъ самыя модныя научныя слова, но совершенно чуждыхъ настоящаго научнаго духа. Въ своей гордости и жадѣ поучать нашъ вѣкъ не замѣчаетъ, что у него все больше и больше исчезаетъ идея истиннаго просвѣщенія, котораго требованія гораздо серьезнѣе и глубже, чѣмъ нынѣшняя популярная мудрость.

Что касается прогресса, то дѣло стоитъ еще несравненно рѣшительнѣе. Современный человѣкъ полагаетъ, что живетъ какъ-будто на какомъ-то рубежѣ, на точкѣ поворота. Онъ видитъ во всемірной исторіи собственно только два періода: до настоящей минуты идетъ сплошной періодъ мрака и зла, а съ нашего времени, или вскорѣ послѣ него, долженъ наступить сплошной періодъ свѣта и добра. Такой чудесной перемѣны современные люди ждутъ не даромъ: они, видите-ли, убѣждены не только въ своемъ неслыханномъ просвѣщеніи, но и въ томъ, что они необычайно высоко поднялись въ своихъ нравственныхъ понятіяхъ, что они нашли наконецъ точное разграниченіе справедливаго и несправедливаго, добра и зла. Нравственные мотивы, какъ всегда, важнѣе всѣхъ другихъ въ жизни людей; поэтому, именно гордость своими нравственными понятіями побуждаетъ современныхъ людей твердо вѣрить, что въ настоящее время, какъ мнѣ случилось прочесть въ одномъ журналѣ, совершается

„побѣдоносное шествіе всего человѣчества по пути добра, правды и свободы“.

Счастливые люди! Представьте только, въ какомъ пышномъ видѣ должна имъ воображаться эта процессія! И какъ легко жить на свѣтѣ, когда человѣкъ знаетъ, что въ сущности дѣло идетъ прекрасно, что этому дѣлу нужно только помогать, а можно вѣдь обойтись и безъ помогавья!

Эти гордыя притязанія, это наивное самодовольство составляютъ однако же жестокую ошибку, жестокій предразсудокъ, тѣмъ болѣе странный и даже возмутительный, что каждый изъ насъ, уже въ силу своего христіанскаго воспитанія, долженъ бы былъ глубоко чувствовать свое нравственное несовершенство. Современное нравственное состояніе людей должно бы намъ являться темнымъ и низменнымъ въ сравненіи съ тѣмъ высокимъ идеаломъ добра, чистаго подвига, сіяющей душевной красоты, который внушается намъ, повидимому, съ дѣтства. Вѣроятно человѣчество глубоко извратилось, если оно уже не видитъ этого идеала, уже смотритъ на его проповѣдь какъ на пустыя слова и фразы; только потому оно и можетъ имѣть дерзость гордиться какимъ-то новымъ пониманіемъ человѣческихъ обязанностей.

Въ чемъ состоятъ пресловутыя современныя добродѣтели? Гуманность, состраданіе, снисходительность, вѣжливость, терпимость, — всѣ добродѣтели временъ упадка и эпохъ разложенія составляютъ главную принадлежность современнаго душевнаго благородства. При этомъ вовсе забывается, что эти качества, безъ сомнѣнія очень хорошія, никакъ не имѣютъ абсолютной цѣны, и что ихъ необходимо дополнять другими качествами, несравненно высшаго достоинства. Что значитъ, напримѣръ, религі-

озная терпимость? Одинъ терпимъ потому, что пламенно вѣрить въ свою религію, что надѣется на всепобѣдную силу этой своей истины и не можетъ видѣть въ насиліи средства для духовнаго дѣла. А другой терпимъ потому, что для него всѣ религіи вздоръ, и онъ готовъ предоставить каждому заниматься какимъ ему угодно изъ этихъ вздоровъ. Только первый есть настоящій сторонникъ терпимости; у него есть для нея основаніе; у втораго же терпимость фальшивая и сейчасъ же исчезнетъ, какъ скоро дѣло дойдетъ до серіознаго, до того, чего онъ не считаетъ вздоромъ.

Точно такъ, снисхожденіе и прощеніе чужихъ слабостей вовсе не должны быть основаны на признаніи порока за пустяки, а напротивъ должны сопровождаться отвращеніемъ къ пороку и движеніемъ любви къ несчастному ближнему. Иначе мы будемъ походить на воровъ и распутниковъ, которые вѣдь всегда снисходительны къ другимъ ворами и распутницами.

Вообще, требуется усердное служеніе нѣкоторымъ положительнымъ идеаламъ, ясныя требованія опредѣленнаго строенія человѣческой жизни, и затѣмъ уже мы можемъ свободно сострадать людямъ, сносить ихъ недостатки, потому что знаемъ, во имя чего это дѣлаемъ, и, мириась съ людьми, никогда не помиримся съ пороками. Въ настоящее же время, мы сильны только въ отрицательныхъ добродѣтеляхъ; всякіе нравы, которые очень дороги даже когда очень несовершенны, между нами разрушаются; мы направляемъ всѣ усилія только къ тому, чтобы какъ можно меньше мѣшать другъ другу; идеаль общества какъ будто состоитъ въ томъ, чтобы страстямъ каждаго дать возможно-большій просторъ, чтобы величайшій негодяй, не знающій ни стыда ни со-

вѣсти, но не нарушающій юридическаго закона, могъ бы считать себя вполне правымъ членомъ общества.

Интересъ каждаго частнаго лица, *независимость* его дѣйствій—вотъ главные темы нашей проповѣди; мы всѣми способами растрavляемъ эгоизмъ въ сердцахъ людей, какъ будто онъ недостаточно сильно заложенъ въ нихъ природою. Мы не видимъ, какое отсюда должно произойти послѣдствіе. Эти люди будутъ прекрасно практиковать всѣ наши любимыя добродѣтели, взаимную гуманность, состраданіе, снисходительность, вѣжливость, терпимость, но будутъ ихъ практиковать только до тѣхъ поръ, пока все спокойно, пока не затронуты ихъ интересы, пока ихъ страсти не разгорѣлись дальше известной границы. Когда же это случится, то они, не имѣя въ душѣ никакого положительнаго балласта, тотчасъ потеряютъ равновѣсіе, обратятся къ свѣту другою стороною и явятся такими нетерпимыми, жестокими, кровожадными, неумолимыми, какъ никогда еще и не бывали люди. Такъ ихъ воспитываетъ нашъ вѣкъ, и онъ рано или поздно пожнетъ плоды этого воспитанія.

Странно видѣть, напримѣръ, что проповѣдуется всякая терпимость и безобидность, но что никто не проповѣдуетъ *безкорыстія*. Напротивъ, нашъ вѣкъ готовъ возвести въ принципъ, что благополучіе человѣка опредѣляется его имуществомъ, числомъ рублей въ его карманѣ, что равноправность въ сущности должна совпадать съ равенствомъ имуществъ, или, по крайней мѣрѣ, что высшая справедливость состояла бы въ надѣленіи каждаго числомъ рублей, пропорціональнымъ его достоинствамъ и заслугамъ. *Блаженны нищіе*, сказано въ одной книгѣ; эти слова стали въ настоящее время совершенно непонятными, а многимъ покажутся чуть ли не безнрав-

ственными. Однако же несомнѣнно, что нельзя быть спокойнымъ и довольнымъ тому, кто непременно требовалъ бы себѣ имущества, соотвѣтственнаго своимъ заслугамъ и достоинствамъ, или не могъ бы вынести зрѣлища чужаго случайнаго богатства. Но мы, проповѣдуя нашу гуманность, преспокойно разрѣшаемъ людямъ своекорыстіе и зависть, и не замѣчаемъ, что наша односторонняя проповѣдь не устраняетъ дурныхъ настроеній, и потому не содержитъ никакихъ задатковъ спокойствія и благополучія.

Такъ и во всѣхъ ходячихъ правилахъ нравственности есть подобный же пропускъ, есть тайно подразумѣваемое разрѣшеніе на чувства и стремленія вполне безнравственныя. Современная нравственность представляетъ сплошь нѣкоторую сдѣлку съ человѣческими страстями; она всѣмъ имъ даетъ выходы и поприще, только обставляя ихъ различными условіями, и наивно воображая, что страсти, развивающіяся и созрѣвающія при этомъ покровительствѣ, не сбросятъ когда-нибудь этихъ условій и не пойдутъ по своимъ собственнымъ законамъ. Въ сущности, наша жизнь держится пока старою нравственностію, бессознательно живущею въ душахъ; поэтому, въ жизни частныхъ людей еще много хорошаго, много добрыхъ нравовъ; но тамъ, гдѣ дѣло становится сознательнымъ, въ публичной жизни, въ литературѣ, отражающей въ себѣ сознательный смыслъ понятій общества, наша нравственность обнаруживается въ такихъ чертахъ, которыя, съ совершенно строгой точки зрѣнія, нужно признать отвратительными.

Мы не говоримъ о непрерывной клеветѣ, лжи, тщеславіи и т. п. Эти явленія, даже и нынѣ, все еще не прощаются, по крайней мѣрѣ не проходятъ вовсе

незамѣченными. Но есть другія, которыя обыкновенно не замѣчаются. Въ любомъ ежедневномъ листѣ вы встрѣтите, подъ всегдашнимъ предлогомъ радѣнія объ общемъ благѣ, всѣ черты не только совершенной холодности и бездушія, но и прямаго недоброжелательства, злорадства, ядовитой ненависти. Въ такомъ неприличномъ видѣ казалось бы совѣстно людямъ и являться въ публику; но писатели знаютъ своихъ читателей, знаютъ, что этимъ именно они заслужаютъ общее одобреніе, что читатели будутъ въ восхищеніи, вычитавъ въ газетѣ такое отчетливое и яркое выраженіе своихъ собственныхъ чувствъ. Въ этой презрѣнной игрѣ особенно выступаетъ на видъ та игра въ *ненависть*, которая составляетъ едва ли не самый серіозный элементъ періодической литературы. Нашъ вѣкъ, кажется, такъ богатъ ненавистью, какъ никакой другой. Всякій общественный интересъ, всякій предметъ публичныхъ обсужденій обращенъ въ наши дни въ поводъ къ ненависти. Напримѣръ, чувство національности, это высокое и сладкое чувство, не имѣетъ характера любви, составляющаго его сущность, а обращено почти исключительно въ поводъ раздора и злобы. Въ прошломъ вѣкѣ, и еще въ началѣ нынѣшняго, инородецъ могъ безъ всякаго неудобства жить въ чужомъ по племени государствѣ, зная, что надъ различіемъ по національности стоятъ другіе высшіе принципы, заправляющіе сожительствомъ людей. А нынѣ скоро дѣло дойдетъ до того, что человѣкъ одного племени будетъ считать своими прирожденными врагами всѣхъ людей другихъ племенъ. Мы, Русскіе, кажется еще не утратили нашей извѣстной терпимости къ инородцамъ, но мы невольно заражаемся тѣмъ нарушеніемъ спокойнаго настроенія, признаки котораго

появляются у нашихъ инородцевъ. И тутъ, какъ и во всѣхъ другихъ областяхъ, нашъ вѣкъ проповѣдуетъ не гармоническое воздѣйствіе, не мирное соревнованіе, а прямо *борьбу*, и лучшею, плодотворнѣйшею считается борьба кровавая, битва на смерть. Тысячи газетъ десятки лѣтъ ежедневно подстрекають ненависть своихъ читателей по тому или другому вопросу, и нужно признать въ людяхъ большой запасъ доброты, видя, что эти подстрекательства такъ долго не приводятъ ихъ къ кровавой раздѣлкѣ между собою. Впрочемъ, можетъ быть не долго ждать, когда, на примѣръ Франція и Германія вооружать, по нынѣшней системѣ военной службы, всѣхъ, кто способенъ носить оружіе, и пойдутъ не войною, а *нашествіемъ* другъ на друга. Можно указать и на другія, очень вѣроятныя нашествія.

Таковъ нашъ вѣкъ. Викторъ Гюго сказалъ по этому поводу одно изъ своихъ блистательныхъ словъ, которое кстати здѣсь привести. Въ 1878 году онъ открывалъ своею рѣчью *Международный литературный конгрессъ* и въ концѣ рѣчи выразился такъ:

„Господа, мы здѣсь среди философовъ, воспользуемся „случаемъ, не будемъ стѣсняться, станемъ говорить истины. Вотъ вамъ одна истина, страшная истина. У чело- „вѣчества есть болѣзнь, ненависть. Ненависть — мать „войны; мать гнусна, дочь ужасна“.

„Воздадимъ же имъ ударъ за ударъ. Ненависть къ не- „нависти! Война противъ войны!“

„Знаете ли вы, что такое это слово Христа: *любите „другъ друга?* Это — всеобщее разоруженіе. Это — исцѣленіе „рода человѣческаго. Истинное искупленіе — есть именно „это. Любите. Легче обезоружить своего врага, протянувъ „ему руку, чѣмъ показавъ кулакъ. Этотъ совѣтъ Іисуса

„есть повелѣніе Бога. Онъ хорошъ. Мы его принимаемъ. „Что касается до насъ, мы—на сторонѣ Христа. Писатель на сторонѣ апостола; тотъ, кто мыслить, на сторонѣ того, кто любить“.

Послѣ нѣсколькихъ подобныхъ соображеній и восклицаній (мы не станемъ дѣлать замѣчаній, на которыя они напрашиваются), Гюго въ заключеніе сказалъ:

„Господа, одинъ Римлянинъ прославился неподвижною идеею; онъ говорилъ: разрушимъ Карфагенъ. У меня тоже есть мысль, которою я одержимъ, именно вотъ „какая: разрушимъ ненависть! Если человѣческія писанія имѣютъ какую-нибудь цѣль, то именно эту *)“.

Такъ провозглашалъ Гюго во всеуслышаніе свѣта, передъ собраніемъ писателей, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ земли. Слова его замѣчательны потому, что онъ человѣкъ въ высшей степени передовой и прогрессивный; онъ могъ бы остановиться на многихъ предметахъ достойныхъ обличенія; но онъ, очевидно, нашелъ, что ненависть составляетъ самое явное и жестокое зло во всемирной литературѣ, а слѣдовательно и въ нравственномъ настроеніи образованнаго міра.

Само собою разумѣется, что мысль его, какъ слишкомъ далекая отъ господствующихъ понятій, не могла найти и не нашла никакого отзыва.

30 Апр. 1881.

Письма объ нигилизмѣ не кончены; далеко не удалось мнѣ высказать свой взглядъ со всѣхъ сторонъ. И изложеніе не вполне такое, какъ мнѣ мечталось. Прибавлю нѣсколько словъ о самомъ важномъ пунктѣ.

*) *Victor Hugo. Discours d'ouverture du congrès littéraire international. Paris, 1878, p. 13, 15.*

Общая мысль моя та, что нигилизмъ есть крайнее, самое послѣдовательное выраженіе современной европейской образованности, а эта образованность поражена внутреннимъ противорѣчіемъ, вносящимъ ложь во всѣ ея явленія. Противорѣчіе состоитъ въ томъ, что всѣ протестуютъ противъ современнаго строя общества, противъ дурныхъ сторонъ современной жизни, но сами нисколько не думаютъ отказываться отъ тѣхъ дурныхъ началъ, противъ которыхъ протестуютъ. Гонители богатства ни мало не перестаютъ завидовать богатымъ; проповѣдники гуманности остаются нетерпимыми и жестокими; учителя справедливости — сами вѣчно несправедливы; противники властей — жаждутъ, однако, власти для себя; и протестующіе противъ притѣсненій и насилій — сами величайшіе притѣснители и насильники.

Во всѣ времена, жизнь человѣчества держалась на нѣкоторомъ компромиссѣ; всегда высокія требованія нравственности безсознательно вступали въ сдѣлку со страстями и потребностями человѣка. Но никогда эта сдѣлка не была искуснѣе и не достигала такого блистательнаго и полного соглашенія, какъ въ наше время. Современный человѣкъ имѣетъ возможность предаваться всѣмъ своимъ влеченіямъ, всѣмъ дурнымъ душевнымъ качествамъ, и въ то же время безъ конца благородствовать и великодушничать. Никакіе іезуиты не могли придумать ничего подобнаго. Эта возможность — быть, повидимому, нравственнымъ, и самому себѣ казаться нравственнымъ, а въ сущности оставаться совершенно чуждымъ истинной нравственности, эта возможность должна глубоко развращать людей, и отъ поколѣній, растущихъ и живущихъ подъ руководствомъ такой сдѣлки, нельзя ожидать ничего хорошаго.

III.

РОКОВОЙ ВОПРОСЪ

(Время, 1863. Апрель).

Въ различныхъ, хотя не весьма многихъ и не весьма ясныхъ, сужденіяхъ о польскомъ вопросѣ почти безъ исключенія упускается изъ виду одна существенная его черта. Намъ легче и мы очень привыкли разсматривать вещи съ болѣе общихъ точекъ зрѣнія, и потому частная, характеристическая особенность дѣла ускользаетъ отъ нашего вниманія. Но, такъ какъ въ настоящемъ случаѣ дѣло имѣетъ для насъ живѣйшій интересъ, то его особенности должны же наконецъ понемногу стать ясными для всѣхъ.

Изъ-за чего поднялись поляки?

Подводя эти явленія подъ ходячія общія понятія, мы обыкновенно отвѣчаемъ такъ:

1) Они поднялись изъ-за идей космополитическихъ, т. е. для всяческаго улучшенія своего быта и расширенія своихъ правъ.

2) Или—они поднялись изъ-за идеи національности, т. е. просто для освобожденія себя изъ-подъ власти чужаго народа.

Одни считаютъ главною и существенною пружиною возстанія одну изъ этихъ причинъ, другіе другую. Можно наконецъ признавать наравнѣ и ту, и другую; можно сказать, что поляки стоятъ за космополитическія идеи и, въ числѣ ихъ, за космополитическую идею равноправности всѣхъ народовъ.

Опредѣливши такимъ образомъ причины явленія, мы уже не находимъ никакихъ трудностей въ рѣшеніи вопроса. Изъ такихъ простыхъ и ясныхъ основаній мы легко и просто выводимъ надлежащія слѣдствія. И, такъ какъ у каждаго есть живая потребность имѣть опредѣленный взглядъ на дѣло, разъяснить его въ своемъ пониманіи, то мы будемъ даже твердо стоять за это легкое рѣшеніе и усердно настаивать на его справедливости.

Между тѣмъ, въ польскомъ вопросѣ есть черта, которая даетъ ему страшную глубину и неразрѣшимую загадочность. Эта черта такъ ясно обозначается, такъ прямо бросается въ глаза, что скрыть ее или незамѣтить не возможно. Напрасно мы стали бы не обращать на нее вниманія или не придавать ей значенія; отъ такихъ уловокъ, само собою разумѣется, ни мы не выиграемъ, ни самое дѣло не перемѣнится.

Что порождаетъ вражду, возбуждающую поляковъ противъ русскихъ? Постараемся вникнуть въ настроеніе поляковъ, перенесемъ себя въ ихъ положеніе и будемъ смотрѣть съ ихъ точки зрѣнія. Очевидно, кромѣ причинъ космополитическихъ и національныхъ, въ эту вражду входитъ еще одинъ элементъ, который, какъ намъ кажется, весьма существенно опредѣляетъ дѣло. Поляки возбуждены противъ насъ также какъ народъ образованный противъ народа менѣе образованнаго, или даже

вовсе необразованнаго. Каковы бы ни были поводы къ борьбѣ, но одушевленіе борьбы, очевидно, воспаляется тѣмъ, что съ одной стороны борется народъ цивилизованный, а съ другой—варвары.

Таковъ, по крайней мѣрѣ, должно быть взглядъ поляковъ. Чтобы убѣдиться въ глубокой дѣйствительности этой причины, какъ составнаго элемента вражды, стоитъ только вспомнить, что польскій народъ имѣетъ полное право считать себя въ цивилизаціи наравнѣ со всѣми другими европейскими народами, и что, напротивъ, на насъ они едва ли могутъ смотрѣть иначе какъ на варваровъ.

Польша отъ начала шла наравнѣ съ остальною Европою. Вмѣстѣ съ другими западными народами она приняла католичество; одинаково съ другими развивалась въ своей духовной жизни. Въ наукахъ, въ искусствахъ, въ литературѣ, вообще во всѣхъ проявленіяхъ цивилизаціи, она постоянно брательна и соперничала съ другими членами европейской семьи и никогда не была въ ней членомъ отсталымъ или чужимъ. Вотъ какъ въ краткихъ словахъ говоритъ объ этомъ И. Кирѣевскій:

„Польская аристократія въ XV и XVI вѣкѣ была „не только самою образованною, но и самою блестящею, „самою ученою въ Европѣ. Основательное знаніе иностранныхъ языковъ, глубокое изученіе древнихъ классиковъ, необыкновенное развитіе умственныхъ и общечитальныхъ дарованій удивляли путешественниковъ и составляли всегдашній предметъ реляцій наблюдательныхъ папскихъ нунціевъ того времени. Вслѣдствіе этой образованности, литература была изумительно богата. Ее составляли ученые комментаріи древнихъ классиковъ, удачныя и неудачныя подражанія, писанныя частью на ще-

Одни считаютъ главною и существенною пружиною возстанія одну изъ этихъ причинъ, другіе другую. Можно наконецъ признавать наравнѣ и ту, и другую; можно сказать, что поляки стоятъ за космополитическія идеи и, въ числѣ ихъ, за космополитическую идею равноправности всѣхъ народовъ.

Опредѣливши такимъ образомъ причины явленія, мы уже не находимъ никакихъ трудностей въ рѣшеніи вопроса. Изъ такихъ простыхъ и ясныхъ основаній мы легко и просто выводимъ надлежащія слѣдствія. И, такъ какъ у каждаго есть живая потребность имѣть опредѣленный взглядъ на дѣло, разъяснить его въ своемъ пониманіи, то мы будемъ даже твердо стоять за это легкое рѣшеніе и усердно настаивать на его справедливости.

Между тѣмъ, въ польскомъ вопросѣ есть черта, которая даетъ ему страшную глубину и неразрѣшимую загадочность. Эта черта такъ ясно обозначается, такъ прямо бросается въ глаза, что скрыть ее или незамѣтить не возможно. Напрасно мы стали бы не обращать на нее вниманія или не придавать ей значенія; отъ такихъ уловокъ, само собою разумѣется, ни мы не выиграемъ, ни самое дѣло не перемѣнится.

Что порождаетъ вражду, возбуждающую поляковъ противъ русскихъ? Постараемся вникнуть въ настроеніе поляковъ, перенесемъ себя въ ихъ положеніе и будемъ смотрѣть съ ихъ точки зрѣнія. Очевидно, кромѣ причинъ космополитическихъ и національных, въ эту вражду входитъ еще одинъ элементъ, который, какъ намъ кажется, весьма существенно опредѣляетъ дѣло. Поляки возбуждены противъ насъ также какъ народъ обрѣванный противъ народа менѣе образованнаго, или :

вовсе необразованнаго. Каковы бы ни были поводы къ борьбѣ, но одушевленіе борьбы, очевидно, воспламеняется тѣмъ, что съ одной стороны борется народъ цивилизованный, а съ другой—варвары.

Таковъ, по крайней мѣрѣ, должно быть взглядъ поляковъ. Чтобы убѣдиться въ глубокой дѣйствительности этой причины, какъ составнаго элемента вражды, стоитъ только вспомнить, что польскій народъ имѣетъ полное право считать себя въ цивилизаціи наравнѣ со всѣми другими европейскими народами, и что, напротивъ, на насъ они едвали могутъ смотрѣть иначе какъ на варваровъ.

Польша отъ начала шла наравнѣ съ остальною Европою. Вмѣстѣ съ другими западными народами она приняла католичество; одинаково съ другими развивалась въ своей духовной жизни. Въ наукахъ, въ искусствахъ, въ литературѣ, вообще во всѣхъ проявленіяхъ цивилизаціи, она постоянно брталась и соперничала съ другими членами европейской семьи и никогда не была въ ней членомъ отсталымъ или чужимъ. Вотъ какъ въ краткихъ словахъ говоритъ объ этомъ И. Кирѣевскій:

„Польская аристократія въ XV и XVI вѣкѣ была „не только самою образованною, но и самою блестящею, „самою ученою въ Европѣ. Основательное знаніе иностранныхъ языковъ, глубокое изученіе древнихъ классиковъ, необыкновенное развитіе умственныхъ и общественныхъ дарованій удивляли путешественниковъ и составляли всегдашній предметъ реляцій наблюдательныхъ „папскихъ нунціевъ того времени. Вслѣдствіе этой образованности, литература была изумительно богата. Ее составляли ученые комментаріи древнихъ класиковъ, удачныя и неудачныя подражанія, писанныя частью на ще-

„гольскомъ польскомъ, частью на образцовомъ латинскомъ „языкѣ, многочисленные и важные переводы, изъ коихъ „нѣкоторые до сихъ поръ почитаются образцовыми, какъ „напримѣръ переводъ Тасса, другіе доказываютъ глубину „просвѣщенія, какъ напримѣръ переводъ всѣхъ сочиненій „Аристотеля, сдѣланный еще въ XVI вѣкѣ. Въ одно „царствованіе Сигизмунда III блистало 711 извѣстныхъ „литературныхъ именъ, и болѣе чѣмъ въ восьмидесяти „городахъ безпрестанно работали типографіи“.

Такимъ образомъ, поляки могутъ смотрѣть на себя какъ на народъ вполне европейскій, могутъ причислять себя къ „странѣ святыхъ чудесъ“, къ этому великому Западу, составляющему вершину человѣчества и содержащему въ себѣ центральный токъ человѣческой исторіи.

А мы? Что такое мы, русскіе? Не будемъ обманывать себя; постараемся понять, какимъ взглядомъ должны смотрѣть на насъ поляки и даже вообще европейцы. Они до сихъ поръ не причисляютъ насъ къ своей заповѣдной семьѣ, несмотря на наши усилія примкнуть къ ней. Наша исторія совершалась отдѣльно; мы не раздѣляли съ Европою ни ея судебъ, ни ея развитія. Наша нынѣшняя цивилизація, наша наука, литература и пр. все это едва имѣетъ исторію, все это недавно и блѣдно, какъ запоздалое и сильное подражаніе. Мы не можемъ похвалиться нашимъ развитіемъ и не смѣемъ ставить себя на ряду съ другими, болѣе счастливыми племенами.

Такъ на насъ смотрятъ, и мы сами чувствуемъ, что много справедливаго въ этомъ взглядѣ. Въ настоящую минуту, именно по поводу борьбы съ поляками, мы невольно стали искать въ себѣ какой-нибудь точки опоры, и что же мы нашли? Наши мысли обращаются къ еди-

ному видимому и ясному проявленію народнаго духа, въ нашему государству. Одно у насъ есть: мы создали, защитили и укрѣпили нашу государственную цѣлость, мы образуемъ огромное и крѣпкое государство, имѣемъ возможность своей, независимой жизни. Не мало было для насъ въ этомъ отношеніи опасностей и испытаній, но мы выдержали ихъ; мы крѣпко стояли за идею самостоятельности и независимости, и теперь, если жалуемся, то имѣемъ печальное преимущество жаловаться на самихъ себя, а не на другихъ.

Что же, однако, изъ этого слѣдуетъ? Для насъ самостоятельность есть великое благо, по каковъ можетъ быть ея вѣсъ въ глазахъ другихъ? Намъ скажутъ, что государство, конечно, есть возможность самостоятельной жизни, но еще далеко не самая жизнь. Государство есть форма весьма простая, проявленіе весьма элементарное. Самые дикіе и первобытные народы легко складывались въ государство. Если государство крѣпко, то это, конечно, хорошій знакъ, но только знакъ, только надежда, только первое заявленіе народной жизни. И потому, на нашу похвалу нашимъ государствамъ намъ могутъ отвѣчать такъ; никто не споритъ, что вы варвары *подающіе большія надежды*, но, тѣмъ не менѣе, вы все-таки варвары.

И вотъ та рана, которую больше или меньше разбрегаетъ польскій вопросъ. Онъ стоитъ намъ не только крови и денегъ, не только составляетъ язву, отъ которой страдаетъ тѣлесная, физическая жизнь Россіи—нѣтъ, онъ каждый разъ еще отзывается внутреннею болью; онъ наводитъ на насъ тяжелое раздумье своею внутреннею, глубокою стороною. Какъ скоро мы вдумаемся въ настроеніе поляковъ, мы невольно должны

чувствовать его отраженіе на нашемъ собственномъ настроеніи.

Попробуемъ только вывести слѣдствія изъ предыдущаго. Понятно, что поляки должны смотрѣть на насъ съ высокомеріемъ; понятно, что подъ вліяніемъ враждебныхъ отношеній ихъ высокомеріе должно усилиться тысячекратно, дойти до послѣдней возможной границы. Этотъ элементъ неизбежно и постоянно присутствуетъ въ этомъ вѣковомъ раздорѣ; онъ составляетъ одинъ изъ самыхъ глубокихъ и чистыхъ его источниковъ и придаетъ усиліямъ и борьбѣ поляковъ безконечно-героическій характеръ. Несчастный народъ! Какъ сильно ты долженъ чувствовать всю несоразмѣрность твоего положенія съ твоимъ высокимъ понятіемъ о себѣ! Чѣмъ выше твоя цивилизація, чѣмъ тоньше ты чувствуешь, чѣмъ изящнѣе говоришь, чѣмъ яснѣе для тебя и для другихъ твои достоинства, тѣмъ глубже тебѣ приходится страдать, тѣмъ невыносимѣе для тебя какой бы то ни было перевѣсъ на сторонѣ твоихъ менѣе цивилизованныхъ соперниковъ. Твоя высокая культура есть для тебя наказаніе. Гдѣ другое племя могло бы еще примириться и покориться, тамъ для тебя невозможны никакое примиреніе, никакая покорность.

Таковы чувства поляковъ, и мы всегда болѣе или менѣе ихъ понимали. Мы признавали долю справедливости въ ихъ высокомеріи, и слѣдствіемъ этого было смиреніе передъ ихъ образованностію. Это смиреніе выразилось даже исторически и очень явно. Только недавно стало сильнѣе и сильнѣе высказываться требованіе, чтобы всѣ части имперіи были подведены подъ одинъ уровень и пользовались бы одинаковыми правами. До сихъ поръ этого не было: до сихъ поръ, вообще, части имперіи,

причастныя европейской цивилизаціи, пользовались иногда больше, иногда меньше, разными преимуществами и льготами. Почему это случилось—понятно; причиною было невольно чувствуемое превосходство, и потому мы даже рѣдко роптали и жаловались на предпочтеніе, отдаваемое, какъ говорится, пасынкамъ передъ родными дѣтьми. Сюда же должно отнести всѣ тѣ выгоды, которыя у насъ достаются на долю вообще иноземцамъ и иноплеменникамъ европейскаго происхожденія.

Итакъ, яснѣе или темнѣе, мы чувствуемъ недостаточность нашего образованія, и борьба съ поляками живѣе, чѣмъ все другое, должна обращать наши мысли на насъ самихъ и напоминать намъ нашу низкую ступень въ ряду цивилизованныхъ народовъ. Тутъ мы всего больше можемъ чувствовать несоразмѣрность нашей государственной силы съ нашимъ нравственнымъ значеніемъ.

Въ этомъ смыслѣ вопросъ имѣетъ огромные размѣры. Въ самомъ дѣлѣ, очевидно, поляки, съ этой точки зрѣнія, не могли бы согласиться даже стать съ нами наравнѣ. Такъ какъ изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только они достигли высшей культуры, то, по праву, по идеѣ, имъ должна принадлежать главная роль въ славянскомъ мірѣ; они должны бы стоять во главѣ и руководить другими племенами. Такое притязаніе совершенно естественно вытекаетъ изъ положенія поляковъ и невозможно ихъ осудить, если бы они стремились привести его въ исполненіе.

Положимъ, однакоже, нѣтъ. Положимъ намъ скажутъ, что поляки отказываются отъ своего высокоумрія и своихъ притязаній, что они допускаютъ равновѣсіе или даже перевѣсъ на сторонѣ другихъ славянскихъ племенъ и ограничиваются чисто и ясно одною идеею національ-

ной независимости. Охотно можно повѣрить, что эта идея постепенно укрѣпится и выступитъ наконецъ у поляковъ на первый планъ. Но невозможно скрывать, что ей придется у нихъ сильно бороться съ идеею превосходства къ цивилизаціи и что ея побѣда еще очень далека.

Въ самомъ дѣлѣ, поляки имѣютъ за собою длинную исторію. Въ этой исторіи, болѣе или менѣе правильно, болѣе или менѣе сознательно, они играли роль и исполняли миссію цивилизованнаго народа среди варваровъ. Какъ представители высокой культуры, они постоянно были заняты распространеніемъ этой культуры; они стремились колонизировать прилежащія страны. Легко здѣсь вспомнить цѣлый рядъ непрерывныхъ усилій, направленныхъ къ этой цѣли. Въ эти виды и попытки входила не только Малороссія и другія меньшія части: эти виды простирались и на Москву; сама Москва подвергалась попыткамъ ополяченія и латинизированія.

Отбрасывая темныя черты и частности, смотря на дѣло вообще и въ цѣломъ, можно ли не видѣть здѣсь самаго правильнаго и благороднаго проявленія цивилизаціи? Не говоримъ о средствахъ, которыя были сообразны съ временемъ; не говоримъ о частныхъ цѣляхъ, которыя могли быть нечисты и своекорыстны; говоримъ только объ общемъ явленіи, что Польша стремилась распространить на варварскія племена блага европейской цивилизаціи, старалась вывести ихъ изъ мрака на свѣтъ.

Положимъ однако же—все это ничего не значитъ. Положимъ намъ скажутъ: поляки отказываются отъ своей исторіи; они имѣютъ въ виду только настоящее положеніе дѣлъ и не заглядываютъ въ прошлое. Пусть такъ. Но если бы они даже успѣли выполнить это тяжелое тре-

бованіе, намъ приходится потребовать отъ нихъ еще больше; они должны отказаться не только отъ своей исторіи, но и отъ ея результатовъ, существующихъ въ настоящее время.

Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь историческія ихъ усилія принесли плоды. Въ однихъ мѣстахъ они были безуспѣшны, были отражены; но въ другихъ они имѣли успѣхъ наполовину, въ третьихъ были успѣшны вполне. Во всякомъ случаѣ, поляки многое сдѣлали и въ настоящую минуту, повидимому, имѣютъ полное право какъ на плоды своихъ трудовъ, такъ и на надежды когда-нибудь ихъ довершить. И вотъ гдѣ правильный и въ ихъ мысляхъ вполне законный источникъ ихъ притязаній на тѣ русскія земли, которыя нѣкогда входили въ составъ Польши. Они составляли не одно вещественное ея достояніе; они или отчасти были, или рано или поздно должны были стать ея умственнымъ завоеваніемъ, подпасть побѣдѣ ея культуры. Такимъ образомъ, трудно упрекать поляковъ за эти притязанія. Отказаться отъ нихъ значило бы для поляка отказаться отъ значенія своей цивилизаціи. Какъ бы ни мало подвинулось въ какой-нибудь области дѣло колонизированія, все-таки оно началось, оно можетъ быть продолжаемо, и, слѣдовательно, странно было бы отъ него отказываться и не попробовать снова захватить его въ свои руки.

Все здѣсь зависитъ отъ того, какъ смотритъ полякъ на свою цивилизацію и на тѣхъ людей, которыхъ хочетъ ей подчинить. Какой взглядъ естественно вытекаетъ изъ его положенія? Что онъ можетъ видѣть на примѣръ въ малороссахъ? Въ сравненіи съ его образованіемъ они неимѣютъ никакого образованія; въ сравненіи съ его развитымъ языкомъ, они говорятъ грубымъ мѣстнымъ

нарѣчіемъ, не имѣющимъ литературы; въ сравненіи съ его святымъ католицизмомъ они исповѣдуютъ не вѣру, а расколъ, схизму. Этихъ людей нужно цивилизовать, и почему же въ этомъ случаѣ ничтожная и ненадежная русская цивилизація должна получить преимущество передъ богатой польской?

Всякая цивилизація горда, всякое образованіе надмеваетъ. Всегда въ большей или меньшей степени является антагонизмъ между людьми, развитыми культурою, и растительною массою народа съ ея темными проявленіями. Если у насъ самихъ является иногда взглядъ на народъ, какъ на простой матеріалъ для культуры, какъ на грубую глину, которой форма отъ нея самой не зависитъ, то подобный взглядъ кажется нигдѣ и никогда не былъ до такой степени усиленъ самымъ ходомъ исторіи, какъ въ польскомъ вопросѣ. Здѣсь онъ составляетъ существенный узелъ и потому разросся и окрѣпъ до страшной силы.

Поляки горды своею цивилизаціею; они высоко цѣнятъ всѣ ея блага и крѣпко держатся за ея преимущества. Кто ихъ осудить за это? Кто можетъ найти здѣсь что-нибудь дурное?

Такимъ образомъ, вопросъ усложняется до высочайшей степени. Въ него входитъ всею своею тяжестью понятіе цивилизаціи; передъ этимъ понятіемъ отступаетъ на задній планъ идея самобытныхъ народностей. Поляки со всею искренностію могутъ считать себя представителями цивилизаціи, и въ своей вѣковой борьбѣ съ нами видѣтъ прямо борьбу европейскаго духа съ азіатскимъ варварствомъ.

Что же мы скажемъ противъ этого? До сихъ поръ мы старались сколько возможно яснѣе показать все, что го-

ворить въ пользу поляковъ; опуская все спорное и несущественное, мы выводили изъ самого ихъ положенія справедливость ихъ по всей вѣроятности безнадежныхъ притязаній. Что же мы скажемъ теперь въ свою пользу?

Сдѣлаемъ краткіе выводы изъ предыдущаго.

Высокомѣріе и притязанія поляковъ происходитъ отъ ихъ европейской культуры.

Такъ какъ высокомѣріе и эти притязанія не удовлетворены, то они составляютъ глубокое несчастіе поляковъ.

Такъ какъ они могутъ быть удовлетворены только насъ, то они составляютъ для насъ обиду.

Можетъ быть эта обида по своей глубинѣ равняется этому несчастію; но вотъ бѣда, которую мы терпимъ и которую должны вполнѣ сознать: ихъ несчастье очень ясно, и никому не ясна наша обида.

Въ самомъ дѣлѣ, все вытекаетъ изъ того положенія, что мы варвары, а поляки народъ высоко цивилизованный. Слѣдовательно, чтобы опровергнуть слѣдствія, которыя отсюда выходятъ, мы должны бы были доказать:

1) Или то, что мы не варвары, а народъ полный силъ цивилизаціи.

2) Или то, что цивилизація поляковъ есть *цивилизация, носящая смерть въ самомъ своемъ корнѣ*.

Легко согласиться, что и то и другое доказывать очень трудно.

Очевидно, наше дѣло было бы вполнѣ оправдано, если бы мы могли отвѣчать полякамъ такъ: „вы ошибаетесь въ своемъ высокомъ значеніи; вы ослѣплены своею польскою цивилизаціею, и въ этомъ ослѣпленіи не хотите или не умѣете видѣть, что съ вами борется и соперничаетъ не азіатское варварство, а другая цивили-

зация, болѣе крѣпкая и твердая, наша русская цивилизация“.

Сказать это легко; но спрашивается, чѣмъ мы можемъ доказать это? Кромѣ насъ, русскихъ, никто не повѣритъ нашимъ притязаніямъ, потому что мы не можемъ ихъ ясно оправдать, не можемъ выставить никакихъ очевидныхъ и для всѣхъ убѣдительныхъ признаковъ, проявленій, результатовъ, которые заставили бы признать дѣйствительность нашей русской цивилизаціи. Все у насъ только въ зародышѣ, въ зачаткѣ; все въ первичныхъ, неясныхъ формахъ; все чревато будущимъ, но неопредѣленно и хаотично въ настоящемъ. вмѣсто фактовъ мы должны оправдываться предположеніями, вмѣсто результатовъ надеждами, вмѣсто того, что есть, тѣмъ что будетъ или можетъ быть.

Если у насъ и есть нѣкоторыя указанія въ пользу нашего дѣла, то ими трудно удовлетвориться, такъ какъ всѣ они имѣютъ отрицательный, а не положительный характеръ. Они состоятъ въ томъ, что попытки колонизированія встрѣтили въ русскихъ областяхъ большія препятствія, что въ Малороссіи и въ Москвѣ они болѣею частью встрѣтили непреклонный, неодолимый отпоръ. Русскій элементъ оказалъ въ этомъ случаѣ необыкновенную упругость, и при томъ не вещественную, не упругость мускуловъ, а неподатливость и стойкость нравственную. Онъ отнесся съ сознательнымъ и глубокимъ упорствомъ къ этой цивилизаціи, которая старалась нравственно покорить его.

Изъ этого слѣдуетъ, что можетъ быть мы и не варвары. Можетъ быть, въ насъ таится глубокой и плодотворный духъ, который хотя еще не проявился ясно и отчетливо, но уже ревниво охраняетъ свою самостоя-

тельность и не даетъ надъ собою власти никакому чуждому духу, который настолько крѣпокъ, что способенъ отталкивать всякое вліяніе, мѣшающее его самобытному развитію.

Несмотря на то, что Польша намъ родственна, что черезъ нее всего ближе могла дѣйствовать на насъ Европа, что мы были въ непрерывныхъ столкновеніяхъ съ поляками, мы никогда не находились подъ нравственнымъ вліяніемъ Польши, и, когда вздумали подражать европейцамъ и перенимать ихъ развитіе, то пошли мимо поляковъ къ голландцамъ и французамъ. Мы упорно оттолкнули польское вліяніе, и все-таки шли впередъ въ своемъ развитіи, какъ бы медленнымъ и слабымъ ни казалось это развитіе.

Все это доказываетъ только одно—мы сберегли себя, мы готовы, мы имѣемъ полную возможность для самобытнаго развитія; но больше изъ этого вывести трудно.

Возьмемъ теперь другую сторону. Положимъ, мы стали бы находить недостатки въ польской цивилизаціи. Чтобы уничтожить ее вѣсь въ этомъ дѣлѣ, чтобы устранить ее притязанія и оправдать себя въ томъ, что мы составляемъ для нея помѣху, мы могли бы указать въ ней существенные недостатки, подрывающіе все ее достоинство. Мы могли бы сказать: „сама исторія осуждаетъ вашу цивилизацію. Эта цивилизація не дала крѣпости вашему народу, не принесла ему здоровья и силы. Значитъ она не была нормальною цивилизаціею, а можетъ быть даже была прямымъ зломъ, тѣмъ разъѣдающимъ началомъ, которое своимъ вліяніемъ испортило жизнь вашего народа. Развитіе Польши было болѣзненное, и ее образованность не только не имѣла силы излѣчить эту болѣзненность, а была сама причиною ее язвъ“.

Положимъ, мы такъ сказали бы. Но въ такомъ случаѣ — въ чемъ же мы могли бы полагать существенный недостатокъ польской культуры? Въ чемъ корень ея не-правильности? Не въ томъ ли, что она была не народною, не славянскою? Что въ ней не было никакой самобытности, и потому она не могла слиться въ крѣпкое цѣлое съ народнымъ духомъ? Если она не развила и не укрѣпила народной жизни, то это могло произойти только отъ одного — отъ того, что она не была въ гармоніи съ элементами этой жизни, не была ихъ правильнымъ проявленіемъ и, слѣдовательно, не могла имѣть той силы, которую должна имѣть всякая крѣпкая и правильная цивилизація.

Пусть мы будемъ разсуждать такимъ образомъ и успокоивать себя мыслью, что судьба Польши есть ея внутренняя неизбежная судьба. Не въ такихъ утѣшеніяхъ все дѣло. Мы будемъ непростительно легкомысленны, если при этомъ не обратимся на самихъ себя. Не забудемъ, что чѣмъ рѣзче будетъ наше осужденіе, тѣмъ большую отвѣтственность мы беремъ на себя. Въ этомъ столкновеніи мы можемъ понижать значеніе польской культуры не иначе, какъ основываясь на уваженіи къ нашей собственной культурѣ. А кто вамъ ручается, могутъ возразить намъ, что ваша-то цивилизація лучше? Что она не носитъ въ себѣ также зачатковъ болѣзни, которыя нѣкогда разрушатъ громадное тѣло вашего государства? Что она согласна съ народными элементами? Что она принесетъ народу болѣе полную жизнь, а не уродливость и смерть?

Страшно подумать, какой вѣсь, какое невыгодное для насъ значеніе могутъ имѣть такіе и подобные вопросы въ глазахъ иностранцевъ. Не посмѣются ли они при

одной мысли о возможности своеобразной русской цивилизаціи? А защищать ее, возлагать на нее надежды и предвидѣть для нея будущее—не чистыя ли это мечты, не пустыя ли предположенія въ глазахъ каждаго европейца?

Одни мы, русскіе, только и можемъ принять это дѣло серьезно. Одни мы не можемъ отказаться отъ вѣры въ свое будущее. Чтобы спасти нашу честь въ нашихъ собственныхъ глазахъ, мы должны признавать, что тотъ же народъ, который создалъ великое тѣло нашего государства, хранить въ себѣ и его душу; что его духовная жизнь крѣпка и здорова; что она современемъ разовьется и обнаружится столько же широко и ясно, какъ проявилась въ крѣпости и силѣ государства.

Существенно же здѣсь то, что мы должны положиться именно на народъ и на его самобытныя, своеобразныя начала. Въ европейской цивилизаціи, въ цивилизаціи *заемной и внѣшней*, мы уступаемъ полякамъ; но мы желали бы вѣрить, что въ цивилизаціи народной, коренной, здоровой мы превосходимъ ихъ или, по крайней-мѣрѣ, можемъ имѣть притязаніе не уступать ни имъ, ни всякому другому народу.

Дѣло очевидное. Если мы станемъ себя мѣрить общею европейскою мѣркою, если будемъ полагать, что народы и государства различаются только большей или меньшей степенью образованности, поляки будутъ стоять много выше насъ. Если же за каждымъ народомъ мы признаемъ большую или меньшую самобытность, болѣе или менѣе крѣпкую своеобразность, то мы станемъ не ниже поляковъ, а можетъ быть выше.

Польша не имѣетъ нивакого права на русскія области только въ томъ случаѣ, если у русской земли есть своя

судьба, свое далекое и важное назначеніе. Защищая наши коренныя области, мы будемъ правы только тогда, если этимъ самымъ приобщаемъ ихъ къ тому великому развитію, въ которомъ одномъ онѣ могутъ достигнуть своего истиннаго блага.

Какой же окончательный выводъ изъ этого роковаго дѣла? Въ чемъ можно искать для него правильнаго исхода и надежды на примиреніе?

Если читатели насъ поняли, то они должны видѣть, что мы вовсе не говоримъ здѣсь о внѣшней сторонѣ дѣла и никакимъ образомъ не думаемъ распредѣлять права или области между поляками и русскими. Мы имѣли въ виду только внутреннее настроеніе двухъ племенъ, старались какъ возможно глубже прослѣдить за источниками внутренней боли, которая отзывается въ нихъ при взаимной борьбѣ. Поэтому, и теперь мы спрашиваемъ только о томъ, какъ должны измѣниться настроенія племенъ, чтобы можно было надѣяться на нравственное исцѣленіе.

Что касается до насъ, русскихъ, то мы, очевидно, должны съ большою вѣрою и надеждою обратиться къ народнымъ началамъ. Мы тогда только будемъ правы въ своихъ собственныхъ глазахъ, когда повѣримъ въ будущность еще хаотическихъ, еще несложившихся и не выяснившихся элементовъ духовной жизни русскаго народа. Но только вѣрить мало, и только тѣшить себя надеждами неизвинительно. На насъ лежитъ обязанность понять эти элементы, слѣдить за ихъ развитіемъ и способствовать ему всѣми мѣрами. Намъ можетъ быть сладка наша вѣра въ народъ и пріятны наши блестящія надежды. Но не забудемъ и горькаго; не забудемъ, что на насъ лежитъ тяжелый долгъ — оправдать нашу народную гордость и силу.

Что касается до поляковъ, то имъ предстоитъ также трудная задача. Очевидно, они должны отказаться отъ той доли своей гордости, которая опирается на ихъ высокую цивилизацію. Даже въ томъ случаѣ, когда бы Польша была независима, поляки должны подавить въ себѣ то надменіе, которое имъ внушаетъ ихъ образованіе: иначе они никогда не будутъ въ силахъ заглушить въ себѣ то мучительное чувство, которое возбуждаетъ въ нихъ большее могущество Россіи или выходъ областей изъ-подъ польскаго вліянія.

Только такимъ образомъ возможно примиреніе и разрѣшеніе этого внутренняго узла въ роковомъ вопросѣ. И обратно: если эти условія не будутъ выполнены, трудно представить, чтобы можно было избѣжать дальнѣйшихъ бѣдствій. Если Россія не содержитъ въ себѣ крѣпкихъ духовныхъ силъ, если она не проявитъ ихъ въ будущемъ въ ясныхъ и могучихъ формахъ, то ей грозитъ вѣчное колебаніе, вѣчныя опасности. Если Польша не откажется отъ гордости своею образованностью, то она неминуемо должна будетъ напрягать свои силы выше мѣры, будетъ постоянно питать требованія, которыхъ удовлетвореніе чрезвычайно трудно или даже невозможно.

Какія задачи! Какая неизмѣримая тяжесть заключается въ этихъ словахъ, которыя такъ просто выговорить!

Русскія духовныя силы! Гдѣ онѣ? Кто кромѣ насъ имъ повѣритъ, пока онѣ не проявятся съ осязаемою очевидностію, съ непререкаемою властію? А ихъ развитіе и раскрытіе—оно требуетъ вѣковой борьбы, труда и времени, тяжолыхъ усилій, слезъ и крови.

Отказаться отъ гордости своею цивилизаціею! Развѣ это легко? Можетъ быть, это даже вовсе невозможно! Вѣдь цивилизація входитъ въ плоть и кровь человѣка;

вѣдь не даромъ она высокое благо, честь и гордость историческихъ народовъ. Ничего нѣтъ страннаго, что за нее умирають, какъ за святыню.

Пожелаемъ отъ всей души, чтобы при рѣшеніи этого роковаго вопроса какъ можно меньше лилось крови двухъ родственныхъ племенъ; будемъ призывать всѣми нашими желаніями самый мирный, наименѣе губительный внѣшній исходъ для этого дѣла. Но чѣмъ глубже мы поймемъ его внутренніе источники, тѣмъ лучше; чѣмъ яснѣе мы сознаемъ взаимныя отношенія, тѣмъ легче можетъ совершиться ихъ правильное разграниченіе. И потому, не станемъ скрывать отъ себя всѣхъ трудностей внутренней задачи, лежащей въ вопросѣ. Польскій вопросъ вѣроятно еще долго будетъ глубокимъ русскимъ вопросомъ; чѣмъ онъ труднѣе и важнѣе, тѣмъ нужнѣе для насъ сознавать въ отношеніи къ нему свой долгъ.

Русскій.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ „МОСКОВСКИХЪ ВѢДО- МОСТЕЙ“.

(не было напечатано).

М. Г.

Съ глубокимъ огорченіемъ прочиталъ я въ № 109-мъ „Московскихъ Вѣдомостей“ письмо г. Петерсона о статьѣ „Роковой вопросъ“, напечатанной въ № IV „Времени“. Авторъ статьи—я. Я не только не думалъ и не думаю скрывать своего имени, но подписался „Русскій“ именно вслѣдствіе смѣлой увѣренности, что мои мысли раздѣлитъ со мною каждый русскій, исполненный истиннаго патріотизма. Мнѣ дорогъ мой патріотизмъ, какъ дороги каждому святыя чувства его души, и потому, я былъ глубоко возмущенъ перетолкованіями и подозрѣніями г. Петерсона. Онъ даетъ моей статьѣ прямо противный смыслъ, онъ даже не хочетъ считать меня русскимъ.

Что же такое я сдѣлалъ? Можетъ быть я легко бы удовлетворилъ г. Петерсона и многихъ другихъ читателей, если бы ограничился легкою работою — безъ дальнихъ соображеній осуждать поляковъ и хвалить русскихъ.

Но я думалъ иначе. Я полагалъ, что не всякое па-

патріотическое чувство удовлетворяется голословными похвалами и восклицаніями, что найдутся люди, которые потребуютъ прочныхъ и глубокихъ основъ для своего патріотическаго чувства, и потому старался вникнуть глубже въ вопросъ.

Поэтому, я старался показать, что, осуждая поляковъ, мы, если хотимъ это дѣлать основательно, должны простирать наше осужденіе гораздо дальше, чѣмъ это обыкновенно дѣлается, должны простирать его на величайшія ихъ святыни, на ихъ цивилизацію, заимствованную отъ Запада, на ихъ католицизмъ, принятый отъ Рима.

Обратно, я старался показать, что, гордясь собою, мы, русскіе, если хотимъ дѣлать это основательно, должны простирать эту гордость глубже, чѣмъ это обыкновенно дѣлается, т. е. не останавливаться въ своемъ патріотизмѣ на обширности и крѣпости государства, а обратить свое благоговѣніе на русскія народныя начала, на тѣ глубокія духовныя силы русскаго народа, отъ которыхъ безъ сомнѣнія зависитъ и его государственная сила.

Таковъ смыслъ моей статьи, и другаго нѣтъ въ ней!

„Мы не можемъ“, писалъ я въ заключеніе, „отказаться отъ вѣры въ свое будущее“. „Въ цивилизаціи заемной и внѣшней мы уступаемъ полякамъ, но мы желали бы вѣрить, что въ цивилизаціи народной, коренной, здоровой, мы превосходимъ ихъ“ (стр. 161).

Называя меня „бандитомъ подъ маскою“ и угрожая мнѣ „всеобщимъ презрѣніемъ“, г. Петерсонъ такъ мало вникнулъ въ мою статью, что я затрудняюсь, что ему отвѣчать. „Развѣ не ложь“, пишетъ онъ, „сравнивать цивилизацію высшаго класса Польши съ цивилизаціей русскаго народа вообще“? Что же это значитъ? Не то-

ли, что въ Польшѣ цивилизованъ только *высшій классъ*, а русскій народъ цивилизованъ *вообще*, во всѣхъ классахъ? Странный аргументъ! Если поляки переведутъ его на всѣ языки Европы, то едва ли онъ сильно подѣйствуетъ на Европу.

Нѣтъ, я не согласенъ съ г. Петерсономъ. Я думаю, что и цивилизація высшихъ классовъ въ Польшѣ есть аргументъ не въ пользу, а противъ поляковъ, что поляки должны „отказаться отъ надменія своей цивилизаціею“, что эта цивилизація „носила смерть въ самомъ своемъ корнѣ“, что она „была не народною, не славянскою, что въ ней не было никакой самобытности, и потому она не могла слиться въ крѣпкое цѣлое съ народнымъ духомъ“. Все это буквальные выраженія моей статьи.

Что же касается до насъ, русскихъ, то я не утверждаю что мы *цивилизованы во всѣхъ классахъ*, но думаю, что „въ насъ таится глубокий и плодотворный духъ, ревниво охраняющій свою самостоятельность“, что „у русской земли есть своя судьба, свое великое развитіе“, что со временемъ „духовная жизнь русскаго народа разовьется и обнаружится столь-же широко и ясно, какъ проявилась въ крѣпости и силѣ государства“.

Глубоко вѣруя въ „элементы духовной жизни русскаго народа“, я смѣло говорилъ о польской цивилизаціи, о всѣхъ ея притязаніяхъ, о всемъ блескѣ, который придается ей родствомъ съ Европою. Я не пугаясь смотрѣлъ въ глаза этому страшному авторитету, который теперь возсталъ на насъ. Но другіе за меня испугались. У нихъ не хватило вѣры, и я вышелъ виноватымъ, по ихъ малодушію и маловѣрію.

„Мы выше поляковъ“, говоритъ г. Петерсонъ. Кто-

же говорить противное? И я этому вѣрю, и я это чувствую. Я только жалѣлъ о томъ, что мы не можемъ доказать этого для всѣхъ несомнѣнно, что не имѣемъ права заявить этого передъ цѣлымъ свѣтомъ, что не признаетъ этого свѣтъ, что мы должны доказывать наше превосходство нашею кровью, нашими побѣдами и погромами, а иначе никто намъ не повѣритъ. Если бы въ Европѣ была твердая мысль о нашемъ превосходствѣ, если бы хоть предчувствіе этого превосходства могло существовать въ Польшѣ, не было бы польскаго вопроса, и мы не шли бы и не посылали бы нашихъ дѣтей и братьевъ на битву противъ поляковъ.

Не станемъ закрывать глаза. Прикидывается или не прикидывается Европа—это все равно; потому что, если кто прикидывается, то онъ этимъ показываетъ силу того, чѣмъ прикидывается; если кто закрывается щитомъ, то онъ надѣется на крѣпость щита. Во всякомъ случаѣ, Европа стоитъ, или хочетъ стоять, за цивилизацію Польши, за свободу проявленій этой цивилизаціи. „Европа“, говоритъ самъ г. Петерсонъ, „забидала насъ грязью и клеветами“. Она идетъ на насъ, какъ на варваровъ, угнетающихъ одно изъ чадъ европейской цивилизаціи. Что же страннаго, если русскій пожалѣлъ, что въ этомъ смыслѣ мы не можемъ дать Европѣ отвѣта и отпора, что, если мы станемъ указывать на наши русскія начала, на наши русскія духовныя силы, то Европа не пойметъ насъ и посмѣется надъ нами, да вѣроятно не поймутъ и посмѣются надъ нами и многіе наши соотечественники.

Европа давно уже отталкиваетъ насъ, давно уже смотритъ на насъ, какъ на враговъ, какъ на чужихъ. Когда же мы наконецъ перестанемъ подольщаться къ ней и

стараться увѣрять себя и другихъ, что и мы европейцы? Когда наконецъ мы перестанемъ обижаться, когда намъ скажутъ, что мы сами по себѣ, что мы не европейцы, а просто русскіе, что отъ Европы скорѣе всего намъ ожидать вражды, а не братства?

Вотъ нѣсколько словъ въ поясненіе моей статьи. Въ такомъ смыслѣ она написана, и я не имѣю причинъ отказаться ни отъ одного ея слова. Обвиняйте мою статью въ чемъ вамъ угодно; въ одномъ вы не имѣете никакого права обвинить ее — въ отсутствіи патріотизма.

Если я погрѣшилъ, то, если возможно, погрѣшилъ избыткомъ патріотизма; пусть тѣ, кто негодуетъ на мою статью, вникнуть хорошенько въ источникъ своего негодованія; они убѣдятся, что оно происходитъ изъ затронутого народнаго самолюбія; а именно это самолюбіе заговорило во мнѣ и нашло, можетъ быть слишкомъ рѣзкое, выраженіе въ моей статьѣ.

Есть самолюбія, которыя удовлетворяются малымъ; ужели можно обвинять меня за то, что я пожелалъ для Россіи *слишкомъ многого*, что я выразилъ нетерпѣливое ожиданіе *нравственной победы* Россіи надъ Европой?

Такъ какъ въ вашей газетѣ были высказаны глубоко-обидныя для меня сомнѣнія, то прошу васъ дать въ ней мѣсто и настоящему письму, которое должно разрушить недоразумѣніе.

Примите и пр.

1863 г. 26 мая.

ПИСЬМО М. Н. КАТКОВА.

Меня какъ громомъ поразило извѣстіе, что статья *Роковой Вопросъ* писана вами, многоуважаемый Николай Николаевичъ.

Я на столько знаю васъ, что совершенно не сомнѣваюсь въ искренности вашего объяснительнаго письма. Но, Боже мой! что же за путаница у насъ и въ понятіяхъ и въ поступкахъ, когда могутъ возникать подобныя недоразумѣнія! Я рѣшительно не понимаю, какъ могли вы написать и напечатать такую статью въ настоящее время. Почему же не высказали вы прямо и ясно тѣхъ мыслей, которыя излагаете въ этомъ объяснительномъ письмѣ? Почему въ статьѣ ограничились какими-то смутными и двусмысленными намеками? По моему мнѣнію, ваша точка зрѣнія была бы невѣрна и въ томъ случаѣ, если бы вы и съ полною ясностію высказали въ статьѣ эти мысли; но тогда по крайней мѣрѣ не возникло бы сомнѣніе о направленіи статьи и о побужденіяхъ, руководившихъ ея автора. Все то немногое, что сказано вами въ пользу какихъ-то смутно предчувствуемыхъ началъ русской народности, такъ странно сказано, что всѣми очень естественно принято было за иронію, которая еще оскорбительнѣе, чѣмъ рѣзкость и грубость. Я не могу описать вамъ то негодованіе, которое возбуждено было этою статьею въ Москвѣ, тѣмъ болѣе, что подъ статьею, какъ нарочно, поставлено „Русскій“.

Не была ли статья ваша, до появленія въ печатѣ обрѣзана чьей нибудь рукою? Дайте мнѣ откровенно!

всевозможныя поясненія, которыми я воспользуюсь въ той мѣрѣ, какъ вы укажете.

Но вы напрасно считаете меня всемогущимъ. Если вы хотѣли сказать этимъ, что мнѣ легко обходиться съ цензурой, то вы очень ошибаетесь. До сихъ поръ я беру съ боя каждый сколько нибудь рѣшительный шагъ въ печати. Всѣ мои усилія напечатать ваше объяснительное письмо, хотя бы даже съ нѣкоторыми сокращеніями, остаются до сихъ поръ втунѣ. Письмо это было набрано тотчасъ же по полученіи. Но предсѣдатель Цензурнаго Комитета уже получилъ отъ Министерства письмо съ извѣщеніемъ о распоряженіи относительно *Цез* и *Времени*,—и на отрѣзъ отказалъ мнѣ пропустить хоть что-нибудь изъ вашего объясненія, даже при оговоркѣ, которую я намѣренъ былъ сдѣлать. Я обращался къ Министру съ просьбою, чтобы мнѣ дозволено было написать статейку, въ которую я ввелъ бы существенную часть вашихъ объясненій, и постарался бы по крайней мѣрѣ очистить намѣренія автора *Роковаго Вопроса*. Но до сихъ поръ рѣшенія не послѣдовало, и я выпустилъ книжку *Р. В.*, куда назначалась эта статейка, безъ той рубрики, подъ которую она подходила, отлагая ее до слѣдующей книжки, въ надеждѣ получить къ тому времени разрѣшеніе. Slѣдующая книжка тоже должна скоро выйти, и разница будетъ состоять въ какихъ-нибудь десяти дняхъ. Къ тому же времени я получу, можетъ быть, и отъ васъ нѣсколько подробностей, которыя дадутъ мнѣ возможность говорить съ большею искренностію.

Преданный вамъ

Михаилъ Катковъ.

Москва, 18 іюня.

ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ „ДНЯ“.

(не было напечатано).

Обращаюсь къ Вамъ, милостивый государь, по поводу вашей *Замѣтки* въ № 22-мъ.

Статья моя *Роковой вопросъ* имѣла такіа печальныя слѣдствія, произвела такое дурное и превратное впечатлѣніе, что я, обвиняя сначала другихъ, начинаю наконецъ глубоко обвинять самого себя. Статья моя породила соблазнъ; она была поводомъ къ страннымъ перетолкованіямъ и сомнѣніямъ; она радовала тѣхъ, противъ кого собственно шла, и печалила тѣхъ, за кого стояла; понятно, что такая статья во многихъ отношеніяхъ заслуживала строгаго осужденія.

А между тѣмъ, статья эта вытекла изъ чистаго движенія патріотическаго чувства; и—вотъ вамъ ручательство за мою искренность,—я не имѣю и надѣюсь никогда не имѣть причинъ отказаться хотя бы отъ одной ея строчки. Весь грѣхъ статьи въ томъ, что она *недоговорена, недосказана*, а никакъ не въ томъ, чтобы въ ней было сказано что нибудь противное русскому чувству. Я просто заговорилъ съ обыкновенною довѣрчивостію, по которой авторъ предполагаетъ, что недосказанное имъ восполнится пониманіемъ читателей. Я жестоко ошибся. Мнѣ должно было обратить вниманіе на

то недовѣріе и подозрѣніе, которое у насъ господствуетъ. Если Вы, славянофилъ и журналистъ, нашли статью *сомнительною*, если даже Вамъ трехлѣтняя дѣятельность „*Времени*“ не могла быть твердымъ ручательствомъ за народный смыслъ статьи, не могла подсказать того, что въ ней не договорено, то какъ же винить другихъ читателей?

Позвольте же мнѣ договорить свою статью, чтобы снять съ себя невыносимо жестокую укоризну и чтобы разрушить недоразумѣніе, которое ни для кого изъ остальныхъ русскихъ не можетъ быть пріятно.

Все, что я хотѣлъ сказать, все, что я старался объяснить, есть то *измѣненіе нашего умственнаго настроенія*, которое необходимо должно быть вызвано польскимъ дѣломъ. Это роковое дѣло касается такихъ существенныхъ нашихъ интересовъ, будить въ душѣ каждаго русскаго такія живыя и глубокія чувства, что все имъ противорѣчащее должно сгладиться и исчезнуть. Изъ людей отвлеченныхъ, изъ общеевропейцевъ, изъ почитателей цивилизаціи, *какова бы она ни была*, хотя бы это была польская цивилизація, мы волей-неволей должны превратиться въ русскихъ. Все наносное и прививное, весь этотъ міръ идей безъ жизненнаго корня, въ которомъ мы жили, долженъ рассыпаться и развѣяться, какъ скоро пробуждается въ душѣ дѣйствительное чувство, дѣйствительныя желанія и потребности.

Польскій вопросъ есть вмѣстѣ нашъ *внутренній* вопросъ; онъ долженъ просвѣтлить наше сознаніе, долженъ ясно указать намъ, чѣмъ мы должны гордиться, на что надѣяться, чего опасаться. Вотъ основная точка зрѣнія моей статьи.

Каждый день Европа на всѣхъ своихъ языкахъ на-

зываетъ насъ варварами, каждый день поляки осыпаютъ насъ полными ненависти укоризнами и заявляютъ свои оскорбительныя притязанія. Европа стоитъ за Польшу почти также, какъ стояла за соединеніе Италіи, за освобожденіе Греціи. Поляки считаютъ святымъ дѣломъ самыя дерзкія свои желанія.

Все это неминуемо должно пробудить въ каждомъ изъ насъ народное самолюбіе. Невольно мы ищемъ отвѣта на всѣ эти обвиненія и нареканія, невольно желаемъ отвѣчать не только оружіемъ и кровью, а также мыслью и сознаніемъ.

Что же мы скажемъ? Прежде всего не будемъ малодушествовать, не станемъ отвѣчать упрекомъ на упрекъ, обвиненіемъ на обвиненіе. Встрѣтимъ каждую укоризну прямо и открыто.

Говоря о мнѣніи Европы, не будемъ малодушно утѣшаться тѣмъ, что она на насъ клевететь, что она обнаруживаетъ жалкое незнаніе всего русскаго, завистливую злобу къ силѣ Россіи и проч. Скажемъ лучше прямо: Европа не знаетъ насъ, потому что мы еще не сказали ей, еще не заявили для всѣхъ ясно и несомнѣнно тѣ глубокія духовныя силы, которыя хранятъ насъ, даютъ намъ крѣпость; но мы имъ вѣримъ, мы ихъ чувствуемъ и рано или поздно докажемъ всему свѣту.

Точно также, говоря о притязаніяхъ Польши, не будемъ съ малодушнымъ злорадствомъ пересчитывать тѣ глубокія и едва исцѣлимыя язвы, которыми поражена эта несчастная нація; но скажемъ прямо: наша русская культура, столь медленно слагавшаяся, столь трудно развивающаяся, дѣйствительно могла, по бѣдности своихъ внѣшнихъ проявленій, подать поводъ къ высокоумію поляковъ, породнившихся съ Западомъ и усвоившихъ

себѣ его блистющія и отчетливыя формы. Но наша культура, хотя менѣе развитая и опредѣленная, носитъ въ себѣ залогомъ такой крѣпости, такого глубокаго и далекаго развитія, какихъ, можетъ быть, не имѣетъ никакая другая культура.

Такимъ образомъ, если мы не поддадимся малодушію, то мы не испугаемся никакихъ вопросовъ, никакихъ сравненій и требованій. Кто чувствуетъ въ себѣ силы, тотъ не боится указанія на труды и обязанности, на высокія цѣли, которыхъ долженъ достигнуть. И вотъ почему я такъ прямо и безбоязненно заговорилъ о польской цивилизаціи. Изъ ея давности, изъ ея Европейскаго родства, изъ притязаній, которыя на ней опираются, изъ надменія и высокомерія, которыя она внушаетъ полякамъ, я хотѣлъ вывести только одно,—настоятельную потребность для насъ, русскихъ, уяснить себѣ „элементы духовной жизни русскаго народа“, настоящую надобность „понять эти элементы, слѣдить за ихъ развитіемъ и способствовать ему всѣми силами“. (Время № IV, стр. 162). Польской культурѣ мы должны противопоставить развитіе нашей культуры, той самой культуры, которой глубокая сила сохранила и отстояла нашу самобытность и наше государственное могущество.

Не во имя одной народности мы должны отвергать притязанія поляковъ на западныя русскія области; мы имѣемъ на это право также во имя нашей культуры; мы убѣждены, что „у русской земли есть своя судьба, свое далекое и важное назначеніе“, что, сохраняя единство этихъ областей съ остальною Россіею, мы „этимъ самымъ приобщаемъ ихъ къ тому великому развитію, въ которомъ одномъ онѣ могутъ достигнуть своего истиннаго блага“.

Намъ было бы стыдно, если бы мы думали иначе, если бы опирались только на одномъ племенномъ, такъ сказать „зоологическомъ“ родствѣ съ нами жителей этихъ областей. Насъ связываетъ съ ними духовное родство, общая принадлежность къ нѣкоторой великой духовной жизни. Точно также, было бы намъ стыдно, если бы мы защищали единство и цѣлость Россіи только на основаніи ея племенной и государственной силы, если бы, твердя извѣстную поговорку: *Россія вся въ будущемъ*, мы имѣли при этомъ только надежду, что со временемъ образуемся, больше обьевропеимся и станемъ не хуже другихъ. Нѣтъ, мы непремѣнно должны вѣрить, что у насъ есть глубокіе корни самобытной культуры, что сила этой культуры была и есть главный двигатель нашей исторической жизни. Наша многовѣковая борьба съ поляками есть не просто рядъ войнъ; это-борьба двухъ культуръ: одной медленно развивающейся и болѣе крѣпкой, другой болѣе ясной и блестящей, но и болѣе хрупкой.

Такимъ образомъ, не смотря на неразвитость и неясность формъ нашей культуры, мы всетаки твердо вѣримъ, что она несравненно выше польской; „мы не можемъ отказаться отъ вѣры въ свое будущее“ и потому думаемъ, что Россія „проявитъ свои духовныя силы въ ясныхъ и могучихъ формахъ“, что ея духовная жизнь „со временемъ разовьется и обнаружится столь же широко и ясно, какъ проявилась въ крѣпости и силѣ государства“.

Теперь вы видите, почему я заговорилъ о польской цивилизаціи и почему именно такъ говорилъ о ней. Чтобы показать силу и значеніе, какое имѣетъ культура, я взялъ польскую цивилизацію просто какъ культуру, не-

зависимо отъ ея особенностей. *Я не восхвалялъ поляковъ;* вы глубоко ошибаетесь, приписывая мнѣ „мысль о великомъ значеніи и побѣдоносной силѣ польской цивилизаціи“. Въ первой половинѣ статьи я просто и прямо ссылался только на фактъ, всѣмъ извѣстный, именно, что поляки считаютъ себя столь же цивилизованными, какъ и остальной западъ Европы, и что Европа признаетъ ихъ своими. Что-бы сказать это, мнѣ вовсе не нуженъ былъ авторитетъ И. Кирѣевского. Я не судилъ тутъ о томъ, хороша или дурна ихъ цивилизація, а говорилъ только, что она давняя, развитая, общая съ Европою. Вотъ почему и изъ Кирѣевского я выписалъ только нѣсколько фактовъ, нѣсколько чиселъ и опустилъ его *общій взглядъ и судъ* надъ польскою цивилизаціею.

Когда же, во второй половинѣ статьи, я заговорилъ о характерѣ польской культуры, когда сталъ судить о ней, то высказалъ мнѣніе вовсе не хвалебное. Я выразилъ предположеніе, что эта цивилизація *носила смерть въ своемъ корнѣ*, что она была „прямымъ зломъ, тѣмъ развѣдающимъ началомъ, которое своимъ вліяніемъ испортило жизнь Польскаго народа“. „Если она“, писалъ я, „не развила и не укрѣпила народной жизни, то это могло произойти только отъ одного, отъ того, что она не была въ гармоніи съ элементами этой жизни, не была ихъ правильнымъ проявленіемъ и, слѣдовательно, не могла имѣть той силы, которую должна имѣть всякая крѣпкая и правильная цивилизація“ (Время № IV, стр. 160).

Вотъ мое сужденіе. Здѣсь, конечно, мнѣ было бы весьма встати привести и общій взглядъ И. Кирѣевского, и я очень жалѣю, что по поспѣшности не сдѣлалъ этого *).

*) Какъ ни тяжело обвиненіе въ фальши, которое вы на меня возводите, замѣчу, что вы въ другомъ отношеніи поступили правильно, при-

Такъ мы судимъ о польской цивилизаціи, и, конечно, иначе судить не можемъ. Мы не должны поступать легкомысленно ни въ нашей гордости собою, ни въ осужденіи другихъ. Осуждая поляковъ, мы непременно должны прійти къ осужденію самой ихъ культуры, ихъ образованности, пораженной внутреннимъ безсиліемъ, ихъ католичества, зараженнаго іезуитствомъ.

Такъ мы смотримъ; но, очевидно, невозможно требовать, чтобы такъ смотрѣли поляки. Никакая культура не можетъ признавать себя больною, совершенно также какъ никакая религія не можетъ признавать себя ересью, никакая ересь не считаетъ себя заблужденіемъ. По этому, нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что „поляки едва ли могутъ смотрѣть на насъ иначе какъ на варваровъ“. Это совершенно понятно. Да если бы они обладали даже только сотою долею своихъ мнимыхъ преимуществъ надъ нами, если бы они считали себя даже только на волосъ выше насъ, то мы всетаки вышли бы у нихъ варварами. При борбѣ и враждѣ это неизбѣжно. Австрійцы, какъ извѣстно, народъ весьма образованный; но для Итальянцевъ, въ разгарѣ вражды, они всетаки были „brutissimi“. Полякамъ же не далеко было ходить, чтобы найти для насъ имя варваровъ. Европа, которая ихъ ласкаетъ, каждый день въ своихъ безчисленныхъ журналахъ даетъ намъ это названіе.

Признаюсь, было бы очень странно, если бы насъ поражало или раздражало это обстоятельство. Не ужели

ведя цѣликомъ разсужденіе И. Кирѣевскаго. Вы защищали И. Кирѣевскаго въ глазахъ тѣхъ, кто его не читалъ, какъ сами говорите. Если такъ, то ваша *Замѣтка* весьма нужна. Русская публика мало читаетъ серіозныя русскія книги и, конечно, легко могла счесть даже И. Кирѣевскаго за приверженца поляковъ.

же мы къ этому еще не привыкли? Европа постоянно смотритъ на насъ какъ на враговъ, какъ на чужихъ. Съ 1812 года ея настроеніе въ отношеніи къ намъ нисколько не измѣнилось. Наполеоновскій походъ она считаетъ только первою неудачною попыткою противъ могучихъ варваровъ. Ея историки предсказываютъ, ея поэты пророчески воспѣваютъ будущую великую борьбу съ нами, русскими. До которыхъ же поръ мы не уяснимъ себѣ этого нашего положенія? Почему не скажемъ прямо: Европа насъ не понимаетъ и заставляетъ насъ доказывать нашею силою и нашею кровью наши права на существованіе и развитіе. Но мы знаемъ, что эти права такъ велики и святы, какъ ничьи другія въ мірѣ.

Всего ужаснѣе для меня обвиненіе, сформулированное вами съ рѣзкостію, которой не могу вамъ простить: именно, что я будто бы „защищаю права поляковъ на западныя русскія области“. Возможна ли подобная мысль для кого нибудь истинно русскаго! Я говорилъ не о томъ; я хотѣлъ показать, какъ у поляковъ *идея культуры* *заслонила и отодвинула на задній планъ идею самобытныхъ народностей*. Они дошли до того, писалъ я, что смотрятъ на народъ, „какъ на простой матеріалъ для культуры, какъ на грубую глину, которой форма отъ нея самой независитъ“. (Время № IV, стр. 157). Это взглядъ глубоко искаженный, и поляки заразились имъ въ числѣ другихъ болѣзней своей несчастной исторической жизни. Говоря постоянно о *высокомъ пріи*, о *надменіи* Поляковъ, я не могъ и думать, что это будетъ принято за сочувствіе. Уже ли возможно сочувствовать надменію надъ народомъ? Уже ли мое заключеніе, что *Поляки должны отказаться отъ гордости своею цивилизаціею* было принято за кощунственную шутку?

Я говорилъ искренно. Мнѣ казалось, что я ясно вижу роковое значеніе польской культуры, то безвыходное и гибельное положеніе, въ которое она стала со своими притязаніями, встрѣтившись съ русскою культурою. Я не имѣлъ и мысли считать поляковъ съ общей точки зрѣнія какими-то цивилизаторами Россіи (какъ вы пишете). Само собою понятно, что подобная мысль возможна только и единственно съ точки зрѣнія поляка. Она возможна и даже необходима, напримѣръ, съ точки зрѣнія католика, всендза, представителя существеннаго элемента всякой культуры, — религіи. Мы не можемъ безъ ужаса и негодованія вспомнить тѣхъ мѣръ, которыми нѣкогда поляки старались оторвать русскихъ людей отъ родной исторіи, ополячить ихъ и окатоличить; но какъ посмотреть на это дѣло ревностный католикъ? Онъ возьметъ одинъ результатъ, онъ скажетъ: „что бы тамъ ни было, но эти люди теперь католики, они *уловлены во спасеніе*, и я не откажусь отъ нихъ. Я откажусь отъ грубыхъ средствъ, которыя прежде употреблялись, но употреблю всѣ свои силы на мирную пропаганду единой спасающей церкви, на новыя мирныя завоеванія ея религіи“. Точно также, безъ сомнѣнія, каждый Полякъ считаетъ для ополяченныхъ счастьемъ то, что они оглашены.

Вотъ какимъ образомъ я объяснялъ притязанія поляковъ, вотъ къ чему привело ихъ вѣсокомѣрное отношеніе къ нашей культурѣ. Людей, исповѣдающихъ истинную и высокую вѣру, они считаютъ еще блуждающими во мракѣ, людей, имѣющихъ свою исторію, свою несомнящую въ себѣ основы глубокаго склада общественной жизни, они признаютъ за какой-то первобытно-доисторическій людъ.

Разумѣется, притязанія, основанныя на такихъ понятіяхъ, никогда не осуществятся; а такъ какъ религіозный и культурный прозелитизмъ вѣлся въ плоть и кровь польскаго народа, такъ какъ поляки на немъ воспитаны исторіею, то опять повторяю: поляки должны отказаться отъ надменія своею цивилизаціею.

Но, во всякомъ случаѣ, противъ культуры должна стать культура, а не что нибудь другое. Какъ самое простое и непосредственно практическое, припомню то, что такъ часто и съ такою силою было указываемо въ вашей газетѣ: ничтожность и бѣдность русскихъ школъ въ западномъ краѣ и несчастное положеніе въ немъ православнаго духовенства. Не ясно-ли, что въ развитіи этихъ школъ и этого духовенства спасеніе и жизнь края?

И такъ, настоящая потребность сознанія и развитія нашей народной культуры, той культуры, которой глубокія начала сберегли и возрастили нашу самостоятельность, той культуры, въ которую мы не можемъ не вѣрить и на которую возлагаемъ великія надежды— вотъ содержаніе моей статьи Роковой Вопросъ.

Скажу прямо: эта статья погрѣшила не содержаніемъ, а развѣ слишкомъ большою смѣлостію формы. Она слишкомъ дерзко, слишкомъ самоувѣренно затрогивала патриотическое чувство, навязчиво вызывая отъ него заранее угадываемый отвѣтъ. Но, сколько я ни виновать, я не рѣшаюсь отказаться отъ главнаго оправданія. Моею цѣлію было доказать *необходимость вѣры въ народныя начала*. Понятно, слѣдовательно, что я долженъ былъ привести читателя въ положеніе, въ которомъ для него нѣтъ другаго исхода, кромѣ этого. Понятно, поэтому, почему я такъ дерзко ставилъ *противъ* читателя авторитетъ цивилизаціи, авторитетъ цѣлой Европы.

Кто вѣрить въ родную страну, тому не могли быть страшны эти авторитеты. Мое горькое воззваніе, мое упрямое указаніе на то, чего намъ недостаетъ, и что намъ требуется, можетъ быть всего болѣе возбудило тревожное чувство въ тѣхъ, кто ищетъ какой-нибудь внѣшней опоры, кто ждетъ спасенія только отъ одной западной цивилизаціи, а не видитъ его въ живыхъ силахъ народнаго духа. Если же такъ, то, можетъ быть, моя статья не совсѣмъ бесполезна. Я былъ бы радъ, если бы она заставила подумать о духовной жизни русскаго народа тѣхъ, кто никогда о ней не задумывался.

Эта дума—наше насущное и настоятельное дѣло. Русской землѣ предстоятъ еще многіе труды, многіе подвиги. Мы вѣримъ, что она побѣдитъ наконецъ предубѣжденіе Европы, постоянно намъ грозящей, что наша сила и наше величіе будутъ наконецъ признаваемы великимъ благомъ и счастіемъ для людей. Кто русскій сочтетъ дерзостію желаніе и ожиданіе такой *нравственной* побѣды надъ Европою?

Въ духѣ такихъ надеждъ и вѣрованій постоянно говорило и даже съ большою рѣзкостію проповѣдывало „Время“. Вотъ почему я не могъ предполагать, что читатели дадутъ моей статьѣ не тотъ смыслъ, который я сейчасъ изложилъ, а какой-нибудь другой. Статья о такомъ важномъ предметѣ, если бы она была написана въ смыслѣ, противномъ русскому чувству, никакъ и никогда не могла бы явиться въ этомъ журналѣ.

22 іюня 1863 г.

IV.

РЯДЪ. СТАТЕЙ О РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ

(1864 г.)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

П Е Р Е Л О М Ъ

(не было напечатано).

Никто не станетъ спорить, что въ послѣднее время у насъ совершилась важная перемѣна, произошелъ нѣкоторый переломъ въ умственномъ настроеніи общества и литературы. Какъ бы настойчиво кто ни твердилъ: *все по старому! все по старому!*, дѣло, очевидно, идетъ по новому, и самое упорство въ повтореніи такихъ рѣчей только яснѣе показало бы ихъ несправедливость.

Перемѣна была быстрая и неожиданная. Еще немного времени назадъ, казалось никто не могъ бы ее предугадать или предсказать. Не было ни одного признака, который бы предвѣщалъ ее. Всѣ глаза, всѣ мысли, всѣ ожиданія были устремлены въ другую сторону; умы были такъ далеки отъ того, что ихъ теперь занимаетъ и одушевляетъ, что самыя рѣзкіе толчки и проблески, предвѣщавшіе настоящее, не обращали на себя ника-

кого вниманія; вмѣсто того, чтобы нарушать общее настроеніе мыслей, они напротивъ, казалось, его усиливали.

Такъ человѣкъ, весь поглощенный однимъ предметомъ, не видитъ и не слышитъ того, что около него происходитъ. Такъ тотъ, кто находится подъ властію любимой мысли, видитъ ея подтвержденіе даже въ томъ, что прямо ей противорѣчитъ.

Польское дѣло разбудило и отрезвило насъ. Какъ оно ни печально, какъ ни много въ немъ слезъ и крови, но оно было и будетъ намъ полезно. Полезенъ всякій опытъ, когда сознаніе не спитъ, когда сила духа не убываетъ, а возрастаетъ и преодолагаетъ случайности и препятствія жизни. Если въ наши печальныя времена позволительно ставить одно время выше другого, то мы охотно поставили бы нынѣшнее время выше недавняго прошлаго.

Въ самомъ дѣлѣ, что представляетъ намъ это недавнее прошлое, отъ котораго мы такъ неожиданно оторваны и какъ будто отдѣлены вдругъ поднявшеюся изъ земли стѣною? Время живое и кипучее, но едва ли отрадное. Умственная жизнь наша, та жизнь, которой пульсъ особенно ясно чувствуется въ литературѣ, была лишена своей дѣйствительной почвы, была чужда какихъ нибудь дѣйствительныхъ интересовъ; между жизнью и умственнымъ движеніемъ лежала непроходимая пропасть. Причины этого такъ извѣстны, что почти не требуютъ никакого объясненія. Что же долженъ былъ дѣлать умъ, разорванный съ жизнью? Ничѣмъ не связываемый, ничѣмъ не руководимый, онъ долженъ былъ хвататься за какія нибудь начала и проводить ихъ до конца, до послѣднихъ логическихъ крайностей. *Русскій Вѣстникъ* проповѣдывалъ англійскія начала, *Современникъ*—фран-

цузскія; и то и другое было одинаково умѣстно, одинаково правильно вытекало изъ положенія вещей. Во-первыхъ, это были начала западныя, слѣдовательно носившія на себѣ тотъ авторитетъ, которому мы давно подчиняемся, который до сихъ поръ составляетъ наше главное руководство. Во-вторыхъ, сами по себѣ это были начала весьма привлекательныя для ума, начала глубоко развитыя, блистательно излагаемыя, обработанныя наукою, воспѣтыя поэзіею, олицетворяемыя историческими героями и событіями.

То, что у насъ случилось года два назадъ, въ періодъ, который кончается знаменитыми петербургскими пожарами, можетъ служить однимъ изъ поразительныхъ примѣровъ, показывающихъ, что значитъ оторванность отъ жизни и господство идей не порожденныхъ живою дѣйствительностію. Когда-нибудь мы вернемся къ этому замѣчательному времени *до пожаровъ*; теперь мы хотѣли только замѣтить, что на немъ лежалъ глубокій характеръ отвлеченности и безжизненности. Мысль очевидно была на воздухѣ; она металась и рѣяла безъ оглядки и задержки; она доходила до послѣднихъ крайностей, не чувствуя ни страха, ни смущенія, какъ не чувствуетъ ихъ человѣкъ, когда ему сонному чудится, что онъ летаетъ. Казалось, что весь ходъ дѣла, все будущее зависить отъ отвлеченнаго рѣшенія нѣкоторыхъ отвлеченныхъ вопросовъ; философскіе, или лучше quasi-философскіе споры возбуждали горячій и общій интересъ и были признаваемы существеннымъ дѣломъ. Не смотря однакожь на всю лихорадку, на всю эту дѣйствительно кипучую дѣятельность, отъ нея вѣяло мертвеннымъ холодомъ, нагонявшимъ невольную тоску; живому человѣку трудно было дышать въ этой рѣдкой и холодной атмосферѣ

общихъ мѣстъ и отвлеченностей; недостатокъ дѣйствительной жизни слышался явственно, и тяжелое впечатлѣніе безжизненности становилось чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе.

Стоитъ вспомнить хотя бы эти петербургскіе пожары, которыми заключается та эпоха. Едва ли было когда на свѣтѣ недоумѣніе сильнѣе недоумѣнія, возбужденнаго этимъ страннымъ событіемъ. На минуту всѣ растерялись и не знали, что подумать. Чудовищно фантастическія объясненія, которыя появились вслѣдъ за тѣмъ, какъ нельзя лучше характеризуютъ тогдашнее время: настроеніе умовъ такъ далеко отошло отъ дѣйствительности, что придавало ей самыя неестественныя формы, искажало факты до уродливости.

Польское дѣло также было встрѣчено недоумѣніемъ. Первые вѣсти о возстаніи возбудили раздумье и колебаніе, и, какъ ни коротко было это колебаніе, оно весьма многозначительно для характеристики предъидущаго настроенія умовъ. Чего лучше? *Московскія Вѣдомости* сами свидѣтельствуютъ, что первые ихъ статьи о Польшѣ, писанныя въ томъ духѣ, въ какомъ онѣ пишутся теперь, были встрѣчены какъ *что-то смѣлое*. Но событія шли слишкомъ быстро и говорили слишкомъ громко, такъ что колебаніе не могло быть продолжительно. Такъ или иначе, но всѣ подались и повернули въ одну сторону; съ разными оттѣнками, въ различной степени, но всѣ стали сочувствовать одному и тому же. Дѣло было слишкомъ важное, слишкомъ ясное, затрогивало такіе глубокіе интересы, будило такія живыя сердечныя струны, что самые упорные мечтатели были пробуждены отъ своихъ сновъ, что люди, до сѣдыхъ волосъ питавшіеся общими и отвлеченными идеями, бросили ихъ, столкнувшись съ этой яркой дѣйствительностію.

Польское дѣло разбудило и отрезвило насъ, точно такъ, какъ будить и отрезвляетъ размечтавшагося человека голая дѣйствительность, вдругъ дающая себя сильно почувствовать. На мѣсто понятій оно подставило факты, на мѣсто отвлеченныхъ чувствъ и идей—дѣйствительныя чувства и идеи, воплощенные въ историческія движенія, на мѣсто воззрѣній—событія, на мѣсто мыслей—кровь и плоть живыхъ людей.

И что же? Дѣйствительность лучше, чѣмъ мечтанія и призраки. Великое дѣло—чувствовать жизнь въ своемъ сердцѣ. Эти печальныя событія, эта больная рана, которую вдругъ разбередили—не совсѣмъ лишены какой-то грустной отрады. Біеніе сердца ускорено; мы чувствуемъ приливъ теплой крови, подступъ жизненныхъ волненій—и невольно сознаемъ, что намъ лучше, чѣмъ въ томъ холодномъ снѣ, когда насъ занимали одни безпорядочные образы фантазіи. Какъ бы кто ни хитрилъ передъ другими и даже передъ самимъ собою, никого нельзя обмануть и никому нельзя обмануться въ нынѣшнемъ настроеніи всего русскаго народа. Если же такъ, и если наши чувства сколько нибудь соотвѣтствуютъ такому настроенію, то тутъ именно мѣсто радости. Какъ много значитъ быть хоть на минуту въ единеніи съ народомъ! Почувствовать себя членомъ этой великой семьи, почувствовать свою связь съ этимъ великимъ цѣлымъ, быть своимъ среди своихъ, желать того, чего и они желаютъ, мыслить и дѣйствовать за одно со всѣми—все это, конечно, великое счастье и мы должны цѣнить его даже тогда, когда оно достается намъ на минуту, когда скоро проходитъ, когда возмущается множествомъ неблагоприятныхъ и идущихъ въ разрѣзъ обстоятельствъ,

Въ польскомъ дѣлѣ мы встрѣтились лицомъ въ лицу съ своимъ народомъ и своею исторіею. Встрѣча была неожиданная и застала насъ въ расплохъ. Блуждая въ сферѣ общихъ идей и отвлеченныхъ теорій, мы, болѣе чѣмъ когда нибудь, потеряли пониманіе исторіи. Мы привыкли думать, что дѣла въ ней рѣшаются также легко, какъ легко группируются и развиваются наши мысли. Мы не хотѣли вѣрить тѣмъ рѣзкимъ проблескамъ дѣйствительности, которые изрѣдка доходили до насъ. Еще наканунѣ возстанія, если намъ рассказывали, что какой-нибудь Духинскій проповѣдуетъ въ Парижѣ наше татарское происхожденіе, мы готовы были смѣяться и были увѣрены, что всякій полякъ, не лишенный здраваго смысла, смотритъ на Духинскаго какъ на шута. Если намъ говорили, что поляки имѣютъ въ виду границы 1772 года, мы видѣли въ этомъ чуть ли не клевету на польскій смыслъ, чуть ли не злоумышленную выдумку, чтобы напугать и раздражить насъ. Словомъ, мы чрезвычайно добродушно вѣрили, что поляки не таковы, каковы они есть, а именно таковы, какими они должны бы быть—по нашему мнѣнію. Скорѣ мы увидѣли, какъ далека дѣйствительность отъ нашихъ понятій. Наше татарское происхожденіе было проповѣдуваемо съ ученыхъ кафедръ, доказываемо въ безчисленныхъ журналахъ и брошюрахъ, и чуть чуть не попало въ число аргументовъ французскихъ дипломатическихъ нотъ, а возстаніе подняло свое знамя чуть что не въ самомъ Кіевѣ, чуть не подъ стѣнами тамошней лавры. И вообще, когда исторія пошла передъ нами своимъ тяжелымъ ходомъ и въ полной своей наготѣ, когда въ нашихъ глазахъ она совершала одинъ за другимъ свои безпощадные выводы, мы убѣдились, что дѣло такъ сложно, вопросъ

такъ труденъ и глубокъ, что его не охватить легкая сѣть нашихъ привычныхъ понятій.

Передъ нами совершалась и совершается судьба народа, съ которымъ давно и тѣсно мы связаны самою исторіею. Для этого народа всего лучше, всего разумнѣе и выгоднѣе было бы отказаться отъ своей исторіи, разорвать съ ней связь и начать новую жизнь. Но если мы, хотя на минуту могли предположить, что поляки воодушевлены космополитическими, или какими-нибудь другими, но не польскими убѣжденіями, то тотчасъ же мы должны были вполне отказаться отъ такой мысли. Поляки, какъ говорится, ничему не выучились и ничего не забыли. Чѣмъ грознѣе и неминуемѣе предстоитъ гибель ихъ надеждамъ, тѣмъ упорнѣе они держатся за эти надежды. Съ общей точки зрѣнія можно бы было подумать, что всего легче отказаться именно отъ польской исторіи, отъ исторіи печальной, въ которой одинъ классъ народа постоянно давилъ и душилъ все остальное населеніе, въ которой жида были всегда милѣе господствующему классу шляхтичей, чѣмъ ихъ единовѣрцы и единоплеменники—простолюдины польскаго народа, въ которой іезуиты нашли себѣ такой просторъ, такую удачную почву, словомъ, отъ исторіи, которая въ концѣ концовъ погубила польское государство и отдала его подъ власть сосѣднихъ народовъ; а между тѣмъ, что мы видимъ? Оказывается, что наши общія идеи, наши взгляды, почерпнутые изъ чистаго разума—на дѣлѣ не имѣютъ ни малѣйшей силы. Оказывается, что для поляка отказаться отъ своей исторіи точно также невозможно, какъ невозможно человѣку отказаться отъ своего лица, отъ своихъ глазъ и своего носа.

Въ лицѣ поляковъ мы встрѣтились съ чувствомъ исто-

рической національности, съ чувствомъ, доходящимъ до сильнѣйшаго напряженія, воспламененнымъ до отчаяннаго фанатизма. Какъ самолюбіе затрогиваетъ самолюбіе, какъ гордость вызываетъ гордость, такъ и чувство народности было зажжено въ насъ вспышкою національныхъ и историческихъ притязаній поляковъ.

И вотъ мы тоже вспомнили свою исторію, стали приводить себѣ на мысль наши права, наши надежды, нашу вѣру въ свою будущность. По мѣрѣ того, какъ вспышки возстанія были затопляемы народною волною въ западномъ краѣ, по мѣрѣ того, какъ наша власть становилась все крѣпче и крѣпче въ царствѣ польскомъ, мы старались уяснить себѣ смыслъ и значеніе этихъ событій съ нашей народной, съ нашей исторической точки зрѣнія. На притязанія народности мы отвѣчали требованіями народности въ несчастномъ западномъ краѣ, на воспоминанія воспоминаніями, на гордость гордостью, и на надменную мысль, что поляки будто бы представители западной цивилизаціи и, слѣдовательно, просвѣтители странъ, бывшихъ подъ ихъ властью, у насъ явился отвѣтъ, что мы русскіе призваны исторіей для исцѣленія польскаго народа отъ его вѣковыхъ болѣзней.

Вообще, у насъ нѣтъ и не можетъ быть вопроса, который бы до такой степени возбуждалъ наше народное чувство, какъ польскій вопросъ. Чтобы отразить другаго непріятеля, даже Наполеона съ его двадцатью языкъ, нужна была только армія, и даже со стороны народа только внѣшнія усилія, внѣшнія враждебныя дѣйствія. Чтобы порѣшить дѣло съ Польшею, приходится отражать ея вѣру нашею вѣрою, ея языкъ нашимъ языкомъ, ея исторію нашею исторіею, ея духъ нашимъ духомъ. Всѣ наши внутреннія силы, весь нашъ историческій

организмъ съ его зачатками и зрѣлыми формами долженъ пойти въ сравнительную оцѣнку и тяжбу съ ея организмомъ и ея силами.

Когда мы увидѣли, въ чемъ состоитъ наше оружіе, что имѣетъ цѣну въ этой борьбѣ, на что мы должны полагаться, и что намъ требуется, то мы научились дорожить всѣми нашими народными элементами, мы стали ихъ высоко ставить и пріобрѣли вѣру, что вмѣстѣ съ вещественнымъ преобладаніемъ надъ Польшею, мы имѣемъ надъ нею и нравственный перевѣсъ.

Тотъ духъ, который до сихъ поръ хранитъ наше великое государство, который даетъ ему несокрушимую крѣпость, мы поставили выше всѣхъ блестящихъ сторонъ польской исторіи и цивилизаціи. Думать иначе, значило бы не вѣрить будущности своего народа, значило бы прійти къ невѣрію, невозможному для живаго народа.

Конечно, мы еще не заявили для всѣхъ несомнѣнно тѣ глубокія духовныя силы, которыя хранятъ насъ и даютъ намъ крѣпость; но мы имъ вѣримъ, мы ихъ чувствуемъ, и рано или поздно докажемъ всему свѣту. Конечно, наша русская культура, столь медленно слагавшаяся, столь трудно развивающаяся, можетъ, по бѣдности своихъ внѣшнихъ формъ, подать поводъ къ высокоумію Запада. Европа честитъ насъ варварами, и поляки въ своей враждѣ не находятъ мѣры въ униженіи нашей духовной жизни. Мы же думаемъ, что наша культура, хотя менѣе развитая и опредѣленная, носитъ въ себѣ залогъ такой крѣпости, такого глубокаго и далекаго развитія, какихъ, можетъ быть, не имѣетъ никакая другая культура.

Вотъ убѣжденіе, которое способно предохранить насъ

отъ всякаго малодушія и колебанія. Вѣря въ себя, мы не испугаемся никакихъ вопросовъ, никакихъ сравненій и требованій. Чувствуя свои силы, мы не побоимся указанія на труды и обязанности, на высокія цѣли, которыхъ должны достигнуть. Въ настоящее время, наша прямая обязанность и настоятельная потребность состоитъ въ томъ, чтобы уяснить себѣ элементы духовной жизни русскаго народа, понять эти элементы, слѣдить за ихъ развитіемъ и способствовать ему всѣми силами. Польской культурѣ мы должны противопоставить развитіе нашей культуры, той самой культуры, которой глубокая сила сохранила и отстояла нашу самобытность и наше государственное могущество.

Только такимъ образомъ вполнѣ разрѣшается вопросъ; только при такомъ взглядѣ, при такихъ вѣрованіяхъ и надеждахъ, дѣло получаетъ видъ ясный и несомнѣнный. Не во имя одной народности мы должны отвергать притязанія поляковъ на западныя русскія области; мы имѣемъ на это право также во имя нашей культуры. Насъ связываетъ съ ними духовное родство, общая принадлежность къ нѣкоторой великой духовной жизни. Наша многовѣковая борьба съ поляками есть не просто рядъ войнъ, это борьба двухъ культуръ: одной медленно развивающейся и болѣе крѣпкой; другой болѣе ясной и блестящей, но и болѣе хрупкой. Эта борьба должна кончиться, и непременно кончится, въ нашу пользу.

Что касается до поляковъ, то очевидно попавъ въ борьбу съ духовною жизнью нашего народа, они стали въ ложное и гибельное для нихъ самихъ положеніе. Ихъ раннее знакомство съ Западомъ, ихъ противуславянское развитіе, ихъ цивилизація, которою они столько превозносятся, внушили имъ гордость и надменіе при

столкновеніи съ русскою культурою. Они дошли до того, что стали смотрѣть на народъ западной Россіи какъ на простой матеріалъ для своей цивилизаціи, какъ на грубую глину, которой форма отъ нея самой не зависитъ.

Вотъ откуда ихъ неосуществимыя притязанія, вотъ откуда тотъ религіозный и культурный прозелитизмъ, который вѣлся въ плоть и кровь польскаго народа, который воспитанъ въ немъ самою исторіею. Роковое заблужденіе! То, на что они столько времени смотрѣли, да и до сихъ поръ смотрятъ, съ такимъ высокомѣріемъ—сильнѣе ихъ; то, что въ ихъ глазахъ такъ блѣдно и слабо и неразвито — крѣпче ихъ. Будущность и жизнь и сила принадлежить не тому, что окружено блескомъ и богато выработанными формами, а тому, что еще темно, еще не вполне проявилось и выяснилось.

Таковы въ общихъ чертахъ мысли и чувства, которыя въ той или другой формѣ должны были возникнуть у всѣхъ, такъ какъ они логически вытекаютъ изъ самаго положенія дѣла. Какія бы оговорки при этомъ ни дѣлались, какія бы поясненія ни прибавлялись, въ сущности дѣло будетъ все таки такъ, какъ мы сказали. Тутъ нѣтъ даже мѣста спорамъ; тутъ дѣло рѣшается не отвлеченными построеніями, а самою жизнью, самою кровью. Живому не разсчитывать на жизнь не возможно. Сказать, что надежда есть пустая мечта — значитъ вовсе не понимать жизни. Въ одномъ журналѣ было однакоже замѣчено, что *будущаго въ наличности не имѣется*. Замѣчаніе тонкое, которое въ равной степени примѣняется и въ прошедшему; и прошедшаго тоже въ наличности не имѣется. Но жизнь очевидно строится не по понятіямъ нашихъ мудрецовъ; для нея и прошедшее дорого и существенно, и будущее неизмѣнно существуетъ, какъ стрем-

леніе и надежда. Народъ, который не вѣритъ въ свое будущее, также невозможенъ, какъ невозможенъ голодный, который не вѣрилъ бы въ существованіе пищи.

Здѣсь не мѣсто, конечно, подробно разъяснять всѣ элементы польскаго дѣла, излагать все, что постепенно открылось и уяснилось намъ въ этомъ дѣлѣ, по мѣрѣ хода событій. Но чтобы подтвердить то, что сказано выше, укажемъ на нѣкоторыя общія черты, въ настоящую минуту уже для всѣхъ очевидныя.

Во-первыхъ, для поляковъ будетъ вѣчнымъ стыдомъ то обстоятельство, что въ нынѣшнее возстаніе масса простого народа польскаго не была дѣятельнымъ элементомъ, а составляла только страдательное орудіе, почти съ одинаковымъ равнодушіемъ подчинявшееся и той и другой изъ боровшихся сторонъ. Это разъединеніе въ такую рѣшительную минуту, этотъ недостатокъ единодушія въ такое время, когда всякій народъ бываетъ единоподушенъ, есть черта глубоко ненормальная, глубоко отталкивающая.

Во-вторыхъ, точно также, великимъ стыдомъ для поляковъ будетъ та тѣсная и существенная связь, которую польское возстаніе имѣло съ нашимъ крестьянскимъ дѣломъ. Эта связь, столь невѣроятная, столь жестокая для нашихъ благодушныхъ помысловъ, теперь ясна несомнѣнно. Оказалось, что наше великое крестьянское дѣло было для поляковъ зломъ и гибелью, было разрушеніемъ ихъ надеждъ и тайныхъ замысловъ. Оказалось, что нынѣшнее возстаніе есть возстаніе не столько противъ русскихъ, сколько *противъ русскаго крестьянскаго дѣла*. Каждый шагъ въ освобожденіи крестьянъ отзывался въ Польшѣ усиленіемъ недовольства, нарастаніемъ возмущенія. Польскія смуты стали

особенно замѣтны съ 1861 года, со времени подписанія великаго манифеста. Польское возстаніе вспыхнуло въ 1863 году, именно тогда, когда оканчивался первый, самый важный періодъ крестьянскаго дѣла. Такимъ образомъ, то, что было благомъ для Россіи, оказалось для Польши зломъ, такимъ нестерпимымъ зломъ, что Польша отвѣчала на него возмущеніемъ. Такимъ образомъ, поляки могли переносить многое и долгое переносили; не смотря на самыя различныя обстоятельства, они терпѣливо отлагали исполненіе своихъ надеждъ; но они не могли вынести такого удара, какъ крестьянское дѣло.

Когда крестьянское дѣло начиналось, всякой помнитъ, что у насъ были опасенія, какъ бы это дѣло не вооружило одного сословія противъ другого, или не возбудило недовольства противъ власти. Вслѣдствіе весьма неправильнаго взгляда на положеніе вещей, многіе ни за что не хотѣли вѣрить, чтобы реформа прошла мирно. И что же? Эти опасенія сбылись, только не тамъ, гдѣ ихъ ожидали, не у насъ, а въ Польшѣ и въ западномъ краѣ. Тамъ враждебно столкнулись элементы приведенные въ движеніе: народъ поднялся противъ шляхты, и шляхта возстала противъ властей. Такимъ образомъ, сильный переломъ въ организмѣ отозвался на больномъ мѣстѣ, какъ этому и слѣдовало быть. Отчасти это было для насъ даже спасительно, какъ бываетъ спасителенъ выходъ болѣзни наружу. У насъ тоже было слабое броженіе, зачатки вражды и остатки недоразумѣній. Все это мгновенно исчезло, когда поднялась Польша; всѣ другія части организма почувствовали себя крѣпче, когда эта часть явно заболѣла. Поляки ошиблись въ расчетѣ, предполагая воспользоваться нашими внутренними смутами.

Такимъ образомъ, теперь уже для всякаго ясна эта

сторона дѣла. Освобожденіе крестьянъ наносило совершенное пораженіе преобладанію полонизма въ нашемъ западномъ и юго-западномъ краѣ. Это преобладаніе охранялось тамъ русскою властью, поддерживалось крѣпостнымъ правомъ, и должно было исчезнуть вмѣстѣ съ этимъ правомъ. 1863 годъ былъ послѣдній срокъ, когда еще можно было мечтать о старинной Польшѣ, простирающейся отъ моря до моря. Еще немного, еще годъ, полгода, и все уже было бы потеряно, потому что окончательно было бы вырвано изъ рукъ оружіе полонизма — крѣпостное право. Вотъ отчего поляки поднялись именно въ 1863 году; дальше медлить было невозможно. Это была послѣдняя, отчаянная попытка захватить силою то, на что было отнято право. Не удалась — и теперь она уже никогда не удастся, и призракъ старинной Польши навсегда останется призракомъ.

Мы видимъ теперь, какъ далеко простирается дѣйствіе нашего крестьянскаго дѣла, какіе глубокіе результаты оно въ себѣ содержитъ. То, что у насъ внутри было *освобожденіемъ отъ крѣпостнаго права*, въ западномъ краѣ получило еще бѣльшее значеніе, — именно стало *освобожденіемъ отъ полонизма*. Польское дѣло вызвано крестьянскимъ, какъ его необходимое слѣдствіе.

И такъ, польское дѣло было въ западномъ краѣ прямо противународнымъ, и никогда не было чисто-народнымъ въ самой Польшѣ. Настоящій его характеръ — аристократическій, шляхетскій, и этимъ характеромъ запечатлѣно польское возстаніе во всѣхъ своихъ чертахъ, до самыхъ мелочей.

Друзья Польши, доброжелатели поляковъ часто высказывали сожалѣніе, что повстанцы *не успѣли сдѣлать* своего дѣла — народнымъ; говорили, что *еще можно бы*

было поправить ошибку, если-бы во время принять тѣ или другія мѣры. Какъ странно звучать такія сожалѣнія и совѣты! Нѣтъ, дѣло, которое не выходитъ изъ народа, нельзя сдѣлать народнымъ. Дѣло, въ которомъ нѣтъ уваженія къ народу, въ которомъ народъ рассматривается какъ средство и орудіе, — по самой сущности не можетъ быть народнымъ.

Гораздо вѣрнѣе будетъ сказать на оборотъ. Не только поляки упустили случай сдѣлать свое дѣло народнымъ, — они прямо вели и дѣлали это дѣло по шляхетски, а не по народному. Шайки составлялись изъ шляхты. Первымъ условіемъ военнаго устройства полагалась — блестящая обмундировка, красные мундиры, металлическія пуговицы. Повстанцы хотѣли удивлять народъ, дѣйствовать на него обаяніемъ блеска. Но удивлять народъ, называть его за собою въ качествѣ слугъ, не значить быть въ единеніи съ народомъ, а значить прямо противное, значить отдѣлять себя отъ народа.

Такимъ образомъ, глубокая внутренняя ложь слышится во всемъ этомъ дѣлѣ. Это страшно; это наводитъ тоску и ужасъ, но это справедливо. Казалось бы, чего больше требовать отъ шляхты? Она разорила себя до конца; она топчетъ въ грязь все богатство, какое только есть въ Польшѣ; наконецъ она льетъ свою кровь и борется съ неистощимою смѣлостію и упорствомъ. Но ничто не пойдеть ей въ прокъ, потому что она шляхта и, умирая, остается шляхтою.

По видимому, этихъ людей укорять нельзя; по видимому, идя на смерть, они тѣмъ самымъ становятся себя внѣ осужденія, примѣнимаго къ живымъ. Но есть случаи, когда и смерть не спасаетъ отъ приговора правды. Чего добивалась шляхта? Она хотѣла удивить міръ, какъ уди-

вляла своихъ простолюдиновъ. Заграничная печать, какъ извѣстно, употребляла всѣ мѣры, чтобы исказить и преувеличить польское дѣло; но поляки не ограничились этимъ дешевымъ средствомъ для привлеченія къ себѣ вниманія. Они пустили въ ходъ кровь и смерть; они наполнили міръ ужасомъ своихъ страданій и отчаянныхъ подвиговъ; они стали на дѣлѣ разыгрывать ужасныя трагедіи, отъ которыхъ бы сердце содрогалось у зрителей.

И въ самомъ дѣлѣ, эта кровь и эти тысячи смертей — ослѣпляютъ и оглушаютъ; кровавая картина этихъ страданій застилаетъ намъ глаза и мѣшаетъ видѣть настоящее положеніе дѣла. Но до конца такъ продолжаться не можетъ. Все яснѣе и яснѣе мы видимъ теперь, что страданія польской шляхты *заслоняютъ* отъ насъ другія страданія, что исторія ея битвъ и пораженій упорно старается поставить себя между нашими глазами и исторіею другихъ бѣдствій, менѣе видимыхъ, но болѣе тяжелыхъ. Мы видимъ, что есть великіе и важные интересы, которые поляки, во что бы то ни стало, стремятся заслонить своими интересами. Для этого они употребляютъ кровь и смерть; но и такія средства имъ не помогутъ.

Эти битвы, эта кровь, эти тысячи умирающихъ, — все это еще не такъ страшно, какъ можетъ быть страшно многое другое. Смерть въ бою — одна изъ лучшихъ смертей. Повстанцы шли къ ней на встрѣчу, приготовленные самымъ лучшимъ образомъ. Они наряжались въ красные мундиры; они были возбуждаемы прокламаціями, согрѣвали себя великодушными мечтами, славными воспоминаніями, всѣмъ огнемъ патріотизма. Наконецъ они бились и умирали на глазахъ всей Европы, въ полной увѣренности, что къ нимъ приковано всеобщее вниманіе. Они ничего не жалѣли и разоряли свою страну; но исто-

щеніе средствъ и разореніе всего меньше составляетъ бѣдствіе для того, кто тратитъ и разоряетъ.

Вся эта блистательная трагедія, весь этотъ рискъ и удалство и шумная гибель, что они значатъ въ сравненіи съ тою глухою драмою, съ тѣми неслышными волненіями и страданіями, которыя въ тоже время совершались въ народѣ? Какой невыразимой ужасъ долженъ былъ объять эти бѣдныя населенія западнаго края при одномъ призракѣ возвращенія польскаго владычества! Послѣ вѣковыхъ страданій и униженій, послѣ безконечныхъ притѣсненій и оскорбленій во всемъ, что свято и дорого, для этого народа засвѣтилась наконецъ надежда въ уничтоженіи вѣрстнаго права. Нигдѣ крестьянское дѣло не было ведено такъ дурно, какъ въ западномъ краѣ. Въ продолженіи 1861 и 1862 года, народъ тамъ даже не почувствовалъ никакой перемѣны въ своемъ положеніи; такъ искусно умѣли оттянуть и замаять дѣйствіе великаго манифеста. Но наступилъ наконецъ 1863 годъ, и рано или поздно освобожденіе должно было совершиться. И вдругъ, въ минуту этихъ робкихъ ожиданій, несмѣлыхъ и запуганныхъ надеждъ—являются красные всадники и встаетъ грозное привидѣніе старинной Польши, шляхетской Рѣчи Посполитой. Темно было въ умахъ народа, и слабое движеніе могло въ испуганномъ воображеніи принять огромные размѣры. Эта гроза висѣла надъ людьми погруженными въ неисходную нищету, людьми безоружными и въ вещественномъ и въ нравственномъ смыслѣ. Для нихъ не было исхода въ эффектной трагической смерти; имъ грозило и ждало ихъ впереди—одно глухое отчаяніе, которое наконецъ они не умѣли и выразить, которое нужно было переносить безъ всякаго вниманія и участія со стороны другихъ.

Эти волненія и страданія не описывались въ газетахъ, не сообщались по телеграфу, не воспѣвались поэтами и не записывались въ исторію. Умирать не защищаясь, страдать не подавая голоса и не произнося жалобы, видѣть передъ собою борьбу за все, что есть для тебя святаго—и не мочь, не смѣть принять въ ней участіе, не имѣть даже возможности жертвовать собою — вотъ жестокая судьба, которой подвергался народъ западнаго края. Благодаря „Дню“, мы слышимъ иногда голоса изъ среды тамошняго населенія. Характеръ этихъ слабыхъ и рѣдкихъ заявленій трогателенъ до высочайшей степени. Нѣтъ тутъ ни гордости, ни хвастливости, ни высоко-мѣрныхъ притязаній, нѣтъ даже ненависти и злобы. Это кроткія жалобы, это смиренныя просьбы объ удовлетво-реніи самыхъ священныхъ, самыхъ непререкаемыхъ по-требностей человѣческихъ: они просятъ возможности по русски учиться и по русски молиться, просятъ, чтобы мы знали и помнили свое родство съ ними, не отвер-гали бы ихъ какъ чужихъ, не отдавали бы ихъ, безпо-мощныхъ и истощенныхъ, на жертву всякому лукавству и насилію чужаго племени. Однимъ словомъ, все ихъ желаніе и надежда—быть своими среди своихъ, быть русскими въ Россіи.

Таковы нѣкоторыя главныя черты польскаго дѣла. Какъ бы мы ни судили объ его частностяхъ, объ отдѣль-ныхъ лицахъ и событіяхъ, одно вѣрно и несомнѣнно: общій характеръ этого дѣла—съ нашей стороны—на-родный, со стороны же поляковъ—аристократическій, шляхетскій. Такимъ образомъ, наше преобладаніе надъ поляками не ^{есть} простой фактъ физической силы; мы получили это преобладаніе въ силу нѣкотораго нрав-ственного преимущества. Мы оказались на сторонѣ свѣ-

жаго и здороваго начала, тогда какъ поляки стали жертвою ненормальнаго настроенія, наслѣдованнаго ими отъ своей исторіи. Съ извѣстной точки зрѣнія, дѣло поляковъ есть дѣло отживающихъ принциповъ, которыхъ не мало въ Европѣ въ настоящую минуту. Въ этомъ смыслѣ тѣсная связь поляковъ съ Западомъ была для нихъ гибельна. Въ польскомъ движеніи все отзывается стариною, вездѣ слышенъ духъ 1772 года; оно и не удалось потому, что въ немъ не было живаго присутствія духа новаго времени, такъ что будущій историкъ запишетъ это событіе нашего вѣка на ряду съ паденіемъ свѣтской власти папъ и другими подобными.

И такъ, наше народное чувство не только тревожно искало себѣ удовлетворенія, не только обращалось къ самому себѣ съ запросами и требованіями, но отчасти и находило себѣ ясный исходъ, находило твердую опору въ послѣднихъ явленіяхъ нашей исторіи. Все это должно было отразиться въ литературѣ.

Но, какъ мы уже сказали, польское дѣло застало врасплохъ наше общество и нашу литературу, и отсюда выходить цѣлый рядъ довольно странныхъ явленій.

Извѣстно, что собою мы занимаемся весьма мало. Мы живемъ и питаемся заграничными книжками и заграничными взглядами. Къ этой общей причинѣ, по которой мы постоянно витаемъ въ общихъ сферахъ и очень расположены ко всему общечеловѣческому, присоединялись еще частныя и совершенно особенныя обстоятельства. Польское дѣло долгое время считалось запрещеннымъ плодомъ. Книги и брошюры, писанныя поляками и распространяемыя по всей Европѣ, не проникали въ Россію. Вслѣдствіе этого, умственная борьба съ идеями полонизма, вмѣсто того, чтобы начаться раньше, началась

чуть ли не позже физической борьбы съ поляками. „Санктпетербургскія Вѣдомости“ въ первые же дни нынѣшняго возстанія откровенно объявили, что въ русской литературѣ существовали всевозможные вопросы, но никогда не было польскаго вопроса. Къ стыду нашему, это совершенно справедливо. Мы все воображали, что у насъ тишь да гладь, да Божья благодать, а между тѣмъ поляки работали, готовили подробный планъ, заранѣе назначали главные точки возстанія. Въ особенности успѣшно шло у нихъ дѣло полонизированія западнаго края Россіи; времена прошлаго царствованія и вплоть до возстанія были самыя удобныя и плодovitыя въ этомъ дѣлѣ. Ничего этого мы не знали, хотя это творилось прямо передъ нашими глазами. Тѣже „Вѣдомости“ немного спустя откровенно объявили, что собственно „День“ открылъ и объяснилъ намъ, что дѣлается въ западномъ краѣ. И это совершенно справедливо. Дѣйствительно „Дню“ принадлежит эта заслуга.

Такимъ образомъ, оказывается, что русское общество и русская литература не имѣли твердаго и яснаго понятія о предметахъ самыхъ существенныхъ, о томъ, о чемъ бы каждый русскій долженъ былъ имѣть то или другое, но во всякомъ случаѣ вполне ясное и определенное понятіе.

Понятно, что отсюда должны были произойти самыя поразительныя недоразумѣнія. Что касается до литературы, то ненормальность положенія выказалась очень рѣзкими признаками. Во первыхъ, петербургская литература очевидно сконфузилась самымъ жестокимъ образомъ. Эта литература общихъ мѣстъ и общихъ взглядовъ, литература всевозможныхъ отвлеченностей и общечеловѣчностей, литература столь же беспочвенная, фанта-

стическая, напряженная и нездоровая, какъ и самый городъ Петербургъ, была поставлена въ тупикъ живымъ явленіемъ, для котораго нужно было не отвлеченное, а живое пониманіе. Формы конфуза были различны, но всѣ вытекали изъ одного и того же источника. Одни замолчали, стараясь показать этимъ, что еслибы они заговорили, то насказали бы вещей необыкновенно мудрыхъ. Въ сущности, эти добрые люди кажется только обманываютъ самихъ себя. Еслибы имъ и пришлось говорить, они или ничего бы не сказали, или бы сказали очень мало. Имъ не дурно обратить вниманіе на тѣхъ, которымъ въ этомъ случаѣ нечего стѣсняться въ своей рѣчи. Эти нестѣсняющіеся пробовали говорить, но никогда еще не были такъ скудны ихъ рѣчи. Дѣло въ томъ, что какъ скоро предметъ вовсе не подходитъ подъ понятія, которыя мы принимаемъ за мѣру всего на свѣтѣ, какъ скоро онъ не укладывается ни въ какія изъ тѣхъ рамокъ, въ которыя мы привыкли укладывать всѣ другіе предметы, то мы и говорить объ немъ не умѣемъ и не можемъ. Чтобы говорить, нужно понимать слова, которыя мы произносимъ. Слѣдовательно, если доведется случай, когда смыслъ словъ совершенно чуждъ нашимъ понятіямъ, то мы едва ли много наговоримъ.

Въ то время, какъ одни молчали, другіе пробовали говорить, даже всячески старались разговориться какъ можно свободнѣе. Но эти усилія были весьма неудачны. Рѣчь была не тверда, голосъ дрожалъ, перескакивалъ съ одной ноты на другую, путался и прерывался. Понятно, что такія рѣчи не могли возбуждать никакого вниманія, не могли имѣть ни малѣйшаго успѣха. Исключеніе составляютъ только одни прекрасныя статьи Гильфердинга, которыя читались съ величайшею жадностію;

но, какъ извѣстно, это исключеніе только подтверждаетъ общее правило: г. Гельфердингъ по своимъ симпатіямъ принадлежитъ къ московской, а не къ петербургской литературѣ. Наконецъ, безсиліе петербургской литературы обнаружилось уже прямо тѣмъ, что она стала повторять слова московской, или усиленно старалась подражать ей. Были изданія, которыя, за неимѣніемъ собственныхъ рѣчей, преспокойно перепечатывали каждую передовую статью „Дня“. Въ другихъ изданіяхъ тщательно перенимали тонъ и манеру „Московскихъ вѣдомостей“, хотя въ то же время открыто объявляли себя во враждѣ съ ними.

Таковъ былъ совершившійся фактъ, такъ обнаружилась сила вещей и обстоятельствъ. Центръ тяжести литературы перемѣстился и вмѣсто Петербурга, какъ было прежде, очутился въ Москвѣ. Въ прошломъ году Россія читала „Московскія вѣдомости“ и „День“; только эти изданія пользовались вниманіемъ и сочувствіемъ, только ихъ голосъ и былъ слышенъ. И нельзя не отдать имъ справедливости—они говорили громко и внятно.

Въ каждомъ данномъ случаѣ весьма важно, если кто можетъ и умѣетъ говорить. Для того, чтобы говорить, нужно имѣть мысль живую и плодотворную, т. е. мысль, которая пускаетъ тысячи ростковъ, которая находитъ въ себѣ отзывъ на каждое обстоятельство, которая достаточно широка, достаточно полна и многосторонняя, чтобы имѣть возможность ко всему прикасаться.

Такою мыслью былъ вооруженъ „День“, и онъ исполнилъ свою задачу блистательнымъ образомъ. Онъ объяснилъ намъ всѣ фазисы, всѣ элементы, всѣ отбѣны всякаго вопроса. Для него были одинаково доступны всѣ стороны этого дѣла и онъ не останавливался передъ са-

ыми глубокими запросами, ничего не обходилъ, ни о чемъ не умалчивалъ. Не говоримъ о его заслугахъ для западнаго и юго-западнаго края; эти заслуги безцѣнны и неизгладимы; не признавать ихъ, или смотрѣть на нихъ высовомѣрно могутъ только люди, которые въ конецъ извратили свое пониманіе, которые наконецъ серьезно предпочитаютъ мысль—дѣлу. Оставимъ этихъ мечтателей утѣшать себя созерцаніемъ необычайной красоты своихъ мыслей!

Нужно впрочемъ прибавить, что *День* въ настоящее время все рѣже и рѣже подвергается той рѣзкой хулѣ, которая еще до сихъ поръ въ такомъ ходу въ нашей литературѣ. Самые упорные старовѣры начинаютъ оказывать ему уваженіе, и только въ немногихъ отсталыхъ изданіяхъ продолжается прежнее гаерство.

Совершенно иное дѣло съ „Московскими Вѣдомостями“. За исключеніемъ весьма тайно издаваемой газеты „Вѣсть“, нѣтъ кажется ни одного изданія, которое бы благопріятно смотрѣло на грозную московскую газету. Причины этого теперь уже найти не трудно. Почтенная газета, отличаясь безспорною проницательностію, силою ума и слова, все-таки въ сущности имѣла *сердечный* характеръ. Въ этомъ была ея сила, въ этомъ же заключалась и ея слабость. Несомнѣнныя достоинства газеты, ея вліяніе на общественное мнѣніе, ея неутомимая дѣятельность, конечно должны быть приписаны горячему порыву патріотическаго чувства, одушевлявшаго издателей. Другія свойства газеты точно также объясняются тѣмъ, что она слишкомъ легко поддавалась разнообразнымъ чувствамъ ее волновавшимъ. Она была подозрительна, недовѣрчива, высовомѣрна; била въ набатъ по поводу самыхъ невинныхъ вещей. Нѣтъ сомнѣнія, что все это дѣлалось

искренно, а не изъ одного подражанія тону и приёмамъ англійскихъ газетъ.

Понятно, что при этомъ не возможно было стоять твердо на извѣстномъ взглядѣ и строго держаться одной мысли. Это было такъ замѣтно, такъ явно, что „Московскія Вѣдомости“ сами признали свое непостоянство и даже нѣсколько разъ пробовали не безъ нѣкотораго успѣха возвести въ принципъ—отсутствіе постоянныхъ принциповъ. Они отказывались судить о частныхъ случаяхъ по общимъ началамъ и дѣлали тонкое различіе между понятіями и сужденіями; „понятія“, говорили они, „у насъ могутъ быть прекрасныя, а сужденія прескверныя“. Въ концѣ концовъ изъ этого различія слѣдовало, что должно не сужденія провѣрять понятіями, а на оборотъ понятія подгонять къ тѣмъ сужденіямъ, которыя намъ хочется утвердить и доказать. Такъ это и дѣлалось, и — нужно отдать честь — въ искусныхъ рукахъ этотъ пріемъ служилъ къ немалому разъясненію многихъ вопросовъ.

Случилось при этомъ обстоятельство весьма важное и характеристическое въ настоящемъ случаѣ. Встрѣтились такія сужденія, для утвержденія которыхъ понадобились и оказались необходимыми русскія понятія, понятіе о духѣ русскаго народа, понятіе объ особыхъ началахъ нашей исторіи и т. д. Московскія Вѣдомости стали смѣло употреблять въ дѣло эти понятія и были даже, по этому случаю, обвинены нѣкоторыми поверхностными людьми въ томъ, что они будто бы стали славянофильствовать. Обвиненіе несправедливое; всѣ понятія, какія только есть на свѣтѣ, могутъ быть употребляемы Московскими Вѣдомостями, какъ скоро въ этихъ понятіяхъ окажется какая-нибудь надобность и польза.

Во всякомъ случаѣ, фактъ многознаменательный. Мы знаемъ, что родоначальникъ Московскихъ Вѣдомостей, Русскій Вѣстникъ, выступилъ подъ знаменемъ общечеловѣческихъ идей, подъ знаменемъ науки, единой для всего челоуѣчества. Этой точки зрѣнія онъ твердо держался и при случаѣ защищалъ ее съ большимъ жаромъ. Но этихъ общихъ понятій, не говоря о томъ, достаточно ли широки и ясны они были, доставало только до тѣхъ поръ, пока жизнь спала и позволяла намъ предаваться отвлеченностямъ. Когда почувствовались жизненные движенія, для нихъ потребовались и жизненные понятія.

Вотъ нѣкоторыя общія черты той перемѣны въ нашей литературѣ и нашемъ умственномъ настроеніи, которая вызвана тяжелыми событіями послѣдняго времени. Въ важности, въ существенности этой перемѣны сомнѣваться невозможно. Много словъ раздалось слишкомъ громко, много мыслей и чувствъ пробудилось слишкомъ сильно, для того чтобы все это могло пройти безъ слѣда въ нашемъ умственномъ и нравственномъ развитіи. Понятія и взгляды, которые прежде повидимому стояли на заднемъ планѣ, которые казались исключительными, даже странными, вдругъ заняли первое мѣсто, получили наибольшій вѣсъ, обнаружили первостепенную ясность и силу. Напротивъ, то, что производило всего болѣе шума и повидимому владѣло общимъ вниманіемъ, вдругъ отлетѣло какъ шелуха и оказалось, какъ шелуха, ни къ чему не пригоднымъ. Странно подумать, съ какимъ внезапнымъ равнодушіемъ общество отворотилось отъ того, чѣмъ повидимому такъ жарко увлекалось, странно подумать объ этомъ внезапномъ безсиліи, которымъ вдругъ были поражены воззрѣнія, производившія прежде такое сильное дѣйствіе. Такимъ образомъ, опытъ обнаружилъ

задовъ можетъ только тотъ, кто
тасть случайностію и повтореніем
ратура слишкомъ честна, слишкомъ
быстро растемъ, слишкомъ сильно
того чтобы тутъ была возможна :
Мертвенность и механическая по-
можны у насъ еще вездѣ, но пока
литературѣ.

И такъ, тотъ внутренній повор
говорили, имѣетъ всѣ черты живаго
дѣйствительной ступени въ нашемъ
для всякаго, кто только понимаетъ,
что такое органическая связь являе
возбужденіе живаго организма спос
его силъ и созрѣванію его зачатк
вопросъ разбудилъ самыя глубокія
силы нашей русской жизни, въ это
возможно. Нужно считать Россію
ее ее Космическая

для нашей умственной жизни. Несамобытная, раздражительная умственная жизнь—вотъ вѣдь зло, отъ котораго мы постоянно и сильно страдаемъ. Отъ этого происходитъ та зыбкость, уродливость и фальшивая быстрота, которою отличаются наши умственные явленія. Чтѣ не самостоятельно, то не можетъ быть прочно и плодотворно.

Очень не рѣдко выдаютъ за особое свойство русской природы—способность все преувеличивать, во всемъ доходить до крайностей, до послѣднихъ возможныхъ предѣловъ. Намъ кажется, что русская натура едва-ли тутъ виновата, и что дѣло объясняется гораздо проще. Кажется, съ нами въ этомъ случаѣ происходитъ то, чтѣ дѣлается въ Америкѣ съ краснокожими, когда они происходятъ въ прикосновеніе съ бѣлымъ племенемъ. Первые семена, которыя цивилизація бросаетъ въ эту дикую почву, какъ извѣстно, суть водка и заразительныя болѣзни. Понятно, что такъ это и должно быть; перенять на себя нравственные и умственные силы бѣлаго человѣка—дикій не можетъ, перенять же питье водки дѣло легкое и удобное.

Нѣчто подобное дѣлается и у насъ, когда на насъ дѣйствуетъ западная цивилизація. Эта цивилизація есть дѣло великое и прекрасное, но не иначе какъ взятая въ цѣломъ, разсматриваемая, какъ нѣчто самобытное, органическое, глубоко растущее своими корнями въ землю. Перенять на себя ея силу, ея крѣпость и глубину мы не можемъ; оттого мы и перенимаемъ то, чтѣ полегче, и слѣдовательно, скорѣе всего то, чтѣ слабо, болѣзненно, чтѣ имѣетъ характеръ заразительный и ненормально раздражающій. Вотъ отчего мы такъ охотно бросаемся на всякія крайности и рѣзкости; они для насъ тоже, что водка для американскихъ дикихъ.

Западная цивилизація у себя дома и западная цивилизація у насъ—дѣло совершенно различное. У насъ она является въ разрозненныхъ и искаженныхъ формахъ, такъ какъ не всѣ явленія и не въ одинаковой степени прививаются къ намъ. Въ цѣломъ она все-таки остается для насъ чуждою. Отъ этого зависитъ другое, также давно замѣченное обстоятельство. Много разъ говорили, что между явленіями нашей умственной жизни нѣтъ строгой послѣдовательности, нѣтъ ограниченной связи, что каждое поколѣніе какъ будто начинаетъ все снова. Понятно, что такъ и должно быть, пока нѣтъ самобытнаго внутренняго движенія. Въ сущности, для насъ въ каждую данную минуту духовную пищу составляютъ нѣкоторыя послѣднія заграничныя книжки, именно тѣ, которыя производятъ шумъ и притомъ шумъ особаго свойства, къ которому мы очень чутки. Такимъ образомъ, мы вѣчно пробавляемся отрывками и то, что на западѣ имѣетъ глубокую связь и послѣдовательность, у насъ оказывается безсвязнымъ и не слѣдующимъ ни какому закону.

Всѣ эти уродливости, вся эта шаткость и неустойчивость должны исчезнуть, должны осѣсть и развѣяться, какъ скоро возьметъ нѣкоторую силу глубокое и постепенное движеніе внутренней, живой мысли. Судя по всему, наша литература должна отнынѣ все больше и больше получать внутренній, самостоятельный характеръ. Нынче, вѣжета, не можетъ повториться ни увлеченіе французскими книжками, ни англоманія, состоявшая впрочемъ не въ подражаніи самимъ англичанамъ, а скорѣе въ подражаніи тѣмъ нѣмцамъ, которые подражаютъ англичанамъ.

И такъ, все къ лучшему? спросить насъ въ заключеніе читатель. Да, смѣло отвѣчаемъ мы. Если нашъ очеркъ

покажется кому-нибудь слишкомъ свѣтлымъ, то пусть онъ вспомнитъ, что мы старались схватить существенныя черты, а существенная сторона каждаго развитія есть переходъ отъ *нижняго къ высшему*. Въ сущности, какъ сильно ни царитъ зло вокругъ насъ, дѣйствительная сила принадлежитъ одному добру.

Здѣсь совершенно встати остановиться на одномъ обстоятельствѣ. Наша литература развивается и крѣпнетъ, а между тѣмъ она до сихъ поръ носитъ на себѣ тяжелыя путы; она двигается съ кандалами на ногахъ.

До какой степени это уродуетъ и задерживаетъ ея развитіе, до какой степени ярко виднѣется на каждомъ ея произведеніи клеймо ея стѣсненнаго положенія, это знаетъ всякій питающій въ литературѣ сколько нибудь расположенія и вниманія. Поэтому надежда на свободу слова составляетъ одно изъ самыхъ сильныхъ и живыхъ чувствъ настоящей минуты.

(Написано для первой книги «Эпохи» 1864).

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

ВОЗДУШНЫЯ ЯВЛЕНІЯ

(1864 г.)

(не было напечатано).

Судить о движеніи литературы чрезвычайно трудно, гораздо труднѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Не говоримъ о томъ, что міръ литературы есть область явленій самыхъ сложныхъ, самыхъ разнообразныхъ, требующихъ для своей оцѣнки и классификаціи большой гибкости нормъ и категорій. Сверхъ всего этого, вѣрное сужденіе трудно потому, что литература по самой сущности дѣла всегда имѣетъ сторону фальшивую, обманывающую, что въ ней среди другихъ стремленій есть также постоянное стремленіе ослѣпить глаза наблюдателя, обмануть его фальшивымъ шумомъ и блескомъ.

Нельзя, напримѣръ, судить о литературныхъ явленіяхъ такъ просто, какъ мы судимъ о природѣ, какъ, положимъ, ботаникъ судить о растеніяхъ. Для ботаника каждое растеніе одинаково правильно, одинаково заслуживаетъ изученія и мѣста въ системѣ; все въ своемъ родѣ совершенно, говорятъ иногда натуралисты. Совсѣмъ другое дѣло въ литературѣ. Тутъ каждое правильное явленіе сопровождается безчисленными уродливыми явленіями, понижающимися по всевозможнымъ степенямъ до полного безсмыслія и безобразія. Есть уродливости и у

растеній, но они составляютъ исключеніе и притомъ легко даютъ себя отличить. Въ литературѣ же, уродливости составляютъ большинство, массу, и, кромѣ того, всякая уродливость носить маску, иногда весьма искусную маску нормальнаго явленія. Всѣ растенія уже тѣмъ хороши, что они живы, что въ нихъ дѣйствительно совершается органическій процессъ; въ литературѣ же есть множество явленій въполнѣ мертвыхъ, безжизненныхъ, а между тѣмъ наружно облеченныхъ во всѣ формы жизни.

Эти фальшивыя явленія могутъ сильно отвлекать наше вниманіе и обманывать нашъ взглядъ, если мы станемъ слѣдить за движеніемъ литературы, за ея развитіемъ и смѣною ея явленій. Наблюдатель здѣсь постоянно подверженъ опасности ошибиться. Положеніе его можно сравнить съ положеніемъ астронома, который старается опредѣлить настоящее строеніе и движеніе небесныхъ тѣлъ. Передъ глазами его совершаются иногда весьма блестящія явленія, несутся облака, играютъ зарницы, мелькаютъ падающія звѣзды, поднимаются столбы сѣвернаго сіянія, свѣтятся радужные круги, кресты и пятна, наконецъ проносятся огненные метеоры, подобные огромнымъ и яркимъ свѣтиламъ. Астрономъ впасть бы въ грубую ошибку, еслибы принималъ все это за настоящія небесныя явленія. Онъ знаетъ, что весь этотъ блескъ и всѣ эти перемѣны не касаются дѣйствительнаго неба, что все это *явленія воздушныя*, что, далеко за предѣлами этихъ явленій и совершенно независимо отъ нихъ, совершаютъ свой правильный путь тѣ дѣйствительныя небесныя свѣтила, которыя онъ долженъ изучать.

И въ литературѣ есть свои воздушныя явленія, мѣшающія наблюдателю, и тѣмъ болѣе ему мѣшающія, что

ихъ несравненно труднѣе отличить отъ дѣйствительныхъ явленій, чѣмъ это дѣлается въ астрономіи. На литературномъ горизонтѣ всегда ходятъ безчисленные метеоры, очень часто затемняющіа своимъ блескомъ дѣйствительныя свѣтила. Обыкновенно, немногіе умѣютъ отличать эти два рода явленій; для большинства же они ничѣмъ между собою не отличаются. Стоитъ прислушаться къ ходячимъ сужденіямъ, для того чтобы убѣдиться, что это такъ. Всегда успѣхъ книги признается доказательствомъ ея важности; извѣстность считается на ряду съ дѣйствительною славою; число читателей измѣряетъ собою достоинство писателя. Развѣ это не то же самое, что принимать метеоръ за свѣтило?

Есть, впрочемъ, одинъ признакъ, который обыкновенно не упускается изъ виду, и которымъ стараются положить различіе между метеорами и дѣйствительными явленіями. Онъ состоитъ въ томъ, что метеоры, какъ бы они блестящи ни были, исчезаютъ, и даже тѣмъ скорѣе исчезаютъ, чѣмъ они блестящѣе, тогда какъ свѣтила остаются и продолжаютъ свои пути. Но, по этому признаку легко судить только о прошедшемъ литературы, а никакъ не о настоящемъ. Книга, которую помнятъ только по названію, имя, которое осталось только какъ символъ пустоты или недобросовѣстности, — конечно ясно показываютъ, что это были фальшивыя явленія. Такимъ образомъ, когда метеоръ погасъ и исчезъ, легко опредѣлить его природу; но, по этому признаку его нельзя распознать съ разу именно тогда, когда это всего важнѣе, т. е. пока онъ еще горитъ и свѣтитъ.

Отличительные признаки однакоже должны быть. Задача настоящаго наблюдателя въ томъ и должна состоять, чтобы, зная свойства и законы дѣйствительныхъ явленій,

сейчасъ же умѣть отличить ихъ и, слѣдовательно, всегда имѣть возможность слѣдить за ними, не смотря на миражныя явленія, мелькающія передъ глазами.

Чтобы судить подобнымъ образомъ о литературѣ, нужно брать ее въ самомъ корнѣ, нужно видѣть въ ней выраженіе народнаго духа, какъ и насколько этотъ духъ отразился въ обществѣ. Всякая литература органически растетъ на почвѣ того народа, которому принадлежитъ. На литературѣ отражается исторія народа, постепенное раскрытіе его силъ, развитіе общественнаго сознанія, отношеніе общества къ народу. Всякое развитіе совершается по глубокимъ законамъ; главные его признаки суть самобытность и прогрессивность, т. е., что оно происходитъ *изнутри*, а не *извне*, и что каждая новая ступень выше старой. Если мы сумѣемъ слѣдить за литературными явленіями съ такой точки зрѣнія, т. е. какъ за постепеннымъ выясненіемъ духовной сущности народа, то мы легко будемъ отличать дѣйствительное отъ видимаго. Ибо, дѣйствительнымъ будетъ все то, что принадлежитъ къ настоящему развитію, какъ бы медленно и слабо оно ни совершалось; видимымъ же будетъ все то, что къ нему не относится, а составляетъ или внѣшній наплывъ, или неправильное и извращенное отраженіе движенія въ тѣхъ воздушныхъ слояхъ, которыми оно окружено. Среди брызгъ и пѣны, тумановъ и миражей отыскать живое, хотя бы и не быстрое теченіе—вотъ на что должно быть устремлено наше вниманіе. Какъ скоро мы нашли его и знаемъ его берега и извилины, то намъ тотчасъ же объяснится и все остальное, всѣ туманы, брызги, радуги и другія воздушныя явленія, сопровождающія живой потокъ. Литературные метеоры гораздо тѣснѣе связаны съ настоящими явленіями лите-

ратуры, чѣмъ небесные метеоры съ небесными свѣтилами. Совершенно справедливо будетъ сказать, что каждая эпоха литературы имѣетъ свои особые метеоры, свои характеристическіе миражи и блудящіе огни. Между дѣйствительными и воздушными явленіями въ литературѣ есть также органическая связь; какъ въ органическихъ тѣлахъ самая уродливости слѣдуютъ нѣкоторымъ законамъ того организма, въ которому они принадлежатъ, такъ и въ умственной жизни нѣтъ явленій, которыя бы не носили на себѣ печати того времени, когда они совершались.

Вотъ нѣсколько общихъ положеній относительно литературы, которыя, нужно прибавить, очень просты и понятны въ такой общей формѣ, но весьма и весьма трудны въ приложеніи. Мы выставили ихъ здѣсь потому, что желали бы дать читателямъ понять точку зрѣнія, на которой стоимъ. Именно, мы хорошо знаемъ, что воздушныя явленія, о которыхъ мы собрались говорить, далеко не такъ важны, какъ явленія дѣйствительныя, существенныя; мы не даемъ метеорамъ цѣны большей, чѣмъ они того заслуживаютъ. Такъ что, если мы говоримъ о нихъ, а не о чемъ нибудь другомъ, если вмѣсто положительной задачи беремъ на первый разъ отрицательную, то это еще не значитъ, что мы опускаемъ изъ виду главное и существенное.

Поговорить же о воздушныхъ явленіяхъ необходимо и важно потому, что нѣтъ, кажется, въ мірѣ литературы, въ которой бы они попадались въ такомъ изобиліи, гдѣ бы они до такой степени наполняли собою весь горизонтъ и заслоняли дѣйствительныя явленія, какъ въ русской литературѣ. Наша умственная жизнь, наше умственное развитіе есть нѣчто до такой степени непра-

вильное, хаотически нестройное, что многіе готовы всю ее принять за одинъ миражъ. Такъ трудно и странно складывается русская жизнь. У насъ есть даже цѣлый городъ, притомъ самый большой, какой у насъ есть, который весь удивительно похожъ на воздушное явленіе. По рассказамъ финновъ Петръ великій строилъ его на воздухъ и потомъ цѣликомъ поставилъ на болото.

Если читатели обратятся назадъ и припомнятъ, что было у насъ, начиная съ 1856 года, то безъ сомнѣнія имъ бросится въ глаза цѣлая толпа метеорическихъ явленій въ жизни и литературѣ. До самаго 1862 года, до извѣстныхъ пожаровъ въ Петербургѣ, у насъ совершалась какая-то странная воздушная исторія, напоминающая рассказы о томъ, какъ передъ дѣйствительнымъ сраженіемъ являются на воздухъ войны и сражаются между собою. Было какое-то горячее движеніе, непрерывно разраставшееся и усиливавшееся. Возвышались люди, до тѣхъ поръ неизвѣстные; одни смѣняли другихъ; возгарались какія-то распри и торжествовались какія-то побѣды; была увлекательная радость съ одной стороны и страхъ съ другой; совершались какіе-то перевороты, переломы; раздавались крики восторга и злобныя ругательства; словомъ, все движеніе имѣло видъ самой живой и яркой дѣйствительности. Казалось, что передъ нами совершается не воздушная, а настоящая исторія.

И что же? Всѣ помнятъ, какъ все это вдругъ рухнуло, осѣло и замолчало. Дунулъ свѣжій вѣтеръ и фата-моргана, въ которой намъ видѣлись города и башни, битвы и кораблекрушенія—пропала. Въ самомъ дѣлѣ, давно ли кажется было это время? Нѣтъ еще и двухъ лѣтъ; всѣ, кто его пережилъ и въ немъ участвовалъ, на лицо; все, что было, кажется случилось не дальше, какъ вчера.

А между тѣмъ совершенно ясно, что это недавнее прошлое прошло дѣйствительно и неозвратно, что между нимъ и настоящею минутою легла неизгладимая черта. Вотъ почему, невольно является желаніе поговорить объ этомъ времени, какъ о явленіи уже минувшемъ и отошедшемъ отъ насъ на нѣкоторое разстояніе. Въ нашей литературѣ уже явились нѣкоторые очерки этой воздушной исторіи. Романъ г. Писемскаго „Взбаломученное море“ обнимаетъ собою и время передъ пожарами. Кромѣ того, въ двухъ газетахъ, въ одной московской и въ другой петербургской, мы встрѣтили попытки сдѣлать очеркъ и характеристику того же періода нашей умственной жизни.

„Эпоха“, конечно, дастъ со временемъ отчетъ о такомъ крупномъ явленіи, какъ романъ г. Писемскаго; въ настоящемъ случаѣ мы ограничимся тѣмъ, что скажемъ нѣсколько словъ только *по поводу* этого романа. Всего же болѣе мы хотимъ обратить вниманіе на тѣ газетные отзывы, о которыхъ упоминали. Въ нихъ гораздо прямѣе и опредѣлительнѣе указываются черты любопытнаго времени, чѣмъ въ художественной формѣ романа. Въ нихъ дѣлаются весьма важныя показанія, при обыкновенномъ ходѣ дѣлъ очень рѣдко являющіяся въ печати. Поэтому, мы примѣнемъ наши разсужденія къ этимъ замѣчательнымъ отзывамъ; это будетъ для насъ удобнѣе и проще, чѣмъ задача характеризовать то странное время прямо отъ себя. Впрочемъ, такъ какъ мы сами пережили эту эпоху и посвящены во многія ея тайны, то мы будемъ говорить съ нѣкоторымъ знаніемъ дѣла и даже не безъ личныхъ воспоминаній и впечатлѣній.

И такъ что же это было за время? Въ общихъ чертахъ вотъ какъ отзывалась о немъ одна газета *).

„Просимъ читателей нашихъ припомнить то странное положеніе дѣлъ, которое было у насъ на Руси, особенно въ сѣверной столицѣ нашей, назадъ тому года два, до извѣстныхъ всѣмъ пожаровъ. Мы просимъ ихъ припомнить это странное положеніе дѣлъ, эти революціонные комитеты, Богъ знаетъ откуда взявшіеся, съ чудовищными прокламаціями, это настроеніе умовъ учащейся молодежи, эти удивительныя уличныя сцены, эту непонятную терроризацію, которая Богъ знаетъ откуда шла и распространялась на все съ верху до низу, эту неловкость, стѣсненность, эту духоту, которая всѣми чувствовалась, это разслабленіе, вдругъ поразившее всѣ элементы общественнаго порядка, начиная съ здраваго смысла. Всѣ знаютъ, что это была фальшь, хотя еще не разъяснены окончательно всѣ элементы этой фальши“.

Нельзя не согласиться, что каждая черта здѣсь совершенно вѣрна. Можетъ быть въ число фальши захвачены и нѣкоторыя живыя, хотя слабыя явленія, но въ общемъ смыслѣ, какъ указаніе на господство фальши и на зло, причиненное этимъ господствомъ, эта картина вполне справедлива. Если же такъ, то, очевидно, весьма полезно изслѣдовать такое огромное явленіе, какое она изображаетъ. *Элементы фальши не всѣ разъяснены*—весьма поучительно было бы ихъ разъяснить окончательно; была непонятная терроризація, которая Богъ знаетъ откуда шла—нужно открыть ея поводы и источники, такъ чтобы она вполне стала намъ понятна. На первый разъ замѣтимъ только, что явленіе представляетъ дѣйствительно большую сложность и загадочность, и перейдемъ къ другимъ отзывамъ, гдѣ встрѣчаются болѣе опредѣленные черты и частности.

*) Московскія Вѣдомости.

Вотъ, напимѣръ, отзывъ въ той же газетѣ о 1861 годѣ, и даже точнѣе—о первыхъ мѣсяцахъ этого года:

„Русская литература, да и вообще русское общество представляли тогда удивительное зрѣлище. Не было такой неглѣпости и такого безумства, которыя не могли-бы разсчитывать на успѣхъ. Что значили украинскія статейки *Основы* посреди этихъ сатурналій, о которыхъ невозможно и вспомнить безъ омерзенія? Это было время такъ называемыхъ *свистуновъ*, время всевозможныхъ безобразій по части социализма, коммунизма, матеріализма, нигилизма, эманципаціи, простиравшейся на всѣ виды глупости и разврата, время поруганія всего, чѣмъ дорожитъ народъ, общество, человѣкъ, время невѣроятной терроризаціи, которая производилась надъ цѣлымъ обществомъ шайкою писакъ, захватившихъ въ свои руки публичное слово; это было время позорнаго господства надъ умами Гг. Герцена и Ко, время, когда какая-то дама, имя которой теперь не припомнимъ, мимически представляла передъ пермской публикой Клеопатру „*Египетскихъ Ночей*“ Пушкина, и когда петербургское образованное общество чуть чуть не готово было признать эту даму за провозвѣстницу новыхъ началъ жизни и устроить для нея триумфальное шествіе. Это было возмутительное время, когда люди, не вовсе потерявшіе смыслъ, хватали себя за голову, протирали глаза и не вѣрили глазамъ и поневолѣ считали себя посреди громаднаго сумасшедшаго дома. Никакого просвѣта не было видно, и можно было не шутя ожидать какого нибудь катаклизма, который снесъ бы всю эту мерзость съ лица земли“.

Описаніе это невольно, какъ говорится, вызываетъ на размышленіе. Какъ объяснить себѣ источникъ и смыслъ явленія, которое тутъ описано? Какъ найти ключъ въ его пониманію? Въ самомъ дѣлѣ, замѣтимъ прежде всего, что это описаніе не только не разъясняетъ явленія, которое описываетъ, а напротивъ затемняетъ его, отнимаетъ всякій ключъ къ его пониманію. Какъ могло случиться то, что тутъ рассказано? Вѣдь не могло же дѣй-

ствительно цѣлое общество и цѣлая литература сойти съ ума?

Очевидно, если хотимъ доискаться до корня всѣхъ этихъ удивительныхъ событій, то мы должны сдѣлать совершенно необходимыя различенія и поправки. *Не было, сказано въ статьѣ, такой нелѣпости и такого безумства, которыя бы тогда не могли разсчитывать на успѣхъ.* Это несправедливо, потому что невозможно. Нѣтъ, разсчитывать на успѣхъ тогда могли только извѣстныя, совершенно опредѣленныя нелѣпости и извѣстныя, совершенно опредѣленныя безумства, а никакъ не всѣ. Напротивъ, разныя другія нелѣпости и безумства, кромѣ этихъ извѣстныхъ, встрѣчали въ то время жестокое гоненіе, беспощадное преслѣдованіе, и это составляетъ характеристическую и притомъ свѣтлую черту того времени. Тоже самое должно сказать и объ эманципаціи. Дѣйствительно эманципація простиралась, какъ сказано въ отзывѣ, на нѣкоторые виды *глупости и разврата*, но никакъ не на всѣ. Напротивъ, было много и даже очень много видовъ глупости и разврата, которые были гонимы этимъ временемъ съ самымъ яростнымъ фанатизмомъ. Наконецъ, тоже самое должно замѣтить и о поруганіи. Поруганіе падало отнюдь не на *все, чѣмъ дорожитъ народъ, общество, человѣкъ*; поруганію подвергались только нѣкоторыя изъ этихъ дорогихъ вещей; другія же напротивъ превозносились съ величайшимъ энтузіазмомъ.

Различая такимъ образомъ одно отъ другаго, мы могли бы схватить наконецъ настоящія, опредѣленныя черты этого времени и тогда поискать для него объясненія. Все это движеніе имѣло весьма опредѣленное направленіе; дознавши это направленіе, можно уже сдѣ-

латъ нѣкоторое заключеніе и о томъ, откуда идетъ первоначальный толчокъ, и какова среда и обстоятельства, среди которыхъ произошло движеніе. Во всякомъ случаѣ, очевидно—это была эпоха большаго увлеченія, когда люди горячо стремились въ тому, что считали добромъ и правдою, и фанатически гнали то, что признавали зломъ и ложью. Они ошибались въ своемъ различеніи; они неправильно проводили пограничную черту между дурнымъ и хорошимъ. Но самое чувство различія добра и зла не только не погасало, а напротивъ было оживлено и поднято въ необыкновенной степени.

Намъ кажется весьма вѣроятнымъ, что это возбужденіе было въ связи съ самыми важными и радостными событіями послѣднихъ лѣтъ нашей исторіи; неправильное же направленіе, которое оно получило, произошло отъ слабости и болѣзненности той умственной жизни, которую застали у насъ въ обществѣ эти радостныя событія. По причинѣ этой слабости, по причинѣ совершенно особаго положенія нашего общества, движеніе получило характеръ фальшивый, воздушный, метеорическій.

Обратимъ вниманіе на нѣкоторыя частныя черты, указанные въ приведенномъ нами отрывкѣ. Въ видѣ примѣра тогдашнихъ безобразій тамъ приводится случай, какъ дама читала передъ публикою *Египетскія Ночи*, и какой шумъ былъ изъ-за этого поднятъ. Намъ хорошо извѣстна эта исторія, но, признаемся, мы не видимъ въ ней ничего дурнаго, скорѣе находимъ много самаго наивнаго добродушія.

А случай дѣйствительно характеристическій. Шуму изъ-за него было надѣлано не то что три, а триста три короба. Такое было тогда шумное и волнующееся время.

Наговорено было, конечно, множество вздора, какъ это неизбежно при всякомъ шумѣ и увлеченіи. Но изъ-за этого не слѣдуетъ забывать существенной стороны дѣла. А въ чемъ она состояла?

Главнымъ лицомъ въ этой суматохѣ была вовсе не дама, возымѣвшая капризную мысль прочитатъ передъ публикою *Египетскія Ночи*; главнымъ героемъ былъ нѣкоторый фельетонистъ, имени котораго мы тоже не припомнимъ. Онъ-то и заварилъ кашу, и для него одного она имѣла существенныя и трагическія послѣдствія. Онъ сталъ истинною жертвою своего вѣва, былъ осыпанъ насмѣшками и всякими обидами, долженъ былъ отказаться отъ псевдонима, подъ которымъ писалъ, и, наконецъ, долженъ былъ прекратить свой журналъ, потому что отъ него отказались всѣ подписчики. И такъ, здѣсь былъ фактъ *поруганія*, фактъ террористическаго преслѣдованія. Фельетонистъ позволилъ себѣ нѣсколько скромное настроеніе мыслей и напечаталъ въ своемъ журналѣ грязныя, оскорбительныя намеки на поведеніе дамы, читавшей передъ публикою *Египетскія Ночи*; литература и общество возстали за это на него, покрыли его голову позоромъ и уронили его журналъ. Вотъ въ чемъ прямой, чистый фактъ.

Что же касается до *восхваленія*, съ которымъ будто бы петербургское общество отнеслось къ совершенно неизвѣстной ему дамѣ, то никакого *восхваленія* не было. „Тріумфальныхъ аровъ“ для нея не строили и титула „провозвѣстницы новыхъ началъ жизни“ ей не подносили; словомъ дѣло было не въ томъ, чтобы восхвалять даму, а въ томъ, чтобы ее *защитить*; главное же занятіе состояло въ томъ, чтобы преслѣдовать и гнать промахнушагося фельетониста.

Повторяемъ, это былъ фактъ террора. Но чѣмъ же было въ этомъ случаѣ такъ раздражено и взволновано наше общество? Конечно, тутъ дѣло шло не просто объ однихъ грязныхъ намекахъ. Общество въ это время стало допускать для женщинъ гораздо больше свободы, чѣмъ прежде; оно все больше и больше снимало съ нихъ тѣ путы, которыя нѣкогда считались необходимыми по причинѣ будто бы необыкновенной слабости женской натуры; оно давало женщинамъ все больше и больше разрѣшеній на то, что по старому мнѣнію для нихъ или недоступно или непристойно. Однимъ словомъ, общество дѣлало все больше и больше уступокъ уваженію къ женщинамъ.

И вдругъ, этому обществу объявляютъ, что его уступки суть уступки безнравственности, что оно ошибается въ женщинахъ, что способствовать ихъ свободамъ значитъ способствовать одному вольному поведенію. Что же дѣлаетъ общество? Оно отрекается и отплевывается отъ подобныхъ нареканій. Оно заявляетъ, что развратъ ему противенъ, что оно не хочетъ его и не думаетъ о немъ, что оно разумѣетъ свои новыя тенденціи *въ самомъ чистомъ нравственномъ смыслѣ*. Если же кто смотритъ на дѣло иначе, и видитъ въ немъ только возможность ослабленія нравовъ, и находитъ тутъ только поводъ въ дерзкимъ намекамъ и оскорбительнымъ предположеніямъ, то такой человѣкъ клеветникъ и свидѣтельствуется только о развращенности собственнаго воображенія.

Такова эта исторія, въ сущности весьма наивная и цѣломудренная. Собственно совершилось такое явленіе, какихъ нельзя не желать. Общество не дало въ обиду извѣстный принципъ, котораго держалось. Самый принципъ—большая свобода женщины и устраненіе отъ нея

обидныхъ подозрѣній—есть принципъ весьма хорошій. А что при этомъ попало много нескладнаго и безтолковаго, такъ мудренаго тутъ ничего нѣтъ. Можно справедливо сказать, что не смотря на эту суматоху, на всѣ толки о женскомъ вопросѣ, у насъ ничего дѣльнаго, твердаго, яснаго по этому дѣлу не выработалось. Конечно, очень дурно, что мы въ этомъ случаѣ остаемся только при однихъ добрыхъ желаніяхъ. Но отвергать и наши добрыя желанія и видѣть здѣсь какую-то мерзость, сатурналію, вакханалію никакъ невозможно.

Пойдемъ далѣе. Отбрасывая неправильныя укоризны, различая въ каждомъ фактѣ его свѣтлую сторону отъ темной, мы тѣмъ вѣрнѣе достигнемъ настоящаго источника зла. „Это было“, сказано въ томъ отрывкѣ, который мы привели,— „время невѣроятной терроризаціи, которая производилась надъ цѣлымъ обществомъ шайкою писакъ, захватившихъ въ свои руки публичное слово“. Вотъ фактъ весьма темнаго свойства. Но спрашивается, что же въ немъ именно дурно? На что собственно слѣдуетъ негодовать? Кого винить?

Неизвѣстно, кому именно дано здѣсь презрительное имя *писакъ*, но ясно, что былъ, значитъ, въ описываемое время кружокъ писателей (т. е. шайка), имѣвшій большую силу. Они, сказано, *захватили въ свои руки публичное слово*—это значитъ, что ихъ читали очень много и преимущественно передъ другими. И *производили терроризацію*, т. е. ихъ боялись, какъ людей, слова которыхъ раздаются громко и имѣютъ авторитетъ.

Все это въ обыкновенномъ порядкѣ вещей; все это даже очень хорошо. Сильные авторитеты такъже желательны, какъ и большіе капиталы; они далеко дѣйствуютъ и могутъ принести обширную пользу. И такъ, темная

сторона факта не въ томъ, что авторитетъ былъ *захваченъ*, и что его боялись, а, конечно, въ томъ, что сила принадлежала какимъ-то *писакамъ*, т. е. людямъ мало достойнымъ, и что она употреблялась во зло, а не въ добро.

Вотъ если это было, то было дѣйствительно явленіе печальное. Но какъ же это могло быть? Какимъ образомъ въ литературѣ вдругъ пріобрѣли вѣсъ не писатели, а писаки? Какимъ образомъ авторитетъ миновалъ достойныя руки и попалъ въ недостойныя? Вопросъ легко бы разрѣшился, если бы предположить, что совершенно достойныхъ или даже только болѣе достойныхъ рукъ не было, и что публика поневолѣ должна была обратиться къ тѣмъ талантамъ, какіе были въ наличности. Но, очевидно, дѣло было не такъ; очевидно, предполагается, что кромѣ писаковъ у насъ были и писатели, и что въ описываемое время писаки утѣсняли писателей. Мы помнимъ одинъ случай этого, дѣйствительно невѣроятнаго, террора. Извѣстно, что слово *свистуны* изобрѣтено „Русскимъ Вѣстникомъ“ и изобрѣтено именно въ то время, о которомъ мы говоримъ. Когда въ Петербургѣ хоромъ возстали на такую изобрѣтательность, то „Русскій Вѣстникъ“ поправился и объявилъ торжественно, что онъ и себя самого наравнѣ съ другими причисляетъ къ свистунамъ. Не мало можно бы было привести и другихъ фактовъ, когда писатели должны были отступать передъ писаками.

И такъ, дѣло болѣе запутанное и темное, чѣмъ можно подумать съ перваго взгляда. Какимъ образомъ могли получить перевѣсъ свистуны и писаки, когда были люди, которымъ по всѣмъ правамъ и по самой силѣ вещей должна была принадлежать власть въ литературѣ?

Быть можетъ, мы подвинемся въ разъясненію этого

вопроса, обратившись еще къ одной характеристикѣ того же времени, болѣе подробной и ясной.

Вотъ еще мѣсто изъ той же газеты:

„Мы не разъ уже приводили для примѣра положеніе, въ которомъ находилась наша сѣверная столица назадъ тому года два. Россіи, при совершенномъ отсутствіи революціонныхъ элементовъ въ нѣдрахъ ея народа, грозила почти такая же мистификація, которая разыгрывается теперь съ большимъ успѣхомъ въ Царствѣ Польскомъ. Пусть читатели вспомнятъ, какіе элементы въ теченіе довольно долгаго времени господствовали надъ нашимъ обществомъ, развращая молодежь обо-его пола. Нельзя безъ омерзенія подумать, что эти элементы были близки къ тому, чтобы превратиться въ такое же подземное правительство, какое теперь властвуетъ въ Польшѣ. Пусть русская публика вспомнить этотъ недавній позоръ Россіи, пусть вспомнить она, подъ какимъ ужаснымъ кошмаромъ находилось у насъ цѣлое здоровое и сильное общество; пусть вспомнить она, какъ посѣдѣвшіе люди подличали передъ двѣнадцатилѣтними мальчишками, считая ихъ представителями новой мудрости, долженствующей преобразить цѣлый міръ, какъ воспитатель пасовалъ передъ своимъ воспитанникомъ, какъ профессора боялись выставить студенту баллъ, соотвѣтствующій его нахальному невѣжеству, какъ начальствующія лица и лица высокопоставленныя трепетали того, что скажетъ о нихъ помѣшанный фразеръ въ Лондонѣ, — пусть вспомнить она этихъ чиновниковъ прогресистовъ, коммунистовъ и социалистовъ, которыхъ такое множество расплодилось въ Россіи; пусть вспомнить она ту шутовскую и тѣмъ не менѣе печальную революцію, которую производили студенты на петербургскихъ улицахъ, и которая не осталась безъ серіозныхъ послѣдствій даже для всего министерства народнаго просвѣщенія; пусть вспомнить она всѣ тѣ нелѣпости, безумства, весь тотъ неслыханный „нигилизмъ“, который господствовалъ въ нашей литературѣ, и эту непонятную терроризацію, посредствомъ которой всякій мальчишка, наконецъ всякій негодяй, всякій „жуликъ“ (sit venia verbo) могъ приводить въ конфузъ самыя безспорныя права, самые поло-

жизельные интересы, наконецъ, логику здраваго смысла. Все это было такъ недавно, все это у всѣхъ еще на свѣжей памяти, все это еще и теперь не совсѣмъ замерло, все это можетъ быть еще (да сохранить насъ Богъ отъ этого позора!) отдохнуть и очнется. Была же, значить, сила въ этихъ ничтожныхъ элементахъ; было же, значить, нѣчто такое, что давало имъ силу. Еще казалось бы одинъ шагъ, и у насъ началась бы настоящая терроризація... Были же и у насъ какія-то тайныя общества, какіе-то центральные комитеты, издававшіе свои прокламаціи; получались же и у насъ разными лицами подметныя писанія съ ругательствами и всякими угрозами. Въ сравненіи съ русскимъ народомъ, съ этимъ великимъ могущественнымъ цѣлымъ, всѣ эти элементы разложенія кажутся теперь ничтожною тлей, о которой стыдно говорить; но эта тля была же, однако, въ силѣ, эта тля воображала же себя близкою къ полному господству и дѣйствовала-же она съ удивительною самоувѣренностію. Что давало ей эту силу? Что внушило ей эту самоувѣренность? Представьте себѣ, что вся эта наша революціонная гниль сосредоточивалась бы не въ Петербургѣ, а въ какомъ либо другомъ городѣ, представьте себѣ, что всѣ эти элементы разложенія не находились бы ни въ какомъ отношеніи къ административнымъ сферамъ — и подумайте, что могли бы они значить, и какое дѣйствіе могли бы они производить? Они могли бы быть только предметомъ смѣха. Что же заставляло всѣхъ опасаться, что же заставляло всѣхъ тревожно оглядываться, что заставляло всѣхъ конфузиться и пасовать? Ничто иное, какъ лишь то, что всѣ эти элементы возникли и развивались въ Петербургѣ, или подъ его вліяніемъ; ничто иное какъ лишь то, что эти элементы дѣйствительно захватывали частицу власти и дѣйствовали ея обаяніемъ на всѣхъ и на все. Многіе въ Петербургѣ полагали, что это земля русская порождаетъ изъ своихъ нѣдръ элементы разложенія, а земля русская недоумѣвая видѣла въ этихъ элементахъ признаки какого-то новаго порядка вещей, новой системы, которая на нее налагается. Раскрыть недоразумѣніе, распутать интригу, которая, пользуясь обстоятельствами, умѣла поддерживать всѣ эти элементы, давать имъ ходъ и сообщать имъ ту фальшивую силу, которою они

такъ долго пользовались, внушая опасенія даже самымъ серіознымъ людямъ, было трудно“.

Вотъ картина, которая, намъ кажется, гораздо вѣрнѣе предъидущей. Въ ней даже очень много вѣрнаго и мѣт-каго, хотя взятая въ цѣломъ, она можетъ произвести совершенно неправильное впечатлѣніе.

Да, во всемъ этомъ много справедливаго. Дѣйстви-тельно, существовалъ терроръ; дѣйствительно, имъ могли дѣйствовать даже *жулики*; но только имъ дѣйствовали не одни жулики и мальчишки. Дѣйствительно, была сила въ этихъ элементахъ разложенія, но только не сплошь фальшивая. Фальшь разрослась на нѣкоторыхъ настоящихъ, живыхъ элементахъ. Дѣйствительно, во всемъ виноватъ Петербургъ, но не потому одному, что въ немъ сосредоточиваются административныя сферы, какъ упомянуто въ статьѣ, а потому, что въ немъ нашло себѣ почву многое другое, кромѣ нашей администраціи.

Наконецъ — приведенная характеристика сказала су-щую правду — все это былъ *позоръ*, явленіе печальное въ высокой степени, но гораздо болѣе глубокое, чѣмъ можно подумать по этой картинѣ.

Мы очень желали бы серіозно поговорить объ этомъ предметѣ; намъ это нисколько не кажется *стыдно*; нужно, же наконецъ, думать о томъ, что совершается съ нами и вокругъ насъ; нужно же, наконецъ, чтобы уро-ки исторіи не пропадали для насъ даромъ. И безъ того мы очень часто представляемъ пресмѣшное явленіе. Мы волнуемся отъ пустяковъ; мы забываемъ и чистое чув-ство и здравую логику, какъ будто намъ грозятъ опа-сности, извиняющія самое безуміе. А когда поводы къ волненію приходятъ, мы все это забываемъ и не ста-новимся разумнѣе, не смотря ни на какіе опыты.

И такъ, въ чемъ же состоялъ *нашъ недавній позоръ*? Опять скажемъ, судя по выраженіямъ приведеннаго отрывка, читатели могутъ ошибиться и отнести обвиненіе не туда, куда слѣдуетъ. Можно, напримѣръ, подумать, что было нѣчто дурное въ томъ, что господствовалъ нѣкоторый кошмаръ, что всѣ опасались и оглядывались, что многіе приходили въ конфузъ и принуждены были пасовать и т. п. Состояніе страха, конечно, есть весьма непріятное состояніе, но на этомъ основаніи изгонять страхъ изъ общества, вообще говоря, нельзя. Напротивъ, весьма желательно бы было, чтобы въ обществѣ постоянно господствовалъ страхъ у тѣхъ, которые должны бояться. Весьма хорошо бы было, если бы людей недостойныхъ и виноватыхъ постоянно душилъ кошмаръ, чтобы тѣ, кто чувствуетъ грѣхъ на душѣ, постоянно боялись, чтобы неправыя притязанія и несостоятельныя права пасовали и приходили въ конфузъ. Такое состояніе общества весьма было бы хорошо, и его нельзя не желать. Тамъ, гдѣ нѣтъ этого страха, конечно все мирно спитъ, но за то и всякая неправда обживается и разрастается до чудовищности.

И такъ, не въ томъ дѣло, что былъ страхъ; нужно еще спросить, кто боялся и кого боялись, кто пугался и кто пугалъ?

Пугали, сказано въ отрывкѣ, люди ничтожные и недостойные, пугали *тля* и *гниль*. Эта тля и гниль характеризуется, во-первыхъ, тѣмъ, что она исповѣдывала „нелѣпости и безумства“, или такъ называемый *нигилизмъ*, что она принимала себя и была принимаема другими за „представителей попой мудрости, долженствующей преобразовать цѣлый міръ“, что она представляла собою *революціонные элементы*; во-вторыхъ, она характери-

зуется тѣмъ, что состояла изъ мальчишекъ, даже изъ двѣнадцатилѣтнихъ мальчишекъ, или воспитанниковъ, невѣжественныхъ студентовъ, т. е. вообще изъ молодежи, изъ людей незрѣлыхъ.

А что же стояло на противоположной сторонѣ, на той сторонѣ, которая приходила въ конфузъ и пасовала передъ этою гнилью?

На ней находились „самыя безспорныя права“, „самые положительные интересы“, наконецъ, „логика здраваго смысла“. Къ ней принадлежали „люди посѣдѣлые, воспитатели и профессора, и даже лица высокопоставленныя“.

Но если такъ, если съ одной стороны находились не-лѣпости и незрѣлая и недоученая молодежь, а съ другой стороны самыя здравыя и положительныя начала и самыя зрѣлыя и давно завершившіе свое образованіе люди, то какъ же могла случиться вся эта исторія? Какимъ чудомъ сила очутилась не на той сторонѣ, на которой она должна бы была быть по всѣмъ естественнымъ законамъ?

Повторяемъ, стоить подумать объ этомъ вопросѣ хорошенько. Случай такой поучительный и важный, что обойтись съ нимъ легкомысленно или оставить безъ вниманія никакъ не слѣдуетъ.

Для объясненія этого случая, который въ приведенныхъ нами характеристикахъ не даромъ постоянно называется *несъроятнымъ*, *непонятнымъ*, мы встрѣчаемъ въ этомъ отрывкѣ только одно соображеніе, но сказанное такъ, какъ будто оно должно вполне объяснить дѣло. „Что давало этой тли силу“? Такъ формулированъ вопросъ. Отвѣтъ же на него такой: „ничто иное какъ лишь то, что всѣ эти элементы возникали и развивались въ Петербургѣ, или подъ его вліяніемъ; ничто

инное какъ лишь то, что эти элементы дѣйствительно захватывали частицу власти и дѣйствовали ея обаяніемъ на всѣхъ и на все“.

И такъ, вотъ отвѣтъ и разрѣшеніе загадки. Если бы тля не захватывала частицы власти, если бы она не находилась въ нѣкоторомъ отношеніи къ административнымъ сферамъ, то она не имѣла бы никакой силы и была бы только предметомъ смѣха; никакой исторіи не было бы. Все зависѣло отъ того, что гниль и тля „дѣйствительно захватили частицу власти“, отъ того, что земля Русская могла предполагать въ этихъ элементахъ разложенія „признаки какого-то новаго порядка вещей, новой системы, которая на нее налагалась“.

Намъ кажется, это объясненіе далеко неудовлетворительно. Въ немъ, очевидно, преувеличено значеніе администраціи. Какъ извѣстно, есть изданія, которыя очень любятъ въ послѣднее время это преувеличиваніе. Они всячески стараются уронить въ глазахъ читателей значеніе другихъ пружинъ, другихъ силъ, дѣйствующихъ въ человѣческомъ обществѣ и объясняющихъ человѣческія дѣла, и признаютъ за главную причину и силу власть, административныя сферы и т. п. Поэтому, они неоднократно указывали на дурное настроеніе нашей администратіи, и видѣли въ этомъ настроеніи истинный источникъ многихъ золъ, отъ которыхъ мы страдаемъ. Намъ кажется, всѣ эти упреки имѣютъ неправильный характеръ. Власть сама подчиняется общимъ духовнымъ силамъ и законамъ человѣческаго міра и изъ нихъ по черпаетъ побужденія къ своимъ дѣйствіямъ. Представимъ себѣ, въ самомъ дѣлѣ, что *цѣлое здоровое общество*, какъ выражается приведенный нами отрывокъ, увлечено какимъ нибудь, можетъ быть, и не совсѣ

правильнымъ увлеченіемъ. Какимъ образомъ возможно въ этомъ случаѣ предполагать, что власть могла бы избѣжать этого увлеченія, что она осталась бы ему вполне чуждою? Если это и возможно, то это было бы крайне странно и неестественно и показывало бы такой разрывъ между властью и обществомъ, котораго никакъ нельзя особенно желать.

И власть, и общество, и, вообще, всѣ дѣленія и подраздѣленія человѣческаго міра подчинены одной общей силѣ, именно силѣ идей, владычеству нравственныхъ побужденій. Міръ идей есть настоящій человѣческій міръ, и этимъ, какъ говорятъ, человѣкъ отличается отъ животныхъ. Слѣдовательно, вотъ гдѣ нужно искать главнаго источника и объясненія для дѣйствій и событій, которыя совершаются между людьми.

Извѣстно, какой великій и весьма быстрый переломъ совершился въ жизни цѣлой Россіи въ послѣднее десятилѣтіе. Извѣстно, съ какою силою началось движеніе во всѣхъ сферахъ дѣятельности, какъ оно постепенно ширилось и разрасталось. Идеи, которыми руководилось это движеніе, всѣмъ ясны, всѣмъ любезны, составляютъ лучшее достояніе нашего времени. Освобожденіе крестьянъ въ Россіи и надѣленіе землею польскихъ крестьянъ суть вѣчные памятники и свидѣтельства этихъ великодушныхъ идей.

Никто не сдѣлаетъ упрека нашему обществу и нашей литературѣ въ томъ, чтобы ихъ настроеніе не соответствовало этимъ великимъ событіямъ. И общество, и литература были въ это время полны радостнаго энтузіазма, самыхъ свѣтлыхъ надеждъ и стремленій. Въ извѣстномъ смыслѣ можно сказать, что вся Россія была одушевлена одною и тою же жизнью. Признавамъ такого пре-

краснаго явленія нельзя не радоваться, если бы они были даже и не очень сильны и явственны. Понятно, что, при такомъ положеніи дѣла, нѣкоторые общественные элементы могли захватывать частицу власти (говоримъ словами нашего отрывка). Это было только слѣдствіемъ и доказательствомъ тѣсной, живой, здоровой связи между обществомъ и властью, доказательствомъ, что ими движетъ одна душа, одна идея. Намъ говорятъ, что въ числѣ этихъ элементовъ были и дурные; но слѣдуетъ прибавить, что бѣольшая часть этихъ элементовъ были прекрасные, здравые и плодотворные. Да и то, что, по мнѣнію нѣкоторыхъ изданій нашихъ, составляетъ зло, не всегда еще зло на самомъ дѣлѣ. Какъ бы то ни было, несомнѣнно то, что появились дурные элементы. Само собою понятно, что они явились и должны были явиться разомъ и въ литературѣ, и въ обществѣ, и въ администраціи. Они составляютъ побочный и неправильный продуктъ общей жизни, общей почвы, и если администрація могла придавать имъ вѣсь своимъ сочувствіемъ и своимъ содѣйствіемъ, какъ сказано въ отрывкѣ, то они, однако же, не отъ нея получили свою коренную силу, не ею произведены и не ею держатся.

Зло вездѣ возможно. Самая хорошая вещь можетъ быть употреблена во зло, самая свѣтлая идея можетъ быть искажена. Слѣдовательно, нѣтъ никакой особой нужды отыскивать частныя причины дурныхъ элементовъ у насъ появившихся; *искаженіе, извращеніе, превратное пониманіе дѣла* — вотъ всегдашніе человѣческіе недостатки, порождающіе зло въ людяхъ. Вопросъ у насъ не въ томъ; мы хотѣли бы знать, почему эти дурные элементы, происхожденіе которыхъ весьма естественно, получили у насъ такую силу, почему они успѣли разыграть у насъ, по-

ложимъ, фальшивую, но все-таки шумную и обширную исторію? На комъ и на чемъ лежитъ главная вина, главная отвѣтственность за всѣ эти метеоры?

Прямой отвѣтъ одинъ—метеорамъ дала развернуться та среда, та атмосфера, въ которой они зародились и совершали свое развитіе. Обратимся къ обществу и къ литературѣ, и мы увидимъ это дѣло совершенно ясно. Вездѣ тогда обнаружилась такая сильная уступчивость, такая слабость сопротивленія и устойчивости, что самыя безсодержательныя явленія, самыя пустые мыльные пузыри могли спокойно держаться и признавать себя чѣмъ-то существеннымъ.

Возьмемъ примѣръ приводимый отрывкомъ,—двѣнадцатилѣтняго мальчика матеріалиста и сѣдовласаго старца, который передъ нимъ *пасуетъ*. Такихъ случаевъ попадалось, конечно, множество, и подъ нихъ подойдутъ всякого рода уродливости и разстройства, совершавшіяся въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Спрашиваемъ, изъ этихъ двухъ лицъ, мальчика и старика, кто болѣе заслуживаетъ осужденія? Гдѣ искать причины, что безобразіе имѣетъ силу? Нѣтъ ничего мудренаго, что двѣнадцатилѣтній мальчикъ станетъ матеріалистомъ; ему простибельно заблуждаться, при слабомъ развитіи ума и чувства. Но что сказать о старикѣ, его отцѣ или воспитателѣ, который пасуетъ передъ новой мудростью своего сына или воспитанника? Въ чемъ ему искать оправданія? И не онъ ли виноватъ, что мальчикъ, вслѣдствіе этого пасованія, дѣйствительно приметъ свои несложившіяся мысли за нѣчто незыблемое и побѣдоносное?

Такъ точно и въ другихъ случаяхъ. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, не мало было этихъ случаевъ,

когда люди *трепетали*, приходили въ конфузъ и пасовали передъ дурными элементами; но кого же винить въ этомъ? Если эти люди были представителями здоровыхъ и хорошихъ элементовъ, то, конечно, они виноваты, что не имѣли столько твердости, столько вѣры въ свои права и свои идеи, чтобы не трепетать и не пасовать.

Въ концѣ концовъ, во всемъ виновата слабая умственная жизнь, отсутствіе твердыхъ точекъ, твердыхъ опоръ въ духовномъ организмѣ нашего общества. Если бы у насъ были ясныя и вполне сложившіяся понятія о вещахъ и дѣлахъ, если бы у насъ было достаточно авторитетовъ и нашъ духовный міръ представлялъ сколько нибудь прочный строй, то не такъ легко бы было летучимъ мыслямъ расшатать и возмутить его.

Всего яснѣе это обнаруживается въ литературѣ, и мы остановимся на ней подробнѣе. Въ литературѣ до сихъ поръ казалось невозможнымъ обвинять кого-нибудь за то, что онъ пріобрѣлъ себѣ авторитетъ, что онъ, какъ сказано, *захватилъ въ свои руки печатное слово*. Подобныхъ обвиненій въ этой области недопускается. Нельзя обвинять авторитетнаго человѣка, если онъ пользуется своимъ авторитетомъ, какъ силою, ему принадлежащею; нельзя сказать о немъ, что онъ *терроризуетъ общество*. Точно также никому нельзя поставить въ вину, если онъ подчиняется какому нибудь авторитету.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое авторитетъ? На эту нравственную силу, на эту умственную и духовную власть никто не имѣетъ никакихъ особыхъ правъ и привилегій. Она не составляетъ чего нибудь похожаго на собственность; ея нельзя ни дать, ни отнять, ни завѣщать по наслѣдству. Слѣдовательно, тутъ не можетъ быть также и рѣчи о захватѣ чужой собственности и похищеніи чу-

жихъ правъ. Тутъ имѣеть полную силу *право перваго захвата*. Кто завладѣлъ авторитетомъ, тотъ, уже по этому самому, имѣеть на него непререкаемое право. Для всякаго здѣсь открыто свободное поприще. Права одного не мѣшаютъ никому въ пріобрѣтеніи такихъ же или еще бѣльшихъ правъ. Какъ бы великъ ни былъ чей нибудь авторитетъ, нѣтъ ни для кого никакихъ препятствій пріобрѣсти себѣ авторитетъ несравненно бѣльшій. И такъ, за что же винить людей, успѣвшихъ добыть себѣ авторитетъ?

Скорѣе же ихъ слѣдуетъ хвалить. Извѣстно, что эта нравственная власть дается не легко, что нужны усилія и труды, чтобы пріобрѣсти ее. Авторитеты не лежатъ готовые на дорогѣ, ихъ нужно *создать*, нужно, какъ зданіе, сперва возвести, а потомъ укрѣплять и поддерживать. Земля, на которой нѣтъ такихъ зданій—пустыня. Общество, въ которомъ нѣтъ авторитетовъ, такая же пустыня въ умственномъ отношеніи. Авторитетъ есть власть, слѣдовательно, начало устроительное, связывающее, централизующее. Въ обществѣ, гдѣ не возникаютъ авторитеты, господствуетъ или совершенная анархія, безурядица мысли, или еще вѣрнѣе—лѣность и апатія, безжизненность и спячка. Пробудить эту апатію, заговорить такъ, чтобы слышенъ былъ голосъ и было привлечено вниманіе, есть во всякомъ случаѣ заслуга, и даже не малая.

И тѣхъ, которые слушаютъ, которые проснулись отъ дремоты и обнаружили вниманіе, точно также скорѣе нужно хвалить, чѣмъ бранить. Болѣе или менѣе сознательное подчиненіе чужой мысли, конечно, несравненно лучше, чѣмъ отсутствіе всякихъ мыслей.

И такъ, если въ то время, о которомъ мы говоримъ,

когда люди *трепетали*, приходили *въ конфузъ* и *пасовали* передъ дурными элементами; но кого же винить въ этомъ? Если эти люди были представителями здоровыхъ и хорошихъ элементовъ, то, конечно, они виноваты, что не имѣли столько твердости, столько вѣры въ свои права и свои идеи, чтобы не трепетать и не пасовать.

Въ концѣ концовъ, во всемъ виновата слабая умственная жизнь, отсутствіе твердыхъ точекъ, твердыхъ опоръ въ духовномъ организмѣ нашего общества. Если бы у насъ были ясныя и вполне сложившіяся понятія о вещахъ и дѣлахъ, если бы у насъ было достаточно авторитетовъ и нашъ духовный міръ представлялъ сколько нибудь прочный строй, то не такъ легко бы было летучимъ мыслямъ расшатать и возмутить его.

Всего яснѣе это обнаруживается въ литературѣ, и мы остановимся на ней подробнѣе. Въ литературѣ до сихъ поръ казалось невозможнымъ обвинять кого-нибудь за то, что онъ пріобрѣлъ себѣ авторитетъ, что онъ, какъ сказано, *захватилъ въ свои руки печатное слово*. Подобныхъ обвиненій въ этой области недопускается. Нельзя обвинять авторитетнаго человѣка, если онъ пользуется своимъ авторитетомъ, какъ силою, ему принадлежащею; нельзя сказать о немъ, что онъ *терроризуетъ общество*. Точно также никому нельзя поставить въ вину, если онъ подчиняется какому нибудь авторитету.

Въ самомъ дѣлѣ, что такое авторитетъ? На эту нравственную силу, на эту умственную и духовную власть никто не имѣетъ никакихъ особыхъ правъ и привилегій. Она не составляетъ чего нибудь похожаго на собственность; ея нельзя ни дать, ни отнять, ни завѣщать по наслѣдству. Слѣдовательно, тутъ не можетъ быть также и рѣчи о захватѣ чужой собственности и похищеніи чу-

жихъ правъ. Тутъ имѣеть полную силу *право перваго захвата*. Кто завладѣлъ авторитетомъ, тотъ, уже по этому самому, имѣеть на него непререкаемое право. Для всякаго здѣсь открыто свободное поприще. Права одного не мѣшаютъ никому въ приобрѣтеніи такихъ же или еще бѣльшихъ правъ. Какъ бы великъ ни былъ чей нибудь авторитетъ, нѣтъ ни для кого никакихъ препятствій приобрѣсти себѣ авторитетъ несравненно бѣльшій. Итакъ, за что же винить людей, успѣвшихъ добыть себѣ авторитетъ?

Скорѣе же ихъ слѣдуетъ хвалить. Извѣстно, что эта нравственная власть дается не легко, что нужны усилія и труды, чтобы приобрѣсти ее. Авторитеты не лежатъ готовые на дорогѣ, ихъ нужно *создать*, нужно, какъ зданіе, сперва возвести, а потомъ укрѣплять и поддерживать. Земля, на которой нѣтъ такихъ зданій—пустыня. Общество, въ которомъ нѣтъ авторитетовъ, такая же пустыня въ умственномъ отношеніи. Авторитетъ есть власть, слѣдовательно, начало устроительное, связывающее, централизующее. Въ обществѣ, гдѣ не возникаютъ авторитеты, господствуетъ или совершенная анархія, безурядица мысли, или еще вѣрнѣе—лѣность и апатія, безжизненность и спячка. Пробудить эту апатію, заговорить такъ, чтобы слышенъ былъ голосъ и было привлечено вниманіе, есть во всякомъ случаѣ заслуга, и даже не малая.

И тѣхъ, которые слушаютъ, которые проснулись от дремоты и обнаружили вниманіе, точно также скорѣе нужно хвалить, чѣмъ бранить. Болѣе или менѣе сознательное подчиненіе чужой мысли, конечно, несравненно лучше, чѣмъ отсутствіе всякихъ мыслей.

Итакъ, если въ то время, о которомъ мы говоримъ,

появились и дѣйствовали очень сильные авторитеты, то въ этомъ фактѣ ничего дурнаго и неправильнаго видѣть нельзя.

Другое дѣло, если мы скажемъ, что эти авторитеты были дурны и неправильны не по своей власти, а по самому содержанію этой власти, не потому, что они сила, а потому что они—дурная, искаженная или даже совершенно призрачная сила. Но въ такомъ случаѣ, кого же обвинять? Неправильныя силы порождаются и дѣйствуютъ тамъ, гдѣ мало или вовсе нѣтъ дѣйствія правильныхъ и здоровыхъ силъ. Во всякомъ случаѣ, менѣе всего виновать самый владѣлецъ авторитета; онъ первый бываетъ обманутъ и ему всего труднѣе разсмотрѣть свое положеніе. Человѣкъ, который начинаетъ дѣйствовать и видитъ, что все кругомъ подается и уступаетъ ему дорогу, невольно долженъ считать себя обладателемъ дѣйствительной, здоровой силы.

Понятно, что въ обществѣ, гдѣ господствуетъ анархія мысли, въ обществѣ возбужденномъ, но страдающемъ, такъ сказать, отсутствіемъ умственныхъ властей, начальство надъ умами можетъ легко достаться силамъ не вполне здоровымъ и правильнымъ. Противъ этого зла есть только одно средство и спасеніе—именно дѣятельность здоровыхъ и правильныхъ авторитетовъ; они должны составлять твердое препятствіе и оплотъ противъ ненормальныхъ вліяній. Если кто упрекаетъ людей за то, что они успѣшно говорили и писали, проповѣдуя мнѣнія, несогласныя съ его мнѣніями, то ему легко отвѣчать такъ: гдѣ же вы были съ вашими вѣрными взглядами? Почему вы спали, пока они проповѣдывали? Почему вашего голоса и вашей силы хватаетъ только на осужденіе, а на проповѣдь не достало?

Въ нашей литературѣ были нѣкоторые рѣзкіе примѣры, на которые можно сослаться въ этомъ случаѣ. Въ то время оканчивалъ свою дѣятельность Добролюбовъ. Добролюбовъ былъ человѣкъ чрезвычайно даровитый, но вся его критическая дѣятельность, за исключеніемъ можетъ быть послѣдней, предсмертной статьи, по нашему мнѣнію, принадлежитъ къ чисто метеорическимъ явленіямъ. Это былъ большой авторитетъ тогдашняго времени, который по содержанію не можетъ быть признанъ правильнымъ. Укажемъ напримѣръ на то, что онъ неправильно растолковалъ Островскаго, превратно понялъ Гончарова, писателей, которыхъ хвалилъ; что онъ вовсе не понималъ Пушкина, котораго бранилъ.

Спрашивается—встрѣтилъ ли онъ гдѣ нибудь сопротивленіе? Была ли въ то время гдѣ-нибудь критическая дѣятельность правильная и здравая, которая могла бы служить ему противовѣсомъ? Нѣтъ, нигдѣ не была слышна рѣчь достаточно твердая и ясная, чтобы соперничать съ голосомъ Добролюбова. Журналъ, который тогда имѣлъ большой успѣхъ и могъ бы говорить, былъ *Русскій Вѣстникъ*. Но всѣ его усилія, всѣ попытки завести у себя критику—оказались безплодными. Попытки эти начинаются съ самаго основанія журнала; но не смотря на всѣ старанія, дѣло идетъ блѣдно, вяло, и чѣмъ дальше тѣмъ хуже. Кончились онѣ тѣмъ, что „Русскій Вѣстникъ“, наконецъ, вовсе отказался отъ критики и предоставилъ это дѣло на волю Божію. Спрашивается, кто же виновать, что скипетръ критики оставался постоянно въ рукахъ Добролюбова?

Возьмемъ другой примѣръ. У насъ въ то время получили ходъ ученія, несогласныя съ такъ называемою наукою политической экономіи. Ничего тутъ нѣтъ ни

удивительнаго ни страшнаго. Такъ называемымъ началамъ этой науки постоянно слѣдуетъ Англія, но никогда не слѣдовала Россія. Въ самомъ складѣ и строѣ всей нашей жизни есть много несогласнаго и непримиримаго съ этими началами. Наконецъ, о политической экономіи не даромъ замѣчено, что появленіе ея въ христіанскомъ мірѣ составляетъ разительно ненормальное явленіе.

Впрочемъ, это все равно. Дѣло въ томъ, что у насъ нашлись во множествѣ защитники этой европейской науки и противники ея порицателей. Если эта защита была не вполне удачна, если порицатели науки, о которой идетъ рѣчь, имѣли успѣхъ, то спрашивается, кто въ этомъ виноватъ? Произвели ли наши экономисты что-нибудь блестящее и твердое? Поняли ли они духъ своихъ противниковъ? Въ большинствѣ случаевъ можно прямо сказать, что нѣтъ. Наши экономисты, не смотря на свою ученость, отличились рабскимъ слѣдованіемъ за европейскою рутинною. Почетное мѣсто между ними занимаетъ до сихъ поръ г. *Густавъ де-Молinari*, всѣмъ писаніямъ котораго одно имя—голая рутина. Чтò мудренаго, что, даже при небольшой бойкости ума и живости соображенія, многіе стали смотрѣть съ высокоуміемъ и насмѣшкою на пресловутую науку англійскаго изобрѣтенія?

И такъ, вотъ гдѣ причина, допускающая у насъ развѣртываться свободно многимъ безобразіямъ. Отсутствіе дѣйствія нормальныхъ и здоровыхъ силъ, бѣдность умственной жизни, слабое проявленіе и развитіе основъ нашего духовнаго строя, вотъ положеніе, при которомъ возможны хаосъ и безурядица.

Россія есть страна, въ которой, больше чѣмъ гдѣ нибудь, господствуетъ полуобразованіе. — Именно, она,

какъ огромное государство, представляетъ огромное множество мѣстъ и положеній, которыя собственно должны быть заняты людьми образованными, которыя предполагаютъ или допускаютъ образованіе. Но, такъ какъ образованныхъ людей у насъ очень мало, то почти всѣ эти мѣста и положенія наполнены людьми или съ малымъ образованіемъ, или даже безъ всякаго образованія. Понятно, что эти люди чувствуютъ, чего имъ недостаетъ въ ихъ положеніи; понятно, что они всячески стараются походить на то, чѣмъ они должны бы быть. Является, такимъ образомъ, огромная масса людей, передразнивающихъ образованіе и поддѣлывающихся подъ образованіе. А какой первый, бросающійся въ глаза признакъ образованности? Конечно—свобода мысли, возможность о каждомъ дѣлѣ свое сужденіе имѣть, неподчиненіе авторитетамъ, самостоятельный взглядъ. И вотъ, начинается передразниваніе самостоятельности и свободы сужденія. Ничто не уважается, во всемъ отыскивается темная сторона. Начинается дешевый скептицизмъ, копеечное, лакейское критиканство, которое все вертится на желаніи показать: для насъ и это ни почемъ! мы и надъ этимъ подсмѣяться можемъ! Каждый согласится, что таковъ обыкновенный тонъ этихъ мнимыхъ образованныхъ людей, наполняющихъ землю русскую. Осуждать и подсмѣиваться,—вотъ средство не попасть въ просакъ, не показать своей наивности и сохранить за собою видъ чловѣка много понимающаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, вотъ та почва, на которой нигилизмъ пускаетъ самые глубокіе свои ростки. Эти люди легко пріучаются ничего не любить и не уважать. Уважать и любить трудно; для этого нужно понимать уважаемый предметъ, умѣть цѣнить его достоинства. Го-

раздо легче сказать: „ничего не понимаю! ничего не нахожу ни хорошаго, ни любопытнаго“. Этимъ людямъ можетъ правиться только то, что имъ по плечу: прозаическое, узкое, сухое міровоззрѣніе, подводящее все предметы подъ сѣрый цвѣтъ, отрицаніе цѣлыхъ сферъ духовной человѣческой дѣятельности; мысль мелкая, короткая, но, по тому самому, законченная и осязательно ясная—вотъ что пойдетъ у нихъ ходъ и наберетъ себѣ приверженцевъ. Сообразите, какая радость стать, наконецъ, умникомъ, найти вдругъ точку опоры для своихъ суждений и смѣло говорить, какъ подобаетъ мыслящему и образованному человѣку! Вотъ почему ученія самыя грубыя, понятія самыя поверхностныя, выводы самыя тупые—такъ привлекательны для этой массы. Какойнибудь взглядъ на вещи долженъ же имѣть человѣкъ, и, если въ немъ сняты иныя глубокія духовныя силы, и никогда не пробуждались иныя высокіе помыслы, онъ отречется отъ нихъ ради того, чтобы считать себя полнымъ человѣкомъ, а не уродомъ.

Но какъ же это могло случиться? Какъ произошло, что эти люди не согрѣты и не возбуждены силою духовной жизни ихъ окружающей? Потому, конечно, это произошло, что слаба и холодна эта жизнь, что слишкомъ глубоко кроются ея живые ключи, а между тѣмъ все способствуетъ тому, чтобы эти люди оторвались отъ почвы, забыли и думать о ея живыхъ сокахъ. Они вѣдь двигаются къверху, а не къ низу. Ихъ тянетъ къ себѣ французскій языкъ, европейскіе нравы, привычки и понятія; надъ ними носится, въ видѣ свѣтлыхъ призраковъ, цѣлая туча иноземныхъ идеаловъ, идеаловъ чужихъ, непонятныхъ, незнакомыхъ, трудно достижимыхъ, но тѣмъ болѣе заманчивыхъ и привлекательныхъ. Такъ они и оста-

ются на воздухъ—и отъ своихъ отстали и къ чужимъ не пристали, и въ этой-то воздушной средѣ и разыгрываются всевозможныя метеорныя безобразія.

Между тѣмъ, жизнь, настоящая живая жизнь, течетъ глубоко подъ ними и идетъ своимъ чередомъ. Россія жива, крѣпка и цѣла своимъ народомъ и всѣмъ тѣмъ, что еще оказывается народнаго въ ея высшихъ классахъ. Много шуму и блеску можетъ совершаться въ воздушныхъ слояхъ; но дунетъ вѣтеръ, и все это разлетается и развѣвается; глубокой же потокъ народной жизни не боится вѣтра и продолжаетъ течь, какъ рѣка, съ которой вѣтеръ снесъ туманы.

Припоминая опыты, которые мы пережили и всматриваясь въ эти уже миновавшія явленія, мы можемъ вывести такое заключеніе: какъ напрасны и ложны были страхи и волненія, вызванныя этими явленіями! Ничего въ нихъ нѣтъ опаснаго; все это мимолетный вредъ, который скоро изгладится и существеннаго зла причинить не можетъ.

И нельзя возлагать тяжелой отвѣтственности на людей, которые стали въ иныхъ случаяхъ игрою этихъ воздушныхъ явленій. Метеоры зависятъ отъ общаго состоянія всей атмосферы. Намъ невольно приходятъ на память нѣкоторые изъ этихъ бывшихъ авторитетовъ и оракуловъ, и признаемся, вромѣ чистаго сожалѣнія, мы не можемъ питать къ нимъ никакого чувства. Мы видѣли ихъ превозносимыхъ, поклоняемыхъ до того, что они, наконецъ, дурѣли и не знали мѣры своимъ словамъ и дѣйствіямъ. Въ этихъ случаяхъ, намъ кажется, всего справедливѣе было бы обратиться съ упрекомъ не къ герою торжества, а къ публикѣ; ее бы можно спросить: что ты сдѣлала съ этимъ человѣкомъ? За чѣмъ ты до-

вела его до такого состоянія? Не ты ли виновата, что онъ сталъ принимать свои глупости за умныя вещи? Не ты ли усыпила въ немъ всякую сдержанность, всякое чувство мѣры и достоинства?

Безъ метеорной публики были бы невозможны и метеорные писатели.

Въ заключеніе, мы повторимъ здѣсь припѣвъ, которымъ уже давно сопровождаются всякія статьи о нашей литературѣ. Этотъ припѣвъ: свобода слова. Въ обществѣ уже ходятъ утѣшительные слухи: говорятъ, что новый проектъ о нашей печати будетъ утвержденъ къ концу года. Будемъ надѣяться, будемъ ждать, потому что отсутствіе свободы слова есть главная причина, по которой весь нашъ литературный міръ, всѣ явленія нашей умственной жизни постоянно покрыты туманомъ и маревомъ, ничего не дающимъ разглядѣть въ его истинномъ видѣ. При такомъ состояніи атмосферы, все истинное и живое можетъ только проиграть, а выиграть можетъ только одно фальшивое и напускное. Такъ это и бываетъ.

Запретный плодъ намъ подавай!—

— вотъ простое свойство души человѣческой, на которомъ, увы! основаны многія явленія нашего литературнаго міра.

(1864, май).

V.

ГЕРЦЕНЪ О ПАРИЖѢ И СТАРОЙ ПОЛЬШѢ.

По случаю всемірной выставки (1867 г.) французы составили препухлую и пребезобразную книгу, подъ названіемъ „Paris Guide“. Два тома, тысячи по двѣ страницъ. Тутъ много диковинокъ, въ родѣ того, что французскіе вѣрстьяне отнесены въ отдѣлъ *иностранцевъ*, или того, что *психологія есть кокетство души, разсматривающей самое себя*. Но всего интереснѣе для насъ статья Герцена подъ названіемъ: *Русская колонія*. Читатели, вѣроятно, знаютъ объ этой статьѣ изъ нѣкоторыхъ отзывовъ; но эти отзывы, внушенные чувствомъ щекотливости, весьма понятнымъ и весьма законнымъ въ своемъ источникѣ, намъ показались не вполне справедливыми. Намъ показалось—не любопытное ли дѣло?—что статья Герцена внушена на сей разъ весьма хорошими сердечными движеніями, что въ ней слышна, на примѣръ, злость на приглашеніе писать о русскихъ, сдѣланное въ явномъ расчетѣ на его враждебность къ Россіи, что, въ силу этой злости, онъ, въ остроумнѣйшей замаскировкѣ, вставилъ въ свою статью нѣсколько самыхъ жестокихъ шпильекъ и Франціи, и Парижу, и даже полякамъ. Кромѣ того, статья такъ интересна по своему содержанію, именно—такъ хорошо характеризуетъ разные фазисы на-

шего умственного отношенія въ Европѣ, что достойна не только чтенія, но и запоминанія. Мы переведемъ ее вполнѣ.

Предметъ, или лучше сказать, предлогъ статьи такой: Герценъ отказывается писать; но посмотрите, какъ много сказано подъ этой *фигурой умолчанія*:

„Любезный другъ, вы меня берете за воротъ очень „безцеремонно, какъ жандармъ... Я—нагорно прозябаю „въ Швейцаріи, ничего дурнаго у меня нѣтъ на умѣ, „и вдругъ вы меня останавливаете: ваши бумаги, мило- „стивый государь? — Какія бумаги?—Эскизы, очерки „карандашомъ, углемъ, перомъ.—Очерки чего?—Да *рус- „скихъ въ Парижѣ*...

„Но, любезный другъ, вы все забыли, за исключеніемъ „меня самого. О чемъ же это вы думаете? Я не знаю „ни современныхъ русскихъ, ни перестроеннаго Парижа. „У меня есть только воспоминанія, засохшіе цвѣты, ри- „сунки, на половину стершіеся, на половину лишенные „интереса.

„Знаете ли вы, что вотъ уже *двадцать лѣтъ*, какъ „я, благочестивый пилигримъ Сѣвера, въ первый разъ „входилъ въ Парижъ, и что вотъ уже *пятнадцать лѣтъ*, „какъ его климатъ сталъ для меня вреденъ?

„Да, это было въ Мартѣ 1847 года; я открылъ старое „и тяжелос окно отеля du Rhin и вздрогнулъ: передо- „мною на колоннѣ былъ бронзовый человѣкъ

Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками сжатыми крестомъ.

„Такъ это правда, это дѣйствительность—я въ Па- „рижѣ—въ Парижѣ! И вся кровь бросилась мнѣ въ „голову.

„Существуетъ чувство, которое незнакомо парижскимъ
„аборигенамъ, имъ, испытавшимъ все до утомленія, то
„чувство, которое мы испытывали, вступая въ первый
„разъ въ Парижъ. Съ самаго дѣтства, Парижъ былъ для
„насъ нашимъ Іерусалимомъ, великимъ городомъ рево-
„люціи, Парижемъ же-де-пома, 89 года, 93 года.

„Берлинъ, Кельнъ, Брюссель — недурно ихъ посмотреѣть,
„но можно обойтись и безъ этого. Но какъ только мы
„были въ Парижѣ, мы чувствовали, что пріѣхали, и спо-
„койно принимались развязывать чемоданы. Дальше уже
„ничего не было. Даже Лондона не знали въ эти бла-
„женныя времена. Лондонъ былъ открытъ только со вре-
„мени выставки 1852 года“.

Таково было наше отношеніе къ Парижу и Франціи
въ сороковыхъ годахъ, во время наибольшей силы за-
падничества; это было поклоненіе, доходившее до бла-
гоговѣнія и до полного уничтоженія самихъ себя. Авторъ
нарочно выставляетъ дѣло со всею рѣзкостію, для того,
чтобы показать, что нынѣ Парижъ уже утратилъ свое
обаяніе и, конечно, утратилъ по собственной винѣ. Ра-
зумѣется только, что въ книгѣ, назначенной для про-
славленія Парижа, подобную мысль нужно было выра-
зить осторожно.

„Съ тѣхъ поръ,“ — продолжаетъ онъ — „какъ Парижъ
„сталъ всемірнымъ городомъ, въ немъ меньше Франціи,
„меньше *Парижа*. Отношенія измѣнились. Онъ сталъ ве-
„ликимъ вселенскимъ трактиромъ, караван-сараемъ всей
„Европы и двухъ-трехъ Америкъ, и его собственная ин-
„дивидуальность распустилась, потерялась въ этой ино-
„земной толпѣ, которой онъ изъ вѣжливости даетъ до-
„рогу; а та беретъ ее.

„Союзники, расположась въ 1814 году биваками на

„Площади Революціи, очень хорошо знали, что они были
„въ чужомъ городѣ. Напротивъ, великая армія туристовъ,
„завоеватели желѣзныхъ дорогъ убѣждены, что Парижъ
„имъ принадлежитъ, какъ вагонъ, какъ каюта; они ду-
„маютъ, что они ему необходимы, что именно для нихъ
„онъ наряжается въ новые кирпичи, разрушаетъ свои
„историческія стѣны и изглаживаетъ свою исторію.

То есть, прибавимъ, ту самую исторію, передъ кото-
рою мы такъ благоговѣли. Затѣмъ авторъ переходитъ
въ частности къ русскимъ.

„Теперь, проходя по Парижу, я не узнаю своихъ
„русскихъ; они гуляютъ съ надменной рѣчью на губахъ,
„съ поднятой головою, какъ будто они гдѣ-нибудь въ Ка-
„зани или Рязани; они распространяютъ атмосферу рус-
„ской кожи и турецкаго табака, запахъ Сибири и Татаріи,
„едва-едва заглушаемый тяжелымъ и наркотическимъ ту-
„маномъ Германіи, который, въ свою очередь, наполнилъ
„Парижъ. И въ концѣ концовъ, ихъ нельзя не извинить,
„этихъ бравыхъ *туранцевъ*; все имъ напоминаетъ ихъ лю-
„безное отечество: самовары, икра, вывѣски кирилловскими
„буквами, возвѣщающія французамъ достоинство китай-
„скаго чая“.

Ясно, что Герценъ имѣетъ въ виду что-то другое,
не одну икру да чай. Въ чемъ тутъ дѣло, почему рус-
скіе чувствуютъ себя такъ самоувѣренно и спокойно,
несмотря на то, что французы считаютъ ихъ нынче
туранцами—это сейчасъ будетъ видно изъ противополож-
ности съ прежнимъ временемъ.

„Ничего подобнаго“ — говоритъ авторъ — „въ мое время,
„въ 1847 году, не было. Парижъ былъ исключителенъ,
„одноязыченъ, нѣсколько гордъ, тѣмъ болѣе, что къ концу
„года у него начиналась лихорадка. За то нужно было

„видѣть почтеніе, благоговѣніе, низкопоклонство, удивленіе молодыхъ русскихъ, прїѣзжавшихъ въ Парижъ. „Вельможи, которые нисколько не стѣснялись въ Германіи, „этой передней Парижа, какъ только переступали за черту „города, начинали говорить *вы* своимъ лакеямъ, которыхъ „волотили въ Москвѣ. На другой день, неприступные „бояре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе „волхвовъ, ухаживали за всѣми знаменитостями, все- „равно какого рода и какого пола, начиная отъ Дези- „рабода, зубнаго врача, до Ма-па, пророка“.

За тѣмъ, Герценъ переходитъ къ болѣе общей ха- рактеристикѣ тогдашнихъ отношеній, и язвительно смѣется надъ тогдашнимъ идолопоклонствомъ русскихъ.

„Самые ничтожные лаццарони литературной Къяйя, „всякій фельетонный ветошникъ, всякій журнальный „кропатель внушалъ имъ уваженіе, и они спѣшили пред- „ложить ему даже въ десять часовъ утра—редерера или „вдовы Клико, и были счастливы, если онъ принималъ „приглашеніе.

„Бѣдняги, они были жалки въ своей маніи удивле- „нія. Дома имъ нечего было уважать, кромѣ грубой силы „и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому, „молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ „поражаемъ острымъ идолопоклонствомъ. Онъ впадалъ „въ экстазъ передъ всѣми людьми и всѣми вещами, пе- „редъ швейцарами и философіею Гегеля, передъ карти- „нами берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ „и Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все „больше и больше до самаго Парижа. Поиски за зна- „менитостями составляли муку нашихъ Анахарсисовъ: „человѣкъ, говорившій съ Пьеромъ Леру или съ Баль- „закомъ, съ Викторомъ Гюго или съ Евгеніемъ Сю,

„чувствовалъ, что онъ уже не равенъ себѣ равнымъ. Я
„зналъ одного достойнаго профессора, который провелъ
„разъ вечеръ у Жоржъ-Занда; этотъ вечеръ, подобно
„какому-то геологическому перевороту, раздѣлилъ его
„существованіе на двѣ части; это была кульминаціонная
„точка его жизни, неприкосновенный капиталъ его вос-
„поминаній, которымъ завершалась вся его прошлая
„жизнь, и отъ котораго брала источникъ настоящая.

„Счастливыя времена этой наивной религіи, этого Не-
„goworship (поклоненія героямъ) и великаго города!

„Русскій въ эти времена не просто жилъ въ Парижѣ:
„на ряду съ положительнымъ удовольствіемъ, онъ имѣлъ
„отчетливое чувство, глубокое сознаніе того, что онъ въ
„Парижѣ, чувство нравственнаго благосостоянія, застав-
„лявшее его каждое утро благодарить всеблагаго Бога и
„добрыхъ крестьянъ, исправно платившихъ свои оброки“.

И такъ, эта наивная религія миновала; мы уже не
страдаемъ лишнимъ развитіемъ шишки почтенія и при-
падками остраго идолопоклонства. Какъ это утѣшительно!
Мы уже замѣтили, что эту переменъ авторъ, очевидно,
ставитъ въ укоръ Парижу, въ укоръ самимъ францу-
замъ. Изъ послѣднихъ, приведенныхъ нами словъ, прямо
слѣдуетъ, что теперь въ Парижѣ русскій вовсе не чув-
ствуетъ того *нравственнаго благосостоянія*, которое чув-
ствовалъ когда-то. Но есть и другая причина: сами рус-
скіе переменились; у нихъ, напримѣръ, совершилось
освобожденіе крестьянъ; поэтому Герценъ иронически-
грустнымъ тономъ продолжаетъ.

„Все переменилось съ тѣхъ поръ... даже расходы:
„русскій сталъ скупцомъ, скрягою; за эманципаціею
„явилась ариѳметика“.

Освобожденіе крестьянъ въ Россіи наводитъ автора

на мысль объ освобожденіи крестьянъ въ Польшѣ и о томъ страшномъ угнетеніи, въ которомъ они нѣкогда находились, и онъ удвоиваетъ свою иронію.

„И вотъ мнѣ приходитъ на умъ, что было время еще „болѣе отдаленное и еще болѣе прекрасное, чѣмъ наше „время 1847 года. Я съ горестію вижу, что славянскій „міръ вырождается, мельчаетъ и становится, по выраже- „нію мадамъ Фигаро, такимъ, какъ цѣлый свѣтъ.

„Вотъ доказательство. Я беру свой примѣръ у Польши. „(Ахъ, еслибы русскіе вообще брали у Польши одни лишь „примѣры!)

„Знаете ли вы исторію пріѣзда Радзивила? Вѣроятно, „нѣтъ. Ну такъ вотъ что случилось во времена регент- „ства. Князь Радзивиль, самый колоссальный, самый ди- „кій, самый грандіозный и великолѣпный типъ польскихъ „магнатовъ, поссорившись съ польскимъ королемъ, кото- „рый былъ вдвое его бѣднѣе, рѣшился на нѣсколько лѣтъ „удалиться изъ Польши. Онъ выбралъ, само собою разу- „мѣется, Парижъ мѣстомъ своего изгнанія и, чтобы ско- „рѣе доѣхать до него, употребилъ довольно странный „способъ: онъ приказалъ купить столько домовъ, сколько „было станцій (князь ѣздилъ на собственныхъ лошадяхъ, „на сотнѣ, можетъ быть на двухъ). Онъ рѣшился при- „нять такую экономическую мѣру потому, что онъ не „привыкъ спать подъ чужою кровлею. Какъ бы то ни „было, дома были куплены, подставы приготовлены, Рад- „зивиль пріѣзжаетъ въ Парижъ. Тутъ — большая дружба „съ регентомъ. Герцогъ Орлеанскій не могъ досыта на- „смотрѣться, какъ Радзивиль поглощалъ непомѣрные ко- „личества венгерскаго, а на смѣну, ради отдыха и успо- „коенія, водку стаканами. Регентъ страстно любилъ смо- „трѣть, какъ онъ играетъ въ карты; Радзивиль проигры-

„валъ огромныя суммы, нимало не задумываясь, и съ полнымъ хладнокровіемъ приказывалъ двумъ гигантамъ гайдукамъ принести мѣшки съ золотомъ.

„Словомъ, изношенный регентъ и непочатой князь не могли обойтись одинъ безъ другаго. Когда Радзивиль не являлся, регентъ посылалъ въ нему гонца за гонцомъ. Но однажды случилось, что не регенту, а князю Радзивилу нужно было написать къ своему другу. Онъ написалъ, сложилъ письмо, и позвалъ одного изъ вазарковъ своей свиты.

„— Знаешь ты, спрашиваетъ онъ, гдѣ живетъ регентъ?

„— Нѣтъ, князь.

„— Ты знаешь Пале-Рояль?

„— Нѣтъ, князь.

„— Ну, все равно, ты спросишь, каждый тебѣ покажетъ; да притомъ это въ двухъ шагахъ.

„Казакъ воротился печальный: онъ не могъ найти Пале-Рояля.

„Князь велитъ его позвать:

„— Смотри, бестія, въ это окно: видишь этотъ большой домъ?

„— Вижу, князь.

„— Въ немъ и живетъ регентъ; онъ тутъ какъ у насъ король, понимаешь, и это его дворецъ. Ну, скорѣй!

„Казакъ, какъ только выходилъ изъ дому, терялъ Пале-Рояль. Онъ вернулся, не нашедши регента, въ такомъ отчаяніи, что сдѣлалъ нѣкоторыя приготовленія повѣситься. Князь былъ въ хорошемъ расположеніи духа. Онъ велѣлъ позвать своего управителя и приказалъ ему купить нѣсколько домовъ и устроить проходъ между своимъ домомъ и Пале-Роялемъ. Когда проходъ былъ го-

„товъ, князь въ большомъ удовольствіи воскликнулъ:
„теперь эта бестія казакъ съумѣетъ найти дорогу къ
„Пале-Роялю!

„*Tempi passati!*—И, что чрезвычайно странно, крестьяне ни мало объ нихъ не сожальютъ. О! эти славянскіе крестьяне—такіе матеріалисты!“

Таковы воспоминанія о Польшѣ и объ ея дружественныхъ отношеніяхъ съ Франціею. Непоздоровится отъ такихъ похвалъ прекраснымъ временамъ! Тѣнь Польши прошлаго столѣтія вызвана, очевидно, только затѣмъ, чтобы высказать въ глаза французамъ и полякамъ нравоученіе, что крестьяне не жальютъ объ этой пресловутой республикѣ, что они теперь довольнѣе, чѣмъ когда-либо. Да, все перемѣнилось; авторитетъ Франціи, авторитетъ Польши — потеряли всякую силу для русскихъ; вотъ смыслъ статьи Герцена.

Мы не опустили изъ нея ни единого слова.

1867.

VI.

НАША КУЛЬТУРА И ВСЕМИРНОЕ ЕДИНСТВО.

Замѣчанія на статью г. Вл. Соловьева: *Россія и Европа*. („Вѣстникъ Европы“, 1888, февраль и апрѣль *).

(Русск. Вѣстн. 1889. іюнь).

Чти отца твоего и мать твою, и благо ти будетъ, и долголѣтень будешь на земли. (Катехизисъ, глава: О любви).

Какъ бы намъ не ошибиться? Какъ бы намъ не придать этой статьѣ г. Влад. Соловьева больше значенія, чѣмъ онъ самъ ей придаетъ? Въ самомъ дѣлѣ, не смотря на свой громкій и рѣшительный тонъ, эта статья просто неуволима по зыбкости своихъ разсужденій, по разнообразію и неопредѣленности своихъ точекъ зрѣнія. Не даромъ она такъ удобно нашла себѣ мѣсто въ *Вѣстникѣ Европы*. Сначала кажется, что главная цѣль автора — воевать противъ „національной исключительности“; но скоро мѣсто этого врага заступаетъ другой — самая книга Н. Я. Данилевскаго *Россія и Европа*. Дѣло идетъ уже не о вредномъ стремленіи книги къ „національной исключительности“, а о томъ, чтобы отыскать

*) Статья г. Вл. Соловьева перепечатана въ его брошюрѣ *Національный вопросъ въ Россіи*, изд. 2-е. Спб. 1888. Для удобства читателей, мы будемъ ссылаться на эту брошюру.

въ книгѣ „умственную безпечность“, „незнакомство съ данными“, „произвольныя измышленія“, однимъ словомъ отнять у книги всякое научное достоинство. Для этой цѣли, г. Соловьевъ часто утверждаетъ то, чего ему вовсе не нужно, и не соглашается на то, что ему ничуть не мѣшаетъ, но онъ дѣйствуетъ самымъ рѣшительнымъ образомъ, какъ будто именно съ уничтоженіемъ этой книги у насъ должна исчезнуть и всякая „національная исключительность“.

Кромѣ того, въ статьѣ г. Соловьева разсѣяно много самыхъ пессимистическихъ замѣтокъ объ нашей культурѣ, всякихъ уколовъ нашему народному самолюбію: именно съ этой стороны статья пришлась инымъ читателямъ чрезвычайно по вкусу. Но развѣ все это имѣетъ какую-нибудь силу противъ національной исключительности? Г. Соловьевъ во всѣхъ этихъ замѣткахъ какъ будто даже ее ободряетъ; онъ какъ-будто хочетъ связать не то, что національная исключительность есть зло, а что мы, русскіе, не имѣемъ будто бы на нее никакого права, что мы не доросли до нея, не смѣемъ на нее претендовать. Пусть и такъ, но что же изъ этого слѣдуетъ?

Между тѣмъ, ради этого вывода, г. Соловьевъ счелъ нужнымъ рассмотреть и *Дарвинизмъ* Н. Я. Данилевскаго, и мои книги *Борьбу съ западомъ* и *О вѣчныхъ истинахъ*. Онъ старается различными средствами уронить эти книги въ глазахъ читателей, не столько потому, что не согласенъ съ ихъ содержаніемъ, но главнымъ образомъ для того, чтобы читатели какъ-нибудь не подумали, что въ нихъ есть нѣчто самобытное, оригинальное. Боже мой! Какія жестокія мѣры противъ „народнаго самочувствія“! Пусть эти книги дѣйствительно такъ слабы и незначи-

тельны, какъ вы того желаете; но вѣдь есть и будутъ другія, истинно хорошія русскія книги. Что же намъ съ ними дѣлать? Ужели необходимо огорчаться отъ ихъ достоинствъ и сомнѣваться въ нихъ, сколько хватить силъ? Изъ вражды къ „національной исключительности“, г. Соловьевъ желаетъ думать, что мы, русскіе, „одинъ изъ полудикихъ народовъ востока“, что философія у насъ даже невозможна, что искусство, наука и литература, хотя существуютъ у насъ, но ничего не обѣщаютъ впереди и отнынѣ будутъ клониться къ упадку. Какая странная логика! Не лучше ли было бы доказывать, что когда у насъ будетъ много прекрасныхъ, самобытныхъ книгъ, когда мы перестанемъ быть полудикими, когда у насъ процвѣтетъ философія, наука и литература, тогда-то мы и будемъ совершенно безопасны отъ „національной исключительности“?

Но бываетъ въ человѣческой душѣ какое-то странное ожесточеніе. Когда другіе думаютъ и дѣйствуютъ не по нашему, то мы приходимъ къ мысли и желанію—отнять у нихъ всякую силу и жизненность, обезличить ихъ, обратить въ безцвѣтную и бездѣйственную массу—и тогда заставить ихъ дѣлать и думать, какъ мы того желаемъ. Отсюда высокомеріе и недоброжелательство, отсюда слѣпота и глухота къ явленіямъ жизни. Помѣшали г. Соловьеву разныя русскія книги, русское искусство, русская литература; ну онъ и сталъ въ нихъ сомнѣваться, чтобы себя потѣшить; можетъ быть даже ему нужно себя *утѣшить*, и тогда намъ слѣдуетъ пожалѣть его.

Впрочемъ, общіе взгляды на способности русскаго народа, на достоинства и недостатки нашей литературы, искусства, науки, философіи, — все это такіе неопредѣлен-

ные и широкіе вопросы, что въ нихъ нельзя и требовать безошибочности и можно дать просторъ выраженію всякихъ личныхъ вкусовъ и пристрастій. Многіе жестоко негодуютъ на г. Соловьева за сдѣланныя имъ оцѣнки, и, думаемъ, негодуютъ справедливо; въ этихъ оцѣнкахъ очень ясно обнаружился тотъ *недостатокъ любви*, въ которомъ упрекалъ его когда-то И. С. Аксаковъ. Г. Соловьевъ отвѣчалъ на это, что онъ не разъ заявлялъ о своей любви къ Россіи; да развѣ любовь доказывается заявленіями? Она обнаруживается въ томъ сердечномъ вниманіи къ предмету, которое не допускаетъ легковѣсныхъ сужденій и которое даетъ намъ великую проницательность въ пониманіи достоинствъ того, что намъ дорого. Въ этомъ отношеніи, г. Соловьевъ, конечно, провинился непростительно своими задорными и небрежными выходками. Но, повторяемъ, тутъ онъ желалъ воспользоваться неопредѣленностію предмета; пусть же его пользуется. Всѣ признали, кажется единогласно, что замѣтки его отличаются болѣе недоброжелательствомъ, чѣмъ остроуміемъ и мѣткостью; вообще, можно надѣяться, что за справками о состояніи русской науки и русскаго искусства никто не пойдетъ въ статью г. Соловьева.

Но на свою бѣду и къ нашему огорченію, на пути своей мысли онъ встрѣтилъ не только общія мѣста, а нѣкотораго опредѣленнаго писателя и опредѣленную книгу этого писателя. Тутъ положеніе дѣла совершенно измѣняется. Книга Н. Я. Данилевскаго есть произведеніе превосходное, между прочимъ, и по ясности и полнотѣ мысли, въ ней изложенной, и по точности выраженія этой мысли. Слѣдовательно, тутъ нѣтъ мѣста никакимъ снисхожденіямъ и отговоркамъ, да тутъ готова

и самая мѣрка ясности и правильности суждений того, кто читаетъ и критикуетъ. Между тѣмъ, г. Соловьевъ ничуть не остановился въ смѣлости и поверхности своихъ соображеній: онъ, что называется, *уничтожилъ* книгу, и сдѣлалъ это съ такой же легкостію, съ какою провозгласилъ, что будто бы русская наука и литература должны отнынѣ вклониться въ упадку. Вотъ его главный грѣхъ и вмѣстѣ главное наказаніе. Мы попробуемъ разобрать здѣсь его возраженія, такъ какъ считаемъ нѣкоторымъ долгомъ, по мѣрѣ нашей возможности, помочь въ этомъ дѣлѣ читателямъ. Мы увидимъ, что не то слабо, на что г. Соловьевъ нападаетъ, но что самъ онъ на этотъ разъ явился печальнымъ образчикомъ немощи русскаго просвѣщенія.

I.

О б в и н е н і я.

Говорю *обвиненія* не въ переносномъ смыслѣ, а въ буквальномъ, потому что нашъ критикъ перепоситъ въ концѣ концовъ все дѣло въ область нравственности и религіи. Сначала, правда, онъ, почему-то, вовсе не хотѣлъ восходить до этого высшаго трибунала. Онъ говорилъ:

„Опровергать эти положенія (книги *Россія и Европа*) съ точекъ зрѣнія христіанской и гуманитарной (которыя въ этомъ случаѣ совпадаютъ) мы теперь не станемъ. Мы будемъ спрашивать не о томъ, насколько эта теорія націонализма нравственна, а лишь о томъ, насколько она *основательна*“. (*Наш. Вопр.* стр. 120).

Но потомъ онъ безъ всякихъ оговоровъ и переходовъ, сталъ высказывать такого рода сужденія:

„Націонализмъ, возведенный въ систему нашимъ авторомъ, противорѣчитъ основной христіанской и гуманитарной идеѣ (единого человѣчества),“ такъ что „это опровергаетъ его въ глазахъ людей съ искренними христіанскими убѣжденіями, или же особенно чуткихъ къ высшимъ нравственнымъ требованіямъ“. (*Нац. Вопр.* стр. 186).

Какія страшныя обвиненія! Они до такой степени страшны, что даже теряютъ правдоподобіе. Не даромъ авторъ первоначально вовсе не хотѣлъ разсматривать дѣло съ этой стороны; онъ, конечно, чувствовалъ, что тутъ нужна величайшая осмотрительность, и что въ подобныя обвиненія чаще всего пускаются люди, которые сгоряча ищутъ не самаго правильнаго, а только самаго сильнаго оружія противъ своихъ противниковъ. То ли дѣло логика, или историческіе факты? Почему бы ими не ограничиться?

Но г. Соловьевъ не удержался и, желая показать всю слабость русскихъ умовъ, торжественно провозгласилъ теорію Данилевскаго не-христіанскою.

„Идея племенныхъ и народныхъ дѣлений“, говоритъ онъ, „(принятая какъ высшій и окончательный культурно-историческій принципъ), столь же мало, какъ и юліанскій календарь, принадлежитъ русской изобрѣтательности. Со временъ вавилонскаго столпотворенія мысль и жизнь всѣхъ народовъ имѣли въ основѣ своей эту идею національной исключительности. Но европейское сознаніе, въ особенности благодаря христіанству, возвысилось рѣшительно надъ этимъ по преимуществу языческимъ началомъ и, не смотря даже на позднѣйшую націоналистическую реакцію, никогда не отрекалось вполне отъ высшей идеи единого человѣчества. Схватиться за низшій, на 2.000 лѣтъ опереженный человѣческимъ сознаніемъ, языческій принципъ суждено было лишь русскому уму“ (тамъ же, стр. 146).

и самая мѣрка ясности и правильности сужденій того, кто читаетъ и критикуетъ. Между тѣмъ, г. Соловьевъ ничуть не остановился въ смѣлости и поверхности своихъ соображеній: онъ, что называется, *уничтожилъ* книгу, и сдѣлалъ это съ такой же легкостію, съ какою провозгласилъ, что будто бы русская наука и литература должны отнынѣ клониться къ упадку. Вотъ его главный грѣхъ и вмѣстѣ главное наказаніе. Мы попробуемъ разобрать здѣсь его возраженія, такъ какъ считаемъ нѣкоторымъ долгомъ, по мѣрѣ нашей возможности, помочь въ этомъ дѣлѣ читателямъ. Мы увидимъ, что не то слабо, на что г. Соловьевъ нападаетъ, но что самъ онъ на этотъ разъ явился печальнымъ образчикомъ немощи русскаго просвѣщенія.

I.

О б в и н е н і я.

Говорю *обвиненія* не въ переносномъ смыслѣ, а въ буквальномъ, потому что нашъ критикъ переноситъ въ концѣ концовъ все дѣло въ область нравственности и религіи. Сначала, правда, онъ, почему-то, вовсе не хотѣлъ восходить до этого высшаго трибунала. Онъ говорилъ:

„Опровергать эти положенія (книги *Россія и Европа*) съ точекъ зрѣнія христіанской и гуманитарной (которыя въ этомъ случаѣ совпадаютъ) мы теперь не станемъ. Мы будемъ спрашивать не о томъ, насколько эта теорія націонализма нравственна, а лишь о томъ, насколько она *основательна*“. (*Наш. Вопр.* стр. 120).

Но потомъ онъ безъ всякихъ оговорокъ и переходовъ, сталъ высказывать такого рода сужденія:

„Націонализмъ, возведенный въ систему нашимъ авторомъ, противорѣчитъ основной христіанской и гуманитарной идеѣ единого человѣчества),“ такъ что „это опровергаетъ его въ глазахъ людей съ искренними христіанскими убѣжденіями, или же особенно чуткихъ къ высшимъ нравственнымъ требованіямъ“. (*Нац. Вопр.* стр. 186).

Какія страшныя обвиненія! Они до такой степени страшны, что даже теряютъ правдоподобіе. Не даромъ авторъ первоначально вовсе не хотѣлъ разсматривать дѣло съ этой стороны; онъ, конечно, чувствовалъ, что тутъ нужна величайшая осмотрительность, и что въ подобныхъ обвиненіяхъ чаще всего пускаются люди, которые горяча ищутъ не самаго правильнаго, а только самаго сильнаго оружія противъ своихъ противниковъ. То ли дѣло логика, или историческіе факты? Почему бы ими не ограничиться?

Но г. Соловьевъ не удержался и, желая показать всю слабость русскихъ умовъ, торжественно провозгласилъ теорію Данилевскаго не-христіанскою.

„Идея племенныхъ и народныхъ дѣленій“, говоритъ онъ, „(принятая какъ высшій и окончательный культурно-историческій принципъ), столь же мало, какъ и юліанскій календарь, принадлежитъ русской изобрѣтательности. Со временъ вавилонскаго столпотворенія мысль и жизнь всѣхъ народовъ имѣли въ основѣ своей эту идею національной исключительности. Но европейское сознаніе, въ особенности благодаря христіанству, возвысилось рѣшительно надъ этимъ по преимуществу языческимъ началомъ и, не смотря даже на позднѣйшую націоналистическую реакцію, никогда не отрекалось вполне отъ высшей идеи единого человѣчества. Схватиться за низшій, на 2.000 лѣтъ опереженный человѣческимъ сознаніемъ, языческій принципъ суждено было лишь русскому уму“ (тамъ же, стр. 146).

И въ другомъ мѣстѣ:

„Народы новой, христiанской Европы, воспринявъ заразъ изъ Рима и изъ Галилея истину *единою по природѣ и по нравственному назначенiю* человѣчества, никогда не отрекались въ принципѣ отъ этой истины. Она осталась неприкосновенною даже для крайностей возродившагося въ нынѣшнемъ вѣкѣ націонализма. Самъ Фихте ставилъ нѣмецкiй народъ на исключительную высоту только потому, что видѣлъ въ этомъ народѣ *сосредоточенный разумъ всею человѣчества, единою и нераздѣльною*. Только русскому отраженiю европейскаго націонализма принадлежитъ сомнительная заслуга—рѣшительно отказаться *отъ лучшихъ завѣтовъ исторiи и отъ высшихъ требованiй христiанской религiи* и вернуться въ грубо-языческому, не только до-христiанскому, но даже до-римскому воззрѣнiю“ (стр. 152, 153).

Обвиненiя эти, очевидно, заходятъ такъ далеко и занесли такъ высоко, что падаютъ сами собою. Ну какъ можно подумать, что человѣкъ съ такимъ свѣтлымъ умомъ и такой истинный христiанинъ, какъ Н. Я. Данилевскiй, сталъ проповѣдовать „языческiй принципъ?“ Что онъ не разумѣлъ главной истины, возвѣщенной людямъ въ Галилеѣ? Что онъ „рѣшительно отрекся отъ высшихъ требованiй христiанской религiи и лучшихъ завѣтовъ исторiи“?

Совершенно ясно, что такая странная загадка должна имѣть какую-нибудь очень простую разгадку, но что г. Соловьевъ трудится не надъ тѣмъ, чтобы понимать книги и людей, о которыхъ судить, а напротивъ избралъ темою своего краснорѣчiя тотъ загадочно-нелѣпый видъ, въ которомъ ему представляются эти люди и книги.

Разрѣшенiе загадки можно найти уже въ приведенныхъ нами мѣстахъ, въ самой формулѣ ужасныхъ обвиненiй. Что значитъ „единое по природѣ“ человѣчество? По обыкновенному пониманiю, это значитъ, что *природа*

у всѣхъ людей одна, что они равны между собою по своей природѣ, слѣдовательно, и „по нравственному назначенію“. Г. Соловьевъ самъ нерѣдко употребляетъ это слово *равенство*; но потомъ, безъ всякихъ оговорокъ, ставитъ на мѣсто его *единство*, а „единству“ онъ даетъ совершенно другой смыслъ — и въ этомъ-то простѣйшемъ софизмѣ заключается источникъ всего его воодушевленія!

Подъ единствомъ онъ разумѣетъ такое отношеніе между людьми, по которому они образуютъ „единое и нераздѣльное цѣлое“. Вотъ будто бы въ чемъ „лучшій завѣтъ исторіи“, „высшее требованіе христіанства“, вотъ почему заслужилъ похвалу и Фихте, воображавшій будто бы, что въ нѣмецкомъ народѣ „сосредоточенъ весь разумъ человѣчества“.

Попробуемъ, однако, ясно и твердо отличить единство отъ равенства. Это два понятія ничуть не совпадающія, и всѣ разсужденія г. Соловьева превосходно подтверждаютъ только то логическое ученіе Гегеля, что гдѣ есть различіе, тамъ непременно въ извѣстномъ отношеніи окажется противорѣчіе. Если мы признаемъ всѣхъ людей равными, какъ по-христіански слѣдуетъ и какъ твердо вѣровалъ и исповѣдывалъ Н. Я. Данилевскій, то каждый человѣкъ, взятый отдѣльно, какого бы племени и положенія ни былъ, будетъ для насъ одинаковымъ предметомъ человѣколюбія и нравственнаго долга. Мы тогда не задаемъ себѣ никакого вопроса объ его отношеніи къ остальному человѣчеству. Вотъ къ чему ведетъ понятіе *равенства*. Если же мы cadaго чловека считаемъ *частью* единого чловечества, то, какъ часть, онъ, конечно, будетъ равенъ другимъ частямъ и будетъ равняться съ ними также въ томъ, что, вообще

говоря, онъ связанъ съ цѣлымъ и съ сосѣдними ему частями; но тутъ сейчасъ же являются вопросы, не различается ли онъ отъ другихъ частей въ другихъ отношеніяхъ? Части всякаго цѣлаго могутъ быть различны по своему достоинству, по значенію для цѣлаго и даже по свойству и по большей и меньшей вѣрности самой связи, соединяющей ихъ съ цѣлымъ. Такимъ образомъ, единство въ извѣстномъ отношеніи непримиримо съ равенствомъ, и равенство не можетъ безусловно согласоваться съ единствомъ.

Нѣтъ сомнѣнія (какъ странно намъ въ этомъ увѣрять!), что Данилевскій отвергалъ всякое неравенство людей „передъ Богомъ и Его святою церковью“. Но поэтому онъ даже и не задумывался надъ тѣмъ *единствомъ*, которое г. Соловьевъ принимаетъ за столь ясную и великую истину. Средоточіе человечества, по Данилевскому, находится въ Богѣ, для котораго всѣ мы равно дѣти, какъ проповѣдывалъ Христосъ. Связь человѣка съ Богомъ безконечно сильнѣе, чѣмъ всѣ связи, которыя могутъ существовать и образоваться между людьми; онъ сохраняетъ свою силу и тогда, когда эти связи слабѣютъ и разрушаются.

Полагаемъ, что такъ это должно быть для всякаго истинно-религіознаго человѣка, что это и есть глаголющая христіанская идея, высшее требованіе христіанства.

Къ чему приводитъ г. Соловьева желаніе какаго другого *единства*, мы сейчасъ увидимъ. Но всѣ его паденія на Данилевскаго, всѣ его страшныя обвиненія происходятъ только оттого, что онъ на мѣсто истиннаго равенства подставляетъ свое мнимое единство.

II.

Начало народности.

Очень жаль, что г. Соловьевъ, порицая такъ сильно принципъ національности, нигдѣ не объясняетъ, чѣмъ же именно онъ противенъ нравственности, все равно, высшей или низшей. Рѣчь о появленіи и свойствахъ этого принципа находится на страницахъ 116 и 117 (*Нач. Вопр.*), но ровно ничего опредѣленнаго въ себѣ не заключаетъ. Тутъ бросается въ глаза только развѣ насмѣшливый отзывъ о Фихте: „Прежде всѣхъ отличился въ этомъ дѣлѣ знаменитый Фихте“, при чемъ ни мало не объясняется, почему такая иронія постигла этого доблестнаго и по всѣмъ правамъ знаменитаго философа. Мы можемъ только отсюда видѣть, какъ высоко залетѣлъ г. Соловьевъ, объявляющій себя поклонникомъ *крылатыхъ* теорій. Утѣштесь, русскіе писатели и художники! Не вы одни кажетесь *ползучими* нашему парящему на высотѣ мыслителю; вѣроятно, иные геніи и великаны Европы окажутся у него тоже какими-то козявками!

Безнравственность принципа народности г. Соловьевъ, кажется, считаетъ вовсе и не требующею доказательствъ. Онъ, вообще, держится методы не развивать своихъ мыслей, а только утверждать ихъ на разные лады. Между тѣмъ вся его статья, конечно, имѣла бы нѣкоторый смыслъ и оправданіе именно тогда, если бы онъ объяснялъ въ ней предполагаемое имъ противорѣчіе между нравственностію и націонализмомъ. Тогда намъ было бы видно также, что это такое, дѣйствительное ли убѣжденіе, или только ссылка на него. Но онъ ограничивается одною ссылкой. Въ самомъ началѣ онъ говоритъ о книгѣ Н. Я. Данилевскаго такъ:

„Авторъ стоитъ всецѣло и окончательно на почвѣ племеннаго и національнаго раздора, осужденнаго, но еще не уничтоженнаго евангельскою проповѣдью“ (стр. 116).

Послѣ этого, что же еще говорить! Если начало народности, на которомъ основана книга Н. Я. Данилевскаго, есть не болѣе какъ начало *племеннаго и національнаго раздора*, то вѣнечено, остается только негодовать и возноситься въ сферы „высшихъ нравственныхъ требованій“. Посмотрите, вѣдь тутъ такъ и сказано: *раздора*, не раздѣленія или обособленія, а прямо *раздора*.

Отъ г. Соловьева можно было бы, казалось, ожидать хоть небольшого умѣнья обращаться съ понятіями, умѣнья не брать вещи съ одной стороны. Какой предметъ, какое явленіе въ человѣческомъ мірѣ не можетъ сдѣлаться источникомъ раздора? Все, что угодно, право, собственность, религія, всякая сфера, гдѣ одинъ человѣкъ вступаетъ въ отношеніе къ другому, все можетъ быть источникомъ и любви и вражды, и согласія и раздора. Человѣкъ есть странное животное. Наивный Плиній замѣчаетъ: „Свирѣпыя львы не воюютъ между собою, змѣи „не жалятъ змѣй; да и чудища морскія и рыбы свирѣпствуютъ только противъ существъ другаго рода. „А человѣку, божуся, человѣкъ же всего больше наноситъ „бѣдствій“. (Hist. natur. L. VII). Все это происходитъ оттого, что, по богатству развитія, міръ человѣческій порождаетъ внутри себя огромное разнообразіе, котораго вовсе не существуетъ у какихъ-нибудь животныхъ одного рода; при этомъ, человѣкъ возводитъ свои мысли и желанія до такой силы, что легко ставитъ ихъ выше своей жизни и смерти; такъ что и въ самомъ обиліи бѣдствій, терпимыхъ одними людьми отъ другихъ, все-таки сказывается превосходство человѣка надъ живот-

ными. Войны, конечно, скоро прекратились бы, еслибы вовсе исчезла между людьми готовность жертвовать своею жизнью, то есть черта высокой доблести.

Все это мы говоримъ не для того, чтобы защищать раздоръ и войну; мы хотимъ только показать, что, какимъ бы великимъ зломъ ни были войны, но то, изъ-за чего они ведутся, и тѣ силы, которыя въ нихъ дѣйствуютъ, могутъ быть, однако же, прекрасными благами. Такъ, пожаръ есть, конечно, большое бѣдствіе, но огонь вообще ничуть не зло, а великое и незамѣнимое благо.

Что касается до начала народности, то положительная сторона его очень ясна. Положительное правило здѣсь будетъ такое: народы, уважайте и любите другъ друга! Не ищите владычества надъ другимъ народомъ и не вмѣшивайтесь въ его дѣла!

Эти требованія станутъ намъ яснѣе, если посмотримъ, въ чему именно они должны быть прилагаемы. Начало народности имѣетъ силу главнымъ образомъ какъ поправка или дополненіе идеи государства. Государство есть понятіе преимущественно юридическое — люди живутъ, связанные одною властью и подчиненные однимъ законамъ. Это понятіе долго имѣло силу въ своемъ отвлеченномъ видѣ. Для государства все равно, къ какой народности принадлежитъ тотъ или другой его подданный; но мы теперь знаемъ, что для подданныхъ это не бываетъ и не можетъ быть равно. И вотъ, въ началѣ нынѣшняго вѣка стала возникать сознательная идея (при чемъ и знаменитый Фихте отличился), что наилучшій порядокъ тотъ, когда предѣлы государства совпадаютъ съ предѣлами отдѣльнаго народа. Эта идея была возбуждена завоеваніями Наполеона Перваго; на фактъ же, на дѣлѣ, значеніе народности обнаружилось въ Россіи, въ

1812 году, когда силы всей Европы сокрушились отъ неодолимаго сопротивленія русскаго народа. Потомъ та же идея заправляла всею исторіею Европы до нашихъ дней: совершилось освобожденіе Гречіи, Сербіи, Болгаріи, соединилась въ одно государство Италія, потомъ Германія, и, дасть Богъ, эти освобожденія и соединенія пойдутъ и дальше и будутъ доведены до наилучшей сообразности съ идеею, которая ими руководить. Европа ищетъ для себя самаго естественнаго порядка и все тверже и спокойнѣе укладывается въ свои естественные раздѣлы; не будь великаго *интернаціональнаго* зла, соціализма, начало народности, исповѣдываемое Европою, обѣщало бы ей успокоеніе.

Г. Соловьевъ смотритъ на это съ негодованіемъ; онъ видитъ въ этомъ нѣкоторое возвращеніе языческаго начала, „націоналистическую реакцію“. Какъ жаль, что онъ такъ высоко залетѣлъ! Если подойти къ дѣлу ближе, то мы увидимъ, напротивъ, что одухотвореніе міра подвигается нѣсколько впередъ. Теперь мы требуемъ, чтобы государство не было только мертвою, сухою формою, чтобы оно имѣло живую душу, чтобы его подданные соединялись не одними узами закона, а были связаны мыслями и желаніями, родствомъ физическимъ и нравственнымъ. Нашему вѣку свойственно умѣнье понимать и цѣнить всякія духовныя связи и духовныя формы. Мы знаемъ теперь, что языки людей, ихъ обычаи, нравы, вкусы, пѣсни, сказки, и т. д., что все это не произвольныя, случайныя выдумки, а все тѣсно связано и растетъ въ этой связи, развиваясь подъ вліяніемъ глубокаго единства. Въ силу таинственнаго морфологическаго процесъ родъ людской раздѣлился на племена, и каждое изъ нихъ представляетъ не только особую внѣшнюю форму, но

особую форму душевной жизни, самый ясный признак который состоитъ въ особомъ языкѣ. Принципъ національности и состоитъ въ стремленіи къ тому, чтобы не чинилось насилія этому человѣческому развитію, чтобы не была разрываема естественная связь между людьми, и не были они сковываемы противъ ихъ воли.

Націонализмъ нашего вѣка вовсе не похожъ на націонализмъ древняго міра. У язычниковъ, можно сказать, всякій народъ хотѣлъ завладѣть всѣми другими народами; у христіанъ явилось правило, что никакой народъ не долженъ владѣть другимъ народомъ. Современное ученіе о народности, очевидно, примыкаетъ къ ученію любви и свободы.

Въ одномъ мѣстѣ своей статьи, г. Соловьевъ указываетъ на различіе между взглядами Данилевскаго и взглядами прежнихъ славянофиловъ.

„Тѣ утверждали, что русскій народъ имѣетъ всемірно-историческое призваніе, какъ носитель всечеловѣческаго окончательнаго просвѣщенія: Данилевскій же, отрицая всякую общечеловѣческую задачу, считаетъ Россію и Славянство лишь особымъ культурно-историческимъ типомъ“.

Это различіе, по мнѣнію г. Соловьева, явнымъ образомъ обращается во вредъ теоріи Данилевскаго.

„Коренные славянофилы, не отвергая всемірной исторіи и признавая, хотя лишь въ отвлеченномъ принципѣ, солидарность всего человѣчества, были ближе, чѣмъ Данилевскій, къ *христіанской* идеѣ и могли утверждать ее, не впадая въ явное внутреннее противорѣчіе“ (стр. 118, 119).

Тутъ черезчуръ много словъ и въ каждомъ словѣ оговорка; но смыслъ все-таки тотъ, что признаніе русскаго народа „носителемъ окончательнаго всечеловѣческаго просвѣщенія“ ближе къ христіанской идеѣ, чѣмъ теорія Н. Я. Данилевскаго.

Между тѣмъ нѣсколькими строками выше, тотъ же г. Соловьевъ, возставая вообще противъ „національнаго самочувствія“, говоритъ, что это самочувствіе легко приходитъ въ такой *формуль*:

„Нашъ народъ есть самый лучшій изъ всѣхъ народовъ и потому онъ предназначенъ, такъ или иначе, покорить себѣ всѣ другіе народы, или, *во всякомъ случаѣ*, занять первое мѣсто между ними“.

Формула, какъ видитъ читатель, довольно логическая; но г. Соловьевъ справедливо осуждаетъ инныя ея послѣдствія.

„Такою формулой“, говоритъ онъ, „освящается всякое насилие, угнетеніе, безконечныя войны, все злое и темное въ исторіи міра“ (стр. 118).

Не ясно ли, однако, что эта формула какъ разъ и совпадаетъ съ ученіемъ прежнихъ славянофиловъ? Выходитъ, что это ученіе въ одно время и ближе къ христіанской идеѣ, и ближе къ „освященію всякаго насилія, угнетенія“ и пр. и пр. Вотъ какъ трудно разсуждать о „солидарности всего человѣчества!“

Если мы, безъ шутокъ, вспомнимъ, что въ древности первымъ народомъ считали себя греки и римляне, а въ новой исторіи нѣмцы, французы, англичане, то значеніе этого первенства въ исторіи міра намъ представится довольно ясно. Въ послѣдовательномъ преобладаніи этихъ народовъ историки именно и видѣли то, что даетъ всей исторіи видъ нѣкотораго объединенія, хотя это преобладаніе достигалось, конечно, посредствомъ „всякаго насилія, угнетенія“ и пр. и пр. Вотъ отчего, и первые славянофилы, когда въ нихъ пробудилось живое чувство народности, стали представлять себѣ будущее Россіи въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ историки изображали судьбы

всякаго великаго народа, то есть, въ видѣ преобладанія надъ другими народами и управленія ходомъ всемірнаго прогресса.

Н. Я. Данилевскій первый почувствовалъ и призрачность этихъ понятій объ исторіи, и всю опасность и мечтательность этихъ притязаній на будущее первенство. Нельзя не подивиться той ясности ума и чуткости сердца, которая обнаружилась въ этомъ случаѣ. Еще недавно кто-то самодовольно утверждалъ, что Россія, будто бы, государство завоевательное. Данилевскій въ своей книгѣ очень основательно и обстоятельно отказывается отъ такой ужасной чести. И кто вдумается въ его теорію, тотъ, конечно, долженъ будетъ признать, что, отказываясь отъ „солидарности всего человѣчества“, онъ имѣлъ въ виду также избѣжать и „всякаго насилія, угнетенія“ и пр. и пр., посредствомъ которыхъ нѣкогда достигалась видимость этой солидарности; слѣдовательно, онъ въ своей теоріи ближе къ христіанской идеѣ, чѣмъ иные мыслители.

Вообще, книга Н. Я. Данилевскаго дышитъ истинно славянскимъ благодушіемъ, отсутствіемъ всякой народной ненависти, и, говоря о будущемъ, даетъ Россіи только однѣ справедливыя и великодушныя задачи. Этотъ духъ книги есть и духъ теоріи, которая въ ней излагается. Повторю здѣсь сужденіе, высказанное мною при первомъ появленіи книги:

„Славяне не предназначены обновить весь міръ, найти „для всего человѣчества рѣшеніе исторической задачи: „они суть только особый культурно-историческій типъ, „рядомъ съ которымъ можетъ имѣть мѣсто существованіе и развитіе другихъ типовъ. Вотъ рѣшеніе, разомъ „устраняющее многія затрудненія, полагающее предѣлъ

„инымъ несбыточнымъ мечтаніямъ и сводящее насъ на „твердую почву дѣйствительности. Сверхъ того, очевидно, „что это рѣшеніе—чисто славянское, представляющее „тотъ характеръ терпимости, котораго вообще мы не „находимъ во взглядахъ Европы, насильственной и власто- „любивой не только на практикѣ, но и въ своихъ умствен- „ныхъ построеніяхъ“ *).

Если Карамзинъ горестно замѣчалъ: „прелестная мечта всемірнаго согласія и братства, столь милая душамъ нѣж- нымъ! для чего ты была всегда мечтою?“, то Н. Я. Данилевскій, мнѣ кажется, больше другихъ имѣлъ право предаваться мыслямъ

о временахъ грядущихъ,
Когда народы, распри позабывъ,
Въ великую семью соединятся.

III.

Человѣчество, какъ организмъ.

Понятно теперь, почему у г. Соловьева нѣтъ вовсе доводовъ, объясняющихъ безнравственность начала народности; такихъ доводовъ и быть не можетъ. По этому, на первый планъ онъ выдвигаетъ другаго рода аргументъ. Главный тезисъ его статьи тотъ, что человѣчество образуетъ *единный организмъ*. Вотъ что онъ считаетъ „основною христіанскою и гуманитарною идеею“. Сюда онъ подводитъ всѣ тѣ мысли о любви къ *каждому* человѣку, о равенствѣ *всѣхъ* людей, объ *одинаковой* у нихъ

*) *Россія и Европа*, Предисл., стр. XXVI.

природѣ и душѣ, — мысли, столь знакомыя и обыкновенныя для насъ, христіанъ.

„Авторъ *Россіи и Европы*“, говоритъ г. Соловьевъ, „не сдѣлалъ даже и попытки опровергнуть или устранить иной взглядъ на дѣло, тотъ взглядъ, который со временъ Ап. Павла (а отчасти и Сенеки) раздѣлялся лучшими умами Европы, а въ настоящее время становится даже достояніемъ положительно-научной философіи. Я разумѣю взглядъ, по которому человѣчество относится къ племенамъ и народамъ, его составляющимъ, не какъ родъ къ видамъ, а какъ *цѣлое къ частямъ*, какъ реальный и живой организмъ къ своимъ органамъ или членамъ, жизнь которыхъ существенно и необходимо опредѣляется жизнью всего тѣла. Понятіе тѣла не есть пустое отвлеченіе отъ представленій о его членахъ, и точно также тѣло не можетъ мыслиться и какъ простая совокупность или агрегатъ своихъ членовъ; слѣдовательно, отношеніе родоваго къ видовому непримѣнимо здѣсь ни въ одномъ изъ двухъ значеній, различаемыхъ авторомъ. А между тѣмъ, идея человѣчества, какъ живаго цѣлаго (а не какъ отвлеченнаго понятія и не какъ агрегата), настолько вошла, еще съ первыхъ временъ христіанства, въ духовные инстинкты мыслящихъ людей, что отъ этой идеи не могъ отдѣлаться и самъ Данилевскій, называющій въ одномъ мѣстѣ свои „культурно-историческіе типы“ — *живыми и дѣятельными органами человѣчества* *). Къ сожалѣнію, въ этихъ словахъ можно видѣть именно только проявленіе безотчетнаго инстинкта истины. Если бы это была серіозная и сознательная мысль автора, то ему пришлось бы отречься отъ всего содержанія и даже отъ самыхъ мотивовъ его труда. Если, въ самомъ дѣлѣ, культурно-историческіе типы суть живые и дѣятельные (а слѣдовательно въ нѣкоторой степени и сознательные) органы человѣчества, какъ единаго духовно-физическаго организма, то понятія „общечеловѣческаго“ и „всечеловѣческаго“ получаютъ, по отношенію къ частнымъ группамъ, такое положительное и существенное значеніе, которое прямо противорѣчитъ основ-

*) *Россія и Европа*, стр. 131.

ному воззрѣнію Данилевскаго на коренную самостоятельность и необходимое обособленіе культурно-историческихъ типовъ. Тогда уже нужно бросить и то практическое заключеніе, что будто бы интересы человѣчества для насъ не существуютъ и не должны существовать, и будто бы никакихъ обязанностей мы къ нему имѣть не можемъ. Придется, напротивъ, принять совершенно иное заключеніе: если всякая частная группа, національная или племенная, есть лишь органъ (орудіе) человѣчества, то наши обязанности къ народу или племени, т. е. къ *орудію*, существенно обусловлены высшими обязанностями по отношенію къ тому, для чего это орудіе должно служить. Мы обязаны подчиняться народу лишь подъ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ самъ подчинился высшимъ интересамъ цѣлаго человѣчества. Стоитъ только въ „систему“ культурно-историческихъ типовъ серьезно подставить понятіе о живыхъ и дѣятельныхъ органахъ человѣчества, — и уже однимъ этимъ опредѣленіемъ вполне опровергается партикуляризмъ нашего автора, и вмѣсто всякой критики ему достаточно было бы напомнить старую римскую басню о членахъ тѣла, пожелавшихъ жить только для себя“ (стр. 184 сл.).

Вотъ главное мѣсто статьи, центральное по содержанію, торжественно заявляющее опредѣленные догматы и громко празднующее ихъ побѣду. Что же мы скажемъ? Если такіе прыжки, такіа, можно сказать, „преушщенныя измечтанія“ необходимы для опроверженія Данилевскаго, то, должно быть, онъ совершенно правъ. Онъ непобѣдимъ, если для побѣды надъ нимъ, для уличенія его въ отсутствіи истиннаго человѣколюбія, непременно понадобилось признать, что человѣчество есть организмъ, т. е. нѣкоторое существо, столь же обособленное и централизованное, какъ отдѣльное животное или растеніе.

Слова *организмъ*, *органическій* употребляются безпрестанно, но многихъ они сбиваютъ съ пути правильнаго пониманія. Не нужно никогда забывать, что эти въ

женія часто указываютъ только *аналогію*, только уподобленіе дѣйствительнымъ организмамъ. Когда мы говоримъ о *движеніи* дѣлъ въ какомъ-нибудь вѣдомствѣ, о *механизмѣ* какого-нибудь управленія, то, конечно, никто не воображаетъ, что въ присутственныхъ мѣстахъ вмѣсто живыхъ чиновниковъ находятся мертвые винты, рычаги и колеса, которыми и производится дѣло. То же самое различіе нужно дѣлать и при употребленіи терминовъ *органъ*, *органический* и т. д. По аналогіи съ известными явленіями, можно назвать организмомъ государство, армію, школу, департаментъ, но еще лучше — народъ, языкъ, миѳологию, семейство, всякую форму, которая растетъ сама собою, гдѣ намѣренность и сознательность отступаютъ на задній планъ. Но не отличать всего этого отъ дѣйствительныхъ организмовъ было бы большою нелѣпостью *).

Лѣтъ за пятьсотъ до Р. Х. сравненіе государства съ организмомъ сыграло, какъ рассказываютъ, важную роль въ исторіи самаго государственнаго изъ народовъ земли, римлянъ. Мененій Агриппа укротилъ возмущеніе плебеевъ, рассказавъ возмущившимся, какая бѣда случилась, когда члены человѣческаго тѣла вздумали однажды возстать противъ брюха, и руки перестали носить пищу въ ротъ, ротъ пересталъ ее брать, а зубы жевать; тогда

*) Кстати поправимъ здѣсь ссылку, сдѣланную г. Соловьевымъ. Давилевскій нигдѣ не называетъ культурно-историческіе типы вообще *органами* *человѣчества*; но въ одномъ мѣствѣ онъ говоритъ о славянахъ: «свели они по внѣшнимъ или внутреннимъ причинамъ не въ состояніи выработать самобытной цивилизаціи, т. е. стать на степені *развитаго* культурно-историческаго типа, — живаго и дѣятельнаго органа *человѣчества*, то...» и проч. Тутъ, очевидно, другой смыслъ, тутъ разумѣется нѣкоторое участіе въ томъ, что тотъ же Давилевскій называетъ *общей жизнью*, *общимъ развитіемъ* *человѣчества*, и о чемъ рѣчь будетъ дальше.

все тѣло и всѣ члены стали гибнуть отъ истощенія. Таже басня теперь направлена г. Соловьевымъ противъ „узкаго и неразумнаго патріотизма покойнаго Данилевскаго“ (стр. 153). Г. Соловьевъ утверждаетъ, что „человѣчество есть „живое цѣлое“, что оно „относится къ племенамъ и народамъ, его составляющимъ, какъ реальный и живой организмъ къ своимъ органамъ и членамъ, жизнь которыхъ существенно и необходимо опредѣляется жизнью всего тѣла“. Значитъ, это есть существо даже превосходящее своимъ сосредоточеніемъ то, что мы обыкновенно называемъ организмами; ибо и въ тѣлѣ человѣка, самаго совершеннаго дѣйствительнаго организма, бываетъ, какъ показалъ Вирховъ, много мѣстныхъ явленій, независящихъ *существенно и необходимо* отъ жизни всего тѣла.

Но чѣмъ же доказывается такая организація человѣчества? У г. Соловьева—ничѣмъ; онъ, повидимому, думаетъ, что это вовсе и не нуждается въ доказательствахъ. Онъ только пышными словами ссылается на различные авторитеты: 1) на Сенеку, 2) на Ап. Павла, 3) на „положительно-научную философію“, т. е. на Огюста Конта; онъ утверждаетъ, что будто бы этотъ взглядъ, уже со временъ Ап. Павла и Сенеки, вообще „раздѣлялся лучшими умами Европы“ и даже „вошелъ въ духовные инстинкты мыслящихъ людей“.

Не слишкомъ ли уже много этихъ ссылокъ? Притомъ очень жаль, что все это *лихія* ссылки, то-есть не показано, что тѣ, кто тутъ названъ по имени, или тѣ, къ которымъ принадлежитъ къ толпѣ таинственныхъ незнакомцевъ названныхъ гуртомъ „лучшими умами Европы“, что одержались именно того мнѣнія, которое такъ определенно и рѣшительно высказалъ г. Соловьевъ. Нельзя

считать приверженцемъ теоріи *единого организма* всякаго, кто высказывалъ чувство всеобщаго человѣколюбія, или мысль о происхожденіи всѣхъ людей отъ Адама и объ одинаковомъ отношеніи ихъ къ Богу. Читатель, напримѣръ, не можетъ не почувствовать, что есть, вѣроятно, не малая разница между мнѣніями стоическаго пантеиста Сенеки, христіанина Ап. Павла и атеиста Огюста Конта. Сей послѣдній представитель „лучшихъ умовъ Европы“ и выразитель „духовныхъ инстинктовъ мыслящихъ людей“ именно нашего вѣка—могъ бы подать поводъ ко многимъ замѣчаніямъ. Онъ отвергалъ бытіе Бога, но придумалъ, какъ извѣстно, свою собственную троицу и проповѣдывалъ поклоненіе ей. Кромѣ Великаго Существа (*Grand-Être*), соотвѣтствующаго тому, что г. Соловьевъ называетъ организмомъ человѣчества, Контъ признавалъ еще Великаго Фетиша, т. е. земную планету, и Великую Среду, т. е. пространство. Ничего нѣтъ мудренаго, что мыслитель, одолѣваемый такимъ неудержимымъ стремленіемъ создавать миѳы, воплощать, олицетворять всякіе предметы, что такой мыслитель призналъ человѣчество за единый организмъ. Впрочемъ, онъ вѣдь вводилъ въ свое Великое Существо не однихъ людей, а считалъ его членами также лошадей, собакъ и вообще животныхъ, служащихъ людямъ. Что скажетъ на это г. Соловьевъ? Не принять ли намъ лучше, что все животное царство составляетъ одинъ организмъ? Тогда мы станемъ, пожалуй, нѣсколько ближе къ пантеизму стоиковъ, который вѣдь, какъ хотите, есть дѣйствительный фазисъ философской мысли, не то что ваша пресловутая „положительно-научная философія“, интересная только по тупому упорству, съ которымъ она держится своей односторонности.

Но оставимъ всѣ эти блужданія по исторіи человѣческой мысли. Нѣтъ никакой надобности старательно доказывать, что г. Соловьевъ сдѣлалъ совершенно голословную ссылку на эту исторію. Возьмемъ прямо мысль, за которую онъ стоитъ. Если человѣчество есть организмъ, то гдѣ его органы? На какія системы эти органы распадаются и какъ между собою связаны? Гдѣ его центральныя части и гдѣ побочныя, служебныя? Напрасно г. Соловьевъ говоритъ, что какъ только Данилевскій призналъ бы мысль *единого организма*, то „ему пришлось „бы отречься отъ всего содержанія и даже отъ самыхъ „мотивовъ его труда“. Ничуть не бывало. Книга Данилевскаго представляетъ намъ, такъ сказать, очеркъ *анатоміи и фізіологіи человечества*. Еслибы мы даже вовсе отказались отъ фізіологіи, предложенной въ этой книгѣ, то анатомія осталась бы, однако, еще неприкосновенною. Культурно-историческіе типы, ихъ внутренній составъ, ихъ взаимное положеніе и послѣдовательность—весь этотъ анализъ намъ необходимо будетъ вполнѣ признать, все равно, будемъ ли мы думать, какъ Данилевскій, что эти типы сѣтъ *какъ будто* отдѣльные организмы, послѣдовательно возникающіе и совершающіе циклъ своей жизни, или же мы, вмѣстѣ съ г. Соловьевымъ, вообразимъ, что это „живые и дѣятельные (а слѣдовательно въ нѣкоторой „степени и сознательные) органы человечества, какъ еди- „наго духовно-физическаго организма“. Какую бы тѣсную связь между органами мы ни предполагали, но прежде всего сами органы должны быть на лицо; какое бы соподчиненіе жизненныхъ явленій мы ни воображали, но прежде всего должно быть дано то разнообразіе, которое подчиняется единству.

(Объ этомъ совершенно забылъ г. Соловьевъ, весь по-

глощенный своими мыслями объ отвлеченномъ единствѣ. Онъ вовсе и не думаетъ, что долженъ бы хоть намекнуть намъ, какъ онъ представляетъ себѣ организацію человѣчества. Какое же право мы имѣемъ называть что-нибудь организмомъ, если не можемъ указать въ немъ ни одной черты органическаго строенія? вмѣсто того, г. Соловьевъ съ величайшими усиліями вооружается противъ культурно-историческихъ типовъ Данилевскаго и старается подорвать ихъ со всевозможныхъ сторонъ, очевидно воображая, что, когда человѣчество явится передъ нами въ видѣ безформенной однородной массы, въ видѣ простаго скопленія человѣческихъ недѣлимыхъ, тогда-то оно будетъ всего больше походить на „живое цѣлое“.

IV.

Естественная система въ исторіи.

Обо всей теоріи культурно-историческихъ типовъ, объ этой „естественной системѣ“ исторіи, г. Соловьевъ, на основаніи своего разбора, произноситъ слѣдующій заключительный приговоръ:

„Эта система, соединяющая разнородное, раздѣляющая однородное и вовсе пропускающая то, что не вкладывается въ ея рамки, есть лишь произвольное измышленіе, главнымъ образомъ обусловленное малымъ знакомствомъ Данилевскаго съ данными исторіи и филологіи, и явно противорѣчащее тѣмъ логическимъ требованіямъ всякой классификаціи, которыя онъ самъ позаботился выставить“ (стр. 194).

Боже! Какъ громко и рѣзко, а какая путаница! Я

хочу сказать, что тутъ набраны всякіе, самые разнообразныя, но все *общіе* упреки, такъ что эту характеристику можно отнести ко всякому очень плохому разсужденію, и, напримѣръ, она въ статьѣ г. Соловьева примѣняется какъ нельзя лучше. Если система Данилевскаго несостоятельна, то, очевидно, нужно открыть ея *главный грѣхъ*, и тогда мы вполне поймемъ ея несостоятельность, и не нужно будетъ подбирать разныхъ частныхъ доказательствъ, изъ которыхъ не выходитъ одного общаго. „Произвольное измышленіе, обусловленное незнакомствомъ съ данными“! Да что же можетъ быть *обусловлено незнакомствомъ*? Если человѣкъ чего-нибудь не знаетъ, то развѣ онъ такъ сейчасъ и пустится въ *измышленія*, и притомъ совершенно *произвольныя*?

Прошу извиненія за это отступленіе; слогъ и логика г. Соловьева занимаютъ меня, можетъ быть, больше, чѣмъ читателя. Обратимся къ дѣлу.

Прежде всего, г. Соловьевъ, безъ сомнѣнія, вовсе не понимаетъ требованій естественной системы. Онъ приступаетъ къ Данилевскому съ вопросомъ: „почему принято столько типовъ, а не больше и не меньше?“ а потомъ съ упрекомъ, что тотъ „не предпослалъ своей таблицѣ прямаго опредѣленія того, что онъ признаетъ за особый культурно-историческій типъ“ (стр. 156, 157). Можно подумать, что дѣло идетъ не объ опытной, о какой-нибудь апріорной наукѣ, напр., о геометріи. Тамъ сперва опредѣляютъ, что такое треугольникъ, а потомъ выводятъ различные виды этой фигуры, напр., что треугольники бываютъ равносторонніе, равнобедренные и неравносторонніе.

Но въ наукѣ наблюдательной, какъ исторія, и опредѣленіе, и раздѣленіе не даны напередъ, а напротивъ

составляютъ искомое, суть то, что должно еще получить изъ нашихъ наблюдений и сравнений. Типъ у Данилевскаго есть просто высшее дѣленіе, какое можно найти въ исторіи, то есть самая широкая группа людей, о которой бы можно было сказать, что она при смѣнѣ своихъ поколѣній дѣйствительно переживаетъ нѣкоторую исторію, имѣетъ историческую, слѣдовательно, культурную жизнь, дѣйствительно бываетъ и молодою, и зрѣлою, и дряхлою, и наконецъ совершенно отживаетъ свою жизнь. Самыя ясныя изъ этихъ группъ прямо бросаются намъ въ глаза, и потому Данилевскій и указываетъ на нихъ прямо, какъ на нѣчто всѣмъ извѣстное. Но, разумѣется, и точное разграниченіе ихъ, и правильная характеристика, также какъ изложеніе особенностей жизни и развитія каждой группы, составляютъ предметъ долгихъ изысканій и совершенствуются вмѣстѣ съ успѣхами самой науки исторіи. Такъ и въ зоологіи, и въ ботаникѣ, нѣкоторыя главныя, крупныя черты естественной системы животныхъ и растений приняты съ самаго начала и остаются давно неизмѣнными, но въ частности, въ оцѣнкѣ отношеній между группами, въ подраздѣленіяхъ на меньшія группы, дѣлаются все новыя и новыя шаги къ полной опредѣленности и всесторонности.

Чтобы дать оправданіе нѣкоторымъ своимъ возраженіямъ, г. Соловьевъ говоритъ, что не сталъ бы ихъ дѣлать, „еслибы мы имѣли дѣло съ обыкновенною приблизительною классификаціею явленій, а не съ претензіей на строго-опредѣленную и точную „естественную систему исторіи““ (стр. 162).

Значитъ, г. Соловьевъ не понимаетъ, что *строго-опредѣленными и точными* бываютъ сразу только искусственныя системы, а для естественныхъ системъ строгая опре-

дѣленность и точность есть лишь идеаль, о полномъ достиженіи котораго сейчасъ же—могутъ говорить только тѣ, кто вовсе не понимаетъ важности и трудности задачи. Книга Данилевскаго указываетъ только методу и общій планъ изслѣдованія, а вовсе не есть полная *естественная система исторіи*, потому что вѣдь это была бы наука исторіи въ полномъ ея составѣ. Иное дѣло искусственная система, —она сразу бываетъ точна и опредѣленна. Такъ у насъ въ большомъ ходу дѣленіе исторіи по столѣтіямъ, и тутъ ужъ нѣтъ ни колебаній, ни успѣховъ. Если событіе случилось въ 1799 году, то оно относится къ восемнадцатому вѣку, а если въ 1800, то къ девятнадцатому. Очень точно и удобно, но именно потому, что тутъ не обращается вниманія ни на какія естественныя отношенія.

Должно быть, однако же, г. Соловьевъ кой-что знаетъ о естественной системѣ. Такъ у него проскользнуло слѣдующее замѣчаніе: „Въ особенности составителямъ естественныхъ системъ приходилось устранять многое общеизвѣстное. Иначе, напримѣръ, въ классификаціи животныхъ пришлось бы принять кита за рыбу“ (стр. 156).

Вотъ примѣръ, прекрасно поясняющій дѣло. Классъ рыбъ есть общеизвѣстный классъ, группа, признаваемая внѣ всякой науки. Въ то же время, это группа чрезвычайно естественная, почему она и была съ самаго начала принята въ естественной системѣ. Эта система, однако, вникая глубже въ устройство животныхъ, *поправила* общеизвѣстную группу рыбъ, именно отдѣлила отъ нея кита, и тогда эта группа стала *совершенно* естественною.

Итакъ, поправки, которымъ постепенно подвергается естественная система, не значать, что эта система раз-

рушается, а напротивъ ведутъ ее только къ бѣльшей и бѣльшей естественности.

Между тѣмъ, г. Соловьевъ очень смутно сообразилъ эти понятія и совершенно сбился въ своихъ выводахъ. Онъ упрекаетъ Данилевскаго въ томъ, что тотъ прямо беретъ общеизвѣстные культурные типы; въ этомъ онъ видитъ только „бѣйнюю произвольность“. Когда же онъ замѣтилъ, что одинъ типъ Данилевскаго допускаетъ поправку, что тутъ нашелся китъ, котораго нужно отдѣлить отъ рыбъ, то г. Соловьевъ чрезвычайно обрадовался этому, какъ отличнѣйшему средству для своей цѣли, состоящей только не въ томъ, чтобы найти истинную систему исторіи, а въ томъ, чтобы опровергнуть Данилевскаго.

Китъ, о которомъ идетъ рѣчь, — финикіане. Данилевскій вовсе не разсуждаетъ объ этомъ народѣ и его исторіи; онъ только голословно, ссылаясь на одну лишь *общеизвѣстность*, соединилъ его (въ своемъ перечисленіи типовъ) въ одинъ типъ съ ассиріянами и вавилонянами. Противъ этой *одной* строчки г. Соловьевъ написалъ нѣсколько страницъ, блистающихъ самою свѣжею ученостью и ссылками даже на подлинныя слова Ренана.

А какой же выводъ изъ ученыхъ изысканій? Прежде всего, нашъ критикъ утверждаетъ слѣдующую „возможность“.

„Возможность отвести такой важной культурной націи, какъ Финикія, любое изъ трехъ мѣстъ въ исторической классификаціи (кроме того невозможнаго положенія, какое она занимаетъ въ quasi-естественной системѣ нашего автора), а именно: или видѣть въ Финикіи одинъ изъ членовъ единого обще-семитическаго типа, или признать ее, вмѣстѣ съ еврействомъ за особую хананейскую или кенаано-пунійскую группу,

или наконецъ выдѣлить ее въ отдѣльный культурно-историческій типъ“ (стр. 161.).

Ну такъ въ чемъ же дѣло? Мы видимъ, что тутъ исчерпаны всѣ возможности; когда нужно опредѣлить положеніе какого-нибудь предмета въ системѣ, то можно: 1) или подвести его подъ классъ уже извѣстный, 2) или составить изъ него особый классъ, притомъ: а) изъ него одного, или б) съ присоединеніемъ какихъ-нибудь другихъ сродныхъ предметовъ. Чтобы рѣшить вопросъ, нужно приняться за точныя и обстоятельныя изслѣдованія; такъ и теперь, нужно, значитъ, пуститься въ изученіе исторіи финикіянъ, которой Данилевскій никогда не изучалъ, почему и судилъ въ этомъ случаѣ по неточнымъ свѣдѣніямъ объ исторіи Востока, какія были общеизвѣстны во время писанія его книги.

Но г. Соловьеву ни исторія вообще, ни финикіяне въ частности вовсе не нужны; почему онъ и приходитъ къ совершенно другому заключенію, преудивительному:

„Эта одинаковая возможность принять по этому предмету три различные взгляда, изъ коихъ каждый имѣетъ свое научное оправданіе, ясно показываетъ, насколько шатокъ и неустойчивъ самый принципъ дѣленія человѣчества на культурно-историческіе типы, насколько смутно понятіе такого типа, насколько неопредѣленны границы между этими условными группами, которыя Данилевскій наивно принимаетъ за вполнѣ дѣйствительныя соціальныя единицы“ (стр. 162).

Какъ *одинаковая возможность*? Но вѣдь только логически эти три случая одинаково возможны, т. е. когда дѣло идетъ о предметѣ неизвѣстномъ, или лучше, о неизвѣстно какомъ предметѣ. Въ дѣйствительности же, когда предметъ намъ данъ, то не три случая могутъ разомъ имѣть мѣсто, а только *одинъ изъ трехъ*. Развѣ

же тутъ возможно совершенно равное „научное оправданіе“? Злополучные финикіянне, очевидно, только тогда не могли бы найти себѣ мѣста въ системѣ исторіи, еслибы было доказано, что самое понятіе особой культуры вовсе неприменимо къ человѣчеству, что нѣтъ и не бывало культуръ, постепенно развивающихся, процвѣтающихъ и падающихъ. Но о культурѣ вообще, о томъ понятіи различныхъ культуръ, въ которомъ заключается весь узелъ вопроса, г. Соловьевъ ровно ничего не говоритъ. Онъ думалъ обойтись побочными средствами.

Между тѣмъ ясно, что для него осталась только четвертая возможность, о которой онъ однако не упоминаетъ. Эта четвертая возможность та, что въ человѣчествѣ и его исторіи вовсе не существуетъ никакихъ дѣленій, никакой системы. Логика самого предмета невольно вынуждаетъ г. Соловьева къ такому заключенію, которое высказать онъ только затрудняется. Такъ, упомянувъ о томъ, что дѣленіе человѣчества по частямъ свѣта и дѣленіе исторіи на древнюю, среднюю и новую обличаются Данилевскимъ въ искусственности, неточности и нелогичности, онъ замѣчаетъ:

„Для тѣхъ, кто видитъ въ человѣчествѣ единое живое цѣлое, вопросъ о томъ или другомъ распредѣленіи частей этого цѣлаго имѣетъ во всякомъ случаѣ лишь второстепенное значеніе.—Иначе представляется дѣло для Данилевскаго“ (стр. 154).

Совершенно справедливо! Данилевскій никогда не думалъ, никакъ не могъ и представить себѣ, что дѣленіе въ какой бы то ни было наукѣ, въ какомъ бы то ни было предметѣ имѣетъ малое значеніе, будто бы во всѣхъ отношеніяхъ второстепенное. Только крылатые мысли-тели поднимаются до такой высокой мысли. Данилевскій

же, очевидно, какъ способный лишь къ „ползучимъ теоріямъ“ (стр. 115), вздумалъ воевать противъ того недостатка научной строгости, который такъ обыкновененъ въ историческихъ сочиненіяхъ и такъ по душѣ приходится г. Соловьеву. Въ самомъ дѣлѣ, историки постоянно подвержены и постоянно поддаются искушенію въ томъ отношеніи, что порядокъ фактовъ ихъ науки, повидимому, имъ данъ заранѣе, именно порядокъ *времени* этихъ фактовъ. Поэтому, иные излагатели исторіи вовсе и не думаютъ о надобности точнаго опредѣленія періодовъ, а также о такой группировкѣ явленій, которая можетъ не совпадать съ единою прямою линіею времени. Но, чѣмъ глубже понимаетъ свое дѣло историкъ, тѣмъ чаще его рассказъ вынуждаетъ его отступать отъ порядка простой хроники. Вмѣсто этихъ попытокъ, предоставленныхъ уму и взгляду каждаго историка, и вмѣсто грубыхъ крупныхъ дѣленій, не играющихъ никакой существенной роли, Данилевскій и пожелалъ яснаго и точнаго распредѣленія фактовъ, общей группировки ихъ по степени ихъ естественнаго сродства и предложилъ теорію культурныхъ типовъ. Вотъ его преступленіе противъ тѣхъ, кому низшія требованія науки мѣшаютъ предаваться высшимъ полетамъ.

На страницѣ 164-й г. Соловьевъ совершенно спутываетъ мысли Данилевскаго. Онъ приводитъ его правило: „группы должны быть однородны, то есть степень „сродства, соединяющая ихъ членовъ, должна быть одинакова въ одноименныхъ группахъ“, и толкуетъ, что здѣсь подъ *членами* должно разумѣть отдѣльные народы, входящіе въ составъ культурнаго типа.

Нивогда этой мысли не было у Данилевскаго. Подъ членами онъ тутъ понималъ всякаго рода историческія

событія и хотѣлъ сказать, что только событія, относящіяся къ исторіи одного культурнаго типа, бываютъ связаны между собою столь же тѣсно, какъ событія другаго типа между собою. Это суть явленія, переживаемыя типомъ въ неразрывной цѣпи поколѣній, и потому составляющія дѣйствительную исторію; — такой связи не можетъ быть между явленіями различныхъ типовъ.

Между тѣмъ, г. Соловьевъ, превратно понявъ правило, выставляетъ противъ него цѣлый рядъ возраженій. Напримѣръ: „Любопытно было бы знать, какіе члены „дѣленія—соотвѣтствующіе цѣлымъ великимъ націямъ, „на которыя дѣлится Европа,—можно найти въ древне-„египетскомъ, или въ еврейскомъ культурномъ типѣ?“ (стр. 165). Вотъ въ какомъ явномъ и грубомъ недосмотрѣ рѣшился обвинять Данилевскаго г. Соловьевъ, вѣроятно разлакомившись своими финикіянами. А затѣмъ и готово: система эта обусловлена-де незнакомствомъ съ данными исторіи!

Вообще замѣтимъ, что въ книгѣ Данилевскаго нѣтъ никакого-нибудь изслѣдованія всѣхъ указанныхъ имъ типовъ; различныя свойства этихъ типовъ, различный ихъ составъ, различная исторія—все это предлежитъ труду историковъ. Поправки и всякое углубленіе и уясненіе чертъ разъ намѣченныхъ и неизбѣжны, и желательны; но самая идея типовъ вполне останется и получитъ лишь большую твердость.

Только два типа подробно и тщательно разсматриваетъ книга Данилевскаго, именно тѣ, которые указаны въ заглавіи: славянскій и германо-романскій; тутъ много опредѣленныхъ и обстоятельныхъ замѣчаній объ ихъ составѣ, ихъ исторической судьбѣ, ихъ духовныхъ свойствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ,—такъ что именно на

этихъ двухъ типахъ мы можемъ (если желаемъ) изучать, что такое Данилевскій называетъ культурнымъ типомъ, и точно ли онъ правъ, утверждая, что такіе типы существуютъ въ исторіи. И что же? Г. Соловьевъ, критикующій эту книгу, очень заинтересовался финикіянами, о которыхъ въ ней только упомянуто, и вовсе не разсуждаетъ о типахъ славянскомъ и германо-романскомъ! Его статья называется *Россія и Европа*, но въ ней все на разбираются всѣ тѣ отношенія между Россіею и Европою, которыя составляютъ самый существенный предметъ книги и были путеводною нитью для всѣхъ ея мыслей! Просвѣщенный читатель „Вѣстника Европы“ не получитъ по статьѣ г. Соловьева даже слабаго понятія о содержаніи книги Данилевскаго. О, крылатая критика! Ты плохо видишь; но точно ли отъ того это происходитъ, что ты высоко летаешь?

V.

Объединители.

Если мы не будемъ признавать никакихъ культурныхъ типовъ, если будемъ всячески доказывать, что въ исторіи все путается и переплетается, такъ что нельзя найти въ ней никакихъ правильныхъ группъ явленій, и бѣднымъ финикіянамъ нельзя вовсе указать опредѣленнаго мѣста, то отсюда еще не слѣдуетъ, что человѣчество представится намъ въ видѣ „живаго цѣлаго“, въ видѣ организма. Для такого представленія, очевидно нужно, напротивъ, показать въ человѣчествѣ хоть какой-

нибудь порядокъ, нужно хоть съ какой-нибудь стороны, хоть въ малой мѣрѣ внушить мысль, что въ этомъ организмѣ не одна путаница, а есть и нѣкоторое единство. Г. Соловьевъ это и дѣлаетъ въ слѣдующемъ мѣстѣ.

„Тотъ обширный и законченный періодъ въ жизни историческихъ народовъ, который называется древнею исторіею, рядомъ съ господствомъ національнаго сепаратизма, представляетъ, однако, несомнѣнное движеніе впередъ въ смыслѣ все большаго и большаго объединенія чуждыхъ въ началѣ и враждебныхъ другъ другу народностей и государствъ“. „Тѣ націи, которыя не принимали участія въ этомъ движеніи, получили тѣмъ самымъ совершенно особый анти-историческій характеръ“.

И такъ, вообще говоря, въ древней исторіи совершалось нѣкоторое *объединеніе*; процессъ этого объединенія г. Соловьевъ описываетъ слѣдующимъ образомъ:

„Политическая и культурная централизація не ограничивалась отдѣльными народами, ни даже опредѣленными группами народовъ, а стремилась перейти въ такъ называемое всемірное владычество, и это стремленіе дѣйствительно приближалось все болѣе и болѣе къ своей цѣли, хотя и не могло осуществиться вполнѣ. Монархія Кира и Дарія далеко не была только выраженіемъ иранскаго культурно-историческаго типа, смѣнившаго типъ халдейскій. Вобравши въ себя всю прежнюю ассиро-вавилонскую монархію и широко раздвинувшись во всѣ стороны между Греціей и Индіей, Скиѳіей и Эѳіопіей, держава великаго царя во все время своего процвѣтанія обнимала собою не одинъ, а по крайней мѣрѣ цѣлыхъ четыре культурно-историческихъ типа (по классификаціи Данилевскаго), а именно мидо-персидскій, сиро-халдейскій, египетскій и еврейскій, изъ коихъ каждый, подчиняясь политическому, а до нѣкоторой степени и культурному единству цѣлаго, сохранялъ, однако, свои главныя образовательныя особенности и вовсе не становился простымъ этнографическимъ матеріаломъ (т. е. культурнаго единства

не было?). Царство Александра Македонскаго (распавшееся послѣ него лишь политически, но сохранившее во всемъ объемѣ новое культурное единство (*откуда же новое, когда никакого стараго не было?*) эллинизма), расширило предѣлы прежней міровой державы, включивши въ нихъ съ запада всю область греческаго типа, а на востокѣ захвативши часть Индіи. Наконецъ, Римская Имперія, вмѣстѣ съ новымъ культурнымъ элементомъ, латинскимъ, ввела въ общее движеніе всю западную Европу и сѣверную Африку, соединивъ съ ними весь захваченный Римомъ міръ восточно-эллинской культуры“ (апр. 147, 148).

Этотъ рассказъ заслуживаетъ нашего полного вниманія, такъ какъ онъ есть единственная попытка г. Соловьева указать нѣкоторую органическую цѣльность въ исторіи человѣчества, несогласную будто бы съ теоріей Данилевскаго.

Но что же мы видимъ здѣсь? Если г. Соловьевъ дѣйствительно признаетъ человѣчество за организмъ, то изъ приведеннаго рассказа видно, что онъ есть какой-то удивительный организмъ, вовсе непохожій на обыкновенные организмы. Того единства, которое изначала свойственно каждому обыкновенному организму, въ человѣчествѣ сперва вовсе не было; напротивъ, намъ говорятъ, что въ началѣ человѣчество состояло „изъ чуждыхъ и враждебныхъ другъ другу народностей и государствъ“. Потомъ, однако же, происходитъ „все большее и большее объединеніе“; но это вѣдь значитъ, что единства все-таки еще нѣтъ, а что совершается только „несомнѣнное движеніе“ къ единству. Три степени этого движенія указываетъ г. Соловьевъ: 1) монархію Кира и Дарія, 2) царство Александра Македонскаго и 3) Римскую Имперію; но онъ забываетъ прибавить, что за каждой степенью слѣдуетъ нѣчто особенное; именно, обыкно-

венно объединеніе, достигшее болѣе высокой степени, опять разрушается. Такъ разсыпалось царство Александра Македонскаго, такъ распалась потомъ и сама Римская Имперія, которую г. Соловьевъ называетъ „воистину всемірною имперіею“ (стр. 148).

Вотъ какой странный процессъ происходилъ въ человѣчествѣ, при его стремленіи къ единству; но не нужно, кромѣ того, забывать, что были еще въ человѣчествѣ *анти-историческія части*, вовсе „не принимавшія участія въ этомъ движеніи“.

Не правда ли, что все это такъ нескладно, какъ только возможно? Мнимый организмъ человѣчества есть такой непонятный и путанный организмъ, что другаго подобнаго нарочно не выдумаешь. Не правъ ли Данилевскій, разрѣшающій всю эту путаницу своими культурными типами?

Между тѣмъ, это не помѣшало г. Соловьеву заключить свой краткій обзоръ древней исторіи слѣдующими громкими и торжественными словами:

„И такъ, вмѣсто простой смѣны культурно-историческихъ типовъ, древняя исторія представляетъ намъ постепенное ихъ *собираніе* чрезъ подчиненіе болѣе узкихъ и частныхъ образовательныхъ элементовъ началамъ болѣе широкой и универсальной культуры. Подъ конецъ этого процесса вся сцена исторіи занимается единою Римскою Имперіею, не смѣнившею только, а совмѣстившею въ себѣ всѣ прежніе преемственно выступавшіе культурно-историческіе типы“ (стр. 172).

Замѣтьте, какъ тутъ ловко подставлена *культура*! И какъ хорошо выбрано слово *совмѣстившею*, дѣлающее такое впечатлѣніе, какъ будто разныя культуры слились въ одну. Мы видѣли, что объединеніе совершалось, какъ указываетъ самъ же г. Соловьевъ, *черезъ завоеваніе*,

посредствомъ покоренія многихъ народовъ одной общей государственной власти. Такъ, сперва персидскіе цари пытались покорить Грецію, потомъ греки покорили персидское царство, потомъ римляне покорили и грековъ, и всѣ страны, нѣкогда покоренныя персами. И вдругъ намъ говорятъ, что всѣ эти перекрестныя завоеванія были ничто иное, какъ „собираніе культурныхъ типовъ“ и что это собираніе происходило „черезъ подчиненіе узкихъ началъ культуры началамъ болѣе широкимъ“! Не ясно ли, однако, что, напротивъ, это была яростная борьба между народами, рядъ постоянныхъ покушеній одного народа завладѣть другими, и одной культуры — подавить всѣ другія культуры? Остановка въ этой борьбѣ совершилась и могла совершиться только тогда, когда нашелся наконецъ народъ, единственный въ цѣлой исторіи человѣчества и по своей воинственности, и по своей государственности, а потому и одолѣвшій всѣ другіе народы и сумѣвшій надолго удержать ихъ въ своей власти. Правда, духъ человѣческій обращаетъ въ свою пользу всѣ случаи, и даже встрѣча на полѣ битвы становится не только взаимнымъ убійствомъ, но и взаимнымъ знакомствомъ. Правда, эти два геніальные народа, греки и римляне, внесли много души и ума во всѣ свои дѣла и, можно сказать, по праву владычествовали надъ міромъ. Но это совершенно другой разрядъ явленій, другое теченіе въ глубокихъ водахъ исторіи. Распространителями культуры одинаково бывають и побѣдители и побѣжденные. Объединитель Александръ Македонскій накладывалъ свою культуру на Востокъ, но объединители римляне сами подверглись вліянію Греціи, которую покорили. И какую бы важность мы ни придавали великой государственности и гражданственности Рима, а все-таки

нужно благословлять судьбу, что лишь немногіе народы были романизованы. Исторія христіанскаго міра есть, въ сущности исторія новыхъ народовъ.

Скучно и почти бесполезно распутывать то гладкое и красивое, но обманчивое сочетаніе словъ, которому часто предается г. Соловьевъ въ своей статьѣ, и примѣръ котораго мы видѣли въ предъидущей выдержкѣ. Интересно здѣсь только его ослѣпленіе мыслью о единствѣ, ослѣпленіе, вслѣдствіе котораго ему кажется, что всякіе объединители работали не для себя самихъ, а на пользу человѣчества. Особенно онъ чувствуетъ расположеніе въ Риму. Къ несчастію, почему-то онъ сдѣлалъ очеркъ только древней исторіи, а о новой ничего не говоритъ, кромѣ развѣ странныхъ словъ, уже нами приведенныхъ, будто бы „европейское сознаніе“ сперва „возвысилось рѣшительно“ до „идеи единого человѣчества“, но затѣмъ только „никогда не отрекалось отъ нея вполне“ (см. выше, стр. 223). Судя по насмѣшкѣ надъ Фихте, г. Соловьевъ долженъ въ новой исторіи сочувствовать Наполеону, отъ владычества котораго Фихте испытывалъ такое неразумное страданіе. Точно также, въ англичанахъ г. Соловьеву, должно-быть, пріятно видѣть ихъ постоянное стремленіе завладѣть народами другихъ культурныхъ типовъ; они навѣрное имѣютъ въ виду не открыть себѣ новые рынки, а „подчинить узкіе и частные образовательные элементы началамъ болѣе широкой и универсальной культуры“. Что же касается до австрійскихъ жандармовъ, то это, конечно, превосходные объединители!

Однако, черезъ нѣсколько строкъ послѣ приведенныхъ словъ, г. Соловьевъ почувствовалъ потребность немножко поправить и оговорить свои положенія, и про-

должаетъ свое разсужденіе о древней исторіи слѣдующимъ образомъ:

„Но еще важнѣе этого внѣшняго объединенія историческаго человѣчества въ Римской Имперіи (*какъ? подчиненіе всѣхъ культуръ одной есть только внѣшнее объединеніе?*) было развитіе самой идеи *единого человѣчества*. Среди языческаго міра эту идею не могли выработать ни восточные народы, слишкомъ подчиненные мѣстнымъ условіямъ въ своемъ міросозерцаніи, ни греки, слишкомъ самодовольные въ своей высокой культурѣ и отождествлявшіе человѣчество съ эллинизмомъ (несмотря на отвлеченный космополитизмъ кинической и стоической школы). Величайшіе представители собственно-греческой мысли, Платонъ и Аристотель, не были способны подняться до идеи единого человѣчества. Только въ Римѣ нашлась благопріятная умственная почва для этой идеи: съ полною опредѣленностію и послѣдовательностію ее поняли и провозгласили римскіе философы и римскіе юристы“.

„Тогда какъ великій Стагирить возводилъ въ принципъ и объявлялъ на вѣки неустранимою противоположность между эллинами и варварами, между свободными и рабами,—такіе, сравнительно съ нимъ, неважные философы, какъ Цицеронъ и Сенека, одновременно съ христіанствомъ возвѣщали существенное равенство всѣхъ людей. „Природа предписываетъ,—писалъ Цицеронъ,—чтобы человѣкъ помогалъ человѣку, кто бы тотъ ни былъ, по той самой причинѣ, что онъ человѣкъ“ и т. д. (стр. 148, 149.).

Это мѣсто въ статьѣ г. Соловьева поразительно. Исторія человѣческой мысли тутъ извращена самымъ грубымъ, безъ зазрѣнія идущимъ противъ очевидности образомъ. Посмотрите, какъ тутъ подставлены одни слова вмѣсто другихъ. Сперва *единство человѣчества*, а потомъ просто *равенство всѣхъ людей*. Сперва вообще *греки не могли*, а потомъ не могли только *представители собственно-греческой мысли*; какъ будто циники и стоики не принадлежать къ „собственно-греческой мысли“!

Сперва *выработать идею*, а потомъ только *наилась умственная почва*, и не *выработали*, а только *поняли и провозгласили*. И еще — у стоиковъ это былъ *отвлеченный космополитизмъ*, а у римлянъ *полная определенность и последовательность*. Какъ будто одно другому противоположно!

Возможно ли писать подобнымъ образомъ! Кому же неизвестно, что идея равенства всѣхъ людей есть именно плодъ свѣтлаго греческаго генія, и что она „съ полною определенностію и последовательностію“ проповѣдывалась школами циниковъ и стоиковъ за нѣсколько столѣтій до Цицерона и Сенеки? Такъ какъ дѣло идетъ о философіи, то можно назвать черною неблагодарностію эту попытку отнять у грековъ заслугу въ выработкѣ философскихъ идей и приписать ее — кому же? — римлянамъ. Ни одинъ культурный типъ въ цѣлой исторіи рода человеческого не можетъ равняться съ греками по наслѣдію, которое онъ завѣщалъ намъ, по всесторонности и силѣ своего творчества въ искусствѣ и поэзіи, въ наукахъ и философіи. Между тѣмъ, римляне составляютъ знаменитый примѣръ односторонности; отъ нихъ не осталось намъ ни единой математической теоремы, и точно также у нихъ ни развилось не единой самобытной философской идеи. Цицеронъ и Сенека, которые, по осторожному выраженію г. Соловьева, суть „неважные философы въ сравненіи съ Аристотелемъ“, въ сущности почти не заслуживаютъ самаго имени философовъ, такъ какъ были простые компиляторы или перифразировщики ученій, созданныхъ греками, притомъ компиляторы безсвязные и односторонніе. Слова объ обязанности равно помогать всѣмъ людямъ самъ Цицеронъ вовсе и не выдаетъ за выраженіе своего мнѣнія, а прямо выставляетъ

ихъ какъ изложеніе ученія стоиковъ, Панэція, Хризиппа и самаго Зенона (см. De finibus, l. III. с. 19). Послѣ этого, нужна удивительная смѣлость, чтобы говорить, что греки не могли возвыситься до этой идеи, а вотъ Цицеронъ возвысился!

А все изъ-за чего? Все изъ-за того, чтобы государственному объединенію народовъ въ Римской Имперіи приписать какъ можно больше культурнаго значенія. Г. Соловьева постоянно плѣняетъ мысль не о равенствѣ, а объ *единствѣ* людей, и потому онъ хватается въ исторіи за всякіе примѣры насильственнаго объединенія и видитъ въ нихъ нѣчто великое и въ духовномъ отношеніи. Онъ готовъ считать за сердце человѣчества, какъ „единого организма“, то Вавилонъ, то Римъ, тѣ самые Вавилонъ и Римъ, имена которыхъ не даромъ же въ Библии составляютъ символъ всякаго насилія, воплощенія темной силы, враждебной царству духа. „На рѣкахъ Вавилонскихъ, тамъ мы сидѣли и плакали“. Вавилонъ былъ жестокимъ мучителемъ народа Божія, а Римъ былъ, сверхъ того, гонителемъ христіанъ. Въ гоненіяхъ христіанъ, людей никогда не возмущавшихся и никогда не сопротивлявшихся, хорошо обнаружилось, что такое то единство Римской Имперіи, которое г. Соловьевъ считаетъ столь необходимымъ для идеи человѣческаго братства. Даже лучшій изъ римскихъ стоиковъ, императоръ Маркъ Аврелій допускалъ и одобрялъ страшныя казни христіанъ, покорно слѣдуя въ этомъ случаѣ священной идеѣ римскаго государства. Мы видимъ отсюда, что идея единства не только не совпадаетъ вообще съ идеею братства, а можетъ стать и безпрестанно становится въ жестокое съ нею противорѣчіе. Мысль о всемірномъ владычествѣ пустила глубокіе корни въ Римѣ

и до сихъ поръ живетъ въ немъ. Въмѣсто распавшагося мірскаго царства, тамъ возникло духовное царство, питающее такую же мысль о своемъ единствѣ. Казалось бы, тутъ уже нельзя было ожидать гоненій, но мы знаемъ, что казни и преслѣдованія, возбужденныя римскою церковью, далеко превзошли своимъ обиліемъ, своимъ огнемъ и кровью, всѣ ужасы, нѣкогда совершенныя безбожными императорами Рима. Чтò и говорить—единство есть дѣло прекрасное, но только когда мы твердо помнимъ, что подъ нимъ нужно разумѣть единеніе душъ и сердець. Когда-то и была христіанская церковь въ этомъ смыслѣ единою по всей землѣ. Если же она потомъ распалась, если сперва произошло раздѣленіе между западными и восточными христіанами, а потомъ въ западной части между сѣверными и южными, то причиною распадена, во всякомъ случаѣ, былъ недостатокъ главнаго условія духовнаго единенія, недостаткъ свободы; одна часть церкви стремилась къ такой власти надъ другими частями, слѣдовательно, къ такому единству, которое было противно духовной свободѣ. Г. Соловьевъ называетъ начало народности началомъ племеннаго *раздора*; если слѣдовать его манерѣ, то несравненно основательнѣе можно бы назвать начало единства человѣчества началомъ *насилія*; насиліе же всегда ведетъ къ ненависти, къ возмущенію и къ неугасимой враждѣ расторгающихся частей.

Объ цивилизаціи древняго Рима, конечно, пришлось бы много говорить, еслибы мы стали судить объ ея дѣйствительномъ содержаніи и объ ея значеніи въ исторіи. Христіанскіе писатели часто указываютъ на то, что соединеніе народовъ подъ одною властью благопріятствовало распространенію христіанства, и видятъ въ этомъ

пути Провидѣнія. Можно указать и другія блага, которыя зависѣли отъ развитія римскаго владычества. Но не нужно забывать—и этимъ замѣчаніемъ мы ограничимся—что тутъ многое происходило никакъ не вслѣдствіе объединенія людей подъ одною властью, а вовсе помимо этой власти, и даже вопреки ея прямымъ цѣлямъ. Духъ человѣческій обращаетъ въ свою пользу всякія обстоятельства. Неправильно думать, что самымъ источникомъ его побѣдъ было то, что, можетъ быть, было лишь препятствіемъ, которое ему пришлось побѣждать.

Кстати: у Данилевскаго есть прекрасная страница (99 и 100), содержащая нѣкоторую характеристику римской культуры. Мы были очень удивлены, встрѣтивъ объ этой страницѣ такую фразу у г. Соловьева:

„Изъ уваженія къ памяти покойнаго писателя, мы пройдемъ молчаніемъ чрезвычайно странное его разсужденіе объ отношеніяхъ римской культуры къ греческой (стр. 99)“. (*Нац. Вопр.* стр. 172.)

Въ такомъ изъявленіи уваженія, заключающемъ въ себѣ пущую обиду, иной читатель можетъ увидѣть, пожалуй, только нахальство надъ „покойнымъ писателемъ“; но мы вполне увѣрены, что живой авторъ въ своемъ высокомѣріи просто не замѣтилъ смысла своихъ словъ,

VI.

Общая сокровищница.

Человѣчество не представляетъ собою чего-то единого, „живаго цѣлаго“, а скорѣе походитъ на нѣкоторую живую стихію, стремящуюся на всѣхъ точкахъ складываться въ такія формы, которыя представляютъ бѣольшую

или меньшую аналогію съ организмами. Самыя крупныя изъ этихъ формъ, имѣющія ясную связь между частями и ясную линію общаго развитія, составляютъ то, что Данилевскій назвалъ „культурно-историческими типами“. Чтобы убѣдиться въ ихъ существованіи, нужно только ясно представить себѣ нѣкоторую совокупность множества людей, связанныхъ и сосѣдствомъ по мѣсту, и общностью языка, душевнаго склада и всего быта, и вообразить, что въ подобной массѣ, по мѣрѣ того, какъ поколѣнія слѣдуютъ за поколѣніями, совершается ясное культурное развитіе, нарастаніе, расцвѣтъ и одряхленіе особаго склада всѣхъ сферъ человѣческой жизни. Тутъ, очевидно, существуетъ нѣкоторая реальная и органическая связь между отдѣльными людьми, какой мы никакъ не можемъ видѣть въ человѣчествѣ, взятомъ въ совокупности. Въ то же время, исторія намъ показываетъ, что эта связь имѣетъ великую важность, потому что, только въ такихъ большихъ группахъ мы и находимъ высокое развитіе человѣческихъ силъ и дѣйствій, такъ что только судьба такихъ группъ и составляетъ настоящій предметъ исторіи.

Но изъ этихъ ясныхъ и несомнѣнныхъ фактовъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы не было такихъ нравственныхъ обязанностей и такихъ естественныхъ правъ, въ которыхъ всѣ люди равны между собою; не слѣдуетъ, вообще, что вовсе нѣтъ такой общей области, которая стоитъ выше культурныхъ типовъ, и исторію которой можно, въ извѣстномъ смыслѣ, назвать жизнью человѣчества. Дѣло это ясное, и если мы не будемъ его умышленно путать, то легко усвоимъ себѣ то разграниченіе, которое нужно при этомъ дѣлать. Вотъ какъ выражается объ этомъ предметѣ Н. Я. Данилевскій:

„Народы каждого культурно-исторического типа не вотще трудятся; результаты ихъ труда остаются собственностью всѣхъ другихъ народовъ, достигающихъ цивилизаціоннаго періода своего развитія, и труда этого повторяютъ незачѣмъ“.

Напримѣръ:

„Развитіе положительной науки о природѣ составляетъ существеннѣйшій результатъ германо-романской цивилизаціи, плодъ европейскаго культурно-историческаго типа; такъ точно, какъ искусство, развитіе идеи прекраснаго, было преимущественнымъ плодомъ цивилизаціи греческой; право и политическая организація государства—плодомъ цивилизаціи римской; развитіе религіозной идеи единого истиннаго Бога—плодомъ цивилизаціи еврейской“ (*Россія и Европа*, стр. 134).

Въ другомъ мѣстѣ:

„Науки и искусства (и преимущественно науки) составляютъ драгоцѣннѣйшее наслѣдіе, оставляемое послѣ себя культурно-историческими типами, составляютъ самый существенный вкладъ въ общую сокровищницу человѣчества“ (стр. 145).

И такъ, существуетъ *общая сокровищница* человѣчества, въ которую каждый типъ вноситъ *плодъ* своей цивилизаціи, какъ нѣкоторое *наслѣдіе*, равно принадлежащее всѣмъ существующимъ и будущимъ типамъ. То, что развошло въ эту сокровищницу, сохраняется тамъ навсегда, и сокровищница растетъ, хотя типы смѣняются и исчезаютъ. Человѣчество живетъ, постоянно пользуясь этими общими сокровищами, такъ что отвлеченно можно сказать, что жизнь человѣчества становится все богаче и богаче.

Вотъ въ какой области и какой прогрессъ признавалъ Н. Я. Данилевскій въ общемъ ходѣ исторіи.

Всѣмъ намъ очень хорошо извѣстно существованіе этихъ наслѣдственныхъ богатствъ, и всѣ мы знаемъ, какая разница между этимъ общечеловѣческимъ достоинствомъ и тѣмъ имуществомъ, которое принадлежитъ намъ, какъ членамъ особаго культурнаго типа. Носители нашей родной культуры суть живые люди, которые насъ родили и воспитали, среди которыхъ мы живемъ и дѣйствуемъ. Общая же сокровищница не имѣетъ живыхъ носителей въ точномъ смыслѣ слова; она хранится въ книгахъ и всякаго рода памятникахъ, равно всѣмъ доступныхъ и дорогихъ, но и равно всѣмъ чуждыхъ, ни съ кѣмъ прямо не связанныхъ. Разница всего яснѣе на отношеніяхъ, въ которыхъ, напримѣръ, мы стоимъ къ нашему родному языку и родной литературѣ и къ какой-нибудь древней письменности, латинской, греческой. Для образованія нашего ума и чувства, для пониманія поэзіи и красоты человѣческой рѣчи, Пушкинъ и Гоголь служатъ намъ больше, чѣмъ Гомеръ и Виргилій, какія бы усилія мы ни дѣлали, чтобы усвоить себѣ эти творенія отжившихъ народовъ. Да мы хорошо знаемъ, что и богатства общей сокровищницы всего больше доступны именно тому, кто умѣетъ вполне владѣть и наслаждаться своими родовыми богатствами.

Но, съ другой стороны, существованіе общей сокровищницы есть великое благо, которымъ хотя отчасти восполняется всегдашняя ограниченность и слабость человѣческихъ силъ. „Для человѣчества“, пишетъ Н. Я. Данилевскій, „какъ для коллективнаго и все-таки конечнаго существа—нѣтъ другаго назначенія, другой задачи, кромѣ разновременнаго и разномѣстнаго (т. е. разно-

„племеннаго) выраженія разнообразныхъ сторонъ и направленій жизненной дѣятельности, лежащихъ въ его идеѣ и „часто несовмѣстимыхъ какъ въ одномъ человѣкѣ, такъ „и въ одномъ культурно-историческомъ типѣ развитія“ (стр. 124).

Не можетъ никакой человѣкъ быть всестороннимъ, совмѣщать въ себѣ всѣ направленія человѣческой дѣятельности; такъ точно и тѣ огромныя скопленія людей, которыя соединены культурною связью, хотя расширяютъ и углубляютъ свою дѣятельность въ теченіе множества поколѣній, хотя, въ силу этого, въ такихъ скопленіяхъ развитіе человѣческой души достигаетъ высшей степени, но и они никогда не представляютъ всесторонности, и ихъ культура запечатлѣна нѣкоторымъ органическимъ своеобразиемъ. Поэтому люди спохватились и стали собирать общую сокровищницу, въ которой сохранялось бы все, чѣмъ они могутъ владѣть, но чего сами добыть не въ состояніи. Стали хранить и изучать исторію, стали печатать и изучать книги минувшихъ культурныхъ типовъ, построили архивы и музеи для всякаго рода памятниковъ. Въ людяхъ живетъ всеобъемлющее духовное начало, и потому человѣчество постоянно борется съ своею ограниченностью и съ разрушительною силою времени. Наша сокровищница уже очень обильна и содержитъ величайшія драгоцѣнности.

Но какое значеніе она имѣетъ въ дѣйствительной жизни народовъ? Хотя она всѣмъ открыта и, въ силу своей идеи, должна содержать все общечеловѣческое, оказывается, что пользоваться ею очень трудно. „Наши библіотеки“, писалъ Сен-Симонъ, „эти собранія всевозможныхъ заблужденій, противорѣчій и нелѣпостей“, — и онъ правъ: бережно сохраняются въ нашихъ библіоте-

кахъ всевозможныя заблужденія, противорѣчія и недѣлности въ тысячекратно большемъ количествѣ, чѣмъ истина, и безъ живыхъ руководителей безмѣрно трудно было-бы найти ее въ однѣхъ мертвыхъ книгахъ. Одинъ изъ крымскихъ хановъ (если не ошибаюсь, послѣдній), для просвѣщенія своего народа желалъ, чтобы была переведена на татарскій языкъ энциклопедія Дидро и Даламбера. Не великое бы вышло просвѣщеніе!

Мы знаемъ, что всего легче заимствуется изъ общей сокровищницы: печатные станки, желѣзныя дороги, телеграфы и пр. Но знаемъ, что во всемъ этомъ еще не заключается образованіе. Оказывается, что для того, чтобы народъ могъ пользоваться сокровищницей человѣчества, онъ долженъ уже до извѣстной степени развить свою собственную культуру, совершенно такъ, какъ, для перевода геніальнаго поэта на другой языкъ, нужно, чтобы этотъ былъ языкъ уже богатый и гибкій.

VII.

Религія и наука.

Послѣ того, что сейчасъ сказано, для читателя, конечно, не можетъ быть никакихъ сомнѣній и неясностей въ вопросѣ, какъ понималъ Н. Я. Данилевскій отношеніе науки и религіи къ народному и къ общечеловѣческому. Наука, какъ дѣло, по самому существу своему, совершенно отвлеченное, должна цѣликомъ поступать въ общую сокровищницу человѣчества. Значеніе народности можетъ здѣсь состоять только въ томъ, что

въ многосложномъ и многотрудномъ дѣлѣ науки одна народность болѣе способна производить одну работу, а другая другую, почему и необходимо для успѣховъ науки, чтобы различныя народности содѣйствовали постройкѣ общаго зданія. Религія, по тому понятію, до котораго давно уже возвысилось человѣческое сознаніе, есть также нѣчто универсальное, долженствующее имѣть силу для всѣхъ людей одинаково. Такъ смотримъ на религію не только мы, христіане, но также смотрятъ и буддисты, и магометане. Совершенно несправедливо Ренанъ недавно упрекалъ покойнаго императора Вильгельма за привычку говорить: *нашъ Богъ*. Ренанъ выводитъ изъ этихъ словъ, что императоръ признавалъ особаго „Бога нѣмцевъ“ *). Но подобная мысль объ особомъ Богѣ давно уже стала для людей вовсе невозможною; *нашъ Богъ* значить просто—тотъ Богъ, котораго мы безусловно исповѣдуемъ, которому всецѣло предаемъ себя, но который есть единый истинный Богъ, и если не всѣми еще признается, то долженъ быть признаваемъ всѣми людьми. Можетъ существовать мѣстная церковь, но мѣстная религія есть для насъ уже *contradictio in adjecto*.

Между тѣмъ, г. Соловьевъ, упорно закрывая глаза на эту правильную и вполне очевидную постановку дѣла, наставилъ въ своей статьѣ множество возраженій Н. Я. Данилевскому, въ сущности не нуждающихся ни въ какомъ опроверженіи. Напримѣръ:

„Индія, несмотря на то, что она относится къ уединеннымъ типамъ, передала высшее выраженіе своей духовной культуры—буддизмъ—множеству народовъ совершенно другаго племени и другаго типа, передала не какъ матеріаль

*) Histoire du peuple d'Israel, t. I, p. 264.

только, не какъ „почвенное удобрѣніе“, а какъ верховное опредѣляющее начало ихъ цивилизаціи. Не даромъ нашъ авторъ во всѣхъ своихъ разсужденіяхъ такъ тщательно умалчиваетъ о буддизмѣ: это огромное всемірно-историческое явленіе никакъ не можетъ найти мѣста въ „естественной системѣ“ исторіи. Религія — индійская по своему происхожденію, но съ универсальнымъ содержаніемъ и не только вышедшая за предѣлы индійскаго культурно-историческаго типа, но почти совсѣмъ исчезнувшая изъ Индіи, — за то глубоко и всесторонне усвоенная народами монгольской расы, *не имѣющими въ другихъ отношеніяхъ ничего общаго съ индусами*, — религія, которая создала, какъ свое средоточіе, такую своеобразную мѣстную культуру, какъ тибетская, и, однакоже, сохранила свой универсальный международный характеръ и исповѣдуется пятью или шестьюстами милліоновъ людей, разсѣянныхъ отъ Цейлона до Сибири и отъ Непала до Калифорніи — вотъ колоссальное фактическое опроверженіе всей теоріи Данилевскаго; ибо нѣтъ никакой возможности ни отрицать великой культурно-исторической важности буддизма, ни приурочить его къ какому-нибудь отдѣльному племени или типу“ (стр. 167, 168.)

Да кто же васъ просилъ приурочивать? Развѣ Данилевскій когда-нибудь училъ, что каждый типъ долженъ имѣть свою религію? При томъ, истинное отношеніе вещей какъ нельзя яснѣе выступаетъ въ томъ самомъ очеркѣ судьбы буддизма, который сдѣланъ г. Соловьевымъ. Несмотря на „великую культурно-историческую важность“ этой религіи, она распространилась по народамъ, которые „въ другихъ отношеніяхъ не имѣютъ ничего общаго“ между собою; т. е. культурные типы продолжаютъ существовать, несмотря на общую религію. Вотъ „колоссальное фактическое“ доказательство правды Данилевскаго. Г. Соловьевъ самъ не замѣчаетъ, что, когда онъ хочетъ выставить на видъ внутреннюю *силу* буддистской религіи, то приписываетъ ей „великую куль-

турно-историческую важность“, называетъ ее „верховнымъ опредѣляющимъ началомъ цивилизаціи“, когда же дѣло коснется ея *универсальности*, то онъ начинаетъ упираться на полное различіе народовъ, на „своеобразныя мѣстныя культуры“. Странное неумѣнье справиться съ очень простыми отношеніями понятій! Еслибы г. Соловьевъ догадался, что ему нужно уяснить себѣ отношеніе культуры и религіи, о чемъ онъ ни слова не говоритъ, и что нѣтъ ни малѣйшей надобности ни отрицать значеніе религіи изъ-за культурныхъ типовъ, ни жертвовать культурными типами изъ-за религіи, то всѣ его недоумѣнія разомъ бы исчезли, и онъ вполне согласился бы съ Данилевскимъ.

Въ судьбахъ буддизма особенно интересенъ фактъ, что онъ почти исчезъ въ самой Индіи, его породившей. Не то же ли мы видимъ въ христіанствѣ, не удержавшемся въ той еврейской культурѣ, которая была его первоначальною почвою? Такова сила особой культуры, ея неизбежная ограниченность; другіе типы должны бывать принять на себя дѣло, которое превышаетъ жизненный захватъ первоначальной культуры. Къ доказательствамъ неодолимой силы типоваго культурнаго развитія слѣдуетъ отнести и то своеобразие, которое накладывается различными типами на общую имъ религію.

Что касается до науки, то, повидимому, тутъ нѣтъ и повода къ сомнѣніямъ и недоумѣніямъ. Христіанство есть единая истинная религія; но и буддизмъ и магометанство имѣютъ притязаніе на такой же характеръ универсальности. Наука же одна для всего земнаго шара, и человѣкъ, столь глубоко, можно сказать страстно, преданный наукѣ, какъ Н. Я. Данилевскій, не могъ не понимать этой ея существенной черты. Между тѣмъ г. Со-

ловьевъ преспокойно приписалъ ему дивое и даже неудобопонятное мнѣніе, что между различными науками одна принадлежитъ одному типу, другая другому и т. д., и потомъ пространно потѣшается доказательствами, какъ это нелѣпо. Свои разсужденія объ наукѣ г. Соловьевъ прямо начинаетъ такъ:

„Позволительно, прежде всего, спросить: къ какому культурно-историческому типу, къ какой *мѣстной* цивилизаціи должно приурочить ту науку, или ту совокупность наукъ, о которой такъ хорошо разсуждаетъ нашъ авторъ?“

Нѣтъ, г. Соловьевъ, это вовсе не „позволительно прежде всего“. Ни прежде, ни послѣ нельзя предлагать вопроса, къ которому разбираемый авторъ не подавалъ никакого повода. Между тѣмъ нашъ критикъ распространяется:

„Древній грекъ (Гиппархъ) создаетъ искусственную систему для астрономіи, славянинъ (Коперникъ) возводитъ эту науку на степень естественной системы, нѣмецъ (Кеплеръ) опираясь на систему своего предшественника поляка, доходитъ до частныхъ эмпирическихъ законовъ въ астрономіи, а англичанинъ (Ньютонъ), продолжая ихъ труды, возвышается, наконецъ, до общаго раціональнаго закона. Къ какому же культурно-историческому типу все это относится?“ (стр. 188, 189).

Странная логика! Именно изъ того, что успѣхи астрономіи потребовали участія различныхъ народовъ и даже различныхъ культурно-историческихъ типовъ, именно изъ этого и выходитъ подтвержденіе мысли Данилевскаго, что для прогресса человѣчества необходимо это разнообразіе и особое развитіе большихъ человѣческихъ группъ. Съ необыкновеннымъ остроуміемъ Данилевскій старался даже показать, какой народъ представляетъ особенную

способность къ извѣстнымъ научнымъ задачамъ, и какой другой къ другимъ. Но и вообще, отвлеченно, мы имѣемъ право утверждать, что безъ поляка можетъ быть долго еще не была бы найдена истинная система міра, безъ нѣмца—ея эмпирическіе законы, безъ англичанина—ея общій законъ. По какой же логикѣ можно вывести изъ этихъ фактовъ, что типы не имѣютъ никакого значенія для науки, потому-де, что одна и та же наука никакъ не развивается въ одномъ лишь типѣ?

Для насъ просто непостижима та развязность, съ которою г. Соловьевъ навязываетъ Данилевскому мнѣніе, что науки должны быть раздѣлены по типамъ. Возьмемъ одно мѣсто:

„Нашъ авторъ, настаивающій на національномъ характерѣ науки и совершенно забывшій при этомъ о своихъ культурно-историческихъ типахъ, не придаетъ никакого яснаго и опредѣленнаго смысла своимъ надеждамъ на „самобытную славянскую науку“.

Видите ли, какое прекрасное объясненіе! У Данилевскаго совсѣмъ выскочили изъ головы его культурно-историческіе типы—какъ это правдоподобно! Вотъ отчего и вышли у него „неясныя и неопредѣленныя“ сужденія о славянской наукѣ, которыя уяснить въ его духѣ г. Соловьевъ считаетъ теперь долгомъ. Онъ продолжаетъ:

„Ожидать отъ славянства, т. е. прежде всего отъ Россіи, дѣятельнаго и самостоятельнаго участія въ развитіи „романо-германской“ науки было бы, конечно, несогласно съ общимъ воззрѣніемъ нашего автора, но не заключало бы въ себѣ никакой внутренней невозможности“ (стр. 757).

Надѣмся, нѣтъ нужды доказывать, какъ нелѣпы подобныя соображенія о взглядахъ Данилевскаго. Мы только замѣтимъ по случаю этихъ толковъ о наукѣ, что, вообще, статья г. Соловьева должна несомнѣнно послужить под-

держкою того мнѣнія о славянофилахъ, которое въ большомъ ходу въ публикѣ и не разъ излагалось на страницахъ *Вѣстника Европы*, а именно, что славянофилы — самодовольные, хвастливые патріоты, что они противники прогресса, свободы и европейскаго просвѣщенія, приверженцы „исключительнаго націонализма“, отвергають „лучшіе завѣты“ современной науки, поклонники китаищины и застоя. Нельзя сказать, чтобы все это доказывалось въ статьѣ г. Соловьева, но именно въ эту сторону влоняются его возраженія противъ Данилевскаго, и онъ хорошо зналъ, что въ такомъ смыслѣ онъ будетъ понятъ многими усердными почитателями *Вѣстника Европы*. Такимъ образомъ, при томъ положеніи дѣлъ, которое господствуетъ въ нашей литературѣ, мы думаемъ, что статья его уже не просто статья, а нѣкоторый поступокъ. Чѣмъ бы онъ при этомъ ни руководился, мы можемъ развѣ только пожалѣть его, но никакъ не одобрить.

VIII.

Научная самобытность.

Для чего г. Соловьевъ включилъ въ свое разсужденіе замѣчанія на книги: *Дарвинизмъ, Борьба съ Западомъ, О вѣчныхъ истинахъ*? Мы вовсе не думаемъ тутъ о какихъ-нибудь „высшихъ нравственныхъ требованіяхъ“, а просто хотимъ только спросить, какую тему онъ желалъ доказать своими замѣчаніями?

Онъ, видите-ли, думаетъ, что подъ „самобытною славянскою наукой“ нужно, „согласно основному воззрѣнію

„*Россіи и Европы*, разумѣть особый, небывалый доселѣ „типъ науки, существенно отличный отъ европейскаго“ (стр. 194), а потому и принялся искать этого „небывалаго типа“ въ названныхъ книгахъ, авторы которыхъ будто бы заявляли стремленіе къ такому „вполнѣ самобытному научному творчеству“.

Можно бы подумать, что г. Соловьевъ пишетъ все это на смѣхъ, что онъ только шутитъ надъ дикою претензіей создать нѣчто совершенно невозможное, шутитъ, не замѣчая, что эту претензію онъ самъ же и выдумалъ. Какимъ образомъ онъ могъ бы отыскивать небывалый типъ науки? Подъ такое понятіе могутъ подойти развѣ только какія-нибудь нелѣпости, которыя, какъ извѣстно, до того разнообразны, что бываютъ свои собственные даже у отдѣльныхъ людей.

Но нашъ критикъ не шутитъ, или, лучше сказать, у него такъ сплетаются мысли, что онъ и самъ не разберетъ, гдѣ онъ шутитъ и гдѣ говоритъ серьезно. Насмѣшка надъ „существенно новымъ типомъ науки“ перешла вдругъ въ очень простое и всѣмъ извѣстное требованіе—самостоятельности въ научныхъ изслѣдованіяхъ. Вотъ какъ г. Соловьевъ излагаетъ это требованіе относительно книги *Дарвинизмъ*:

„Все позволяло ожидать, что русскій и притомъ славянофильскій критикъ (значитъ искатель небывалаго типа?) не ограничится однимъ отрицательнымъ разборомъ, а противопоставитъ англійской теоріи столь же „глубокое (глубокое?), но болѣе вѣрное и многостороннее „(по крайней мѣрѣ, съ его собственной точки зрѣнія) „рѣшеніе этой міровой задачи, и притомъ рѣшеніе, ярко „запечатлѣнное русскою духовною особенностью. Конечно, „и такой трудъ не основалъ бы еще самобытной славян-

„свой науки (т. е. *небывалаго типа*), но все-таки нѣчто „было бы сдѣлано (*для какого же типа?*), и наша научная самобытность не представлялась бы уже такою „пустою и смѣшною претензіею“ (стр. 196).

Этотъ потокъ словъ, вѣроятно оглушающій самого ихъ автора, сводится, какъ видитъ читатель, къ простой мысли, что *Дарвинизмъ* исполнилъ только „отрицательную“ задачу, а потому не есть доказательство научной самобытности. Положимъ, пока, что такое разсужденіе вѣрно; но развѣ у насъ одинъ Данилевскій? Если требуются непременно положительные труды, не критика, а созиданіе, то развѣ у насъ мало найдется этихъ доказательствъ научной самобытности? Наши математики, химики, зоологи, фізіологи, оріенталисты, византисты, слависты—уже извѣстны цѣлому міру, уже внесли и вносятъ въ общую сокровищницу вклады самаго высокаго достоинства. Какъ же послѣ этого смѣетъ г. Соловьевъ говорить, что „наша научная самобытность представляется такою пустою и смѣшною претензіей“?

Но и возраженіе противъ *Дарвинизма*, что это лишь критика и что тутъ нѣтъ новой теоріи, — конечно, неосновательно. Какой ученый можетъ согласиться съ тѣмъ, что отрицательная работа не имѣетъ научной важности? Правильное отрицаніе должно вѣдь опираться на чемъ-нибудь положительномъ, и всякое опредѣленное отрицаніе даетъ въ выводѣ опредѣленное положеніе. И развѣ „новая теорія“ была бы непременно чѣмъ-нибудь истинно новымъ? Вѣдь такъ могутъ судить только поверхностные люди, не отличающіе названія отъ сущности. Скажемъ прямо, еслибы Н. Я. Данилевскій пустился создавать теорію происхожденія видовъ, какъ создавали ее Демаллье, Ламаркъ, Дарвинъ, Спенсеръ, Негели и пр., то тутъ-то

онъ и обнаружилъ бы истинное отсутствіе самостоятельности. Мы видимъ, напротивъ, его великую оригинальность въ той трезвости и вполнѣ славянской ясности ума, по которой никакіе соблазны не могли увлечь его на ложный путь. Вѣдь всѣ эти теоріи—суть плодъ того матеріалистическаго броженія умовъ, которое такъ сильно въ Европѣ и составляетъ, конечно, нѣкоторую болѣзнь европейской науки.

Г. Соловьевъ самъ почувствовалъ, что указать на отрицательный характеръ *Дарвинизма* еще не достаточно для осужденія этой книги, а потому постарался и еще подбавить доказательствъ для своей цѣли. Признавая полную компетентность автора въ дѣлѣ, и находя, что онъ „превосходно разбираетъ чужія научныя идеи“, г. Соловьевъ, однако, такъ опредѣляетъ сущность этой книги:

„Это есть, вообще говоря, самый полный, самый обстоятельный и прекрасно изложенный сводъ всѣхъ существенныхъ возраженій, сдѣланныхъ противъ теоріи Дарвина *въ европейской наукѣ* (подчеркнулъ)“ (стр. 197).

Ну такъ бы вы и говорили! Тогда не нужно было бы и никакихъ вашихъ разводовъ. Если Данилевскій есть просто компиляторъ чужихъ возраженій, то нечего тутъ и разсуждать объ немъ.

Читатели, если помнятъ мою статью *Вседашняя ошибка дарвинистовъ* (Русск. Вѣстн. 1887, ноябрь и дек.), знаютъ что я совершенно другаго мнѣнія, что я нахожу великую оригинальность въ трудѣ Н. Я. Данилевскаго. Не стану здѣсь повторять своихъ доказательствъ, а скажу только, что г. Соловьевъ, хорошо зная свою

некомпетентность въ этомъ дѣлѣ *), рѣшился однако произнести свое сужденіе о компилятивномъ свойствѣ этого труда, не ради истины, а только чтобы набросить тѣнь на заслуги автора и въ томъ расчетѣ, что подобныя чисто-отрицательныя сужденія трудно опровергаются.

Мы и не станемъ опровергать. Положеніе дѣла теперь такое: въ европейской наукѣ сдѣланы будто бы всѣ возраженія, какія есть у Данилевскаго; между тѣмъ Дарвинова теорія господствуетъ въ Европѣ. Въ Россіи же эта теорія уже потеряла право на существованіе, ибо русскій ученый можетъ только по упорству или несообразительности обойти или не понять книгу Н. Я. Данилевскаго, а эта книга вполне опровергаетъ теорію Дарвина.

Понадобилась г. Соловьеву и моя книга *О вѣчныхъ истинахъ*; онъ въ ней увидѣлъ самое легкое средство доказать, что у меня нѣтъ никакой „самобытности“. Именно, онъ утверждаетъ, что я тутъ держусь „механическаго міровоззрѣнія“, то есть просто матеріализма, и значитъ, „являюсь не только западникомъ, но еще западникомъ крайнимъ и одностороннимъ“ (стр. 763).

Откуда же это? А изъ того, что я опровергалъ спиритизмъ и настаивалъ на непреложности физическихъ истинъ. Опять скажу, только на смѣхъ можно говорить подобныя вещи; но г. Соловьевъ говоритъ совершенно серьезно. Разсужденіе его чрезвычайно просто:

*) Подробное сравненіе книги Н. Я. Данилевскаго съ тѣмъ, что сдѣлано въ европейской наукѣ, было бы огромнымъ трудомъ, который не только никѣмъ не сдѣланъ, но можетъ быть и не будетъ никогда вполне сдѣланъ, такъ какъ это работа чисто-историческая, къ которой мало расположены натуралисты. Въ моихъ статьяхъ указываются только общія черты, общія отношенія. Подробный разборъ, конечно, долженъ только яснѣе показать самобытныя достоинства *Дарвинизма*.

„Маятникъ качается по строго-опредѣленнымъ законамъ механики; но признавать далѣе, что и остановленъ, и приведенъ въ движеніе маятникъ можетъ быть исключительно только механическою причиною—значить изъ области научной механики переступать на почву той умозрительной системы, для которой...“ и пр.—словомъ—матеріализма (стр. 763).

Боже мой! Какое убожество діалектики! Какое неумѣнье установить ясно хоть единое понятіе! Мнѣ такъ и хочется тѣ слова Rabanus Maugus'a, которыя г. Соловьевъ язвительно примѣняетъ вообще къ русской философіи, примѣнить къ его собственному разсужденію; оно „есть нѣчто столь скудное, пустое и безобразное, что нельзя достаточно пролить слезъ надъ такимъ присворбнымъ состояніемъ“.

Въ самомъ дѣлѣ, „маятникъ качается по строго-опредѣленнымъ законамъ механики“—вотъ гдѣ эти законы непреложны; пока онъ качается, онъ имъ подчиненъ „исключительно“. Между тѣмъ, остановить его или привести въ движеніе можно, будто-бы, и вопреки этимъ законамъ, какою-нибудь „не-механическою“ причиною. Но, какая же разница? Вѣдь качаніе, и остановка, и приведеніе въ движеніе—вѣдь всѣ эти три случая суть равно механическія явленія, *явленія движенія*; научная механика и не дѣлаетъ между ними никакого различія. Если спиритическіе духи, по г. Соловьеву, могутъ остановить маятникъ или привести его въ движеніе, то они могутъ измѣнять по-своему и его качаніе; если же они надъ качаніемъ безсильны и тутъ дѣйствуетъ непреложный законъ, то они не въ силахъ и начать, и остановить это движеніе. Вотъ почему физики съ такимъ веноволебимымъ упорствомъ утверждаютъ, что на спиритическихъ сеансахъ всякія вещи приводятся въ движеніе и

останавливаются не духами, а руками и ногами живых людей, т. е. тѣломъ, матеріею.

Съ необычайной наивностію г. Соловьевъ повторилъ самое ходячее заблужденіе, которому поддаются спириты и вообще всѣ, незнакомые съ началами механики; онъ не уяснилъ себѣ *перваго* ея закона, закона *инерціи*, по которому движеніе и покой суть нѣчто равно сохраняющееся, и измѣненія того и другаго происходятъ отъ одинаковыхъ причинъ и имѣютъ одинаковую сущность.

Съ полнымъ правомъ мнѣ можно бы здѣсь уличать г. Соловьева не только въ незнаніи самыхъ основаній физики, но также въ непониманіи великихъ философскихъ ученій Декарта и Лейбница, ученій положившихъ навсегда правильную границу между духомъ и веществомъ. Но перейду лучше прямо къ заключенію и скажу вообще, что истинно печально видѣть такое состояніе понятій, какъ у г. Соловьева, состояніе совершенно однородное съ тѣмъ, какое господствуетъ у спиритовъ и которымъ порожденъ самый спиритизмъ. Очевидно, духъ представляется просто въ видѣ тонко-матеріальнаго, но одушевленнаго существа, которое сидитъ въ нашемъ тѣлѣ, какъ въ мѣшкѣ, или гуляетъ на свободѣ безъ этого мѣшка. Печально здѣсь то, что такимъ образомъ искажается и теряется *истинное понятіе о духѣ*, то понятіе, которое одно способно насъ руководить, спасать и животворить въ нашихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ. Г. Соловьевъ называетъ меня матеріалистомъ; между тѣмъ все, что я писалъ по этому предмету, было направлено именно къ выясненію истиннаго понятія о духѣ. Три моихъ книги— *Міръ какъ цѣлое*, *Объ основныхъ понятіяхъ психологии и физиологии* и *О вѣчныхъ истинахъ*, можно сказать, всѣ написаны на эту тему; въ нихъ я старался о томъ, чтобы,

установивши точнѣе понятія о веществѣ, о вещественномъ мірѣ, показать полнѣйшую противоположность вещества духу и очистить самое понятіе духа отъ малѣйшей примѣси матеріалистическихъ представленій. Вотъ почему я и воевалъ съ спиритизмомъ, который есть ничто иное, какъ грубѣйшее овеществленіе духовныхъ явленій, почему онъ и нашелъ себѣ поддержку у натуралистовъ, давно чуждающихся всякаго философскаго образованія.

Г. Соловьеву извѣстны мои три книги; но теперь мнѣ ясно, что онъ главнаго въ нихъ и не могъ понять, несмотря на свои занятія философіею. Онъ заявляетъ, что не нашелъ у меня нисколько научной самобытности. Ну что жъ дѣлать? Если кто говоритъ: „не вижу“, „не понимаю“, „не нахожу“, то онъ, значитъ, признаетъ себя за судью, на котораго уже нѣтъ апелляціи.

Книга *Борьба съ Западомъ*, если судить по отзыву г. Соловьева, не представляетъ какихъ-нибудь недостатковъ, но за то и не имѣетъ никакихъ достоинствъ. Удивительная книга! Мнѣ вовсе не приходится и въ мысли защищать свою книгу отъ такого сужденія; оно для того и сказано голословно и безсодержательно, чтобы отъ него нельзя было защищаться. Но при этомъ г. Соловьевъ дѣлаетъ мнѣ упрекъ, о которомъ скажу нѣсколько словъ. Онъ насмѣшливо предполагаетъ, что у меня есть особое знамя, „восточное“, на которомъ что-то написано, и упрекаетъ меня, зачѣмъ я не развернулъ этого знамени въ своей *Борьбѣ*. Такіе и подобные упреки мнѣ приходится уже давно и часто слышать. Въ этомъ отношеніи я даже совершенно несчастный человѣкъ. Объ чемъ бы я ни заговорилъ и какъ бы ни старался быть яснымъ и занимательнымъ, есть множество читателей, которые не хотятъ ничего слушать, нисколько не интересуются

моими разсужденіями, а сейчасъ же пристають ко мнѣ: „да вы кто такой? выкиньте ваше знамя! *). Это приводитъ меня въ отчаяніе. Ну какое имъ дѣло до меня, и почему они не занимаются предметомъ, о которомъ я говорю? Вотъ и теперь, г. Соловьевъ, который самъ такъ часто и съ такимъ успѣхомъ развертывалъ разныя знамена, требуетъ отъ меня тоже знамени, если я желаю, чтобъ онъ удостоилъ вниманіемъ мои мысли. Нужно мнѣ, наконецъ, объясниться.

Скажу откровенно: я вовсе не умѣю выкидывать знамена, вовсе не способенъ къ этому. Да кромѣ того, я считаю это выкидываніе часто бесполезнымъ, а большею частію превреднымъ дѣломъ. Говорятъ: толчекъ, даваемый умамъ, возбужденіе сознанія. Согласенъ, что это можетъ быть полезно; но каковы обыкновенные результаты? Обыкновенно и тотъ, кто поднялъ знамя, и тѣ, кто обратилъ взоръ на это знамя, пускаются въ неистовое словоизліяніе. Обыкновенно прекращается всякая работа мысли, всякій трудъ доказательства и уясненія предмета, а наступаетъ лишь безконечное повтореніе одного и того же и верченье на одномъ и томъ же мѣстѣ. Люди, которымъ понравилось знамя, чаще всего думаютъ, что кромѣ этого сочувствія отъ нихъ ничего

*) Недавно г. Модестовъ очень жалѣлъ, что никакъ не можетъ дать мнѣ опредѣленной клички. «Пантенствъ ли онъ», говоритъ обо мнѣ г. Модестовъ, «действъ ли, исповѣдуетъ ли онъ положительную религію, матеріалиствъ ли онъ, идеалиствъ ли онъ, либералъ ли онъ, консерваторъ ли онъ, — однимъ словомъ, кто г. Страховъ въ области философіи и политикѣ, для меня оставалось и до сихъ поръ остается неизвѣстнымъ» (Новости, 1887, 20 окт.). Какое, по истинѣ, праздное любопытство и какое обидное невниманіе! Г. Модестовъ наготовилъ много разныхъ кличекъ и занять вопросомъ, въ какую меня посадить. Въ цѣломъ фельетонѣ, онъ только объ этомъ и говоритъ и, къ моему огорченію, вовсе не коснулся вопросовъ, которымъ посвящена моя книга.

больше не требуется, и поднимаютъ крикъ и гамъ, какъ будто въ крикъ все дѣло. И такимъ образомъ, мысль, которая могла бы созрѣть и развиться, остается у самого автора на степени одной краснорѣчивой выходки, а у послѣдователей искажается, истрепливается, опопляется на тысячу ладовъ и, наконецъ, всѣмъ надоѣдаетъ. Тогда публика начинаетъ съ тоской посматривать, не выкинулъ ли кто новаго знамени, и снова начинается шумъ, и снова та же исторія безплоднаго броженія мыслей и непомѣрнаго словоизверженія. Такъ идетъ почти все наше литературное и умственное движеніе — порядковъ печальный и жалкій, которому слѣдуетъ противодействовать всѣми силами.

Вотъ почему я не очень огорчаюсь своимъ неумѣньемъ выкидывать и развертывать знамена.

Впрочемъ, что жъ я? Вѣдь и я какими-то судьбами выкинулъ знамя, именно то, на которомъ написанъ девизъ: *борьба съ Западомъ*. Но съ моимъ знаменемъ случилась престранная исторія. Сколько могу судить, множество читателей поняли, что я хочу сказать, вѣроятно, потому, что подъ знаменемъ находились два томика опытовъ, стремившихся показать приложеніе девиза къ дѣлу. Но за то писатели, какъ оказалось, никакъ не могутъ уразумѣть моей мысли и моего желанія, и такъ упорны въ своемъ непониманіи, какъ бываютъ только люди, твердо рѣшившіеся не понимать. Г. Модестовъ пишетъ, что не можетъ себѣ и представить такого происшествія, какъ борьба съ Западомъ. И г. Соловьевъ говоритъ: „все-таки борьбы съ Западомъ мы не видимъ“. А доказательство слѣдующее: „Авторъ „Борьбы“ въ сущности не говоритъ ничего такого, чего бы не могъ сказать любой толковый европеецъ“ (стр. 200.).

Ну что жъ? Поворно благодарю и за это. Мнѣ и это годится. Мнѣ именно хотѣлось, чтобы русскіе люди были хоть столько же самостоятельны въ своихъ сужденіяхъ, какъ „любые толковые европейцы“, а еще лучше, если бы они поравнялись даже съ самыми толковыми европейцами, если бы они судили о разныхъ явленіяхъ Запада съ полною свободою ума, безъ того постыднаго подобострастія и преклоненія передъ Европою, которое вызвало у поэта выраженіе:

Не слуги просвѣщенья, а холопы!

и которое отзывается на сей разъ и въ статьѣ г. Соловьева.

Очень громки эти слова: *борьба съ Западомъ*, но смыслъ ихъ, какъ знаютъ читатели, очень скромный. Они выражаютъ желаніе труда, твердой умственной работы, при которой одной невозможно рабство передъ авторитетомъ. Проповѣдуется не отрицаніе авторитетовъ, а ихъ точная и правильная критика, требующая самостоятельной работы мысли.

Пусть мои собственныя попытки слабы и маловажны, какъ того желаетъ г. Соловьевъ; но я стою не за нихъ, а за свое знамя, и такъ какъ оно зоветъ къ строгому размышленію и труду, то мнѣ можно, кажется, не бояться ответственности за то, что я распустилъ это знамя.

Будьте свободны духомъ, и дадутся вамъ всѣ умственныя блага и успѣхи! Возможно ли не видѣть, какъ рабство передъ умственнымъ міромъ Европы подавляетъ наши силы? Если статья г. Соловьева на кого-нибудь подѣйствовала (не думаю, впрочемъ), то вліяніе ея должно быть только вредное. Греки говорили: *познай самого себя*, а намъ, кажется, всего больше нужно твердить: *будь*

самимъ собою! Изъ тщеславія, изъ слабости, изъ самолюбія мы тянемся за Европою, принимаемъ на себя всякіе чужіе виды, исповѣдуемъ всякія чужія мысли и чувства и, предаваясь горячо и спѣшно такому самоусовершенію, забываемъ и заглушаемъ то, что одно имѣетъ цѣну въ мірѣ духовной дѣятельности—собственную мысль, собственное чувство. Между тѣмъ, если мы только будемъ сами собою, если только научимся искусству стоять на своихъ ногахъ, то, что бы мы ни писали, стихи или критику, ученую диссертацию или шутливый фельетонъ,—на всемъ будетъ лежать яркая печать самобытнаго русскаго ума и чувства. Таковъ законъ человѣческой души, таковъ законъ жизни, которая проявляетъ силу своего творчества лишь въ опредѣленныхъ формахъ, слѣдовательно въ своеобразныхъ.

IX.

Упреки и сомнѣнія.

Славянофилы никогда не были оптимистами въ сужденіяхъ о русскомъ просвѣщеніи. Напротивъ, они очень строго судили о нашей литературѣ, наукѣ, искусствѣ, иногда даже грѣшили по избытку строгости. У Хомякова, у И. Аксакова можно найти много самыхъ горькихъ упрековъ нашей культурѣ, ея зыбкости, фальшивости и внутреннему безсилію. Западники всегда были довольнѣе нашимъ просвѣщеніемъ, потому что требованія ихъ были очень просты и, можно сказать, плоски, число ихъ приверженцевъ было несравненно больше, и

всякая умственная дѣятельность въ духѣ западничества нарастала и распространялась съ каждымъ днемъ. Западники желали больше всего прогресса въ нашихъ общественныхъ порядкахъ, славянофилы же брали дѣло гораздо выше и полагали главное въ умственномъ переворотѣ, въ глубокомъ преобразованіи чувствъ и мыслей. Н. Я. Данилевскій въ этомъ смыслѣ былъ ничуть не доволенъ развитіемъ Россіи и посвятилъ этому вопросу особую главу: *Европейничанье—бользнь русской жизни*, главу, оставленную г. Соловьевымъ безъ всякаго вниманія.

И такъ, если западники считаютъ лучшимъ своимъ занятіемъ ежедневно въ газетахъ и журналахъ щеголять нѣкоторою скорбью, то напрасно они присвоиваютъ себѣ какую-то монополію на скорбь. Кто больше и истиннѣе любить, тому и приходится больше и истиннѣе не только радоваться, но и огорчаться, и приходитъ въ уныніе и боязнь. И какъ обидно бываетъ, когда эту скорбь и волненіе глубоко-любящаго человѣка поставятъ вдругъ на одну доску съ злорадными обличеніями человѣка равнодушнаго или даже ненавидящаго! Когда изъ словъ, относящихся къ частному случаю, или выражающихъ временное огорченіе, вдругъ, съ бездушною недобросовѣстностью, сдѣлаютъ какой-то общій приговоръ! Такія извращенія не рѣдкость у иностранныхъ писателей и газетчиковъ, которымъ нѣтъ дѣла до нашихъ чувствъ; можно сказать, что нѣчто подобное сдѣлалъ и г. Соловьевъ, когда въ концѣ своей статьи привелъ одно восклицаніе Данилевскаго и нѣсколько моихъ строкъ, какъ подтвержденіе своихъ сужденій. Г. Соловьевъ, мы надѣемся, чуждъ злорадства и ненависти, но его мнѣнія, какъ онъ самъ знаетъ, придутся по душѣ многимъ злорадникамъ и не-

навистникамъ, и нѣтъ никакого удовольствія вмѣстѣ съ нимъ служить для нихъ потѣхою.

Между тѣмъ, есть великая разница въ самомъ смыслѣ славянофильскихъ и западническихъ упрековъ, даже если бы они совпадали въ предметѣ осужденія. Извѣстно, что славянофилы видѣли въ Россіи нѣкоторое раздвоеніе, что они глубоко чтили духъ русскаго народа, живущій въ массѣ низшихъ сословій, и питали мало уваженія къ обьевропеевшейся части народа, которую Данилевскій такъ хорошо называлъ „внѣшнимъ вывѣтрившимся слоємъ“, покрывающимъ твердое ядро. Упреки славянофиловъ относятся именно къ этому слою, заправляющему у насъ почти вполнѣ и внѣшними, и внутренними дѣлами, но никакъ не ко всему народу, взятому въ его внутреннихъ силахъ и возможностяхъ. Вотъ и разгадка того противорѣчія, которое нашелъ г. Соловьевъ въ моихъ унылыхъ словахъ, сказанныхъ по случаю смерти Аксакова. „Онъ смущается“, пишетъ г. Соловьевъ обо мнѣ, „и унываетъ *только за насъ*, а само славянофильство остается для него въ своемъ прежнемъ ореолѣ“. И черезъ нѣсколько строкъ: „Онъ“ (все я же) „разсуждаетъ такъ: мы оказываемся духовно-слабыми и для всемирныхъ дѣлъ непригодными,—слѣдовательно, *намъ должно быть стыдно* передъ славянофилами, которые такъ на насъ уповали. Но не правильнѣе ли будетъ обернуть заключеніе: мы оказались духовно-слабыми и несостоятельными для великихъ дѣлъ *къ стыду славянофильства*, которое понапрасну и неосновательно надѣялось на наши мнимыя силы?“ (стр. 205.). Г. Соловьевъ хочетъ сказать, что я смущаюсь и унываю и стыжусь будто бы за весь русскій народъ; нѣтъ, онъ ошибся, къ такимъ чувствамъ я вовсе не расположенъ; я часто сму-

щаюсь и унываю и стыжусь, но *только за насъ въ тѣс-*
номъ смыслѣ, т. е. за себя съ г. Соловьевымъ, за наше
общество, за вѣтеръ въ головахъ нашихъ образованныхъ
людей и мыслителей, за то, что мы не исполняемъ обя-
занностей того положенія, которое занимаемъ, что мы
такъ неисцѣлимо тщеславны и легкомысленны, что мы
не любимъ труда и постоянства, а предпочитаемъ раз-
ливаться въ краснорѣчіи и только являться дѣятелями.
Много у меня предметовъ смущенія, унынія и стыда;
но за русскій народъ, за свою великую родину я не могу,
не умѣю смущаться, унывать и стыдиться. Стыдиться
Россіи? Сохрани насъ, Боже! Это было бы для меня
неизмѣримо ужаснѣе, чѣмъ если бы я долженъ былъ сты-
диться своего отца и своей матери. Иныя рѣчи г. Со-
ловьева объ Россіи кажутся мнѣ просто непочтитель-
ными, дерзкими. Вотъ какое у меня настроеніе чувствъ,
и вотъ почему я такъ уважаю славянофиловъ; по моему
мнѣнію, это самое настроеніе есть истинный корень сла-
вянофильства.

Не легко было богатырю Н. Я. Данилевскому, когда
онъ, читая въ своей книгѣ, что никакъ не можетъ ока-
заться, чтобы Россія была

Больной, разслабленный колоссъ,

черкнулъ на поляхъ: „Увы! начинается!“
Что онъ разумѣлъ подъ этимъ? и что бы онъ написалъ,
если бы ему довелось вполнѣ изложить свою мысль? Мо-
жетъ быть, эта замѣтка была сдѣлана послѣ печальныхъ
вѣстей о Берлинскомъ конгрессѣ. Но если такъ, то нѣтъ
нивакого сомнѣнія, что упрекъ здѣсь относился только
къ злополучному ходу нашей внѣшней политики, а не
къ русскому народу и его будущимъ судьбамъ. Послѣд-

ная наша война сама служить только яркимъ доказательствомъ того, какъ часто наши внѣшнія дѣла ничуть не соотвѣтствуютъ исполинской душевной мощи нашего народа. Г. Соловьевъ съ видимымъ удовольствіемъ признаетъ въ замѣткѣ Данилевскаго будто бы согласіе съ своими мыслями, извлеченное изъ опыта, и, слѣдовательно, полагаетъ, что Россія дѣйствительно „больной, разслабленный колосъ“. Но не то говоритъ чувство тѣхъ, кто никогда не отдѣлялъ себя отъ родины. Много болѣзней точатъ безмѣрное тѣло Россіи; но, не смотря на то, чувство душевной бодрости, молодой свѣжести и отваги, неисчерпаемаго избытка жизни и здоровья, съ такою силою разлито по этому колоссу, безопасно растущему и безопасно проживающему день за днемъ, годъ за годомъ, что всѣ мы невольно сознаемъ это стихійное богатырство, и сомнѣніе въ немъ готовы считать за признакъ „больныхъ, разслабленныхъ“ людей, которыхъ гдѣ же не бываетъ. Данилевскій, который не только живо чувствовалъ въ себѣ это здоровье, но умѣлъ привести себѣ въ сознанію самый духъ и судьбу своего народа и даже облекъ это сознаніе въ научныя формы, — нѣтъ, Данилевскій не могъ изъ-за Берлинскаго конгресса усомниться въ Россіи!

10 мая, 1888.

VII.

ПОСЛѢДНІЙ ОТВѢТЪ Г. ВЛ. СОЛОВЬЕВУ.

Русск. Вѣстн. (февр., 1889).

Въ *Вѣстникъ Европы* за январь Вл. С. Соловьевъ отвѣчаетъ мнѣ на мою статью *Наша культура* и пр.

Мнѣ очень хотѣлось бы, чтобы этотъ споръ былъ понимаемъ читателями въ его настоящемъ смыслѣ, и потому рѣшаюсь прибавить здѣсь нѣсколько замѣчаній. Не слѣдуетъ упускать изъ вида главнаго предмета спора. Дѣло идетъ вовсе не объ успѣхахъ Россіи въ наукахъ и философіи, не объ любви къ отечеству, не объ моемъ гнусномъ „равнодушіи къ истинѣ“, не объ желаніи Вл. С. Соловьева „протестовать противъ повальнаго націонализма, обуявшаго въ послѣднее время наше общество и литературу“ (*Вѣстн. Евр.* янв. стр. 374), не объ значеніи моихъ „трехъ книгъ“, не объ достоинствѣ „философскихъ трудовъ“ моего противника, и т. д. Дѣйствительный предметъ спора другой, онъ имѣетъ совершенную опредѣленность и очень далекъ отъ личныхъ препирательствъ и отъ общихъ толкованій о *грѣхахъ и болѣзняхъ* (заглавіе отвѣта Вл. С. Соловьева). Дѣло идетъ о *теоріи культурно-историческихъ типовъ*, изложенной

въ книгѣ Н. Я. Данилевскаго „Россія и Европа“. За эту теорію я вступился противъ неожиданнаго и рѣзкаго нападенія и очень желалъ бы, чтобы и теперь читатели главное свое вниманіе обратили на то, что касается этой теоріи.

Прочитавъ отвѣтъ Вл. С. Соловьева, я съ удовольствіемъ увидѣлъ, что споръ нашъ конченъ въ этомъ отношеніи, т. е., что мнѣ вовсе нѣтъ надобности вновь защищать теорію Данилевскаго. Если читатели вспомнятъ мою прежнюю статью и внимательно сравнятъ съ нею то, что теперь написалъ противъ нея Вл. С. Соловьевъ, то, надѣюсь, имъ будетъ вполне ясно, что всѣ мои прежнія доказательства остаются въ полной силѣ. Въ первой своей статьѣ, противникъ теоріи культурно-историческихъ типовъ нападалъ на нее: 1) съ точки зрѣнія христіанскихъ началъ, 2) на основаніи ученія о человѣчествѣ, какъ объ единомъ организмѣ, 3) со стороны общихъ научныхъ требованій, именно пріемовъ естественной системы, 4) на основаніи хода всемірной исторіи, 5) на основаніи исторіи наукъ и религій. Эти исходныя точки нападенія я счелъ на столько важными, а самаго нападающаго—имѣющимъ настолько вѣса въ нашей литературѣ, что мнѣ казалось нужнымъ старательно отразить нападеніе. Всѣ указанныя возраженія были мною выставлены, разсмотрѣны и опровергнуты. Въ новой своей статьѣ мой противникъ не сказалъ ничего ослабляющаго мои доводы, такъ что мнѣ нѣтъ надобности дополнять свою прежнюю аргументацію. Маленькаго добавленія требуетъ развѣ только новая ссылка г. Соловьева на ап. Павла, сдѣланная въ защиту мысли о человѣчествѣ, какъ единомъ организмѣ, именно прямая ссылка на двѣ главы посланій апостола, 1 Кор. XII. и Ефес. IV. Если не-

предубѣжденный читатель самъ прочитаетъ эти двѣ главы, то онъ тотчасъ же увидитъ, что онѣ наполнены увѣщаніями къ единенію и любви, обращенными къ обществу вѣрующихъ, къ христіанской церкви, а вовсе не содержатъ ученія о единомъ организмѣ человѣчества. Во второй изъ указанныхъ главъ, въ стихахъ 17 и 18, прямо говорится: „заклинаю Господомъ, чтобы вы не поступали, какъ поступаютъ прочіе народы по суетности ума „своего, будучи помрачены въ разумѣ, отчуждены отъ „жизни Божіей, по причинѣ ихъ невѣжества и ожесточенія сердца ихъ“. Слѣдовательно, здѣсь полагается существенное разграниченіе, и только вѣрующіе, если будутъ вести себя по вѣрѣ своей, могутъ быть названы единымъ организмомъ.

И такъ, я рѣшаюсь въ настоящемъ случаѣ положиться на читателей, то-есть надѣяться, что они вспомнятъ мою прежнюю статью и увидятъ, что нынѣшнія чрезвычайно горячія выходки Вл. С. Соловьева совершенно слабы и безсодержательны въ отношеніи главнаго вопроса — теоріи культурно-историческихъ типовъ. Для читателей забывчивыхъ и предубѣжденныхъ, конечно, можно бы пуститься въ повторенія и истолкованія, въ шутки и разглагольствія; но, какъ ни полезно бороться противъ забывчивости и предубѣжденности, я не чувствую теперь въ тому охоты, а безъ охоты, какъ извѣстно, хорошаго писанія не бываетъ.

Въ одномъ только пунктѣ мнѣ хотѣлось бы прибавить новыя поясненія, хотя и прежнихъ достаточно для внимательныхъ читателей. Г. Соловьевъ не вѣритъ моему изложенію, по которому теорія культурно-историческихъ типовъ имѣетъ мирный характеръ, отличается духомъ славянской терпимости, ибо, по этой теоріи, могутъ одно-

временно существовать и развиваться нѣсколько такихъ типовъ; такъ было прежде, такъ есть теперь, и въ будущемъ нѣтъ для этого никакой невозможности. По увѣренію г. Соловьева, я въ этомъ случаѣ „безцеремонно поставилъ вмѣсто основной мысли Данилевскаго какую-то совсѣмъ иную“, и вотъ какъ г. Соловьевъ излагаетъ подлинное мнѣніе Данилевскаго:

„По теоріи Данилевскаго, славянство, будучи *послѣднимъ* въ ряду преемственныхъ культурно-историческихъ типовъ и притомъ самымъ *полнымъ* (четырехъ-основнымъ), должно прійти на смѣну (?) прочихъ, частью отжившихъ, частью отживающихъ типовъ (Европа); славянской міръ есть море, въ которомъ должны слиться всѣ потоки исторіи (?)—этою мыслью Данилевскій заканчиваетъ свою книгу, это есть послѣднее слово всѣхъ его разсужденій. Сліяніе же историческихъ потоковъ въ славянскомъ морѣ должно произойти не иначе, какъ посредствомъ великой войны между Россіей и Европой“. (*Вѣстн. Евр.* янв. стр. 358).

Въ подобномъ же духѣ истолковывалъ недавно мнѣнія Данилевскаго и В. П. Безобразовъ, стараясь придать этимъ мнѣніямъ самый фантастическій и пугающій видъ.

„Съ чрезвычайной восторженностью возвѣщаетъ онъ (Данилевскій) грядущій близкій періодъ торжества (?) славянскаго культурно-историческаго типа, подъ духовною и политическою гегемоніею Россіи, видя въ этомъ торжествѣ (?) тотъ высшій *синтезисъ* всѣхъ доселѣ существовавшихъ во всемірной исторіи культурныхъ началъ, который долженъ возсоздать просвѣщеніе и государственно-общественный строй на развалинахъ доживающей свой вѣкъ европейской культуры“. (*Наблюдатель* 1888, ноябрь, стр. 325, 326).

Нѣсколько далѣе, — къ этому прибавлено:

„Заключительнымъ словомъ книги Данилевскаго, — какъ иначе и быть не могло, вслѣдствіе всѣхъ его теоретическихкихъ соображеній, — является необходимость роковой смертельной (?) борьбы Россіи со всѣмъ Западомъ, т. е. со всѣмъ образованнымъ міромъ, борьбы не только нравственной, но и матеріальной“ (стр. 329).

Тутъ я вижу глубокое недоразумѣніе, глубокое извращеніе дѣла, хотя извращеніе неумышленное, происшедшее только отъ того, что противники Н. Я. Данилевскаго не удостоиваютъ его книгу старательнаго чтенія и вниманія. О какой смѣль прочихъ титловъ они говорятъ? О какомъ близкомъ торжествѣ? Что это за потоки, сливающіеся въ славянскомъ морѣ? Откуда явилась смертельная борьба? Откуда возсозданіе просвѣщенія на развалинахъ европейской культуры?

Эти рѣчи умышленно-напыщенны и все-таки неопредѣленны; обидно ихъ читать, когда вспомнишь точность мысли и выраженія, свойственную Н. Я. Данилевскому.

Во-первыхъ, онъ никогда не говорилъ, что Европа *отживаетъ* свой вѣкъ; напротивъ, онъ утверждалъ и подробно пояснялъ, что теперь Европа находится въ полномъ расцвѣтѣ, въ апогеѣ своихъ силъ. Нигдѣ онъ и не думаетъ говорить о „развалинахъ европейской культуры“ и о томъ, что намъ предстоитъ будто-бы дѣлать на этихъ развалинахъ.

Во-вторыхъ, онъ предсказывалъ борьбу славянскаго міра съ Европою, но предсказывалъ потому, что видѣлъ въ этой борьбѣ единственный возможный выходъ для разрѣшенія *Восточнаго вопроса*, выходъ изъ давнишней существующей распри, разрѣшеніе тѣхъ горячихъ стремленій, надеждъ и притязаній, сила которыхъ не осла-

бѣваетъ, а растеть съ каждымъ днемъ. Вы не хотите признать правильности предсказаній Н. Я. Данилевскаго; но чтобы ихъ опровергнуть, мало сказать, что вы, по человѣколюбію, или по экономическимъ соображеніямъ, ужасаетесь войны, — нужно еще показать, какъ же, по вашему мнѣнію, можетъ совершиться разрѣшеніе Восточнаго вопроса.

Въ-третьихъ, наконецъ, великія надежды, которыя авторъ *Россіи и Европы* возлагалъ на славянскій міръ, вы готовы принять за какое-то поползновеніе къ единому и нераздѣльному владычеству надъ всѣмъ міромъ; вы говорите о смѣнѣ всѣхъ типовъ однимъ, о сліяніи всѣхъ потоковъ въ одномъ морѣ, и т. п. Но подобныя предположенія невозможны по самой сущности теоріи культурно-историческихъ типовъ, утверждающей, что развитіе этихъ типовъ совершается и разновременно, и разнообразно. Н. Я. Данилевскій даже прямо, какъ на одно изъ сильныхъ и ясныхъ доказательствъ своей теоріи, указываетъ на то, что въ силу ея невозможна какая-нибудь единая всесовершенная цивилизація для всей земли (*Россія и Европа*, стр. 123) и устраняется всякая мысль о міровладычествѣ (стр. 463 — 465). У него нельзя найти даже такихъ предположеній, какъ, наприкладъ, у Ренана, который считалъ очень вѣроятнымъ, что славяне завоюютъ Европу (см. *Борьба съ Западомъ*, кн. I, стр. 387).

Да развѣ для развитія, для созданія своей культуры, намъ нужна власть надъ Европой, или Африкой, или Индіей и т. п.? Н. Я. Данилевскій былъ слишкомъ разуменъ, чтобы тѣшиться подобными мыслями, а главное — другаго онъ желалъ своей родинѣ, не внѣшняго блеска и торжества. Въ концѣ своей книги онъ дѣй-

ствительно говорить о потокахъ, которые когда-то сольются въ славянскомъ *водоемѣ* (не въ морѣ); но онъ говоритъ весьма опредѣленно о *четырехъ* потокахъ, и разумѣетъ здѣсь четыре главныхъ направленія культурной дѣятельности, т. е. онъ только выражаетъ въ подобіи или метафорѣ ту свою надежду, что славянскій типъ будетъ *четырехъ-основнымъ*. Вотъ его слова.

„Главный потокъ всемірной исторіи начинается двумя источниками на берегахъ древняго Нила. *Одинъ*, небесный, божественный, черезъ Іерусалимъ, Царьградъ, достигаетъ въ невозмущенной чистотѣ до Кіева и Москвы; *другой*, земной, человѣческій, въ свою очередь дробящійся на *два русла*: культуры и политики, течетъ мимо Аѳинъ, Александріи, Рима — въ страны Европы; — на русской землѣ пробивается *новый ключъ*: справедливо обезпечивающаго народныя массы общественно-экономическаго устройства. *На обширныхъ равнинахъ славянства* должны слиться всѣ эти потоки“.

Очевидно, это есть изображеніе той самой мысли о *четырехъ-основности*, которая нѣсколькими строками выше выражена въ отвлеченныхъ терминахъ. Затѣмъ, послѣдними строками въ книгѣ стоятъ стихи Хомякова:

Смотрите, какъ широко воды
Зеленымъ доломъ разлились,
Какъ къ берегу чуждые народы
Съ духовной жаждой собрались!

Такъ глубоко вѣрили въ свою землю Хомяковъ и Данилевскій, такъ далеко простирались ихъ надежды!

„Но вѣдь это самохваленіе, самомнѣніе! Вѣдь это горячія мечты народнаго самолюбія, которыя ведутъ къ гордости, къ нелѣпому самодовольству, къ презрѣнію и непониманію цивилизаціи!“ Вотъ что скажутъ на это

наши скептики и недоброжелатели, да и множество нашихъ интеллигентовъ, или, правильнѣе, тѣхъ, которые только пламенно желаютъ считаться интеллигентами. Боже мой, бѣдная Россія! Незаглушимая болѣзненная нота всегда отзывается въ твоей умственной жизни. Мы такъ измалодушничались, такъ привыкли падать духомъ, что чуть не оскорбляемся, если кто-нибудь выразить надежду на великое духовное будущее Россіи. Да почему же намъ не надѣяться? Вѣра въ свою землю, надежда на нее, — вѣдь это чувства, безъ которыхъ жить нельзя: нельзя называть себя русскимъ, нельзя сознавать свою особенность среди людей иного племени, и не вѣрить, что эта особенность имѣетъ свое высшее оправданіе, что наша исторія („такая, какую намъ Богъ далъ“, по выраженію Пушкина) ведетъ насъ къ нѣкоторой великой цѣли. Что дурнаго, что такого страшнаго и непростительнаго въ той мысли, что на *равнинахъ славянства* духъ человѣческій принесетъ нѣкогда роскошные плоды, какихъ не видала исторія? Подобныя надежды такъ естественны для того, кто любитъ свой народъ.

Но надежды, конечно, суть только надежды, только гаданія о будущемъ, только желанія, для исполненія которыхъ отъ насъ еще требуется большой трудъ, тѣмъ больше усилій и доблестей, чѣмъ выше самыя желанія. Мы видѣли, что противники Н. Я. Данилевскаго выставляютъ его желанія въ какомъ то страшномъ свѣтѣ; но они дѣлаютъ еще другую ошибку, все потому, что стараются подорвать его теорію типовъ. Именно, и Вл. С. Соловьевъ, и В. П. Безобразовъ причисляютъ эти надежды Данилевскаго къ самой его теоріи, видятъ въ нихъ прямой выводъ изъ всѣхъ его соображеній, послѣднее слово и завершеніе его системы. Понятно, что бла-

гожеланія, въ которыхъ Данилевскій далъ полный просторъ своему горячему патріотизму, должны показаться совершенно мечтательными для людей съ инымъ настроеніемъ, а слѣдовательно, тотъ же упрекъ мечтательности долженъ упасть и на всю теорію, которая привела, будто-бы, къ такимъ фантастическимъ выводамъ.

Но такъ нельзя смотрѣть на дѣло, не такъ его поставилъ авторъ *Россіи и Европы*. Это былъ не только пламенный патріотъ, но и необычайно свѣтлый умъ. Онъ отдѣлилъ рѣзкою чертою то, чего желалъ и на что надѣялся, отъ того, что считалъ твердымъ фактомъ, строго обоснованною теоріею. Предположенія о будущемъ величіи славянскаго культурно-историческаго типа содержатся въ XVII главѣ, послѣдней главѣ книги. Эта глава начинается такими словами:

„Предъидущю главою я, собственно говоря, кончилъ принятую на себя задачу“. (*Россія и Европа*, стр. 513).

„Я указалъ“, говорятъ на слѣдующей страницѣ Данилевскій, „на тотъ путь, которымъ Россія и Славянство ведутся и должны наконецъ привести къ осуществленію тѣхъ обѣщаній, которыя даны имъ ихъ этнографическою основою, тѣми особенностями, которыя отличаютъ ихъ въ числѣ прочихъ семействъ великаго арійскаго племени. Этимъ могли бы мы, слѣдовательно, заключить наши изслѣдованія“ (стр. 514).

И такъ, до сихъ поръ происходило строгое изслѣдованіе, и оно теперь вполнѣ заключено. Теорія культурно-историческихъ типовъ утверждена, и, въ отношеніи къ славянскому типу, дѣло шло не объ гадательныхъ надеждахъ, а объ обѣщаніяхъ, даваемыхъ его этнографическою основою въ ея историческомъ развитіи; не о

будущихъ подвигахъ его культуры, а о томъ пути, по которому исторія привела этотъ типъ къ Восточному вопросу.

И такъ, еслибы мы вовсе откинули послѣднюю главу *Россіи и Европы*, эта книга сохранила бы всю свою цѣлость и весь свой вѣсъ. Но авторъ, къ соблазну нашихъ западниковъ, рѣшился заговорить о будущемъ, захотѣлъ вполне выразить свою любовь и вѣру. При этомъ онъ очень хорошо зналъ, что дѣлаетъ. Онъ называетъ это дѣло „гадательнымъ“ и „крайне труднымъ“ (стр. 515), и даже вовсе отвергаетъ возможность полной характеристики новой культуры.

„Невѣрующіе въ самобытность славянской культуры возражаютъ противъ нея вопросомъ: „въ чемъ же именно будетъ состоять эта новая цивилизація, каковъ будетъ характеръ ея науки, ея искусства, ея гражданскаго и общественнаго строя?“ — „Въ такой формѣ“, замѣчаетъ Н. Я. Данилевскій, „требованіе это нелѣпо, ибо удовлетворительный отвѣтъ на него сдѣлалъ бы самое развитіе этой цивилизаціи совершенно излишнимъ“ (стр. 514, 515).

Онъ берется, поэтому, отвѣчать лишь „въ общихъ чертахъ“, да и тутъ принимаетъ мѣры, какъ бы „не впасть въ совершенно безсодержательныя мечтанія“ (515). И наконецъ, когда онъ, посредствомъ остроумныхъ соображеній, дошелъ до формулы, что славянскій типъ, можетъ быть, будетъ четырехъ-основнымъ, онъ заключаетъ свои разсужденія такъ:

„Осуществится ли эта надежда, зависитъ вполне отъ воспитательнаго вліянія готовящихся событій, разумѣемыхъ подъ общимъ именемъ Восточнаго вопроса,

который составляет узелъ и жизненный центръ *будущихъ судебъ славянства*“ (стр. 556).

Неужели это не точно и не ясно? Не такъ ли мы предвѣщаемъ молодому даровитому юношѣ великую будущность, *если* событія, которыя ему встрѣтятся, не помѣшаютъ ему, и если самъ онъ встрѣтитъ эти событія какъ слѣдуетъ, восприметъ отъ нихъ надлежащее *воспитательное вліяніе*?

По строгости мысли, по правильности въ постановкѣ вопросовъ, по точности, съ которою выражено каждое положеніе и опредѣленъ относительный вѣсъ каждаго положенія,—я нахожу Н. Я. Данилевскаго безупречнымъ, удивительнымъ, твердымъ и яснымъ, какъ кристалль, и не могу не жалѣть, что этого не видятъ его ученые противники.

Они, очевидно, чѣмъ-то ослѣплены. Слушая инаго изъ нашихъ западниковъ, можно подумать, что говоритъ не нашъ соотечественникъ, а какой-нибудь нѣмецъ въ глубинѣ Германіи, котораго съ дѣтства вмѣсто буки пугали Донскимъ казакомъ, и которому Россія является въ миѳическомъ образѣ неодолимаго могущества и самаго глухаго варварства. Не слѣдуетъ ли намъ стать на совершенно другую точку зрѣнія? Почему это мы за Европу боимся, а за Россію у насъ нѣтъ ни малѣйшаго страха? Когда Данилевскій говорилъ о грядущей борьбѣ между двумя типами, то онъ именно разумѣлъ, что Европа пойдетъ на насъ, какъ бывало и прежде, но пойдетъ нашествіемъ еще болѣе грознымъ и единодушнымъ. Возьмите дѣло съ этой стороны. Передъ взорами Данилевскаго въ будущемъ милліоны европейцевъ съ ихъ удивительными ружьями и пушками двигались *на равнинахъ Славянства*; давнишній Drang nach Osten дѣйствовалъ на-

конецъ съ полною силою и заливалъ эти равнины огнемъ и кровью. Онъ видѣлъ въ будущемъ, что его любезнымъ славянамъ предстоятъ такія испытанія, такіе погромы, передъ которыми ничто Бородинская битва и Севастопольскій погромъ. И онъ взывалъ къ мужеству, къ еди-нодушію, къ твердой вѣрѣ въ себя, и онъ надѣялся, что если мы будемъ такъ же умѣть жертвовать собою, какъ жертвовали до сихъ поръ, то мы выдержимъ и отразимъ этотъ напоръ Европы, что мы *отстоимъ себя*, а если отстоимъ, то, значить, и зацвѣтемъ новой жизнью.

Спрашивается, гдѣ же тутъ незаконная гордыня и несбыточные притязанія? Противники Н. Я. Данилевскаго, очевидно, вовсе его не понимаютъ, они никакъ не могутъ стать на его точку зрѣнія, а все сбиваются на давнишнія ходячія понятія объ исторіи. Противъ такихъ недоразумѣній одно средство—нужно прилежнѣе читать *Россію и Европу*, нужно отказаться отъ пренебреженія къ этой неподобной книгѣ.

Вл. С. Соловьевъ въ новой своей статьѣ осыпаетъ меня всяческими упреками. Но легко убѣдиться, что вообще онъ или крайне все преувеличиваетъ, или просто шутитъ. Такъ, я считаю шуткою, когда онъ говоритъ, что я будто-бы объявилъ его „врагомъ отечества“, даже „повиннымъ смерти“, на основаніи ветхозавѣтнаго закона: „кто злословитъ отца своего, или мать, того должно предать смерти“ (Исх. XXI, 17), что будто-бы приписываю ему сочувствіе „насилію“, „испанской инквизиціи“ и т. д. Ничего подобнаго у меня нѣтъ, и все это, конечно, такая же фантазія, какъ и то, что въ настоящее время г. Соловьевъ будто бы „сидитъ на рѣкахъ Вавилонскихъ“, а я „пляшу передъ золотымъ истуканомъ Навуходоносора“. (*Вѣстникъ Европы* № 1, стр. 365).

Мой противникъ не замѣтилъ, что, вообще, я нигдѣ не высказывалъ какихъ-нибудь общихъ сужденій объ немъ и о его дѣятельности; я разбиралъ и осуждалъ только то, что стоитъ въ его статьѣ; объ немъ же самомъ, объ его чувствахъ и свойствахъ и обо всей его другой публичной дѣятельности я ничего не говорилъ, да и теперь не хочу и не буду говорить. Нѣтъ ни нужды, ни пользы отступать отъ предмета. Въ одномъ только случаѣ я не вполне соблюлъ это правило и попалъ въ неточность, которую теперь постараюсь поправить. У меня было сказано: „Г. Соловьевъ отвѣчалъ (Аксакову), что не разъ заявлялъ о своей любви къ Россіи; да развѣ любовь доказывается заявленіями?“ Конечно, я тутъ не довольно отчетливо выразился, но увѣряю, что и въ мысли не имѣлъ представить въ смѣшномъ видѣ отвѣтъ г. Соловьева. Конечно, онъ отвѣчалъ Аксакову, что заявлялъ не „о своей любви къ Россіи“, а объ общемъ долгѣ любить Россію и о томъ, какъ онъ понимаетъ этотъ долгъ; безъ сомнѣнія тутъ есть разница. Но мнѣ думалось, что одно непременно слѣдуетъ изъ другаго, и вотъ почему я сдѣлалъ ошибку въ выраженіи. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь каждый такъ и любитъ, какъ понимаетъ любовь, а еще вѣрнѣе, что только такую любовь всякій понимаетъ, какую самъ испыталъ или испытываетъ. И такъ, тутъ невозможно полагать рѣшительный раздѣлъ между чувствами и понятіями, но въ то же время тутъ всегда возможно и легко брать все дѣло или со стороны чувствъ, или со стороны понятій.

Будемъ же имѣть это въ виду и будемъ, такимъ образомъ, учиться другъ у друга патріотизму. Пусть не жалуется Вл. С. Соловьевъ; никто его не считаетъ „врагомъ отечества“ и не отрицаетъ у него всякаго патріо-

тизма. Но, если онъ, г. Соловьевъ, съ великимъ апломбомъ назвалъ патріотизмъ Н. Я. Данилевскаго „узкимъ и неразумнымъ“, то почему намъ запрещено указывать какія-нибудь черты „неразумія“, если таковыя окажутся въ патріотизмѣ г. Соловьева? Меня, напимѣрь, больше всего огорчило у него не то, что онъ говоритъ вообще о нашей культурѣ и о необходимости для Россіи смиренія и покаянія, и въ умственномъ и въ политическомъ отношеніи, а именно то, что онъ напалъ на двѣ книги Н. Я. Данилевскаго, и какъ онъ на нихъ напалъ. Безъ сомнѣнія, онъ имѣлъ полное право опровергать эти книги, какъ скоро не сошелся съ ними въ своихъ воззрѣніяхъ; мало того, при моемъ неистовомъ „равнодушіи въ истинѣ“, я счелъ бы большою радостію, если бы появился у насъ строгій и основательный разборъ этихъ книгъ, исходящій изъ началъ съ ними несогласныхъ. Но г. Соловьевъ написалъ разборъ, котораго никакъ нельзя считать серіознымъ. Если бы у него было немножко побольше любви и чуть-чуть поменьше высокомерія къ русскимъ книгамъ и русскимъ людямъ, онъ не такъ бы говорилъ объ книгахъ Данилевскаго, да и вовсе не выбралъ бы ихъ для себя мишенью. Любовь внушаетъ уваженіе, вниманіе, осторожность, предохраняетъ насъ отъ опрометчивости и фальшивыхъ шаговъ, вредныхъ для дѣла и для насъ самихъ. Вычеркнуть изъ русской литературы нѣсколькими почерками пера такія двѣ книги, какъ *Россія и Европа* и *Дарвинизмъ*, эти плоды многолѣтнихъ трудовъ одного изъ умнѣйшихъ людей, какихъ породила Россія,—съ этой затѣею я никакъ не могу помириться.

Напрасно также мой противникъ съ большимъ упорствомъ ссылается на мои слова, на то, что и я тоже говорилъ о немоци русскаго просвѣщенія, что высказывать

различные упреки нашему обществу и нашей литературѣ. Дѣйствительно, я рѣшался иногда выражать подобныя общія обличенія; но, мнѣ кажется, я при этомъ ясно указывалъ, во имя чего я ихъ дѣлаю, и такимъ образомъ, рядомъ съ упрекомъ у меня стояло выраженіе уваженія. Въ статьѣ объ Аксаковѣ я упрекалъ общество и литературу, но упрекалъ *во имя Аксакова*, слѣдовательно, отдавая въ то же время всякую честь одному изъ членовъ этого самаго общества и этой литературы. Точно такъ, если я назвалъ статью г. Соловьева *образчикомъ немощи нашего просвѣщенія*, то это было сказано мною въ полемикѣ, въ которой я стоялъ за великія достоинства „*Россіи и Европы*“, этого безподобнаго образчика русскаго ума.

Вл. С. Соловьевъ, желая утвердить свою основательность въ порицаніи другихъ, указываетъ, между прочимъ, на то, что онъ не пощадилъ и самого себя, что онъ, „говоря о грустномъ состояніи русской философіи, не дѣлалъ исключенія въ пользу своихъ философскихъ трудовъ“ (стр. 357). Но, признаюсь, въ такомъ голословномъ заявленіи я не вижу ничего хорошаго, и даже вижу мало понятнаго. Во имя чего г. Соловьевъ отрекается отъ своихъ философскихъ писаній? Очевидно, во имя своихъ богословскихъ стремленій. Но, хотя въ принципѣ это стремленія добрыя, хотя никто не откажетъ въ своемъ уваженіи мысли о соединеніи церквей, если брать эту мысль въ ея общемъ смыслѣ, спрашивается, неужели нужно приносить ей въ жертву прежніе философскіе опыты? Изъ того, что г. Соловьевъ признаетъ себя слабымъ въ философскихъ разсужденіяхъ, вѣдь не будетъ слѣдовать, что онъ очень силенъ въ богословскихъ. Чтѣ касается до его послѣднихъ статей,

то онѣ, безъ сомнѣнія, слабѣе всего имъ писаннаго; изъ прежнихъ же его писаній я кое-чему хорошему научился и благодаренъ ему за это.

Скажу здѣсь, встати, нѣсколько словъ и о моемъ „матеріализмѣ“. Вл. С. Соловьевъ продолжаетъ настаивать на томъ, что я въ нѣкоторыхъ своихъ писаніяхъ будто-бы „защищаю механическое міровоззрѣніе западныхъ ученыхъ“ (374), т. е. по-просту матеріализмъ, а потому онъ, естественно, находитъ тутъ противорѣчіе съ другими моими писаніями и видитъ у меня вообще „хаотическое смѣшеніе разнородныхъ взглядовъ, взаимно себя уничтожающихъ“ (373).

Мнѣ предлагается, такимъ образомъ, запросъ, недоумѣніе, которое я обязанъ разъяснить, разрѣшить истолкованіемъ своихъ мнѣній. Мой критикъ совѣтуетъ мнѣ даже прибѣгнуть къ радикальному средству. „Навѣрное“, говоритъ онъ, „множество недоумѣвающихъ читателей было бы въ высшей степени довольно, если бы г. Страховъ, не приписываясь ни къ одному изъ существующихъ *измовъ*, могъ бы указать имъ на свое собственное, хотя бы очень сложное, но опредѣленное и положительное рѣшеніе главныхъ философскихъ и соціальныхъ вопросовъ“ (стр. 373).

Средство прекрасное и рѣшительное, и я никакъ не стану отрицать, что при его помощи были бы устранены многія недоразумѣнія. Но вѣдь это очень трудное средство; вѣдь, не говоря о побочныхъ для дѣла обстоятельствахъ, оно требуетъ, мнѣ кажется, отъ всякаго много времени и много усилій, *если* его указанія должны быть точнымъ и яснымъ изложеніемъ его собственной мысли, а не простымъ повтореніемъ и сочетаніемъ какихъ-нибудь существующихъ *измовъ*. Не позволительно

ли будетъ дѣлать это дѣло по частямъ и начать съ какого-нибудь частнаго вопроса? По моему, даже, частное изслѣдованіе, сдѣланное совершенно основательно и отчетливо, гораздо полезнѣе, лучше знакомить насъ съ методою и общимъ духомъ философіи, чѣмъ очеркъ цѣлой системы, обыкновенно очень красивый на видъ, но совершенно непрочный внутри и сбивающійся на десятки другихъ такихъ же очерковъ.

Но, главное, какой бы путь мы ни выбрали, мы никогда не будемъ вполне безопасны отъ недоразумѣній. Въ настоящемъ случаѣ, положеніе дѣла слѣдующее. Представимъ, что я, для начала, взялъ одинъ изъ философскихъ вопросовъ, именно вопросъ о *матеріи*, и что высказалъ о немъ весьма рѣшительное мнѣніе, изложилъ его довольно подробно и отчетливо. Что же вышло? Г. Модестовъ говоритъ, что онъ не можетъ рѣшить, матеріалистъ ли я, или нѣтъ; г. Соловьевъ сказалъ, что я прямо началъ проповѣдывать матеріалистическое ученіе; самъ же я отъ начала объявилъ и объявляю себя противникомъ матеріализма. Отчего же происходитъ такое разногласіе? Конечно, оттого, что у насъ троихъ, должно быть, у всѣхъ разныя понятія о матеріализмѣ. Но вмѣсто того, чтобы разсматривать сдѣланныя мною разъясненія вопроса, мои критики знать ничего не хотятъ, кромѣ своихъ собственныхъ понятій *), говорятъ, что, въ силу этихъ понятій, они видятъ у меня проти-

*) Шутя я называлъ это *клетками*, которыя такъ часто каждый приготавливаетъ про себя и въ которыя потомъ старается посадить все на свѣтъ. Иной критикъ не читаетъ васъ и вовсе читать не хочетъ: онъ, по нѣсколькимъ словамъ, схваченнымъ на лету, уже посадилъ васъ въ готовую у него клетку.

ворѣчіе, что я долженъ поскорѣе дать имъ всю систему, что у меня хаосъ, равнодушіе къ истинѣ и т. д.

Между тѣмъ, я чрезвычайно дорожу тѣмъ взглядомъ на матерію, который успѣлъ формулировать и высказать. Отъ этого взгляда, какъ отъ твердой точки, можно простираť заключенія на всю область знанія. Къ существеннымъ чертамъ этого взгляда принадлежитъ то, что матерія есть понятіе механическое, что законы механики непреложны, но что „механическаго міровоззрѣнія“, въ сущности, вовсе быть не можетъ, ибо эти законы какъ не могутъ мѣшать никакому пониманію, заслуживающему имени „міровоззрѣнія“, такъ и не могутъ способствовать нашему постиженію сущности міра.

Съ величайшей благодарностію принялъ бы я всякое замѣчаніе, относящееся къ дѣйствительно высказаннымъ мною взглядамъ.

Споръ нашъ конченъ. Думаю, что нужно остановиться и не отвѣчать больше на возраженія, такъ далеко отходящія отъ предмета, или вовсе его не касающіяся.

14 янв. 1889.

VIII.

ДАРВИНЪ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Переворотъ въ наукѣ *).

Неожиданный успѣхъ.—Ученый ареопагъ.—Авторитетъ Кювье.—Движеніемъ ума заправляетъ сердце.—Ходъ философскихъ ученій.—Сила фантастическихъ понятій.—Ученіе Кювье о постоянствѣ видовъ.—Теорія Дарвина.—Отрицаніе явленій.—Главное возраженіе противъ Дарвина.—Естественная смерть.—Европейскій нигилизмъ.

I.

Въ первыхъ строкахъ этого сочиненія Дарвинъ удивляется успѣху, который имѣли его взгляды на измѣненіе видовъ и ихъ происхожденіе однихъ отъ другихъ; онъ никакъ не ожидалъ, что его теорія одержитъ такую легкую побѣду надъ противоположными воззрѣніями, которыя господствовали прежде.

„Въ продолженіе многихъ лѣтъ“, говоритъ онъ, „я собиралъ замѣтки о происхожденіи человѣка, безъ всякаго намѣренія печатать что-либо объ этомъ предметѣ,—скорѣе съ положительнымъ намѣреніемъ не выпускать моихъ замѣтокъ въ свѣтъ, такъ какъ я по-

*) Происхожденіе человѣка и подборъ по отношенію къ полу. Чарльза Дарвина. Въ двухъ томахъ. Переводъ съ англійскаго подъ редакціею И. М. Свѣцова. Съ рисунками. Спб. 1871.

„лагалъ, что онѣ могли-бы только усилить *предубѣжденія, существовавшія противъ моихъ взглядовъ*“ (стр. VII).

Эти предубѣжденія не состояли изъ однихъ предразсудковъ и мнѣній людей, чуждыхъ наукѣ и по чему либо питавшихъ извѣстныя понятія о происхожденіи видовъ; главное препятствіе для Дарвина, какъ мы сейчасъ увидимъ, состояло въ ученіи, господствовавшемъ у самихъ натуралистовъ. Сама наука сознательно, твердо и ясно исповѣдывала ученіе, прямо противоположное тому, которое выставилъ Дарвинъ.

„Теперь“, замѣчаетъ Дарвинъ, „дѣло приняло совершенно другой видъ. Если такой естествоиспытатель, какъ Карлъ Фогтъ, рѣшается сказать въ своей рѣчи, въ качествѣ президента Національнаго Института въ Женевѣ (1869): *personne, en Europe au moins, n'ose plus soutenir la création indépendante et de toutes pièces, des espèces*“ (никто, въ Европѣ по крайней мѣрѣ, не осмѣливается уже отстаивать, что виды созданы независимо и цѣликомъ), то ясно, что, по крайней мѣрѣ, значительное число натуралистовъ должно уже признавать въ существующихъ видахъ видоизмѣненныхъ потомковъ другихъ видовъ“ (стр. VIII).

Слова знаменитаго Карла Фогта, кажется, всегда бывають таковы, что ихъ приходится немножко поправлять. И Дарвинъ исправляетъ, замѣчая, что *никто въ Европѣ* значитъ собственно не никто, а только меньшинство европейскихъ натуралистовъ. Черезъ нѣсколько строкъ Дарвинъ положительно говоритъ, что *многіе изъ старыхъ и уважаемыхъ авторитетовъ науки* остаются противниками всякаго измѣненія видовъ. Но самое преувеличеніе словъ Фогта, конечно, показываетъ, что распространеніе взглядовъ Дарвина очень велико, такъ что

пламенный послѣдователь ихъ имѣлъ нѣкоторый поводъ счесть за *никого* нѣкоторые старыя и уважаемыя авторитеты. И вотъ Дарвинъ пишетъ:

„Вслѣдствіе возрѣній, которыя приняты въ настоящее время большинствомъ натуралистовъ, и къ которымъ, вскорѣ, какъ это обыкновенно бываетъ, примкнетъ публика (other men), я рѣшился собрать мои замѣтки въ одно цѣлое, чтобы имѣть возможность прослѣдить, насколько общіе выводы, изложенные въ моихъ прежнихъ сочиненіяхъ, могутъ быть примѣнены къ чело-вѣку“ (стр. VIII).

Переворотъ, значить, совершился, и совершился такъ быстро, какъ Дарвинъ и не ожидалъ. Онъ можетъ теперь напечатать сочиненіе, котораго положительно намѣревался не выпускать въ свѣтъ. Оппозиція, которой онъ боялся, оказалась очень слабою.

II.

Вотъ намъ примѣръ того, какъ дѣлаются дѣла въ наукахъ. Дарвинъ въ этомъ случаѣ судить и поступаетъ какъ настоящій ученый. Мы видимъ, что для него выше всего авторитетъ его науки, то есть естествознанія. Онъ и теперь, и во всѣхъ другихъ своихъ сочиненіяхъ, ни мало не заботится о томъ, что говорятъ или говорили *другіе люди*, о тѣхъ взглядахъ, которые существуютъ въ другихъ областяхъ человѣческаго ума. Сила науки такова, что ей нѣтъ нужды принимать въ соображеніе что-нибудь постороннее. Если наука рѣшила, то *обыкновенно бываетъ*, что вскорѣ ея рѣшеніе принимается всѣми.

Но какъ же подслушать рѣшеніе науки? Какъ мы узнаемъ, что рѣшилъ этотъ верховный авторитетъ? Изъ

словъ Дарвина ясно, что представительство этого авторитета принадлежит *общему мнѣнію* натуралистовъ. Такъ какъ нынче большинство натуралистовъ на сторонѣ Дарвина, то онъ и считаетъ дѣло выиграннымъ. Онъ не говоритъ о требованіяхъ науки, о ея внутреннихъ законахъ, о методахъ и т. п.; предполагается, что все это наилучшимъ образомъ опредѣляется большинствомъ голосовъ. Каждый натуралистъ какъ-бы обладаетъ частицею авторитета науки, а вся совокупность натуралистовъ есть трибуналъ, всецѣло обладающій властью и силою науки.

Такимъ образомъ, Дарвинъ, хотя создалъ новую и смѣлую теорію, однако, ни мало не думаетъ быть вполнѣ самостоятельнымъ, а скромно подчиняется тому авторитету, подъ которымъ живутъ всѣ ученые, подъ которымъ живетъ и самъ Карлъ Фогтъ, все отрицающій, кромѣ общаго мнѣнія ученыхъ. Дарвинъ какъ-бы внесъ свою теорію на разсмотрѣніе ученаго парламента и теперь радуется, что получилъ одобреніе, что съ нимъ очень быстро согласилось большинство. Съ замѣтнымъ удовольствіемъ онъ перечисляетъ свои авторитеты, не брезгая никѣмъ и возводя ихъ въ знаменитости. Такъ, въ частности, по вопросу о происхожденіи человѣка отъ животныхъ, онъ говоритъ:

„Ламаркъ, много времени тому назадъ, пришелъ въ „этому заключенію, которое поддерживается теперь многими знаменными натуралистами и философами; таковы Уоллесъ, Гексли, Лайэалль, Фогтъ, Леббовъ, Бюхнеръ, Ролле и др., а въ особенности Геккель“ (стр. XI).

Бюхнеръ и Ролле фигурируютъ здѣсь, конечно, въ качествѣ знаменитыхъ (по англійски *eminent*, отличный) философовъ.

Вотъ небольшой, но ясный образчикъ тѣхъ предразсудковъ, которые господствуютъ въ ученomъ мiрѣ. Каждый ученый воображаетъ, что его частная наука обладаетъ верховнымъ авторитетомъ, и ему въ голову не приходитъ необходимость согласовать добытые имъ результаты съ нѣкоторою общеою системою, съ цѣльнымъ взглядомъ на мiръ. Этотъ предразсудокъ очень силенъ у Дарвина, который на сколько-нибудь отвлеченные и трудные философскіе взгляды смотритъ съ такимъ невѣріемъ и отчужденіемъ, что даже не считаетъ нужнымъ говорить объ нихъ и опровергать ихъ.

Второй предразсудокъ еще хуже. Ученые суевѣрно преклоняются предъ общимъ мнѣніемъ своихъ собратіи. Казалось-бы, какое дѣло изслѣдователю, кто какъ думаетъ, кто съ нимъ согласенъ и кто нѣтъ? Если онъ твердо увѣренъ въ своей методѣ и убѣжденъ въ научной прочности добытой истины, то какой вѣсь могутъ имѣть въ сравненіи съ этимъ убѣжденіемъ чьи бы то ни было мнѣнія? какой смыслъ—большинство или меньшинство?

Въ настоящемъ же случаѣ, дѣло имѣетъ видъ весьма подозрительный и странный. Ученый ареопагъ, на который ссылается Дарвинъ, обнаружилъ чрезвычайную быстроту въ переходѣ отъ одного мнѣнія въ мнѣнію прямо противоположному, быстроту, которая внушаетъ скорѣе всего величайшее недовѣріе въ основательности и обдуманности ареопага. Авторитетъ всякаго собранія подрывается, если сегодня оно рѣшаетъ такъ, а завтра прямо напротивъ. И чѣмъ горячѣ идетъ дѣло, тѣмъ подозрительнѣе. А въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ именно такъ. Начавши съ оговорокъ и со ссылокъ на всякія имена, Дарвинъ уже первую главу заключаетъ такими рѣшительными словами:

„Только наши предрасудки и высокоуміе, побудив-
„щее нашихъ предковъ объявить, что они произошли отъ
„полубоговъ, заставляютъ насъ останавливаться въ не-
„рѣшительности передъ этимъ выводомъ. Но скоро прій-
„детъ время, когда *всѣмъ* покажется *непостижимымъ*,
„какъ натуралисты, знакомые съ сравнительной анато-
„міей и эмбриологіей человека и другихъ млекопитаю-
„щихъ, могли допустить мысль, что каждое живот-
„ное было произведеніемъ отдельнаго акта творенія“
(стр. 30).

Вотъ въ какомъ положеніи дѣло. Въ исторіи наукъ случился фактъ *непостижимый* (по англійски стоитъ впрочемъ wonderful, удивительный), именно, натуралисты, хорошо знавшіе сравнительную анатомію и эмбриологію, сегодня утверждали постоянство видовъ, а завтра, на основаніи той же самой сравнительной анатоміи и эмбриологіи, стали утверждать, что виды перерождаются. Что же случилось? Отчего произошла перемѣна? Изъ словъ Дарвина ясно, что нѣкоторый срамъ долженъ пасть или на старыхъ, или на новыхъ натуралистовъ. Или старые натуралисты въ теченіе долгихъ лѣтъ не видѣли очевиднаго вывода, или новые натуралисты забыли и дурно понимаютъ тѣ начала, которыя руководили старыхъ и воздерживали ихъ отъ этого вывода. Намъ кажется, что срамъ долженъ быть раздѣленъ, если и не поровну, то на двѣ части: одна падаетъ на старыхъ, другая на новыхъ. Дарвинъ не постигаетъ того, что думалъ Кювье; тутъ нѣтъ ничего похвальнаго ни для Кювье, ни для Дарвина, хотя, по общему правилу, непонимающій болѣе виноватъ.

III.

Распутать эту исторію будетъ очень любопытно и поучительно. Старые натуралисты виноваты потому, что они исповѣдывали догматъ постоянства видовъ не вслѣдствіе ясно сознанныхъ началъ, а только вслѣдствіе великаго авторитета, стоявшаго за этотъ догматъ, именно авторитета *Кювье*. Такъ идутъ дѣла въ наукахъ. По ка-кимъ-нибудь причинамъ одни мнѣнія начинаютъ считаться ортодоксальными, а другія—еретическими; тогда за правовѣрные мнѣнія стоитъ упорно и съ жаромъ вся масса ученыхъ, еретическія же едва смѣютъ высказываться и бываютъ встрѣчаемы общимъ презрѣніемъ.

Въ настоящемъ случаѣ, ученые обнаружили величайшее рабство передъ научнымъ преданіемъ. Цѣлая поколѣнія ученыхъ проповѣдывали постоянство видовъ, не потому, чтобы ясно видѣли основательность этого ученія, не потому, чтобы имъ не приходили въ голову противоположныя мнѣнія, а потому, что такъ сказалъ *Кювье*, и что нельзя было *смѣть* говорить другое.

Мнѣнія объ измѣнчивости видовъ такъ легко приходятъ въ голову, составляютъ такое естественное предположеніе, что существовали, можно сказать, всегда. *Кювье* въ этомъ отношеніи долженъ былъ бороться съ ученіями *Ламарка* и *Жоффруа Сентъ-Илера*. Если мы вспомнимъ, что всякій матеріалистъ, всякій пантеистъ, всякій человѣкъ, отвергающій сверхъестественное вмѣшательство въ порядокъ природы, долженъ былъ прійти такъ, или иначе, къ ученію объ измѣнчивости; если вспомнимъ, что такихъ людей между натуралистами всегда было множество, большинство, то нельзя не удивляться,

какъ они могли покориться ученію, противорѣчившему всѣмъ ихъ стремленіямъ, всѣмъ поползновеніямъ ихъ мысли.

Но если такъ было, то мы понимаемъ, почему реакція должна была наступить вдругъ, внезапно. Ученіе Кювье не было разрушено постепенными изысканіями, новыми фактами, новыми открытіями, уяснившими его несостоятельность. Оно пало вдругъ, какъ падаетъ мнѣніе, которое держалось вѣрою, а не научными основаніями. Факты не измѣнились, свѣдѣнія наши не расширились; но появилось новое мнѣніе, новая вѣра, и старое ученіе должно было уступить мѣсто. Быстрота, съ которою теорія Дарвина набрала себѣ послѣдователей, воовсе не соотвѣтствуетъ ея внутреннему достоинству. Главная ея сила состоитъ въ нѣкоторыхъ остроумныхъ гипотезахъ относительно самаго процесса измѣненія видовъ; но вовсе нельзя сказать ни того, чтобы она доказала это измѣненіе, ни того, чтобы она его объяснила. Слѣдовательно, приверженность новыхъ натуралистовъ къ этой теоріи зависитъ вовсе не отъ научной ея силы; она точно такъ же зависитъ отъ постороннихъ причинъ, какъ и прежнее общее убѣжденіе натуралистовъ въ неизмѣнности видовъ. Вотъ фактъ, какъ намъ кажется, очень ясный и очень любопытный. Движеніе наукъ и перевороты, которые въ нихъ происходятъ, зависятъ не отъ внутренняго ихъ развитія, а опредѣляются вліяніями изъ какой-то другой области. Ученія господствуютъ и исчезаютъ, управляемая силою болѣе могущественною, чѣмъ наука.

Если постоянство видовъ есть мысль *непостижимая*, противорѣчащая всему духу естественныхъ наукъ, не требуемая никакими ихъ началами, то подумайте—кто

впалъ въ такое заблужденіе? Впалъ Кювье, натуралистъ, которому подобнаго не найти, геніальный изслѣдователь природы, который одинъ создалъ три науки: естественную систему Зоологіи, Сравнительную Анатомію и Палеонтологію. Если такой ученой въ существенномъ пунктѣ подчинился постороннему вліянію и отступилъ отъ прямого пути науки, то на какомъ основаніи мы станемъ довѣрять свободѣ и безпристрастію ума Дарвина, Фогта, Геккеля?

Если измѣнчивость видовъ есть истина (какъ это мы и думаемъ), то почему же она не уяснилась постепенно, почему была упорно отвергаема, хотя провозглашалась безпрестанно? Почему прежде не принималась нисколько, а теперь принялась слишкомъ легко?

Не наука сдѣлала этотъ шагъ, а помимо естествознанія измѣнились нравственные и философскія понятія людей: вотъ причина успѣха Дарвина.

IV.

Движеніе идей, вообще, вовсе не совершается по самобытнымъ логическимъ правиламъ, какъ это постоянно утверждаютъ нѣмцы, а получаетъ направленіе отъ нравственной стороны человѣка. Умъ есть сила чисто формальная, безсодержательная, и потому способная двигаться по всевозможнымъ направленіямъ, образовывать безчисленные понятія, безконечныя сочетанія мыслей. Какъ въ пространствѣ возможны всякія фигуры, такъ и въ умѣ возможны всякія мысли. Логика и психологія, подобно чистой математикѣ, изучаютъ формы и законы этихъ фигуръ, но не могутъ ничего сказать о дѣйствительномъ содержаніи человѣческихъ умовъ, точно

такъ, какъ чистая математика ничего не знаетъ о настоящихъ, вещественныхъ тѣлахъ и явленіяхъ.

Пусть передъ нами какой-нибудь предметъ, какое-нибудь зрѣлище. Мысли, которыя онъ въ насъ возбуждаетъ, не опредѣляются ни свойствомъ самого предмета, ни какими либо общими законами движенія мыслей. Эти мысли опредѣляются нашими внутренними свойствами. Въ человѣкѣ печальномъ самая веселая картина возбуждаетъ рядъ печальныхъ мыслей; одинъ и тотъ же предметъ возбуждаетъ и злобу и радость, и высокую мысль и низкое желаніе. Психологія, опредѣляющая законы, по которымъ сочетаются представленія, допускаетъ возможность безчисленныхъ сочетаній и не можетъ опредѣлить, которое изъ нихъ случится въ дѣйствительности.

То, что думаетъ человѣкъ, не есть объективная истина, независимая отъ его натуры, а есть именно то, что ему *хочется думать*. Вотъ законъ, объясняющій образованіе человѣческихъ убѣжденій и исторію человѣческаго ума. Мы часто удивляемся узости и односторонности иныхъ взглядовъ и не понимаемъ, какъ не дѣйствуютъ на людей самые очевидные и многочисленные факты. Въ этомъ случаѣ мы ошибаемся въ нашемъ понятіи объ умѣ, приписываемъ ему такой способъ дѣйствія, котораго онъ не имѣетъ. Умъ никогда не видитъ и не обнимаетъ всего, что ему представляется, а всегда *избираетъ*, руководимый чувствомъ. Поэтому, какъ бы ни были разнообразны и значительны факты, которые видитъ человѣкъ, онъ замѣчаетъ изъ нихъ только тѣ, которые питаютъ его любимую мысль. Все противорѣчащее или упускается изъ виду, или только раздражаетъ и усиливаетъ чувство, заправляющее дѣломъ. И такимъ образомъ иногда случается, что чѣмъ долѣе и живѣе дѣй-

ствуешь умъ, тѣмъ одностороннѣе и уже становятся мнѣнія человѣка.

Умомъ заправляетъ сердце. Мы вѣримъ въ то, чего хотимъ, что любимъ, что удовлетворяетъ нашимъ нравственнымъ потребностямъ. Вотъ гдѣ истинный корень и смыслъ человѣческихъ мнѣній. Иногда насъ поражаютъ удивленіемъ тѣ безобразныя и явныя нелѣпости, которыя человѣчество на своемъ долгомъ пути признавало за свои святѣйшія и драгоцѣннѣйшія истины. Высокоумные историки послѣдняго времени, воображающіе, что сами они ходятъ въ истинѣ, часто представляютъ всю исторію людей, какъ блужданіе въ ошибкахъ, и весь прогрессъ этой исторіи, какъ постепенное освобожденіе отъ заблужденій. Но если мы убѣдимся, что сверхъ объективной истины мнѣнія людей имѣютъ другое значеніе, то можетъ быть не будемъ такъ высокоумно смотрѣть на прошлыя времена и не будемъ преждевременно хвалиться настоящимъ. И прежде были свѣтлые и крѣпкіе умы, можетъ быть свѣтлѣе и крѣпче нашихъ; если они упорно держались самыхъ, повидимому, очевидныхъ заблужденій, то на это были причины, имѣющія свой смыслъ, достойныя уваженія и изслѣдованія. Именно, фантазіи, въ которыя вѣрило человѣчество, часто не имѣли въ себѣ ничего похожаго на дѣйствительность, но за то всегда почти имѣли высокій и ясный нравственный смыслъ. А это прежде всего и нужно человѣку. Ему нужны крайне, неизбежно, не отвѣты на вопросы знанія, а отвѣты на вопросы сердца. Ему нужно рѣшать, *что онъ долженъ дѣлать*. Незнаніе не есть наибольшее зло. Самое важное дѣло для человѣка—умѣнье различать добро отъ зла, умѣнье понимать нравственный смыслъ явленій. Поэтому люди упорно держатся за

самыя явныя нелѣпости, какъ скоро чувствуютъ, что съ отнятіемъ у нихъ этихъ понятій отнимается вмѣстѣ возможность нѣкоторыхъ нравственныхъ сужденій. Физическая природа человѣка устроена такъ, что онъ (напр. плывя по рѣкѣ, вращаясь на планетѣ) считаетъ неподвижною ту точку, на которую опирается, и принимаетъ все другое за движущееся. Точно таково же и требованіе нравственной природы: нужно, чтобы человѣкъ что-нибудь принималъ за твердую нравственную опору; иначе у него голова закружится и онъ упадетъ, погибнетъ.

Соображая все это, мы поймемъ, почему ходъ наукъ имѣетъ неправильность и шаткость, которая были бы необъяснимы, если бы имъ заправляла одна логика. Каждый народъ и каждая эпоха *предпочитаетъ* извѣстныя ученія не въ силу ихъ логическаго развитія, а вслѣдствіе нѣкотораго нравственнаго расположенія къ нимъ. Такъ, англичане до сего дня остаются скептиками и эмпириками; но то же самое ученіе, которое въ Англіи имѣло свойство скептицизма и эмпиризма, будучи перенесено во Францію, становится матеріализмомъ и сенсуализмомъ, а въ Германіи обращается въ идеализмъ.

Тема о національности въ наукѣ блистательно развита Н. Я. Данилевскимъ въ шестой главѣ его книги *). Тамъ онъ указываетъ, между прочимъ, и на то, что теорія Дарвина, точно такъ, какъ взглядъ Гоббза на государство и Адама Смита на политическую экономію, носятъ на себѣ печать нравственнаго склада Англичанъ.

То же сужденіе, очевидно, можетъ быть распространено и на разныя эпохи народа, или цѣлой группы народовъ. Глубокая нравственная исторія (самая суще-

*) *Россія и Европа*, Спб. 1871 г.

ственная изъ всѣхъ исторій) совершается въ народѣ; онъ переживаетъ періоды утомленія, энтузіазма, религіозныхъ и политическихъ волненій. Все это отражается на ходѣ мысли, окрашиваетъ ее въ извѣстные цвѣта. Поэтому, намъ кажется не совсѣмъ справедливымъ, когда философскія ученія выводятся прямо изъ другихъ предшествующихъ. Развитіе не имѣетъ здѣсь такой строгости. Такъ, на примѣръ, намъ кажется очень несправедливымъ выводъ геперешняго нѣмецкаго матеріализма изъ гегельянства. Матеріализмъ есть слѣдствіе упадка высшихъ духовныхъ интересовъ, есть *пониженіе ума*, а пониженіе есть отрицательное явленіе, которое, какъ всѣ такія явленія, не требуетъ необходимо положительныхъ причинъ для объясненія. Причина этихъ низшихъ явленій есть только *отсутствіе* высшихъ. Человѣкъ утомленный засыпаетъ, все равно чѣмъ бы онъ ни былъ утомленъ. Такъ и умъ постоянно впадаетъ въ матеріализмъ, когда начинаетъ слабо дѣйствовать. Такъ было послѣ Декарта, потомъ послѣ Локка, и точно тоже случилось послѣ Гегеля.

Такимъ образомъ, если мы обратимся къ тому перевороту въ наукахъ, о которомъ повели рѣчь, то будемъ имѣть нѣкоторое основаніе предполагать въ немъ участіе тѣхъ нравственныхъ и философскихъ переменъ, которыя случились въ Европѣ со временъ Кювье. Тогда намъ объяснится, почему этотъ переворотъ случился такъ быстро, и почему такъ долго держались прежнія мнѣнія, *по видимому ни на чемъ не опиравшіяся*.

V.

Чтобы уяснить нравственную силу и состоятельность которую могутъ имѣть понятія совершенно фантастическія, возьмемъ небольшой примѣръ.

Положимъ, какого нибудь человѣка убило громомъ. Во времена суевѣрій благочестивые люди подумали бы, что за этимъ человѣкомъ, вѣроятно, есть какая нибудь тяжкая вина, можетъ быть никому невѣдомая, что эта вина однако же не укрылась отъ всевидящаго божества, и что оно въ гнѣвъ направило своею рукою громовую стрѣлу на виноватаго и такимъ образомъ покарало его. Теперь мы знаемъ, что все это невѣрно, что невинный можетъ быть убитъ громомъ, какъ и виноватый, что не божество бросаетъ стрѣлы молніи, а направляются они слѣпою силою электричества, и что смерть человѣка, слѣдовательно, есть простая, чистая случайность. Этими открытіями, какъ извѣстно, чрезвычайно гордился XVIII вѣкъ; подобную гордость возбуждало развѣ только доказательство вращенія земли около солнца.

Между тѣмъ, если мы будемъ разсматривать фактъ,—смерть человѣка отъ грома,—во всей его цѣлости, то увидимъ, что наше новое о немъ понятіе не заключаетъ въ себѣ ничего радостнаго. Старое понятіе есть полное рѣшеніе дѣла, а новое—только возбуждаетъ вопросъ. Старое невѣрно, но совершенно ясно; новое вѣрно, но приводитъ насъ въ совершенное недоумѣніе, обдаетъ насъ тьмою. Ибо старое утверждаетъ, что въ этой смерти есть смыслъ; новое же доказываетъ, что она есть совершенная безсмыслица.

Въ самомъ дѣлѣ, мы невольно спрашиваемъ: за что и для чего убитъ человѣкъ? Если цѣль и смыслъ жизни, какъ нынче говорятъ, есть наслажденіе ея благами, то почему эта цѣль не достигнута и этотъ смыслъ уничтоженъ? Этотъ человѣкъ имѣлъ, говоря нынѣшнимъ языкомъ, всѣ *права* на жизнь, не былъ ни въ чемъ виноватъ, могъ быть полезенъ для общества, нуженъ для

семейства;—спрашивается, за чѣмъ же совершилась такая жестокая бессмыслица? Если мы подумаемъ, что жизнь величайшаго генія точно такъ же виситъ на волосѣ, какъ и жизнь всякаго человѣка, что игра случайностей дѣйствуетъ ежедневно, ежеминутно, что противъ нея нѣтъ никакихъ силъ и средствъ, то мы, вмѣсто радости объ открытіи электричества, можемъ впасть въ самый мрачный пессимизмъ. (Читайте на эту тему Паскаля). Всего не откроешь и ото всего не оградишься. Вѣчный обманъ, въ которомъ мы живемъ, не думая о завтрашнемъ днѣ, не чуя грядущихъ бѣдъ, покажется противнымъ, если въ него вдуматься серьезно.

Между тѣмъ, въ старомъ понятіи какое чудесное сочетание оптимизма съ пессимизмомъ въ самой надлежащей мѣрѣ! Грозное божество постоянно видитъ человѣка и можетъ его убить. Но если убьетъ, то въ этомъ будетъ смыслъ, то это будетъ совершенно съ строжайшею справедливостью. Смыслъ явленію данъ полный—вотъ что важно для человѣка.

Можетъ быть читатели, привыкшіе къ мысли объ общихъ законахъ природы, найдутъ, что смерть отдѣльнаго человѣка не требуетъ особаго объясненія, что раздавить человѣка природа имѣетъ такое же право, съ какимъ мы давимъ муравья, ползущаго по дорожкѣ; но замѣтимъ, что когда число гибнущихъ людей увеличивается, то мы неудержимо стремимся къ тому самому объясненію, которое отвергается нашими физическими познаніями. Когда цѣлая страна, какъ на примѣръ Франція, покрыта кровью и пламенемъ, то мы непременно хотимъ видѣть здѣсь кару за что-то, не за плохія знанія или неудачныя распоряженія, а именно за нѣкоторую нравственную вину. Между тѣмъ, что доказываетъ такую вину? Почему не

предположить, что бѣдствія Франціи зависятъ отъ случайнаго сочетанія нѣкоторыхъ элементовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ нравственностію? Но мы во что бы то ни стало желаемъ думать, что жизнь народовъ управляется нравственными началами. А если такъ, то почему этими началами не можетъ управляться жизнь отдѣльнаго человѣка? Или наоборотъ, почему не предположить, что гибель всего человѣчества могла бы произойти такъ же случайно, такъ же бессмысленно, какъ отдѣльная смерть? (Читайте Герцена).

И такъ, мы можемъ назвать легкомысленнымъ физика, который, давъ свое объясненіе, не замѣчаетъ вытекающихъ изъ него трудныхъ вопросовъ, и можемъ понять, почему составилось и долго держалось фантастическое объясненіе, которое эти вопросы разрѣшаетъ.

VI.

Подобное разсужденіе можно сдѣлать и при сравненіи мнѣній Кювье и Дарвина о видахъ.

Взглядъ Кювье на постоянство видовъ и на ихъ отдѣльное созданіе можно формулировать такимъ образомъ:

Прежде всего существовало и выше всего существуетъ верховное существо, совмѣщающее въ себѣ всѣ совершенства—Богъ. Организмы созданы этимъ существомъ, именно такъ, что каждый видъ получилъ отъ начала всѣ свои существенныя свойства, сохраняемыя имъ потомъ неизмѣнно. „Видовъ“, говорилъ Линней, „столько, сколько Богъ создалъ различныхъ формъ“. Каждый видъ организмовъ представляетъ строгую гармонію между органами, составляющими его тѣло; каждый видъ имѣетъ, кромѣ того, гармонію съ окружающею

его природою. Безъ той и другой гармоніи видъ не могъ бы существовать, и обѣ онѣ—предустановлены, устроены божественнымъ творчествомъ.

Вотъ понятія, которыя можно считать невѣрными, но которыя никто не назоветъ неясными, или неудовлетворительно отвѣчающими на вопросъ. Если мы признаемъ ихъ, то намъ останется только изучать и понимать свойства организмовъ, а вопросъ о томъ, какъ они могли явиться, уже не будетъ затруднять насъ. Органическій міръ есть высшая часть природы; онъ исполненъ такого разнообразія, такой красоты, такого глубокаго смысла, какъ ничто другое; во главѣ его стоитъ человѣкъ, чудеснѣйшее изъ всѣхъ созданій, величайшая загадка, воплощенный духъ. Но, какія бы чудеса мы ни находили во всемъ этомъ, насъ не будетъ приводить въ недоумѣніе вопросъ, какъ и откуда они могли возникнуть. Ибо источникъ ихъ есть существо, въ которомъ нѣтъ мѣры всякому совершенству, всему, что можно назвать хорошимъ и высокимъ. То, что мы видимъ въ организмахъ, есть лишь частица, даже очень малая, этихъ совершенствъ.

Понятія Кювье составляютъ лишь частное приложеніе того взгляда, который содержится вообще въ вѣрованіи въ Бога. Взглядъ этотъ предполагаетъ, что всѣ достоинства, какія мы находимъ въ мірѣ и его вещахъ, существовали прежде міра и вещей, что источникъ міра уже заключалъ ихъ въ себѣ.

А если мы сдѣлаемъ еще шагъ въ обобщеніи, то получимъ уже несомнѣнную аксіому, именно: причины должны содержать въ себѣ то, что является въ ихъ слѣдствіяхъ. Изъ ничего ничего не бываетъ; міръ, кото-

рый мы знаемъ, едва ли исчерпываетъ ту сущность, которой онъ есть проявленіе.

Взамѣнъ этихъ понятій, что же намъ предлагаетъ Дарвинъ? Внутреннее стремленіе его теоріи, очевидно, состоитъ въ томъ, чтобы объяснить устройство и разнообразіе организмовъ—*случайностями*, то есть не предполагать въ этомъ дѣлѣ никакого предустановленнаго плана, никакой причины, предшествующей явленіямъ и заключающей въ себѣ ихъ смыслъ. Такъ точно греческіе атомисты пытались объяснить весь міръ какъ порожденіе случайнаго столкновенія и скопленія атомовъ въ пространствахъ.

По Дарвину, появились сперва простѣйшіе организмы; откуда?—на этомъ вопросѣ онъ не останавливается и даже положительно отвергаетъ произвольное зарожденіе, которое, по видимому, подходило бы къ свладу его теоріи. Немногіе первоначальные организмы стали измѣняться и разнообразиться; ибо измѣнчивость, по Дарвину, есть общее свойство организмовъ. Причины и законы, по которымъ измѣняются организмы, намъ мало извѣстны, и Дарвинъ неоднократно настаиваетъ, что это область весьма темная, почти вовсе невѣдомая. Но вотъ что ясно и что составляетъ сущность теоріи. Измѣненія, которымъ подвергаются организмы въ силу многочисленныхъ и неизвѣстныхъ причинъ, бываютъ *выгодныя* и *невыгодныя* для организмовъ. Эта выгодность и невыгодность есть дѣло совершенно случайное для каждаго существа; она зависитъ отъ сочетанія внѣшнихъ обстоятельствъ, среди которыхъ живетъ организмъ, и отъ сочетанія другихъ организмовъ, которыя живутъ вмѣстѣ съ нимъ. И вотъ отъ этой-то, совершенно случайной для организма, выгодности или невыгодности измѣненія, въ немъ происшед-

шаго, зависитъ все разнообразіе животной и растительной жизни. Выгодныя измѣненія остаются, укрѣпляются, образуютъ новые виды; невыгодныя истребляются. Этотъ процессъ называется борьбою за существованіе.

Такъ дѣло продолжается милліоны лѣтъ; разнообразіе и осложненіе растетъ по мѣрѣ того, какъ новыя и новыя сочетанія случайностей оказываются благопріятными для постоянно измѣняющихся организмовъ. Организмы, такъ сказать, формируются, вылѣпливаются по тѣмъ впадинамъ, которыя случайно представляетъ окружающая ихъ природа. Дарвинъ весьма сильно настаиваетъ на томъ, что организмы подаются, такъ сказать, во всѣ стороны; но форма, которую они могутъ принять и удержать, опредѣляется не какими-либо ихъ внутренними законами, не общимъ планомъ и т. п., а только и единственно тѣми свободными мѣстами, которыя окажутся въ тѣсно обнимающемъ ихъ и постоянно ихъ давящемъ мірѣ существъ, какъ однородныхъ съ ними, такъ и совершенно отъ нихъ отличныхъ.

Вся прелесть, вся привлекательность этой теоріи заключается, какъ это прямо говорятъ ея приверженцы, именно въ томъ, что не нужно предполагать никакой внутренней причины, по которой та или другая черта устройства существуетъ въ организмѣ: основаніе для этого было внѣшнее, постороннее, — случайное стеченіе обстоятельствъ.

Такъ произошелъ, наконецъ, и человѣкъ; его устройство и все, что мы въ немъ называемъ красотою, благородствомъ, духовностію, есть лишь отраженіе нѣкоторыхъ, не слѣдующихъ никакому закону, не образующихъ никакого цѣлаго, случайностей, среди которыхъ развивалось животное царство.

VII.

Теперь мы можемъ видѣть, въ чемъ заключается главная сила Дарвиновой теоріи, и въ чемъ ея главная слабость. Сила ея въ томъ, что она обращаетъ явленія въ случайныя, и слѣдовательно, дѣлаетъ ненужнымъ объясненіе ихъ изъ болѣе высокаго источника, *отрицаетъ* такой источникъ. При всякомъ вопросѣ ничего не бываетъ яснѣе и проще, какъ отрицаніе самаго основанія вопроса; тогда умъ успокоивается, не видя передъ собой задачи. Такъ вопросъ о философіи очень упрощается, если мы убѣдимся, что всякая философія есть вздоръ, безсодержательныя хитросплетенія; вопросъ о Пушкинѣ ни мало не затруднитъ насъ, если признаемъ, что поэзія—пустыя побрякушки, нестоющія вниманія; вообще, вопросъ о всякомъ великомъ человѣкѣ получить самое удовлетворительное разрѣшеніе, если мы повѣримъ, что это былъ обыкновенный человѣкъ, лишь случайно попавшій въ необыкновенное стеченіе обстоятельствъ.

Есть люди, которымъ подобныя объясненія очень нравятся; они съ жадностію ищутъ ихъ повсюду и схватываютъ именно эту сторону во всѣхъ фактахъ. И нѣтъ сомнѣнія, что дѣйствіе ума здѣсь очень правильное, строго логическое. Въ естественныхъ наукахъ оно выразилось въ знаменитомъ правилѣ: *безъ необходимости не должно увеличивать число силъ, число началъ для объясненія.*

Слабость же теоріи Дарвина заключается въ томъ, что она, какъ и всѣ теоріи, гдѣ главная роль дана случайности, не можетъ обнять предмета во всемъ его объемѣ, и не объясняетъ самой существенной его стороны.

Подобныя теоріи всегда только *отодвигаютъ* вопросы, но не разрѣшаютъ ихъ, и въ этомъ отношеніи ихъ нужно причислить вполнѣ къ той *отрицательной* работѣ ума, которая разрушаетъ скороспѣлыя обобщенія и построенія, но не замѣняетъ собою и не можетъ замѣнить положительной работы.

Главное возраженіе, которое нужно сдѣлать противъ Дарвина, будетъ такое:

Объяснить происхожденіе организмовъ значитъ объяснить всѣ ихъ свойства, всю сущность. Каждая вещь потому имѣетъ извѣстныя свойства, что извѣстнымъ образомъ произошла, и обратно, она потому не могла произойти иначе, что имѣетъ такую, а не другую природу. И такъ, нужно взять природу организмовъ, ея существенныя черты, и потомъ уже искать способа, какимъ могла возникнуть именно такая природа, именно эти черты. Какія же существенныя черты представляютъ намъ организмы? Размноженіе, наслѣдственность, развитіе, смерть; постоянное взаимодействіе органовъ между собою и съ внѣшнимъ міромъ; половое различіе, различіе животныхъ и растеній, разные типы и группы, отличающіеся рѣзкимъ своеобразиемъ; въ животныхъ — являются чувствительность и произволъ и принимаютъ тысячи болѣе и болѣе совершенныхъ формъ; чувствительность достигаетъ разнообразія и совершенства пяти чувствъ; являются инстинкты, страсти, умъ; наконецъ, высшій организмъ, человѣкъ, представляетъ явленія столь высокія и трудныя, что глубже и существеннѣе мы ничего и не можемъ полагать; для человѣка онъ самъ — конецъ и источникъ всѣхъ вопросовъ.

Вотъ что, въ той или другой мѣрѣ, въ полномъ или частномъ объемѣ, долженъ объяснить намъ тотъ, кто

берется говорить о происхожденіи организмовъ. Дарвинъ отчасти видѣлъ такую постановку задачи, предчувствовалъ ея обширность. Въ самомъ началѣ своей книги *О происхожденіи видовъ* онъ говоритъ:

„Натуралисту, размышляющему о происхожденіи видовъ и соображающему взаимное сродство органическихъ существъ, ихъ эмбриологическія отношенія, ихъ географическое распредѣленіе, геологическую послѣдовательность ихъ появленія, и другіе подобные факты, легко прійти къ заключенію, что каждый видъ не былъ созданъ отдѣльно, но что всѣ они произошли какъ разновидности отъ другихъ видовъ. Тѣмъ ни менѣе, такое заключеніе, *даже если оно и основательно, не можетъ удовлетворить насъ, пока мы не объяснимъ себѣ, какимъ способомъ безчисленные виды, населяющіе землю, были видоизмѣнены до того совершенства въ строеніи и въ взаимныхъ приспособленіяхъ, которое такъ странно и вѣдливо восхищаетъ насъ*“ *).

Совершенно вѣрно; то именно, что всего больше *восхищаетъ насъ*, то и составляетъ главную сторону задачи, существенный предметъ нашего любопытства. А что же сдѣлалъ самъ Дарвинъ? Примѣняя къ его теоріи его же слова, мы можемъ сказать такъ:

„Натуралисту, принявшему всѣ гипотезы и объясненія Дарвина, конечно легко будетъ признать, что всѣ виды подвергались *какимъ-нибудь* измѣненіямъ, что должно было происходить *какое-нибудь* дифференцированіе, и что тѣ приспособленія, которыя *случились*, должны были укрѣпляться и господствовать въ силу борьбы за существованіе; но такое заключеніе, даже если бы оно было

*) *О происхожденіи видовъ*, стр. 2.

вполнѣ основательно, не можетъ удовлетворить насъ, пока теорія не объяснитъ намъ, *какія именно* измѣненія были претерпѣваемы видами, *по какимъ законамъ* совершалось дифференцированіе, и *какимъ образомъ* получились именно тѣ удивительныя приспособленія и удивительныя свойства организмовъ, которыя мы знаемъ, а не *какія-нибудь другія*“.

Въ самомъ дѣлѣ, теорія Дарвина не рисуетъ намъ никакой картины растительнаго и животнаго царства, не даетъ даже ни единой изъ главныхъ чертъ этой картины; она не объясняетъ ни наслѣдственности, ни полового различія, ни чувствительности, ни типовъ растений и животныхъ, словомъ ничего частнаго и опредѣленнаго, заключающагося въ организмахъ. Какъ же можно сказать, что она объясняетъ происхожденіе видовъ?

Намъ говорятъ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны. Положимъ. Изъ глины, или отъ обезьяны, — намъ все равно, если объясненіе будетъ совершенно удовлетворительно. Но по книжкѣ Дарвина вѣдь выходитъ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны точно такъ, какъ одинъ видъ инфузорій отъ другаго вида инфузорій, или, пожалуй, какъ одна обезьяна отъ другой: вотъ съ чѣмъ согласиться невозможно, такъ какъ для насъ ясно, что человѣкъ есть совершенно особое существо въ природѣ, имѣетъ зачатки свойствъ, кореннымъ образомъ расходящихся съ животностію, и слѣдовательно, его происхожденіе, каково бы оно ни было, есть величайшее чудо, такой скачекъ, такой переворотъ, которому равнаго и подобнаго не представляетъ вся остальная исторія земной природы. Уловить всю особенность, всю индивидуальность этого переворота, — вотъ настоящая, правильная задача. А если мы этого не понимаемъ, если для

насъ совершенно неизвѣстно и незанимательно, чѣмъ человѣкъ отличается отъ обезьяны, то, конечно, намъ не будетъ затруднительно признать и твердить, что онъ отъ обезьяны происходитъ; да только что же толку въ подобномъ заключеніи, когда оно дѣла ни мало не поясняетъ и не исчерпываетъ?

Такъ точно и вообще, Дарвинова теорія не уясняетъ вполне и не исчерпываетъ содержанія и разнообразія животной и растительной жизни. Она основывается на нѣкоторыхъ дѣйствительно органическихъ явленіяхъ, каковы—размноженіе, борьба за существованіе и смерть; но и эти черты едва ли поняты въ ихъ настоящемъ, живомъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, смерть всегда играетъ у Дарвина роль событія случайнаго для самого организма. Невыгодныя измѣненія, по его теоріи, изгоняются съ лица земли насильственно; виды исчезаютъ отъ голода, или отъ преслѣдованія хищныхъ враговъ, вредныхъ паразитовъ и т. п. Между тѣмъ, судя по аналогіи, нельзя допустить этого. Конечно, всякій организмъ можетъ быть умерщвленъ насильственно, и вѣроятно большая часть ихъ именно такъ умираетъ. Но такая смерть есть *случайность*, не вытекающая изъ устройства и развитія организма, и слѣдовательно, если бы всѣ организмы такъ умирали, то фізіологія имѣла бы одною задачею меньше,—именно, вовсе не нужно было бы объяснять, почему организмъ послѣ извѣстнаго времени умираетъ безъ всякаго внѣшняго повода, безъ всякой переменны во внѣшнихъ обстоятельствахъ? Дарвинъ, чтобы избѣжать необходимости органическаго объясненія вымиранія видовъ, принимаетъ для нихъ вездѣ механическую смерть. Но, такъ какъ для насъ несомнѣнно существованіе такъ называемой *естественной смерти* от-

дѣльныхъ организмовъ, то мы должны предположить, что и при развитіи видовъ происходило естественное вымираніе. Нѣкоторые фазисы жизни, такъ сказать, *отжигали*; они исчезали не чѣмъ либо тѣснимые, а сами собою.

Мы ограничимся этими общими замѣчаніями, въ которыхъ старались показать, что начала, принимаемая Дарвиномъ, недостаточны для предмета, теорію котораго онъ задумалъ построить. Не странно ли, что новые натуралисты обратили такъ мало вниманія на эту очевидную скудость началъ, что они такъ обрадовались, такъ заторопились и провозгласили побѣду, не имѣя на то достаточныхъ основаній? Имъ нужно было не объясненіе дѣла, а *какая-нибудь* теорія, поскорѣе нуженъ былъ новый авторитетъ, новое имя, новое знамя. Слѣдовательно, *переворотъ въ наукѣ* произошелъ не въ строгомъ соотвѣтствіи съ развитіемъ науки, а подгоняемый посторонними вліяніями. Не наука внезапно повернула въ другую сторону, а натуралисты.

И мы знаемъ, какое главное вліяніе содѣйствовало перевороту: это былъ матеріализмъ, или, если взять дѣло общѣе, это было то направленіе мыслей, которое можно назвать *европейскимъ нигилизмомъ*, и котораго нашъ нигилизмъ есть частное отраженіе, очень своеобразное и можетъ быть наиболѣе рѣзкое изъ всѣхъ. Нигилизмъ же есть явленіе преимущественно нравственное, отнюдь не голое умственное заблужденіе. И слѣдовательно, міръ ума и науки оказался въ настоящемъ случаѣ подчиненнымъ міру нравственному, — что и доказывать надлежало.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Послѣдователи и противники *).

Путаница въ умахъ.—Геккель.—Механическое объясненіе происхожденія видовъ.—Роста и наслѣдственности не объясняетъ Дарвинъ.—Цѣлесообразность.—Слова Гельмгольца.—Агасизъ.—Бэръ.—Замѣтка о переводахъ.

I.

Русскій переводъ главнаго сочиненія Дарвина вышелъ уже третьимъ изданіемъ. Другое его сочиненіе, *О происхожденіи человека*, появилось у насъ, какъ извѣстно, въ трехъ переводахъ разомъ. И такъ, Дарвинъ у насъ популярный писатель; онъ читается не только специалистами, а массою публики, людьми, питающими притязаніе на образованность и просвѣщеніе. Къ сожалѣнію, никакъ нельзя радоваться подобному распространенію любви къ серіозному чтенію; нынѣшняя страсть къ Дарвину есть явленіе глубоко-фальшивое, чрезвычайно уродливое. Дарвинъ, по видимому, пишетъ ясно и отличается большою точностію и простотою выраженій; но нельзя сказать, чтобы онъ писалъ толково; онъ не указываетъ хода своихъ мыслей, ихъ отношенія къ существующимъ понятіямъ, ихъ точнаго объема. Два его сочиненія *О происхожденіи видовъ* и *О происхожденіи человека* имѣ-

*) *О происхожденіи видовъ*, сочиненіе Чарльса Дарвина. Перевелъ съ англійскаго С. А. Рачинскій. Изданіе третье, исправленное. Москва, 1873.

Zum Streit über den Darwinismus. Von K. E. von-Baer (aus der «Augsburger Allgemeinen Zeitung»). Dorpat, 1873. (Къ спору о дарвинизмъ. Е. Э. Бэра [изъ «Всеобщей Аугсбургской Газеты»]. Дерптъ, 1873).

ютъ совершенно неправильное заглавіе; они никакого происхожденія не объясняютъ; первое приличнѣе было бы назвать трактатомъ о *вымираніи видовъ*, а второе о *чертахъ сходства*, существующаго между человѣкомъ и животными.

Какъ бы то ни было, путаница въ умахъ читателей, возбужденная Дарвиномъ, невѣроятно велика; это одинъ изъ самыхъ жалкихъ примѣровъ уродливостей, порождаемыхъ наукою, когда она перестаетъ быть дѣломъ строгаго изслѣдованія. Естественно, что въ массѣ публики вопросы ставятся грубо, рѣзко, господствуютъ предразсудки, дѣйствуетъ авторитетъ, и вотъ, ученіе нетвердое и одностороннее возводится на степень доказанной истины и набираетъ множество приверженцевъ, которые вѣрятъ не тому, что имъ доказано, даже не тому, что заключается въ словахъ ихъ авторитета, а собственнымъ своимъ выдумкамъ.

Относительно Дарвина можно сказать, что его не знаютъ и не понимаютъ не только обыкновенные читатели, но и сами ученые, ставшіе его послѣдователями. Въ Германіи самый извѣстный изъ дарвинистовъ есть нѣкто Геккель, авторъ многихъ объемистыхъ ученыхъ сочиненій. Между тѣмъ, его пониманіе Дарвиновой теоріи ужасно по своей грубости. Вотъ, на примѣръ, какъ онъ излагаетъ сущность дѣла:

„Необыкновенная заслуга Дарвина, котораго сочиненіе *О происхожденіи видовъ* вдругъ возбудило въ новой сильной жизни совершенно замолкшую теорію *перерожденія*, состоитъ не только въ томъ, что онъ изложилъ ее обширнѣе и полнѣе своихъ предшественниковъ и вооружилъ ее всѣми собранными до сихъ поръ доказательствами разныхъ отраслей зоологической и

„ботанической науки *). Еще бóльшая заслуга великаго „англійскаго натуралиста состоитъ въ томъ, что онъ въ „первый разъ создалъ теорію, которая *объясняетъ меха- „нически процессъ происхожденія видовъ*, т. е. сводитъ „его на физическія и химическія причины, на такъ-на- „зываемыя слѣпыя, безсознательныя и безъ плана дѣй- „ствующія силы природы. Эта теорія, составляющая вѣ- „нецъ и довершеніе всего зданія механическаго понима- „нія природы, есть ученіе о естественномъ подборѣ“.

„Слѣпыя, безсознательно и безцѣльно дѣйствующія „силы природы, которыя, какъ доказываетъ Дарвинъ, „составляютъ естественныя дѣйствующія причины всѣхъ „сложныхъ и повидимому столь цѣлесообразно устроен- „ныхъ формъ въ животномъ и растительномъ царствѣ, „суть жизненныя свойства *наслѣдственности* и приспо- „собленія или *измѣнчивости*. Оба эти жизненныя свой- „ства принадлежатъ всѣмъ организмамъ безъ исключенія, „и составляютъ лишь особые обнаруженія или частныя „явленія двухъ другихъ, болѣе общихъ жизненныхъ „дѣятельностей, отправленій *размноженія* и *питанія*, и „именно — приспособленіе тѣсно связано съ питаніемъ, а „наслѣдственность съ размноженіемъ. Но, такъ какъ *всѣ „явленія питанія и размноженія суть чисто механиче- „скіе процессы природы и производятся только одними „физическими и химическими причинами*, то тоже нужно „сказать и объ ихъ частныхъ явленіяхъ, объ отправленіяхъ „приспособленія и наслѣдственности. Исключительно толь- „ко взаимодѣйствіе этихъ отправленій и тѣ внѣшнія об- „стоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ совершается это „взаимодѣйствіе, — суть причины органическихъ образова-

*) Похвала, какъ мы увидимъ, несправедливая.

„ній и преобразованій“. (Ueber die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts, *Dr. Ernst Haeckel*, Berl. 1868. S. 23, 24).

Вотъ изложеніе, противъ котораго долженъ бы жестоко вооружиться самъ Дарвинъ, если бы заботился о точномъ смыслѣ своей теоріи, а не объ одной извѣстности, не объ одномъ приобрѣтеніи поклонниковъ, каковы бы они ни были. Но противъ словъ Геккеля вооружится и всякій физикъ, всякій фізіологъ. Какъ?—наслѣдственность и измѣнчивость суть *силы природы*? Бѣльшей безсмыслицы въ употребленіи слова *сила* еще не бывало. „Питаніе и размноженіе суть чисто механическіе процессы“; но кто же и когда это доказалъ? Какой фізіологъ не скажетъ, что не сдѣлано ни шагу для этого доказательства? И Дарвинъ, выдумавшій для объясненія роста и размноженія организмовъ особую гипотезу *пангенезиса*, не долженъ ли прямо сказать, что онъ понимаетъ питаніе и размноженіе никакъ не механически, а скорѣе чисто органически?

Мысль Дарвина, очевидно, получила у Геккеля самый превратный смыслъ. Но мы видимъ отсюда, чего бы хотѣлось Геккелю, и почему, какъ онъ, такъ и множество другихъ, стали такими ревностными приверженцами Дарвина. Дарвинъ сдѣлалъ только шагъ къ устраненію понятія *цѣлесообразности* въ организмахъ; онъ вовсе не проповѣдывалъ *слѣпыхъ, механически-дѣйствующихъ силъ измѣнчивости и наслѣдственности*, а только попытался свести чудесное устройство организмовъ на *случайное приспособленіе*. Но его послѣдователи уже трубятъ, что знаніе механическаго взгляда на природу закончено и увѣнчано, что найдены силы, объясняющія всѣ формы организмовъ.

Ничего не найдено, и ничего не объяснено. Въ томъ главномъ сочиненіи Дарвина, заглавіе котораго стоитъ въ началѣ нашей статьи, онъ не говоритъ ни единого слова, которое имѣло бы цѣлью объясненіе роста и наслѣдственности. И вообще, этого объясненія нѣтъ нигдѣ въ его сочиненіяхъ, кромѣ предпоследней, XXVII главы его сочиненія „The variation of animals and plants“; а въ этой главѣ онъ объясняетъ ростъ и наслѣдственность не механически, а посредствомъ гипотезы, состоящей изъ очень хитраго и невѣроятнаго усложненія *органическихъ* процессовъ. Такъ что Дарвинъ и не думалъ и не могъ говорить такой глупости, что ростъ и наслѣдственность суть механическія силы природы, не думалъ и не могъ говорить, что онъ объяснилъ эти явленія какъ механическій процессъ.

Но если такъ, то что же сдѣлалъ Дарвинъ? Оказывается, что это гораздо труднѣе понять, чѣмъ обыкновенно думаютъ. И въ самомъ дѣлѣ, его послѣдователи большею частію защищаютъ не его мнѣнія, а свои собственныя, и его противники нападаютъ на то, чего онъ вовсе не думалъ. Чтобы кратко указать въ чемъ состоитъ дѣйствительная мысль Дарвина, мы приведемъ слова Гельмгольца, старавшагося, въ одной изъ своихъ рѣчей, объяснить, что новаго внесъ въ науку Дарвинъ.

„Теорія Дарвина“, говоритъ Гельмгольцъ, „сдѣлала возможнымъ совершенно новое объясненіе *органической цѣлесообразности*“.

„Эта замѣчательная и съ развитіемъ науки все болѣе „и болѣе раскрывавшаяся цѣлесообразность въ строеніи „и отправленіяхъ живыхъ существъ была главною причиною, побудившею сравнивать жизненные процессы съ дѣйствіями сознательнаго и разумнаго принципа. Мы зна-

„емъ во всемъ окружающемъ насъ мірѣ только одинъ
„рядъ явленій, имѣющихъ подобный характеръ, — именно
„дѣйствія и созданія разумаго человѣка; и мы должны
„признать, что, во множествѣ случаевъ, цѣлесообразность
„органическаго міра на столько превосходить способности
„человѣческаго разума, что ей можно приписать скорѣе
„вышнія, чѣмъ низшія свойства“.

„До Дарвина извѣстны были только два объясненія
„органической цѣлесообразности, которыя оба предпола-
„гали вмѣшательство свободнаго разума въ ходъ есте-
„ственныхъ процессовъ. Первое объясненіе, совпадающее
„съ виталистическою теоріей, предполагаетъ, что всѣ жиз-
„ненные процессы управляются постоянно *жизненною*
„*душою*; другое же объясненіе прибѣгаетъ къ сверх-
„естественному разумному существу, творческій актъ
„котораго произвелъ въ отдѣльности каждый существующій
„видъ организмовъ. Послѣднее воззрѣніе, хотя и прини-
„маетъ болѣе рѣдкія нарушенія законной связи естествен-
„ныхъ явленій и позволяетъ относиться строго-научнымъ
„образомъ къ тѣмъ процессамъ, которые наблюдаются
„въ живущихъ теперь органическихъ видахъ, но и оно
„не могло вполнѣ устранить всякое нарушеніе естествен-
„ной закономерности, и поэтому едва ли имѣетъ значи-
„тельное преимущество сравнительно съ виталистическимъ
„воззрѣніемъ, которое, съ другой стороны, имѣетъ сильную
„поддержку въ естественномъ стремленіи человѣка — за-
„одинаковыми явленіями искать одинаковыхъ причинъ“.

„Теорія Дарвина заключаетъ въ себѣ существенно
„новую плодотворную идею. Она показываетъ, какъ цѣле-
„сообразность въ строеніи организмовъ *можетъ произойти*
„безо всякаго вмѣшательства внѣшняго разума, единственно
„черезъ необходимое дѣйствіе закона природы, — именно за-

„зона наслѣдственности индивидуальных особенностей, — закона давно извѣстнаго и признаннаго, но нуждавшагося „въ болѣе опредѣленномъ формулированіи“. („Бесѣда“, 1871, іюнь, стр. 265, 266).

И такъ, вотъ въ чемъ дѣло, вотъ узелъ вопроса. Главный вѣсъ и смыслъ Дарвиновой теоріи заключается въ отрицаніи *цѣлесообразности* организмовъ, въ предположеніи, что эта цѣлесообразность произошла отъ накопленія *случайныхъ* измѣненій, оказавшихся выгодными для существъ, въ которыхъ эти измѣненія случились. Ростъ и наслѣдственность не объясняются въ этой теоріи, а *предполагаются*, какъ данныя явленія, изъ которыхъ нужно объяснить остальные. Дарвинъ собственно стремится свести сложныя и частныя органическія явленія на болѣе простыя и общія, на измѣнчивость и наслѣдственность. Но, такъ какъ онъ не знаетъ, въ чемъ состоитъ сущность этихъ простѣйшихъ явленій, и даже не знаетъ какихъ-нибудь точныхъ и общихъ законовъ, по которымъ они совершаются, то онъ и не могъ сдѣлать этого сведенія надлежащимъ образомъ, а прибѣгнулъ къ уловкѣ, состоящей въ *отрицаніи* того, что требуется для объясненія. Дарвинъ предполагаетъ собственно, что наслѣдственность и измѣнчивость не слѣдуютъ *никакимъ* законамъ, движутся по *всевозможнымъ* направленіямъ, и что правильность и цѣлесообразность получаются только отъ исчезанія формъ, не могущихъ выдержать *борьбы за существованіе*. Вотъ почему, всякій законъ, отрываемый въ явленіяхъ измѣнчивости и наслѣдственности, ведетъ въ опроверженію теоріи Дарвина. Сила этой теоріи, вся ея привлекательность для умовъ заключается именно въ предположеніи *отсутствія* законовъ, въ сведеніи явленій на игру случайностей.

Простодушные читатели часто думаютъ и говорятъ, что Дарвинъ что-то *доказалъ*, или *открылъ*, или *опровергъ*; между тѣмъ ничего подобнаго объ немъ сказать нельзя; онъ только внесъ въ эту область естественныхъ наукъ свой взглядъ, *идею случайности*, идею совершенно не-состоятельную, но которая увлекла умы своимъ отрица-тельнымъ характеромъ, освобожденіемъ отъ другихъ идей. Что же касается до фактовъ, то они остались тѣ-же, какъ и были,—загадочные, безконечно-тайнственные и сложные; объяснить ихъ смыслъ еще никому не дано; можно только отрицать его — что и сдѣлалъ Дарвинъ.

II.

Въ маленькой брошюрѣ знаменитаго Бэра, отца научной эмбриологіи, приводится отзывъ Агасиза, что дарвинизмъ есть *цѣлое болото голословныхъ утверждений*. „Конечно“, говоритъ Бэръ, „это очень жестко; но бѣда въ томъ, что эта жесткость высказана натуралистомъ, котораго никто не можетъ упрекнуть въ неспособности къ общимъ идеямъ, и который, сверхъ того, обладаетъ основательнѣйшими свѣдѣніями въ палеонтологіи, въ исторіи развитія и въ сравнительной анатоміи, то есть именно въ областяхъ науки наиболѣе нужныхъ при рѣшеніи вопроса о филогенетическомъ развитіи животныхъ формъ“ (стр. 5).

Самъ Бэръ очень хорошо видитъ, въ чемъ заключается узелъ Дарвиновой теоріи, зерно ея силы, и весьма остроумно разсуждаетъ объ этомъ.

„Въ чемъ состоятъ“, спрашиваетъ онъ, „тѣ условія, которыя, по теоріи Дарвина, должны намъ объяснить цѣлесообразность устройства органическихъ тѣлъ? Ко-

„нечно въ томъ, что все менѣе цѣлесообразное въ формахъ, происшедшихъ отъ безконечно продолжающейся измѣнчивости, уничтожается въ *борьбѣ за существованіе*? „Смутно припоминается мнѣ при этомъ, что я уже когда-то читалъ или слышалъ о попыткѣ достигнуть цѣлесообразнаго, и даже глубокомысленнаго, посредствомъ исключенія всего негоднаго, производимаго случайною измѣнчивостію. Это смутное воспоминаніе я стараюсь перетянуть за *порогъ сознанія*, — и вотъ оно встаетъ передо мной живо и ясно! Въ Академіи города Лагадо, нѣкоторый философъ, основываясь на вѣрной мысли, что всякая достижимая для людей истина можетъ быть выражена только словами, написалъ всѣ слова своего языка во всѣхъ ихъ грамматическихъ формахъ на сторонахъ кубиковъ, и выдумалъ машину, которая не только переворачивала эти кубики, но и ставила ихъ въ рядъ. „Послѣ каждаго поворота машины, слова, показывавшіяся рядомъ, прочитывались, и если три или четыре слова имѣли вмѣстѣ какой-нибудь смыслъ, они заносились въ книгу, „чтобы такимъ образомъ достигнуть всевозможной мудрости, которая вѣдь ни въ чемъ иномъ не могла выражаться кромѣ словъ. Такимъ образомъ, исключеніе негоднаго было тоже механическое и совершалось несравненно быстрѣе, чѣмъ въ *борьбѣ за существованіе*. Но „чего же этимъ достигли съ теченіемъ временъ? Къ сожалѣнію, извѣстій объ этомъ у насъ нѣтъ. Единственный историкъ Академіи Лагадо есть Гулливеръ въ своихъ путешествіяхъ къ отдаленнымъ народамъ, именно въ третьемъ путешествіи. Въ то время, какъ онъ былъ тамъ, уже было наполнено отдѣльными изреченіями нѣсколько фоліантовъ, но предполагалось, въ интересъ общества и ради его просвѣщенія, построить и привести

„въ дѣйствіе 500 такихъ машинъ на казенный счетъ!
„Долго принимали этого рассказчика за шутника, такъ
„какъ само собою разумѣется, что цѣлесообразное и глу-
„бокомысленное никакъ и никогда не можетъ возникнуть
„изъ случайныхъ частныхъ, но уже съ самаго начала
„должно быть мыслимо какъ нѣчто цѣлое, хотя и спо-
„собное къ усовершенствованію. А вотъ теперь мы должны
„признать, что этотъ философъ былъ глубокій мыслитель,
„что онъ предвидѣлъ нынѣшніе триумфы науки!“ (стр. 6, 7).

Такъ говоритъ геніальный старецъ, который—удиви-
тельно подумать—*пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ* осно-
валъ научную эмбриологію. Не безъ горькаго чувства
онъ видитъ, что то великое движеніе идей, которое во-
одушевляло его юность и привело его къ созданію но-
вой науки,—теперь изсякло, что, прежде чѣмъ оно при-
несло плоды, которыхъ отъ него ждали, произошелъ
наплывъ новыхъ идей, въ борьбѣ съ которыми широкія
и величавыя идеи былаго времени обнаружили стран-
ное, поражающее безсиліе. Зрѣлище чрезвычайно по-
учительное для того, кого интересуетъ исторія идей и
развитіе наукъ. Изъ брошюрки мы узнаемъ, что Бэръ
пишетъ противъ дарвинизма, и что всѣ его статьи, отно-
сящіяся къ этой полемикѣ, и уже явившіяся, и еще при-
готовляемыя, будутъ напечатаны во второмъ томѣ*)
Reden und Aufsätze (рѣчи и статьи),—сборника, кото-
раго первый и третій томъ уже вышли.

*) Томъ этотъ, наконецъ, явился въ 1876 году, т. е. чрезъ 17 лѣтъ
послѣ появленія книги Дарвина. Почти весь этотъ томъ посвященъ
опроверженію Дарвиновой теоріи, именно разъясненію понятія *цѣлесо-*
образности и доказательству, что цѣлесообразность обнаруживается въ
самомъ *развитіи* организмовъ. Такимъ образомъ уничтожается идея
случайности, въ которой состоитъ вся привлекательность Дарвинова
ученія. Но книга Бэра не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на натура-
листовъ.

Поздн. примѣч.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о русскихъ переводахъ Дарвина. Дарвинъ у насъ переводится и издается съ такою небрежностію, которая странно противорѣчитъ великому уваженію, повидимому, питаемому къ нему и переводчиками и публикой. Изъ всѣхъ переводовъ и изданій, мы не знаемъ ни одной книги Дарвина, которую можно бы было удобно читать по русски. Лучшимъ еще можно считать переводъ *О происхожденіи видовъ*, хотя и тутъ читатель на каждой страницѣ спотыкается о такіе обороты:

„Весьма сожалѣю, что недостатокъ мѣста лишаетъ меня „удовлетворенія выразить мою признательность“ и пр. (стр. 2).

„Не могу удержаться отъ того, чтобы привести еще „примѣръ“ и пр. (стр. 57).

„Одинъ полномѣсный авторитетъ, сэръ Чарльсъ Лейелль, „по дальнѣйшему размышленію впалъ на этотъ счетъ въ „сильныя сомнѣнія“ (стр. 233).

Это совсѣмъ не по русски. Но есть и такія мѣста, гдѣ нескладница происходитъ отъ слишкомъ большаго усердія переводчика къ русскому языку. Напримѣръ:

„Нѣтъ непогрѣшимаго *въдала* для распознаванія вида „отъ рѣзкой разновидности“ (стр. 44).

Имя существительное *въдало* встрѣтилось намъ въ первый разъ въ этой книгѣ; оно, очевидно, должно замѣнить слово *критерій*, которое переводчикъ нашелъ помѣхою для ясности и красоты русской рѣчи. Точно такъ, изъ новаго третьяго изданія онъ изгналъ даже слово *натуралистъ* и замѣнилъ его будто-бы болѣе благозвучнымъ и понятнымъ словомъ *естествоиспытатель*. Вотъ труды по истинѣ напрасныя! Ужъ если вы такъ любите русскій языкъ, то прежде всего и больше

всего старайтесь сохранить его строй, русскій синтаксисъ, позаботьтесь о томъ, чтобы согласованіе словъ и теченіе рѣчи было точно, живо и ясно; а отдѣльныя иностранныя слова есть самое меньшее изъ золъ, возможныхъ въ русской книгѣ. Притомъ *натуралистъ*, *критерій* не суть англійскія слова, а слова *всемирныя*, которыя поэтому должны употребляться въ каждомъ образованномъ языкѣ. Напротивъ, если вы англійское слово *satisfaction* переведете буквально *удовлетвореніе*, то вы сдѣлаете англицизмъ, который ни въ русскомъ и ни въ какомъ другомъ языкѣ терпимъ быть не долженъ.

Въ новомъ изданіи, хотя оно именуется *исправленнымъ*, кажется не сдѣлано никакого исправленія, кромѣ изгнанія слова *натуралистъ*: ошибки, которыя мы привели, повторены въ третьемъ изданіи въ томъ самомъ видѣ, какъ онѣ явились въ первомъ. Опечатками новое изданіе кишитъ гораздо болѣе перваго.

Мы боимся утомлять читателей указаніемъ замѣченныхъ нами, сверхъ того, неточностей, пропущенныхъ словъ, неправильной передачи терминовъ и т. д. Но упомянуть объ этихъ неисправностяхъ считаемъ своимъ долгомъ. Горькій опытъ убѣдилъ насъ, что, вообще, изучать Дарвина по русскимъ переводамъ невозможно, что очень часто встрѣчается надобность обращаться къ подлиннику. Мы знаемъ, что хорошіе переводы вообще большая рѣдкость и всегда были рѣдкостію не въ одной нашей, но и во всякой другой литературѣ; все-таки нельзя не пожалѣть, что Дарвину не болѣе посчастливилось въ русской литературѣ.

(1872—73 гг.).

ІХ.

ПОЛНОЕ ОПРОВЕРЖЕНІЕ ДАРВИНИЗМА

(Русск. Вѣсти. 1887, янв.).

*Дарвинизмъ. Критическое изслѣдованіе Н. Я. Данилевскаго. Т. I, часть I, съ 7 таблицами рисунковъ и чертежей. Стр. 516. Т. I, часть II, съ 15 приложеніями. Стран. 530+148. Спб. 1885 *).*

I.

Н. Я. Данилевскій.

Прежде чѣмъ говорить объ этой книгѣ, необходимо дать нѣкоторое понятіе объ ея авторѣ. Ее писалъ чело-вѣкъ, имѣющій право на большой авторитетъ, на то, чтобъ его внимательно слушали и читали, а между тѣмъ почти неизвѣстный читателямъ. Хотя наша публика вообще очень дурно знаетъ нашихъ дѣятелей и то, что сдѣлано и дѣлается въ Россіи, но неизвѣстность автора *Дарвинизма* далеко превосходитъ и эту всегдашнюю мѣру равнодушія и невниманія. Можно сказать, что недавно умершаго Николая Яковлевича *никто не знаетъ*, въ про-тивоположность тому, какъ о людяхъ извѣстныхъ гово-

*) Впослѣдствіи вышло продолженіе и заключеніе, подъ заглазіемъ: *Дарвинизмъ. Н. Я. Данилевскаго. Т. II. (одна посмертная глава, пор-третъ и указатели ко всему сочиненію). Спб. 1889. Стран. 200+48.*

рится: *кто его не знает? его всякій знает.* Въ этомъ смыслѣ мы скажемъ совершенно правильно, что, напри- мѣръ, всѣ знаютъ нашего извѣстнаго романиста Григорія Петровича Данилевскаго, и что никто не знаетъ его одно- фамильца Николая Яковлевича Данилевскаго.

Такъ какъ тутъ наши личные чувства связаны и совпадаютъ съ общимъ дѣломъ, то мы позволимъ себѣ изложить его въ этой связи. Рѣдко кого такъ горько оплакиваютъ, какъ оплакивали неожиданную смерть Ни- колая Яковлевича всѣ его близкіе и близко его знавшіе; но къ этому горю для иныхъ потомъ прибавилась еще новая печаль, — очень слабое, почти незамѣтное впечат- лѣніе, которое произвела на другихъ эта потеря. При его жизни, намъ казалось, онъ горѣлъ какъ яркая звѣз- да высоко надъ нами; а между тѣмъ, когда эта звѣзда потухла, никто изъ постороннихъ этого не замѣтилъ.

Извѣстіе пришло въ Петербургъ въ самый день смерти (7 ноября 1885 года). Ближайшій другъ покойнаго, Ни- колай Петровичъ Семеновъ, которому посвящена и са- мая книга о дарвинизмѣ, пораженный и взволнованный, заболѣлъ и слегъ въ постель съ того же дня; такимъ образомъ на мнѣ лежала обязанность послать некро- логъ въ газеты. Трудно было, подавляя тоску, сдержи- вать свои выраженія и подбирать слова, приличныя для большой публики; но, къ немалому моему удивленію, по- томъ оказалось, что мой тонъ, какъ старательно ни былъ заглушаемъ, все еще былъ чрезвычайно высокъ для нашихъ читателей и нашихъ публицистовъ.

Въ самомъ началѣ некролога у меня было написано, что умеръ „одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей въ Россіи“. На другой день оказалось, что эти слова вы- черкнуты; газета не напечатала даже такой общей и

глухой оцѣнки, очевидно не довѣряя словамъ и не имѣя какой-нибудь возможности ихъ провѣрить. Пользуюсь теперь случаемъ протестовать противъ такого недовѣрія и настаивать на своемъ. Напрасно газета предполагала, что я сообщаю ей ложное, или сомнительное свѣдѣніе. Покойный былъ дѣйствительно вполне исключительнымъ явленіемъ по своимъ силамъ и своей дѣятельности. Нашъ извѣстный историкъ, К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, въ замѣткѣ, напечатанной (недѣли черезъ три послѣ моего некролога) въ *Извѣстіяхъ Славянскаго Общества*, называлъ Николая Яковлевича прямо „человѣкомъ геніальнымъ“ и пророчилъ, что „имя его и мысли будутъ жить, пока живетъ Русскій народъ“*). Высокая оцѣнка! Но ея нельзя не принять во вниманіе. Такъ цѣнить Н. Я. Данилевскаго многіе люди, очень чуткіе ко всякому умственному и нравственному достоинству, питающіе благодарность ко всему, что даетъ пищу ихъ душѣ; человѣка, успѣвшаго вызвать такія похвалы, конечно, можно было безъ особенной дерзости назвать однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей въ Россіи.

Отзывъ К. Н. Бестужева относится больше всего къ политико-историческимъ трудамъ Николая Яковлевича, напримѣръ, къ его книгѣ *Россія и Европа*. Здѣсь не мѣсто говорить объ этой книгѣ, и мы хотимъ только указать на то, что она вообще имѣетъ перворазрядный авторитетъ у всѣхъ, кто держится такъ-называемыхъ славянофильскихъ мнѣній. Эта книга—цѣлая система всемірной исторіи и цѣлый кодексъ положеній о значеніи Россіи и ея отношеніяхъ къ Славянамъ. Уже по этой книгѣ всѣ должны бы знать Н. Я. Данилевскаго. Но

*) *Изв. С.-Петербургск. Слав. Благоутв. Общества*, 1885, стр. 457.

тотъ грустный и тяжелый ходъ вещей, по которому вниманіе нашихъ умовъ и сердець постоянно отвлекается отъ нашей внутренней, умственной и нравственной жизни, постоянно поглощено чуждыми намъ явленіями и внѣшними заботами, весь этотъ обывновенный ходъ дѣла далъ себя почувствовать и въ настоящемъ случаѣ. Въ некрологѣ у меня было сказано о Николаѣ Яковлевичѣ: „въ литературѣ онъ имѣлъ громкое имя“. Газета вычеркнула *громкое имя* и поставила просто *имя*. На этотъ разъ, мнѣ слѣдуетъ прямо сознаться въ ошибкѣ и признать, что поправка сдѣлана совершенно основательно. Если бы писать не въ тонѣ лицемѣрнаго приличія, который мы обывновенно употребляемъ, а просто и безъ заднихъ мыслей, то не только нужно было бы вычеркнуть слово *громкое*, а даже газета должна была бы сказать: „умеръ человекъ, о которомъ мы не имѣемъ никакого понятія, да и вы, читатели, вѣроятно, ничего не знаете, едва ли слышали его имя и никакъ не сумѣете отличить его отъ множества его однофамильцевъ“.

Но, если въ этомъ газета была права, хотя и въ огорченію знавшихъ покойнаго, то есть еще пунктъ, и самый важный, въ которомъ она огорчила ихъ уже понапрасну и была совершенно неправа сама. Въ некрологѣ говорилось о служебной дѣятельности покойнаго, и въ началѣ было сказано вообще: „труды его на поприщѣ службы были чрезвычайно велики и важны“. Газета вычеркнула эти слова, очевидно опять предполагая, что ей сообщается ложное, преувеличенное свѣдѣніе. Эта подозрительность имѣетъ до такой степени печальный смыслъ, что ею даже нельзя обижаться. Мы такъ привыкли ко лжи, такъ усердно сами практикуемъ ее во всякихъ видахъ и случаяхъ, что очень легко предпола-

гаемъ ее и въ другихъ; некрологи, какъ извѣстно, есть одинъ изъ самыхъ лживыхъ родовъ литературныхъ произведеній, гдѣ дается полный просторъ преувеличенію и умалчиванію. Вотъ отчего газета такъ мало церемонилась и съ доставленнымъ мною некрологомъ. Ей не могло и на умъ прійти, что рѣчь тутъ идетъ о человѣкѣ, для котораго нѣтъ надобности ни въ какомъ умалчиваніи и котораго можно громко хвалить ничего не преувеличивая. Таковъ онъ былъ дѣйствительно! Но вѣдь это рѣдкость, существованію которой на свѣтѣ не всѣ даже и вѣрятъ. И такъ, дѣло съ этой стороны понятное и извинительное.

Но бѣда въ томъ, что, вычеркивая слова о *великихъ и важныхъ трудахъ* Н. Я. Данилевскаго, газета отказалась помѣстить у себя не только совершенно вѣрное свѣдѣніе, но и такое, о которомъ слѣдовало бы и всякой газетѣ, и даже всякому серіозному читателю, имѣть хоть приблизительное понятіе. Дѣло идетъ о внутреннемъ хозяйствѣ Россіи, о пользованіи естественными богатствами нашего государства. Предметъ этотъ очень далекъ отъ мыслей образованныхъ русскихъ людей, не имѣетъ пикантности, свойственной политическимъ новостямъ, французскимъ романамъ и даже общимъ разсужденіямъ о благѣ человѣчества; но предметъ очень существенный и важный.

Имя Н. Я. Данилевскаго неразрывно связано съ двумя вопросами государственнаго хозяйства: съ рыболовными промыслами и съ борьбой противъ филлоксеры; онъ былъ главнымъ дѣятелемъ въ томъ и въ другомъ дѣлѣ.

Рыболовство въ Россіи имѣетъ такіе размѣры, какихъ не имѣетъ ни въ какой странѣ міра (въ Европейской Россіи рыбы ловится на двадцать милліоновъ рублей въ годъ). Это зависитъ отъ двухъ особенныхъ обстоя-

тельствъ въ хозяйствѣ самой природы. Во-первыхъ, никакія морскія рыбы, кромѣ сельдей, не способны плодиться въ такомъ огромномъ количествѣ, слѣдовательно, и не могутъ доставлять ежегодно такого большаго улова, какъ рыбы прѣсноводныя. Во-вторыхъ, нигдѣ въ мірѣ для размноженія рѣчныхъ рыбъ нѣтъ такого простора и удобства, какъ въ Россіи. Именно, только у насъ нѣкоторыя изъ самыхъ большихъ рѣкъ впадаютъ во *внутреннія моря*, напримѣръ Каспійское, Азовское. Эти моря, лежація притомъ въ тепломъ климатѣ, принимаютъ въ себя столько прѣсной воды, что теряютъ часть своей солености и, на значительное протяженіе отъ устьевъ рѣкъ, становятся удобными для житія рѣчныхъ рыбъ. Вотъ факты, которые должны быть занесены въ каждый учебникъ географіи и которыми объясняется, почему Россія превосходитъ всѣ страны міра изобиліемъ такой прекрасной пищи, какъ рыба.

Но этотъ промыселъ требуетъ знанія и правильнаго веденія дѣла. Для того, чтобы рыба плодилась совершенно свободно, нужно, чтобы ловля не нарушала обстоятельствъ благопріятныхъ для этого размноженія, слѣдовательно, чтобы производилась только въ извѣстное время и извѣстными способами. Нужно, значитъ, излѣдовать образъ жизни рыбъ и мѣстныя условія водъ, въ которыхъ онѣ живутъ и, сообразно съ этимъ, составить необходимыя правила для рыболовства, которыя охраняли бы его отъ хищнической жадности промышленниковъ, не думающихъ о будущемъ. Эту задачу взяло на себя правительство, и въ 1853 году была снаряжена первая ученая экспедиція съ этою цѣлью, подъ начальствомъ великаго ученаго, К. Э. фонъ-Бэра; къ ней былъ причисленъ и Н. Я. Данилевскій и скоро, въ силу своихъ познаній и

способностей, сталъ главнымъ сотрудникомъ ея начальника. Слѣдующія экспедиціи этого рода уже всѣ происходили подъ начальствомъ Николая Яковлевича, и послѣдняя изъ нихъ была та, во время которой онъ умеръ. Если считать и нѣкоторыя другія порученія, то такихъ поѣздокъ онъ совершилъ въ своей жизни до десяти; иныя изъ нихъ продолжались по нѣскольку лѣтъ и, хотя совершались въ предѣлахъ Европейской Россіи, но представляли часто всѣ неудобства и опасности путешествій по дикимъ и малонаселеннымъ мѣстамъ. Такимъ образомъ, онъ изслѣдовалъ всѣ рѣки, моря и озера этой части Россіи, и написалъ для рыболовства въ нихъ законы, которые дѣйствуютъ или, по крайней мѣрѣ, должны дѣйствовать въ настоящее время. Это былъ и трудъ ученаго, и трудъ практика, администратора. Смѣло можно утверждать, что, и въ томъ и въ другомъ отношеніи, это трудъ классическій, то есть достойный изученія и подражанія. Что Николай Яковлевичъ былъ отличный ученый, легко видѣть изъ его сочиненій; сверхъ того, онъ въ высокой степени обладалъ умомъ практика, рѣдко, какъ извѣстно, соединяющимся съ ученостію. Съ необыкновенною ясностію онъ умѣлъ видѣть игру всякихъ сложныхъ обстоятельствъ, и мѣры, имъ предлагаемыя, прямо шли въ цѣли и никакъ не могли миновать ея. Блестящіе образчики этого практическаго ума можно видѣть въ его политическихъ и политико-экономическихъ статьяхъ и планахъ, и тотъ же умъ руководилъ его въ составленіи правилъ для рыболовства.

Десятки лѣтъ онъ занимался этимъ дѣломъ, и въ кругу знакомыхъ часто его такъ и называли „рыбнымъ законодателемъ“. Позволимъ себѣ рассказать здѣсь маленькій анекдотъ, хорошо рисующій смыслъ этого названія. Около

1870 года, въ небольшомъ обществѣ, пожилая дама, недавно пріѣхавшая съ Волги въ Петербургъ, начала къ слову рассказывать, что стерлядь, которая прежде становилась все рѣже и рѣже, стала опять лучше водиться и подешевѣла. Николай Яковлевичъ слушалъ съ интересомъ, и хотя онъ всегда былъ чрезвычайно скромнень, на этотъ разъ похвалился и весело замѣтилъ: „Если стерлядь больше ловится, то, знаете ли? вѣдь этимъ вы мнѣ обязаны“. Почтенная дама, не имѣвшая, конечно, никакого понятія ни о рыболовствѣ, ни о Николаѣ Яковлевичѣ, была ужасно изумлена и посмотрѣла на него съ такимъ недовѣріемъ, какъ будто онъ выдавалъ себя за неслыханнаго волшебника.

Другое служебное дѣло, въ силу котораго имя его должно бы имѣть большую извѣстность, есть борьба съ филлоксерой. Не многіе изъ тѣхъ, кто каждый день пьетъ вино, имѣютъ понятіе и объ этомъ насѣкомомъ, и о размѣрахъ вреда, который оно нанесло и наноситъ. Бѣдствіе дѣйствительно невѣроятное, не вдругъ могущее вмѣститься въ головѣ. Европейскіе виноградники отчасти погибли, отчасти гибнутъ неудержимо и повсемѣстно. Разумѣется, торговля скрывала и скрываетъ эту бѣду отъ потребителей, постоянно предлагая имъ поддѣльныя вина подъ старыми названіями. Но это не поможетъ дѣлу, и рано или поздно Европѣ, можетъ быть, придется признаться, что она пьетъ не свои вина, а привозныя изъ дальнихъ мѣстъ, куда еще не проникла филлоксера; вѣдь и мы теперь уже не стыдимся пить крымское вино вмѣсто иностраннаго. Покамѣстъ, противъ филлоксеры найдено лишь одно средство—карантинъ, удаленіе отъ заразы. И вотъ, Николай Яковлевичъ прежде всего настоялъ на томъ, чтобы запрещенъ былъ ввозъ винограда

изъ зараженныхъ мѣстъ. Когда же это запрещеніе было нарушено, и филлоксера проникла въ Крымъ, онъ употребилъ всѣ усилія, чтобы добиться уничтоженія зараженныхъ виноградниковъ. Въ числѣ уничтоженныхъ виноградниковъ были и его собственные, хотя чуть тронутые заразой; мнѣ довелось его видѣть вскорѣ послѣ того (1881), и я невольно изумился глядя на него: его виноградѣіе было уничтожено, имѣніе не могло давать никакого дохода, остался, напротивъ, долгъ, сдѣланный для расширенія виноградниковъ; между тѣмъ, хозяинъ говорилъ объ этомъ съ радостнымъ лицомъ, какъ о важной побѣдѣ. Онъ сіялъ и торжествовалъ: онъ думалъ, что уничтожилъ филлоксеру.

До сихъ поръ, однако же, зараза, хоть и въ самыхъ малыхъ размѣрахъ, держится въ Крыму. Не мѣсто и долго рассказывать, почему такъ вышло; скажемъ только, что ни въ какомъ случаѣ не по винѣ Николая Яковлевича. Ему, напротивъ, обязаны пять тысячъ десятинъ крымскихъ виноградниковъ тѣмъ, что до сихъ поръ осенью красуются своими полными гроздьями, и что филлоксера извѣстна тамошнимъ винодѣламъ все еще только по слуху.

II.

Безпристрастіе.

Н. И. Данилевскій умеръ на шестьдесятъ третьемъ году, и двѣ большія части его *Дарвинизма* вышли чрезъ нѣсколько дней послѣ его смерти. Такимъ образомъ, его книгу можно назвать *плодомъ цѣлой жизни*, потому что

авторъ всѣ свою зрѣлую жизнь *) ревностно изучалъ организмы, и лишь подъ конецъ приложилъ это огромное изученіе къ разбору Дарвиновой теоріи. Знаніе животныхъ и растеній было главнымъ знаніемъ Николая Яковлевича, и онъ занимался этимъ предметомъ съ необыкновеннымъ постоянствомъ и любовью. Это былъ умъ спокойный, ясный и непрерывно дѣятельный. Въ своихъ далекихъ и частыхъ поѣздкахъ, онъ не только изучалъ животныхъ, составлявшихъ предметъ промысла, но дѣлалъ тысячи наблюденій надъ всякаго рода явленіями природы, а въ свободные часы читалъ сочиненія натуралистовъ. Въ шалашѣ рыбака, или въ убогой избѣ, гдѣ-нибудь въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ ни дорогъ, ни проѣзжихъ, а бываютъ одни рыболовы, можно было найти Н. Я. Данилевскаго спокойно и съ живымъ любопытствомъ погруженнаго въ ученую книгу. Въ 1867 году ему довелось купить на Южномъ Берегу имѣніе съ большимъ запущеннымъ садомъ, и тутъ онъ отдался съ увлеченіемъ своей любви къ растеніямъ, отдался не простому, а глубоко-ученому любительству. Подъ конецъ жизни служебныя дѣла не только не отрывали, какъ прежде, а даже связывали его съ Крымомъ, такъ что садъ Мшатки восемнадцать лѣтъ былъ мѣстомъ разнообразныхъ опытовъ и наблюденій своего хозяина, который самъ ходилъ за растеніями и слѣдилъ за ихъ жизнью и съ ученою любознательностію, и съ эстетическимъ наслажденіемъ.

Вотъ какого рода были познанія Николая Яковле-

*) По выходѣ изъ Лицея (1843), онъ поступилъ на естественный факультетъ С.-Петербургскаго университета, потомъ держалъ экзаменъ на степень магистра ботаники и представлялъ диссертацию, но, по стеченію обстоятельствъ, не защищалъ ея.

вича въ наукѣ объ организахъ. Это не было ознакомленіе съ ними по книгамъ, по гербаріямъ и чучеламъ, приобретаемое въ кабинетѣ; это было изученіе живой природы во всей полнотѣ ея жизни, многолѣтнее, близкое знакомство со всею игрой органическихъ явленій; это было точное знаніе, соединенное съ тѣмъ пониманіемъ, которое дается лишь любовью и непосредственными впечатлѣніями. Множество мѣстъ „Дарвинизма“ отзываются особеннымъ характеромъ познаній его автора. Онъ не можетъ говорить сухо и равнодушно о произведеніяхъ природы, и часто рассказываетъ новые факты изъ своихъ долгихъ и обширныхъ наблюденій.

Спокойный и ясный умъ Николая Яковлевича былъ готовъ, повидимому, безъ конца поглощать познанія, лишь отчеканивая ихъ въ свою отчетливую форму. Но явился случай, когда это самое стремленіе къ отчетливой ясности поставило его въ большое затрудненіе и привело къ тому *критическому изслѣдованію*, которое лежитъ предъ нами. Въ естественныхъ наукахъ неожиданно выступило и получило величайшій успѣхъ ученіе, рѣзко противорѣчащее давно усвоеннымъ и вполне обдуманымъ понятіямъ Данилевскаго. Ничего не можетъ быть характеристичнѣе тѣхъ отношеній, въ которыя онъ съ самаго начала сталъ къ дарвинизму. Онъ сравниваетъ это со случаемъ такъ называемой *математической пьшки*.

„Я помню“, рассказываетъ онъ, „какъ разъ мнѣ доказывали, что въ треугольникѣ можетъ быть два прямыхъ угла, и это безо всякой помощи четвертаго измѣренія,— все дѣло происходило въ нашемъ обыкновенномъ эвклидовомъ пространствѣ. Сначала я не замѣтилъ, въ чемъ заключалась штука или фортель. Что же бы я могъ въ такомъ положеніи дѣлать? Доказывать теорему обыкно-

веннымъ путемъ, какъ она изложена въ каждомъ учебникѣ? На это мой противникъ имѣлъ бы право отвѣчать: „очень хорошо, я съ вами вовсе не спорю; очень можетъ быть, что ваше доказательство вѣрно, но вѣрнымъ остается и мое, пока вы не сможете его опровергнуть; а если вѣрны оба, то я доказалъ гораздо больше, нежели сначала предполагалъ. Я было думалъ убѣдить васъ въ неосновательности одной изъ теоремъ, принятыхъ за несомнѣнныя, т. е. одной изъ вашихъ аксіомъ, а теперь выходитъ, что я опровергъ самую правильность и безсомнительность логическаго процесса вообще. Какая же остается логика послѣ того, какъ вы принуждены сознаться, что могутъ совмѣстно существовать двѣ истины, взаимно исключаящія одна другую?“ (ч. I, стр. 20, 21).

Вотъ ясное разсужденіе, до котораго не всѣ могутъ подняться, а, главное, котораго держаться съ полною твердостію могутъ лишь очень немногіе. Это настоящій пріемъ мыслителя, чистѣйшая форма того скептицизма, который бываетъ необходимъ для точнаго научнаго изслѣдованія.

Послѣ этого читателю будетъ понятенъ слѣдующій разсказъ автора:

„Когда появилось Дарвиново ученіе, столь побѣдоносно и тріумфально пронесшееся надъ умственнымъ міромъ и не менѣе побѣдоносно и тріумфально надъ нимъ утвердившееся, я находился въ мѣстахъ весьма отдаленныхъ, хотя по установившейся у насъ юридической номенклатурѣ они къ таковымъ и не причисляются: на пустынныхъ островахъ и на берегахъ Бѣлаго моря, на Печорѣ и Мурманскомъ берегу. Хотя далеко не столь важныя по своимъ послѣдствіямъ, но болѣе

громкія и быстро разносящіяся по міру вѣсти о покореніи Шамиля, о начатой и оконченной франко-итальянской войнѣ, столь же мало доходили до этихъ мѣстъ, какъ и Дарвиново ученіе. Познакомился я съ нимъ въ первый разъ въ Норвегіи *), изъ статьи въ *Revue des Deux Mondes*. Это было слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ поръ, я могу сказать, что мысль о немъ меня уже не покидала. При открывшейся возможности, я ознакомился съ оригинальными сочиненіями самого Дарвина и съ главнѣйшими, сдѣланными противъ него, возраженіями. Къ этому ученію приковывала меня именно та, казавшаяся мнѣ въ началѣ неразрѣшимой, дилемма, о которой я только-что говорилъ. Съ одной стороны невозможно, чтобы масса случайностей, не соображенныхъ между собою, могла произвести порядокъ, гармонію и удивительнѣйшую цѣлесообразность; съ другой—талантливый ученый, вооруженный всѣми данными науки и обширнаго личнаго опыта, яснымъ и очевиднымъ образомъ показываетъ вамъ, какъ просто, однако же, это могло сдѣлаться. Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ я находился въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ былъ въ теченіе нѣсколькихъ минутъ, когда мнѣ предложили пѣшку о двухъ прямыхъ углахъ въ одномъ и томъ же треугольникѣ. Только послѣ долгаго изученія и еще больше долгаго размышленія, увидѣлъ я первый выходъ изъ этой дилеммы, и это было для меня большою радостію. Затѣмъ открылось такихъ выходовъ множество, такъ что все зданіе теоріи изрѣшето, а наконецъ, и развали-

*) Зимой 1860—1861 года, Николай Яковлевичъ, окончивая свою вторую экспедицію, начатую въ 1858 г., былъ въ Норвегіи, чтобы познакомиться съ тамошнимъ рыболовствомъ. Знаменитая книга Дарвина вышла 1 октября 1859 года.

лось въ моихъ глазахъ въ безсвязную кучу мусора“ (стр. 22, 23).

Изъ этого разсказа прекрасно видны двѣ черты, объясняющія намъ характеръ и содержаніе всей книги. Во-первыхъ, здѣсь описано то, что составляетъ самую сущность безпристрастія. Большинство ученыхъ, конечно, люди добросовѣстные, не желающіе лукавить въ своихъ сужденіяхъ. Но много ли есть такихъ, которые не хватаются прежде всего за результатъ, такъ что не доводы ихъ убѣждаютъ въ результатѣ, а наоборотъ, самый результатъ придаетъ убѣдительность доводамъ? Когда мы не допускаемъ и мысли о возможности ошибиться въ рѣшеніи, мы становимся небрежными къ нашимъ противникамъ, мы торопимся къ заключенію, и отъ насъ, совершенно независимо отъ нашей воли, усволяется сила ихъ доводовъ; мы не можемъ довольно глубоко ими заинтересоваться. Поэтому, для безпристрастія требуется очень трудное условіе: нужно приостановить свое рѣшеніе, воздержаться отъ заключенія, т. е. подняться въ область безразличнаго, непредубѣжденнаго сужденія, въ область чистой науки. Только тогда мы будемъ въ состояніи точно провѣрить и основанія нашихъ собственныхъ мнѣній, и доводы нашего противника, и этотъ противникъ будетъ у насъ судимъ съ тѣмъ же вниманіемъ, какъ и самый дорогой нашъ сторонникъ.

Разсказъ Н. Я. Данилевскаго указываетъ намъ вмѣстѣ и на правильное отношеніе къ авторитетамъ. Въ отношеніи къ авторитетамъ у насъ не должно быть ни легкомысленнаго отрицанія, ни слѣпаго подчиненія. Крупный авторитетъ есть именно случай, который вызываетъ нашъ умъ къ труду, къ строгой повѣркѣ и чужаго и своего.

Итакъ, первая черта нашего автора есть истинно

научное безпристрастіе. Вся его книга, дѣйствительно, неотразимо убѣждаетъ въ этомъ внимательнаго читателя.

Во-вторыхъ, мы ясно видимъ, на какую почву ставится авторъ для спора съ Дарвиномъ. Онъ не ищетъ никакой опоры, которая могла бы стоять выше естественныхъ наукъ; онъ не думаетъ вносить въ споръ понятія, взятые извнѣ, изъ какой бы то ни было другой области. Все дѣло должно быть рѣшено тѣми приемами и основаніями, которые имѣютъ силу въ естествознаніи, совершенно такъ, какъ это дѣлается и у Дарвина. Правда, авторъ входитъ (преимущественно въ началѣ и въ концѣ) и въ общія философскія соображенія; но все это, говоря его собственнымъ выраженіемъ, есть только *надстройка*, ясно отличающаяся отъ главнаго зданія книги. Такимъ образомъ, изслѣдованіе Н. Я. Данилевскаго есть трудъ въ строгомъ смыслѣ научный, естественно-историческій, опирающійся, какъ у всѣхъ натуралистовъ, на твердомъ признаніи, что ихъ наука вполне самостоятельна, что она имѣетъ, такъ-сказать, верховную власть въ дѣлахъ ей подлежащихъ.

Повторимъ еще разъ, что авторъ сдержалъ свое слово; при его настроеніи ему не трудно было въ этой огромной массѣ фактовъ и разсужденій постоянно оставаться и вполне безпристрастнымъ, и вполне натуралистомъ.

. II.

Схема теоріи и ея критики.

Если бы мы предположили только изложить содержаніе этой книги, то задача наша была бы очень легка.

Ходъ мыслей въ цѣломъ сочиненіи совершенно правильный, отчетливо логическій; раздѣленіе на части и порядокъ частей имѣютъ полную строгость и ясность; наконецъ, самъ авторъ, по мѣрѣ хода изслѣдованія дѣлаетъ краткіе обзоры всего изложеннаго, такъ что стоило бы только выписать эти обзоры и окончательные выводы, чтобы получить полный очеркъ всего сочиненія. Авторъ сдѣлалъ все, что можно, для того чтобы руководить читателя и не дать ему сбиться въ сторону или запутаться на серединѣ дороги. Кто вполне познакомится съ этою книгой, тотъ найдетъ въ ней такую удивительную стройность и ясность, какая встрѣчается въ очень и очень немногихъ книгахъ, и какой мы не можемъ признать, напримѣръ, за Дарвиномъ.

Съ нашей стороны, поэтому, лучше будетъ, если мы будемъ дѣлать лишь общія замѣчанія, останавливаясь лишь на извѣстныхъ пунктахъ и на общихъ точкахъ зрѣнія.

Логическій порядокъ книги слѣдующій:

Послѣ введенія, дѣлается точное изложеніе теоріи Дарвина и точное опредѣленіе ея *основаній*, т. е. тѣхъ фактовъ, которые она признаетъ существующими въ природѣ, на которыхъ строить все свое зданіе (ч. I, гл. I и II, стр. 47—196).

Затѣмъ начинается опроверженіе теоріи, и сначала идетъ прямое опроверженіе, а потомъ косвенное. Чтобы яснѣе видѣть этотъ порядокъ, приведемъ здѣсь тотъ конспектъ Дарвинова ученія, который самъ Н. Я. Данилевскій сдѣлалъ для устраненія всякой сбивчивости въ сужденіяхъ о составѣ этого ученія.

Факты, которые признаетъ или старается доказать теорія, суть слѣдующіе:

„А. У домашнихъ животныхъ и растеній:

„1) Отъ какихъ бы то ни было причинъ появляющіяся, различныя по направленію и силѣ, *измѣненія*, между прочимъ и такія, которыя въ нѣсколько большей степени соотвѣтствуютъ потребностямъ и вкусамъ человека.

„2) Передача этихъ измѣненій съ большею или меньшею полнотой дѣтямъ и вообще потомкамъ *наслѣдственностію*.

„3) Подмѣчаніе этихъ полезныхъ для человека и потомственно передающихся измѣненій и болѣе или менѣе строгое отдѣленіе такимъ образомъ измѣненныхъ недѣлимыхъ, съ цѣлію болѣе или менѣе исключительнаго допущенія ихъ въ размноженію породы, т. е. *искусственный подборъ*. И, какъ *результатъ* всего этого:

„4) *Переживаніе пригоднѣйшихъ* для человека индивидуумовъ, постепенно образующихъ опредѣленныя расы накопленіемъ подобранныхъ признаковъ, при уменьшеніи числа и, наконецъ, вымираніи тѣхъ, которые не были подобраны.

„В. Для дикихъ животныхъ и растеній въ ихъ природномъ состояніи мы также точно имѣемъ:

„1) Различныя, по направленію и силѣ, измѣненія существующихъ формъ и между ними *отъ времени до времени появляющіяся измѣненія* полезныя для самого существа по отношенію въ органическимъ и неорганическимъ условіямъ его существованія.

„2) Передачу этихъ измѣненій *наслѣдственностію*.

„3) *Борьбу за существованіе*, при которой неизмѣненные, или въ невыгодномъ отношеніи измѣненные индивидуумы гибнутъ въ большемъ числѣ, чѣмъ измѣ-

ненные въ благопріятномъ смыслѣ. И, какъ *результатъ* всего этого:

„4) *Переживаніе приспособленнѣйшихъ* (ч. I, стр. 145 146)“.

Эту схему, совершенно точную, нужно постоянно помнить и имѣть въ виду при сужденіяхъ объ ученіи Дарвина и при чтеніи книги Н. Я. Данилевскаго. Нужно строго различать то, что относится къ домашнимъ организмамъ, отъ того, что относится къ дикимъ. Въ каждой изъ этихъ двухъ областей дѣйствуютъ три необходимые фактора: *измѣнчивость, наследственность и подборъ* (въ одной области искусственный, въ другой естественный); совокупное дѣйствіе ихъ составляетъ причину того результата, объясненія котораго ищетъ теорія. Въ области природы, по теоріи Дарвина, этотъ результатъ есть *переживаніе приспособленнѣйшихъ*, т. е. существованіе всѣхъ тѣхъ удивительныхъ приспособленій организмовъ къ окружающему міру и между собою, которыя въ такомъ изобиліи отерываются намъ наблюденіями; такъ что Дарвинъ и думалъ, что онъ успѣлъ вывести и объяснить всю эту цѣлесообразность изъ ея настоящихъ причинъ.

Теперь можно ясно видѣть, въ чемъ состоитъ *прямое* опроверженіе теоріи Дарвина. Одно за другимъ разбираются основныя ея положенія, причемъ лишь принять другой порядокъ, какъ болѣе удобный для изложенія. Прежде всего доказывается, что размѣры *измѣнчивости* домашнихъ животныхъ и культурныхъ растений нельзя прямо распространять на всѣ организмы (гл. III). Потомъ, что никакіе извѣстные факты и никакія заключенія изъ извѣстныхъ фактовъ не показываютъ, чтобы въ естественномъ состояніи измѣненія организмовъ когда

нибудь переходили границу вида (гл. IV). и что, точно также, наиболѣе значительныя изъ извѣстныхъ намъ измѣненій, измѣненія домашнихъ животныхъ и культурныхъ растений, не переходятъ этой границы (гл. V). Далѣе доказывается, что *искусственный подборъ* отнюдь не можетъ считаться главною причиною различій въ породахъ домашнихъ животныхъ и культурныхъ растений (гл. VI), и что ни *наслѣдственность*, ни *борьба за существованіе* не могутъ имѣть тѣхъ свойствъ, которыя имъ приписываются въ теоріи Дарвина (глава VII). Наконецъ, весь этотъ рядъ доводовъ заключается самымъ рѣшительнымъ и важнымъ, а именно доказательствомъ, что *естественнаго подбора* вовсе не существуетъ и не можетъ существовать. Естественный подборъ, по ученію Дарвина, Уоллеса и ихъ послѣдователей, производится *борьбой за существованіе*, такъ что, въ естественномъ состояніи организмовъ, борьба за существованіе составляетъ третій необходимый факторъ приспособительнаго измѣненія, соотвѣтствующій въ домашнемъ состояніи искусственному подбору. Н. Я. Данилевскій доказываетъ, что въ природѣ этотъ факторъ вовсе не дѣйствуетъ какъ подборъ, и потому, конечно, объяснить изъ него ничего нельзя (гл. VIII и IX).

Затѣмъ слѣдуетъ *косвенное* опроверженіе теоріи, приведеніе ея къ нелѣпости по тѣмъ слѣдствіямъ, которыя изъ нея вытекаютъ. Тутъ показывается, что въ *существенныхъ своихъ чертахъ* дѣйствительный органическій міръ вовсе не таковъ, каковъ онъ былъ бы, если бы различія и приспособленія организмовъ возникли такъ, какъ предполагаетъ Дарвинъ. Дѣйствительность положительными фактами противорѣчитъ выводамъ изъ теоріи (гл. X и XI). Но, кромѣ того, ей противорѣчитъ и *от-*

сутстоіе такихъ фактовъ, которые по теоріи должны бы существовать, отсутствіе слѣдовъ предполагаемаго процесса. Нѣтъ переходныхъ формъ ни въ живой природѣ, ни въ остаткахъ геологическихъ эпохъ (гл. XII). Есть факты вымиранія организмовъ, но изъ нихъ нѣтъ ни одного согласнаго съ теоріей; есть много времени для перехода однихъ органическихъ формъ въ другія, но всѣхъ геологическихъ эпохъ далеко недостаточно для происхожденія организмовъ по Дарвинову процессу (гл. XIII).

Критика кончена, и авторъ заключаетъ ее обзоромъ логическихъ ошибокъ Дарвина и общеою оцѣнкой его теоріи съ естественно-исторической и съ философской точки зрѣнія (гл. XIV).

Зная составъ книги, мы можемъ почти по произволу начинать чтеніе съ той главы, предметъ которой привлечетъ наше вниманіе. Все изслѣдованіе распредѣлено по отдѣльнымъ пунктамъ теоріи, которые разбираются каждый отъ основанія, отъ самого корня, и которые почти одинаково важны для общей цѣли. Благодаря твердой и отчетливой логической постановкѣ всего дѣла, мы ясно видимъ, что ниспроверженіе каждаго изъ этихъ пунктовъ есть и ниспроверженіе всей теоріи. Если существованіе различій и цѣлесообразныхъ строеній въ органическихъ существахъ есть слѣдствіе совокупнаго дѣйствія трехъ факторовъ, то доказательство того, что одинъ изъ этихъ факторовъ не существуетъ, или дѣйствуетъ вовсе не такъ, какъ того требуетъ теорія, есть и полное опроверженіе теоріи. Если то, что происходитъ въ области домашнихъ животныхъ и культурныхъ растений не можетъ быть въ томъ или другомъ пунктѣ перенесено на область природы, свободную отъ дѣйствій человѣка, то опять теорія распадается. Если, наконецъ,

ясное слѣдствіе, выводимое изъ теоріи, рѣзко противорѣчитъ дѣйствительности, то и это вполне опровергаетъ теорію. Такова сила логики, и нѣтъ сомнѣнія, что если бы Дарвинъ формулировалъ свою теорію съ такою же логическою стройностію, какую Данилевскій придалъ своему опроверженію, то едва ли бы самъ такъ увлекся и такъ увлекъ другихъ своими предположеніями.

Читая эту книгу, мы найдемъ, такимъ образомъ, что въ ней Дарвинъ опровергнутъ не одинъ разъ, а десять разъ къ ряду. Такое свойство книги можетъ не понравиться тѣмъ, кто станетъ искать въ ней лишь одного опредѣленнаго результата. Если читатель желаетъ, лишь знать, вѣрна или нѣтъ теорія Дарвина, точно ли Дарвинъ успѣлъ объяснить, какъ человѣкъ произошелъ отъ обезьяновиднаго животнаго, то для такого читателя покажется скучнымъ вникать все въ новыя и новыя опроверженія того, что давно опровергнуто. Но авторъ совершенно иначе понималъ свое дѣло. Онъ съ любовью и вниманіемъ останавливался на каждомъ пунктѣ, потому что въ каждомъ находилъ своеобразный интересъ. Интересно и то, какъ сложились и повихнулись понятія Дарвина, ученаго, имѣющаго такой громаднѣйшій авторитетъ; но еще интереснѣе, и, конечно, одно истинно важно: какъ дѣло происходитъ въ самой природѣ, какой дѣйствительный процессъ и дѣйствительный порядокъ стоитъ на мѣстѣ невѣрныхъ понятій теоріи. Каждое изъ этихъ понятій превращалось для автора въ вопросъ, съ которымъ онъ обращался къ дѣйствительному міру, въ строгой наукѣ, и онъ усердно и осторожно отыскивалъ отвѣты и изложилъ ихъ въ своей книгѣ. Эта положительная сторона изслѣдованія, конечно, есть и самая драгоцѣнная.

III.

Псевдозволюція и псевдотелеологія.

Но мы должны сперва остановиться на чисто логической сторонѣ этой критики. Прежде всякихъ вопросовъ, относящихся къ природѣ, Н. Я. Данилевскій поставилъ себѣ особою задачей изучить и изложить самую теорію Дарвина, анализировать ее въ ея точномъ смыслѣ, въ полномъ ея составѣ (этому посвящены двѣ первыя главы *Дарвинизма*). Онъ сдѣлалъ это съ такою же точностію и старательностью, какъ натуралистъ изслѣдуетъ какой-нибудь организмъ. Онъ анатомировалъ теорію, разсѣлъ ее на составныя части, опредѣлилъ и свойство каждой части, и ихъ взаимное отношеніе. Мало того, онъ, по правилу натуралистовъ, обозначилъ особыми терминами тѣ черты, которыя нашелъ при своемъ анализѣ и которыя еще не имѣли названія.

Что же изъ этого вышло? Когда такимъ образомъ скелетъ теоріи былъ обнаженъ и опредѣлены были всѣ ея мускулы, оказалось, что подобное существо вовсе не можетъ стоять и двигаться, что оно далеко не соответствуетъ неизбѣжнымъ механическимъ требованіямъ.

Прежде всего нужно помнить, что теорія Дарвина не основана на понятіи *развитія*, а напротивъ, стремится обойтись безъ этого понятія, вовсе исключить его изъ вопроса. Н. Я. Данилевскій говоритъ объ этомъ такъ:

„Изъ несомнѣнныхъ свойствъ теоріи оказывается, что напрасно причисляютъ ее къ теоріямъ развитія, теоріямъ эволюціоннымъ. Подъ развитіемъ разумѣется рядъ измѣненій, необходимо одно изъ другаго вытекающихъ какъ бы въ силу опредѣленнаго, постояннаго закона, хотя бы

въ сущности мы этой необходимости и не понимали, какъ на дѣлѣ, дѣйствительно, почти никогда и не понимаемъ, а заключаемъ о ней лишь изъ постоянства повторенія ряда. Такъ развивается бабочка изъ куколки, куколка изъ гусеницы, и вообще всякій органическій индивидуумъ изъ зародыша. Но *ничего подобнаго* у Дарвина нѣтъ. У него, вмѣсто развитія по нѣкоторому закону, накопленіе *случайныхъ* мелкихъ измѣненій подъ вліяніемъ не внутренней, а *внѣшней* причины, отвергающей одни измѣненія и принимающей другія“ (ч I, стр. 194, 195).

Кто говоритъ *развитіе*, тотъ предполагаетъ нѣкоторый *принципъ* (законъ, правило, норму), слѣдую которому и совершается развитіе; сверхъ того, предполагаетъ, что это принципъ *внутренній*, содержащійся въ самихъ развивающихся существахъ. Вся сила и сущность теоріи Дарвина заключается въ отрицаніи всякой надобности такого принципа и въ доказательствѣ, что измѣненія организмовъ совершаются *безо всякой нормы* (случайно), и что, если изъ безчисленныхъ возможныхъ формъ только нѣкоторыя опредѣленныя существуютъ въ дѣйствительности, то это зависитъ не отъ внутренняго свойства организмовъ, а отъ выбора, который происходитъ совершенно отъ нихъ независимо.

Главная ошибка, которую не то что часто, а почти постоянно дѣлаютъ всякаго рода и почитатели и противники Дарвина, есть именно смѣшеніе его теоріи съ ученіемъ о развитіи, тогда какъ все то, что свидѣтельствуешь, въ какомъ бы то ни было отношеніи и размѣрѣ, о существованіи развитія, т. е. объ опредѣленныхъ и самостоятельныхъ измѣненіяхъ организмовъ, есть, напротивъ, самое главное и рѣшительное опроверженіе

этой теоріи, есть утвержденіе прямо противоположнаго принципа.

Далѣе, для сужденія о Дарвинѣ, нужно составить себѣ ясное понятіе о той *внѣшней* (для организмовъ) *причинѣ*, которая опредѣляетъ существованіе тѣхъ, а не другихъ формъ въ природѣ, составляетъ какъ бы рѣшето, дающее проходить на поприще жизни только существамъ извѣстной величины и формы. Это рѣшето есть *польза*, т. е. такое строеніе организма, которое выгодно для него и въ отношеніи ко внѣшнимъ условіямъ, и въ отношеніи къ другимъ организмамъ. Дарвинъ признаетъ, какъ совершенно твердую и непреложную истину, что организмы вообще превосходно *приспособлены*, какъ къ внѣшней природѣ, такъ и между собою, т. е. во всемъ органическомъ мірѣ онъ видитъ то, что мы обыкновенно называемъ *цѣлесообразностію* (внѣшнею и внутреннею), и считаетъ эту цѣлесообразность даже совершенно строгою. Но обыкновенно это приспособленіе, эту цѣлесообразность принимаютъ за признакъ и доказательство, что организмы были устроены *преднамѣренно*, что въ ихъ происхожденіи участвовала нѣкоторая разумная сила. Дарвинъ же въ этой самой цѣлесообразности увидѣлъ возможность обойтись безъ всякой разумности. Онъ разсуждалъ такъ: если извѣстное устройство организмовъ *необходимо* для ихъ существованія, то этимъ самымъ исключается изъ органическаго царства все не приспособленное, нецѣлесообразное. Слѣдовательно, можно сказать: не потому организмы получили опредѣленное устройство, что предназначены жить въ опредѣленныхъ обстоятельствахъ и взаимныхъ отношеніяхъ, а наоборотъ, потому только они и живутъ въ этихъ обстоятельствахъ и отношеніяхъ, что имѣютъ такое подходящее къ нимъ

устройство. Фактъ приспособленія оказывается, поэтому, обоюдо-острымъ, допускающимъ объясненіе и въ ту и въ другую сторону. Въ самомъ дѣлѣ, можно предположить совершенно случайное, не содержащее никакой разумности, не слѣдующее никакой нормѣ, появленіе органическихъ формъ; изъ нихъ, въ силу необходимости приспособленія, должны остаться на лицо лишь тѣ, которыя устроены вполне цѣлесообразно.

Нужно постоянно имѣть въ виду, что, въ силу этого, *приспособленіе* есть главная точка зрѣнія Дарвина, тотъ принципъ, изъ котораго онъ объясняетъ всякаго рода свойства и различія организмовъ. Въ каждой чертѣ ихъ онъ ищетъ, чѣмъ она можетъ, или могла, дать животному или растенію какое-нибудь удобство въ отношеніи къ внѣшней природѣ, или преимущество въ отношеніи къ другимъ животнымъ и растеніямъ. Дарвинизмъ, такимъ образомъ, есть цѣлая система *телеологіи*, но только не въ томъ смыслѣ, который прямо принадлежитъ этому слову; поэтому Н. Я. Данилевскій очень мѣтко и справедливо называетъ взглядъ Дарвина *псевдотелеологіей* (ч. I, стр. 45). Точно также, для точности и удобства выраженія, онъ самое начало *приспособленія*, въ той роли, которую оно играетъ въ Дарвиновой теоріи, называетъ *критическимъ принципомъ*, въ противоположность какому бы то ни было рода *творческимъ* принципамъ. Въ самомъ дѣлѣ, по Дарвину, нѣтъ въ организмахъ никакого строенія, которое правильно вытекало бы изъ нѣкотораго начала, какъ изъ своей причины, слѣдовательно было бы опредѣленнымъ его произведеніемъ, его созданіемъ. Напротивъ, весь порядокъ возникаетъ изъ безпорядка; именно, случайно появляются всевозможныя формы, но подвергаются неумолимой *критикѣ* условій

существованія, которая уничтожаетъ все къ нимъ неприворовленное и оставляетъ жить лишь то, что хорошо къ нимъ приходится. Въ этомъ состоитъ главная сущность, самая задача теоріи, и потому Н. Я. Данилевскій выражаетъ это ея свойство такою формулой:

„Отсутствіе творческаго начала и замѣна его исключительно началомъ критическимъ“ (ч. I, стр. 189).

Теперь мы видимъ, какіе факты представляютъ непремѣнное противорѣчіе ученію Дарвина. Все то, что свидѣтельствуетъ о существованіи *развитія*, т. е. нѣкоторой нормы въ измѣненіяхъ организмовъ, уже опровергаетъ дарвинизмъ. Точно также все, что несогласно со *псевдотелеологіей*, что противорѣчитъ понятію строгаго и принудительнаго приспособленія организмовъ къ условіямъ ихъ жизни, все это разрываетъ всю цѣпь заключеній дарвинизма.

IV.

Анализъ теоріи.

Въ сущности, явленія, противорѣчащія ученію Дарвина, встрѣчаются въ природѣ на каждомъ шагѣ, извѣстны во множествѣ и натуралистамъ, и профанамъ, по ежедневному наблюденію. Но, чтобы видѣть ихъ значеніе, ихъ противорѣчіе теоріи, нужно хорошо знать самую теорію, точно понимать всѣ ея требованія. Увлеченіе дарвинизмомъ, главнымъ образомъ, основывается на смѣшеніи понятій, на неправильномъ пониманіи этого ученія, такъ что ему приписывается то, что прямо ему противорѣчитъ, и въ подтвержденіе его приводятся тѣ самые факты, которые въ дѣйствительности его опровергаютъ. Въ такую непослѣдовательность впадаетъ часто и самъ

Дарвинъ, а его противники и послѣдователи почти постоянно. Дѣло дошло до того, что изъ всѣхъ натуралистовъ, писавшихъ о Дарвинѣ, нѣтъ ни одного, кого Н. Я. Данилевскій не уличилъ бы въ той или другой ошибку по части строгаго пониманія теоріи. Наиболее послѣдовательнымъ и почти безупречнымъ оказался не Геккель, или Вигандъ, а нашъ профессоръ Тимирязевъ, который, будучи приверженцемъ теоріи, дѣйствительно знаетъ, что онъ исповѣдуетъ.

Итакъ, вникнуть въ теорію необходимо; нужно точно опредѣлить себѣ, какой смыслъ и какое свойство имѣютъ всѣ ея элементы. Въ III-й главѣ Н. Я. Данилевскій дѣлаетъ это точное опредѣленіе, ставитъ точки на і, приводитъ къ отчетливымъ формуламъ то, что у Дарвина было сказано въ общихъ выраженіяхъ или только подразумевалось.

Мы знаемъ, что первый факторъ дарвинизма есть *измѣнчивость*. Фактъ, изъ котораго исходитъ Дарвинъ, есть тотъ несомнѣнный и общеизвѣстный фактъ, что организмамъ свойственны *индивидуальныя различія*, что дѣти никогда не бываютъ вполне сходны ни съ родителями, ни между собою. На этихъ различіяхъ и строится все зданіе Дарвина. Но для того, чтобы возможно было это построеніе, измѣнчивость, какъ показываетъ Н. Я. Данилевскій, должна представлять слѣдующія свойства: 1) *постепенность*, 2) *неопредѣленность*, 3) *безграничность*, 4) *мозаичность*.

Въ самомъ дѣлѣ, во-первыхъ, еслибъ индивидуальныя измѣненія не были постепенны, т. е. не происходили бы мелкими, незначительными отступленіями, а напротивъ, представляли бы крупные шаги, скачки, то въ этихъ скачкахъ и была бы вся загадка разнообразія органи-

мовъ, и, пока мы не найдемъ объясненія этихъ скачковъ, всякая теорія происхожденія видовъ будетъ не полна и бесполезна. Притомъ ясно, что, въ случаѣ скачковъ, пропадаю бы самое объясненіе приспособленій, которыя должны вѣдь происходить посредствомъ нѣкоторой медленной и постепенной *лѣпки*; это выѣпливаніе, достигающее удивительнѣйшихъ формъ, должно, по теоріи, опредѣляться только внѣшними обстоятельствами, такъ сказать, ихъ выпуклостями и впадинами, и нисколько не зависѣть отъ организма.

Во-вторыхъ, если измѣнчивость не представляетъ неопредѣленности, т. е. не совершается во всевозможныя стороны, а слѣдуетъ какому-нибудь одному направленію, то, опять, въ этомъ направленіи и будетъ заключаться вся сила, весь вопросъ; тогда организмы будутъ измѣняться не случайно, а по какой-то нормѣ развитія.

Въ третьихъ, если, при всемъ этомъ, индивидуальныя различія, совершаясь постепенно, не могутъ перейти извѣстной границы, напримѣръ, границы вида, рода, если они только колеблются въ извѣстныхъ предѣлахъ, какъ это твердо признавали всѣ прежніе натуралисты, то нужно вовсе отказаться отъ мысли о перехожденіи видовъ изъ одного въ другой.

Наконецъ, *мозаичностью* Н. Я. Данилевскій называетъ то свойство измѣнчивости, по которому она не должна представлять никакой опредѣленной связи въ одновременныхъ измѣненіяхъ различныхъ органовъ. Если бы такая связь существовала и всегда соблюдалась, тогда именно отъ нея зависѣло бы устройство измѣнившагося организма. Никакое приспособленіе не могло бы явиться, если бы противорѣчило этой связи, и въ ней, слѣдовательно, заключалась бы главная загадка различныхъ формъ

организмовъ. Словомъ, опять появилась бы нѣкоторая норма вмѣсто случая.

Таковы должны быть свойства измѣнчивости въ теоріи Дарвина. Н. Я. Данилевскій добазываетъ дословными выписками и сличеніями разныхъ мѣстъ, что Дарвинъ, несмотря на свои колебанія, такъ и понималъ дѣло, принуждаемый къ этому логическимъ развитіемъ своей мысли. Въ одномъ случаѣ, впрочемъ, Н. Я. Данилевскій отдалъ предпочтеніе той формулѣ, которую нашелъ у г. Тимирязева, и говоритъ:

„Опредѣленіе, даваемое *соотвѣтственной измѣнчивости* (т. е. связи между измѣненіями различныхъ органовъ) г. Тимирязевымъ, гораздо сообразнѣе съ духомъ теоріи, чѣмъ опредѣленіе самого Дарвина. Въ сущности и Дарвинъ такъ ее понимаетъ, какъ его послѣдователь,—но счелъ нужнымъ и возможнымъ выразиться, такъ сказать, болѣе научно“ (ч. I, стр. 178).

Пусть читатели обратятся къ самой книгѣ, чтобъ увидѣть неподобную точность этого анализа понятій и писаній Дарвина.

Второй факторъ теоріи есть наслѣдственность; оставимъ его пока безъ особыхъ опредѣленій.

Третій факторъ есть *борьба за существованіе*, которая, по предположенію Дарвина, производитъ *естественный подборъ*, т. е. уничтожаетъ хуже приспособленные организмы, когда являются лучше приспособленные. Н. Я. Данилевскій показываетъ, что для теоріи, для того, чтобъ этой борьбѣ можно было приписать такое слѣдствіе, необходимо предполагать, что она: 1) имѣетъ очень большую напряженность, 2) не прерывается и не ослабѣваетъ въ своемъ напряженіи, и 3) не измѣняетъ своего направленія (ч. I, гл. VII).

Не забудемъ, что борьба происходитъ вслѣдствіе измѣненій только очень мелкихъ и только постепенно накопляющихся; слѣдовательно, она должна имѣть чрезвычайную напряженность. Только на извѣстной степени напряженія она представитъ нѣкоторое преимущество организмамъ, случайно получившимъ едва замѣтное, но выгодное измѣненіе своей формы. Не забудемъ далѣе, что борьба должна не только подбирать, но и *сохранять* подобранное. Никакой другой силы сохраняющей, *фиксирующей* разъ появившіяся измѣненія, у Дарвина нѣтъ, не предполагается. Слѣдовательно, какъ скоро борьба не дѣйствуетъ, измѣненія исчезаютъ, расплываются въ неизмѣнившейся массѣ. Борьба же перестаетъ оказывать свое дѣйствіе не только тогда, когда вовсе прекращается, но и когда не достигаетъ извѣстной степени напряженія, или когда измѣняетъ свое направленіе, начинаетъ давать преимущество какому-нибудь другому измѣненію, отличному отъ первоначальнаго. Во всѣхъ этихъ случаяхъ плоды подбора должны исчезать, и дѣло его, если ему суждено сдѣлаться, должно начинаться сызнова.

Если теперь мы соединимъ вмѣстѣ всѣ указанные черты теоріи, т. е. всѣ ея предположенія, такъ сказать, всѣ требованія, которыя природа должна исполнить для того, чтобы могъ въ ней совершаться процессъ воображаемый Дарвиномъ, то мы ясно увидимъ, какъ мало вѣроятна эта теорія. Она, повидимому, очень проста, но въ сущности требуетъ очень много. Каждый безпристрастный, ничѣмъ не подкупленный натуралистъ долженъ сейчасъ увидѣть, что такой безпорядочности и неопредѣленности въ измѣненіяхъ организмовъ допустить невозможно, и что дарвинизмъ, чтобы выйти изъ этого

безпорядка, принужденъ усилить борьбу за существованіе до степени совершенно невѣроятной жестокости.

Можно пояснить этотъ выводъ сравненіемъ съ нравственнымъ міромъ человѣка. Если бы кто нибудь говорилъ, что люди на землѣ связаны только своими интересами, что ихъ отношенія опредѣляются только эгоизмомъ и насиліемъ, что ни патріотизмъ, ни взаимное довѣріе и уваженіе, ни любовь и снисхожденіе, ни сознаніе долга и добровольное подчиненіе, ни самопожертвованіе и благочестіе, не имѣютъ никакой силы въ людскихъ дѣлахъ, ничуть не опредѣляютъ собою формы и существованія человѣческихъ обществъ, то мы заранѣе могли бы отвергнуть эту теорію и, не дожидаясь ея доказательствъ и подробнаго развитія, сказать, что эгоизмъ и насиліе могутъ много сдѣлать, но что построить изъ нихъ что-нибудь прочное невозможно, а отвергать существованіе между людьми другихъ отношеній—значить быть совершенно слѣпымъ.

V.

Наслѣдственность.

Объ одномъ изъ факторовъ теоріи Дарвина, именно о *наслѣдственности*—мы еще не говорили. Приведемъ теперь прямо ту рѣшительную страницу Н. Я. Данилевскаго, которою, можно сказать, исчерпывается этотъ вопросъ:

„Предметъ этотъ (наслѣдственность), хотя и самой „первостепенной важности, слабѣе всѣхъ прочихъ эле-

„ментовъ ученія обработанъ Дарвиномъ. Въ главномъ со-
„чиненіи (*Origin of species*) о немъ сказано весьма не-
„много; въ *Прирученныхъ животныхъ и воздѣлываемыхъ*
„*растеніяхъ*, хотя ему и посвящены три главы, но онѣ
„наполнены частностями, выводами и доказательствами
„нѣкоторыхъ второстепенныхъ свойствъ, какъ напримѣръ:
„передача признаковъ въ соотвѣтствующемъ возрастѣ, во-
„просы реверсіи и атавизма; но сущность дѣла остается
„весьма шаткою и неясною. Я разумѣю подъ сущностью,
„въ занимающемъ насъ отношеніи, тотъ основной вопросъ:
„усиливается ли, укрѣпляется ли наслѣдственность съ
„передачею признаковъ въ теченіе долгаго времени, т. е.
„съ увеличеніемъ числа поколѣній, въ которыхъ происхо-
„дитъ эта передача, или нѣтъ. И въ самомъ дѣлѣ, это—
„чрезвычайно затруднительная дилемма для Дарвиновой
„теоріи. Если принять, что продолжительность наслѣдо-
„ванія не укрѣпляетъ передаваемыхъ признаковъ, не
„усиливаетъ ихъ постоянства, — это значитъ лишить уче-
„ніе главной его опоры. Какъ же тогда продолжительный
„подборъ достигнетъ своей цѣли и фиксируетъ происхо-
„дящія измѣненія? Въ самомъ дѣлѣ, пусть постоянно
„гибнутъ негодныя формы (не соотвѣтствующія направле-
„нію, въ которомъ идетъ подборъ), — хорошія однако же
„никогда не размножатся, если давность не усиливаетъ
„наслѣдства. Если принять, напротивъ того, что постоян-
„ство передаваемыхъ признаковъ усиливается съ увеличе-
„ніемъ числа поколѣній, въ продолженіе коихъ происхо-
„дитъ эта передача, то это значитъ—вооружить корен-
„ные виды сильнѣйшимъ оружіемъ въ борьбѣ съ происхо-
„дящими отклоненіями отъ ихъ типа. Видъ, старая форма,
„будетъ непременно передавать всѣ свои празники по-
„томству, образовавшіяся же индивидуальныя измѣненія

„будутъ передаваться весьма слабо, даже часто исчезать
„однѣми реверсіями, не говоря о другихъ причинахъ. Въ
„самомъ дѣлѣ, если бы признаки получали, съ продолжи-
„тельностью ихъ передачи, все возрастающую степень
„устойчивости при наслѣдственной передачѣ, то происхо-
„дящія въ видахъ индивидуальныя измѣненія никогда не
„могли бы вытѣснить коренной типической формы въ
„борьбѣ за существованіе. Сколь бы ни велико было ихъ
„преимущество въ такой борьбѣ, они всегда имѣли бы
„въ ней одну капитальную невыгоду, именно, слабую спо-
„собность быть передаваемыми по наслѣдству, въ проти-
„воположность сильной къ этому способности типическихъ
„видовыхъ признаковъ, имѣвшихъ много времени укрѣп-
„ляться“.

„Изъ этой дилеммы Дарвину и не удастся вполнѣ и
„рѣшительно выпутаться“ (ч. I, стр. 501, 502).

Такимъ образомъ, самый фактъ наслѣдственности, если мы точно его анализируемъ, если составимъ о немъ ясное понятіе, уже приведетъ насъ къ опроверженію теоріи Дарвина. Наслѣдственность, по самой своей сущности, есть начало консервативное, сохраняющее типъ принадлежащій организму, такъ что *наслѣдственность и постоянство видовъ* представляютъ одинъ и тотъ же принципъ, только различно выраженный. Если всѣ видовые признаки неизмѣнно передаются по наслѣдству, то никакое случайное отступленіе не можетъ удержаться наравнѣ съ ними и должно исчезнуть. Для того, чтобы новый признакъ могъ остаться, онъ съ самаго начала долженъ явиться со всѣми правами наслѣдственности, слѣдовательно, онъ долженъ соответствовать нѣкоторой нормѣ, долженъ, въ силу какаго-то закона, составлять исключеніе изъ числа тѣхъ колеблющихся отступленій

отъ типа, которыя, какъ показываетъ ежедневный опытъ, безпрестанно появляются, но исчезаютъ безъ слѣда.

VI.

Естественный подборъ.

Мы до сихъ поръ все еще продолжаемъ только анализировать теорію, только разбираемъ ея требованія, или необходимыя предположенія, а о повѣркѣ этихъ предположеній фактами будемъ говорить потомъ. Въ заключеніе этого анализа теоріи, приведемъ здѣсь еще одну ея черту, которая такъ для нея важна и такъ очевидно несостоятельна, что вполне годится для заключенія, какъ рѣшительный аргументъ.

Теорія предполагаетъ, что то, что въ домашнихъ животныхъ и воздѣланныхъ растеніяхъ совершается искусственнымъ подборомъ, то самое въ природѣ, въ области дикихъ животныхъ и растеній, производится *борьбой за существованіе*. Постоянныя наблюденія показываютъ и никто не отрицаетъ, что въ природѣ существуетъ и непрерывно дѣйствуетъ такая борьба; и вотъ, Уоллесъ, а потомъ Дарвинъ предположили, что *одно* изъ слѣдствій этой борьбы есть *подборъ*, подобный подбору, производимому человекомъ. Это краеугольный камень всѣхъ ихъ разсужденій, почему и самую свою теорію они называютъ *теоріей естественнаго подбора*.

Предположеніе это представлялось основателямъ теоріи до такой степени простымъ и яснымъ, что сперва они вовсе не вникли въ его возможность, а опирались

на него прямо какъ на несомнѣнный фактъ. Да и Н. Я. Данилевскій, ставшій съ самаго начала въ критическое, хотя и совершенно безпристрастное, отношеніе къ теоріи, сперва не замѣтилъ невозможности этого предположенія; какъ онъ самъ рассказываетъ, прежде всего ему пришла та общая мысль, что „органическій міръ не носитъ на себѣ печати внѣшнихъ вліяній, не относится къ нимъ какъ отливъ къ своей формѣ“ (ч. II, стр. 196). Лишь въ послѣдствіи критикъ убѣдился, что главная неправильность теоріи, наиболѣе ясная и уже неотразимо бросающаяся въ глаза, какъ только будетъ замѣчена, есть именно предположеніе естественнаго подбора, т. е., сама исходная точка теоріи. Можно назвать истиннымъ открытіемъ Н. Я. Данилевскаго тотъ фактъ, что *естественнаго подбора вовсе не существуетъ*, что этотъ существенный факторъ теоріи есть совершенно фантастическое понятіе, составленное изъ непримиримыхъ противорѣчій. Его не только нѣтъ, но и никакимъ образомъ быть не можетъ.

Доказывается это двумя аргументами, *безполезностію малыхъ измѣненій* и дѣйствіемъ *скрещиванья*.

Совершенно справедливо, что всякое выгодное отступленіе отъ типа даетъ организму нѣкоторое преимущество въ борьбѣ за существованіе; но для теоріи очевидно нужно доказывать не это, а нѣкоторое обратное положеніе, именно, что самое малое отступленіе отъ типа можетъ быть выгодно для организма. Если возьмемъ различія, существующія теперь между организмами, то для теоріи необходимо показать, что *каждый шагъ по линіи, соединяющей устройство одного организма съ устройствомъ другаго, непремѣнно выгоденъ, непремѣнно даетъ преимущество въ борьбѣ за существованіе*. При-

томъ, шаги должны быть маленькіе, а между тѣмъ, если хоть одинъ изъ нихъ окажется бесполезнымъ, т. е. безсильнымъ, то прощай и весь подборъ. Очевидно, при такихъ ужасающихъ своею сложностію условіяхъ, не можетъ произойти ничего подобнаго подбору.

Но еще рѣшительнѣе второй аргументъ. Собственно Дарвину принадлежитъ честь, что онъ показалъ важное мѣсто, занимаемое въ жизни природы борьбой за существованіе. На множествѣ примѣровъ онъ пояснилъ, какъ одни организмы ограничиваютъ распространеніе другихъ, или даже вовсе ихъ вытѣсняють. Но всѣ эти примѣры относятся только къ *видамъ*, а никакъ не къ разновидностямъ, или индивидуальнымъ измѣненіямъ,—и это Дарвинъ упустилъ изъ вниманія, въ этомъ его коренная ошибка. Виды *не плодородны* между собою, слѣдовательно разъединены, и потому въ борьбѣ за существованіе одинъ видъ можетъ одержать полную побѣду надъ другимъ. Разновидности же и другія отличія всѣ способны къ скрещиванію, способны давать между собою потомковъ, слѣдовательно, новыя формы не только не будутъ разъединяться отъ другихъ, не будутъ подбираться, а напротивъ, тотчасъ же и совершенно сольются съ прежними формами. Для того, чтобъ этого сліянія не происходило, чтобы подборъ былъ возможенъ, очевидно, нужно, чтобы отступленіе отъ типа пріобрѣтало видовое качество, дѣлало отступившій организмъ неспособнымъ къ скрещиванію,—предположеніе совершенно немыслимое для *всякихъ* отступленій; если же допустить это предположеніе только для *нѣкоторыхъ* отступленій, то все дѣло будетъ зависѣть отъ какого-то таинственнаго выбора такихъ отступленій, а вовсе не отъ борьбы.

Такимъ образомъ, тутъ нѣтъ никакого выхода. Со-

здавая свою теорію, Дарвинъ, въ удивленію, не остановилъ своего вниманія на такихъ свойствахъ организмовъ, которыя враждебны всякимъ измѣненіямъ. Порядокъ органическаго міра явнымъ образомъ соблюдается посредствомъ этихъ двухъ началъ —наслѣдственности и скрещиванія (неизбѣжнаго между особями того же вида, но невозможнаго между видами). Какъ же строить теорію измѣненій, не разсмотрѣвъ дѣйствія этихъ началъ?

Искусственный подборъ состоитъ ни въ чемъ иномъ, какъ въ устраненіи скрещиваній, въ томъ, что растеніямъ и животнымъ, представляющимъ извѣстныя свойства, не даютъ смѣшиваться съ другими организмами того же вида. Н. Я. Данилевскій не разъ выражаетъ свое изумленіе, какимъ же образомъ можно было перенести это понятіе подбора на природу и не указать, что именно въ природѣ соотвѣтствуетъ искусственнымъ препятствіямъ въ смѣшенію.

„Подборъ“, говоритъ онъ, „по сущности своей, по самому своему опредѣленію, есть ни что иное, какъ именно *устраненіе скрещиваній*. Казалось бы, что, если бы Дарвинъ, такъ много разсуждавшій о подборѣ, только принялъ на себя трудъ дать ему точное и строгое опредѣленіе, то не могъ бы не увидѣть, что подбора въ природѣ нѣтъ и быть не можетъ. Да, это было бы такъ, если бы человѣкъ, и даже талантливый, ученый, былъ всегда существомъ послѣдовательнымъ и безпристрастнымъ; но эта постоянная послѣдовательность и безпристрастіе даются немногимъ, если только кому-либо даются вполнѣ. Не однѣ только страсти ослѣпляютъ людей, заставляютъ ихъ не видѣть прямыхъ послѣдствій ихъ дѣяній; то же самое ослѣпляющее дѣйствіе имѣетъ и теорія на человѣческій умъ,—она лишаетъ возможности

„видѣть самыя необходимыя слѣдствія ихъ мыслей. Если бы „не этотъ психологическій фактъ, то пришлось бы рѣши- „тельно недоумѣвать предъ необъяснимою непослѣдова- „тельностью Дарвина. Онъ очень ясно сознавалъ, что под- „боръ есть устраненіе скрещиванія, и въ то же время „не понималъ, или, правильнѣе, ослѣпляясь блескомъ своей „гипотезы, не видалъ всей сокрушительной силы этого „простаго опредѣленія для его теоріи“ (ч. II, стр. 101, 102).

Въ другомъ мѣстѣ, въ концѣ книги, авторъ еще разъ со всею силою настаиваетъ на этомъ аргументѣ. Онъ говоритъ:

„Въ опроверженіе Дарвинова ученія можно построить „слѣдующій, совершенно неопровержимый силлогизмъ. „Подборъ существенно заключается въ болѣе или менѣе „полномъ устраненіи скрещиваній, несоответствующихъ „сознаваемой или несознаваемой цѣли измѣненія организ- „ма, и ни въ чемъ иномъ, какъ именно въ этомъ устра- „неніи. И я вызываю кого угодно опровергнуть это по- „ложеніе, составляющее мою первую посылку. Борьба за „существованіе никоимъ образомъ и ни въ какой степени „скрещиванія не устраняетъ, и Дарвинъ нигдѣ не пока- „залъ, что она должна устранять, какъ и чѣмъ должно „быть устранено скрещиваніе въ природѣ. И я опять „вызываю кого угодно опровергнуть и это положеніе, со- „ставляющее мою вторую посылку. Следовательно, въ „природѣ и нѣтъ никакого подбора,—и я опять вызываю „кого угодно доказать невѣрность этого заключенія изъ „двухъ предыдущихъ посылокъ. А изъ этого слѣдуетъ, что „такъ называемый естественный подборъ— не реальный „природный дѣятель или факторъ, а не болѣе какъ фан- „тазмъ, мозговой призракъ, ein Hirngespinnst (какъ очень

„живописно и выразительно говорят нѣмцы) Дарвина и „его послѣдователей“ (ч. II, стр. 496).

VII.

Искусственный подборъ.

Мы кончили анализъ теоріи и можемъ теперь обратиться къ фактамъ, посмотрѣть, какъ природа отвѣчаетъ на вопросы, предлагаемые теоріей.

Наше изложеніе анализа есть, конечно, только очеркъ, указаніе главныхъ его пунктовъ. Но авторъ разсматриваетъ и всѣ побочные и второстепенные пункты; онъ слѣдитъ за мыслью Дарвина и дарвинистовъ во всѣхъ ея развитіяхъ; онъ сравниваетъ добавленія и перемѣны въ разныхъ изданіяхъ Дарвиновыхъ сочиненій, указываетъ уступки, которыя Дарвинъ вынужденъ былъ дѣлать, и уловки, къ которымъ онъ и его послѣдователи прибѣгали, чтобъ укрѣпить явно слабыя стороны теоріи. Все это разъясняетъ дѣло до очевиднѣйшей ясности. Уступки бываютъ таковы, что, указавъ на одну изъ нихъ въ шестомъ изданіи *Origin of species*, Н. Я. Данилевскій говоритъ:

„При должной оцѣнкѣ выписаннаго мѣста, всякій безпристрастный человѣкъ долженъ согласиться, что оно заключаетъ въ себѣ полное отреченіе, полный отказъ отъ ученія о происхожденіи видовъ путемъ естественнаго подбора, хотя та книга, изъ которой эта выписка сдѣлана, продолжаетъ попрежнему носить заглавіе: *Происхожденіе видовъ путемъ естественнаго подбора*“ (ч. II, стр. 124).

Уловки для избѣжанія трудностей теоріи авторъ сравниваетъ съ тѣми *эпиклами*, которые были придуманы для спасенія Плотмеевской системы движенія небесныхъ тѣлъ, и подробно разбираетъ эти „вспомогательныя гипотезы дарвинизма“ (гл. IX).

Все это пусть прочтутъ читатели въ самой книгѣ. Нашимъ изложеніемъ мы хотѣли только показать, что авторъ вполне разъяснилъ *внутреннюю несостоятельность теоріи*, показалъ, что эта теорія, прежде всего, неизбежно опровергается *изъ самой себя*, т. е. главнымъ и лучшимъ приѣмомъ критики.

Слѣдя за этимъ разборомъ, читатель, конечно, невольно почувствуетъ, что онъ попалъ, благодаря Дарвину, въ область какихъ-то фантасмагорій, имѣющихъ развѣ только свой психологическій интересъ, но очевидно очень далекихъ отъ дѣйствительнаго изученія природы. Тысячи дословныхъ выписокъ изъ Дарвина свидѣтельствуютъ, что вся сила и содержаніе его теоріи состоитъ въ соображеніяхъ и предположеніяхъ, въ основѣ которыхъ не лежитъ ни яснаго факта, ни яснаго принципа. Можно сказать, что вопросы, которые Дарвинъ поставилъ природѣ своею теоріею, очень дурно имъ поставлены, и что онъ не искалъ отвѣтовъ надлежащимъ образомъ.

Обращаясь теперь къ положительной сторонѣ книги Н. Я. Данилевскаго, мы уже не можемъ сдѣлать такого полнаго ея очерка, какой сдѣлали относительно анализа Дарвиновой теоріи. Огромное множество фактовъ, собранныхъ въ книгѣ, изложены авторомъ въ томъ ихъ своеобразіи, которое уловить и характеризовать есть непремѣнный долгъ натуралиста. Органическій міръ тутъ является предъ нами подъ управленіемъ своихъ внутреннихъ нормъ и, по тому самому, тѣмъ богатымъ, сво-

боднымъ, даже до причудливости разнообразнымъ міромъ, какимъ знаетъ его всякій, неослѣпленный кабинетными мыслями.

Уважемъ лишь нѣсколько пунктовъ въ видѣ примѣра.

Домашнія животныя и воздѣлываемыя растенія приняты Дарвиномъ за образчикъ того, что можетъ происходить въ дикой, свободной природѣ. Между тѣмъ, эти организмы уже самымъ своимъ положеніемъ указываютъ на какую-то свою особенность; мы обязаны предложить себѣ вопросъ: почему человѣкомъ приручены только извѣстныя животныя, а другія, не смотря на всѣ старанія, не приручаются? Точно также, — почему для культуры человѣкъ выбралъ тѣ, а не другія растенія? Н. Я. Данилевскій показываетъ, что причина заключается въ большей измѣнчивости этихъ организмовъ. Измѣнчивость *въ различной степени* принадлежитъ различнымъ видамъ животныхъ и растеній. Огромное большинство видовъ чрезвычайно постоянны; нѣкоторые измѣнчивы (хотя въ предѣлахъ вида), и къ числу ихъ принадлежатъ культурныя растенія и домашнія животныя. Самый фактъ подчиненія культурѣ и прирученію есть уже черта и доказательство измѣнчивости. И значитъ, нельзя отъ этихъ видовъ переносить заключеніе на другіе.

Слѣдующій за этимъ вопросъ будетъ состоять въ томъ, *какъ проявляется* измѣнчивость? Какимъ образомъ, при какихъ условіяхъ произошли тѣ домашнія породы организмовъ, которыя разнятся между собою *почти какъ* виды? Дарвинъ утверждаетъ, что они возникли изъ постепенныхъ индивидуальных измѣненій, накапливаемыхъ и сохраняемыхъ подборомъ. Онъ ссылается на это, *какъ на фактъ*, и не забудемъ, что это единственный фактъ, на которомъ построена вся теорія. Въ самомъ дѣлѣ, во

всей природѣ до сихъ поръ нигдѣ и никѣмъ еще не найдено такого факта, который бы вполне подходилъ подъ теорію, т. е. не доказано, чтобъ *одинъ видъ перешелъ въ другой рядомъ постепенныхъ измѣненій*. Но, относительно домашнихъ породъ, Дарвинъ считаетъ вполне и несомнѣнно доказаннымъ, что ихъ огромныя различія (иногда, повидимому, далеко превосходящія различія видовъ) произошли именно такъ, — постепенно, изъ индивидуальныхъ отступленій.

Имѣя все это въ виду, нельзя безъ изумленія читать аргументацію Н. Я. Данилевскаго, который нашелъ, что въ дѣйствительности дѣло идетъ совершенно иначе. Сличеніемъ всѣхъ данныхъ, отъ Плинія до нашихъ дней, собственными и чужими опытами, показаніями самого Дарвина, словомъ, во всеоружіи свѣдѣній и логики, авторъ показываетъ, что фактъ, составляющій точку отправленія теоріи, имѣетъ совершенно другой видъ. Вотъ заключеніе:

„Не подборъ главная причина, которой мы обязаны „самыми значительными и характерными измѣненіями домашнихъ животныхъ и растеній; они зависятъ: отъ „дѣльнаго или совокупнаго дѣйствія внѣшнихъ вліяній, „отъ гибридациі какъ съ самостоятельными видами, такъ „и съ сильно уже характеризованными породами, или „разновидностями, отъ индивидуальныхъ измѣненій, остающихся въ чистомъ видѣ, т. е. безъ накопленія ихъ „подборомъ, и отъ *крупныхъ внезапныхъ, скачками происходившихъ измѣненій*, частію уродливыхъ, болѣзненныхъ, частію же нормальныхъ. На выведенномъ ими „высокомъ фундаментѣ зданія, собственно подборъ надстроилъ только сравнительно небольшую башенку“ (ч. I, стр. 511).

Вотъ къ какимъ открытіямъ привело безпристрастное изслѣдованіе. Накопленіе подборомъ, хотя и практикуется съ нѣкоторымъ успѣхомъ, но вовсе не есть источникъ крупныхъ различій. Главное значеніе подбора состоитъ въ сохраненіи уже существующихъ значительныхъ отступленій, самыя же отступленія преимущественно происходятъ въ видѣ болѣе или менѣе внезапныхъ перемѣнъ, таинственно опредѣляемыхъ внутреннею природою организмовъ.

Изъ доказательствъ, въ большомъ множествѣ и подробности изложенныхъ въ книгѣ, обратимъ вниманіе читателей на два аргумента особенно ясные—на вопросы о породахъ голубей и о породахъ грушъ.

О голубяхъ подробно говоритъ самъ Дарвинъ; разведеніе голубей многочисленными и страстными англійскими любителями послужило для него главнымъ образцомъ того, какъ выводились и выводятся (по его мнѣнію) различныя породы домашнихъ животныхъ.

Тщательный разборъ всѣхъ показаній, которыя сюда относятся, показываетъ, однако, что ходъ дѣла былъ совсѣмъ иной. Н. Я. Данилевскій въ заключеніе ссылается на самого Дарвина.

„Спросите человѣка, долгое время разводившаго короткорогій или герсфордскій скоть“, говоритъ Дарвинъ, „лейстерскихъ или саутдаунскихъ овецъ, испанскихъ или бойцовыхъ куръ, турмановъ или гонцовъ, не могли ли всѣ эти породы произойти отъ общихъ прародителей, и онъ, вѣроятно, надсмѣется надъ вами. Заводчикъ допуститъ, что онъ можетъ надѣяться развить овецъ съ болѣе тонкимъ или длиннымъ руномъ, или съ лучшими скелетами, или красивѣйшихъ куръ, или гонцовъ-голубей съ клювами настолько длиннѣе обыкновенныхъ, чтобъ эт

„могъ разглядѣть опытный глазъ, и такимъ образомъ по-
„лучить успѣхъ на выставкѣ. Онъ идетъ такъ далеко, но
„не дальше; онъ не размышляетъ о томъ, что происхо-
„дитъ вслѣдствіе скопленія, въ продолженіе весьма дол-
„гаго времени, многихъ легкихъ послѣдовательныхъ измѣ-
„неній; онъ также не размышляетъ о прежнемъ суще-
„ствованіи многочисленныхъ разновидностей, соединявшихъ
„расходящіяся линіи происхожденія. Онъ заключаетъ, что
„всѣ главныя породы, которыя онъ давно вывелъ, суть
„первобытныя произведенія“. (*Прируч. животн. и возд.*
раст., II, стр. 267, 268).

Н. Я. Данилевскій на это замѣчаетъ:

„Да, такъ разсуждаетъ любитель, занимающійся под-
„боромъ, и разсуждаетъ совершенно правильно и вѣрно;
„онъ хорошо знакомъ съ орудіемъ своихъ успѣховъ, съ
„тѣмъ рычагомъ, при посредствѣ котораго онъ нарушаетъ
„покой и равновѣсіе органическихъ формъ, и знаетъ, къ
„чему это орудіе, этотъ рычагъ—подборъ—способенъ, чего
„онъ можетъ достигнуть и предъ чѣмъ останавливается.
„Невѣрно его сужденіе только въ одномъ: въ томъ, что
„онъ считаетъ, что породы, надъ которыми онъ произво-
„дитъ свои операціи—произведенія первобытныя. Отно-
„сительно его средствъ, относительно подбора—они дѣй-
„ствительно таковы и есть; но есть и другія орудія и
„средства у природы, ему неизвѣстныя, на которыя, во
„всякомъ случаѣ, онъ не имѣетъ ни малѣйшаго основанія
„разсчитывать. Это—крупныя, внезапныя, самопроизволь-
„ныя измѣненія, уродливыя уклоненія отъ типа, отъ
„времени до времени появляющіяся, но независимыя отъ
„подбора; это также—вліяніе гибридаціи, если онъ зави-
„мается исключительно подборомъ въ тѣсномъ смыслѣ
„этого слова, и къ ея помощи не прибѣгаетъ; это еще—

„вліяніе внѣшнихъ условій, въ томъ числѣ и культуры, „дѣйствующихъ часто внѣ всякаго разсчета. Эти главныя, „основныя породы: гонцы, турманы, дутыши, никогда не „происходили подборомъ; самъ Дарвинъ, какъ мы видѣли, „невольно признаетъ это, прибѣгая къ помощи случайнаго „рожденія птицы съ уродливо малымъ клювомъ, къ рождѣнію птицы съ какою нибудь болѣзнью мозга, или, вообще, „къ необходимости предположенія появленія достаточно „рѣзкихъ особенностей, чтобъ остановить на себѣ глазъ „любителя... Также точно, ни въ своей таблицѣ происхожденія голубей, ни въ другомъ какомъ-либо мѣстѣ, „Дарвинъ не указалъ на тѣ прежде существовавшія много- „численныя разновидности, соединявшія расходившіяся „линіи происхожденія, и еще менѣе на образованіе подборомъ этихъ соединительныхъ звеньевъ, про что, по его „словамъ, не размышляетъ любитель, но о чемъ, ему, собственно, и размышлять не зачѣмъ, такъ какъ никто ничего подобнаго въ дѣйствительности не видалъ... Итакъ, „со своей точки зрѣнія, т. е., именно съ точки зрѣнія „подбора, правъ любитель-заводчикъ, а не Дарвинъ“ (ч. I, стр. 430, 431).

Что касается *грушъ*, то дѣло здѣсь интересно и по необыкновенному промаху Дарвина, и по ясности и обширности факта, противорѣчащаго его ученію. Дарвинъ нигдѣ не трактуетъ спеціально о грушахъ, но мимоходомъ говоритъ, однако же, о нихъ весьма рѣшительно, и именно въ доказательство *безсознательнаго* подбора, т. е. подбора, при которомъ люди не задаются опредѣленною цѣлью, а невольно, непреднамѣренно сохраняютъ и воздѣлываютъ лишь то, что лучше. Такъ какъ груши представляютъ множество породъ, и притомъ поразительно различныхъ по качеству плодовъ, то Дарвинъ уже изъ

того вывелъ для себя заключеніе о долгомъ и медленномъ подборѣ, и дошелъ до того, что съ величайшею вѣренностію говоритъ: „Можетъ ли кто въ здоровомъ умѣ надѣяться получить яблоко перваго достоинства, или сочную, тающую грушу отъ дикой груши“? (*Прир. животн. и возд. раст.* II, стр. 28).

Между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, лучшіе сорта грушъ именно такъ и получились, т. е. какое-нибудь сѣмя дикой груши неожиданно давало изъ себя дерево съ большими сочными, тающими плодами, которое потомъ и было размножаемо прививкою. Н. Я. Данилевскій обстоятельно это доказываетъ ссылками на знаменитыхъ садоводовъ Ванъ-Монса и Декена, десятки лѣтъ практически занимавшихся этимъ дѣломъ. Декенъ прямо говоритъ: „Мои опыты показываютъ, что мы можемъ получить хорошія разновидности, высѣвая сѣмена дикихъ грушъ, и очень чурныя—высѣвая сѣмена нашихъ улучшенныхъ породъ“. Для большей убѣдительности, Н. Я. Данилевскій приложилъ таблицу происхожденія лучшихъ сортовъ грушъ, въ числѣ 144 (ч. II, приложенія, стр. 127—137). Изъ нихъ, 33 груши были прямо найдены, и извѣстно, гдѣ и когда именно, иногда въ лѣсахъ, въ совершенно дикихъ и пустынныхъ мѣстахъ; даже маточныя деревья старыхъ сортовъ еще существуютъ. Далѣе, 30 сортовъ—старинные, неизвѣстнаго происхожденія; 18 сортовъ выведены Ванъ-Монсомъ изъ посѣвовъ на удачу; 3 сорта найдены въ садахъ. Наконецъ, остальные 60 сортовъ получены изъ намѣренныхъ посѣвовъ хорошихъ сѣмянъ; но это только новые сорта, а никакъ не того же качества и не превосходнѣе старыхъ.

Итакъ, въ грушахъ, при переходѣ отъ одного поколѣнія къ другому, вдругъ совершаются большія единич-

ныя отступленія, которыя не передаются наслѣдственно и сохраняются уже раздѣленіемъ того же растенія, а не размноженіемъ сѣменами (ч. I, стр. 391—398).

Но есть примѣры такихъ же крупныхъ внезапныхъ измѣненій передающихся по наслѣдству, слѣдовательно почти достигающихъ видоваго предѣла и, въ этомъ отношеніи, едва ли не превосходящихъ измѣненія голубей и куръ. Очень любопытный случай такого рода представляетъ исторія *однолистной земляники*, вдругъ появившейся въ 1763 г. въ одномъ изъ садовъ въ Версали (ч. I, стр. 406—408). Два другіе рѣзкіе примѣра—кипарисъ, дающій изъ сѣмянъ пирамидальную разновидность, и біота, дающая разновидность плакучую (стр. 401—404). Послѣдній примѣръ, какъ вполне подтвержденный фактически, авторъ поясняетъ четырьмя таблицами рисунковъ, приложенными къ первой части.

Мы здѣсь только указываемъ, и только на выдающіеся случаи; въ книгѣ читатель найдетъ и точное описаніе ихъ, и много другихъ фактовъ, противорѣчащихъ Дарвинову медленному подбору; найдетъ также отчетливую критику тѣхъ фактовъ, которые Дарвинъ приводитъ въ свою пользу.

Все это очень важно уже потому, что въ огромной литературѣ дарвинизма „всего меньше дѣлалось возраженій противъ ученія объ искусственномъ подборѣ“. Общее свое заключеніе Н. Я. Данилевскій выразилъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Такимъ образомъ, самая база, съ которой Дарвинъ „начинаетъ свои измѣренія, простирающіяся, такъ сказать, въ глубь времени, сокращается до самыхъ незначительныхъ размѣровъ, а слѣдовательно, и всѣ измѣренія его, т. е. выводы, теряютъ всякую достовѣрность. Въ самомъ

„дѣлѣ, если подборъ не составляетъ главнаго фактора
„измѣнчивости даже въ домашнихъ организмахъ, то какая
„возможность приписывать ему эту роль при несравненно
„значительнѣйшихъ измѣненіяхъ дикихъ животныхъ и ра-
„стеній? Если же мы признаемъ, что и въ дикихъ орга-
„низмахъ этимъ главнымъ факторомъ были самопроиз-
„вольныя, крупныя, внезапныя измѣненія, то, хотя проис-
„хожденіе видовъ отъ видовъ, т. е. такъ называемая теорія
„нисхожденія, и становится возможною, но собственно
„дарвинизмъ уже исчезаетъ, ибо: 1) эта теорія не будетъ
„уже представлять никакой логической необходимости....
„Индивидуальныя измѣненія дѣйствительно всегда на лицо,
„и потому всегда находятся подъ руками для всякаго
„дальнѣйшаго накопленія и постройки изъ нихъ какого
„угодно зданія..., на крупныя же самопроизвольныя измѣ-
„ненія рассчитывать невозможно. 2) Если и можно пред-
„ставить себѣ при этомъ происхожденіе вида отъ вида
„однимъ скачкомъ, или очень малымъ числомъ скачковъ,
„то уже вся гармонія и цѣлесообразность органическаго
„міра остается не только безъ объясненія, но является
„прямою невозможностію при предположеніи, что такого
„рода измѣнчивость будетъ столь же неопредѣленною, какъ
„это предполагаетъ Дарвинъ для своихъ легкихъ индиви-
„дуальныхъ измѣненій“. (ч. I, стр. 512, 513).

VIII.

Т е л е о л о г і я.

Природа, какъ мы видимъ, дѣйствуетъ сильнѣе и
самостоятельнѣе, чѣмъ полагаетъ Дарвинъ. Еще яснѣе,
и вполнѣ поразительно, открывается намъ ея свобода,

широкіе размахи органическаго созиданія, когда мы разсматриваемъ формы и строеніе различныхъ живыхъ существъ. По Дарвину, всякая черта ихъ устройства опредѣляется необходимостію, составляетъ лишь то орудіе, безъ котораго они были бы уничтожены въ жестокой борьбѣ за существованіе. Нужно помнить различіе этой псевдотелеологіи отъ истинной телеологіи. Телеологія, такая, какъ, напримѣръ, у Кювье, говоритъ лишь, что все существующее исполняетъ условія своего существованія; Дарвинъ же учитъ, что *только то одно* и существуетъ, что эти условія исполняетъ. Такимъ образомъ, по Кювье, организмы имѣютъ нѣкоторую свою природу и нѣкоторое свое назначеніе, но при этомъ приноровлены къ условіямъ, среди которыхъ живутъ. По Дарвину же, наоборотъ, вся природа организмовъ и все ихъ назначеніе заключается въ этомъ приноровленіи, вплоть имъ исчерпывается, и въ нихъ нѣтъ ничего опредѣляемаго какимъ-нибудь другимъ началомъ. Чтобы показать, что таковъ точный смыслъ этой псевдотелеологіи, приведемъ подлинныя слова Дарвина; онъ говоритъ:

„Вообще признано, что всѣ органическія существа „были образованы по двумъ великимъ законамъ: по единству типа и условіямъ существованія. Подъ единствомъ „типа разумѣется фундаментальное сходство строенія, „которое мы видимъ въ органическихъ существахъ того „же разряда и которое совершенно независимо отъ ихъ „жизненныхъ привычекъ. По моей теоріи единство типа „объясняется единствомъ нисхожденія. Выраженіе условій „существованія, на коемъ такъ часто настаивалъ знаменитый Кювье, вполне объясняется пачаломъ естественнаго подбора, потому что естественный подборъ дѣйствуетъ: или принаравливая теперь измѣняющіяся части

„каждаго существа къ его органическимъ или неорганическимъ жизненнымъ условіямъ, или тѣмъ, что прино-
„равливалъ ихъ въ теченіе протекшихъ періодовъ вре-
„мени.... Отсюда, законъ условій существованія есть въ
„сущности высшій законъ, потому что онъ включаетъ въ
„себя, чрезъ унаслѣдованіе прежнихъ измѣненій и при-
„норовленій, законъ единства типа“. (*Orig. of spec.* VI ed. p. 166).

Итакъ, всякая черта строенія организма или теперь полезна, или была полезна прежде. Не только вредныхъ, но и бесполезныхъ, безразличныхъ частей и формъ организмы имѣть не могутъ; по крайней мѣрѣ, подобныя черты строенія не могутъ имѣть въ организмахъ никакого важнаго значенія и никакого постоянства. Ибо, не забудемъ, подборъ есть единственная фиксирующая и сохраняющая сила, и все, что подъ него не подходитъ, должно колебаться и исчезать.

И вотъ, у Дарвина и его послѣдователей является цѣлый океанъ предположеній о томъ, почему и какъ полезна, или могла быть полезна всякая, па-удачу взя-тая, черта животныхъ и растеній. Н. Я. Данилевскій пускается въ это море догадокъ и, твердо владѣя рулемъ и парусами, легко находитъ и мелкіе острова, и материкъ. Двѣ главы, X и XI, посвящены разсмотрѣнію безразличныхъ, бесполезныхъ и вредныхъ признаковъ, встрѣчающихся въ организмахъ. Это разсмотрѣніе ясно доказываетъ, что между органическимъ міромъ, какимъ онъ вытекаетъ изъ естественнаго подбора, и между міромъ дѣйствительнымъ существуетъ непримиримое противорѣчіе. Нужно помнить при этомъ, что признаки, о которыхъ идетъ рѣчь, могутъ быть вовсе не безразличны и не бесполезны вообще для нѣкоторой высшей цѣли, для

осуществленія идеи органическаго міра, но они несомнѣнно вредны и бесполезны для Дарвиновой цѣли, для побѣды въ борьбѣ за существованіе.

Материкомъ въ этомъ плаваніи по морю догадокъ можно считать: во-первыхъ, превосходныя указанія на то правильное и огромное разнообразіе въ нѣкоторыхъ формахъ растеній и животныхъ, которое, очевидно, не имѣетъ никакого отношенія въ жизненной борьбѣ (стр. 136—178); во-вторыхъ, разъясненіе той мысли, о которой мы уже упоминали, именно, что органическій міръ не составляетъ отпечатка среды, т. е. внѣшняго міра (ч. II, стр. 196—205).

„Еслибъ организмы“, говоритъ Н. Я. Данилевскій, „образовывались и вырабатывались подъ вліяніемъ Дарвинова подбора, то необходимо было бы, чтобы главныя группы, на которыя распадалось бы животное царство, соответствовали ихъ жизни въ водѣ и на сушѣ. Если бы приоровленіе къ средѣ было самымъ существеннымъ въ организмахъ животныхъ, то жизнь водная и жизнь на сухомъ пути таѣ моделировала бы животныхъ, что всѣ признаки инаго характера отступили бы на второй, и вообще на задній планъ“ (стр. 201).

Вообще, если взять всю картину органическихъ формъ въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ, всю ту *естественную систему* животныхъ и растеній, надъ которою съ такою любовію трудились многія поколѣнія натуралистовъ и которую они довели до такой удивительной отчетливости, то всякому станетъ очевидно, что никакія существенныя черты этой картины не представляютъ какого нибудь отраженія внѣшнихъ вліяній; натуралисты потому никогда и не находили здѣсь печати Дарвиновскаго принципа, что ея дѣйствительно нигдѣ не видно.

Изъ частныхъ примѣровъ безполезности и вредности укажемъ лишь на тѣ, которые и подробно разобраны, и особенно поразительны. Таковы: *гремущка у гремучей змѣи* (стр. 209—214), устройство *лентовидныхъ рыбъ* (227—230), *рога оленя* (234—239), *нижняя челюсть емирамфа* (244—245).

Эти частности и множество другихъ, на которыхъ съ охотой и любовью останавливается авторъ, интересны не только какъ явныя противорѣчія теоріи, но и потому, что въ живыхъ образахъ, въ яркихъ краскахъ представляютъ намъ загадочную, какъ будто причудливую расточительность той пластической силы, которая управляетъ созданіемъ организмовъ. Впрочемъ, одинъ взглядъ на слона, или на хвостъ павлина, долженъ былъ бы, по видимому, возбуждать въ насъ такое же чувство, если бы наша впечатлительность не была въ этихъ случаяхъ притуплена привычкою.

На одномъ примѣрѣ, какъ на особенно поучительномъ, Н. Я. Данилевскій останавливается со всею подробностію, именно на *плавательномъ пузырьѣ* рыбъ (стр. 245—265 и пояснительные рисунки, табл. V и VI). Пузырь этотъ соотвѣтствуетъ легкимъ высшихъ животныхъ, онъ есть *зачаточный органъ*, и на немъ чрезвычайно ясно видно значеніе такихъ органовъ. Описавъ и разобравъ всѣ формы и отправленія пузыря, Н. Я. Данилевскій заключаетъ такъ:

„Плавательный пузырь не могъ быть произведенъ *подборомъ*, такъ какъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ *„безполезенъ... Онъ не могъ быть вызванъ также соотвѣтственностію роста, ибо нивакому другому спеціальному органу или спеціальному строенію не соотвѣтствуетъ; не могъ быть и результатомъ наслѣдственности, ибо по-*

„является въ разныхъ группахъ, безъ соотвѣтственности
„съ ихъ систематическимъ сродствомъ, которое, по Дар-
„вину, и составляетъ именно указаніе и слѣдствіе ихъ
„генсалогического родства. Но и этого мало. Еслибъ и
„удалось объяснить путемъ подбора самое происхожденіе
„плавательнаго пузыря у рыбъ вообще, мы все таки не полу-
„чили бы объясненія (вытекающаго изъ того же прин-
„ципа) всѣхъ разнообразныхъ и странныхъ его формъ у
„различныхъ видовъ, нѣкоторые только образчики кото-
„рыхъ я здѣсь представилъ (они изображены на табли-
„цахъ V и VI). Самое же главное, мы уже никакъ не
„получили бы изъ начала подбора изъясненія того суще-
„ственнѣйшаго и важнѣйшаго факта, какъ органъ, гомо-
„логическій съ легкими, постепенно готовится въ
„цѣломъ ряду формъ (у однѣхъ въ одномъ, у другихъ
„въ другомъ отношеніи) къ тому, чтобы сдѣлаться, на-
„конецъ, легкими и въ фізіологическомъ смыслѣ, и при-
„томъ готовится къ этому исключительно морфоло-
„гически. Я говорю *исключительно морфологически* потому,
„что ни различными степенями и разнообразными свой-
„ствами своего ячеистаго строенія, ни различными ком-
„бинаціями своего соединенія съ пищевыми путями, пла-
„вательный пузырь нисколько не служитъ ни дыханію,
„ни какому либо воображаемому содѣйствію плаванію.
„Не очевидно ли послѣ этого, что другаго объясненія,
„кромѣ чисто морфологическаго, нельзя дать ни появле-
„нію и продолжающемуся существованію, ни изложен-
„нымъ постепеннымъ измѣненіямъ строенія и анатомиче-
„ской связи органа, столь распространеннаго у рыбъ, какъ
„плавательный пузырь? Мы видимъ органъ, появившійся
„и измѣнявшійся чисто морфологически, но которымъ, отъ
„времени до времени, природа то однимъ, то другимъ

„образомъ пользовалась и для адаптативныхъ цѣлей. По-
отношенію къ плаванію, пузырь доставилъ устойчи-
вость тѣмъ плоскимъ рыбамъ, которыя, какъ *Platax* и
Psettus, должны бы были безъ него лежать на боку, по-
добно камбаламъ; по отношенію къ дыханію, далъ воз-
можность каранксамъ выдавливать заключающійся въ
немъ воздухъ прямо въ жабры; по отношенію къ слуху,
природа привела пузырь въ нѣкоторыхъ спеціальныхъ
случаяхъ въ связь съ этимъ органомъ чувствъ; по отно-
шенію къ главной цѣли, къ преобразованію въ легкое,
представила пѣлые ряды чисто морфологическихъ пере-
мѣнъ въ разныхъ направленіяхъ, которыя, сами по себѣ,
безспорно бесполезны. Неужели же этотъ примѣръ, по-
тому именно съ особенною подробностію мною разобран-
ный, не показываетъ съ очевидною ясностію, что *въ*
строеніи организмовъ сторона морфологическая есть глав-
ное и существенное, что она даетъ намъ руководящую
нить для пониманія органическаго строенія, а что *адап-*
тативная сторона есть уже нѣчто второстепенное,
нѣчто проявляющееся иногда уже какъ результатъ, а не
какъ обуславливающая въ каждомъ случаѣ причина“?
(ч. II, стр. 264—265).

IX.

Борьба за существованіе.

Собственно говоря, мы не должны употреблять вы-
раженій *подборъ, естественный подборъ*, такъ какъ въ
природѣ ничего подобнаго не существуетъ. Но мы дѣ-

лаемъ это ложное предположеніе только для ясности, для того, чтобы посредствомъ отрицанія такой опредѣленной формулы лучше выразить дѣйствительные факты природы. Вопросъ идетъ о томъ, въ какой мѣрѣ устройство организмовъ представляетъ соотвѣтствіе обстоятельствамъ, среди которыхъ они живутъ. По Дарвину, это соотвѣтствіе должно быть полное, не терпящее никакого уклоненія.

„Вмѣсто этого“, говоритъ Н. Я. Данилевскій, „что же мы находимъ? Что нѣкіе морфологическіе типы (общіе и частные), не имѣющіе ничего общаго съ приноровленностію, съ творческимъ или критическимъ вліяніемъ среды, прободаютъ всю эту сумму внѣшнихъ вліяній и пролагаютъ себѣ чрезъ нихъ торжествующій путь, подобно тому, какъ движимый внутреннею силою пароходъ разсѣкаетъ на встрѣчу ему идущія волны и теченія. Не очевидно ли, что этотъ-то морфологическій принципъ, не образуемый, не моделируемый средой, а побѣждающій ея вліянія и, такъ сказать, заставляющій ихъ себѣ служить, составляетъ главное въ организмахъ? Этотъ морфологическій принципъ моделируетъ животные (а также и растительные) организмы, не въ тѣхъ только основныхъ чертахъ, по которымъ мы отличаемъ типы животного царства, но и всѣ прочія систематическія группы: классы, отряды, семейства, роды и виды; потому что, во всѣхъ этихъ группахъ вліяніе среды, приноровленіе къ ней, проявляется лишь въ признакахъ очевидно подчиненныхъ этому, отъ приноровленности совершенно независимому и самостоятельному, морфологическому принципу“ (ч. II, стр. 202).

Но если такъ, то что же дѣлаетъ борьба за существованіе? Мы теперь убѣждены, что она не опредѣ-

ляетъ собою формы организмовъ; но какъ же она дѣйствуетъ не въ теоріи Дарвина, а въ дѣйствительной природѣ? Вопросъ очень любопытный, и книга Н. Я. Данилевскаго преисполнена фактовъ и разсужденій сюда относящихся.

Жестокость этой борьбы вошла въ поговорку; изъ всѣхъ чертъ теоріи Дарвина, эта черта показалась столь ясною и несомнѣнною, что ее всѣ признали, даже тѣ, кто знаетъ о Дарвинѣ только по слуху; можно сказать, что счастливой мысли о борьбѣ за существованіе теорія больше всего обязана и своимъ происхожденіемъ, и своими успѣхами. Дарвинъ, какъ прежде него Мальтусъ, былъ пораженъ тѣмъ соображеніемъ, что размноженіе всякихъ организмовъ, даже наименѣе плодовитыхъ, идетъ въ геометрической прогрессіи, слѣдовательно, потомки одного недѣлимаго могли бы скоро наполнить собою всю землю, если бы ничѣмъ не истреблялись. Это ясно и несомнѣнно. Но въ чемъ состоитъ главный принципъ истребленія? Повидимому, самый неизбежный принципъ есть *вытекающій прямо отсюда недостатокъ* необходимыхъ условій, напримѣръ, пищи, простора, защиты и т. п. Итакъ, изъ-за условій существованія должно происходить между недѣлимыми того же вида непрерывное состязаніе. Эти условія постоянно берутся, такъ сказать, съ бою; и такъ какъ масса бойцовъ нарастаетъ безъ предѣла и съ величайшей быстротой, то обратно можно сказать, что всѣ мѣста въ природѣ заняты до границы переполненія, что каждый уголокъ сейчасъ же находитъ жителей, подходящихъ подъ его условія.

Такъ представляетъ себѣ дѣло Дарвинъ. Но какъ оно дѣлается въ дѣйствительности? Очевидно, сколько бы мы ни подбирали случаевъ, показывающихъ присутствіе въ

природѣ борьбы и вытѣсненія, если мы не докажемъ, что состязаніе между различными формами *всегда* происходитъ на самой *границѣ переполненія*, то и не докажемъ, что дѣло опредѣляется только тѣснотою мѣста, или недостаткомъ другаго условія жизни.

Вопросъ о томъ, чѣмъ ограничивается въ природѣ число размножающихся недѣлимыхъ, чѣмъ опредѣляются отношенія между количествами различныхъ органическихъ формъ, гораздо сложнее, чѣмъ думалъ Дарвинъ, и представляетъ очень любопытныя и загадочныя стороны. Оказывается, что гибель организмовъ зависитъ. большею частію, не отъ недостатка средствъ къ жизни, не отъ состязанія, а производится многими другими причинами, изъ которыхъ можетъ быть всего яснѣе—климатическія перемѣны. Приведемъ мѣсто, гдѣ Н. Я. Данилевскій ссылается на свои собственные наблюденія.

„Въ особенности часто случаются перерывы въ напряженности борьбы среди водныхъ животныхъ, населяющихъ рѣки, озера и внутреннія моря,—животныхъ, сильная размножаемость которыхъ должна бы, повидимому, вести къ борьбѣ самой напряженной и непрерывной. Сильныя волненія выбрасываютъ огромное количество выметанной икры на берегъ, гдѣ она высыхаетъ и гибнетъ. Большая часть рыбъ мечетъ икру въ затомахъ, заливныхъ мѣстахъ, такъ называемыхъ ильменяхъ и лиманахъ. Если въ это время случится сильный дождь, отъ котораго втекаетъ много мутной воды въ эти вмѣстилища, то пкринки покрываются слоемъ мути и становятся неспособными къ развитію. Наступаютъ засухи, лиманы и плмени въ значительной степени высыхаютъ, и молодой приплодъ гибнетъ. И безъ большой засухи, если предъ наступленіемъ осени (когда болѣе быстрое охлажденіе

„такихъ мелкихъ бассейновъ побуждаетъ молодую рыбу
„уходить въ рѣку) вода не подымается настолько, чтобы
„каналы, соединяющіе эти ильмени и лиманы съ рѣкою,
„наполнились, то молодой приплодъ остается въ этихъ-
„мелкихъ бассейнахъ; наступаетъ зима, ильмени покры-
„ваются толстымъ слоемъ льда, и вся рыба въ нихъ
„задыхается. Такимъ образомъ, приплодъ цѣлаго года ос-
„тается напраснымъ, почти не содѣйствуя размноженію
„многихъ породъ. Во время каспійской экспедиціи покой-
„наго академика Бэра, мы видѣли на персидскомъ берегу,
„близъ Энзели, весь берегъ покрытымъ на протяженіи
„многихъ верстъ, какъ отдѣльными трупами, такъ и цѣ-
„лыми кучами, точно копнами, мертвыхъ сомовъ. Вліяніе
„всѣхъ этихъ причинъ столь велико, что, при одинаковой
„напряженности лова, результаты улова бываютъ чрез-
„вычайно различны, и не въ одной какой либо изъ рѣкъ
„впадающихъ въ море, или въ какой либо части внутрен-
„няго моря, каковы: Каспійское, Азовское, а часто на
„всемъ пространствѣ ихъ. За годами чрезвычайныхъ уло-
„вовъ слѣдуетъ продолжительный рядъ годовъ безрыбья,
„которое по большей части является не результатомъ
„излишняго лова (обнаруживающаго свое вліяніе лишь
„постепенно и медленно), а только-что поименованныхъ
„мною явленій. Очевидно, что въ эти годы море и рѣки
„его далеки отъ насыщенія ихъ пространства рыбою“
(ч. I, стр. 468 — 469).

Множество другихъ показаній и наблюденій собрано
въ книгѣ, чтобы показать, какъ различны бываютъ усло-
вія, которыя или ограничиваютъ распространеніе и раз-
множеніе органическихъ существъ, или же, на оборотъ,
даютъ имъ большой просторъ въ этомъ отношеніи. Об-

цій свой выводъ. Н. Я. Данилевскій формулировалъ слѣдующимъ образомъ:

„Изъ этихъ соображеній вытекаетъ, что необходимость „крайне напряженной борьбы за существованіе, какъ неизбѣжный результатъ возрастанія въ геометрической прогрессіи численности каждаго вида, есть только требованіе „теоретическое... На дѣлѣ, на практикѣ, осуществленіе „этого требованія никогда не бываетъ повсемѣстнымъ, повсевременнымъ. Всегда, то для однихъ существъ, то „для другихъ, открываются обширные пробѣлы, такъ сказать пустоты, которыя разныя животныя и растенія могутъ наполнять, въ теченіе долгаго времени, внѣ всякой „борьбы за существованіе. Словомъ, если и должно принять, что, вообще, всѣ организмы стремятся къ „полненію отмежеваннаго имъ природою (по необходимости „ограниченнаго) мѣста, и слѣдовательно, находятся въ „постоянномъ стремленіи вступить въ самую ожесточенную, „напряженную борьбу, т. е. находятся на пути къ этой „войнѣ, то, съ другой стороны, разныя условія приводятъ „къ тому, что стремленіе это или не осуществляется, „или, и осуществляясь на нѣкоторое время въ извѣстной „мѣстности, то тамъ, то здѣсь, скоро прекращается, „тому что прекращается то тѣсное прикосновеніе, которое необходимо для напряженности борьбы. Борьба, слѣдовательно, можетъ происходить только урывками, то „тамъ, то здѣсь, то для однихъ, то для другихъ существъ, „то въ одно, то въ другое время, такъ что происходитъ „не всеобщая и непрерывная война, а только частныя „временныя и мѣстныя войны, которыя прерываются частыми промежутками мира“ (ч. I. стр. 461).

Не можемъ оставить этого предмета, не указавъ на два, на три примѣра. Авторъ ссылается на общеизвѣст-

ный фактъ огромнаго размноженія лошадей и рогатаго скота въ Америкѣ, въ Прилаплатскихъ странахъ, и спрашиваетъ: неужели для этого необходимо было вытѣснить соразмѣрное число дикихъ травоядныхъ животныхъ, пасшихся на этихъ великолѣпныхъ пастбищахъ? Разобравъ всѣ обстоятельства дѣла, онъ заключаетъ:

„Эти лошади и рогатый скотъ никого собою не вытѣснили (по крайней мѣрѣ не вытѣснили въ степени, соотвѣтствующей ихъ размноженію) и размножились вовсе не на чей нибудь счетъ, а на счетъ свободнаго запаса природы. Они сдѣлали собственно то же, что дѣлаетъ человѣкъ, размножаясь въ извѣстной странѣ и добывая себѣ пропитаніе, и вообще средства къ жизни, не на счетъ другъ друга, или людей другихъ странъ, а развитіемъ промышленности, ускореніемъ оборота капитала, что вѣдь, въ концѣ концовъ, приводится къ *ускоренію кругообращенія вещества*. Это-то кругообращеніе вещества ускорили въ пампахъ и поселившіеся тамъ на правахъ дикихъ животныхъ лошади и рогатый скотъ, никого не вытѣснивъ, не ограбивъ, или сдѣлавъ это лишь въ самыхъ небольшихъ размѣрахъ, далеко не соотвѣтствующихъ умножившемуся ихъ числу. Это ускореніе круговращенія матеріала, именно вслѣдствіе появленія новыхъ формъ, или переселенія ихъ изъ страны въ страну, возможно еще въ очень обширныхъ, неисчислимыхъ размѣрахъ, и слѣдовательно, количество жизни на землѣ можетъ возрастать не относительно только, замѣною старыхъ формъ новыми, бѣльшимъ числомъ видовъ, но за то съ уменьшеніемъ особей, — а и абсолютно, увеличеніемъ численности одного вида, безъ уменьшенія ея въ другихъ“ (ч. I, стр. 460).

Весь трактатъ о бесполезныхъ и вредныхъ призна-

кахъ, а также глава о вымираніи организмовъ (гл. XIII) наполнены косвенными доказательствами того, что и процвѣтаніе, и погибель организмовъ зависятъ далеко не отъ того состязанія, при которомъ имъ становится невозможно жить вмѣстѣ. Заговоривъ о *лентовидныхъ* рыбахъ, объ ихъ странныхъ формахъ и необыкновенной хрупкости ихъ тѣла, авторъ съ большою живостью выражаетъ свой взглядъ на дѣйствительный порядокъ природы.

„Если вся организація лентовидныхъ рыбъ такъ не-
„выгодна“, говоритъ онъ, „то, можетъ быть, спросятъ: ка-
„кимъ же образомъ вообще онѣ могутъ существовать?
„Онѣ, безъ сомнѣнія, и не могли бы существовать, если
„бы въ природѣ происходила борьба за существованіе въ
„томъ смыслѣ, въ которомъ ее представлялъ Дарвинъ,
„т. е. если бы всѣ мѣста были заняты въ природѣ, если
„бы всѣ существа, стремясь размножаться въ геометри-
„ческой прогрессіи, непрестанно тѣснили другъ друга, такъ
„что все, что мало-мальски отстало, не примѣнилось въ
„достаточной мѣрѣ къ измѣнившейся средѣ, не идетъ въ
„ногу по пути прогресса со всѣми прочими существами,
„сейчасъ же безжалостно уничтожалось бы опередившими
„соперниками, находящимися, такъ сказать, непрерывно
„на-сторожѣ и зорко подсматривающими и слѣдящими за
„тѣмъ, нѣтъ ли съ чьей нибудь стороны малѣйшаго упу-
„щенія, чтобы воспользоваться этою прорухою и занять
„мѣсто отсталаго, не усовершенствовавшагося въ мѣру
„крайнихъ требованій жизненной конкуренціи. Оказы-
„вается, что на свѣтѣ живетъ вообще нѣсколько сво-
„боднѣе, чѣмъ это представляется по ультра-англійскому
„міровоззрѣнію; что и у природы есть, такъ сказать, снис-
„ходительность, что и она долготерпѣлива и многоми-

„лостива, что всякому существу отмежевывается своя „область, изъ которой другимъ не такъ-то легко его вытѣснить, что живетъ все, что можетъ жить, и не только „одно сильное и превосходно вооруженное, а и слабое, „что *bellum omnium contra omnes*, эта Гоббзовская всеобщая война, возобновленная Дарвиномъ въ примѣненіи „къ органическому міру, не столь жестока, напряженна „и непрестанна, какъ, повидимому, должна бы быть по „арифметическимъ выкладкамъ геометрической прогрессіи „размноженія“ (ч. II, стр. 230—231).

Итакъ, размѣры дѣйствій природы гораздо шире, чѣмъ предполагаетъ узкая теорія. Могущество естественныхъ силъ и просторъ естественныхъ стихій такъ велики, что передъ ихъ игрою отступаетъ на задній планъ взаимное состязаніе организмовъ. Съ одной стороны, различныя гибельныя вліянія далеко превосходятъ своею силою простое дѣйствіе тѣсноты и соперничества и гораздо быстрѣе задерживаютъ излишнее размноженіе; съ другой стороны, живыя существа, даже независимо отъ этого, могутъ находить въ природѣ свободное пространство, открытое поприще для своего распространенія и развитія. Организмы подвержены опасностямъ и бѣдамъ, но есть для нихъ и счастливая доля, когда жизнь ихъ можетъ вольно развертываться во всей своей красотѣ и своеобразности.

Х.

Морфологическій принципъ.

Богатство мыслей и фактовъ такъ велико въ этой книгѣ, что мы принуждены здѣсь отказаться даже отъ простаго указанія на многіе существенные предметы.

Каждый вопросъ, на которомъ останавливается авторъ, у него не только важенъ по связи съ общою задачею, но и сохраняетъ свою собственную важность и разбирается со всею строгостью науки и основательнѣйшей эрудиціи. Чрезвычайно любопытна предпоследняя глава; тутъ авторъ доказываетъ, между прочимъ, что для времени существованія организмовъ на землѣ нужно предполагать цифру около двадцати пяти милліоновъ лѣтъ, тогда какъ для Дарвинова процесса, если прямо слѣдовать его собственнымъ предположеніямъ, необходимо было бы въ триста или даже въ восемьсотъ разъ больше времени. Эти остроумныя гипотетическія соображенія очень интересны; но еще интереснѣе факты вымиранія животныхъ и растеній, собранные и анализированные въ той же главѣ. Всѣ обстоятельства этого вымиранія показываютъ, что, вопреки Дарвину, вымирающій видъ никогда не вытѣсняется другимъ, къ нему ближайшимъ видомъ. Случаи вымиранія обыкновенно относятся къ крупнымъ, исполинскимъ формамъ; исчезаніе ихъ, вѣроятно, легче было замѣтить, и потому оно въ яркихъ чертахъ объясняетъ намъ законъ органической смерти.

„По моему мнѣнію“, заключаетъ Н. Я. Данилевскій, „всего проще было бы признать, по аналогіи со смертію „отдѣльныхъ индивидуумовъ, что и видъ имѣетъ предѣлъ „продолжительности своей жизни, послѣ котораго онъ „слабѣетъ, не возобновляется въ должной мѣрѣ размноженіемъ и, наконецъ, вымираетъ, а что внѣшнія обстоятельства могутъ только ускорить этотъ естественный „процессъ, точно также, впрочемъ, какъ и для индивидуумовъ. Вѣдь и особи, отдѣльные организмы, суть „агрегаты живыхъ элементовъ, *органитовъ*, соединенныхъ „подъ вліяніемъ неизвѣстнаго намъ морфологическаго

„принципа, которые въ теченіе жизни нѣсколько разъ возобновляются круговращеніемъ вещества. Но, если это возобновленіе живыхъ элементовъ все-таки не предотвращаетъ (по совершенно неизвѣстной для насъ причинѣ) смерти всего организма, коего они, т. е. органы, суть живыя, болѣе или менѣе самостоятельныя части, то, въ сущности, нисколько не удивительно, что, наконецъ, вымираетъ и видъ, хотя составныя части его, отдѣльныя особи, отъ времени до времени и возобновляются размноженіемъ. Вообще, должно имѣть въ виду, что тайна смерти нисколько не яснѣе тайны рожденія, зачатія жизни, и думать иначе—значитъ совершенно напрасно себя обманывать“ (ч. II, стр. 415).

Читатель можетъ быть уже замѣтилъ, что къ этому таинственному морфологическому процессу приводятъ насъ всѣ разсужденія, съ какой бы стороны мы ни брались за вопросы объ измѣненіяхъ въ органической природѣ. Авторъ не разбираетъ этого понятія въ отдѣльномъ и обстоятельномъ изложеніи, но онъ предполагалъ это сдѣлать въ слѣдующихъ томахъ, въ которыхъ готовился, сверхъ другихъ вопросовъ, говорить о палеонтологическихъ формахъ организмовъ, объ исторіи развитія и о происхожденіи человѣка. Нельзя безъ глубокой печали подумать, что мы навсегда лишились этихъ ученій. Теперь же, онъ только подводитъ насъ къ тому центральному понятію, къ которому все тяготеетъ въ наукахъ органическаго міра. Это понятіе поставлено имъ, однако, вполне опредѣленно, и мы приведемъ здѣсь два важныя мѣста, которыя къ нему относятся.

„Мы видѣли“, говоритъ Н. Я. Данилевскій, „что съ положительной научной стороны невозможно признать ни существованія незамѣтныхъ переходовъ отъ видовъ къ

„видамъ.... ни ихъ накопленія, суммированія, а также
„исключенія непригоднаго, по большей части промежу-
„точнаго, путемъ естественнаго подбора... Все это не
„можетъ войти и въ умозрительное построеніе органи-
„ческой природы. Что же, за исключеніемъ всего этого,
„можетъ перейти въ него изъ Дарвинова ученія? Ничего
„болѣе, кромѣ общей мысли, которую оно раздѣляетъ со
„многими другими ученіями, мысли происхожденія однихъ
„существъ отъ другихъ, т. е. такъ называемаго ученія
„о нисхожденіи формъ отъ формъ (Descendenzlehre). Это
„ученіе, не доказанное путемъ положительной методы, а
„при теперешнемъ состояніи знаній и недоказуемое, по
„этому самому и неопровергаемое; т. е., если никакимъ
„положительнымъ фактомъ оно не подтверждается, то ни-
„какимъ прямо и не опровергается, а потому и можетъ
„служить предметомъ для умозрѣнія, если имѣетъ на
„своей сторонѣ нѣкоторую достаточную степень вѣроят-
„ности. А таковую оно, безъ сомнѣнія, имѣетъ, ибо, какіе
„нибудь два вида животныхъ или растеній, конечно, ближе
„другъ къ другу, чѣмъ къ землѣ, глинѣ, т. е. вообще къ
„неорганическому веществу, а потому и происхожденіе
„животныхъ или растеній другъ отъ друга для насъ го-
„раздо представимѣе, чѣмъ непосредственное ихъ возник-
„новеніе изъ неорганической природы, при какихъ бы то
„ни было условіяхъ и обстоятельствахъ, какимъ либо
„родомъ самопроизвольнаго зарожденія. Здѣсь, по край-
„ней мѣрѣ, жизнь является намъ данною, и мы не имѣемъ
„надобности всякій разъ обращаться къ этому, постоянно
„искомому и никогда не обрѣтаемому началу ея. Насколько
„мы признаемъ трансмутацию, настолько избавляемся отъ
„признанія самопроизвольнаго зарожденія, а вѣдь и въ
„томъ, и въ другомъ природа одинаково отказывается въ

„данныхъ нашимъ опытамъ и наблюденіямъ, и въ по-
„слѣднемъ даже болѣе, чѣмъ въ первомъ. Но принять,
„даже и предположительно, нисхожденіе формъ отъ формъ
„можемъ мы только подъ условіемъ, чтобъ оно ни въ
„чемъ не противорѣчило положительнымъ фактамъ, и
„потому не можемъ признать переходовъ рядомъ посте-
„пенныхъ, почти неощутимыхъ оттѣнковъ. Въ нашемъ
„умозрѣніи, намъ, поэтому, ничего не остается, какъ при-
„бѣгнуть къ скачкамъ отъ формы къ формѣ, настолько,
„по крайней мѣрѣ, значительнымъ, чтобы, принимая по
„необходимости во вниманіе одни лишь морфологическіе
„признаки, мы могли бы считать ихъ за формы или виды
„столь хорошо характеризованные, какъ ископаемая ра-
„ковины и другія ископаемая животныя съ сохранивши-
„мися твердыми частями„.

„Но для такой гипотезы мы не остаемся безъ бли-
„жайшихъ и безъ отдаленнѣйшихъ аналогій. Примѣры
„первыхъ мы привели выше въ Дюшеневой однолистной
„земляникѣ, въ нитчатой или плакучей біотѣ, которыя
„произошли на глазахъ ученыхъ садоводовъ... Такіе же
„примѣры видимъ въ Мошанскихъ и Анконскихъ овцахъ,
„въ Ніатскомъ рогатомъ скотѣ, хотя въ этихъ случаяхъ
„измѣненія вышли уродливыя. Еще сильную аналогію,
„хотя въ иномъ родѣ, видимъ мы въ тѣхъ случаяхъ, когда
„формы онтогенетической метаморфозы какъ бы полу-
„чаютъ преждевременную половую зрѣлость и самостоя-
„тельно размножаются, между тѣмъ какъ зрѣлая форма
„также имѣетъ эту способность, такъ что можно сказать,
„что два фазиса развитія становятся двумя самостоятель-
„ными видами, и притомъ столь отдаленными, что раз-
„мѣщались иногда въ различные отряды, или, по крайней
„мѣрѣ, семейства. Такъ, въ Мексиканскомъ озерѣ живетъ

„хвостатое лягушковидное животное — *аксолотль*, принад-
„лежащее къ отряду или семейству сиреноидныхъ, т. е.
„земноводныхъ, всю жизнь сохраняющихъ жабры, тогда
„какъ тритоны и саламандры, также какъ и головастики
„лягушекъ, имѣютъ ихъ только въ личинковомъ состоя-
„ніи. Но, хотя аксолотли и способны къ половому раз-
„множенію и въ этомъ состояніи наиболѣе извѣстны,
„однако, они могутъ, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ,
„переходить въ форму безжаберную, саламандровидную
„и въ этомъ состояніи извѣстны подъ именемъ амбли-
„остомъ, причислявшихся къ другому подотряду, или даже
„отряду. Изъ низшихъ животныхъ можно бы привести
„нѣсколько подобныхъ примѣровъ...”

„Для филогенезиса не можетъ быть аналогіи болѣе
„близкой, чѣмъ онтогенезисъ, при коемъ, въ процессахъ,
„происходящихъ какъ во внѣшней для организмовъ при-
„родѣ (въ метаморфозѣ насекомыхъ, въ явленіяхъ пере-
„межаемости поколѣній и пр.), такъ и внутри яйца, или
„въ материнской утробѣ, однѣ опредѣленныя формы пере-
„ходятъ въ другія столь же опредѣленныя, и опредѣлен-
„нымъ же образомъ дополняются и замѣщаются. Этотъ
„процессъ извѣстенъ подъ именемъ *развитія*“ (ч. II, стр.
508—510).

Итакъ, вотъ вѣроятнѣйшая гипотеза и вотъ главные
аналогіи, которыя для нея существуютъ. Сущность этой
гипотезы состоитъ въ томъ, что морфологическій про-
цессъ, или развитіе, есть процессъ *внутренній*, никакъ
не опредѣляемый и не регулируемый внѣшними обстоя-
тельствами, а совершающійся по нѣкоторому закону,
присущему самимъ организмамъ. Но этого мало; въ
понятіе о морфологическомъ процессѣ необходимо входитъ
еще другая существенная черта. Процессъ этотъ не

только внутренній, но и *разумный*, такъ какъ оказывается, что въ немъ есть цѣлесообразность, что онъ содержитъ въ себѣ постановленіе цѣлей.

„Мы видѣли“, говоритъ Н. Я. Данилевскій „что цѣлесообразность и гармонія органическаго міра не могли произойти путемъ подбора, уже по тому одному, что всякое индивидуальное измѣненіе должно исчезнуть чрезъ скрещиваніе. Если же предположить, что такая особенность стала разомъ достояніемъ значительнаго числа особей, то, этимъ самымъ, особенность эта не будетъ уже индивидуальною, и тутъ не будетъ уже никакого подбора, а дѣйствіе совершенно опредѣленныхъ причинъ, измѣненіе по опредѣленному плану. Если, наконецъ, эти измѣненія должны происходить крупными скачками, то они не могли бы оказаться приноровленными ко внутреннимъ и внѣшнимъ условіямъ ихъ бытія иначе, чѣмъ по опредѣленному плану, въ виду достиженія извѣстной цѣли. Только такую форму трансмутациі, такую форму происхожденія вида отъ вида позволяютъ намъ принять, хотя все же только гипотетически, данныя положительной науки. Такимъ образомъ, если мы и признаемъ происхожденіе однѣхъ органическихъ формъ отъ другихъ (въ сущности по той же причинѣ, которая, по мнѣнію Бэра, побудила къ этому Анаксимандра), то мы знаемъ лишь цѣлесообразность, понимаемую статически (какъ рядъ разумно представленныхъ явленій, состоящихъ въ цѣльныхъ, готовыхъ, взаимно и съ самими собою преобразованныхъ формахъ), цѣлесообразностью, понимаемою динамически, т. е. *цѣлесообразнымъ процессомъ развитія*. Точно такъ, какъ для достиженія процесса онтогенетическаго образованія органическихъ формъ, имѣющаго своимъ результатомъ цѣлесообразно устроен-

„ное отдѣльное растеніе или животное, такъ и для пости-
„женія филогенетическаго процесса, имѣющаго своимъ
„результатомъ цѣлесообразность и гармонію всего орга-
„ническаго міра, намъ ничего не остается, какъ прибѣг-
„нуть къ идеальному, или, точнѣе и опредѣлительнѣе, къ
„интеллектуальному началу...

„За очевидною несостоятельностью Дарвиновой псевдо-
„телеологіи, необходимо принять телеологію настоящую,
„какъ верховный объяснительный принципъ морфологи-
„ческихъ явленій или морфологическаго процесса“ (ч. II,
стр. 526, 527).

Итакъ, есть разумъ въ природѣ, есть вокругъ насъ очевидныя проявленія интеллектуальнаго начала. Мы пришли, такимъ образомъ, къ самой высокой точкѣ не только этого, но и всякаго изслѣдованія. Присутствіе разума вѣдь значитъ присутствіе духовнаго, божественнаго начала; слѣдовательно, подымаясь въ эту область, мы восходимъ къ самому Источнику нашего бытія и знанія. Поэтому, справедливо говоритъ Н. Я. Данилевскій, что „вопросъ, рѣшаемый дарвинизмомъ, неизмѣримо важнѣе и всего имущества, и всѣхъ благъ и жизни, не только каждаго изъ насъ въ отдѣльности, но жизни всѣхъ насъ и всего нашего потомства въ совокупности“. Ибо Дарвинъ пытался устранить разумность изъ міро-зданія; „а если устраняется разумность, то, конечно, и самъ разумъ, какъ божественный, такъ и нашъ чело-вѣческій, устраняется, или является однимъ изъ частныхъ случаевъ нелѣпости, безсмысленности, случайности, которыя остаются истинными, единственными господами міра и природы“ (ч. I, стр. 19).

Нѣтъ сомнѣнія, однако, что попытки, подобныя Дарвиновой, приведутъ насъ только къ тому, что мы точнѣе

и яснѣе будемъ видѣть, въ чемъ состоитъ настоящая телеологія, въ какихъ чертахъ природы слѣдуетъ признавать и созерцать творящій ее разумъ, гдѣ намъ искать Бога.

XI.

Упадокъ научнаго духа и эстетическаго пониманія.

Весь предыдущій очеркъ книги Н. Я. Данилевскаго даетъ понятіе, какъ мы надѣемся, о главной ея мысли, о важнѣйшихъ пунктахъ и о характерѣ всего изслѣдованія. Но мы взяли изъ книги лишь minimum того, что нужно для этой цѣли и опускали все, что можно опустить. Мы пропустили цѣлые отдѣлы, стоявшіе, вѣроятно, наибольшихъ трудовъ автору и важные для всесторонняго обсужденія вопроса, но неподдающіеся краткому обзору. Таковы палеонтологическія соображенія, а также біографическія и біостатистическія изысканія, въ которыхъ авторъ пустился вслѣдъ за Дарвиномъ и въ которыхъ дѣло касается распредѣленія организмовъ въ геологическихъ слояхъ и на поверхности земли, отношеній между обиліемъ недѣлимыхъ въ данныхъ видахъ и между обширностью родовъ, къ которымъ эти виды принадлежатъ, и т. п. Мы опустили также всѣ выводы, основанные на исчисленіи вѣроятностей, выводы, въ сущности составляющіе очевидно-ясные и ничѣмъ неопровержимые аргументы противъ Дарвина. Мы съ особеннымъ сожалѣніемъ опустили и многія остроумныя и яркія доказательства, сила которыхъ могла бы удержаться въ памяти **каждаго**.

Скажемъ одно: для внимательнаго читателя этой книги станетъ совершенно несомнѣнно, что отъ Дарвиновой теоріи нужно отказаться безо всякаго остатка, что вопросъ, ею разрѣшаемый, требуетъ совершенно другихъ исходныхъ точекъ и другихъ пріемовъ. Эта отрицательная задача, эта критика теоріи *по ея существу* вполне здѣсь окончена; послѣдующіе томы, которые предполагалъ написать авторъ, неожиданно умершій въ полномъ цвѣтѣ силъ, уже не содержали бы критики теоріи, а только показывали бы, что существо теоріи не объемлетъ тѣхъ или другихъ факторовъ вопроса, и останавливались бы на этихъ факторахъ. Итакъ, мы имѣемъ предъ собою нѣчто цѣлое, къ которому, по словамъ самого автора, „все послѣдующее относилось бы какъ дополненіе“ (ч. I, стр. 44).

Съ появленіемъ этого сочиненія, отношенія ученаго міра и серіозныхъ читателей къ дарвинизму должны непременно измѣниться. Кто не читалъ книги Н. Я. Данилевскаго, тому теперь рѣшительно нельзя давать права говорить о знаменитой теоріи; а кто читалъ и вникъ въ дѣло, тотъ съ изумленіемъ увидитъ, что писанія ея сторонниковъ, начиная съ самаго основателя Дарвина и кончая послѣдними продолжателями, представляютъ такъ мало строгости мысли, такія прорѣхи и недосмотры, что явнымъ образомъ расходятся по всѣмъ швамъ. Ослѣпленіе у послѣдователей, конечно, гораздо больше, чѣмъ у творца теоріи; и странно видѣть, какъ, въ этомъ ослѣпленіи они соединяютъ то, что не имѣетъ никакой связи, и признаютъ за непреложный выводъ то, что въ сущности не даетъ никакого заключенія.

Но какъ же это возможно? Какъ могло случиться, что какой-то миражъ обманулъ и продолжаетъ обманы-

вать огромное большинство ученаго міра и образованныхъ людей? Разгадка, безъ сомнѣнія, заключается *въ духъ времени* и въ томъ свойствѣ человѣка, по которому мы вѣримъ всему, чему намъ хочется вѣрить. Деятнадцатый вѣкъ въ первыя свои десятилѣтія представилъ изумительно высокій подъемъ мысли, науки и поэзіи; но къ срединѣ вѣка неожиданно и круто обнаружился упадокъ этихъ блистательныхъ усилій ума и чувства, какъ будто волна, взбѣжавшая на высоту, снова опустилась, и даже ниже прежняго. Тогда пріобрѣли силу ученія теоретическаго и практическаго матеріализма; тогда изъ Англіи, классической страны скептицизма, утилитаризма и всякихъ низменныхъ понятій, стали распространяться эти направленія въ умственномъ мірѣ Европы. Но ни одно изъ ученій не было встрѣчено съ такимъ восторгомъ, какъ теорія Дарвина, очевидно, потому, что она распутывала самый трудный узелъ, разрѣшала ту загадку, которая не поддавалась низменнымъ понятіямъ и стояла предъ умами огромнымъ сфинксомъ.

Самого Дарвина, конечно, всего меньше можно винить. Н. Я. Данилевскій, указывая на чисто-англійскія свойства теоріи, отдаетъ, однако же, всю справедливость ея творцу. Онъ признаетъ за нимъ „обширный и свѣтлый умъ“, называетъ его „тонкимъ наблюдателемъ, искуснымъ экспериментаторомъ, остроумнымъ комбинаторомъ“ (ч. II, стр. 477), удивляется его громадной эрудиціи и самую его теорію считаетъ „великимъ произведеніемъ человѣческаго ума“ (ч. I, стр. 24). Наконецъ, онъ говоритъ: „кто прочелъ и изучилъ сочиненія Дарвина, тотъ можетъ усумниться въ чемъ угодно, только не въ его глубокой искренности и не въ возвышенномъ благородствѣ его души“ (ч. I, стр. 11).

Итакъ, Дарвинъ не виновать. Но удивительно то, что его ученіе не встрѣтило надлежащаго отпора въ ученомъ мірѣ, что строгій научный духъ, въ которомъ воспитывалось столько поколѣній натуралистовъ, вдругъ оказался до такой степени слабымъ предъ соблазнительной ясностью новой теоріи. Очевидно, есть какой-то порокъ въ нашемъ просвѣщеніи, и самыя положительныя и твердыя науки не застрахованы отъ величайшихъ колебаній.

Замѣтимъ, однако, что наука, чистая наука, въ отношеніи къ Дарвину, заявила свое отрицаніе. Н. Я. Данилевскій пишетъ объ этомъ такъ:

„Если указанныя мною ошибки его столь очевидны, то какъ же ихъ доселѣ не замѣтили? Это послѣднее обстоятельство было бы дѣйствительно необъяснимо, если бы существовало. Но многія изъ этихъ ошибокъ были замѣчены разными учеными, и къ числу ихъ принадлежатъ *самые замѣчательные умы* нашего времени изъ числа посвятившихъ себя естествознанію. Первымъ назову я великаго натуралиста-философа Бэра; за нимъ, замѣчательнѣйшихъ изъ учениковъ Кювье: Агасиса и Мильнъ-Эдвардса, далѣе—знаменитѣйшаго сравнительнаго анатома Овена, знаменитыхъ палеонтологовъ, мнѣніе которыхъ имѣетъ особенную важность въ этомъ вопросѣ, Броньяра, Гэпцерта, Бронна, Барранда; потомъ фитогеографа Гризебаха, ботаниковъ Декена, Виганда, знаменитѣйшаго изъ современныхъ гистологовъ Кэлликера, физиолога Флуранса, зоологовъ Катрфажа, Бурмейстера, Бланшара. Въ противникахъ, видѣвшихъ и указывавшихъ на ошибки Дарвина, недостатка, значить, не было. Но должно сознаться, что голосъ ихъ былъ подобенъ гласу вопіющему въ пустынь“ (ч. II, стр. 479).

Итакъ. благодаря Гуттенбергову изобрѣтенію и всѣмъ чудесамъ новѣйшихъ способовъ сообщенія и освѣщенія, не истина восторжествовала, а разлилось повсюду не-сомнѣнное заблужденіе. Необходимо намъ, значить, еще что-то другое, нужна какая-то опора для самихъ наукъ, для того, чтобы научный духъ, въ которомъ иные видятъ все спасеніе человѣчества, не измѣнялъ намъ столь жестокимъ образомъ.

Опора для ума можетъ быть только въ чувствѣ. Только чувство открываетъ намъ высшую сторону вещей, и потому можетъ охранить насъ отъ путей, ведущихъ въ хаосъ и потемки. Въ область такого руководительнаго чувства мы включаемъ и тѣ душевныя движенія, которыя возбуждаетъ въ насъ всякая красота, потому что въ красотѣ предъ нами является разумъ и благость присущія природѣ; это — разумъ видимый и благость созерцаемая. Поэтому, Н. Я. Данилевскій превосходно и глубокомысленно заключаетъ свою книгу тѣмъ замѣчаніемъ, что „изъ всѣхъ міровоззрѣній Дарвиновъ взглядъ на природу есть *наименѣе эстетическій*“. Выпишемъ эту удивительную страницу.

„Какимъ жалкимъ, мизернымъ представляются нашъ міръ и мы сами, въ коихъ вся стройность, вся гармонія, весь порядокъ, вся разумность являются лишь частнымъ случаемъ безсмысленнаго и нелѣпаго, всякая красота — случайною частностью безобразія, всякое добро — прямою непослѣдовательностью во всеобщей борьбѣ, и космосъ — только случайнымъ, частнымъ исключеніемъ изъ бродящаго хаоса. Подборъ — это печать безмысленности и абсурда, напечатлѣнная на челѣ мірозданія, ибо это — замѣтна разума случайностью. Никакая форма грубѣйшаго матеріализма не спускалась до такого

„низменнаго міросозерцанія, — по крайней мѣрѣ, ни у одной
 „не хватило на это послѣдовательности. Онѣ останавли-
 „вались и не смѣли, или не умѣли, идти далѣе по един-
 „ственному, впрочемъ, имъ открытому пути, ибо, повторяю,
 „эта честь должна быть оставлена за дарвинизмомъ, что,
 „претендуя объяснить одну частность: происхожденіе и
 „гармонію органическаго міра, хотя и безмѣрно важную,
 „но все-таки частность, онѣ, въ сущности, заключаетъ въ
 „себѣ цѣлое міровоззрѣніе.

„Шиллеръ, въ великолѣпномъ стихотвореніи *Покры-*
вало Изиды, заставляетъ юношу, дерзнувшаго припод-
 „нять покрывало, скрывающее ликъ истины, упасть мерт-
 „вымъ къ ногамъ ея *). Если ликъ истины носилъ на
 „себѣ черты философіи случайности, если несчастный
 „юноша прочелъ на немъ роковыя слова: *естественный*
подборъ, то онъ палъ пораженный не ужасомъ предъ
 „грознымъ ея величіемъ, а долженъ былъ умереть отъ
 „тошноты и омерзения, перевернувшихъ всѣ его внутрен-
 „ности, при видѣ гнусныхъ и отвратительныхъ чертъ ея
 „мизерной фигуры. Такова должна быть и судьба чело-
 „вѣчества, если *это — истина*“ (ч. II, стр. 529—530).

Вотъ образчикъ того живаго и прекраснаго чувства,
 которое внушило и одушевляетъ собою книгу, напол-
 ненную спеціальными подробностями.

*) Буквально у Шиллера сказано, что утромъ юношу нашли «без-
 чувственнымъ и блѣднымъ», что потомъ «для него исчезла всякая ра-
 дость въ жизни» и «глубокая скорбь унесла его въ раннюю могилу». Значить онъ не прямо «упалъ мертвымъ». На эту разницу было ука-
 зано однимъ изъ критиковъ, но вѣдь она ни мало не измѣняетъ сущно-
 сти дѣла.

Мы были бы счастливы, если бы, послѣ этого разбора, читатели хотя отчасти раздѣлили наше убѣжденіе, что эта книга есть истинный подвигъ русскаго ума и русскаго чувства. По огромному обилію фактовъ превосходно сгруппированныхъ, по неотразимой логикѣ, по чрезвычайному остроумію, по чисто научной строгости и полнотѣ въ постановкѣ вопросовъ, трудъ Н. Я. Данилевскаго нужно причислить къ самымъ рѣдкимъ явленіямъ во всемірной печати. Можно смѣло сказать, что эта книга составляетъ честь русской ученой литературы, что она надолго свяжетъ имя автора съ важнѣйшимъ и глубочайшимъ вопросомъ естествознанія, и что съ борьбою противъ одного изъ характернѣйшихъ и распространеннѣйшихъ заблужденій нашего вѣка, съ опроверженіемъ теоріи естественнаго подбора, имя Н. Я. Данилевскаго должно быть связано уже навсегда.

9 дек. 1886.

Х.

ВСЕГДАШНЯЯ ОШИБКА ДАРВИНИСТОВЪ.

[По поводу статьи проф. Тимирязева: *Опровергнутъ ли дарвинизмъ?*]

(Русск. Вѣстн. 1887, ноябрь и дек.).

Логика мститъ за себя жестоко.

I.

Начало полемики.

Мнѣ слѣдуетъ признаться передъ читателями въ небольшой хитрости. Въ статьѣ *Полное опроверженіе дарвинизма* раза два или три я настойчиво указалъ на отзывы Н. Я. Данилевскаго объ профессорѣ Тимирязевѣ. Это было сдѣлано мною съ намѣреніемъ. Г. Тимирязевъ думаетъ, что эти похвальные отзывы приведены мною изъ патріотическаго чувства, что я возгордился такимъ отличнымъ ученымъ соотечественникомъ, какъ онъ. Но, хотя патріотизмъ дѣйствительно составляетъ слабость, которой я подверженъ, на этотъ разъ у меня былъ совершенно другой умыселъ. Главная и мучительная моя забота была о томъ, какъ обратить вниманіе нашихъ ученыхъ на книгу Н. Я. Данилевскаго, какъ добиться,

чтобы они ее читали и вникли въ то, что ею вносится въ науку. Книга вышла еще въ началѣ ноября 1885 года. Съ тѣхъ поръ, кромѣ небольшой статьи г. Эльне въ фельетонѣ *Новаго Времени*, нигдѣ не появилось не только разбора, а даже замѣтки, которая сколько нибудь стояла бы имени серьезной. Приходилось мнѣ самому сдѣлать попытку и написать разборъ книги Н. Я. Данилевскаго. Моя статья *Полное опроверженіе* вышла только въ началѣ февраля 1887 года. Но, какъ ни старательно я писалъ ее, какъ ни мечталъ, что успѣю точно и рѣзко выставить на видъ весь ходъ, всю силу и полноту аргументаціи Н. Я. Данилевскаго, я, однако, хорошо зналъ, что это еще не поможетъ дѣлу. Наши ученые, думалъ я, не будутъ читать статьи, также какъ не стали читать книги. Нравы ученыхъ людей мнѣ давно знакомы и изъ книгъ, и изъ практики. Только религиозные фанатики превосходятъ ихъ въ закоснѣломъ предубѣжденіи и отвращеніи ко всему, что противорѣчитъ ихъ мнѣніямъ. Ученые принадлежатъ къ числу людей, наиболѣе слѣпо преданныхъ своимъ авторитетамъ, и менѣе всего способныхъ отказаться отъ своихъ предвзятыхъ мыслей. То, что они называютъ наукою, есть ихъ исповѣданіе, ихъ профессія; они наполнены и поглощены этою наукою, и потому естественно заражаются, такъ сказать, научнымъ фанатизмомъ.

Итакъ, я былъ заранѣе увѣренъ въ пренебреженіи и невниманіи нашего ученаго міра. Мнѣ пришла, однако же, мысль, что, можетъ быть, я успѣю вызвать вниманіе г. Тимирязева, такъ какъ о немъ не разъ говоритъ Н. Я. Данилевскій въ своей книгѣ. И вотъ, я попробовалъ въ своей статьѣ выставить, гдѣ это было къ мѣсту и поясняло дѣло, замѣчанія автора *Дарвинизма* объ г. Ти-

мирязовъ, и выставилъ тѣмъ спокойнѣе, что замѣчанія были въ одобрительномъ тонѣ.

Большихъ надеждъ я, впрочемъ, не питалъ, и, такъ какъ молчаніе продолжалось, то сталъ терять и всякую надежду на успѣхъ своей хитрости. Какъ вдругъ, получаю изъ Москвы извѣстіе, что 22 апрѣля профессоръ Тимирязевъ читалъ въ Политехническомъ Музеѣ публичную лекцію, на которой разбиралъ книгу Н. Я. Данилевскаго. Лекція продолжалась два часа, съ перерывомъ, содержала рѣзкое и презрительное опроверженіе книги и кончилась неистовымъ восторгомъ слушателей.

Признаюсь, это извѣстіе немало огорчило меня. Никакъ не рассчитывалъ я на этотъ способъ возраженія. Публичные лекціи составляютъ, конечно, средство, и одно изъ любимыхъ средствъ просвѣщенія публики, и какъ же я могу сказать, что профессоръ не имѣлъ права просвѣщать ее и относительно новой книги, или моей статьи? Однако, мнѣ было очень тяжело вообразить себѣ, что онъ два часа потѣшалъ толпу слушателей своими насмѣшками надъ трудомъ человѣка, память котораго мнѣ такъ дорога, и что поводъ къ этому публичному осмѣянію Н. Я. Данилевскаго подалъ я самъ! А что, думалъ я, если профессоръ потомъ вовсе не станетъ печатать своей лекціи? Не имѣю же я права требовать этого напечатанія; слѣдовательно, мнѣ невозможно будетъ ничѣмъ противодѣйствовать впечатлѣнію лекціи. Наконецъ, пусть онъ ее и напечатаетъ, — развѣ не исчезнетъ въ печати самый тонъ рѣчи и язвительное упирание на то или другое слово? Развѣ возможно воротить назадъ тотъ восторгъ, съ которымъ молодые слушатели впивали въ себя слова профессора? Публичная лекція — страшное

орудіе, и оно-то неожиданно было направлено на дѣло, за которое я стоялъ.

Къ счастью, скоро я узналъ, что лекція будетъ печататься; съ нетерпѣніемъ я ждалъ ея появленія, и пришлось ждать два долгихъ мѣсяца. Въ Маѣ и Іюнѣ *Русской Мысли* (выходящей въ половинѣ мѣсяца), наконецъ, напечатана статья г. Тимирязева: *Опровергнутъ ли дарвинизмъ?* и въ примѣчаніи сказано, что это „публичная лекція, значительно переработанная и дополненная“ *). Какъ бы тамъ ни было, но видъ этихъ печатныхъ страницъ облегчилъ мнѣ душу. Печатная рѣчь подлежитъ общему обсужденію; есть возможность разобрать ее основательно; есть возможность возражать на нее и привлечь къ отвѣтственности каждое ея слово.

II.

Мои затрудненія.

Итакъ, хитрость моя удалась. Вотъ передо мною пятьдесятъ страницъ большого формата и убористаго шрифта, подписанныхъ именемъ извѣстнаго русскаго ученаго и посвященныхъ разбору книги Н. Я. Данилевскаго. И однако же, я не знаю, что дѣлать, я нахожусь въ такомъ затрудненіи, что охотно бы оставилъ это дѣло, охотно передалъ бы его въ другія руки, если бы только онѣ нашлись.

*) Г. Тимирязевъ въ послѣдствіи заявилъ: «Примѣчаніе сдѣлано не мною, а редакціею безъ моего вѣдома; все, что я читалъ, дословно появилось и въ печати, дополненною же статья явилась потому, что изъ лекцій были выкинуты мѣста, которые для лекціи были бы слишкомъ скучны». (*Русская Мысль*, 1889. май, стр. 21).

Въ статьѣ г. Тимирязева ни одно положеніе Н. Я. Данилевскаго не поставлено точно, опредѣленно, такъ чтобы видно было, противъ чего именно спорить г. Тимирязевъ, и точно также ни одна аргументація самого г. Тимирязева не ведена правильно, отчетливо. Приходилось бы, поэтому, ловить и уяснять смыслъ того, что хочетъ сказать авторъ, давать опредѣленность его рѣчи и указывать относительный вѣсъ его словъ. Теченіе рѣчи у г. Тимирязева одушевленное, горячее, а между тѣмъ смутность содержанія такова, что читатель не выноситъ изъ статьи никакой ясной мысли. Наговорено много и обо всемъ на свѣтѣ, а что именно сказано—разсказать невозможно. Такая манера очень хороша для фельетона, недурна и для публичной лекціи, но въ разсужденіяхъ и спорахъ—ничуть не помогаетъ дѣлу. Мнѣ говорили, и я готовъ согласиться, что серьезно опровергать статью г. Тимирязева вовсе нѣтъ надобности. Если онъ хотѣлъ только опорочить книгу Н. Я. Данилевскаго и убѣдить своихъ слушателей, что ея не стоитъ читать, то, я думаю, онъ вполне достигъ своей цѣли; но вникнуть въ книгу и серьезно ее обсудить онъ, очевидно, вовсе не хотѣлъ.

Оставалось одно, и при томъ самое простое: оставалось попробовать потѣшиться надъ г. Тимирязевымъ такъ, какъ онъ потѣшался надъ Н. Я. Данилевскимъ передъ московскою публикою. Это злобное намѣреніе часто увлекало меня, потому что я не могъ читать безъ раздраженія отзывы автора объ Н. Я. Данилевскомъ. Г. Тимирязевъ принялъ въ отношеніи къ нему такой рѣзкій тонъ, что трудно сказать, до какой степени я имѣлъ бы право довести рѣзкость своего отвѣта. Авторъ *Дарвинизма* былъ человѣкъ, котораго всѣ уважали; онъ те

перъ уже покойникъ; за нимъ числится много трудовъ, и также нѣсколько серьезныхъ книгъ. Между тѣмъ г. Тимирязевъ какъ будто хочетъ уязвить этого покойника своими словами, трактуетъ его какъ живаго человѣка, замыслившаго дурное дѣло, постоянно подозрѣваетъ его въ коварствѣ и фальши, приписываетъ ему самодовольную самоуверенность (стр. 144), мелкую изворотливую софистику (147), сомнительныя уловки неразборчиваго на средства адвоката (151), глумленіе (171), самоуверенность и хвастливость, возмущающія недостатокъ логики (183), самоуверенный задоръ (183), способность возражать противъ очевидности (187), запальчивое недоумисліе (стр. 201). *). Съ каждой страницей негодованіе г. Тимирязева возрастаетъ; онъ увѣренъ, что „Данилевскій позволяетъ себѣ шутить надъ здоровой логикой“, и онъ произноситъ, наконецъ, слѣдующій общій приговоръ:

„Чтобы обнаружить всѣ логическія несообразности этой книги, пришлось бы написать такихъ же два тома. Порой мнѣ представляется, что, если бы нашимъ натуралистамъ въ университетахъ преподавалась логика,—чего, къ сожалѣнію, нѣтъ,—то эта книга могла бы служить хорошимъ матеріаломъ для семинарій, въ родѣ тѣхъ наглядныхъ несообразностей, которыя недавно были изданы однимъ педагогомъ для цѣлей элементарнаго образованія“ (стр. 187, 188).

Не правда ли, любезный читатель, что на такія рѣчи мнѣ не грѣшно было бы разсердиться? Но особенно воз-

*) Ссылки относятся къ книгѣ: *Изъ области физиологій растений, публичныя лекціи и рѣчи* К. Тимирязева. Москва, 1888. Здѣсь перепечатана и лекція: *Опровергнутъ ли дарвинизмъ?*

мущаюсь я каждый разъ, когда заглядываю для справки въ самую книгу Н. Я. Данилевскаго. Какъ можно было читать эти страницы и не видѣть ихъ достоинства? Приведенный отзывъ г. Тимирязева относится къ такой книгѣ, которая вся сіяетъ умомъ, которая писана истинно благороднымъ, т. е. прямымъ, открытымъ, яснымъ тономъ, чуждымъ всякаго вилянья, не имѣющимъ ничего общаго ни съ хвастовствомъ, ни съ какими нибудь уловками, о книгѣ, наконецъ, въ которой на любой страницѣ больше логики и строгой мысли, чѣмъ во всей статьѣ г. Тимирязева, какъ бы мы эту статью ни выжимали.

Мнѣ думается, что душевная чистота, высокое благородство характера Н. Я. Данилевскаго отразились и въ его книгѣ. Нѣтъ зоркости у тѣхъ читателей, которые не могутъ этого разглядѣть; но если кто вообразилъ еще, что онъ самъ гораздо благороднѣе и безпристрастнѣе, тотъ, мнѣ кажется, достоинъ очень строгаго осужденія.

Не смотря на все это, я, подумавши, вовсе отказался отъ легкой задачи перещеголять г. Тимирязева въ рѣзкости нападеній. Зломъ зла не поправить; притомъ, у меня нѣтъ такой подозрительности, какую онъ выказалъ, и я полагаю, что онъ дѣйствовалъ совершенно искренно и попалъ въ бѣду помимо своей доброй воли. Попробуемъ стать на его сторону. Онъ самъ очень ясно указываетъ на всемогущія предубѣжденія, съ которыми онъ приступилъ въ дѣлу.

Во-первыхъ, что такое для него былъ и есть дарвинизмъ? „Одно изъ величайшихъ приобрѣтеній человеческой мысли“ (стр. 143), „одно изъ могучихъ теченій современной научной мысли“ (стр. 147). Такого взгляда г. Тимирязевъ держался отъ начала, и каждый годъ онъ прово-

читъ и излагаетъ его на своихъ лекціяхъ; въ такомъ духѣ онъ писалъ и пишетъ свои статьи и книги. Да и не онъ одинъ. „Русскихъ дарвинистовъ вѣроятно столько же, сколько натуралистовъ“ (147). Вотъ какое крѣпкое и общепринятое убѣжденіе есть дарвинизмъ. Это не просто одно изъ ученій, это, можно сказать, сама наука.

Поэтому, когда стали безпрестанно говорить г. Тимирязеву о русской книгѣ, въ которой опровергнуть дарвинизмъ, то онъ, какъ самъ рассказываетъ, задалъ себѣ вопросъ: „проявляется ли въ этомъ *общее направленіе европейской мысли?*“ (144). И онъ отвѣчалъ себѣ, конечно, что нѣтъ, а потому и осудилъ заранѣе эту книгу.

Замѣтьте отгѣнки въ приведенныхъ нами словахъ. Слово *европейскій* употребляется тутъ не даромъ. Оно означаетъ то драгоцѣнное качество, которое и для профессора, и для его слушателей есть ручательство за истину и за всякое достоинство. Особенно же, если дѣло идетъ объ *общемъ направленіи*, то авторитетъ такихъ вещей возрастаетъ неизмѣримо.

Мало того. У г. Тимирязева зародилось новое предубѣжденіе. Онъ почему-то замѣтилъ, что только *известная часть нашей печати* (148) „встрѣчаетъ восторженно“ книгу Н. Я. Данилевскаго, и потому заподозрилъ, что это дѣлается не просто, а изъ патріотизма и, пожалуй, изъ чего-нибудь похуже. Сказать по сущей правдѣ, вся эта *часть печати* былъ я одинъ, пишущій настоящія строки; но г. Тимирязевъ, такъ или иначе, обобщилъ явленіе, и тѣмъ болѣе сталъ на-сторожѣ. Онъ пришелъ къ мысли, что книга, о которой идетъ рѣчь, есть „только явленіе мѣстнаго, такъ сказать, этнографическаго и временнаго свойства“ (стр. 144). Другими словами, что книга есть очевидный признакъ русской

отсталости отъ Европы и вѣроятно вызвана такъ называемымъ *мракобѣсіемъ*, которое иногда у насъ обнаруживается.

Да наконецъ, кто же этотъ Данилевскій въ глазахъ г. Тимирязева? Прежде чѣмъ читать книгу, профессоръ постарался опредѣлить, какой авторитетъ имѣетъ для него ея авторъ, и смѣло рѣшилъ, что этотъ авторъ *дилеттантъ* (147), никакъ не дѣйствительный ученый; вѣдь онъ не профессоръ, не членъ ученыхъ обществъ, и имя его не встрѣчается въ ботаническихъ журналахъ. Въ противоположность ему, г. Тимирязевъ самъ себя называетъ *серіознымъ ученымъ* (147) и, конечно, твердо увѣренъ, что въ этомъ не можетъ быть и сомнѣнія.

Возьмите все это вмѣстѣ, и вы поймете, съ какимъ жаромъ ученаго фанатизма и съ какою смѣлостью ученаго высокомерія г. Тимирязевъ долженъ былъ напустить на книгу Н. Я. Данилевскаго. Онъ, вѣроятно, считалъ это даже своимъ долгомъ. Обязанность профессора у насъ состоитъ вѣдь главнымъ образомъ въ томъ, чтобы неустанно слѣдить за общимъ направленіемъ европейской науки и передавать его своимъ слушателямъ. Книгу, возставшую противъ этой науки, слѣдуетъ въ прахъ разбить передъ слушателями. Не даромъ г. Тимирязева такъ поражала *самоувѣренность* Н. Я. Данилевскаго. Въ немъ самомъ, въ г. Тимирязевѣ, нѣтъ ни капли этой самоувѣренности, но за то есть другая пружина, то чувство, что за него стоитъ великій авторитетъ западныхъ ученыхъ, Дарвина, Гельмгольца, Дюбуа-Реймона, Спенсера и т. д. Поэтому, онъ съ очень легкимъ сердцемъ приступилъ къ исполненію своего долга. Передъ нимъ, серіознымъ ученымъ, представителемъ могучаго движенія западной мысли, защитникомъ одного

изъ величайшихъ подвиговъ европейской науки, развѣ можетъ устоять враждебная книга? Она должна рассыпаться при первомъ прикосновеніи. Такой тонъ, очевидно, и держитъ г. Тимирязевъ въ своей лекціи; мы увѣрены, что онъ былъ даже не въ силахъ понизить этотъ тонъ, — онъ не могъ снизойти до того, чтобы серьезно вникнуть въ мысли Н. Я. Данилевскаго.

Все это, я думаю, понятно, все это свидѣтельствуешь о фальшивомъ положеніи, въ которое, безъ особой собственной вины, попалъ профессоръ по общему ходу нашихъ ученыхъ дѣлъ. Онъ, неожиданно для себя, наскочилъ (позвольте мнѣ такое выраженіе ради его точности) на превосходную книгу, и можетъ быть самъ чувствуетъ, что дѣло у него не совсѣмъ склеилось, но все-таки считаетъ себя правымъ, такъ какъ убѣжденъ, что стоялъ за правую сторону.

Но какая же охота разбирать по ниточкѣ всѣ его промахи и недосмотры? Кому это нужно? Если бы мнѣ это было и весело, то не будетъ ли это крайне скучно для читателей?

Размышляя о такихъ планахъ для своего возраженія, я, наконецъ, подумалъ, что, вообще, читатели должны очень удивляться этого рода путаницѣ, происходящей въ научномъ вопросѣ, что полемика обыкновенно ничуть не уясняетъ имъ дѣла, а только сбиваетъ ихъ со всякой твердой точки зрѣнія и не даетъ прійти ни къ какому ясному рѣшенію. Поэтому, не лучше ли всего будетъ поискать какого нибудь пункта, который помогаль бы читателю въ его сужденіяхъ, и хорошенько выяснить этотъ пунктъ? Напримѣръ, если я утверждаю, что дарвинисты ошибаются въ своей теоріи, то не успѣю ли я открыть ихъ главную ошибку, ту, которая всего чаще

у нихъ встрѣчается и больше всего ввела и вводитъ ихъ въ заблужденіе? Если бы мнѣ удалось выяснить сущность этой ошибки, то читатели получили бы нѣкоторый ключъ къ этимъ заблужденіямъ и могли бы сами во множествѣ случаевъ рѣшить, что вѣрно и что невѣрно. Такъ я и положилъ сдѣлать.

III.

Возможность и дѣйствительность.

Приступая, послѣ характеристики книги Н. Я. Данилевскаго, къ разбору ея содержанія, г. Тимирязевъ вкратцѣ излагаетъ сущность Дарвиновой теоріи. Выпишемъ это мѣсто и подчеркнемъ слова, на которыя хотимъ обратить вниманіе:

„Всѣ органическія существа *способны* хотя въ слабой мѣрѣ *измѣняться*. Эти *измѣненія могутъ* наслѣдоваться. Въ то же время, всѣ организмы *размножаются* въ геометрической прогрессіи, такъ что земля не могла бы вмѣстить всѣхъ нараждающихся существъ. Громадное большинство погибаетъ въ борьбѣ съ врагами и съ средой и въ состязаніи съ соперниками, — это борьба за существованіе. *Сохраняются* только *наиболѣе приспособленныя*; свои особенности они *передаютъ* потомству, въ которомъ снова *наиболѣе приспособленный выживаетъ* предпочтительно передъ остальными. Такимъ образомъ, *полезныя особенности сохраняются и накапливаются*. Это и есть начало естественнаго отбора“.

„Отъ чего же приглашаетъ насъ отказаться Данилевскій, утверждая, что естественнаго отбора не существуетъ? Измѣнчивость — фактъ, наслѣдственность — фактъ, геометрическая прогрессія размноженія — фактъ, борьба за существованіе — не только фактъ, но даже, по заявленію Данилевскаго, блестящая заслуга Дарвина. И такъ, *всѣ послышки* вѣрны, но необходимый логическій выводъ изъ нихъ, — естественный отборъ, — фантазмъ, мозговой призракъ“.

„Какъ это объяснить“? (стр. 152, 153).

Вотъ рѣчь, имѣющая очень твердый тонъ; посмотримъ, такъ ли твердо ея содержаніе.

Тутъ употреблены такіа выраженія: *способны, могутъ, размножаются, сохраняются*; но всякій натуралистъ знаетъ, что четыре послышки, выставленныя г. Тимирязевымъ, имѣютъ, въ точномъ своемъ смыслѣ, слѣдующій видъ:

Организмы *могутъ* измѣняться.

Наслѣдственность *можетъ* передавать ихъ измѣненія.

Организмы *могутъ* размножаться въ геометрической прогрессіи.

Борьба за существованіе *можетъ* сохранить наиболѣе приспособленные организмы.

Слѣдовательно, — вотъ правильный выводъ, — *можетъ* произойти естественный подборъ. Этотъ подборъ, такимъ образомъ, вовсе не есть фактъ, съ логической необходимостью вытекающій изъ другихъ несомнѣнныхъ фактовъ, а есть только *возможность*, выводимая изъ другихъ возможностей и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе шаткая, чѣмъ больше нужно предполагать этихъ возможностей. Ошибка дарвинистовъ заключается, поэтому, въ томъ, что они возможность принимаютъ за дѣйствительность;

и въ самомъ дѣлѣ, они съ какимъ-то увлеченіемъ накопляютъ цѣлые ряды предположеній, не чувствуя, что цѣпь эта тѣмъ слабѣе, чѣмъ длиннѣе, и что стоитъ тронуть въ ней одно звено, чтобы она вся рассыпалась.

Было бы, въ самомъ дѣлѣ, странно, если бы Дарвинъ составилъ такую гипотезу, изъ которой не выходило даже *возможности* подбора; разумѣется, подборъ возможенъ, если сдѣлать всѣ необходимыя для него предположенія. А именно:

Если въ организмахъ произойдутъ извѣстныя измѣненія, *если* наслѣдственность будетъ передавать эти измѣненія, *если* эти организмы будутъ размножаться въ геометрической прогрессіи, *если* въ борьбѣ за существованіе сохранятся наиболѣе приспособленные, то произойдетъ естественный подборъ. А если нѣтъ, то и нѣтъ. Возможность есть то, что можетъ произойти, но можетъ и не произойти. И нѣтъ ничего легче, какъ придумать возможность, которая никогда не исполняется въ дѣйствительности. Такъ и подборъ вовсе не существуетъ въ природѣ.

Разберемъ дѣло подробнѣе, по пунктамъ. Пусть мнѣ даны два вида организмовъ, и кто нибудь утверждаетъ, что одинъ изъ нихъ произошелъ отъ другаго посредствомъ естественнаго подбора.

1) Первоначальный видъ, говоритъ дарвинистъ, *измѣнялся*. Положимъ, отвѣчаю я, но такія измѣненія, *какія вамъ нужны*, могли произойти, могли и не произойти. Нужно справиться въ природѣ, какого рода измѣненія свойственны организмамъ, а пока мы остаемся при одной возможности.

2) Наслѣдственность *передавала* эти измѣненія. То есть, отвѣчаю я, могла передавать, но могла и не пе-

редавать. Нужно опять справиться въ природѣ о томъ, какъ дѣйствуетъ наслѣдственность, а пока мы остаемся только при неопредѣленной возможности.

3) Размноженіе происходило въ геометрической прогрессіи. Правда, и, сидя въ своей комнатѣ, конечно, я долженъ вообразать себѣ величайшую и постепенно возрастающую тѣсноту въ природѣ; для такой тѣсноты, очевидно, всегда есть *возможность*. Но въ дѣйствительности, можетъ быть, она рѣдко осуществляется, или имѣетъ совершенно неправильный ходъ, скачки, перемены. Нужно посмотрѣть, какъ и въ какой мѣрѣ уничтожается въ природѣ избытокъ размноженія, и какой ходъ и видъ имѣютъ различныя степени тѣсноты и простора.

4) Въ борьбѣ за существованіе *сохранятся* только наилучше приспособленные. То есть, отвѣчаю, *могутъ* сохраниться; но, очевидно, они могутъ и погибнуть. Всякіе организмы, по самому существу своему, легко подвержены гибели. Нельзя себѣ представить, чтобы у какихъ нибудь организмовъ появлялись особенности, которыя бы непременно застраховывали ихъ отъ опасности. Во всякомъ случаѣ, нужно провѣрить, могутъ ли тѣ измѣненія, *какія вамъ нужны*, имѣть въ какой нибудь степени подобную застраховывающую силу.

Какое же заключеніе? спросить дарвинистъ. Пока—никакого. Пока не сдѣланы всѣ тѣ справки, на которыя я указалъ, естественный подборъ остается предположеніемъ, для котораго существуетъ только *общая, неопредѣленная возможность*. Если же хоть одна изъ этихъ справокъ окажется не въ его пользу, то онъ станетъ *невозможностію*, и я буду имѣть право повторить, что онъ „не существуетъ, не существовалъ и существовать не можетъ“.

Дѣло будетъ еще яснѣе, если обратить вниманіе на то, какъ дарвинисты стараются избѣжать тѣхъ справокъ, безъ которыхъ ихъ *необходимый логическій выводъ* обращается лишь въ сомнительное предположеніе. По первому пункту, они утверждаютъ, что въ организмахъ происходятъ *всякія* измѣненія; по второму пункту, что наслѣдственность передаетъ *всякія* особенности; по третьему, что въ природѣ существуетъ совершенная тѣснота и *всѣ* мѣста заняты; наконецъ, по четвертому, что *всякая* малая особенность можетъ сохранить организмъ отъ гибели. И всѣ эти общія положенія, имѣющія такой безконечный объемъ, они берутся доказывать! Ну, если докажутъ, тогда, конечно, подборъ *будетъ* необходимымъ выводомъ. Но вы видите, что если только мы откроемъ самую малую черту порядка въ природѣ, если найдемъ, что измѣнчивость, наслѣдственность, численность и устройство организмовъ подчинены какому-нибудь закону, слѣдуютъ извѣстному правилу, то сейчасъ же должны будемъ признать, что подборъ не имѣетъ логическихъ основаній, т. е. что, хотя онъ, можетъ быть, и встрѣчается въ природѣ, но непременно предполагать его существованіе и дѣйствіе никакъ не слѣдуетъ.

IV.

Книга природы.

Чтобы еще пояснить и общій смыслъ дарвинизма, и ту ошибку, на которой онъ былъ основанъ и на которой постоянно держится, мы приведемъ здѣсь знаменитое сравненіе, которое употребилъ Руссо, доказывая вообще,

что устройство міра не могло возникнуть изъ случайностей. Объ этомъ сравненіи не рѣдко вспоминаютъ дарвинисты, объ немъ говоритъ и г. Тимирязевъ. Для ясности, а также для удовольствія читателей, приведемъ вполнѣ этотъ образчикъ базподобнаго краснорѣчія.

„Сколько софизмовъ нужно нагромоздить, чтобы не признавать гармоніи существъ и удивительнаго содѣйствія каждой части для сохраненія другихъ частей! Пусть говорятъ мнѣ сколько угодно о сочетаніяхъ и совпаденіяхъ: „что вамъ изъ того, что вы заставите меня замолчать, „если вы не въ силахъ довести меня до убѣжденія? и „какимъ образомъ вы подавите во мнѣ невольное чувство, которое отвергаетъ вашу мысль противъ моей воли? „Если органическія тѣла сочетались случайно на тысячу „ладовъ, прежде чѣмъ приняли постоянныя формы, если „сперва образовались желудки безъ ртовъ, ноги безъ „головъ, кисти безъ рукъ, всякаго рода несовершенные „органы, погибшіе по невозможности сохранить себя, то „почему ни одна изъ этихъ безобразныхъ попытокъ уже „не попадаетъ намъ на глаза? *) Почему природа предписала себѣ, наконецъ, законы, которымъ сначала не „была подчинена? Я не долженъ удивляться тому, что „происходитъ нѣчто, если это нѣчто возможно и если „трудность событія вознаграждается количествомъ случаевъ; я съ этимъ согласенъ. Однако же, если бы „пили и сказали мнѣ, что изъ типографскихъ буквъ, „кинутыхъ на удачу, вышла *Энеида* въ полномъ составѣ, „то я не удостоилъ бы сдѣлать ни шагу, чтобы провѣрить эту ложь. Вы забываете, скажутъ мнѣ, количество

*) Руссо имѣетъ въ виду, конечно, ученіе Эмпедокла. Но вопросъ, если нѣсколько измѣнить форму, легко прилагается и къ дарвинизму.

„раскидываній. Но сколько же нужно мнѣ предположить „такихъ раскидовъ, чтобы это сочетаніе стало вѣроятнымъ? У меня передъ глазами только одна, и я могу „поставить въ закладъ безконечность противъ единицы, „что ея результатъ не есть дѣйствіе случайности“. (Изъ Profession de foi du vicaire Savoyard, въ 4-й книгѣ Эмиля)

Тутъ превосходно высказано различіе между простою *возможностію* и настоящею *вѣроятностію*. Что Энеида произошла изъ буквъ, раскинутыхъ на удачу, — въ этомъ нѣтъ ничего невозможнаго. Если взять достаточное количество буквъ и послѣдовательно раскидывать ихъ такъ, чтобы они могли располагаться во всевозможныхъ сочетаніяхъ, то въ числѣ этихъ сочетаній неизбежно будетъ одно, въ которомъ буквы будутъ стоять точно въ томъ порядкѣ, какъ въ Энеидѣ. Будутъ, конечно, и другія сочетанія; напримѣръ, непременно будетъ такое, которое образуетъ *Генріаду*, и такое, которое составитъ *Потерянный Рай*, и такое, изъ котораго выйдетъ *Божественная Комедія*, — не говоря уже о поэмахъ и стихотвореніяхъ меньшаго размѣра. Все это и возможно, и неизбежно, если только возьмемъ достаточно буквъ и будемъ исчерпывать всѣ ихъ сочетанія.

Такая самая *возможность* и составляетъ основаніе, на которомъ построенъ весь дарвинизмъ, и дарвинисты со всѣмъ усердіемъ стараются и доказать эту возможность. и опровергать все, что ей могло бы помѣшать. Если представимъ, что каждая отдѣльная черта органическаго строенія соотвѣтствуетъ отдѣльной буквѣ, то все устройство какого-нибудь организма будетъ соотвѣтствовать определенному сочетанію многихъ такихъ буквъ, какъ бы связной рѣчи съ полнымъ смысломъ, съ началомъ и концемъ. Дарвинисты и утверждаютъ, что тѣ сочета-

вія, какія мы видимъ, произошли случайно, что въ природѣ будто бы дѣйствительно происходятъ всевозможныя раскидки этихъ буквъ, но что эти раскидки большею частію гибнутъ, и на лицо остаются изъ нихъ только совершенно прочныя, т. е. такія, которыя представляютъ цѣльный и правильный смыслъ.

„Дарвинъ“, пишетъ г. Тимирязевъ, „могъ бы отвѣтить Руссо, что его (т. е. Дарвина) естественный отборъ именно и есть тотъ механизмъ, который *отлично* *разсыпавшійся наборъ органическихъ формъ* слагаетъ въ ту гораздо болѣе изумительную, чѣмъ Энеида, книгу, которую поэты прозвали книгой природы“ (стр. 198).

Пусть читатель прилежно вникнетъ въ это сравненіе, если желаетъ понять, какъ пишется книга природы. Ее можно, я думаю, всего лучше сравнить съ книгою какого-нибудь толстаго журнала, въ которомъ помѣщаются всякаго рода произведенія. Но въ той типографіи, въ которой изготовляется книга природы, нѣтъ ни наборщиковъ, ни корректоровъ, и въ нее не поступаетъ никакихъ рукописей. Она работаетъ безъ помощи писателей, и въ ней два главныхъ дѣятеля: разсыпатель и критикъ. Разсыпатель занятъ тѣмъ, что безпрестанно наудачу раскидываетъ буквы; критикъ же рассматриваетъ тѣ оттиски, которые дѣлаются послѣ каждой раскидки и въ которыхъ буквы стоятъ въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ онѣ случайно легли. Если въ оттискѣ нѣтъ никакого смысла, критикъ его бросаетъ; если вышли стихи, или повѣсть, или что-нибудь другое, но критикъ находитъ ихъ не по своему вкусу, или направленію, или же предвидитъ опасность со стороны цензуры, то онъ все подобное отбрасываетъ. Онъ отбираетъ только то, что вполне пригодно для журнала, велитъ печатать это ото-

бранное, и такимъ образомъ получается книга, представляющая извѣстную степень ума, вкуса и направленія. Что же вы скажете? Вѣдь это возможно? Но я не смѣю и спрашивать, пришли ли бы вы въ негодованіе, если бы кто сталъ утверждать, что такъ именно составляется какой нибудь изъ нашихъ журналовъ. Между тѣмъ, дарвинисты увѣряютъ, что въ типографіи природы работа идетъ совершенно такъ, какъ мы описали. *Возможность* этого процесса такъ ихъ ослѣпляетъ, что они совершенно забываютъ его чудовищную *невѣроятность*.

„И почему“, пишетъ г. Тимирязевъ, „все это негодованіе Данилевскаго, вскипающее при одной мысли о *случайности тѣхъ элементовъ, изъ которыхъ слагается гармонія органическаго міра*, обрушивается на одинъ дарвинизмъ? Развѣ такая же случайность не встрѣчается въ природѣ и помимо органическаго міра и въ еще болѣе грозной формѣ? Взгляните на солнце, какимъ намъ его представляетъ современная астрономія,—это-ли не хаосъ случайностей? Но развѣ съ тѣхъ поръ, какъ мы его узнали, въ чемъ-нибудь измѣнилось наше возрѣніе на стройность солнечной системы? Или времена года смѣняются не такъ, какъ прежде? Или солнце попрежнему не разливаетъ вокругъ себя и свѣтъ, и жизнь, и радость? Нѣтъ: Die Sonne tönt nach alter Weise *). И знай Байронъ все, что извѣстно современнымъ астрономамъ, онъ не измѣнилъ бы ни строки въ своемъ прощаньѣ Манфреда. Но, если кто искренно убѣжденъ въ томъ, что дарвинизмъ, развертывая *картину буйнаго жизненнаго хаоса*, лежащаго въ основѣ изумительной гармоніи

*) Это изъ *Фауста* Гёте слова архангела, который передъ лицомъ Бога поетъ Ему хвалу и величаетъ Его творенія.

„органическаго міра, возмущаетъ эстетическое, даже грозитъ нравственному чувству,—кто, повторяю, искренно убѣжденъ въ этомъ, тотъ долженъ быть послѣдователемъ. Запретите тогда и астроному наводить свой телескопъ на солнце, или рассказывать о томъ, что онъ тамъ видитъ. Когда люди были дѣйствительно послѣдовательны, тогда и упоминаніе о пятнахъ на солнцѣ уже считалось за нечестіе“ (стр. 199).

Эта восторженная рѣчь требуетъ нѣкотораго поясненія. Авторъ указываетъ на то, что *современная астрономія* открыла въ солнцѣ *хаосъ случайностей*. Трудно понять, какія открытія тутъ разумѣются. Но общая мысль и безъ нихъ совершенно ясна. Авторъ хочетъ сказать, что порядокъ мертваго, неорганическаго міра выводится астрономіею изъ слѣпыхъ силъ, дѣйствующихъ въ матеріи, а качество, количество и расположеніе матеріи ни изъ чего не выводится, признаются случайностями. Пусть такъ; хотя очень странно вообразить архангела, поющаго Богу хвалу за то, что изъ случайнаго скопленія атомовъ возникли „непостижимо-высокія творенія“, и, слѣдовательно, Гёте имѣлъ въ виду что-то другое; но положимъ, что мертвый міръ дѣйствительно есть порядокъ, механически возникшій изъ хаоса (хотя, разумѣется, тогда всякія восхищенія имъ неумѣстны). Г. Тимирязевъ спрашиваетъ, почему того же нельзя сказать и объ органическомъ мірѣ? Странный вопросъ, особенно странный въ устахъ біолога! Я думаю потому, что нельзя смѣшивать различныя вещи, потому, что задача, представляющаяся намъ въ органическомъ мірѣ, есть, очевидно, особая и несравненно болѣе высокая задача, чѣмъ задача астрономіи. Для ясности, сдѣлаемъ еще шагъ. Кромѣ органическихъ явле-

ній, существуютъ еще психическія, есть область нравственныхъ и умственныхъ формъ и движеній, въ которой мы постоянно вращаемся. Тутъ задача для нашего ума опять иная, опять неизмѣримо болѣе высокая. Будь я не только современнымъ астрономомъ, а даже самымъ заклятымъ дарвинистомъ, все-таки я никакъ не могу повѣрить, что, напримѣръ, статья г. Тимирязева явилась случайно, что она составила въ типографіи *Русской Мысли* изъ раскинутыхъ на удачу буквъ. И если бы я вообразилъ, что у меня въ головѣ играетъ такая механика, какъ въ типографіи природы, и что слѣпой критикъ, борьба за существованіе, опредѣляетъ ходъ моихъ мыслей, то я, конечно, ни за что не писалъ бы и не печаталъ. Г. Тимирязевъ негодуетъ на Н. Я. Данилевскаго и восхищается устройствомъ солнечной системы. Вотъ и опроверженіе его мыслей. Потому что, въ самой солнечной системѣ, солнце, планеты, кометы, спутники—вращаются, согрѣваются, охлаждаются и т. д., но никто изъ нихъ, ни одинъ атомъ въ нихъ не чувствуетъ и тѣни восторга, или гнѣва.

И такъ, что же удивительнаго, что мы не сваливаемъ всего въ одну кучу и различаемъ тамъ, гдѣ есть различіе? Вѣдь это—первое научное правило.

V.

Стереотипъ.

Руссо очень вѣрно указалъ, что дѣло не въ возможности, а въ вѣроятности. Разсужденія о дарвинизмѣ дѣйствительно сводятся главнымъ образомъ на исчисленіе

вѣроятностей, и потому читатели не должны удивляться, когда мы принимаемся толковать о буквахъ, а не объ организмахъ. Такъ и математики въ теоріи вѣроятностей все говорятъ о черныхъ и бѣлыхъ шарахъ, объ игральныхъ картахъ и костяхъ, и т. п., и отсюда выводятъ свои теоремы.

Намъ нужно дополнить наше сравненіе, для того чтобы понятно было, какое соображеніе придумалъ Дарвинъ, что именно онъ могъ бы отвѣтить Руссо, и отвѣтить побѣдоносно, по мнѣнію г. Тимирязева.

Типографія природы, такъ, какъ мы ее описали, работала бы черезчуръ медленно. Но въ ней есть еще работникъ, который помогаетъ этой бѣдѣ; назовемъ его *стереотипомъ*. Стереотипъ, когда сдѣлана раскидка буквъ, замѣчаетъ нѣкоторыя мѣста, гдѣ изъ буквъ вышла фраза, или слово, или даже часть слова, и *спаиваетъ* эти буквы между собою. При новой раскидкѣ, эти отрывки словъ и мыслей могутъ случайно пополниться и образовать уже цѣлыя слова и мысли; стереотипъ сейчасъ же спаиваетъ ихъ въ этомъ порядкѣ. Такимъ образомъ постепенно можетъ, наконецъ, выйти изъ буквъ цѣлая статья или поэма.

Смыслъ всего этого сравненія, я думаю, вполне ясенъ читателямъ. *Разсыпатель*—это сама природа. До тѣхъ поръ, пока мы не знаемъ никакихъ внутреннихъ законовъ, которымъ она слѣдуетъ, пока мы только созерцаемъ безмѣрное множество различныхъ сочетаній, которыя она производитъ, мы, конечно, можемъ сказать, что она ихъ сыплетъ на удачу изъ своего рога изобилія.

Критикъ, сидящій въ типографіи, есть *борьба за существованіе*. Мы видимъ, что организмы гибнутъ въ огромныхъ количествахъ, что гибнутъ не только недѣ-

лимыя, но виды и роды этихъ существъ исчезаютъ безъ слѣда. И такъ, говорятъ дарвинисты, организмы остающіеся и процвѣтающіе обязаны своею жизнью или побѣдѣ въ бою, или счастливому случаю, то есть или одобренію, или прихоти критика.

Наконецъ, *стереотипъ* есть наслѣдственность. Наборъ органическихъ формъ никогда не рассыпается вполнѣ на отдѣльныя буквы. Извѣстная совокупность чертъ строенія передается неизмѣнно сотни, тысячи, даже сотни тысячъ лѣтъ.

Теперь мы можемъ совершенно точно сказать, въ чемъ состоитъ мысль Дарвина, то соображеніе, которымъ онъ думалъ разрѣшить загадку органическаго міра. Онъ утверждаетъ, что въ типографіи природы существенное дѣло дѣлается критикомъ, что стереотипъ ничего не выбираетъ и спаиваетъ всѣ буквы всякаго набора, такъ что только отъ критика зависитъ, какія спайки сохранить и какія нѣтъ. Словомъ, по ученію Дарвина, *наслѣдственность вполнѣ опредѣляется борьбой за существованіе*, и ничѣмъ другимъ. Результатъ этого опредѣленія и есть знаменитый *естественный подборъ*. Вопросъ тутъ очень важный. Такъ какъ борьба за существованіе вся состоитъ изъ стеченія случайностей, есть борьба съ совокупностью какихъ ни на есть наличныхъ обстоятельствъ, то *Дарвинъ* и думалъ, что такимъ образомъ онъ успѣлъ освободить типографію природы отъ всякаго присутствія ума, что для нея не нужно ни грамматики, ни логики. Въ самомъ дѣлѣ, если мы, наоборотъ, предположимъ, что въ выборѣ мѣстъ, оставляемыхъ въ спайкѣ, или же подлежащихъ рассыпкѣ, участвуетъ стереотипъ, то его соображенія и намѣренія, лингвистическія и логическія, имѣли бы, очевидно, главное

значеніе. Если бы мы замѣтили, на примѣръ, что онъ спаиваетъ только тѣ сочетанія буквъ, которыя образуютъ какое нибудь нѣмецкое, а не латинское слово, то мы должны были бы сказать, что *Энеиды* изъ этой работы никакъ не можетъ выйти, какъ бы ни трудились разсыпатель и критикъ, но что если можетъ что-нибудь выйти, то ужъ выйдетъ развѣ *Мессіада*.

И такъ, вопросъ теперь совершенно опредѣлился. Пусть природа сыплетъ наудачу сочетанія органическихъ чертъ строенія; пусть критикъ, борьба за существованіе, безжалостно истребляетъ все, что не подходитъ къ его вкусу; спрашивается, какъ дѣйствуетъ стереотипъ, наследственность? Если мы въ наследственности найдемъ малѣйшее самостоятельное правило, то мы будемъ въ правѣ сказать, что она не подчиняется борьбѣ за существованіе, что, слѣдовательно, органическія формы, въ самомъ своемъ зачаткѣ, въ самомъ основаніи, опредѣляются ею, а не естественнымъ подборомъ.

Н. Я. Данилевскій, съ свойственною ему ясностію мысли и точностію анализа, показалъ въ своей книгѣ, что именно здѣсь находится самое слабое мѣсто дарвинизма. Законы наследственности таковы, что вновь появляющіяся особенности организмовъ не могутъ всѣ передаваться ихъ потомкамъ (стереотипъ не припаиваетъ ихъ къ прежнимъ сочетаніямъ); такимъ образомъ, хотя бы подборъ и дѣйствовалъ, но ничего сдѣлать не можетъ. и дѣло должно идти помимо его.

Все это такъ ясно, что самому Дарвину, конечно, не пришло бы на мысль его предположеніе, если бы его не увлекъ примѣръ *искусственнаго* подбора. Но вѣдь искусственный подборъ состоитъ именно въ припайкѣ того, что естественно не припаивается, въ образованіи какъ-бы

искусственной наследственности посредствомъ спариванія одинаково измѣненныхъ организмовъ. Именно въ этомъ пунктѣ аналогія съ природой совершенно невозможна, какъ на это и указалъ настоятельно Н. Я. Данилевскій.

VI.

Примѣръ сирени.

Дарвинизмъ имѣетъ множество слабыхъ мѣстъ, при томъ тѣсно между собою связанныхъ. Руководясь книгою Н. Я. Данилевскаго, я главнѣйшія изъ этихъ мѣстъ выставилъ въ связи, въ порядкѣ и даже подъ цыфрами, въ своей статьѣ *Полное опроверженіе*. Г. Тимирязеву не угодно было слѣдовать за мною; онъ не хотѣлъ стѣсняться связью, порядкомъ и полнотою, а предпочелъ выбрать одинъ пунктъ книги, а потомъ увѣрять читателей, что вся книга на этомъ пунктѣ держится, и во все не упоминать о полномъ составѣ аргументаціи.

Можно съ этимъ охотно помириться; во-первыхъ, этотъ пунктъ дѣйствительно указывается Н. Я. Данилевскимъ какъ самое больное мѣсто дарвинизма; во-вторыхъ, статья г. Тимирязева получила, благодаря этому, хоть какое-нибудь видимое средоточіе, говоримъ видимое, потому что ея соображенія, по внутреннему своему смыслу, не имѣютъ никакого единства и только кружатся около избраннаго предмета.

Попробуемъ пойти вслѣдъ за авторомъ.

Н. Я. Данилевскій сдѣлалъ расчетъ, какою цыфрою

выразится вѣроятность того, что въ сирени, при предполагаемомъ дѣйстви боръбы за существованіе, число пятилепестныхъ вѣнчиковъ поравняется съ числомъ четырехлепестныхъ. Очень простое вычисленіе показало, что „это можетъ случиться лишь одинъ разъ въ 36.000 билліоновъ поколѣній“. (*Дарвинизмъ*, ч. II, стр. 8).

Этимъ Н. Я. Данилевскій хотѣлъ показать, что, вслѣдствіе *свободы* скрещиванія (т. е. его полной случайности), естественный подборъ хотя возможенъ, но совершенно невѣроятенъ.

И вотъ, эта простая аргументація произвела на г. Тимирязева впечатлѣніе, которое я не знаю, какъ и опредѣлить. Сначала онъ называетъ ее *шуткою*, дѣлаетъ на цѣлой страницѣ пародію этой шутки, увѣряетъ, что „на этой самой шуткѣ построено все его (Н. Я. Данилевскаго) опроверженіе дарвинизма“ и съ профессорскою строгостью замѣчаетъ, что „отпускать такія шутки въ науку, а тѣмъ болѣе основывать на нихъ всю свою аргументацію неумѣстно, неприлично“ (стр. 146). Потомъ, онъ утверждаетъ, что эта аргументація ведена „въ *псевдоматематической* формѣ“ (стр. 154), потомъ называетъ ее *парадоксомъ* (стр. 178), даже *пѣшкой* (стр. 160, 173), то есть несомнѣннымъ софизмомъ. Все это, замѣтьте, дѣлается безъ малѣйшаго доказательства. Наконецъ... нѣтъ, это не наконецъ, а въ срединѣ статьи; скажемъ поэтому такъ: *между тѣмъ*, самъ же г. Тимирязевъ на страницѣ 155-й излагаетъ аргументацію Н. Я. Данилевскаго, при чемъ оказывается, что въ ней ничего нѣтъ шуточного, ничего парадоксальнаго, никакой *пѣшки* и *псевдоматематической* формы, и что она даетъ очень правильный и опредѣленный выводъ, который выражается г. Тимирязевымъ такъ: „невозможность

образованія въ естественномъ состояніи чистокровной породы“.

Невольно приходитъ тутъ охота пошутить надъ г. Тимирязевымъ; но лучше будемъ вести дѣло какъ можно серьезно.

Г. Тимирязевъ смотритъ на Н. Я. Данилевскаго, а на меня ужъ и подавно, не болѣе какъ на презрѣннаго и отсталаго дилеттанта; но онъ, конечно, питаетъ полное уваженіе къ знаменитому ботанику *Негели*, на котораго не разъ и ссылается какъ на большой авторитетъ. Такъ вотъ, въ послѣднемъ сочиненіи Негели *), я нахожу большую главу подъ заглавіемъ: *Критика дарвиновой теоріи естественнаго подбора*, и тутъ находятся разсужденія и вычисленія до буквальности схожія съ тѣмъ, что содержится въ книгѣ Н. Я. Данилевскаго. Негели очень часто говоритъ и о *чистокровномъ распложеніи* (Reinzucht) и очень старательно доказываетъ его полную невѣроятность. Напримѣръ:

„Естественный подборъ не можетъ имѣть мѣста на томъ основаніи, что измѣненія въ началѣ малы и не приносятъ пользы. Но, если бы они даже (что вовсе невозможно) съ начала уже были такъ значительны, чтобы доставлять какую-нибудь явную выгоду, то все же, такъ какъ они появляются лишь въ немногихъ недѣлимыхъ и еще не имѣютъ постоянства, они никакъ не могли бы произвести замѣтнаго вытѣсненія и *чистокровнаго распложенія*. Пусть, напримѣръ, 4 недѣлимыхъ изъ 1.000 представляютъ наиболѣе полезнѣйшее измѣненіе, — это измѣненіе исчезнетъ *вслѣдствіе скрещиванія*.

*) C. v. Nägeli. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. München, 1884.

„Ибо, чистокровное распложеніе было бы возможно
 „вѣдь лишь тогда, когда бы эти четыре недѣлимыхъ и
 „ихъ потомки до тѣхъ поръ спаривались лишь между
 „собою, пока не вытѣснили бы остальныхъ, что потре-
 „бовало бы значительнаго числа поколѣній. Но для та-
 „кого чистокровнаго распложенія нѣтъ никакой причины“
 (стр. 313).

А вотъ другое, также очень рѣшительное мѣсто. Дѣло
 идетъ о теоріи миграцій.

„Слабый пунктъ естественнаго подбора, который же-
 „лаетъ она (теорія миграцій) устранить, не можетъ быть
 „отвергаемъ, при полной добросовѣстности; но это лѣ-
 „карство, однако же, оказалось хуже самой болѣзни. Ибо,
 „усмотрѣть невозможность миграціи гораздо легче, чѣмъ
 „невозможность естественнаго подбора. Слабый пунктъ
 „подбора, именно, что возникающія полезныя измѣненія
 „не могутъ еще произвести никакихъ вытѣсненій, этотъ
 „пунктъ можно еще обойти, прикрыть посредствомъ об-
 „щихъ фразъ. Но то представленіе, что измѣняющіяся
 „недѣлимыя изолируются *для чистокровнаго распложенія*,
 „есть нѣчто столь опредѣленное и вмѣстѣ столь неесте-
 „ственное, что никакой зоологъ или ботаникъ не долженъ
 „бы былъ предлагать его своей публикѣ безъ рѣшитель-
 „ныхъ доказательствъ и новыхъ теоретическихъ поясне-
 „ній. Во всякомъ случаѣ, теорія миграцій, такъ какъ она
 „есть логическое слѣдствіе теоріи естественнаго подбора,
 „принадлежитъ къ числу сильнѣйшихъ опроверженій сей
 „послѣдней“ (стр. 316).

И такъ, понятіе *чистокровнаго распложенія* есть одно
 изъ понятій, входящихъ въ дарвинову теорію, и можетъ
 вести къ ея опроверженію.

У Негели есть, наконецъ, и вычисленія, совершенно

подобныя вычисленія Н. Я. Данилевскаго. Негели беретъ общество организмовъ мужскихъ и женскихъ, состоящее изъ 1.000 паръ, и предполагаетъ, что изъ каждой сотни этихъ организмовъ одинъ получилъ благопріятное измѣненіе. Въ такомъ обществѣ, очевидно, всякихъ спариваній можетъ быть миллионъ, а *чистокровныхъ* только сто. Негели дѣлаетъ на этихъ основаніяхъ различныя выкладки, при чемъ цѣль его слѣдующая:

„Сообщу результатъ вычисленія, такъ какъ онъ бросаетъ яркій свѣтъ на распредѣленіе крови вслѣдствіе скрещиванія, а также на полную невозможность сколько-нибудь чистокровнаго распложенія измѣненныхъ недѣлимыхъ“.

Въ послѣднемъ отношеніи результатъ такой:

„Вѣроятность чистокровнаго спариванія между всѣми измѣненными недѣлимыми въ обществѣ изъ 2.000 недѣлимыхъ составляетъ для перваго спариванія десяти-тысячную долю единицы, для втораго спариванія одну билліонную долю; для третьяго спариванія она составила бы одну десятитысячеквадрильонную долю единицы“ (стр. 321, 322).

Такъ говоритъ Негели. Теперь посмотримъ, что на это скажетъ г. Тимирязевъ; онъ такъ воспламенился на „шутку“ о сирени, что, когда мы подставимъ ему Негели вмѣсто Н. Я. Данилевскаго, выйдетъ интересное зрѣлище.

„Но я спрашиваю“, восклицаетъ г. Тимирязевъ, „есть-ли на свѣтѣ не только дарвинистъ, но просто неповрежденный въ своихъ умственныхъ способностяхъ человѣкъ, который бы сталъ утверждать, что это (т. е. образованіе въ естественномъ состояніи чистокровной породы) возможно? Покажите мнѣ умственно здороваго человѣка,

„который бы сталъ утверждать, что стоитъ только разъ
„въ годъ пускать по одной англійской скаковой лошади
„въ степь, гдѣ пасутся табуны, для того, чтобы со вре-
„менемъ образовалась чистокровная англійская порода.
„А всѣ эти милліоны и трилліоны Данилевскаго къ тому
„только и нагромождены, чтобы доказать намъ невоз-
„можность этого абсурда. „Умственный опытъ“ Данилев-
„скаго доказываетъ только невозможность факта, возмож-
„ности котораго никто никогда и не предполагалъ“
(стр. 156).

Теперь мнѣ приходится уже вступаться за Негели противъ такихъ жестокихъ нападеній, и, чѣмъ бы меня ни считалъ г. Тимирязевъ, я твердо и рѣшительно отвѣчу ему, что онъ кругомъ виноватъ, что Негели имѣлъ всякое право говорить о чистокровномъ располженіи. доказывать его чрезвычайную невѣроятность и выводить отсюда опроверженіе естественнаго подбора.

Не только Дарвинъ и дарвинисты дѣлаютъ это предположеніе чистокровнаго приплода, но это предположеніе составляетъ неизбѣжную исходную точку всей теоріи подбора. Въ самомъ дѣлѣ, задача, разрѣшаемая теоріею, такова: показать, какъ вслѣдствіе борьбы за существованіе, нѣкоторое данное измѣненіе можетъ стать господствующимъ, т. е. достигъ возможности чистокровнаго размноженія и вытѣснить прежнюю форму. Слѣдовательно, во всякомъ случаѣ, при всякихъ предположеніяхъ, дѣло идетъ объ образованіи какой-то чистокровнѣйшей породы, т. е. просто — опредѣленной породы. Теорія вѣдь основана на томъ, что когда два одинаково измѣненные организма спариваются, то потомки наследуютъ ихъ измѣненіе, даже если оно было лишь случайное, индивидуальное. И борьба за существованіе есть

именно такая механика, такое стеченіе обстоятельствъ, которое, по мнѣнію Дарвина, можетъ довести дѣло въ природѣ до спариванія однихъ лишь измѣнившихся организмовъ, подобно тому, какъ мы искусственно устраиваемъ такое спариваніе въ конюшняхъ и голубятняхъ.

Предполагайте какія угодно измѣненія и наслѣдованія въ организмахъ, — борьба за существованіе не можетъ ни мѣшать имъ, ни помогать (вспомните нашихъ разсыпателя и стереотипа); когда эта борьба начинаетъ дѣйствовать, то, по предположенію, она только беретъ и доводитъ до чистокровнаго распложенія уже готовую данную ему форму; больше она сдѣлать ничего не можетъ, и если этого не дѣлаетъ, то значитъ и ничего не дѣлаетъ.

Такъ училъ Дарвинъ, который (пришлось и за него вступить), конечно, былъ человѣкъ съ неповрежденными умственными способностями, хотя и попалъ въ большое и упорное заблужденіе. И потому, если вы признаете, что чистокровное распложеніе никакъ не можетъ быть слѣдствіемъ естественнаго подбора, что такое предположеніе — невозможность, абсурдъ, то, значитъ, вы сами признаете, что дарвинизмъ опровергнутъ вполне и окончательно.

VI.

Нѣчто объ открытіяхъ.

По случаю настоящей полемики, мнѣ пришлось подробнѣе познакомиться съ книгою Негели, на которую я указалъ выше, и будетъ встать сказать здѣсь объ ней нѣсколько словъ. Эта огромная книга (больше 800 стра-

ницъ очень большого формата) составляетъ, конечно, самое послѣднее и самое значительное изъ европейскихъ сочиненій по вопросу о происхожденіи видовъ. Ее считаютъ какъ бы научнымъ завѣщаніемъ автора, уже давно знаменитаго. Книга вышла въ 1884 году, когда первая часть „Дарвинизма“ Н. Я. Данилевскаго была уже напечатана, а вторая печаталась. Н. Я. Данилевскій успѣлъ сказать о книгѣ Негели лишь нѣсколько словъ въ примѣчаніи (ч. II, стр. 190), но онъ думалъ сдѣлать полный разборъ этой книги и уже испестрилъ своими замѣтками ея первыя 24 страницы. До главы *Критика теоріи подбора* онъ далеко не дошелъ, но если бы дошелъ, то, безъ сомнѣнія, указалъ бы на согласіе своихъ возраженій съ возраженіями Негели. Согласіе это часто доходитъ до полного совпаденія; читатели, знакомые съ книгою Н. Я. Данилевскаго, или даже съ моею статьею *Полное опроверженіе*, могли видѣть это уже изъ тѣхъ трехъ отрывковъ, которые выше мною приведены. Сравненіе этихъ двухъ книгъ и точное указаніе какъ совпаденій, такъ и разницъ, какія окажутся, могло бы составить, по моему мнѣнію, превосходное занятіе для какого-нибудь молодого натуралиста, желающаго вполне основательно познакомиться съ дарвинизмомъ и его критикою.

Здѣсь же я вотъ къ чему веду свою рѣчь: не смотря на строгость мысли и изложенія, не смотря на одинаковый выводъ, что теорія Дарвина должна быть вполне отвергнута, критика Негели уступаетъ критикѣ Н. Я. Данилевскаго не только по объему и полнотѣ, но и по ясности въ постановкѣ вопросовъ. Въ книгѣ Негели, замѣтимъ вообще, сверхъ многого умнаго и научнаго, есть и много страннаго. Онъ не ушелъ отъ того уди-

вительнаго повѣтрія, которое еще раньше Дарвина пронеслось надъ ученымъ міромъ натуралистовъ, а современъ Дарвина, можно сказать, свирѣпствуетъ. Негели пустился также въ гипотезы, въ изобрѣтеніе новыхъ понятій, придумываніе новыхъ силъ и процессовъ въ природѣ. Тутъ съ натуралистами почти всегда случается одна и та же бѣда: какъ они ни стараются, ихъ новыя понятія бываютъ слишкомъ грубы и плоски и, хотя обыкновенно ясны и наглядны, но тѣмъ очевиднѣе неспособны обнять своего предмета; таково, напримѣръ, знаменитое объясненіе К. Фохта (въ 1847 году), что „мысль находится въ такомъ же отношеніи къ мозгу, какъ урина къ почкамъ“ *). Со времени этого изреченія до нашихъ дней, серіозные ученые, никакъ не дилеттанты, безпрестанно пускаются въ самыя общія теоріи и положенія и высказываютъ нерѣдко что-нибудь столь же смѣлое и ясное; зараза, которая прежде во все не замѣчалась.

Какъ бы то ни было, Негели въ своей книгѣ излагаетъ свою собственную теорію происхожденія организмовъ, которую онъ называетъ (какъ видно уже изъ заглавія) *механически-физиологическою*. Эта теорія содержитъ и вѣрные взгляды, и неудачныя построенія, хотя, безъ сомнѣнія, составляетъ значительный шагъ къ лучшему въ сравненіи съ Дарвиномъ. Но мы здѣсь говорить объ ней не будемъ, и я упомянулъ объ ней только для того, чтобы объяснить характеръ критики дарвинизма, которую составилъ Негели. Въ этой критикѣ онъ не просто анализируетъ теорію Дарвина, а въ каждомъ пунктѣ показываетъ вмѣстѣ и превосходство своей собствен-

*) C. Vogt, *Physiol. Briefe*. 1847. S. 206.

ной теоріи. Такимъ образомъ, у Н. Я. Данилевскаго дѣло идетъ гораздо яснѣе: это чисто объективная критика, въ которой ничто не заслоняетъ намъ критикуемаго предмета. Такой совершенно безукоризненный анализъ и составляетъ главную заслугу и *новость* книги Н. Я. Данилевскаго. Онъ самъ очень хорошо опредѣлилъ достоинство своего сочиненія въ введеніи, когда указываетъ, почему онъ былъ неудовлетворенъ книгою Виганда. Тамъ онъ говоритъ:

„Вигандъ опровергаетъ ученіе, не становясь на его собственную точку зрѣнія, а, такъ сказать, извнѣ, по крайней мѣрѣ не дѣлаетъ этого съ достаточною силою и ясностью, не проводитъ до конца тѣхъ послѣдствій, которыя необходимо вытекаютъ изъ логическаго развитія началъ дарвинизма. Столь же большимъ недостаткомъ со стороны убѣдительности, не для ученой, а собственно для образованной публики, представляется мнѣ, то, что нападеніе, такъ сказать, ведено въ разбродъ, что одна часть не поддерживаетъ другую, и всѣ доказательства не сведены въ одно всесокрушающее цѣлое. Конечно, ученый спеціалистъ, взвѣсивъ въ отдѣльности силу каждаго доказательства, можетъ этимъ удовлетвориться; но для человѣка, незнакомаго съ предметомъ, необходимо ясно показать, что эти доказательства—не возраженія противъ частныхъ, а сливаются въ одно цѣльное доказательство противъ самой сущности ученія. Сила нѣкоторыхъ возраженій, по моему мнѣнію, недостаточно оцѣнена и имѣетъ видъ опроверженія частныхъ теорій, между тѣмъ какъ, при достаточномъ ихъ проведеніи, они соврушаютъ ее всю.“ (*Дарвинизмъ*, ч. I, стр. 28).

Всѣ эти требованія, исполненія которыхъ Н. Я. Данилевскій не нашелъ у Виганда, самъ онъ исполнилъ

въ своемъ трудѣ вполнѣ и безупречно. Логическіе выводы изъ теоріи Дарвина проведены до конца, всѣ возраженія сведены въ одно цѣльное доказательство и показана истинная сила каждаго изъ нихъ, отъ самыхъ слабыхъ до такихъ, которыя сокрушаютъ всю теорію. Такое неподобное зданіе привело меня въ восхищеніе. Когда я излагалъ его планъ, то особенно восхитила меня та аргументація, въ которой авторъ показалъ, что одно изъ давнишнихъ возраженій противъ теоріи, именно вліяніе скрещиванія, не есть какая-нибудь частность и не обладаетъ лишь относительною силою, а, напротивъ, идетъ противъ цѣлой теоріи и имѣетъ силу неотразимую. Въ похвалу этой аргументаціи я и написалъ: „можно назвать истиннымъ открытіемъ Н. Я. Данилевскаго тотъ фактъ, что естественнаго подбора вовсе не существуетъ“ *).

Смыслъ этой рѣчи легко видѣть по самому ея тону, по тому, что слова *открытие* и *фактъ* употреблены здѣсь, конечно, не въ собственномъ ихъ смыслѣ; между тѣмъ, г. Тимирязевъ чуть не на каждой страницѣ упрекаетъ меня мнимостію этого открытія и, вообще, не разъ съ торжествомъ утверждаетъ, что Н. Я. Данилевскій только повторяетъ давно сдѣланныя возраженія противъ Дарвина.

Въ свою защиту я могу привести печатное доказательство. Въ 1874 году въ сборникѣ Л. Сабанѣева *Природа* была напечатана моя статья *О развитіи организмовъ*, и тамъ приведены были возраженія Кѣлликера. Первое изъ нихъ—такое:

„Даже и въ томъ случаѣ, если допустить послыши Дарвина (варіированіе организмовъ, сохраненіе полез-

*) Выше, стр. 376.

ныхъ разновидностей посредствомъ естественнаго подбора и ихъ наслѣдственность), то нельзя вывести отсюда никакихъ измѣненій вида, такъ какъ скрещиваніе, которому ничто не препятствуетъ, должно необходимо повести къ возвращенію основной формы“ *).

И такъ, я не могъ не знать, какое давнее и сильное возраженіе заключается въ скрещиваніи. Да и никакъ не его я разумѣлъ подъ открытіемъ. Чтобы не было недоразумѣній, я теперь выражусь полнѣе и яснѣе. По моему убѣжденію, Н. Я. Данилевскій вообще открылъ истинную силу и истинную связь возраженій, возбуждаемыхъ теоріею Дарвина, а также, точное отношеніе ихъ къ фактамъ, наблюдаемымъ въ природѣ. Такимъ образомъ, въ частности, онъ открылъ, что естественный подборъ есть совершенно невозможное предположеніе, и что тутъ всего яснѣе несостоятельность всей теоріи. Подобнаго строгаго и яснаго логическаго построенія нельзя нигдѣ найти, ни у Бэра, ни у Виганда, ни у Негели, ни у кого изъ возражателей. И потому, книга Н. Я. Данилевскаго есть нѣчто истинно новое и другими книгами незамѣнимое.

Напрасно также г. Тимирязевъ упрекаетъ его въ томъ, что онъ не указываетъ, гдѣ въ первый разъ можно встрѣтить то, или другое возраженіе **). Во-первыхъ, онъ безпрестанно ссылается на другихъ, а во-вторыхъ, онъ писалъ не исторію спора и на право первенства нигдѣ не посягаетъ. Если же гдѣ онъ горячо настаиваетъ на томъ вѣсѣ, который онъ придаетъ, все равно своему или

*) *Объ основныхъ понятіяхъ психологій и физиологій.* Спб. 1886, стр. 294. Тутъ я перепечатаю свою статью.

**) Вотъ и Негели вовсе не дѣлаетъ такихъ указаній. Или—что можно Негели, того нельзя Данилевскому?

чужому, возраженію, то дѣло именно въ этомъ вѣсѣ, и объ вѣсѣ и разсуждать слѣдуетъ.

Кто самъ мыслить, а не составляетъ своихъ мыслей изъ кусочковъ, взятыхъ въ разныхъ книгахъ, тотъ часто вовсе не замѣчаетъ, гдѣ ему въ первый разъ встрѣтилось какое-нибудь положеніе, а заботится лишь о томъ, чтобы внести въ него точный и ясный смыслъ, связать прочно съ другими прочными понятіями и, такимъ образомъ, и чужому положенію дать авторитетъ собственной мысли. Не въ томъ дѣло, что Н. Я. Данилевскій повторилъ чужое, а въ томъ, что онъ призналъ это чужое *своимъ*.

VIII.

О сохраненіи всего въ природѣ.

Г. Тимирязевъ не слѣдуетъ приѣмамъ Н. Я. Данилевскаго: онъ ведетъ свои нападенія вразбродъ, не показываетъ относительной ихъ силы, не связываетъ ихъ въ одно цѣлое. Такимъ образомъ происходитъ тотъ неопредѣленный туманъ, въ которомъ нельзя хорошенько разглядѣть предметовъ и есть возможность уйти отъ непріятеля.

Очень интересно и важно начало. Вооружаясь противъ значенія скрещиванія, г. Тимирязевъ начинаетъ съ того, что громко и рѣшительно [■] утверждаетъ, будто бы *случайное измѣненіе никакъ не можетъ исчезнуть!* Извольте читать на страницѣ 156:

„Сохраненіе случайнаго уклоненія въ его чистой формѣ — это одинъ предѣлъ явленія; его *безслѣдное*

исчезновеніе, полное раствореніе въ нормальныхъ формахъ — это другой и, замѣтимъ, *идеальный*, теоретическій предѣлъ“.

То есть, никогда не достигаемый, предполагаемый лишь мысленно, а въ дѣйствительности несуществующій. А вотъ и доказательство:

„Въ дѣйствительности, къ органическимъ формамъ, какъ и къ матеріи, какъ и къ энергіи, примѣнимо изреченіе Лавуазье: *dans la nature rien ne se perd*. *Логически* *немыслимо*, чтобы какое нибудь воздѣйствіе на организмъ исчезло безъ слѣда; — именно этою *невозможностію* безслѣднаго исчезанія какихъ бы то ни было воздѣйствій на организмъ и его потомство, суммированіемъ этихъ воздѣйствій, мы и должны объяснять себѣ прогрессивное усложненіе организмовъ“.

Признаюсь, рѣдко можно найти болѣе странную выходку, притомъ сдѣланную безъ всякаго повода, безъ всякой надобности. Какой это новый законъ сохраненія *чего-то* въ организмахъ провозглашаетъ г. Тимирязевъ? Что-то сохраняется, но что же именно?

Вѣдь дѣло идетъ о *случайныхъ* *уклоненіяхъ*, и нѣтъ никакого сомнѣнія, не подлежитъ никакому вопросу, что скрещиваніе уничтожаетъ ихъ безъ слѣда, что они безпрестанно появляются и безпрестанно же исчезаютъ. Это — фактъ очевидный, ежедневный, и можно бы исписать множество страницъ выдержками изъ самого Дарвина, гдѣ онъ говоритъ объ исчезаніи такихъ уклоненій. Бываютъ, напримѣръ, шестипалые люди (а Некрасовъ упоминаетъ и купца *Семипалова*), но въ потомствѣ ихъ эта уродливость исчезаетъ безъ слѣда.

Г. Тимирязевъ увѣряетъ, что безслѣдное исчезаніе — невозможность, *логически* не мыслимо. Ахъ, эта логика!

Вотъ Дарвинъ, тотъ, кажется, о логикѣ никогда не говорилъ, и право лучше дѣлалъ. Вѣдь, если что-нибудь можетъ, по вашему, *приближаться къ исчезанію*, то отчего же оно не можетъ и исчезнуть? Вѣдь, напримѣръ, матерія, или энергія, вѣдь они не только никогда не приближаются къ исчезанію, а всегда сохраняются неизмѣнно все въ томъ же количествѣ.

Вы говорите: *dans la nature rien ne se perd*? Хотя этотъ афоризмъ и сказанъ по французски, я очень сомнѣваюсь, чтобы онъ былъ подлиннымъ выраженіемъ мысли Лавуазье. Онъ слишкомъ живо напоминаетъ мнѣ французскій водевиль, въ которомъ смѣшной герой среди смѣшныхъ приключеній безпрестанно твердитъ: *tout est possible dans la nature!* Это изреченіе ничуть не хуже, чѣмъ *dans la nature rien ne se perd*. Какъ въ природѣ ничего не теряется? Въ природѣ все измѣняется, все проходитъ, все исчезаетъ, и нужно было сороковѣковое умственное движеніе человѣчества, нужны были высокіе геніи для того, чтобы въ томъ потокѣ измѣненій, который называется природою, найти наконецъ твердые законы, открыть то, что не измѣняется. Г. Тимирязевъ, замѣтимъ кстати, съ великимъ презрѣніемъ говоритъ въ своей статьѣ объ *Эмпедоклѣ*; онъ обижается тѣмъ, что Н. Я. Данилевскій сопоставилъ „геніальныя идеи Дарвина съ дѣтскими бреднями Эмпедокла“ (стр. 198). Этотъ самый Эмпедоклъ, между тѣмъ, имѣетъ огромное значеніе въ томъ вопросѣ, о которомъ идетъ рѣчь. Онъ придумалъ, еще на зарѣ научнаго мышленія, что существуютъ *четыре стихіи*, то есть, что неизмѣнную основу вещей составляютъ четыре элемента, вездѣ одинаковыхъ, и что возникновеніе и исчезаніе вещей происходитъ отъ сочетанія и раздѣленія этихъ стихій, а

разнообразіе вещей зависитъ отъ различной пропорціи, въ которой эти стихіи въ вещахъ находятся. Лавуазье съ этой стороны выходитъ ученикомъ Эмпедокла; онъ только развилъ далѣе теорію стихій. И онъ не могъ вообще говорить: въ природѣ ничто не теряется; его заслуга состоитъ въ томъ, что онъ указалъ, *что именно* не теряется при всякихъ химическихъ перемѣнахъ, указалъ *мѣру*, которою можно опредѣлять неизмѣнное количество первоначальныхъ стихій. Rien de ponderable ne se perd dans la nature—вотъ выраженіе, которое могло бы напоминать намъ истину, утвержденную Лавуазье; но говорить вообще: dans la nature rien ne se perd—онъ никакъ не могъ.

Что касается, въ частности, до органическаго міра, то тутъ странно и говорить о какой-нибудь неизмѣнности, особенно на той точкѣ зрѣнія, на которой стоитъ г. Тимирязевъ. Организмы суть существа непрерывно-измѣняющіяся и гибнущія; гибнутъ не только недѣлимые, но вымираютъ самые виды и роды; съ каждымъ днемъ мы открываемъ новые допотопные организмы, теперь не существующіе. И намъ легко представить, что подобнымъ образомъ могутъ погибнуть и всѣ нынѣшніе организмы, весь органическій міръ. Прежніе натуралисты признавали, поэтому, неизмѣннымъ въ организмахъ только ихъ типъ, ихъ идеальный образъ, совокупность видовыхъ признаковъ, которая осуществляется въ недѣлимыхъ въ теченіе извѣстной геологической эпохи. Но г. Тимирязевъ вѣдь стоитъ противъ постоянства видовъ, и тогда невозможно понять, что останется для него сохраняющимся въ организмахъ. Измѣненія, появляющіяся въ отдѣльныхъ недѣлимыхъ, по самому существу своему, не могутъ принадлежать къ области того, что неизмѣнно

сохраняется. *Что можетъ появиться, то можетъ и исчезнуть.* Если животное растолстѣло, то оно можетъ похудѣть; если родился шестипалый человѣкъ, то потомки его могутъ быть опять пятипалыми и даже четырехпалыми. Какую бы перемѣну мы ни вообразили, всегда мы имѣемъ право воображать и отсутствіе этой перемѣны, и даже перемѣну прямо ей противоположную. Неизмѣнно же бываетъ лишь то, что никогда прежде не измѣнялось и впередъ измѣняться не будетъ.

Напрасно, значить, г. Тимирязевъ и Эмпедокла бранить, и на Лавуазье ссылается.

Тутъ передъ нами образчикъ тѣхъ переходящихъ всякую мѣру несообразностей, въ которыя вводитъ дарвинистовъ увлеченіе общими фразами, общими понятіями. Они расположены иногда бросаться въ обобщеніе, такъ сказать, сломя голову. Есть на это даже знаменитый во всемъ свѣтѣ примѣръ, именно извѣстнѣйшій изъ дарвинистовъ—Геккель.

IX.

Скрещиваніе.

Долго я мучился, пытаюсь найти въ разсужденіяхъ г. Тимирязева о скрещиваніи какую-нибудь руководящую нить, дѣйствительную или призрачную. Я приходилъ въ отчаяніе, потому что никакъ не могъ понять, какъ онъ переходитъ отъ одной мысли къ непосредственно слѣдующей за нею. Я попробовалъ составить таблицу его возраженій по порядку, но и это не помогало. Его *итакъ, скажемъ болѣе, но, и т. п.* приводили меня въ совер-

шенное недоумѣніе, и я уже готовился укорять его въ полнѣйшей и страннѣйшей безсвязицѣ. Но, наконецъ, упорный трудъ все одолѣлъ: я нашелъ разгадку этого страннаго теченія мыслей и подѣлюсь ею съ читателями.

Нельзя было ничего понять потому, что у меня въ головѣ торчалъ обыкновенный дарвинизмъ, та теорія, которая была придумана Дарвиномъ и была прежде такъ хорошо истолковываема самимъ г. Тимирязевымъ. А оказалось совсѣмъ другое; ну кто бы могъ объ этомъ легко догадаться? Оказалось, что своими доказательствами г. Тимирязевъ старается подтвердить свою собственную теорію, въ первый разъ являющуюся на свѣтъ, такъ сказать, усовершенствованный дарвинизмъ, далеко не похожій на старый. Г. Тимирязевъ, кажется, самъ этого не замѣтилъ въ жару полемики; вѣдь это часто случается, что послѣдователи уходятъ дальше своего учителя, хотя продолжаютъ клясться его именемъ.

Теорію г. Тимирязева можно назвать *теорією ограниченаго скрещиванія*. Чтѣ всего удивительнѣе, она возникла, какъ оказывается, изъ двухъ соображеній, которыя ея авторъ нашелъ въ книгѣ Н. Я. Данилевскаго! Есть два мѣста въ этой книгѣ, о которыхъ г. Тимирязевъ много говоритъ, но говоритъ совершенно различнымъ тономъ. Одно мѣсто онъ признаетъ совершенно справедливымъ, вопреки своему сплошному порицанію книги; за то на другое мѣсто онъ смотритъ какъ на самое тяжкое изъ всѣхъ преступленій, содѣянныхъ Н. Я. Данилевскимъ. Эти-то два мѣста и послужили основаніемъ новой теоріи. Чтеніе одного изъ нихъ было для г. Тимирязева, можно сказать, открытіемъ, озареніемъ, и онъ очень живописно изображаетъ чувства, которыя

при этомъ испыталъ. Вотъ какъ онъ описываетъ ужасное коварство Н. Я. Данилевскаго:

„Впередъ пускается озадачивающій читателя парадоксъ ¹⁾); на протяженіи ста страницъ читатель выдерживается подъ удручающимъ впечатлѣніемъ ошеломившаго его аргумента. Черезъ сто страницъ, однако, убѣдительная сила этого аргумента уменьшается въ нѣсколько милліардовъ разъ, замѣьте—логическая убѣдительность аргумента уменьшается въ нѣсколько милліардовъ разъ ²⁾), а черезъ 125 страницъ, на полустраничкѣ, проскользаетъ обстоятельство, лишающее его и всей обязательной силы“ (стр. 151).

То же самое преступленіе Н. Я. Данилевскаго рассказывается еще разъ, хотя не столь эмоционально, выражаясь слогомъ г. Тимирязева.

„Посвятивъ двѣ главы (слишкомъ 130 страницъ) разбору и доказательству невозможности того предположенія, которое дарвинистами никогда и не дѣлалось ³⁾), онъ (Н. Я. Данилевскій) мелькомъ, вскользь, на полустраничкѣ упоминаетъ о дѣйствительно возможномъ предположеніи, конечно, въ томъ разчетѣ ⁴⁾), что его триллионныя, а мимоходомъ и декаліонныя, математическія доказательства съ одной стороны, и восклицанія объ отсутствіи, „здравой логики“, и „честности“ у дарвинистовъ съ другой ⁵⁾), уже успѣли привести читателя въ такое угнетенное состояніе, что эти строки

¹⁾ Это—примѣръ сирени.

²⁾ И такъ, логическая убѣдительность можетъ измѣряться численно.

³⁾ Это—примѣръ сирени.

⁴⁾ Еще бы безъ разчета! Такой злодѣй и такой умный!

⁵⁾ Что касается до восклицаній, то г. Тимирязевъ долженъ согласиться, что безконечно превосходитъ Данилевскаго ихъ обиліемъ и жаромъ.

„проскользнуть, не произведя уже должного впечатлѣнія“ (стр. 178, 179).

Въ примѣчаніи къ этому мѣсту г. Тимирязевъ еще разъ настаиваетъ:

„Я особенно рекомендую поклонникамъ труда Данилевскаго эту 126-ую страницу II-го тома, какъ именно то мѣсто, гдѣ обнаруживается вся несостоятельность его, будто-бы, опроверженія естественнаго отбора“ (тамъ же).

По моему мнѣнію, изъ всего этого читатель имѣетъ большое право заключить, что г. Тимирязевъ до этой 126-й страницы самъ испытывалъ *удручающее впечатлѣніе* и *унытенное состояніе*; когда же дочиталъ до этого удивительнаго мѣста, вдругъ увидѣлъ спасеніе, и тогда сталъ бранить Н. Я. Данилевскаго за то, что тотъ его *нарочно* мучилъ. Г. Тимирязеву вдругъ показалось, что онъ нашелъ соображеніе, разрѣшающее всѣ трудности; онъ и рѣшился—покаратъ коварнаго мучителя и вмѣстѣ изложить подробно ту блестящую мысль, которая внесетъ полную ясность въ теорію Дарвина.

Преступныхъ словъ Н. Я. Данилевскаго г. Тимирязевъ почему-то не приводитъ; эти роковыя *полстранички*, вѣроятно, очень заинтересовали читателя; вотъ они буквально:

„Но здѣсь меня, можетъ быть, ждетъ возраженіе. Для того, чтобы въ жизненной борьбѣ побѣда осталась на сторонѣ малочисленной, но лучше приноровленной формы, нѣтъ надобности, — скажутъ мнѣ, — чтобы отношенія между двумя элементами побѣды, численностію и приноровленностію, совершенно вознаграждали другъ друга; потому что, скрещиваніе оказывается въ этомъ случаѣ на сторонѣ Дарвина и, дѣйствительно, приводится имъ въ свою пользу. Въ самомъ дѣлѣ, *если улучшенная*

„разновидность составляет сколько нибудь значительную долю общаго числа особей вида, то, сврещиваясь съ „неулучшенными, она ихъ улучшить и приблизить къ „себѣ, т. е. увеличить свою численность, впрочемъ, не „иначе, какъ насчетъ величины степени улучшенія (большей приноровленности). Враги изъ представителей старой формы какъ-бы переходятъ на сторону вновь возникшихъ противниковъ, борьба между ними ослабѣваетъ, „и въ результатъ все-таки получается улучшеніе, хотя „въ извѣстной мѣрѣ и слабѣйшее, чѣмъ въ индивидуумахъ „съ первоначально возникшею благопріятною особенностью“. (*Дарвинизмъ*, часть II, стр. 126).

Читатель видитъ, что это есть возраженіе, которое Н. Я. Данилевскій сдѣлалъ *самъ себѣ*. Онъ очень любилъ, какъ мы уже говорили, разсматривать предметъ со всѣхъ сторонъ и разбирать всякія *возможныя* возраженія. И вотъ отчего онъ попалъ въ большія бѣды. Г. Тимирязевъ въ разныхъ мѣстахъ своей статьи, не досмотрѣвши, что у Н. Я. Данилевскаго многое обсуждается только условно, или же взвѣшивается самая вѣроятность какого-нибудь положенія, объявляетъ, что все это *балластъ* (стр. 150), или даже *споръ противъ очевидности* (149).

Но на этотъ разъ, то-есть относительно 126-й страницы, дѣло вышло наоборотъ. Н. Я. Данилевскій предположилъ здѣсь возраженіе, которое, по нашему мнѣнію, очень позволительно было бы назвать *споромъ противъ очевидности*, и онъ легко и совершенно опровергаетъ его на слѣдующей страницѣ. Между тѣмъ, г. Тимирязевъ тутъ-то и нашелъ „обстоятельство, лишающее всей обязательной силы“ аргументацію противъ естественнаго подбора. Такимъ образомъ, то, о чемъ Н. Я. Данилев-

скій упомянулъ „мелькомъ, вскользь“, то самое оказалось самымъ важнымъ и нужнымъ для г. Тимирязева. Неблагодарный! Какъ можно было этому случаю дать такое злостное истолкованіе?

Но въ чемъ же дѣло? Очевидно, г. Тимирязевъ былъ плѣненъ на 126 страницѣхъ тѣмъ соображеніемъ, что скрещиваніе, этотъ исконный и неодолимый врагъ подбора, *можетъ помогать новой формѣ въ борьбѣ со старою*. Онъ не вникъ хорошенько въ тѣ условія, при которыхъ возможно предполагать эту помощь, и подумалъ, что нашелъ выходъ изъ всѣхъ своихъ затрудненій. Онъ заключалъ такъ: значить скрещиваніе помогаетъ подбору; значить скрещиваніе бываетъ полезно, и нѣтъ надобности въ полномъ его устраненіи; значить невѣрно и то, что подборъ есть устраненіе скрещиванія. И вотъ г. Тимирязевъ пишетъ:

„Сохраненіе случайнаго уклоненія въ его чистой формѣ—это одинъ предѣлъ явленія; его *безсмысленное* исчезновеніе, полное раствореніе въ нормальныхъ формахъ—это другой предѣлъ“.

„Между указанными двумя предѣлами для естественнаго отбора останется широкій просторъ, а это-то именно и забывается, или, правильнѣе, на время скрываетъ отъ читателей Данилевскій, рассчитывая, такъ сказать, ихъ воспитать въ страхъ его билліоннаго аргумента, а потомъ уже вскользь, когда это будетъ не опасно, упомянуть и о другой возможности“ (стр. 156, 157).

Широкій просторъ—это вотъ что значитъ: вслѣдствіе скрещиванія явится множество недѣлимыхъ, въ которыхъ въ различной степени отразится разъ появившееся случайное уклоненіе. И такъ, скрещиваніе помогаетъ появленію новой формы! Какъ странно, что подобное со-

ображеніе не пришло на мысль ни Дарвину, ни Данилевскому! Дарвинъ вездѣ отбивается отъ скрещиванія, какъ отъ большой опасности *), а Данилевскій утверждаетъ, что эта опасность неотразима.

Но г. Тимирязевъ подробно развиваетъ свою мысль, даже съ вычисленіями, которыми, очевидно, заразился отъ Н. Я. Данилевскаго. Онъ предполагаетъ, что явилась измѣненная форма въ такомъ растеніи, которое производитъ десять потомковъ при каждомъ цвѣтеніи; тогда, если предположить, что эта форма плодилась пять разъ, а ея потомки тоже плодились въ это время, окажется, что всѣхъ потомковъ, содержащихъ отъ $\frac{1}{2}$ до $\frac{1}{8}$ крови родоначальника, будетъ больше десяти тысячъ (стр. 161). Вотъ какое широкое поприще для подбора! Этого мало. Увлеченный мыслью, что скрещиваніе не только безопасно, но даже необходимо, г. Тимирязевъ вдругъ усмотрѣлъ въ немъ еще новую пользу. На эту пользу навели его тоже разсужденія Н. Я. Данилевскаго, но въ другомъ мѣстѣ книги.

„Если въ природѣ“, пишетъ г. Тимирязевъ, „немыслимо возникновеніе чистокровной породы, то это еще не значитъ, чтобы разъ возникшая уклонная форма не могла сохраниться въ цѣломъ рядѣ степеней или оттѣнковъ, что съ точки зрѣнія самого Данилевскаго, еще важнѣе, чѣмъ сохраненіе чистокровной формы. Онъ самъ не разъ предъявляетъ дарвинизму такую дилемму: изъ

*) Напримѣръ: «Сохраненіе въ природѣ какаго-нибудь случайнаго уклоненія будетъ *редкимъ* случаемъ, и если бы сначала оно сохранилось, то, вообще говоря, оно бы исчезло отъ послѣдующаго скрещиванія съ обыкновенными недѣлимыми» Darwin, Orig. of sp. ed. VI, p. 71. Слова *редкимъ* и *вообще говоря* поставлены для смягченія, чтобы не отказаться вдругъ отъ всего. Кетати—изъ этихъ словъ видно также, что сохраненіе случайнаго уклоненія дѣйствительно входило въ предположенія Дарвина.

крупныхъ случайныхъ уклоненій отборъ не могъ бы сложить цѣлесообразныхъ формъ, мелкія же уклоненія также для этого неудобны. Скрещиваніе какъ разъ именно удовлетворяетъ требованію Данилевскаго, т. е. предлагаетъ въ распоряженіе отбора признаки во всевозможныхъ ихъ оттѣнкахъ“ (стр. 157).

Въ другомъ мѣстѣ статьи г. Тимирязева, та же мысль выражена еще съ большею опредѣленностью:

„Многочисленные, но обладающія въ большей или меньшей степени даннымъ признакомъ, особи могутъ являться какъ результатъ скрещиванія. Этимъ отражается, между прочимъ, и возраженіе, которое Данилевскій не разъ предъявляетъ дарвинизму, именно, что мелкія различія не будутъ сохраняться отборомъ, а при помощи крупныхъ, рѣзкихъ чертъ не можетъ быть достигнута тонкая приспособленность, какъ онъ выражается „мозаичность“ органическихъ формъ. Скрещиваніе и будетъ представлять отбору каждое уклоненіе во всевозможныхъ оттѣнкахъ различія“ (стр. 176).

Наконецъ, выпишемъ еще то мѣсто, гдѣ эта новая теорія, новѣйшій видъ дарвинизма, излагается вообще.

„Скрещиваніе и отборъ—это два начала, находящіяся въ антагонизмѣ и дѣйствующія одновременно и неизмѣнно. Образование новыхъ формъ идетъ по равнодѣйствующей этихъ двухъ противоположныхъ вліяній,—все равно, какъ полетъ ядра зависитъ отъ движенія, сообщеннаго ему при выстрѣлѣ и отъ притяженія земли; ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ мы не можемъ допустить, чтобы явленія находились когда-либо подъ вліяніемъ только одной изъ обуславливающихъ причинъ“ (стр. 162).

Все это досадно читать, любезные читатели, и даже

очень досадно. Какъ можно такъ пространно, такою бойкою, павною рѣчью и съ такимъ серіознымъ ученымъ видомъ излагать подобныя несообразности!

Если предположить случаи (какъ предполагаетъ ихъ возможными Дарвинъ), что случайное измѣненіе наследуется вполнѣ, безъ ослабленія (что достигается, при искусственномъ подборѣ, спариваніемъ только чистокровныхъ недѣлимыхъ), то можно еще вообразить, что, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, при опредѣленномъ дѣйствіи борьбы за существованіе, это измѣненіе удержится и въ огромномъ ряду поколѣній побѣдитъ старую форму. Но если, напротивъ, предполагать, что случайныя измѣненія при скрещиваніи ослабѣваютъ по обыкновенной формулѣ скрещиванія, то исчезаніе ихъ неминуемо и ясно, какъ день. Вѣдь скрещиваніе есть процессъ обоюдный, т. е. новая форма распространяется не иначе, какъ въ силу распространенія старой формы. Одно съ другимъ неразрывно связано; гдѣ половина и четверть новой крови, тамъ половина и три четверти старой, т. е. враждебной, противоположной крови.

И такъ, нужно имѣть въ виду обѣ стороны дѣла, нужно видѣть въ немъ борьбу двухъ формъ, стремящихся поглотить другъ друга, при чемъ каждая насколько поглощаетъ, настолько и сама поглощается. Тогда вопросъ, на чьей сторонѣ будетъ побѣда, рѣшается тотчасъ и безъ всякихъ колебаній. Для того, чтобы читатели имѣли ключъ къ вопросамъ этого рода, приведемъ изъ самого Дарвина правило, на которое ссылается Н. Я. Данилевскій.

„Если одна изъ смышляющихся породъ значительно превосходитъ численностью свою другую, то эта по-

слѣдняя вскорѣ исчезнетъ и будетъ вполне или почти вполне поглощена первою *)).

Выписавши это правило, Н. Я. Данилевскій говоритъ:

„И Дарвинъ еще къ этому прибавляетъ въ подстрочномъ примѣчаніи: „Dr. W. F. Edwards въ своихъ *Caractères physiologiques des Races Humaines*, p. 23, первый обратилъ вниманіе на этотъ предметъ и дѣльно разобралъ его“. Какъ будто для этого нужно какое либо специальное изслѣдованіе или доказательство! Вѣдь это можно считать за фізіологическую аксіому” **).

Изъ этой аксіомы слѣдуетъ, что нельзя говорить вообще, неопредѣленно, о пользѣ или о вредѣ скрещиванія для существованія породы; если эта порода преобладаетъ численно, то скрещиваніе ей полезно, а если она находится въ меньшинствѣ, то оно ей вредно. Слѣдовательно, если вообразимъ, что возникаетъ новая порода, то въ началѣ, когда она малочисленна, скрещиваніе ей вредно и можетъ ее уничтожить. Но, если, какимъ бы то ни было образомъ, число особей новой породы достигло половины, или перешло за половину всего числа особей, то скрещиваніе будетъ ей полезно и приведетъ ее къ полной побѣдѣ надъ старою породою. У Н. Я. Данилевскаго такъ и сказано на 126-ой страницѣ: *помощь отъ скрещиванія возможна только тогда, „если улучшенная разновидность составляетъ сколько-нибудь значительную долю общаго числа особей вида“*.

А такъ какъ всякія индивидуальныя измѣненія, которыя предполагаются дарвинистами, будутъ или единичныя, или очень малочисленныя, то скрещиваніе должно уничтожать ихъ вполне и безъ слѣда.

*) Прируч. живот. и возд. раст., т. 1. стр. 92.

**) *Дарвинизмъ*, ч. II, стр. 102.

Напрасно г. Тимирязевъ высчитывалъ свои десять тысячъ измѣнившихся недѣлимыхъ; вѣдь онъ же самъ замѣчаетъ, что въ то время, какъ одно недѣлимое дало столько потомковъ, столько же дало и каждое другое недѣлимое; что поэтому, если въ началѣ всѣхъ недѣлимыхъ было 10,000, то эти первоначальныя 10,000 возрасли до милліарда. „Отношеніе“, говоритъ г. Тимирязевъ, „осталось тоже, — эти десять тысячъ (*измѣненныхъ*) также тонутъ въ милліардъ, какъ и прежняя единица (*въ десяти тысячахъ*)“ (стр. 162) *). Слѣдовательно, выигрыша тутъ нѣтъ никакого, а есть проигрышъ, именно, вмѣсто первоначальнаго измѣненія будутъ большею частью только слѣды его, только четверть и восьмая доля крови. Значитъ, опасность уничтоженія скрещиваніемъ чрезвычайно возрасла.

Но и для дѣйствія подбора, очевидно, нѣтъ того выигрыша, который вообразился г. Тимирязеву. Конечно, вѣроятность отбора одной единицы изъ десяти тысячъ меньше, чѣмъ вѣроятность отбора десяти тысячъ изъ милліарда; тамъ одинъ случай, а тутъ десять тысячъ. Но откуда же возьмутся эти десять тысячъ? Вѣдь они существуютъ и могутъ существовать только у васъ на бумагѣ. Вѣдь вы тутъ дѣлаете разомъ два предположенія, прямо противорѣчащія одно другому; вѣдь у васъ дѣйствуетъ съ одной стороны размноженіе, а съ другой — подборъ, то есть постоянное истребленіе; именно, по вашему предположенію, изъ десяти недѣлимыхъ остается жить только одно; слѣдовательно, у васъ отборъ уравновѣшиваетъ размноженіе, такъ что число *всѣхъ* расте-

*) Вычисленія г. Тимирязева не очень точны и опредѣленны, но не дѣлаю никакихъ замѣчаній, — *примѣрно* ихъ принять можно.

ній постоянно остается то же, то есть 10,000. Спрашивается, какая же вѣроятность, что при такихъ обстоятельствахъ какое-нибудь недѣлимое въ продолженіи пяти поколѣній не потеряетъ ни единого своего потомка? Эта вѣроятность будетъ, конечно, что-нибудь въ родѣ единицы, раздѣленной на единицу съ нѣсколькими сотнями нулей. Хорошъ *широкій просторъ* для подбора! Самое большое, что можно допустить въ благопріятномъ случаѣ, — то, что изъ приплода измѣненной формы, или одного изъ ея потомковъ, останется въ живыхъ не одно, а три, четыре недѣлимыхъ.

Но самое странное въ этой усовершенствованной теоріи дарвинизма есть согласіе г. Тимирязева на *мозаичность*, на требованіе, которое такъ точно и остроумно вывелъ Н. Я. Данилевскій изъ началъ теоріи. Мозаичность значитъ, что измѣненія должны быть мелкія и другъ отъ друга независимыя. Обрадовавшись своимъ десяти тысячамъ потомковъ измѣненной формы, г. Тимирязевъ увѣряетъ, что тутъ подборъ можетъ выбрать любую степень крови. Но что значитъ подборъ выбралъ что-нибудь? Значитъ, что онъ безжалостно истребляетъ все остальное, то есть всѣ другія степени, а допускаетъ жить лишь эту одну. Слѣдовательно, вмѣсто *простора* является очень узкая задача; подборъ обязанъ отобрать *чистокровную породу* какъ разъ этой степени, а не другой.

Богъ знаетъ что такое! Всѣ эти предположенія, высказанныя въ общихъ, неопредѣленныхъ формахъ, расползаются въ стороны и не приводятъ ни къ какому ясному понятію. Развѣ можно предполагать, какъ всегдашній случай, такія крупныя измѣненія, что малая часть ихъ врови достаточна для подбора? Развѣ круп-

ныя измѣненія не уничтожаются всего быстрѣе и скрещиваніемъ и подборомъ? Развѣ, въ концѣ концовъ, все дѣло, какъ бы мы его ни поворачивали, не сводится къ мелкимъ и малочисленнымъ измѣненіямъ, которыя нужно укрѣпить въ ихъ чистомъ видѣ? А вѣдь эти измѣненія должны исчезнуть не только отъ повтореннаго, а даже, большею частью, отъ перваго скрещиванія.

Х.

Ограниченіе скрещиванія.

Но намъ еще нельзя прекратить анализъ мыслей г. Тимирязева. Укажемъ, во-первыхъ, на большое противорѣчіе. Если скрещиваніе такъ полезно, если оно составляетъ одну изъ двухъ составныхъ силъ, образующихъ новыя формы, если въ немъ, можно сказать, все спасеніе Дарвиновой теоріи отъ нападеній Данилевскаго, то спрашивается, зачѣмъ же его ограничивать? Не явный ли вредъ производятъ тѣ обстоятельства, которыя ему противодѣйствуютъ? Казалось бы такъ, а между тѣмъ г. Тимирязевъ очень много говоритъ о томъ, что скрещиваніе должно быть ограничено. Почему? — остается совершенно непонятнымъ.

Вопросъ о скрещиваніи поставленъ у Н. Я. Данилевскаго съ неподобною ясностію. Сущность искусственнаго *подбора* заключается въ устраненіи скрещиванія, въ томъ, что при самомъ началѣ образованія новой породы спариваются только недѣлимые, представляющія извѣстное измѣненіе. А такъ какъ въ природѣ скрещи-

ваніе вичѣмъ не ограничивается, то въ природѣ и нѣтъ ничего подобнаго подбору, и выраженіе *естественный подборъ* — ничего не значитъ, есть сочетаніе словъ, не представляющее смысла. Г. Тимирязевъ на страницѣ 163 отвергаетъ самыя опредѣленія Н. Я. Данилевскаго и утверждаетъ, что понятіе скрещиванія не имѣетъ никакого отношенія къ понятію естественнаго подбора, что этотъ подборъ просто — „переживаніе наиболѣе приспособленнаго“, какъ опредѣлилъ Спенсеръ. Но если такъ, то зачѣмъ же онъ называется *подборомъ*? Впрочемъ, о словахъ не слѣдуетъ спорить; нужно только помнить, что у г. Тимирязева *подборъ*, или, по его употребленію, *отборъ*, есть такое дѣйствіе борьбы за существованіе, которымъ просто лишь сохраняются наиболѣе приспособленныя недѣлимые, и что этотъ отборъ вовсе не заботится о чистокровномъ распложеніи и не имѣетъ никакой нужды о немъ заботиться. Напротивъ, скрещиваніе ведетъ только къ тому, какъ не разъ повторяетъ г. Тимирязевъ, что подбору открывается болѣе широкое поприще.

Кажется все ясно. Но, когда Данилевскій указываетъ на то, что скрещиваніе вѣдь поглощаетъ появившіяся измѣненія, то г. Тимирязевъ невольно пугается и начинаетъ говорить противъ себя, начинаетъ доказывать, что скрещиваніе въ самой природѣ встрѣчаетъ различныя, иногда необъяснимыя препятствія, и потому далеко не такъ опасно. Да по вашему вѣдь оно вовсе безопасно, даже въ высшей степени полезно; зачѣмъ же вы такъ старательно доказываете, что одна изъ вашихъ *составныхъ силъ въ образованіи органическихъ формъ* часто вовсе не дѣйствуетъ? Что нибудь одно: или нужно добиться чистокровнаго распложенія, или не нужно. Если

нужно, то въ природѣ оно не достигается, и, слѣдовательно, никакого *естественнаго подбора*, въ точномъ смыслѣ этого слова, вовсе не существуетъ. Если не нужно, то нечего бояться скрещиванія и доказывать, что оно въ природѣ иногда ограничивается.

Г. Тимирязевъ начинаетъ эти свои разсужденія съ того, что *полнаго устраненія скрещиванія не нужно*. „Въ крупномъ садоводствѣ истребляются, выпалываются только дурные экземпляры, сохраняются же всѣ болѣе или менѣе подходящіе“. „Въ отборѣ безсознательномъ скрещиваніе устраняется только косвенно, конечно въ очень несовершенной степени“, (стр. 157).

Какъ жаль, что г. Тимирязевъ не хотѣлъ хорошенько поучиться дѣлу по книгѣ Н. Я. Данилевскаго! Онъ бы увидѣлъ, что приведенные имъ случаи, очевидно, относятся только въ *концу* процесса, а не къ его *началу*. Когда новая форма *преобладаетъ въ числѣ*, тогда уже нѣтъ опасности отъ скрещиванія, тогда оно само ведетъ къ несомнѣнной побѣдѣ. Но когда форма только-что начинается, она быстро погибнетъ, если скрещиваніе не будетъ вполне устранено.

Затѣмъ г. Тимирязевъ указываетъ на то, что, при полной возможности и дѣйствительности скрещиванія, возникли однако человѣческія племена и постоянно возникаютъ у людей наслѣдственные особенности, напр. носъ Бурбоновъ, подбородокъ Габсбурговъ. На это возраженіе уже совершенно основательно отвѣчалъ г. Эльпе *). Мы прибавимъ только общее замѣчаніе. Н. Я. Данилевскій всю свою книгу посвятилъ на доказательство того, что въ органическомъ мірѣ дѣйствуетъ нѣкотораго рода мор-

*) *Новое Время*, 16 и 30 іюля 1887.

фологическій процессъ, что отъ этого таинственнаго процесса зависитъ все разнообразіе органическихъ формъ, а не отъ тѣхъ элементовъ, не отъ тѣхъ дѣйствій и обстоятельствъ, которыми объясняетъ это дѣло дарвинизмъ. Слѣдовательно, Данилевскій повсюду утверждаетъ одно: *недостаточность Дарвинова объясненія фактовъ*, а не отрицаетъ самые факты. Онъ говоритъ, напримѣръ, что скрещиваніе поглощаетъ различія. И г. Тимирязеву, и всякому извѣстно, что если человѣческія племена смѣшиваются, то они приводятся скрещиваніемъ къ одному уровню. Какое-же здѣсь можно видѣть возраженіе противъ Данилевскаго? Но вы говорите, что эти различныя племена когда-то вѣдь образовались, возникли. Отвѣчаю: конечно *какимъ-нибудь* образомъ возникли; но это возникновеніе есть вопросъ, сюда не относящійся. Какъ бы тамъ они ни возникли, изъ нашихъ опытовъ и разсужденій очевидно слѣдуетъ только то, что они *не могли возникнуть подборомъ при свободномъ скрещиваніи*.

Точно такъ и наслѣдственныя особенности, носъ Бурбоновъ и подбородокъ Габсбурговъ. Если, по какому-то загадочному дѣйствию морфологическаго процесса, этотъ носъ и этотъ подбородокъ передаются въ длинномъ ряду поколѣній, то это происходитъ во всякомъ случаѣ не въ силу подбора и не посредствомъ устраненія скрещиванія. Чтò и доказать надлежало, т. е. что и племена человѣческія, и семейныя особенности говорятъ противъ Дарвина, а не за него.

Такой же смыслъ имѣетъ и тотъ чрезвычайно важный фактъ, на который вслѣдъ за этимъ ссылается г. Тимирязевъ.

„Прибавимъ къ сказанному“, говоритъ онъ, „что однажды обнаружившіяся даже мелкія разновидности жи-

вотныхъ и растеній, хотя и могутъ, но не смѣшиваются. Негели считаетъ за правило, что естественныя разновидности, даже очень мало различающіяся, могутъ существовать совмѣстно, не скрещиваясь“. „Факты эти не могли не быть извѣстны Данилевскому, но онъ предпочитаетъ ссылаться на Негели только въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ ученый расходится съ Дарвиномъ“ (стр. 160).

И такъ г. Тимирязевъ полагаетъ, что въ настоящемъ случаѣ Негели сходится съ Дарвиномъ, нашелъ факты въ его пользу. Какъ странно! Самъ Негели говоритъ объ этомъ слѣдующее:

„Завлюченіе отъ (искусственнаго) образованія расъ къ (естественному) образованію разновидностей, составляющее основу (Grundlage) теоріи подбора, не можетъ быть допущено, такъ какъ это двѣ вещи различныя, и именно различаются по отношенію къ скрещиванію. Въ самомъ дѣлѣ, разновидности очень трудно смѣшиваются между собою и не принимаютъ чужой крови въ сколько нибудь значительномъ количествѣ, поэтому не измѣняются и вслѣдствіе представляющихся имъ случаевъ къ скрещиванію; съ этими ихъ свойствами строго согласуются и всѣ обстоятельства ихъ мѣстонахожденій“ *). И такъ Негели видитъ здѣсь возраженіе противъ самой основы дарвинизма. Онъ особенно подробно рассматриваетъ это возраженіе и заключаетъ такъ:

„Предположеніе Дарвина, что образованіе разновидностей происходитъ такъ же, какъ образованіе расъ, не даетъ никакого объясненія для многочисленныхъ и разнообразныхъ фактовъ, имѣющихъ мѣсто въ природѣ, и

*) *Mechan.-physiol. Theorie*, S. 289.

теорія естественнаго подбора не можетъ быть соглашена съ обстоятельствами мѣстонахожденія разновидностей“.

Надѣюсь, читателю ясно, почему Негели нашелъ такое противорѣчіе. Всякій законъ, всякое правило, если оно касается наслѣдственности, скрещиванія, плодovitости (словомъ дѣйствій нашего *стереотипа* въ типографіи природы) показываетъ намъ, что дѣло не зависитъ отъ борьбы за существованіе, а идетъ другимъ путемъ, никакъ не согласующимся съ предполагаемымъ путемъ подбора.

Вслѣдъ за приведенными словами, Негели дѣлаетъ заключеніе, достойное всего нашего вниманія.

„Конечно“, говоритъ онъ, „теоріи естественнаго подбора нельзя сдѣлать упрека, что она родилась въ кабинетѣ, но непременно слѣдуетъ сдѣлать упрекъ, что она основательно изслѣдовала только конюшню и голубятню, а на свободную природу, и именно на растительное царство, взглянула только съ птичьяго полета“ *).

Такой приговоръ мы находимъ несравненно болѣе основательнымъ, чѣмъ заключеніе г. Тимирязева, когда онъ, въ свою очередь, дѣлаетъ общую характеристику дарвинизма. Онъ говоритъ:

„Между тѣмъ какъ французскіе натуралисты, въ галлерейхъ Jardin des plantes, видѣли природу такою, какою она сложилась въ представленіи „великаго мастера“ Кювье,—два англичанина, Лайель и Дарвинъ, просто пошли въ природу и изобразили ее такою, какая она есть“ (стр. 189, 190).

Увы! какъ легко это сказать и какъ трудно сдѣлать! Тотъ, кто читаетъ эту статью, можетъ быть уже не разъ

*) Тамъ же, S. 310. § :

спрашивалъ: да гдѣ же природа? Почему вы не говорите о ея явленіяхъ *такъ, какъ они есть?* Потому, любезный читатель, что мы говоримъ о дарвинизмѣ, а дарвинизмъ главнымъ образомъ состоитъ не изъ фактовъ, а изъ словъ и предположеній; онъ есть *цѣлое болото голословныхъ утвержденій*, какъ выразился Агасизъ *). Этотъ жесткій отзвѣвъ, какъ немножко видно даже изъ предъидущаго нашего разбирательства, во всякомъ случаѣ вѣрнѣе, чѣмъ тотъ, что дарвинизмъ будто бы изобразилъ намъ природу какъ она есть.

XI.

Всегдашняя ошибка.

Теперь, какъ мы думаемъ, уже можно видѣть, въ чемъ состоитъ та постоянная ошибка, тотъ сгибъ или вывихъ мысли, который господствуетъ у дарвинистовъ, сбиваетъ ихъ съ правильнаго хода разсужденій и приводитъ къ ложнымъ выводамъ. Они, очевидно, увлекаются *общими, неопредѣленными положеніями*; они смѣшиваютъ дѣйствительность и возможность, необходимость и вѣроятность, не дѣлаютъ различія между началомъ и концомъ процесса, между подборомъ и борьбою за существованіе, и т. д. Можетъ быть, читатель замѣтилъ въ одной изъ выдержекъ изъ Негели его словцо объ *общихъ фразахъ* дарвинистовъ. Упрекъ, который тутъ скрывается, онъ въ другомъ мѣстѣ высказываетъ съ полной отчетливостію.

„Приверженцы теоріи подбора“, говоритъ онъ „во-

*) К. Е. von Baer. Zum Streit über den Darwinismus. Dorp. 1873 s. 5.

обще существенно облегчили себѣ свою задачу тѣмъ, что давали своей теоріи *слишкомъ неопредѣленное выраженіе*, а при развитіи ея пускались часто въ *еще менѣе опредѣленные приемы* и иногда даже вообще питали нерасположеніе къ точному изслѣдованію. Такимъ образомъ было возможно, не смотря на существованіе многихъ превосходныхъ частныхъ изслѣдованій, приводить *каждый имѣющійся на лицо составъ фактовъ въ согласіе съ теоріею* и выставять его въ видѣ ея подтвержденія, какъ бы сильно въ отдѣльномъ случаѣ факты ни противорѣчили строго логическимъ выводамъ“ *).

Этотъ общій отзывъ подтверждается потомъ у Негели частными разбирательствами и не разъ вновь повторяется. Напримѣръ:

„Эта теорія слишкомъ легко успокоивается на общемъ убѣжденіи, что выгодное непременно должно вытѣснить менѣе выгодное и чрезъ то повести къ подбору, не заботясь о томъ, чтобы *выяснить себѣ этотъ процессъ въ его частностяхъ*“ (стр. 311).

Тоже и въ слѣдующемъ мѣстѣ: „Дарвинъ также разбиралъ приведенный выше примѣръ жираффы, чтобы доказать на немъ возможность подбора. Но онъ повторяетъ только извѣстныя общія положенія, которыя, по моему мнѣнію, какъ скоро мы *вздумаемъ дать имъ конкретную и опредѣленную форму*, приводятъ къ невозможностямъ“ (стр. 313).

Съ этими сужденіями совершенно сходенъ отзывъ Н. Я. Данилевскаго, сдѣланный имъ послѣ старательнаго анализа многихъ частныхъ предположеній о возможности

*) C. v. Nägeli, Mechanisch-physiologische Theorie, S. 295.

перехода одной животной формы въ другую. Извиняясь передъ читателями за подробности, онъ говоритъ:

„Полагаю, что подробный разборъ частныхъ примѣровъ можетъ лучше выяснить, чѣмъ самое основательное изложеніе общихъ началъ и таковая же ихъ критика, — и методу Дарвинова мышленія, и ту ошибочность, и тѣ недостатки, которые въ ней открываются. Пока мы будемъ довольствоваться *общими формулами* неопредѣленной, постепенной и безграничной измѣнчивости, борьбы за существованіе и подбора, аналогическими рядами переходныхъ и промежуточныхъ формъ, и *общими изъ всего этого выводами*, путь происхожденія и образованія органическихъ формъ другъ отъ друга, предложенный Дарвиномъ, можетъ казаться удовлетворительнымъ; но, если мы постараемся въ игрѣ и взаимодействіи живыхъ представленій по возможности вѣрно, точно и подробно отразить игру и взаимодействие *многосложныхъ условій*, которыя должны бы происходить въ дѣйствительности на основаніи *этихъ общихъ принциповъ*, то мнимая обязательная сила этого ученія, какъ вообще, такъ и для каждаго даннаго случая, скоро исчезнетъ“ *).

Итакъ, бѣда и прелесть теоріи заключается въ *общихъ принципахъ* и *общихъ изъ нихъ выводахъ*, въ *неопредѣленности* формулъ и приемовъ. Бѣда именно въ томъ, что дарвинисты довольствуются общими положеніями, не заботясь о проведеніи ихъ по всѣмъ частностямъ и употребляютъ неопредѣленные приемы, не замѣчая ихъ неопредѣленности и не стараясь устранить ее.

Обыкновенное свойство человѣческаго ума таково, что онъ не чувствуетъ недостатка цѣльности и полноты

*) Дарвинизмъ, ч. II, стр. 72.

своихъ логическихъ построеній; но ни у кого это свойство такъ не развито, какъ у англичанъ. Почти всѣ англичане—эмпирики, признають силу и спасеніе только въ фактахъ и наблюденіяхъ; они чуждаются строгаго и отвлеченнаго мышленія и любятъ заниматься одними частностями. Но сила вещей беретъ свое, они не могутъ избѣжать обобщенія, и тогда эти низменные эмпирики, вопреки себѣ, становятся теоретиками, но теоретиками самаго жалкаго разряда. Англійскія ученія скептицизма, утилитаризма, меркантилизма и т. п. знамениты по всѣму свѣту своею узостію и односторонностію. Эмпирикъ не можетъ схватить вопроса въ его цѣлости и не догадывается самъ, откуда у него возникло какое-нибудь обобщеніе; вмѣсто того, онъ упорно ищетъ фактовъ для подтвержденія своей мысли, безъ конца занимается подборіемъ этихъ фактовъ и никакъ не можетъ уразумѣть, что какія бы груды онъ ихъ ни набралъ, они ничего не докажутъ, если не дають строгаго вывода и если не доказано ихъ значеніе для предмета, взятаго въ его цѣлости.

Дарвинъ, наримѣръ, говоритъ:

„Всякій, чей умственный складъ заставляетъ приписывать большее значеніе необъясненнымъ трудностямъ, чѣмъ объясненію извѣстнаго числа фактовъ, конечно, отвергнетъ мою теорію“.

Н. Я. Данилевскій, приводя эти слова, подвергаетъ ихъ строгой и справедливой критикѣ *). Въ самомъ дѣлѣ, они очень характерны. Повидимому, тутъ выразилась только скромность Дарвина, его добродушная терпимость къ другимъ и строгая оцѣнка своихъ собственныхъ тру-

*) *Дарвинизмъ*, ч. II, стр. 476.

довъ. Но тутъ, очевидно, высказалось еще и другое. Эмпирики тѣмъ и ужасны, что не сознаютъ сами, что они думаютъ и говорятъ. Съ дѣтскимъ простодушіемъ Дарвинъ тутъ говоритъ такъ, какъ будто точнаго мѣрила истины никакого нѣтъ, какъ будто все зависитъ отъ умственного склада (disposition). И, когда его теорія быстро распространилась и всюду имѣла огромный успѣхъ, то, вѣроятно, онъ только радовался, что нашлось такое множество людей, имѣющихъ сходный съ нимъ складъ ума. Но вѣдь истина не можетъ быть находима посредствомъ большинства голосовъ. И, если этотъ умственный складъ есть только недостатокъ строгаго мышленія, то очень понятно, что нашлось столько обладателей этого склада.

Необъясненныя трудности, говоритъ Дарвинъ. Подъ такимъ общимъ, неопредѣленнымъ выраженіемъ можетъ только скрываться настоящее положеніе вопроса. Если это факты, которые только не изслѣдованы, не разобраны въ отношеніи къ теоріи, то никто не имѣетъ права ставить ихъ ей въ упрекъ; но если это факты, противорѣчащіе теоріи, несогласные съ ея несомнѣнными требованіями, то всякій на основаніи ихъ долженъ ее отвергать. А у Дарвина выходитъ какъ-будто, что мы должны принимать или отвергать теорію, смотря по отношенію между числомъ объясненныхъ и числомъ необъясненныхъ фактовъ!

И всегда у Дарвина встрѣчаются подобныя уклончивыя выраженія, или же оговорки, отнимающія у рѣчи строгаго опредѣленный смыслъ *). Это своего рода точ-

*) Для доказательства, приведемъ то знаменитое мѣсто, которое Н. Я. Данилевскій, по мнѣнію г. Тимирязева, умыш-

ность и добросовѣстность, обнаруживающаяся и въ томъ, что Дарвинъ приводитъ возраженія, которыхъ не можетъ опровергнуть, или даже допускаетъ предположенія, несогласныя съ теоріею. Все это прекрасно объяснено въ книгѣ Н. Я. Данилевскаго. Но дарвинисты, разумѣется, и слышать объ этомъ не хотятъ, и то, что для

ленно скрываетъ отъ читателей, а г. Тимирязевъ тоже не приводитъ, ужь не знаемъ, умышленно или неумышленно.

„Нужно замѣтить, что въ приведенномъ выше примѣрѣ *„(находящемся уже въ первомъ изданіи)*, я говорю о сохраненіи быстрѣйшихъ недѣлимыхъ между волками, а не о томъ, что сохраняется какое-нибудь единичное рѣзкое измѣненіе. Въ предыдущихъ *(трехъ или четырехъ)* изданіяхъ этого сочиненія, я иногда говорилъ *(однакоже)* такъ, какъ если бы часто встрѣчалась сія послѣдняя альтернатива. Я видѣлъ *„(правда)* большую важность индивидуальныхъ различій, и это повело меня къ разсмотрѣнію результатовъ безсознательнаго подбора человекомъ, состоящаго въ сохраненіи всѣхъ болѣе или менѣе годныхъ недѣлимыхъ и въ истребленіи негодныхъ. Я видѣлъ *„(правда)* также, что сохраненіе въ природѣ какого-нибудь случайнаго уклоненія, подобнаго уродливости, будетъ рѣдкимъ случаемъ, и что, если-бы сначала оно сохранилось, то, вообще говоря, оно бы исчезло отъ послѣдующаго скрещиванія съ обыкновенными недѣлимыми. Тѣмъ не менѣе *„(nevertheless)*, пока я не прочиталъ прекрасной статьи въ Сѣверо-Британскомъ Обозрѣніи (1867), я въ точности не понималъ *(did not appreciate)*, какъ рѣдко могутъ сохраниться единичныя измѣненія, все равно слабыя или рѣзкія“ (Orig. of spec. ed. VI, p. 72).

Пусть читатель теперь судить, что это, переменна мнѣнія, или нѣтъ? Совершенно ясно, что Дарвинъ ссылается: 1) на своихъ быстрѣйшихъ волковъ, 2) на свой безсознательный подборъ, 3) на свое указаніе опасности отъ скрещиванія, только для того, чтобы всячески показать, что и прежде онъ допускалъ нѣчто другое, а не одно лишь *сохраненіе какого-*

самого Дарвина было вопросомъ или сомнѣніемъ, для нихъ непреложная истина *).

Приведемъ одинъ любопытный примѣръ изъ статьи г. Тимирязева. Онъ пишетъ:

„По мнѣнію Данилевскаго, допускать (какъ дѣлаетъ Дарвинъ), что новыя разновидности могутъ образоваться изъ *большаго числа особей, обладающихъ въ большей или меньшей степени даннымъ признакомъ, значитъ отказываться отъ основныхъ положеній теоріи*“.

„Это утвержденіе Данилевскаго не имѣетъ и тѣни основанія. Никакого противорѣчія съ основаніями теоріи, ничего невѣроятнаго, несогласнаго съ природой въ предположеніи Дарвина не существуетъ“.

И г. Тимирязевъ начинаетъ развивать уже извѣстную намъ картину скрещиванія, дающаго широкій просторъ подбору. Но прежде онъ считаетъ нужнымъ настоять на точномъ смыслѣ предположенія Дарвина и указываетъ, въ какой формѣ слѣдуетъ его принимать.

„Разумѣется“, прибавляетъ онъ, „въ той (приведенной

нибудь единичнаго рѣзкаго измѣненія. Не смотря на то, Дарвину приходится признаться въ большой перемѣнѣ взгляда. Именно, въ предъидущихъ изданіяхъ онъ говорилъ такъ, какъ будто это сохраненіе часто встрѣчается, а теперь онъ убѣдился, что оно бываетъ чрезвычайно рѣдко (т. е. просто говоря никогда). Если мы переведемъ на точный языкъ оговорок и смягченій: рѣдко, часто, иногда, вообще говоря, а главное, если вникнемъ въ значеніе этой перемѣны для сущности теоріи, то смыслъ получится самый ясный: Дарвинъ отступаетъ отъ одного начала и признаетъ другое, совершенно противоположное и уничтожающее всю теорію.

*) Понятное и обыкновенное отношеніе между учителемъ и учениками. Подобный упрекъ дарвинистамъ часто дѣлаетъ Негели, напр., стр. 6, 7, стр. 288, стр. 329 и пр.

курсивомъ) формѣ, какъ оно высказано Дарвиномъ. Для того, чтобы выказать нелѣпость, будто бы, этого предположенія Дарвина, Данилевскій утверждаетъ, что измѣненіе должно охватить $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{5}$, и даже $\frac{1}{2}$ всѣхъ представителей вида. Но ничего подобнаго Дарвинъ не „признаетъ необходимымъ“. Это только „честный“ полемическій приѣмъ его критика“ (стр. 176).

Теперь прошу вниманія читателя. Чтѣ сдѣлалъ Н. Я. Данилевскій? Онъ высчиталъ, въ какой пропорціи должны появиться измѣненныя недѣлимыя для того, чтобы побѣда могла остаться на ихъ сторонѣ. Дѣло идетъ о тѣхъ, уже бывшихъ на нашемъ разсмотрѣніи, случаяхъ, когда скрещиваніе уже не можетъ поглотить новой разновидности, а напротивъ, помогаетъ ей вытѣснить старую. А чтѣ дѣлаетъ г. Тимирязевъ? Онъ негодуетъ на этотъ расчетъ, называетъ его *безчестнымъ*, потому, будто бы, что Дарвинъ никакой подобной пропорціи не „признавалъ необходимою“. Но вѣдь нужно надѣяться, что арифметику признавалъ Дарвинъ, и, если онъ сдѣлалъ предположеніе, изъ котораго необходимо слѣдуетъ извѣстный расчетъ, то долженъ былъ признать и этотъ расчетъ. Нѣтъ, г. Тимирязеву очень нужна неопредѣленность, и онъ требуетъ, чтобы мы держались совершенно неопредѣленной формулы—*большаго числа особей, обладающихъ въ большей или меньшей степени даннымъ признакомъ*, и не смѣли бы прибавлять ни слова къ тому, чтѣ сказано Дарвиномъ.

Но тутъ г. Тимирязева постигла странная неудача. Вопреки всякому ожиданію, оказалось, что Дарвинъ самъ сдѣлалъ этотъ *безчестный* расчетъ, столь возмущающій г. Тимирязева. Черезъ страницу послѣ знаменитой 126-й

страницы приводятся у Н. Я. Данилевскаго слѣдующія слова Дарвина:

„Или *) только третья, пятая, десятая доля индивидуумовъ могла подвергнуться такому воздѣйствію, чему могли бы быть представлены многіе примѣры“. „Въ случаяхъ такого рода, если бы измѣненіе было благопріятнаго свойства,—коренная форма была бы скоро замѣщена посредствомъ переживанія приспособленнѣйшихъ“. (Orig. of species, VI ed. p. 72).

И Н. Я. Данилевскій въ скобкахъ замѣчаетъ: „Значитъ Дарвинъ идетъ въ своемъ требованіи также далеко, какъ и я“.

Вотъ какъ жестоко Дарвинъ измѣнилъ г. Тимирязеву! И тутъ нельзя жаловаться на коварство Н. Я. Данилевскаго; 128-я страница вѣдь ужъ не далеко отъ 126-й. Виновать! я и забылъ, что дѣло идетъ о разсужденіяхъ Дарвина, а не Данилевскаго.

Не ради погони за недосмотрами г. Тимирязева, а ради самого предмета, укажемъ, что въ тѣхъ же его строкахъ есть еще другое уклоненіе въ неопредѣленность. Н. Я. Данилевскій говоритъ, что предполагать большое число измѣняющихся особей значитъ *противорѣчить теоріи*; г. Тимирязевъ возражаетъ, что въ предположеніи большаго числа „никакого противорѣчія съ основаніями теоріи, ничего *несогласнаго съ природой* не существуетъ“. Тутъ смѣшаны, слиты въ одно двѣ разныя вещи. Именно то, что несогласно съ природой, можетъ ничуть не противорѣчить теоріи, и наоборотъ, то, что противорѣчитъ теоріи, можетъ быть вполне согласно съ природой. Такъ какъ рѣчь у насъ идетъ о теоріи, то

*) По недосмотру напечатано не *или*, а *если*.

природу нужно бы тщательно отличать отъ нея. Въ томъ все и дѣло, что разсмотрѣніе природы вынудило Дарвина сдѣлать предположеніе противное началамъ его теоріи.

Это противорѣчіе обстоятельно излагаетъ Н. Я. Данилевскій. Остановимся нѣсколько на этомъ изложеніи, столь важномъ для всего дѣла. Онъ повторяетъ свое утвержденіе, что всякое крупное, почти видовое измѣненіе было бы несогласно съ теоріей, не исполняло бы требованія *мозаичности*, которую она приписываетъ измѣненіямъ организмовъ. Если же предполагать, что пятая доля недѣлимыхъ какого-нибудь вида стала подвергаться не крупнымъ, а мелкимъ, но послѣдовательнымъ и накопляющимся измѣненіямъ, то, во-первыхъ, такое предположеніе будетъ неизмѣримо болѣе невѣроятно. Но еще важнѣе то, что въ такомъ предположеніи будетъ содержаться еще другое, самое существенное противорѣчіе теоріи, которое Н. Я. Данилевскій разъясняетъ слѣдующимъ образомъ:

„Но, вѣроятно ли это, или невѣроятно, во всякомъ случаѣ это будетъ уже результатомъ постоянно дѣйствующей опредѣленной причины, опредѣленныхъ внѣшнихъ вліяній, которымъ Дарвинъ придаетъ такъ мало значенія, или результатомъ чего либо другаго, но только это никакъ не было бы примѣромъ неопредѣленной измѣнчивости, а напротивъ, измѣнчивости въ строго опредѣленномъ направленіи. Если же это строго опредѣленное направленіе ведетъ въ выгодѣ и пользѣ существа, то значитъ, что эта выгода и польза были предопредѣлены, предустановлены—чѣмъ бы то ни было и какъ бы то ни было. Конечно, если бы это случилось лишь

„съ однѣми кайрами *), то этотъ случай можно бы было
„смѣло причислить къ ничего недоказывающимъ частно-
„стямъ, случайностямъ. Но, если бы такъ было со всѣми
„животными и растительными видами, — а иначе вѣдь и
„быть не могло, потому что случайныя выгодныя измѣ-
„ненія отдѣльныхъ индивидуумовъ ни къ чему бы не по-
„вели (какъ соглашается Дарвинъ съ Сѣверо-Британскимъ
„Обозрѣніемъ), — то, значить, и вся гармонія и цѣлесо-
„образность органической природы была бы predetermined-
„ленная и predetermined, и эта predeterminedность
„ничѣмъ бы не объяснялась и попрежнему стояла бы
„предъ естествоиспытателями и философами въ своей за-
„гадочной сфинксовой оболочкѣ. Предetermined, pred-
„etermined цѣлесообразность переносилась бы только
„съ одного мѣста на другое. Прежде ее видѣли прямо и
„непосредственно въ самихъ органическихъ существахъ,
„теперь же она переселилась бы въ устройство внѣш-
„ней среды, постоянно и разумно измѣняющейся въ про-
„странствѣ и времени; такъ, чтобы вліять на гибкую пла-
„стическую натуру организмовъ въ цѣлесообразномъ смы-
„слѣ и направленіи. Это была бы разумно и цѣлесообразно,
„въ виду predeterminedнаго результата, устроенная среда, ко-
„торая вела бы за собой внутреннюю и внѣшнюю гар-
„монію органическаго міра, и притомъ гармонію, осуществ-
„ляемую въ каждый моментъ и вмѣстѣ прогрессирую-
„щую. Чтò же это такое, какъ не та же теорія созда-
„нія, только раздѣленная на темпы?“

„Въ самомъ дѣлѣ, чтò такое созданіе, по крайней
„мѣрѣ въ глазахъ естествоиспытателей и философовъ, при-
„нимающихъ его? Вѣдь не оживленіе же, въ самомъ дѣлѣ,

*) Кайры — птицы, измѣненія которыхъ приводятся въ примѣръ Дар-
виномъ.

„вылѣпленныхъ изъ глины формъ растеній и животныхъ
„или вызываніе ихъ изъ нѣдръ земли, подобно воинамъ
„изъ зубовъ дракона, посѣянныхъ Кадмомъ? Что такое
„созданіе—никто не тщился даже опредѣлить, сознавая,
„что, употребляя это выраженіе, онъ выражаетъ тайну
„непостижимую. Одно свойство, однако, существенно не-
„обходимо лежитъ въ смыслѣ этого слова: то, что актъ
„созданія былъ проявленіемъ цѣлесообразной разумности;
„ее онъ предполагаетъ необходимо, но больше ничего не
„предполагаетъ. Но именно созданіе,—все равно цѣль-
„ное, или раздѣленное на темпы,—Дарвинъ и имѣлъ глав-
„нымъ образомъ въ виду устранить своею теоріею, замѣ-
„нивъ цѣлесообразную разумность незакономѣрною слу-
„чайностію отдѣльныхъ безчисленныхъ возникавшихъ
„измѣненій“ (ч. II, стр. 128, 129).

Вотъ ясная и опредѣленная рѣчь, съ которою всякій долженъ согласиться, какихъ бы онъ возрѣвій ни держался. Ибо это есть чистый анализъ; тутъ взяты извѣстныя понятія и сдѣланъ изъ нихъ правильный выводъ. Мы видимъ, что та цѣлесообразность, которая составляетъ для Дарвина точку исхода, никакъ не можетъ быть объяснена его теоріею, и что отказываясь отъ мысли, что эта цѣлесообразность дана или присуща самимъ организмамъ, мы только бываемъ принуждены переносить ее въ другія области, что вовсе не составляетъ объясненія.

XII.

Значеніе численности.

Мы могли бы, я полагаю, кончить эту статью, если бы дѣло шло только объ опроверженіи Дарвина и г. Тими-

ряева. Но, такъ какъ новыя черты могутъ еще болѣе уяснить дѣло, и такъ какъ для читателя удобнѣе имѣть болѣе полный взглядъ на весь споръ, то остановимся еще на нѣкоторыхъ пунктахъ.

Есть одно соображеніе въ пользу дарвинизма, которое, по своей кажущейся силѣ, увлекало иногда очень остроумныхъ и точныхъ людей. По обыкновенію, Н. Я. Данилевскій подвергъ его основательному анализу, и по обыкновенію, г. Тимирязевъ горячо возсталъ противъ яснѣйшаго дѣла, конечно, впрочемъ, по недосмотру.

Мы имѣемъ въ виду вопросъ о *значеніи численности*. Вотъ какъ излагаетъ Н. Я. Данилевскій разсужденіе объ этомъ дарвинистовъ:

„Не смотря на слабую численность (новой формы), „побѣда представляется возможною, если представить себѣ „дѣло происходящимъ непремѣнно такъ, что въ то время, „когда основная, неизмѣненная и предназначенная къ гибели форма *A* теряетъ нѣкоторую долю принадлежащихъ „къ ней особей, и когда уменьшеніе ея численности выражается нѣкоторою долею, нѣкоторою дробью ея численности, — выгодно измѣнившаяся форма *B* теряетъ „относительно меньшую долю своихъ особей, и уменьшеніе ея численности выражается другою дробью, которая, очевидно, будетъ меньше первой. Такимъ образомъ, не смотря на первоначальную малочисленность „формы *B*, она, въ концѣ концовъ, переживетъ форму „*A* черезъ болѣе или менѣе продолжительный срокъ, если „прогрессія размноженія ихъ останется одинаковою. Пусть, „напримѣръ, основная форма *A* заключаетъ въ себѣ 8,000 „особей, а форма, происшедшая отъ нея и выгодно измѣненная, *B* только 80; но *A* теряетъ отъ преслѣдованія „хищныхъ звѣрей, недостатка корма и другихъ случай-

„ностей, скажемъ (для бѣльшей рѣзкости примѣра) $\frac{9}{10}$ „своего числа, а форма *B* только $\frac{7}{8}$; тогда къ концу „года (или другаго періода) въ основной формѣ будетъ „800 особей, а въ формѣ *B*—10; если каждая изъ нихъ „въ тотъ же годъ удесятѣрится (приплодомъ молодыхъ), „то въ формѣ *A* старыхъ и молодыхъ будетъ тоже 8,000, „а въ формѣ *B* уже 100 вмѣсто 80; на другой годъ „численность формы *A* тоже не измѣнится, а въ формѣ „*B* возрастетъ до 123 и т. д. Очевидно, что послѣдняя, „наконецъ, превзойдетъ первую и замѣститъ ее собою“.

Вотъ соображеніе, которое приводятъ въ пользу своей теоріи дарвинисты. Укажемъ на Георга Зейдлица, который сдѣлалъ очень подробный расчетъ такого рода и составилъ даже алгебраическую формулу для вычисленія числа поколѣній, нужнаго для побѣды выгодно-измѣненной формы *).

Между тѣмъ, это соображеніе вовсе не имѣетъ той силы, которую на первый взглядъ ему можно приписать. Чтобы объяснить его безсиліе, Н. Я. Данилевскій придумалъ прекрасное сравненіе. Онъ говоритъ:

„Борьба этихъ 80 особей формы *B* какъ бы ведется „съ каждымъ изъ 100 отрядовъ равной силы основной „формы *A*. Если на каждомъ пятаыхъ, погибающихъ „среднимъ числомъ въ этой послѣдней, —погибнетъ только „четыре въ усовершенствованной формѣ *B*, то она имѣетъ „дѣйствительно очень много шансовъ побѣдить нѣкоторое „число этихъ состязающихся съ нею, равночисленныхъ „отрядовъ; но совершенно невѣроятно, чтобы она побѣ- „дила ихъ всѣ, или даже только большинство изъ нихъ.

*) *Georg Seidlitz, Beiträge zur Descendenz-Theorie. Leipz. 1876, S. 116—119.*

„Можетъ, и вообще должно, случиться, что которымъ
„нибудь изъ этихъ отрядовъ выпадетъ на долю, въ какой-
„либо изъ состязательныхъ стычекъ, счастливая случай-
„ность потерять гораздо меньше своихъ членовъ, чѣмъ
„нашему привилегированному отряду. Пусть онъ только
„разъ потеряетъ значительный процентъ своихъ членовъ,
„и пусть даже изъ его противниковъ будутъ иногда гиб-
„нуть цѣлые отряды: то все же, въ концѣ какаго-либо
„періода (не въ одинъ, такъ въ другой), прежнее отно-
„шеніе 1 : 100 окажется уменьшившимся, и въ немъ оста-
„нется только 40, 30 особей, или ничего не останется,
„когда численность основной формы все еще будетъ счи-
„таться цѣлыми тысячами“ (ч. II, стр. 17, 18).

Дѣло очевидное. Борьба за существованіе вѣдь есть
дѣло колеблющееся, непостоянное, и *переживаніе* не
есть какой-нибудь равномерный процессъ, а зависитъ
отъ игры случая. *Вообще говоря*, усовершенствованныя
недѣлимыя имѣютъ больше шансовъ на переживаніе, но
вѣдь и неусовершенствованныя имѣютъ свои шансы, и
когда первыхъ недѣлимыхъ мало, а вторыхъ много, то
преимущество въ игрѣ всегда и будетъ на сторонѣ вто-
рыхъ.

Г. Тимирязевъ смѣется надъ военными сравненіями
Н. Я. Данилевскаго; но лучше этихъ сравненій, въ ко-
торыхъ такъ наглядно изображаются не только число и
сила борющихся, но и ненадежный, колеблющійся исходъ
борьбы, придумать невозможно. Для простоты, Н. Я.
Данилевскій принимаетъ, что его отряды борются не съ
общимъ врагомъ, котораго, онъ впрочемъ указалъ (*пре-
слѣдованіе хищныхъ звѣрей, недостатокъ корма и другія
случайности*), а между собою. Но вѣдь, очевидно, ре-
зультаты тѣ же, такъ какъ дѣло идетъ только о про-

порціи выбывающихъ изъ строя. Только грубѣйшимъ недосмотромъ, полнымъ непониманіемъ приведенной аргументаціи, а главное—непобѣдимымъ презрѣніемъ къ Н. Я. Данилевскому со стороны г. Тимирязева можно объяснить слѣдующія слова послѣдняго:

„Уже изъ одного постояннаго сравненія съ арміями видно, что Данилевскій, *въ самомъ существенномъ мѣстѣ своей книги*, понимаетъ подъ борьбой только борьбу прямую, зубами, когтями, кулаками, гдѣ, очевидно, *сила должна находится въ обратномъ отношеніи къ числу*. Но всякому, кто прочелъ хоть жиденькую статейку о дарвинизмѣ, извѣстно“ и проч. (стр. 168).

Чрезвычайно странно вообразить себѣ, будто-бы Н. Я. Данилевскій даже не зналъ того, что *борьба* есть выраженіе метафорическое, употребляемое вмѣсто *избѣжанія отъ гибели*, будто-бы онъ представлялъ себѣ какія-то схватки между старою и новою формою организмовъ, и т. п. Но оставимъ эту борьбу съ непониманіемъ; мы желаемъ только обратить вниманіе читателей на то, что въ борьбѣ за существованіе, по мнѣнію г. Тимирязева, „численное превосходство не имѣетъ почти никакого значенія“ (стр. 168). Къ сожалѣнію, онъ не приводитъ совершенно никакихъ соображеній, изъ которыхъ можно бы было понять, почему численность не должна играть роли въ процессѣ борьбы. Онъ объясняетъ дѣло только примѣрами, которые намъ и придется разсмотрѣть.

„Совсѣмъ недавно одному англійскому натуралисту, „путемъ отбора въ теченіе нѣсколькихъ милліоновъ поколѣній,—взять былъ микроскопическій организмъ, поколѣніе котораго длится нѣсколько минутъ,—удалось получить разновидность этого организма, которая можетъ

„выживать при такихъ температурахъ, которыя абсолютно смертельны для первоначальной формы. Спрашивается, не все-ли равно для одного изъ этихъ новыхъ существъ, очутится-ли оно одно, или въ сообществѣ милліоновъ своихъ менѣе счастливыхъ соперниковъ, *когда его под-вернутъ* высокой температурѣ? Очевидно, въ какомъ бы отношеніи они ни были смѣшаны, высокая температура отмѣтитъ избранныхъ изъ среды милліоновъ гибнущихъ. Значитъ, *въ борьбѣ съ условіями*, которая гораздо важнѣе прямой борьбы съ врагами, *численное отношеніе ни при чемъ*“ (стр. 168).

Какой чудесный опытъ! И я живо представляю себѣ, съ какимъ мастерствомъ, съ какою тонкостію и точностію онъ производился. Вѣроятно, температура была возвышаема и очень медленно, и совершенно равномерно; вѣроятно, оставшимся въ живыхъ организмамъ давали время плодиться, свыкнуться съ новою температурою, и уже потомъ осторожно и равномерно нагрѣвали все расплодившееся племя. И вотъ какимъ образомъ опытъ и достигъ желаемой цѣли.

Все это прекрасно; но развѣ возможно представить себѣ что-нибудь подобное не въ кабинетѣ, не на столѣ микроскопа, а въ природѣ?

Вообразимъ себѣ нѣкоторое растеніе, водящееся въ неопредѣленномъ множествѣ въ своей области, и пусть одна изъ причинъ его гибели и, слѣдовательно, одинъ изъ поводовъ къ борьбѣ за существованіе, есть жаръ. Представимъ, что при извѣстной степени и продолжительности жара три четверти молодыхъ растеній этого вида погибаютъ, и пусть явится между ними въ маломъ числѣ племя болѣе крѣпкое, такое, которое при тѣхъ же обстоятельствахъ теряетъ только половину своего

приплода. Спрашивается, каковы шансы, чтобы эта новая форма совершенно вытѣснила старую?

Очевидно, если бы каждое лѣто жаръ достигалъ какъ разъ этой величины, не былъ бы ни больше, ни меньше, и притомъ господствовалъ всюду равномерно, то новая форма, въ какомъ бы маломъ количествѣ она ни была, съ каждымъ годомъ дѣлала бы шагъ къ успѣху и, наконецъ, вытѣснила бы старую. Но развѣ можно вообразить такой одинаковый и равномерный жаръ? Между тѣмъ, если лѣто будетъ менѣе жаркое, чѣмъ намъ нужно, то новая форма не будетъ имѣть никакого преимущества надъ старою и будетъ только расплываться въ ней вслѣдствіе скрещиванія; а если лѣто будетъ болѣе жаркое, чѣмъ намъ нужно, то новая форма можетъ потерять столько своихъ членовъ, что всѣ ея успѣхи пропадутъ. Правда, старая форма при этомъ пострадаетъ еще сильнѣе; но такъ какъ число ея членовъ безпредѣльно, то для нея это ничего не значитъ. Въ обширной ея области не вездѣ будетъ одинаковый зной, и тысячи различныхъ обстоятельствъ могутъ сохранить отдѣльныхъ недѣлимыхъ; между тѣмъ новая форма, находящаяся въ одномъ лишь мѣстѣ и въ ограниченномъ числѣ, можетъ даже вся погибнуть. Она вѣдь ничѣмъ не охраняется, ее вѣдь никто не бережетъ, какъ берегъ англійскій натуралистъ свой микроскопическій организмъ.

Н. Я. Данилевскій очень хорошо разъясняетъ этотъ вопросъ еще другимъ сравненіемъ, именно сравненіемъ съ игрою въ банкъ.

„Такъ точно“, говоритъ онъ, „понтёръ (допустимъ случай, обратный бывающему въ дѣйствительности), если бы даже имѣлъ болѣе шансовъ на выигрышъ, чѣмъ банкометъ, на примѣръ какъ 26 : 25, въ большинствѣ слу-

„чаевъ все-таки проигрался бы въ конецъ, если бы долженъ былъ ставить на карту разомъ все свое состояніе, или значительную долю его, напримѣръ треть или четверть, а соотвѣтствующій этому проигрышъ банкомета составлялъ бы только сотую, трехсотую, или четырехсотую часть заложенной имъ суммы. Много разъ продолжалась бы игра, банкометъ лишился бы многихъ своихъ ставокъ, но нѣсколько проигрышей понтеръ лишили бы его всего состоянія и тѣмъ окончили бы игру“. (Дарвинизмъ, ч. II, стр. 18).

Приведемъ, въ заключеніе, другой примѣръ г. Тимирязева, особенно поразительный неправильнымъ подведеніемъ разнородныхъ явленій подъ общую формулу.

„Еще одинъ примѣръ“, пишетъ г. Тимирязевъ, „на-дѣюсь, намъ окончательно выяснитъ несостоятельность воззрѣнія Данилевскаго о соотношеніи между степенью совершенства и числомъ конкурентовъ, изъ котораго онъ выводитъ свое заключеніе, что при естественномъ отборѣ малая польза—не польза. Дано учебное заведеніе, въ немъ десять вакансій, а конкурирующихъ сто человѣкъ. Вотъ настоящій примѣръ борьбы за существованіе въ смыслѣ Дарвина, а не въ смыслѣ анти-дарвинистовъ. Что же, эти десять счастливицевъ должны быть въ десять разъ умнѣе или образованнѣе остальныхъ девяноста? По Данилевскому выходитъ,—что такъ. А на дѣлѣ выходитъ совсѣмъ иначе. Десятаго отъ одиннадцатаго раз-личить порой $\frac{1}{20}$ балла. Видалъ ли кто-нибудь одну двадцатую балла? Что это: реальная величина, или фикція? А, однако, отъ этой величины можетъ зависѣть участь. Такъ и въ борьбѣ за существованіе: песчинка, говоритъ Дарвинъ,—можетъ склонить вѣсы природы“. „Представьте себѣ, что въ нашемъ учебномъ заведеніи была бы одна

„вакансія и тысяча конкурентовъ. Тогда пришлось бы „высчитывать, можетъ быть, сотыя и тысячныя доли „балла“. (стр. 169, 170).

Примѣръ очень ясный; но тѣмъ яснѣе видно, что вѣдь это примѣръ *искусственнаго подбора*, равно какъ и прежній примѣръ микроскопическаго организма. Разумѣется, въ конюшнѣ или на голубятнѣ, если я подбираю высокихъ лошадей, или голубей съ длиннымъ клювомъ, я могу придать значеніе и двадцатой долѣ вершка, или даже двадцатой долѣ линіи. Но вѣдь вопросъ въ томъ, бываетъ ли что-нибудь подобное въ природѣ? Кто же въ природѣ играетъ роль директора, кто тщательно высчитываетъ баллы, сохраняетъ подъ своимъ вровомъ имѣющаго наибольшій баллъ, а остальныхъ безпощадно гонить отъ дверей?

Представимъ себѣ, на примѣръ, сильнѣйшую конкуренцію изъ-за пищи. Пусть недостатокъ въ пищѣ таковъ, что изъ тысячи животныхъ какого-нибудь вида остается въ живыхъ только одно, и пусть родилось животное, которое *немножко, чуть-чуть* превосходитъ другихъ орудіями для добыванія пищи. Кто же рѣшится сказать, что именно это животное спасется отъ голодной смерти? *Песчинка можетъ склонить вѣсы природы*—есть обоюдоострое положеніе. Вслѣдствіе безчисленныхъ случайностей, не только всякаго другаго рода, а именно случайностей въ добываніи пищи, это животное можетъ погибнуть, а спасется другое, неимѣющее никакого превосходства надъ сотоварищами. Таковъ простѣйшій выводъ вѣроятностей, понятный каждому. Очевидно, для того, чтобы наше животное непременно осталось въ живыхъ, ему необходимо обладать *огромнымъ* превосходствомъ надъ другими, такимъ превосходствомъ, которое ставило бы его почти

въ совершенную независимость отъ случайностей въ добываніи пищи, гибельныхъ для другихъ. Или — другое предположеніе — очевидно, что еслибы превосходство было и малое, но еслибы съ этимъ превосходствомъ появилось не одно недѣлимое, а значительное число недѣлимыхъ, то, конечно, они погибали бы отъ голода въ меньшей пропорціи, чѣмъ обыкновенныя животныя того же вида.

Превосходство должно быть востолько больше, востолько меньше численность, и наоборотъ — вотъ теорема Н. Я. Данилевскаго (ч. II, стр. 18).

Таково значеніе численности въ борьбѣ новой формы со старою; этотъ важный пунктъ непоколебимо установленъ Н. Я. Данилевскимъ. Возражать тутъ нечего; мимоходомъ и не придавая важности дѣлу, замѣтимъ, что кажется, авторъ *Дарвинизма* первый высказалъ эти ясныя соображенія; мы видимъ, по крайней мѣрѣ, что о нихъ не имѣлъ никакого понятія, да и теперь ничего слышать не хочетъ такой знатокъ дѣла, какъ г. Тимирязевъ.

Напомнимъ, что слѣдуетъ изъ теоремы Н. Я. Данилевскаго. Изъ нея слѣдуетъ, что теорія Дарвина невозможна, ибо, предполагать измѣненія въ большомъ количествѣ недѣлимыхъ и все въ одномъ и тожъ же направленіи — значитъ совершенно отвергать ихъ *случайность*.

ХШ.

С л ѣ п а я п р и р о д а.

Ученіе Дарвина основывается на признаніи пользы каждой черты въ устройствѣ организмовъ: поэтому, съ легкой руки Дарвина, литература естественныхъ наукъ

опять наполнилась телеологическими разсужденіями, которыя когда-то такъ строго изъ нея изгонялись. Изгнаніе это было, однако же, дѣломъ очень основательнымъ, между прочимъ потому, что понятіе *пользы* есть нѣчто совершенно неопредѣленное. Старинные вопросы: *для чего мы живемъ? для чего существуетъ этотъ міръ?* справедливо считались очень трудными для разрѣшенія, потому что трудно сказать, о чемъ въ нихъ спрашивается. Такъ точно и на вопросъ, въ чему служитъ такой-то органъ, или такая-то черта его строенія, мы не знаемъ, гдѣ именно искать отвѣта, и потому, можемъ иногда отвѣчать на сто ладовъ и, однако, не сказать ничего толковаго. Вотъ отчего телеологическія разсужденія Дарвина и его послѣдователей производятъ обыкновенно впечатлѣніе смутнаго броженія мысли, не имѣющей никакого руководящаго правила. Вообще говоря, все можетъ быть и полезнымъ и вреднымъ, смотря по обстоятельствамъ, и на вопросъ о пользѣ дарвинисты отвѣчаютъ просто произвольнымъ придумываніемъ какихъ-нибудь подходящихъ для это условій. Такое упражненіе воображенія не имѣетъ въ себѣ ничего научнаго и не можетъ дать никакого яснаго, убѣдительнаго результата.

Дарвинисты думаютъ, правда, что ихъ польза имѣетъ нѣкоторую опредѣленность. Полезнымъ они называютъ лишь то, что даетъ преимущество въ борьбѣ за существованіе. Но, такъ какъ самая борьба за существованіе не имѣетъ ни опредѣленнаго поприща, ни опредѣленнаго орудія, то для дарвинистовъ, какъ и для прежнихъ телеологовъ, сфера полезнаго остается совершенно неограниченною. Единственный признакъ Дарвиновой полезности есть *спасеніе отъ гибели*; то полезно, что можетъ, въ какихъ-нибудь обстоятельствахъ, спасти отъ

смерти, и то вредно, что, въ какихъ-нибудь обстоятельствахъ, можетъ довести до смерти. Но, такъ какъ организмы суть существа, не только неизбежно подлежащія смерти, но и чрезвычайно хрупкія, то есть всегда могущія погибнуть, какъ только узкія условія ихъ жизни нарушены чѣмъ бы то ни было и какъ бы то ни было, то и для дарвинистовъ совершенно неизвѣстно, гдѣ именно искать полезнаго, и что именно признавать вреднымъ. Г. Тимирязевъ въ одномъ мѣстѣ высказываетъ эту неизвѣстность очень рѣшительно:

„И какъ мы можемъ“, говоритъ онъ, „опредѣлить „степень полезности признака въ природѣ? Если по результату, то вѣдь различіе между жизнью и смертью „безконечно, слѣдовательно и каждый признакъ, опредѣляющій кому жить, кому умереть, также безконечно „великъ *). Важенъ ли, напримѣръ, для душистаго горошка колеръ цвѣтовъ? А извѣстно, что одинъ колеръ „вытѣсняетъ другіе. Важенъ ли для картофеля розовый „цвѣтъ клубней, или еще какіе-то микроскопическіе кристаллики въ нѣкоторыхъ его клѣткахъ? А, однако, доказано, что съ этими обстоятельствами связана способность въ большей или меньшей степени противустоять „истребляющей его болѣзни“ (стр. 170).

Итакъ, судить о томъ, что полезно и вредно для организма, очень трудно. Дарвинисты и пользуются этою трудностію, чтобы имѣть полную свободу въ своихъ предположеніяхъ. Когда что-нибудь явно и несомнѣнно полезно

*) Кажется, проще и яснѣе будетъ сказать такъ: въ организмахъ жизнь отъ смерти отдѣляется одною чертою, слѣдовательно, и то, что полезно, можетъ одною чертою отдѣляться отъ того, что вредно; такимъ образомъ, огромное различіе вреда и пользы можетъ происходить отъ безконечно малаго различія въ самихъ организмахъ, или въ обстоятельствахъ, среди которыхъ они живутъ.

организму, то они съ торжествомъ толкуютъ эту пользу въ смыслѣ орудія въ борьбѣ организмовъ. Кромѣ того, они постоянно занимаются придумываніемъ гипотезъ, при которыхъ та или другая черта строенія можетъ быть полезною. Наконецъ, когда ни факты, ни гипотезы не помогаютъ, когда какія-нибудь черты строенія явно бесполезны или вредны борьбѣ за существованіе, они говорятъ: почему мы знаемъ? эти черты все-таки *когда-нибудь, какъ-нибудь и чѣмъ-нибудь* могли дать одному организму преимущество надъ другимъ.

Такимъ образомъ, на первый взглядъ, нѣтъ возможности справиться съ этими предположеніями. Между тѣмъ, если вникнемъ въ вопросъ, то увидимъ, что ихъ, хотя отчасти, можно уловить, что для нихъ существуютъ очень тѣсныя предѣлы, такъ что, въ силу этой тѣсноты, они становятся совершенно невѣроятными. Сдѣлаемъ два замѣчанія.

1) Если малыя вліянія достаточны, чтобы производить гибель организмовъ, то тѣ же самыя вліянія въ большихъ размѣрахъ, очевидно, должны быть губительны еще болѣе. Это относится къ внѣшней природѣ.

2) Обратнаго положенія нельзя сдѣлать. Если какая-нибудь черта строенія въ полномъ своемъ развитіи полезна организму, то не слѣдуетъ, что и въ малыхъ размѣрахъ, въ самомъ зачаткѣ, она способна приносить нѣкоторую пользу. Это относится къ органическому міру.

Не забудемъ, что вся теорія Дарвина основана на предположеніи мелкихъ измѣненій въ организмахъ. Если бы внѣшняя природа тоже постоянно ходила мелкими шажками, никогда не отступая назадъ и не забѣгая впередъ, то въ такой природѣ мелкія измѣненія организмовъ имѣли бы большое значеніе; организмъ, случайно подви-

нувшійся въ уровень съ природою, постоянно имѣлъ бы выгоду передъ всѣми, которые отстали. Но вѣдь внѣшняя природа не такова; если она губить, то губить часто ничего не разбирая, ни предъ чѣмъ не останавливаясь; если падить, — то падить точно также безъ всякаго разбора. Такимъ образомъ, преимущества однихъ организмовъ часто не составляютъ для нихъ пользы, и недостатки другихъ не идутъ имъ во вредъ.

Мы называемъ, поэтому, обыкновенно природу *слѣпою*, и приписываемъ ей слѣпоту именно въ отношеніи къ органическому міру, котораго она не видитъ и о которомъ ни мало не думаетъ заботиться. Солнце, говорятъ натуралисты, есть источникъ жизни, его лучами питается энергія животныхъ и растеній. Но солнце часто бываетъ и истребителемъ жизни; когда нѣтъ ему помѣхи, оно безжалостно и безпощадно уничтожаетъ все живое. По срединѣ земнаго шара, вслѣдствіе такого дѣйствія солнца, тянется огромный поясъ степей, гдѣ никакая жизнь, ничто органическое не можетъ существовать, а только изрѣдка бѣлѣютъ кости погибшихъ животныхъ.

Такъ и во всемъ другомъ. Одно и то же можетъ быть и полезнымъ и вреднымъ, и если есть мѣра этой пользы, то нѣтъ никакой мѣры этому вреду.

Если взять дѣло съ другой стороны, со стороны органическаго міра, то и тутъ очевидно, что мелкія и постепенныя измѣненія организмовъ не могутъ имѣть точнаго соотвѣтствія съ борьбою за существованіе. Крылья птицы есть, конечно, очень полезный органъ, дающій преимущество быстрого и свободнаго передвиженія; но для этого они должны быть вполне развиты, и все остальное тѣло должно быть приспособлено къ летанію. Зачатки же крыльевъ совершенно бесполезны въ этомъ

отношеніи, и даже, вообще говоря, вредны, какъ органъ, не могущій соперничать съ лапами, мѣсто которыхъ онъ занимаетъ, и ничѣмъ не вознаграждающій своего питанія. Точно такъ, и вполнѣ развитыя крылья будутъ бесполезны, если тѣло тяжело и гибко, если нѣтъ клюва на челюстяхъ, если ноги и пальцы коротки и т. д. Вообще, если дѣло въ гармоніи частей, если изумительная цѣлесообразность организмовъ (удивительнѣе Энеиды, говоритъ г. Тимирязевъ) состоитъ именно въ правильномъ содѣйствіи и разновѣсіи органовъ, то, очевидно, зачатки органовъ и неправильныя ихъ соотношенія не дадутъ этой гармоніи. Полезное устройство вѣдь одно, а отступленій отъ него безчисленное множество, и всѣ они будутъ бесполезны или вредны. И такъ, если представимъ себѣ постепенное и медленное образованіе организмовъ, то изъ самаго понятія совершенной гармоніи слѣдуетъ, что они, прежде чѣмъ ея достигли, должны были проходить множество степеней негармоническихъ, то есть бесполезныхъ или вредныхъ въ смыслѣ борьбы за существованіе.

Эти степени, однакоже, имѣютъ, огромное значеніе. Они сами не гармоничны, но, такъ какъ они ведутъ къ гармоніи, то, съ этой стороны, мы должны, конечно, признать ихъ прекрасными и полезными; только со стороны борьбы за существованіе, то есть съ точки зрѣнія дарвинистовъ, они должны считаться негодными и вредными. Если теперь, оставивъ гипотезы, мы взглянемъ на подлежащія прямому наблюденію свойства и порядокъ органическаго міра, то должны будемъ примѣнить къ нему эту двоякую точку зрѣнія. Одни организмы мы называемъ высшими, другіе низшими; одни признаемъ болѣе совершенными, болѣе гармоническими, другіе менѣе;

если бы природа держалась только борьбы за существованіе, то высшіе организмы давно должны бы были вытѣснить всѣ низшіе. Но такой прямолинейности, такой механической стѣсненности нѣтъ въ природѣ. Мы находимъ тысячи существъ слабыхъ, одностороннихъ, которыя по своему строенію очень мало годны въ борьбѣ за существованіе. Конечно, если они существуютъ, то значить выдерживаютъ нужную для этого борьбу; но этимъ самымъ доказывается, что борьба эта часто имѣетъ очень слабое напряженіе, что въ природѣ существуетъ, такъ сказать, большой просторъ, и что въ этомъ просторѣ она можетъ дѣйствовать свободно, сохраняя и создавая всякія формы, независимо отъ борьбы. Она можетъ создавать и сохранять черты строенія бесполезныя или вредныя для сколько нибудь напряженной борьбы, можетъ давать своимъ существамъ и больше того, чѣмъ требуется для борьбы даже въ высшей степени ея напряженія. Такимъ образомъ, всѣ эти существа, неподходящіе подъ формулу Дарвиновой пользы, для насъ важны и, можно сказать, всѣ прекрасны, потому что это живыя свидѣтельства нѣкотораго высшаго закона, дѣйствующаго въ организмахъ. Какъ грѣхъ и зло въ человѣческомъ мірѣ есть обнаруженіе свободы воли, отличающей человѣка, и потому человѣкъ не только есть прекраснѣйшее существо, но бываетъ и самымъ гнуснымъ и негоднымъ изъ всѣхъ существъ, такъ и природа въ своихъ созданіяхъ показываетъ намъ, что она имѣетъ силу подыматься выше, или опускаться ниже уровня простой надобности.

Изслѣдованіе природы *въ этомъ направленіи* имѣетъ для насъ глубочайшій интересъ, но существуетъ только въ зачаткахъ. Уоллесъ, знаменитый совмѣстникъ Дарвина, конечно, совершенно правъ, доказывая, что первобытные

люди получили отъ природы мозгъ, очевидно далеко превосходящій ихъ потребности въ разсужденіи борьбы за существованіе. Это замѣчаніе слѣдуетъ распространить на весь органическій міръ. Нѣтъ сомнѣнія, что, если бы свойства организмовъ отъ начала опредѣлялись одною борьбою за существованіе, то организмы навсегда остались бы на той первой ступени, на которой ихъ засталъ этотъ законъ борьбы. Н. И. Данилевскій, въ числѣ доказательствъ того же свободнаго дѣйствія природы, привелъ и подробно разъяснилъ превосходный примѣръ плавательнаго пузыря; этотъ органъ не имѣетъ никакой опредѣленной, или даже вовсе никакой роли въ борьбѣ за существованіе, но возникаетъ и существуетъ лишь въ смыслѣ зачатка органа воздушнаго дыханія, легкихъ, т. е. главное его значеніе не въ настоящемъ, а въ будущемъ.

Вотъ общая постановка всего вопроса о пользѣ. Мертвая природа не знаетъ той постепенности, которая нужна для дарвинистовъ, а живая природа и не могла бы развиваться, если бы должна была сообразоваться съ такою постепенностью мертвой природы. Намъ пришлось остановиться на этихъ общихъ положеніяхъ, чтобы яснѣе видно было, какой странный смыслъ имѣютъ возраженія г. Тимирязева. Съ величайшей наивностью онъ на множество ладовъ повторяетъ мысль, что природа представляется намъ гораздо совершеннѣе, если признаемъ, что въ ней все дѣлается такъ, какъ нужно по Дарвину, а не такъ, какъ дѣлается на самомъ дѣлѣ.

„Органическій міръ“, говоритъ съ непонятнымъ восхищеніемъ г. Тимирязевъ, „управляется желѣзнымъ закономъ необходимости; все бесполезное и вредное заранѣе обречено на смерть. Отсюда, тамъ, гдѣ Данилевскій съ

какимъ-то злорадствомъ выискиваетъ недостатки и промахи природы, дарвинизмъ ищетъ, а главное находитъ все новыя и новыя ея совершенства“ (стр. 202).

Г. Тимирязевъ идетъ еще далѣе, и утверждаетъ, что, если не признавать Дарвиновскаго порядка, то нельзя уже найти никакого смысла въ природѣ.

„Для Данилевскаго“, пишетъ онъ, „органическій міръ полонъ бессмыслицы и зла, и для этой бессмыслицы и зла нѣтъ объясненія“ (стр. 202).

И вотъ чѣмъ это доказывается:

„Если не достоинства организмовъ, хотя бы малыя, рѣшаютъ ихъ участь, то, очевидно, она должна рѣшаться зря“ (стр. 201).

„Отрицая дѣйствіе слабыхъ причинъ, Данилевскій самъ вноситъ элементъ случайности въ его противномъ логикѣ смыслѣ, то есть въ смыслѣ безпричинности явленій. Если изъ тысячъ и милліоновъ существъ выживаютъ только десятки или сотни, то гдѣ же причина, сохраняющая ихъ отъ гибели? Вѣдь фактъ остается фактомъ. Не желая допустить, что онъ является результатомъ дѣйствія малыхъ причинъ, Данилевскій вынужденъ допустить, что онъ происходитъ вовсе безъ причинъ“ (стр. 170).

Тутъ мы видимъ новый примѣръ увлеченія общими фразами, увлеченія, при которомъ забывается даже истинное значеніе словъ. Причины, о которыхъ спрашиваетъ г. Тимирязевъ, существуютъ, и совершенно достаточныя. Одинъ организмъ погибъ оттого, что находился въ извѣстное время въ извѣстномъ мѣстѣ, а другой спасся потому, что въ это время былъ въ другомъ мѣстѣ, или былъ на этомъ мѣстѣ въ другое время. Общая причина, слѣдовательно, та, что организмы суть существа пространственныя и временныя. Объ этомъ за-

былъ упомянуть Н. Я. Данилевскій, конечно вовсе не-ожидавшій иныхъ возраженій.

До какого фанатизма дошелъ г. Тимирязевъ въ своемъ исповѣданіи Дарвиновской пользы, читатель увидитъ изъ слѣдующаго мѣста. Дарвинъ рассказываетъ, что нѣкоторый лордъ Риверсъ имѣлъ превосходныхъ борзыхъ и на вопросъ, какъ онъ этого достигаетъ, отвѣчалъ: я очень много развожу и очень много вѣшаю. Н. Я. Данилевскій нашелъ нужнымъ пояснить дѣло и замѣчаетъ, что лордъ „конечно вѣшалъ не зря“, а съ строгимъ выборомъ, отъ котораго и зависѣлъ успѣхъ операціи. Но ничего подобнаго этому выбору нельзя предполагать въ природѣ. Поэтому Н. Я. Данилевскій и пишетъ: „А въ природѣ, *если также много вѣшается*, то зря, и, во всякомъ случаѣ, тутъ никто не заботится, чтобы вѣшаніе происходило ранѣе, чѣмъ выродки (т. е. *негодные экземпляры*) успѣютъ еще разъ, или даже нѣсколько разъ скреститься, объ чемъ, безъ сомнѣнія, лордъ Риверсъ еще болѣе заботился, чѣмъ о самомъ вѣшаніи“ (*Дарвинизмъ*, ч. II, стр. 108).

Какъ видитъ читатель, тутъ искусственный подборъ противопоставляется естественному порядку, и противопоставленіе сдѣлано совершенно точно и опредѣленно. Чтò же возражаетъ г. Тимирязевъ? Онъ находитъ, что, если такъ, то „природа является у Данилевскаго не только безсмысленною, но и безсмысленно жестокою“. Потомъ г. Тимирязевъ приходитъ даже въ чрезвычайное воодушевленіе и восклицаетъ:

„Способность вѣшать зря, какъ атрибутъ Міроваго Разума!... Чтò же это такое,—циническое кощунство, или только запальчивое недомысліе?“ (стр. 201).

Запальчивое недомысліе! Какое прекрасное выраженіе

для иныхъ горячихъ разсужденій! Но къ Н. Я. Данилевскому оно ужъ никакъ не прилагается. Онъ, въ настоящемъ случаѣ, очевидно, говоритъ дѣло, тогда какъ г. Тимирязевъ, вступаясь за природу, за Міровой Разумъ, позволяетъ себѣ отвергать очевиднѣйшія вещи.

Въ самомъ дѣлѣ, еслибы въ мертвой природѣ случилось обстоятельство, которое истребляло бы собакъ въ такомъ же множествѣ, какъ жестокій лордъ Риверсъ, то совершенно ясно, что это истребленіе совершалось бы зря, безъ того тонкаго разбора, который дѣлалъ лордъ. Разница здѣсь такая, что у лорда, чѣмъ больше вѣшалось собакъ, тѣмъ строже происходилъ подборъ; у природы же, наоборотъ, чѣмъ больше она истребляетъ, тѣмъ меньше дѣлаетъ выбора, тѣмъ меньше имѣютъ значенія малыя различія между достоинствами собакъ. Слепая природа могла бы даже истребить всѣхъ собакъ безъ разбора, такъ какъ передъ ея силами ничтожны всякія различія организмовъ.

Таковъ законъ Міроваго Разума, т. е. таково свойство живой природы и таково ея отношеніе къ мертвой. Нужно думать, что такъ этому и слѣдуетъ быть, что есть нѣкоторая высшая точка зрѣнія, съ которой видно, почему силы внѣшней природы не должны никогда отступать отъ своего дѣйствія, а органическая природа неизбежно должна представлять существа преходящія и хрупкія. Мы не будемъ вдаваться въ эту телеологию, а замѣтимъ только, что дарвинисты въ своей псевдотелелогіи стремятся соединить двѣ вещи, очевидно, непримиримыя: они хотятъ причины явленій приписывать лишь слѣпой природѣ, но въ то же время хотятъ видѣть въ ней такой способъ дѣйствія, по которому она вполне заслуживала бы названія Міроваго Разума. По ихъ мнѣнію, орга-

низмы суть лишь неопредѣленно измѣнчивыя, пластическія существа, формы и свойства которыхъ вполне зависятъ отъ тѣхъ случайныхъ впадинъ и выпуклостей, которыя представляетъ окружающая ихъ природа. Но если такъ, то этой внѣшней природѣ необходимо будетъ приписать величайшую цѣлесообразность въ ея дѣйствіяхъ на организмы. Весь споръ собственно къ этому и сводится: гдѣ слѣдуетъ искать цѣлесообразности, въ организмахъ, или внѣ ихъ? Н. Я. Данилевскій и всѣ противники Дарвина утверждаютъ, что въ организмахъ, а дарвинисты, — что въ обстоятельствахъ внѣшнихъ для организмовъ. Но стоитъ лишь вникнуть въ то, какъ должны для этого располагаться эти обстоятельства, чтобы увидѣть, что такое расположеніе, хотя и возможно, но безусловно невѣроятно. Возьмите что хотите, длинную шею жираффы, гремушку гремучей змѣи, устройство пчелинаго сота и т. п.; для того, чтобы внѣшнія обстоятельства опредѣлили собою образованіе подобныхъ явленій, необходимо, чтобы эти обстоятельства дѣйствовали: 1) отъ самаго начала, 2) малыми шагами, 3) все по одному направленію, то есть: по пути къ цѣли. Слѣдовательно, ту самую цѣлесообразность, которую анти-дарвинисты приписываютъ организмамъ, по неволѣ приходится приписать внѣшней природѣ. Между тѣмъ, предположеніе этой цѣлесообразности въ слѣпой природѣ точно также невѣроятно, какъ и предположеніе, что Энеида составила изъ буквъ, раскинутыхъ наудачу.

XIV.

З а к л ю ч е н і е.

Мнѣ кажется, я взялъ все существенное въ статьѣ г. Тимирязева и довелъ дѣло до конца, то есть показалъ, что всегдашняя ошибка дарвинистовъ состоитъ въ общихъ положеніяхъ, въ которыхъ не видно различія между дѣйствительностію и возможностью, между малою вѣроятностію и полной достовѣрностію. Мнѣ нужно отдать справедливость г. Тимирязеву, что онъ и въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, совершенно вѣренъ духу дарвинизма. Говорю это не шутя, потому что, этимъ я былъ совершенно избавленъ отъ необходимости вступать въ какія нибудь объясненія насчетъ самаго ученія Дарвина. Бѣльшею частію, это ученіе такъ спутывается у его исповѣдниковъ съ другими, инородными понятіями, что никакой разговоръ съ этими псевдодарвинистами не возможенъ, ибо они защищаютъ то, что имъ вовсе не нужно, и отказываются отъ того, за что имъ слѣдуетъ крѣпко стоять. Но г. Тимирязевъ есть чистый дарвинистъ, и, если читатели удостоятъ вниманія нашъ споръ, они могутъ быть увѣрены, что, какъ бы мы оба въ ихъ глазахъ ни были плохи, но мы не сбились съ коленъ, что дѣло у насъ идетъ именно о той мудрости, которая именуется дарвинизмомъ.

Разсужденія о прогрессѣ, о побѣдѣ умственныхъ силъ, я оставляю безъ замѣчаній, какъ и многія другія мѣста статьи, вызывавшія у меня охоту возражать (особенно если дѣло касалось Н. Я. Данилевскаго). У г. Тимирязева, видимо, было большое желаніе пуститься въ область философіи, даже поэзіи, и поговорить о развитіи чело-

вѣчества, не смотря на то, что книга Н. Я. Данилевскаго, по задачѣ, приѣмамъ и главному своему составу, есть сочиненіе естественно-историческое. Немногія страницы введенія и заключенія, касающіяся философскихъ вопросовъ, составляютъ лишь очень незначительную надстройку надъ цѣлымъ зданіемъ книги. Но г. Тимирязевъ хотѣлъ, очевидно, лучше разъяснить слушателямъ философскую сторону ученія Дарвина. Подобной охоты у меня вовсе нѣтъ. Прежде всего, зачѣмъ смѣшивать два дѣла? Меня приводитъ въ страхъ и огорченіе всякая путаница. Имѣя подъ ногами такую твердую почву, какъ естественныя науки, не разумнѣе ли будетъ, прежде всего, прочно установить вопросъ на этой почвѣ? Такъ и поступилъ Н. Я. Данилевскій, съ полной ясностью разграничившій въ своей книгѣ работу натуралиста отъ соображеній всякаго другаго рода.

Итакъ, не будемъ философствовать. Я все боюсь, что передъ свѣтомъ истинно-философской мысли, такія метафизическія разсужденія, въ какія иногда пускаются Гельмгольцъ, Дюбуа-Реймонъ, Негели и другіе натуралисты, или даже такія философскія ученія, какъ Конта, Спенсера и подобныхъ философовъ, могутъ вдругъ оказаться чрезвычайно слабыми и уродливыми произведеніями человѣческаго ума. Между тѣмъ, хорошо обработанные и установленные результаты любой изъ естественныхъ наукъ никогда не могутъ совершенно потерять своей цѣны. Будемъ же ихъ держаться, прежде чѣмъ отваживаться на трудные пути въ области философіи.

Ограничусь, поэтому, только однимъ замѣчаніемъ. Н. Я. Данилевскій очень краснорѣчиво выразилъ мысль, что міръ природы и міръ человѣка должны намъ пред-

ставляться мизерными и жалкими до отвращенія, если все, что ни есть въ нихъ разумнаго и хорошаго, есть лишь „частный случай безсмысленнаго и нелѣпаго“. „Подборъ“, говоритъ онъ, — „это печать безсмысленности и абсурда, напечатлѣнная на челѣ мірозданія, ибо это — замѣна разума случайностію“ (ч. II, стр. 529).

Г. Тимирязевъ возражаетъ противъ законности этого отвращенія, возбуждаемаго Дарвиновскимъ міросозерцаніемъ. Онъ указываетъ на другую сторону теоріи, на то, что въ ней „совершенство организмовъ покупается лишь цѣною ихъ истребленія“, и слѣдовательно, „смерть есть регуляторъ міровой гармоніи“. А такъ какъ смерть ужасна, то, по мнѣнію г. Тимирязева, дарвинизмъ возбуждаетъ не отвращеніе, а другое чувство, — печаль или ужасъ. Поэтому, „быть можетъ мы и за дарвинизмомъ“, говоритъ онъ, „признаемъ долю поэзіи, величаво-мрачной, во вкусъ Аккерманъ“ (стр. 203).

Величаво-мрачной? Трудно согласиться, что подобное названіе вполне точно выражаетъ свойство поэзіи г-жи Аккерманъ. Но, конечно, въ этой поэзіи столько тоски и боли, что она совершенно идетъ къ дарвинизму. Бѣдная поэтесса! Ученіе, которое такъ тебя мучило, вырывало у тебя такіе стоны, это самое ученіе теперь ссылагается на твои стихи, какъ на доказательство, что оно можетъ быть очень поэтично! Съ видимымъ увлеченіемъ и удовольствіемъ, г. Тимирязевъ, говоря его собственными выраженіями, „быстро скользнулъ по зыбкой почвѣ міровой элегіи“ (тамъ же).

Итакъ, во всякомъ случаѣ, дарвинизмъ, по его мнѣнію, мраченъ и наводитъ тоску, хотя и не отвращеніе. Нельзя ли, однако же, помирить эти двѣ точки зрѣнія? Конечно, отвращеніе несовмѣстно съ ужасомъ; но можно

сказать, что дарвинизмъ вмѣстѣ и отвратителенъ и ужасенъ, смотря по тому, съ какой стороны мы на него посмотримъ, что иногда онъ можетъ возбудить такое отвращеніе, которое заглушаетъ самый его ужасъ, а иногда такой ужасъ, который подавляетъ его отвратительность. Н. Я. Данилевскій мало былъ расположенъ къ ужасу; для его бодрой души имѣли больше значенія красота и безобразіе явленій, почему онъ и нашелъ дарвинизмъ отвратительнымъ.

Прибавлю еще нѣсколько словъ. Во всѣхъ пріемахъ г. Тимирязева отражаются недостатки, господствующіе нынѣ въ естественныхъ наукахъ. Онъ такъ привыкъ къ неяснымъ обобщеніямъ, къ неопредѣленнымъ, шаткимъ соображеніямъ, что и самъ даетъ себѣ полную волю строить подобныя-же обобщенія и соображенія. А когда довелось ему читать книгу точную, строгую, гдѣ все связано и продумано до конца, онъ не въ состояніи оцѣнить этой точности и строгости и заранѣе не признаетъ ихъ, все думаетъ, что передъ его глазами такія же шаткія разсужденія, какъ его собственныя. Дарвинъ, въ этомъ отношеніи, конечно, принесъ не мало вреда натуралистамъ, и нельзя не желать, чтобы прошла, наконецъ, эта легкость въ обращеніи съ предметомъ, и чтобы получили силу чисто научныя, то есть ясныя и отчетливыя пріемы.

Относительно книги Н. Я. Данилевскаго, замѣчу еще, что она есть, очевидно, трудъ уединеннаго ученаго и мыслителя, почему такъ легко и вызываетъ къ себѣ недовѣріе. Русскія книги вообще подозрительны; въ этомъ отношеніи я согласенъ съ г. Тимирязевымъ, остерегаю-

щимся того, что онъ, по ученому, назвалъ „явленіями мѣстнаго и этнографическаго свойства“. Но я не думаю, чтобы и русскіе профессора не возбуждали къ себѣ нѣкоторой подозрительности. Наша патентованная наука и наша присяжная литература еще очень слабы и необширны, такъ что едва ли онѣ могутъ вполне выражать собою движеніе русской мысли и учености. Вдали отъ столицъ, въ уединеніи деревни или глухаго города, встрѣчаются у насъ люди, которые гораздо серьезнѣе мыслятъ, гораздо усерднѣе и глубже изучаютъ любимый предметъ, чѣмъ иные ученые или писатели, стоящіе у всѣхъ на виду и считающіеся представителями науки и литературы. Не разъ мнѣ приводилось удивляться и радоваться встрѣчѣ съ такими уединенными людьми, и часто, когда слишкомъ больно бываетъ видѣть мелкость и слабость нашей печати и нашихъ ученыхъ силъ, я утѣшаю себя мыслью объ этихъ неизвѣстныхъ свѣтилахъ, которыя большею частію и не хотятъ выходить изъ своей неизвѣстности. Когда пишу что-нибудь, то больше всего желалъ бы заслужить именно ихъ одобреніе; я знаю, какой строгій судъ они держатъ надъ произведеніями текущей литературы, и только удивляюсь развязности многихъ пишущихъ, обыкновенно и неподозрѣвающихъ существованія этого суда. Темна наша Русь, но знаніе и мысль прививаются на доброй почвѣ, и мнѣ представляется, что наше огромное темное пространство все усыяно свѣтлыми точками.

Н. Я. Данилевскій былъ для меня, какъ и для всѣхъ его знавшихъ, звѣздою первой величины. Нынѣшнимъ лѣтомъ я опять навѣстилъ его могилу, ходилъ по тому огромному саду, гдѣ напоминаетъ его каждая дорожка, каждый кустъ, опять разбиралъ его книги и рукописи

въ той комнатѣ, гдѣ онъ всегда работалъ и гдѣ шесть лѣтъ писалъ свою послѣднюю книгу, и опять отдавался воспоминаніямъ о немъ и слушалъ рассказы близкихъ къ нему людей. Странное и тяжелое чувство все больше и больше овладѣвало мною. Мнѣ казалось, что какой-то широкій и сильный потокъ уноситъ мимо меня всѣ мысли, дѣла, чувства, писанія, планы, желанія, все, что составляло жизнь этого дорогаго мнѣ человѣка, а я тороплюсь и стараюсь все это схватить и спасти отъ потока. Напрасно! На моихъ глазахъ множество вещей уносится и навсегда поглощается волнами, и послѣ многихъ дней я вижу въ своихъ рукахъ только какіе-то жалкіе обрывки. Невозможно и думать возстановить по нимъ весь этотъ свѣтлый образъ, который, однако же, съ такою яркостію возникаетъ передо мною, какъ только обращаюсь къ нему мыслью. Это былъ человѣкъ въ одно время чистой души и большаго ума, мыслитель и дѣятель, скромный и властительный, впечатлительный и безстрашный, застѣнчивый и энергическій, добродушный и проницательный, простой и высокій, нѣжный и сильный, дитя и богатырь въ одно и то же время. Мнѣ часто думалось, что въ немъ гармонически соединились всѣ лучшія свойства русскаго характера; быть съ нимъ было такъ же отрадно, какъ отрадно бываетъ иногда почувствовать, что поднялся изъ будничной жизни въ область чистыхъ чувствъ и мыслей. И мнѣ мечталась попытка написать эту жизнь, такую полную и ясную, оставить на память и поученіе другимъ подробно очерченный образъ этого русскаго человѣка. Но меня останавливаетъ и сомнѣніе въ своихъ силахъ, и та борьба съ потокомъ забвенія, о которой я говорилъ; никогда я не чувствовалъ такъ ясно, что, въ этомъ отношеніи,

мы бьемся совершенно напрасно, воюемъ противъ явной неизбежности, что лучшая доля нашихъ чувствъ и мыслей всего скорѣе обречена забвенію, и что, если бы наша жизнь имѣла значеніе лишь на столько, на сколько остается въ памяти людей, то судьба наша была бы горькая и жестокая. Значить, нужно какъ-нибудь иначе смотрѣть на нашу жизнь, инаго желать и въ иному стремиться. И понемногу я учусь не приходить въ слишкомъ большее огорченіе, когда вижу, что забываются, или пренебрегаются труды Н. Я. Данилевскаго, между прочимъ и его великолѣпная книга *Дарвинизмъ*.

28 ноября 1887 г.

ХІ.

СУЖДЕНІЕ АНДР. С. ФАМИНЦЫНА О „ДАРВИНИЗМѢ“ Н. Я. ДАНИЛЕВСКАГО.

(Русск. Вѣстн., 1889 г., апр.)

Нужно прежде всего сказать, почему пишется настоящая статья. Пишу теперь уже не для того, чтобы вызвать вниманіе въ книгѣ Н. Я. Данилевскаго и всячески защищать ее отъ нападеній, не давать ей въ обиду, когда ее авторъ въ могилѣ и самъ за нее вступить не можетъ. И никакъ не для того, чтобы самому нападать на А. С. Фаминцына, или какого другаго критика, обличить его ошибки и обмолвки, и такимъ образомъ подорвать авторитетъ судей, не оцѣнившихъ книги по ее достоинству. Нѣтъ, теперь можно оставить въ сторонѣ нападенія, которыя сами по себѣ часто вовсе не стоятъ вниманія, и чужія ошибки, которыми въ сущности ничего не доказывается, а нужно и должно прямо имѣть въ виду достоинство книги, указывать ее существенныя качества. Такъ какъ эти качества для меня очень ясны и чѣмъ далѣе, тѣмъ отчетливѣе уясняются по поводу толковъ о книгѣ, то надѣюсь представить здѣсь читателямъ нѣсколько замѣчаній о „Дарвинизмѣ“, заслуживающихъ ихъ вниманія.

I.

Научное достоинство «Дарвинизма».

По счастью, мы уже можемъ поставить дѣло такимъ образомъ. Статья Андр. С. Фаминцына („Н. Я. Данилевскій и дарвинизмъ. Опровергнутъ ли дарвинизмъ Данилевскимъ?“ *Вѣстникъ Европы*, февраль) порадовала насъ тѣмъ, что въ ней за книгою Н. Я. Данилевскаго уже вполне признается достоинство *ученаго* сочиненія. Прежде эту книгу проф. Тимирязевъ и другіе трактовали какъ презрѣнную болтовню дилеттанта, интересную только по непомѣрному обилію логическихъ ошибокъ. Андр. С. Фаминцынъ судить иначе. „Книгу Данилевскаго“, пишетъ онъ, „я считаю полезною для зоологовъ и ботаниковъ; въ ней собраны всѣ сдѣланныя Дарвину возраженія и разбросаны мѣстами интересныя фактическія данныя, за которыя наука останется благодарною Данилевскому“. И далѣе: „Со стороны детальныхъ разъясненій, за сочиненіемъ Данилевскаго нельзя не признать научнаго значенія, и будущимъ критикамъ теоріи Дарвина книга Данилевскаго, представляющая полный сводъ и подробное изложеніе всѣхъ приводимыхъ противъ ученія Дарвина возраженій, можетъ доставить много интересныхъ указаній“ (стр. 643).

И такъ, дѣло рѣшенное; хотя критикъ очень сдержанъ и не признаетъ за книгою Н. Я. Данилевскаго особыхъ заслугъ, но онъ успѣлъ убѣдиться, что это сочиненіе дѣйствительно ученое, и что оно полезно для ученыхъ, именно, для зоологовъ и ботаниковъ, которые захотятъ познакомиться съ изслѣдованіями, поднятыми

теорією Дарвина, или даже сами почувствуютъ желаніе критиковать эту теорію. Замѣтимъ, что тутъ, да и въ остальной статьѣ г. Фаминцина нѣтъ ни слова о какихъ-нибудь невѣрностяхъ въ постановкѣ фактовъ и въ пониманіи теорій, о какихъ-нибудь неправильностяхъ логическихъ приѣмовъ и разсужденій. Подобныхъ недостатковъ критикъ не указываетъ въ книгѣ Данилевскаго. Конечно, это еще не много, это значитъ только, что критику никакой подобный недостатокъ не бросился въ глаза; но мы прибавимъ отъ себя, что и не могло быть иначе. „Дарвинизмъ“ отличается замѣчательно строгою научною обработкою; по опредѣленности языка, по отчетливости мыслей, по тщательной точности въ ссылкахъ на факты и на чужія мнѣнія, по правильности и осторожности въ разсужденіяхъ и выводахъ,—это сочиненіе образцовое; вполне оцѣнить эти достоинства можно только прилежно вчитываясь въ сочиненіе, но для насъ они уже не подлежатъ никакому сомнѣнію.

Какъ бы то ни было, но, благодаря безпристрастной оцѣнкѣ г. Фаминцина, можно надѣяться, что уже нѣтъ надобности доказывать, что „Дарвинизмъ“ есть книга *ученая, научная*. Ученые люди бываютъ вѣдь очень строги въ этомъ отношеніи; они не удостоиваютъ никакого вниманія книги, стоящія ниже извѣстнаго уровня знакомства съ наукой, книги профановъ и дилеттантовъ. Хотя ученые, прикидывая свой уровень къ книгамъ, нерѣдко ошибаются, хотя, даже и безъ этихъ ошибокъ, имъ приходится, вообще говоря, читать много плохихъ книгъ и упорно отворачиваться отъ нѣкоторыхъ очень хорошихъ, но эта разборчивость имѣетъ свои основанія, и устранить ее невозможно. Поэтому, мы очень рады, что „Дарвинизмъ“ пробилъ, наконецъ, заповѣдную грань.

Книга эта была встрѣчена большими предубѣжденіями; между прочимъ, намъ извѣстно, что противъ нея, какъ сильнѣйшій аргументъ, выставляли и то, что авторъ ея написалъ „Россію и Европу“ — слѣдовательно, что онъ вовсе не специалистъ и, значитъ, никакъ не имѣетъ права голоса въ вопросахъ естествознанія. Вотъ какъ неудобно быть многостороннимъ, и какъ выгодно, напротивъ, завертываться въ мантию ученаго и смиренно объявлять, что мы всю жизнь посвящаемъ одной изъ наукъ!

Кстати объ „Россіи и Европѣ“; эта книга еще не достигла той чести, какъ „Дарвинизмъ“, еще не признана нашими историками *научною* книгою; но мы увѣрены, что ждать этого остается уже очень недолго. Правда, въ этой книгѣ нѣтъ и слѣда такъ называемаго „ученаго аппарата“; но что она проникнута строгимъ научнымъ духомъ, это не ясно только для невнимательныхъ, или же для тѣхъ, кто самъ мало знакомъ съ этимъ духомъ.

Объ эти книги представляютъ замѣчательно своеобразное явленіе, чѣмъ и объясняется ихъ судьба. Авторъ имѣлъ цѣлью написать популярныя сочиненія, назначалъ и ту и другую книгу для большинства образованныхъ читателей; между тѣмъ, у него вышли совершенно ученыя книги, отличающіяся отъ обыкновенныхъ ученыхъ книгъ только большею ясностію и связностію изложенія, опредѣленностію и обиліемъ мысли. Желаніе общаго вниманія проистекало у автора, безъ сомнѣнія, изъ великой важности, которую онъ придавалъ предметамъ своего писанія; а научный духъ, которымъ онъ былъ совершенно проникнутъ, не допустилъ его писать иначе, какъ вполнѣ научнымъ образомъ. Мы говоримъ здѣсь

не объ абсолютной мѣрѣ той цѣнности, какую имѣютъ его писанія; мы хотимъ только обратить вниманіе на то, что въ нихъ, очевидно, имѣютъ равное участіе и сердце, и умъ, поддерживая и возвышая другъ друга. Случается иногда читать и слышать требованіе, *чтобы наука стала живою*, не была бы сухимъ и отвлеченнымъ занятіемъ оторванныхъ отъ жизни спеціалистовъ. Сочиненія Данилевскаго, намъ кажется, представляютъ прекрасный образчикъ такой живой науки. Съ одной стороны, они преисполнены жизненнаго интереса, съ другой — это совершенная, строгая наука.

II.

Религіозный вопросъ.

Къ сожалѣнію, ученая оцѣнка „Дарвинизма“ занимаетъ въ статьѣ А. С. Фаминцына только три или четыре страницы (стр. 639—642). Результатъ этого краткаго и сухаго обзора высказанъ уже нѣсколько ранѣе (стр. 627): „Изъ числа приводимыхъ возраженій (*противъ теоріи Дарвина*) сравнительно лишь весьма немногія принадлежать автору „Дарвинизма“; громаднѣйшее большинство ихъ, и притомъ самыя вѣскія, болѣе или менѣе подробно заявлены были его предшественниками; Данилевскимъ же они лишь *обстоятельно разработаны* и мѣстами *подкрѣплены новыми примѣрами*“, или даже „*собственными наблюденіями*“ (стр. 639). Такъ, напр., вопросъ о домашнихъ животныхъ „*обстоятельно разработанъ*“, чѣмъ у Виганда, Катрфажа и др. (стр. 639). Въ 4-й и 5-й главахъ много численныхъ выводовъ, по-

казаній и фактовъ, которые „принадлежать Данилевскому“ и „представляютъ несомнѣнный интересъ“ (стр. 641). Шестая глава „заключаетъ наиболѣе самостоятельную часть критики Данилевскаго и заслуживаетъ вниманія“ (стр. 641). Таковы отзывы положительнаго свойства; отрицательные же еще отрывочнѣе и голословнѣе: „ничего новаго“, „мало оригинальнаго“, „рѣшающаго значенія не имѣетъ“, и т. п.

Такимъ образомъ, статья А. С. Фаминцына никакъ не представляетъ того „обстоятельнаго и безпристрастнаго разбора достоинствъ и недостатковъ труда Данилевскаго“, который въ ней обѣщается намъ въ началѣ (стр. 618). Напротивъ, почти вся статья посвящена не естественно-историческимъ соображеніямъ, не оцѣнѣ книги по началамъ науки, по требованіямъ естествознанія, а занимается предметомъ, отступающимъ отъ прямой задачи книги, именно вопросомъ *объ религіозномъ и эстетическомъ значеніи* теоріи Дарвина. Такая перестановка точки зрѣнія совершенно измѣнила не только содержаніе статьи А. С. Фаминцына, но и окончательный его приговоръ надъ критикуемою книгою. Такъ какъ Данилевскій прямо заявилъ, что считаетъ теорію Дарвина противною религіознымъ взглядамъ и эстетическому чувству, то критикъ находитъ въ такомъ мнѣніи главную и великую „ошибку“ Данилевскаго и старается обстоятельно показать, что въ дарвинизмѣ нѣтъ никакого противорѣчія религіи и ничего оскорбляющаго эстетическое чувство. Мы видѣли, что съ естественно-исторической точки зрѣнія А. С. Фаминцынъ не упрекаетъ Данилевскаго въ невѣрномъ пониманіи взглядовъ Дарвина и весьма твердо заявляетъ о научныхъ достоинствахъ книги „Дарвинизмъ“; но, по отношенію къ религіозному вопросу, книга эта,

напротивъ, оказывается имѣющею огромный и непростительный недостатокъ, и критикъ оканчиваетъ свою статью слѣдующимъ, какъ онъ самъ говоритъ, „нелестнымъ, даже нѣсколько суровымъ, сужденіемъ“:

„Во всемъ его сочиненіи основа ученія Дарвина истолкована невѣрно. Никто другой не приписывалъ ученію Дарвина того *тлетворнаго* *всесокрушающаго* *вліянія* на человѣчество, которымъ столь глубоко озабоченъ и огорченъ Данилевскій. *Распространіе въ общество* подобнаго ошибочнаго взгляда на значеніе научныхъ трудовъ Дарвина,—взгляда, идущаго прямо въ разрѣзъ съ *воззрѣніемъ* *всѣхъ специалистовъ* безъ исключенія, представляется мнѣ явленіемъ крайне прискорбнымъ, нежелательнымъ и *вреднымъ* особенно у насъ, среди нашего общества, еще мало чуткаго и воспріимчиваго къ научнымъ изслѣдованіямъ“ (стр. 643).

Читая этотъ приговоръ, нельзя, прежде всего, не почувствовать, что мы, очевидно, вышли за предѣлы науки. Если дѣло идетъ не объ истинѣ, которая вездѣ одна и всегда желательна, а о томъ, что полезно и вредно именно у насъ, въ нашемъ обществѣ, то дѣло уже не касается самой науки. Для науки не важно, распространяется ли какой-нибудь взглядъ, будучи для этой цѣли изложенъ на страницахъ „Вѣстника Европы“, или же вовсе не распространяется, будучи напечатанъ только въ запискахъ Академіи Наукъ; для науки важно только то, вѣренъ ли взглядъ или не вѣренъ. Конечно, часто необходимо бываетъ примѣняться къ обстоятельствамъ, но это дѣло второстепенное и къ существу научныхъ вопросовъ не относящееся.

Повидимому, нашъ критикъ держится той мысли, что, однако же, наука должна рѣшать вопросъ, вредно ли

или не вредно какое нибудь ученіе вообще, безотносительно, въ самомъ принципѣ. вмѣсто того, чтобы исповѣдывать просто, что истина стоитъ выше вопроса о вредѣ и пользѣ, онъ упрекаетъ Данилевскаго, какъ бы въ научной ошибкѣ, въ томъ, что тотъ призналъ ученіе Дарвина „тлетворнымъ“; г. Фаминцынъ ссылается, для опроверженія этой ошибки, на „всѣхъ специалистовъ безъ исключенія“, рѣшительно утверждаетъ, что „никто другой“ не приписывалъ этому ученію такой тлетворности.

Тутъ видна, конечно, великая забота устранить опасное, будто бы, обвиненіе, сдѣланное Данилевскимъ, забота, увлекавшая нашего критика до очевидныхъ преувеличеній. Но главная бѣда критика, намъ кажется, въ самомъ принципѣ, въ той почвѣ, на которую поставлено дѣло. Если дѣло пойдетъ о вредѣ, то мы никакъ не выпутаемся изъ вопроса. Въ самомъ дѣлѣ, пойдѣмъ по порядку: Н. Я. Данилевскій написалъ книгу, въ которой говоритъ, что, по его мнѣнію, ученіе Дарвина вредно. А. С. Фаминцынъ написалъ разборъ этой книги, въ которомъ говоритъ, что эта книга вредная, потому что въ ней ученію Дарвина приписывается самое разрушительное дѣйствіе. А я имѣю право теперь говорить, что г. Фаминцынъ напечаталъ въ „Вѣстникѣ Европы“ статью, которую, при всемъ моемъ сожалѣніи, я долженъ признать очень вредною, злодѣйскою, потому что она порочитъ превосходную книгу Данилевскаго, именно утверждаетъ, будто бы въ нашемъ обществѣ эта книга произведетъ самое прискорбное, нежелательное вліяніе. Какъ же мы тутъ разберемся?

Но, можетъ быть, скажутъ, что самъ же Данилевскій и виноватъ во всемъ этомъ; онъ первый выступилъ на

эту почву, а критикъ пошелъ уже за нимъ. На это отвѣтимъ, во-первыхъ, что Данилевскому сдѣлать это было нужно и неизбежно, а во-вторыхъ, что вѣдь онъ на этомъ не остановился и никакъ не этимъ порѣшилъ дѣло, а написалъ огромное изслѣдованіе, гдѣ дѣло идетъ вовсе не о томъ, вреденъ или не вреденъ дарвинизмъ, а строжайшимъ образомъ изслѣдуется только то, соответствуетъ ли онъ, или противорѣчитъ истинѣ.

Уклониться отъ религіозныхъ вопросовъ, въ сущности, здѣсь невозможно. Обыкновенно, вслѣдствіе той преобладающей важности, которая въ жизни придается религіи, ученые не дѣлаютъ никакихъ указаній на отношеніе къ ней своихъ изслѣдованій, чтобы не подвергать своего спеціального дѣла вліянію и такихъ людей, которые не способны о немъ судить. Но, если мы станемъ разсуждать независимо отъ этихъ предосторожностей, то, вообще, какъ мы можемъ не одобрить всякаго, кто станетъ опредѣлять отношеніе какого бы то ни было ученія къ высшимъ вопросамъ нашего знанія и существованія? Если бы, предположимъ, Данилевскій, вопреки всѣмъ спеціалистамъ, открылъ и доказалъ, что дарвинизмъ находится въ неизбежной связи съ матеріализмомъ, то развѣ это не была бы заслуга, какъ и всякое другое разъясненіе понятій? Напрасно г. Фаминцынъ говоритъ: „Ученіе Дарвина въ томъ видѣ, который онъ предложилъ, не касается вовсе теологическихъ воззрѣній и можетъ быть принято какъ матеріалистами, такъ и людьми глубоко религіозными“ (стр. 638). Такое безразличіе столь важнаго ученія совершенно невѣроятно, и факты противорѣчатъ такому безразличію жестокимъ образомъ. Если мы даже ни во что поставимъ общій вопль религіозныхъ людей противъ дарвинизма, то должны же бу-

демъ принять хоть въ какой нибудь расчетъ тѣ влики радости, которые издавались учеными матеріалистами. Объ этихъ вликахъ свидѣтельствуя и тѣ слова Бэра, которыя г. Фаминцынъ приводитъ въ свою пользу: „Къ чести Дарвина надо прибавить, что онъ постоянно избѣгалъ всякихъ *рызкихъ нападокъ* на религіозныя убѣжденія, что *нерѣдко* встрѣчается въ новѣйшихъ разработкахъ его теоріи другими изслѣдователями“ (стр. 636). Въ подлинникѣ сказано еще сильнѣе: не *нерѣдко*, а *столь часто*, so häufig (Studien, Bd. II, S. 274). Тотъ же Бэръ приводитъ такой фактъ: „Въ позднѣйшихъ изданіяхъ Дарвина то заявленіе, что одна или нѣсколько основныхъ формъ были вызваны къ жизни Творцомъ, выпустилъ, потому что замѣтилъ, что вся его гипотеза, по возможности, элиминируетъ Творца“ (ib. S. 273). Тотъ же Бэръ на первой страницѣ этой своей книги говоритъ: „На міръ излился могучій потокъ подъ именемъ дарвинизма, который *не признаетъ никакихъ цѣлей, а только слѣпую необходимость*“. Тотъ же Бэръ на послѣдней страницѣ выразился очень хорошо и ясно: „Устраненіе внѣшняго Создателя—вотъ вѣдь что придавало дарвинизму привлекательность; но если мы будемъ искать зиждительнаго начала въ каждомъ организмѣ, то оно никакъ не дастъ себя оттуда изгнать“ (ib. S. 480).

Можно бы безъ конца приводить подобнаго рода свидѣтельства и противниковъ, и защитниковъ дарвинизма въ пользу нашей темы, что эта теорія извѣстнымъ образомъ касается теологическихъ воззрѣній. Но самое лучшее свидѣтельство, намъ кажется, заключается въ томъ, что г. Фаминцынъ ни у одного изъ спеціалистовъ не нашелъ разсужденій, ясно показывающихъ возможность примирить религію съ ученіемъ Дарвина, а потому пред-

лагають намъ собственные разсужденія, которыя могутъ опровергнуть мнѣніе Данилевскаго о тлетворности дарвинизма. Мы привели уже прежде выраженіе критика, что будто бы въ книгѣ Данилевскаго самая „основа ученія Дарвина истолкована невѣрно“. Въ чемъ тутъ все дѣло — видно изъ слѣдующаго мѣста:

„Въ сужденіе Данилевскаго о дарвинизмѣ вѣралась „незамѣченная имъ ошибка. Ошибка эта заключается, „по моему мнѣнію, въ томъ, что онъ совершенно не- „правильно приписалъ дарвинизму принципъ *абсолютной* „случайности, котораго Дарвинъ не имѣлъ и не могъ „имѣть въ виду. Случайность же, характеризующая те- „орію естественнаго подбора Дарвина, есть случайность „не *абсолютная*, а *относительная*, т. е. кажущаяся та- „ковою слабому человѣческому уму, но, въ сущности, „отнюдь не безцѣльная, а заранѣе опредѣленная Созда- „телемъ уже въ моментъ сотворенія вселенной; неопро- „вержимымъ доказательствомъ этому служитъ признаніе „Дарвиномъ личнаго Божества. Съ послѣднимъ же не- „разрывно связано представленіе о цѣлесообразности въ „природѣ и координаціи въ единое гармоническое цѣлое „всѣхъ элементовъ мірозданія, при посредствѣ неизмѣн- „ныхъ и непреложныхъ законовъ, управляющихъ ею по „волѣ верховнаго Начала“ (стр. 637).

Такое соглашеніе Дарвиновой теоріи съ понятіемъ о Богѣ и съ мыслью о цѣлесообразности міра, конечно, есть нѣчто возможное. Богъ есть то наше понятіе, къ которому мы неизбежно приходимъ, съ чего бы мы ни начали и откуда бы мы ни исходили, если только будемъ идти правильно, двигаться по законамъ ума, а не пятиться въ противоположную сторону. Какой бы взглядъ на устройство и составъ міра мы себѣ ни составили, но

наша мысль неизбѣжно будетъ искать единой основы всего существующаго, и это будетъ первое опредѣленіе, первая черта понятія о Богѣ. А если мы потомъ прямо придадимъ ему личность, разумность, то цѣлесообразность міра будетъ слѣдовать сама собою, хотя бы мы вовсе не могли ее усмотрѣть.

Все это такъ. Но развѣ г. Фаминцыну неизвѣстны разсужденія матеріалистовъ? Они говорятъ, что если въ мірѣ мы не усматриваемъ ничего, кромѣ случайности и необходимости, то и нѣтъ причины приписывать основѣ бытія личность и разумность; а потомъ, что и никакой общей основы бытія нѣтъ, никакого творенія не было, что существуетъ лишь сама по себѣ, отъ вѣчности, матерія со своими силами. Не очевидно ли, что чѣмъ бѣднѣе наше понятіе о Богѣ, тѣмъ легче матеріалистамъ противъ него упираться, что всякое указаніе на разумъ въ природѣ опровергаетъ матеріализмъ, а всякое утвержденіе случайности совершенно съ нимъ согласно?

Никакой ошибки въ этомъ отношеніи Данилевскій не сдѣлалъ. Подъ выраженіемъ *абсолютная случайность*, которое у него изрѣдка встрѣчается, онъ разумѣлъ не отрицаніе Бога, или что нибудь подобное, а просто то же самое, что подъ словами *полная, совершенная случайность, слѣпая случайность* и т. п. И, такъ какъ теорія Дарвина объясняетъ цѣлесообразное устройство организмовъ именно чистою случайностію, съ чѣмъ согласенъ и г. Фаминцынъ *), то Данилевскій имѣлъ право

*) Напр. «Изъ животныхъ хищныхъ, разнящихся между собою лишь окраской, только *случайно* окрашенные подъ цвѣтъ мѣстности и, слѣдовательно, менѣе примѣтныя имѣли наиболѣе шансовъ доставать себѣ пищу» и пр. (стр. 633). «По теоріи Дарвина, развитіе организмовъ обуславливается не внутренними, кроющимися въ организмъ, причинами, а лишь *случайными* внѣшними вліяніями» (стр. 638).

на такое выраженіе. Объ „элементахъ мірозданія“, о „неизмѣнныхъ и непреложныхъ законахъ“, управляющихъ этими элементами, онъ вовсе не говорилъ, такъ какъ и Дарвинъ объ нихъ не говоритъ, и не могло быть вопроса о томъ, признаются ли они въ его теоріи случайными или нѣтъ.

III.

Безпристрастіе.

Оставимъ, наконецъ, этотъ предметъ. Насъ удивляетъ, что г. Фаминцынъ такъ упорно на немъ остановился и выдвинулъ его на первое мѣсто. Если Данилевскій откровенно высказалъ свои религіозныя воззрѣнія, то неужели не ясно, почему онъ это сдѣлалъ? Онъ не хотѣлъ являться передъ читателями подъ маскою, не хотѣлъ, чтобы его въ чемъ-нибудь могли подозрѣвать, а главное, ему нужно было это сдѣлать, чтобы было видно, что онъ потомъ отлагаетъ въ сторону свое религіозное и эстетическое чувство и становится на почву строгой науки. Если бы онъ не умѣлъ этого сдѣлать, если бы ему самому и читателямъ не была до очевидности ясна черта между предубѣжденіемъ и безпристрастнымъ изслѣдованіемъ, то всѣ труды были бы понапрасну потеряны. „Введеніе“ Данилевскаго, въ которомъ только онъ и касается религіи, имѣло цѣлью, какъ онъ самъ говоритъ, — объяснить „съ подробностію“ его „личныя внутренія отношенія въ дарвинизму“ (ч. I, стр. 23); изъ этихъ объясненій ясно, какъ день, его высокое безпристрастіе, его желанье и

умѣнье стать на почву чистой науки, для которой, по его превосходной формулѣ, „вопросъ о томъ, имѣлъ ли авторъ разбираемаго ученія матеріалистическій, или деистическій взглядъ на природу, есть не болѣе какъ вопросъ біографическій“ (ч. I, стр. 12). Такимъ образомъ, Данилевскій для насъ образецъ правильнаго отношенія къ дѣлу. Если говорятъ, что всего труднѣе владѣть самимъ собою, то можно сказать, что и въ сужденіяхъ всего труднѣе быть безпристрастнымъ къ собственнымъ предвзятымъ мыслямъ. Все это превосходно объясняетъ Данилевскій въ своемъ *Введеніи*, затѣмъ онъ погружается въ свой предметъ уже съ полной отвлеченностію ученаго, и вотъ почему, въ заключеніе двухъ большихъ книгъ онъ имѣлъ полное право сказать: „Цѣль этой первой части моего труда состояла въ томъ, чтобы показать ложность Дарвинова ученія, какъ теоріи,—*безотносительно къ другимъ требованіямъ человеческого духа*,—и я исполнилъ это, какъ умѣлъ“ (*Дарвинизмъ*, ч. II, стр. 527).

Такое безпристрастіе не только заявляется и обѣщается Данилевскимъ, но оно имъ дѣйствительно *выдержано*. Г. Фаминцынъ, какъ строгій ученый, преданный наукѣ, казалось бы, могъ оцѣнить подобное достоинство книги; между тѣмъ, онъ выставляетъ Данилевскаго человекомъ увлеченнымъ и дѣйствующимъ пристрастно. Напр., по словамъ критика, „Данилевскій подвергаетъ дарвинизмъ жестокому преслѣдованію, *всѣми мѣрами* старается выставить самое ученіе и великаго творца его въ возможно *неблаговидномъ свѣтѣ*“ (стр. 624). Или еще: „По мнѣнію Данилевскаго, ученіе Дарвиново есть ученіе вредное, которое необходимо уничтожить и, побончивъ съ нимъ, стараться, для своего душевнаго спокойствія со-

вершено искоренить изъ памяти и, по возможности, не вспоминать его, (стр. 635). Читая такія вещи, нельзя не улыбнуться надъ чудачествомъ этого Данилевскаго: совершенно забывши, что для душевнаго спокойствія нужно и не вспоминать о Дарвинѣ, онъ, вѣроятно по разсѣянности, написалъ о немъ преогромное сочиненіе и напечаталъ его, чтобы всѣ читали.

Все это, конечно, шутки, а вотъ и нешуточное обвиненіе со стороны увлеченнаго критика, обвиненіе, которое едва ли возможно простить ему. Онъ говоритъ:

„До научнаго значенія ученія Дарвина Данилевскому было, *повидимому*, мало дѣла: „какое собственно было бы дѣло образованному читателю вообще“ (для котораго преимущественно написалъ свою книгу Данилевскій), „если бы Дарвиново ученіе заключалось хотя бы въ самомъ важномъ зоологическомъ или ботаническомъ открытіи?“ (*Дарвинизмъ*, ч. I, стр. 2).

„Этимъ *индифферентизмомъ* къ значенію ученія Дарвина въ современной разработкѣ біологическихъ задачъ и объясняется односторонній, узкій и, по моему мнѣнію, неосновательный взглядъ Данилевскаго на Дарвина и его теорію“ (стр. 624, 625).

Какая несправедливость! Какое явное извращеніе мысли Данилевскаго! Развѣ онъ говоритъ о себѣ? Онъ объясняетъ, почему всѣ образованные люди интересовались дарвинизмомъ, тогда какъ большинство ихъ ничуть не интересуются самою наукою зоологіи или ботаники, — изъ чего и видно, что дарвинизмъ содержитъ въ себѣ элементъ, далеко выходящій за предѣлы какой-нибудь частной науки. Какъ же возможно вывести отсюда индифферентизмъ къ наукѣ самого Данилевскаго? А между тѣмъ, г. Фиминцынъ уже считаетъ себя въ правѣ съ великою

рѣзкостью говорить объ *одностороннемъ* и *узкомъ* взглядѣ Данилевскаго на Дарвина. Но въ чемъ состоитъ эта *односторонность* и *узкость*, — мы уже видѣли: только и единственно въ томъ, что Данилевскій будто-бы неправильно считаетъ основою теоріи Дарвина „абсолютную случайность“. Затѣмъ, г. Фаминцынъ не дѣлаетъ ни еди-наго, ни самомалѣйшаго указанія на неточность въ пониманіи этой теоріи Данилевскимъ. Осмѣлюсь думать, что книгу Данилевскаго скорѣе слѣдуетъ хвалить за образцовую точность въ пониманіи пресловутой теоріи, а не упрекать голословно въ ошибочномъ взглядѣ на нее.

Односторонность у г. Фаминцына еще вотъ что значить: „Данилевскій забылъ, или, можетъ быть, и не подозревалъ, какое громадное значеніе имѣютъ труды Дарвина для біологическихъ наукъ“ (стр. 625). На это слѣдуетъ, во-первыхъ, сказать, что вѣдь это, кажется, немножко другой вопросъ. А потомъ, по какимъ же основаніямъ Данилевскій выставляется намъ столь малосвѣдущимъ, что онъ будто-бы даже *и не подозревалъ* значенія Дарвина для біологіи? Г. Фаминцынъ, чтобы уличить Данилевскаго, посвятилъ цѣлыхъ семь страницъ (стр. 628 — 634) своей краткой статьи на изложеніе заслугъ Дарвина. Читатель непременно подумаетъ, что ничего изъ сказаннаго на этихъ страницахъ не зналъ и не понималъ Данилевскій. Но это будетъ большой обманъ; эти семь страницъ содержатъ кой-что лишнее и невѣрное, но затѣмъ онѣ ничуть не противорѣчатъ „Дарвинизму“; а въ большинствѣ случаевъ въ нихъ изложено то же, что въ „Дарвинизмѣ“, только значительно хуже. Мы имѣли бы многое возразить на эти страницы, но рѣшительно воздерживаемся отъ этого. Наша цѣль — говорить о книгѣ Данилевскаго, а не объ взглядахъ г.

Фаминцына на какіе нибудь другіе предмети, а на указанныхъ страницахъ нѣтъ ни *единого замѣчанія*, относящагося въ книгѣ.

IV.

Самобытныя достоинства «Дарвинизма».

А вотъ что прямо касается книги. Критикъ упрекаетъ Данилевскаго, во-первыхъ, въ непочтительности въ отношеніи въ Дарвину, а во-вторыхъ, въ томъ, что онъ такъ пишетъ, какъ будто приписываетъ себѣ возраженія, сдѣланныя другими.

Что касается до неприличной будто-бы рѣзкости выраженій, до „высокомѣрія и заносчивости“ (стр. 621), какъ выражается г. Фаицынъ, то совершенно ясно, что все дѣло тутъ въ субъективномъ впечатлѣніи. Такъ какъ критикъ питаетъ „благоговѣніе“ въ Дарвину и увѣренъ даже, что „славное имя Дарвина съ благоговѣніемъ будетъ произноситься естество-испытателями въ продолженіе многихъ грядущихъ поколѣній“ (стр. 630), то естественно, что уже простая и прямая рѣчь о такомъ священномъ предметѣ кажется его почитателю оскорбительною. Напр., у Данилевскаго есть выраженіе, что если допустить „опредѣленность измѣнчивости“, то „теорія теряетъ всякій смыслъ и значеніе“, или что, въ одномъ случаѣ, когда Дарвину пришлось защищать свою теорію, защита его была такова, что „еще въ большей степени, чѣмъ само обвиненіе, ниспровергаетъ его теорію“. Критикъ находитъ, что подчеркнутыя слова грубы, непочти-

тельны. Да какъ же сказать иначе? Если Дарвинъ ошибся, то дѣло и могло выйти какъ разъ такъ, какъ говоритъ Данилевскій. Неужели же нельзя смѣть и говорить, что Дарвинъ могъ ошибиться?

Къ самому Дарвину лично — авторъ „Дарвинизма“ отнесся самымъ уважительнымъ образомъ. По совѣсти, я вовсе не нахожу въ этой книгѣ какого-нибудь высокомерія и заносчивости, какъ не было ихъ и у ея автора. Твердый тонъ, внушаемый совершенною ясностью пониманія и любовью къ истинѣ—это другое дѣло. Во всей огромной книгѣ можетъ быть только одна фраза нуждается въ оговоркѣ. „Теперь мы видимъ, что (у Дарвина) обращеніе съ фактами было *нечестное*, т. е. не безпристрастно-научное...“ (ч. II, стр. 131). Хотя очень странно, что ни г. Тимирязевъ, ни г. Фаминцинъ не хотятъ видѣть яснаго, простаго и совершенно невиннаго смысла этой фразы и хватаются за слово *нечестное*; но здѣсь мы готовы признать стилистическій промахъ. Если я скажу о какомъ-нибудь писателѣ: „онъ *виновенъ* въ такомъ-то промахѣ“, „онъ *чистъ* отъ такого-то *грѣха*“, „его *преступленія* передъ грамматикой“, „его *заслуги* передъ поэзіей“ и т. д., то всякій понимаетъ, что дѣло идетъ не о нравственныхъ поступкахъ и свойствахъ, а объ умственныхъ и эстетическихъ. Въ этомъ смыслѣ и Данилевскій сказалъ *нечестное*, т. е. въ смыслѣ *не-безпристрастное*, не-строгонаучное, какъ онъ тутъ же поясняетъ; но выраженія *честный* и *нечестный*, конечно, въ такомъ смыслѣ не употребляются.

А впрочемъ, скажемъ встати, Н. Я. Данилевскій, вообще, очень замѣчателенъ по своему стилю; языкъ его, не говоря уже о точности, имѣетъ своеобразіе и энергію,

очень обилень словами и даже очень хорошими новообразованіями.

Но достоинства „Дарвинизма“ состоятъ не только въ ясности и увѣренности пониманія, не только въ глубокомъ научномъ безпристрастіи и въ чрезвычайномъ обиліи свѣдѣній, обладающихъ вполне научнымъ характеромъ; главное достоинство этой книги есть тотъ огромный *трудъ мысли*, который на нее положенъ и въ ней воплотился. Это въ ней всего дороже и важнѣе, и это въ ней всего меньше цѣнится ея судьями. Въ „Дарвинизмѣ“, какъ извѣстно всѣмъ его читателямъ, все такъ связано и обдуманно, что эти два огромныхъ тома дѣйствительно составляютъ *одинъ большой аргументъ*, какъ сказалъ Дарвинъ про свою книгу, сказалъ, по нашему мнѣнію, съ гораздо меньшимъ правомъ. Но судьи книги Данилевскаго не только не отдають чести этому удивительному единству, а даже оно имъ кажется помѣхою, приводитъ ихъ въ недоумѣніе. Г. Фаминцынъ положительно недоволенъ планомъ книги. Онъ предполагаетъ и допускаетъ, что авторъ ея имѣлъ въ виду „самостоятельную, оригинальную оцѣнку трудовъ Дарвина“; но въ такомъ случаѣ, по мнѣнію критика, планъ долженъ быть совершенно другой. Для ясности, критикъ подробно излагаетъ тотъ планъ, который соотвѣтствуетъ ученымъ требованіямъ; онъ говоритъ:

„Приступая къ чтенію труда Данилевскаго, я ожидалъ найти: 1) изложеніе ученія Дарвина въ его первоначальной формѣ; 2) критическій разборъ вызванныхъ имъ горячихъ пререканій между сторонниками и противниками ученія Дарвина; 3) произведенныя со стороны Дарвина уступки и измѣненія взглядовъ его, вслѣдствіе сдѣланныхъ, относительно его ученія, возраженій

„и, наконецъ, 4) критическую оцѣнку дарвинизма самого Данилевскаго, т. е. какіе-нибудь новые, не высказанные еще другими изслѣдователями, взгляды и возраженія касательно ученія Дарвина“ (стр. 618).

Данилевскій поступилъ совершенно иначе, не держался этого порядка, почему критикъ и упрекаетъ его въ „своеобразномъ, можно сказать, необычномъ отношеніи къ разрабатываемому имъ вопросу“ (стр. 618). Въ самомъ дѣлѣ, „въ большинствѣ случаевъ онъ излагаетъ возраженія отъ себя, даже такія, относительно которыхъ онъ самъ мѣстами указываетъ, что они принадлежатъ другимъ изслѣдователямъ. Повидимому, онъ не придаетъ значенія тому, въ мѣхъ возраженіе сдѣлано, оцѣнивая послѣднее лишь съ точки зрѣнія вѣскости его, какъ доказательства приводимой имъ мысли или положенія“ (стр. 639). „Послѣдняя часть (послѣдней) главы озаглавлена Данилевскимъ: „Общіе итоги моего изслѣдованія“—слова, еще разъ свидѣтельствующія, сколько мало авторъ обращаетъ вниманія на строгое разграниченіе своихъ мыслей отъ возраженій его предшественниковъ“ (стр. 642). И потому, вообще, г. Фаминцынъ находитъ, что Данилевскій „даже послѣ ознакомленія съ главнѣйшими, сдѣланными противъ дарвинизма, возраженіями, остался при убѣжденіи, что если не исключительно, то по крайней мѣрѣ главные доводы противъ ученія Дарвина принадлежатъ ему одному“ (стр. 619).

Вотъ какія бѣды произошли вслѣдствіе отступленія отъ ученаго порядка! Не ясно ли, что именно въ этомъ все дѣло? Странно, однако же, что ученые не поискали истиннаго корня этого явленія. Данилевскій вѣдь сдѣлалъ это не по беспорядочности, не потому, что писалъ съ бухты-барахты. Онъ задумалъ держаться нѣ-

котораго *другаю* порядка, и жаль, что критики не обращают никакого вниманія на то, съ какою строгостію этотъ „необычный“ порядокъ выдержанъ въ „Дарвинизмѣ“. Порядокъ, указываемый г. Фаминцинымъ, есть, очевидно, порядокъ историческій, или пожалуй библиографическій; теоріи и возраженія тутъ должны излагаться по времени ихъ появленія. Порядокъ же Данилевскаго есть, очевидно, порядокъ *логическій*; тутъ факты и соображенія располагаются по ихъ значенію въ цѣломъ разсужденіи, „по ихъ вѣсности“. Порядокъ г. Фаминцына складывается, можно сказать, самъ собою; Данилевскій же долженъ опредѣлять „отъ себя“ мѣсто и вѣсъ каждой мысли и cadaго предмета. Данилевскій въ полномъ смыслѣ слова *ведетъ* изслѣдованіе, направляя его по надлежащему пути и отвѣчая за крѣпость каждой связи положеній, которую установилъ. Вотъ и вся разгадка его „своеобразнаго отношенія къ вопросу“. Вотъ отчего онъ такъ смѣло говоритъ: *я показалъ, мои доказательства, мое изслѣдованіе*, и т. д. Такъ мы всѣ говоримъ, когда начинаемъ дѣйствовать логикою, когда хотимъ сказать, что мы не просто взяли извѣстные доводы, а провѣрили ихъ, признали „отъ себя“ совершенно прочными и годными для дѣла. Смѣшно предполагать у Данилевскаго какую нибудь мысль о присвоеніи себѣ чужаго; но онъ, конечно, приписывалъ себѣ и умѣнье, и заслугу, что онъ этому чужому далъ его настоящее значеніе, поставилъ въ его истинныя отношенія къ цѣлому вопросу. Сначала онъ строго опредѣлилъ и развилъ самую теорію; а потомъ, уже на этомъ основаніи, выставилъ, въ правильномъ порядкѣ и во всей нужной полнотѣ, вопросы, и по порядку вопросовъ сталъ излагать возраженія, и сдѣланныя другими, и свои собствен-

ныя. Тутъ-то все и обнаружилось и получило свою цѣну; тутъ оказалось, что то возраженіе, которое Дарвинъ считалъ маловажнымъ, въ сущности, ниспровергаетъ всю теорію, что защита для теоріи иногда бываетъ хуже обвиненія, что иная уступка равняется полному отказу и т. д. Однимъ словомъ, не говоря о своемъ, что внесъ въ дѣло Данилевскій и что признается за нимъ и г. Фаминцынымъ, тутъ все пригодное *чужое* было употреблено въ дѣло, *по мѣртв* его *пригодности* и *по мѣсту*, *гдѣ оно пригодно*, а все негодное было отброшено. Данилевскій, очевидно, чувствовалъ себя полнымъ хозяиномъ дѣла, а потому имѣлъ полное право говорить: *мое изслѣдованіе*.

И вотъ отчего происходитъ и то твердое и ясное его убѣжденіе и заявленіе, что *теорія Дарвина имъ совершенно опровергнута*. Подобное событіе многимъ кажется чрезвычайно удивительнымъ и даже вовсе невозможнымъ.

„Вѣроятно ли, въ самомъ дѣлѣ“, пишетъ г. Фаминцынъ, „чтобы въ продолженіе почти тридцати лѣтъ большинство натуралистовъ, со включеніемъ наиболѣе заинтересованныхъ біологическими вопросами и посвятившихъ всю жизнь на ихъ изученіе, въ такой мѣрѣ были ослѣплены ученіемъ Дарвина, что только подъ напоромъ „все-сокрушающей критики Данилевскаго“ вполне обнаружили недостатки и недосмотры этого ученія?“ „Не появился „Дарвинизма“ Данилевскаго, ученый міръ и теперь еще пребывалъ бы все въ томъ же жалкомъ состояніи, и неизвѣстно, сколь долго пришлось бы ему ожидать избавленія отъ вліянія тлетворнаго ученія Дарвина?“ (стр. 626).

Ученый міръ! О, конечно, это міръ свѣта и разума, міръ, который самъ справляется со всѣми своими дѣлами и которому, какъ мы видимъ, даже очень обидно,

что ему вздумалъ еще помогать какой-то Данилевскій. Критикъ, по этому случаю, называетъ автора „Дарвинизма“ „дѣтски-наивнымъ“ (стр. 625). Но зачѣмъ же измѣнять смыслъ дѣла? Данилевскій былъ человекъ очень умный, и онъ вовсе не думалъ, что успѣетъ подѣйствовать на весь ученый міръ и избавить все „большинство натуралистовъ“ отъ ослѣпленія теоріею Дарвина. Смыслъ рѣчей Данилевскаго очень простой и ясный: „я опровергъ ученіе Дарвина *для себя*, я вижу вполнѣ его ложность, и я опровергъ это ученіе *для всякаго другаго*, кто прочитаетъ мою книгу и вникнетъ въ нее какъ слѣдуетъ“. Чтобы это сказать, онъ не сталъ поджидать для своей книги санкціи ученаго міра; но вѣдь и не слѣдуетъ видѣть санкцію въ чужихъ мнѣніяхъ. Совершить умственный трудъ—вотъ дѣло автора, а что скажетъ ученый міръ?—это ужъ дѣло ученаго міра.

Свойства и особенности ученаго міра и тотъ ходъ, который имѣютъ въ немъ дѣла, можетъ быть, ни въ чемъ не обнаруживаются такъ ясно, какъ въ исторіи Дарвинова ученія, въ его успѣхахъ, борьбѣ и теперешнемъ положеніи. Причина его быстрыхъ побѣдъ состояла, безъ сомнѣнія, съ одной стороны, въ предубѣжденіи противъ телеологіи, съ другой—въ смѣшеніи дарвинизма съ идеею эволюціи *). Выбраться изъ этихъ двухъ покатостей ученый міръ никакъ не можетъ, хотя дѣло для иныхъ было ясно съ самаго начала, для другихъ давно разъяснилось, и въ сущности оказывается, что вопросъ о происхожденіи видовъ остался въ наукѣ въ томъ же положеніи, какъ и до Дарвина.

*) Это смѣшеніе мы встрѣтили у проф. Карпинскаго, въ его отзывѣ, приведенномъ г. Фаминцынымъ. Тутъ говорится о «предвзятомъ убѣжденіи Данилевскаго въ несправедливости теоріи эволюціи» (стр. 642).

Превосходный образчикъ дѣйствій ученаго міра, маленькій, но хорошо поясняющій его неудачи, представляетъ отношеніе нашихъ ученыхъ къ книгѣ Данилевскаго. Г. Тимирязевъ съ негодованіемъ отвергъ эту книгу, какъ противную „могучему движенію европейской мысли“; г. Фаминцынъ поправилъ дѣло, признавъ за книгою права учености. Но значеніе книги все-таки не опредѣлилось. Въ самомъ дѣлѣ, оба ученые поставили въ заголовкахъ своихъ статей одинъ и тотъ же рѣшительный вопросъ: *опровергнутъ ли дарвинизмъ Данилевскимъ?* Неудивительно, что г. Тимирязевъ отвѣчаетъ отрицаніемъ, но очень удивительно, что у г. Фаминцына вовсе нѣтъ никакого отвѣта на этотъ вопросъ, стоящій въ заголовкѣ его статьи, т. е. остается совершенно неизвѣстнымъ, въ какомъ же положеніи оказался дарвинизмъ послѣ всѣхъ прежнихъ возраженій и послѣ новой критики Данилевскаго. Странность эта, очевидно, объясняется тѣмъ, что г. Фаминцынъ даже и не думаетъ ставить дѣло такъ круто. Чтобы отвѣчать да, или нѣтъ, нужно вѣдь поставить вопросъ въ его цѣлости, а для этого необходимо держаться логическаго порядка, порядка Данилевскаго. Между тѣмъ г. Фаминцынъ считаетъ правильнымъ, какъ мы видѣли, порядокъ *историческій*, порядокъ, постоянно употребляемый въ ученомъ мірѣ, и тогда, конечно, невозможно дойти до какого нибудь рѣшительнаго заключенія. Пусть читатель припомнитъ четыре послѣдовательные пункта, указанные критикомъ (см. выше, стр. 533). Четвертый пунктъ состоялъ изъ собственныхъ возраженій Данилевскаго. Но этимъ дѣло вѣдь не можетъ кончиться, и мы попробуемъ указать нѣсколько слѣдующихъ пунктовъ. Напримѣръ:

5) возраженія, сдѣланныя на книгу „Дарвинизмъ“;

6) книга Негели, взгляды Роменза, теорія ограниченаго скрещиванія г. Тимирязева; 7) поправки теоріи Дарвина, сдѣланныя на основаніи предъидущихъ возраженій и теорій; 8) возраженія, возбужденныя этими поправками, и т. д. и т. д.

Мы видимъ, что такимъ образомъ конца тутъ не будетъ, ибо не можетъ быть. И пусть не думаютъ читатели, что мы только шутимъ, что мы нарочно придумали эту вереницу ученыхъ разсужденій, которая ни къ чему не ведетъ. Такія вереницы можно найти во многихъ книгахъ, даже пользующихся большою славою основательности. Если взять самые авторитетные учебники, напр., Клауза, Захса и пр. и посмотрѣть, что въ нихъ говорится въ главахъ о дарвинизмѣ, то мы найдемъ именно этого рода цѣпь фактическихъ и теоретическихъ положеній, изъ которыхъ каждое еще не рѣшаетъ вопроса и подлежитъ дальнѣйшему обсужденію, такъ что все вмѣстѣ не даетъ никакого рѣшительнаго вывода, не смотря на то, что иные авторы прямо заявляютъ себя сторонниками дарвинизма.

По счастью, мы имѣемъ книгу Данилевскаго. Она разливаетъ на весь вопросъ такой полный и ясный свѣтъ, что для того, кто вникъ въ нее надлежащимъ образомъ, обывновенная путаница уже невозможна. Вотъ главное достоинство этой книги, тотъ трудъ мысли, который въ ней совершенъ, та цѣль, для которой она написана и которой вполне достигаетъ; вотъ то, что больше всего другаго составляетъ самобытность, новостъ и незамѣнимость этой книги и на что ея ученые судьи, къ сожалѣнію, вовсе не обращаютъ вниманія. Если мы прочтемъ и усвоимъ себѣ эту книгу, то мы увидимъ, что въ другихъ книгахъ теорія Дарвина излагается почти всегда

и не полно, и не точно; что затѣмъ, и доказательства и опроверженія, и чужія и свои, излагаются безъ пониманія ихъ истинной силы въ отношеніи къ теоріи. Мы увидимъ, напримѣръ, что всѣ авторы приводятъ извѣстное возраженіе, вполне ниспровергающее теорію, но сами этого не замѣчаютъ и переходятъ къ новымъ разсужденіямъ, какъ будто ничего не случилось. Мы увидимъ, что обыкновенно считается самымъ твердымъ доказательствомъ теоріи то (явленія эволюціи), что, въ сущности, ясно доказываетъ ея несправедливость, и такъ далѣе.

Очень жаль, что наши ученые до сихъ поръ еще не разбирали „Дарвинизма“ *въ этомъ отношеніи*; они, очевидно, должны найти въ немъ для себя много новаго. Можно судить объ этомъ по тому, что, напр., г. Тимирязевъ возраженіе, выводимое изъ скрещиванія, считаетъ какъ-будто софистическою уловкою, придуманною Данилевскимъ, а г. Фаминцынъ утверждаетъ, что это возраженіе уже было будто бы вполне разработано Вигандомъ и Негели (стр. 641); точно такъ, г. Тимирязевъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ о *значеніи численности*, прекрасно развитомъ Данилевскимъ, и т. д. Специалисты должны, вообще, точнѣе видѣть всѣ эти частности; мы надѣялись, что именно отъ нихъ мы получимъ любопытныя указанія на отношенія „Дарвинизма“ къ старымъ и новымъ разсужденіямъ по тому же предмету, и, къ сожалѣнію, обманулись въ своихъ ожиданіяхъ.

Понятно теперь, что и на общій вопросъ, поставленный нашими двумя натуралистами: *опровергнутъ ли дарвинизмъ Данилевскимъ?* они не умѣли отвѣчать, хотя отвѣтъ не подлежитъ сомнѣнію и можетъ быть только подкрѣпляемъ и утверждаемъ всякими историческими изысканіями. При свѣтѣ книги Данилевскаго главныя

черты *исторіи* Дарвинова ученія становятся совершенно ясны. Очевидно, само по себѣ это ученіе никогда не имѣло состоятельности, имѣло лишь призрачное существованіе, и многіе натуралисты, какъ Бэръ, Кёлликеръ и пр. отъ начала видѣли это. Очевидно, въ теченіе тридцати лѣтъ, прошедшихъ съ тѣхъ поръ, было наговорено не только много невѣрнаго, путающаго и въ дѣлу не идущаго, но и не разъ были высказаны возраженія, основательно и вполне опровергающія это ученіе. Но полную критику, исходящую изъ точной постановки ученія, строго логически разбирающую всѣ его основанія, всѣ его выводы, всѣ области фактовъ, на которыя оно думало опираться, написалъ Н. Я. Данилевскій. „Дарвинизмъ“, въ силу этого, есть книга *руководящая* для изученія вопроса и для всѣхъ дальнѣйшихъ о немъ разсужденій. Прочитавши эту книгу, уже можно съ полной твердостію судить о дѣлѣ и невозможно питать никакого сомнѣнія въ несостоятельности знаменитой теоріи. Рано или поздно, но ученый міръ долженъ будетъ это признать и, мы увѣрены, причислить „Дарвинизмъ“ къ самымъ рѣдкимъ явленіямъ всемірной печати.

9 марта 1889 г.

VII.

СПОРЪ ИЗЪ-ЗА КНИГЪ Н. Я. ДАНИЛЕВСКАГО.

(Русск. Вѣстн. 1889, дек.).

I.

Общій ходъ и характеръ спора.

Послѣ долгаго молчанія, г. Тимирязевъ на мою статью „*Вседашняя ошибка дарвинистовъ*“ (Русск. Вѣстн. 1887 г., ноябрь и декабрь) отвѣчалъ статью „*Безсильная злоба антидарвиниста*“ (Русск. Мысль, 1889 г., май, іюнь и іюль). Въ этой обширной статьѣ г. Тимирязевъ поставилъ себѣ одною изъ главныхъ цѣлей подробно указать на все, что онъ нашелъ обиднаго для себя въ моей статьѣ, а также разъяснить, что онъ понесъ всѣ эти обиды незаслуженно, слѣдовательно, по одной лишь моей ужасной „зlobѣ“. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ выражается въ самомъ концѣ, въ видѣ общей характеристики: „вся статья г. Страхова“ — „переполнена потоками брани и ничѣмъ не вызванныхъ оскорбленій“ (іюль, стр. 72). Подумайте только, читатель: *потоки брани и оскорбленій!*

Разумѣется, мой противникъ не остался въ долгу; онъ

постарался совершенно засыпать меня „бранью и оскорбленіями“, тщательно доказывая, что я этого именно и стою.

Что же мнѣ теперь дѣлать? Обвинить г. Тимирязева въ непомѣрной обидчивости и горячности? Доказывать читателямъ, что я ничуть не дышу злобой и веду дѣло добросовѣстно, а что мой противникъ — истинный злодѣй, неистовый человѣкъ, который въ ослѣпленіи ярости все путаетъ и Богъ знаетъ въ чемъ обвиняетъ меня?

Какая жалость! Наша полемика, повидимому, грозитъ перейти въ простую личную перебранку. Не того я ожидалъ, и не того имѣютъ право требовать отъ насъ читатели. Вопросы, поставленные на рѣшеніе книгами Н. Я. Данилевскаго — „Россія и Европа“ и „Дарвинизмъ“, такъ важны, что въ нихъ не можетъ оставаться равнодушнымъ ни одинъ русскій образованный человѣкъ. Полемика изъ-за этихъ книгъ была неизбежна; но какимъ же образомъ случилось, что она пришла теперь въ такое плачевнѣйшее состояніе? Какой грѣхъ насъ попуталъ? Мнѣ кажется, что объ этомъ стоитъ немножко подумать.

Вспоминая теперь весь ходъ этого дѣла, я вижу, что оно съ самаго начала пошло неправильно. Уже первыя мои ожиданія были жестоко обмануты. Когда, вотъ уже скоро три года тому назадъ, я узналъ, что противъ „Дарвинизма“ читалъ лекцію г. Тимирязевъ, а также, когда потомъ Вл. С. Соловьевъ извѣстилъ меня, что онъ пишетъ противъ „Россіи и Европы“, то первое чувство мое, и въ томъ и въ другомъ случаѣ, была наивная радость, что дорогая мнѣ книга встрѣтила такого достойнаго противника, имѣющаго право и возможность серьезно вести это дѣло. Но потомъ мнѣ пришлось горько пожалѣть. Оба противника, какъ оказалось, сочли ниже

своего достоинства разсматривать вопросы, поставленные Н. Я. Данилевскимъ. Совершенно не соглашаясь съ его взглядами, они опровергали его очень просто, — доказывали, что онъ вовсе не имѣетъ права судить о предметахъ, о которыхъ писалъ. А именно, одинъ изъ критиковъ доказывалъ „малое знакомство Данилевскаго съ данными исторіи и филологіи“, а другой настаивалъ на его „дилеттантизмѣ“ въ естественныхъ наукахъ, и особенно на недостаткѣ логики.

Такимъ образомъ, уже съ начала спора, можно сказать, устранялись самые вопросы, поставленные на обсужденіе. Критики вовсе и не думали исполнить обязанностей, на которыя имъ указывало содержаніе опровергаемыхъ книгъ. „Россія и Европа“ есть взглядъ на всемірную исторію, основанный на началѣ національности. Слѣдовательно, для опроверженія, критикъ обязанъ былъ разсмотрѣть, какую роль играетъ національность во всемірной исторіи, и показать, что это *не та* роль, какую приписываетъ этому началу авторъ книги. „Дарвинизмъ“ есть полное и связное опроверженіе теоріи Дарвина. Слѣдовательно, критикъ, возставшій на эту книгу, обязанъ былъ вообще разсмотрѣть, какую силу имѣютъ возраженія, до сихъ поръ возбуждаемая теоріею Дарвина, и показать, что они не имѣютъ *той* рѣшительной силы, какую имъ приписываетъ Данилевскій. Вотъ тѣ задачи, которыя предстояли опровергателямъ, и безъ выполненія которыхъ не можетъ выйти никакого дѣйствительнаго опроверженія. Если бы дѣло шло даже о слабыхъ книгахъ, дурно развивающихъ свои основныя мысли, то и это не измѣняло бы задачи ихъ противниковъ. Критикъ, желающій опровергнуть какуюнибудь мысль, долженъ во всякомъ случаѣ разсматривать ее въ

ея строгомъ и полномъ видѣ, и никакъ не имѣетъ права отвергать ее на основаніи только промаховъ и недостатковъ, съ какими она явилась у автора. Но книги Н. Я. Данилевскаго не слабыя, а превосходныя; онѣ такъ глубоко обдуманы, такъ ясно и отчетливо развиваютъ мысли, положенныя въ ихъ основаніе, что нельзя не подивиться тому пренебреженію, какое показали въ этимъ книгамъ критики. Ни г. Тимирязевъ, ни г. Соловьевъ не увидѣли для себя въ нихъ серіозной задачи; они посмотрѣли на нихъ высокомерно, почти какъ на какія-то дикія явленія, какъ на созданія нашего невѣжества и отсталости отъ Европы, достойныя развѣ только негодованія, а не опроверженія *).

На ихъ громкія статьи я постарался возразить какъ можно тверже и обстоятельнѣе. Но тогда вышло еще хуже. И г. Соловьевъ, и г. Тимирязевъ оба отвѣчали мнѣ съ непомѣрною горячностію, но оба при этомъ уже

*) Какъ на примѣръ болѣе правильнаго отношенія, можно съ удовольствіемъ указать на статью г. Карѣева—*Теорія культурно-историческихъ типовъ* (*Русск. Мысль*, 1889 г., сент.). Мы говоримъ не о достоинствахъ содержанія, а о правильности общаго приема статьи. Тутъ, по крайней мѣрѣ, авторъ взглядамъ Данилевскаго ясно противопоставляетъ свои собственные взгляды на ходъ исторіи. Въ заключеніе онъ, однако же, признаетъ, что, вообще, «Данилевскій совершенно основательно вооружился противъ обычнаго построенія всемірной исторіи и высказалъ по этому поводу много вѣрныхъ замѣчаній» (стр. 19), и что «теорія культурно-историческихъ типовъ не лишена, конечно, многихъ вѣрныхъ мыслей» (стр. 32). Сужденіе критика, полагаемъ, было бы, еще благосклоннѣе, еслибы онъ пересталъ подозрѣвать вездѣ «субъективность» Данилевскаго и не смотрѣлъ бы съ такимъ ужасомъ на всякое «славянофилство». Не могу не пожалѣть также, что авторъ не обратилъ вниманія на мои статьи «Наша культура и всемірное единство» и «Послѣдній отвѣтъ г. Вл. Соловьеву», гдѣ уже устранены, какъ мнѣ думается, инныя возраженія, выставляемыя имъ теперь. Остальныя также, надѣюсь, возможно или устранить или согласовать съ теоріею типовъ. Все дѣло зависитъ отъ болѣе точной и ясной постановки понятій, и правильный споръ можетъ только содѣйствовать такой постановкѣ.

совершенно ушли отъ предмета спора, то есть отъ книгъ Данилевскаго. Они, очевидно, отвѣчали только мнѣ и защищали только себя. Они остановились на порицаніяхъ, которыя мнѣ слышались, или которыя мнѣ дѣйствительно высказаны въ моихъ статьяхъ; они доказывали ложность и неосновательность этихъ порицаній, а вмѣстѣ анализировали нѣкоторые нравственные мои недостатки, напримѣръ, *равнодушіе къ истинѣ*, *злобу*, *беззастѣнчивость* и т. д. О книгахъ же Данилевскаго упоминалось лишь вскользь и мимоходомъ.

Между тѣмъ, по совѣсти, статьи мои своимъ содержаніемъ могли дать поводъ къ лучшимъ отвѣтамъ. Въ статьѣ „Всегдашняя ошибка“ я старался дать читателямъ законченное и связное опроверженіе теоріи Дарвина, сдѣланное по руководству книги Н. Я. Данилевскаго. Статья „Наша культура“ есть также связный и законченный комментарий на книгу „Россія и Европа“. Худо или хорошо это выполнено—другой вопросъ; но я воспользовался возраженіями, чтобы разъяснять самую существенную сторону дѣла, и потому имѣлъ право надеяться, что мои противники тоже не станутъ отступать отъ предмета.

Но вотъ мнѣ и скажутъ: зачѣмъ же вы вели полемику въ такомъ горячемъ тонѣ, что ваши противники раздражились и забыли предметъ спора? Не вы ли сами испортили дѣло? Этотъ упрекъ, я думаю, не вовсе лишенъ основанія; постараюсь хоть сколько нибудь извинить себя передъ читателями. Такіе случаи, какъ лекція г. Тимирязева и переходъ г. Вл. Соловьева въ западническій лагерь, не могли не возбудить во мнѣ большаго безпокойства и огорченія. Чтò такое была лекція г. Тимирязева? Онъ, въ моей статьѣ, той самой статьѣ, ко-

торую иные ставили даже въ примѣръ вѣжливой полемики, открылъ цѣлые „потоки брани и оскорбленій“. Изъ этого читатели могутъ только видѣть, какъ обидны бываютъ возраженія, какъ больно можетъ дѣйствовать даже легкая иронія, или простое возвышеніе тона. Но если такъ, то вѣдь лекцію г. Тимирязева мы имѣемъ право назвать неизмѣримо болѣе бранчивою и оскорбительною, чѣмъ моя статья. Эта лекція была рѣзкимъ и презрительнымъ порицаніемъ. И противъ кого оно было направлено? Г. Тимирязевъ, въ послѣдней своей статьѣ, извиняетъ „страстность“ своей полемики тѣмъ, что онъ защищалъ Дарвина, котораго „личность не была ему вполне чуждой“ (іюль, стр. 73). Но если такъ, то мое огорченіе за Данилевскаго имѣло въ тысячу разъ больше основаній. Развѣ Дарвинъ подвергался какой нибудь опасности? Развѣ нужны были какія нибудь усилія, чтобы спасти его книги и теоріи отъ гибели и забвенія? Между тѣмъ, книгѣ Данилевскаго грозила именно эта крайняя бѣда; могло случиться, что превосходный трудъ будетъ оставленъ вовсе безъ вниманія, пройдетъ незамѣченнымъ; лекція г. Тимирязева, очевидно, внушала слушателямъ, что этою книгою ни мало не стоитъ заниматься. Тутъ было изъ-за чего бояться и волноваться.

Нѣчто подобное испыталъ я и при появленіи статьи г. Вл. Соловьева, которое какъ разъ совпало съ выходомъ новаго изданія „Россіи и Европы“. И для этой книги, хотя уже выдержавшей мучительный пятнадцатилѣтній искусь перваго изданія, тоже была нѣкоторая опасность. Статья г. Вл. Соловьева была тоже (если употреблять терминологию г. Тимирязева) „потокѣмъ брани и оскорбленій“. А то обстоятельство, что при этомъ случаѣ авторъ статьи примкнулъ къ западническому ла-

герю, удесятѣряло мое огорченіе. Мои противники, вѣроятно, меньше бы на меня гнѣвались, если бы сами хорошенько знали, до какой степени выгодно ихъ положеніе въ этомъ лагерѣ, какъ они страшны въ своей позиціи для явленій подобныхъ книгамъ Данилевскаго. И они, конечно, не догадываются, къ чему приводятъ ихъ дѣйствія, когда они изъ этой позиціи съ такою легкостію привлекаютъ къ себѣ общее вниманіе и возбуждаютъ восторги. Но уже многіе годы печальный ходъ этого дѣла для меня ясенъ, и если я былъ рѣзокъ, то потому, что меня какъ будто толкнули въ давно наболѣвшую рану. Когда наши писатели начинаютъ ссылаться на авторитетъ Запада, когда раздаются, какъ у моихъ противниковъ, рѣчи о „лучшихъ умахъ Европы“, о „могучемъ движеніи Европейской науки“, о „гигантахъ научной мысли“, то я не могу слышать этого равнодушно, ибо хорошо понимаю, какъ это дѣйствуетъ. Я знаю, что и юноши, и старики, и женщины вдругъ шалѣютъ отъ этихъ рѣчей, что въ ихъ глазахъ начинается ходить свѣтлый туманъ, что они теряютъ способность что-нибудь ясно видѣть и правильно понимать. Тогда ихъ можно увѣрить, что на Западѣ скоро, очень скоро, завтра же, сбудутся самыя лучшія чаянія нашего сердца и разрѣшатся самыя высокіе запросы нашего ума. О Россіи же, если вы скажете, что ея исторія не имѣетъ никакого содержанія, что ея религія была и есть одно суевѣріе, что у насъ нѣтъ ни единого здраваго общественнаго начала, что русскіе даже не способны имѣть умъ и совѣсть, а всегда имѣли и теперь имѣютъ одну подлость, — то такія рѣчи будутъ приняты съ истиннымъ восторгомъ.

Вотъ почему, писатели, вздумавшіе играть на этихъ

струнахъ, такъ глубоко меня возмущаютъ. Дѣло тутъ не въ „узкомъ патріотизмѣ“, а въ жестокѣмъ вредѣ, который происходитъ отъ этого ошалѣнія, отъ дѣйствительнаго ослѣпленія, находящаго на умы. Развѣ эти западники и всѣ эти западничающіе имѣютъ ясныя понятія о Западѣ? Да обыкновенно они пропускаютъ мимо лучшія его сокровища, и для нихъ бываетъ чуждо самое великое и глубокое, чего тамъ достигла душа человѣческая. Они вѣдь бросаются лишь на то, что тамъ популярно, на репутаціи, созданныя безъ умолку кричащею и какъ море разливающеюся прессою, которая живетъ лишь настоящею минутою, все преувеличиваетъ и ни во что не углубляется. Они безусловно вѣрятъ въ прогрессъ Запада, и, хватаясь за то, что тамъ шумитъ и проповѣдывается въ послѣднюю минуту, ничего не знаютъ о смыслѣ этихъ явленій, ибо не знаютъ долгой и многообразной жизни, которая ихъ породила. Такъ и выходитъ, что они не умѣютъ различать тамъ дурнаго отъ хорошаго и принимаютъ паденіе за успѣхъ, остановку за развитіе, болѣзнь и гніеніе за жизненное процвѣтаніе. Чтобы понимать и цѣнить Западъ, нуженъ большой и долгій трудъ, и, конечно, прежде всего не нужно быть западникомъ. Не думаетъ ли г. Вл. Соловьевъ, что своими статьями „Изъ исторіи русскаго сознанія“, въ которыхъ онъ преимущественно доказываетъ, что нивакого „сознанія“ у насъ не было, онъ возбудитъ вниманіе читателей къ религіозной жизни Запада? Если такъ, то, по моему мнѣнію, онъ очень ошибается; онъ этими статьями только плодитъ поклонниковъ Конта и Спенсера.

Ослѣпленіе, производимое западничествомъ, еще плачевнѣе, когда дѣло идетъ о явленіяхъ русской умствен-

ной жизни. Эти явленія не возбуждаютъ у насъ и сотовъ доли того вниманія, каковымъ окружены иностранцы. Когда у насъ кто-нибудь желаетъ блистать ученостію, то разукрашиваетъ свою книгу или статью всякими иностранными именами, между которыми и посредственности идутъ за знаменитостей, но ни за что не сошлется на русскую книгу. Русскому ученому, чтобы пріобрѣсти извѣстность, нужно печататься на иностранныхъ языкахъ, ѣхать въ Парижъ или Берлинъ и тамъ добывать себѣ признаніе *). Нашу изящную литературу мы стали какъ слѣдуетъ уважать только съ тѣхъ поръ, какъ ее превозносятъ французы, горячо желающіе союза съ Россіею, и потому принявшіеся читать переводы съ русскаго. А если дѣло идетъ о мыслителяхъ, то самобытные и новые взгляды наша просвѣщенная публика встрѣчаетъ не однимъ невниманіемъ, а прямо гоненіемъ. Нужны десятки лѣтъ, чтобы иная прекрасная книга пробила себѣ дорогу среди людей, воображающихъ, что они умѣютъ думать и вести себя по-европейски. Упорное замалчиваніе, брань и насмѣшки, гнусныя обвиненія,—вотъ чѣмъ долгіе годы сопровождается имя писателя, достойнаго чести и вниманія. И русскій юноша, въ порывѣ того неопредѣленнаго энтузіазма, который онъ не знаетъ куда приложить, съ презрѣніемъ отталкиваетъ

*) Хотя я считалъ себя знатокомъ по части нашего идолопоклонства, но, по случаю настоящаго спора, обнаружился фактъ, который былъ для меня неожиданностью и до сихъ поръ продолжаетъ удивлять меня. Оказалось, что у насъ существуетъ такое «благоговѣніе» къ Дарвину, при которомъ тонъ книги Н. Я. Данилевскаго выходитъ неприличнымъ, оскорбительнымъ. Въ этомъ отношеніи г. Фаминцынъ согласенъ съ г. Тимирязевымъ. Что тутъ дѣлать? Тонъ свободнаго чловека, который спокойно и противорѣчить, и шутить, и соглашается, всегда составляетъ великую обиду для суевѣрнаго поклоненія.

книгу, въ которой могъ бы найти великое поученіе. Такъ было съ славянофилами, съ ученіемъ которыхъ до сихъ поръ связана дурная слава, созданная ему безконечными нападками. Такъ было съ Аполлономъ Григорьевымъ, такъ было и съ книгою „Россія и Европа“. Нужна бодрость и вѣра, чтобы писать при такомъ порядкѣ дѣлъ. Но проходятъ годы, и терпѣливый писатель, наконецъ, умираетъ; не грустно ли подумать, что до самаго конца онъ ни разу не былъ утѣшенъ отрадной мыслью, что на его любимые взгляды и долгіе труды обращено общее вниманіе? Такъ умеръ Н. Я. Данилевскій.

Не простятъ ли мнѣ теперь читатели, что на лекцію г. Тимирязева и на статью г. Вл. Соловьева я былъ не въ силахъ отвѣчать благодушными разсужденіями, или же такимъ хладнокровнымъ порицаніемъ, которое было бы несравненно сильнѣе всякой горячности?

II.

Отвѣчать мнѣ не на что, какъ я уже сказалъ, потому что мои противники ушли отъ предмета спора *). Но, можетъ быть, читатель пожелаетъ узнать, какъ же они сдѣлали это уклоненіе, и какъ они меня бранятъ? Вопросы эти не очень важные, и я постараюсь быть краткимъ.

Въ отвѣтной своей статьѣ, г. Вл. Соловьевъ, среди другихъ обвиненій и порицаній, высказалъ такое: „о са-

*) Прошу припомнить, что и въ статьѣ «Послѣдній отвѣтъ» я, собственно, не отвѣчалъ г. Вл. Соловьеву, а воспользовался его статьею только для того, чтобы разяснить нѣкоторыя недоразумѣнія относительно книги «Россія и Европа».

мыхъ существенныхъ моихъ возраженіяхъ искусный критикъ старательно *умолчалъ*“ (*Вѣстникъ Евр.* 1889, янв., стр. 358). Казалось бы, это есть самый существенный упрекъ моей статьѣ. Но, такъ какъ мой противникъ высказалъ его мимоходомъ, не пояснилъ ни единымъ словомъ и больше къ нему не возвращался, то спорить противъ такого голословнаго заявленія было невозможно; да я и не могъ догадаться, о чемъ идетъ рѣчь. Мало ли что можетъ показаться существеннымъ? Опровергаемому автору естественно думать, что то, что у него опровергнуто, не важно, а то, что осталось нетронутымъ, то-то и есть самое главное, что злодѣй-противникъ нарочно пропустилъ лучшіе перлы и алмазы.

Въ „Послѣднемъ отвѣтѣ“ я и не говорилъ объ этомъ упрекѣ, вообще же заявилъ, что „всѣ мои доказательства остаются въ полной силѣ“. Тогда мой противникъ не сталъ съ этимъ спорить, но вспомнилъ свой главный аргументъ. Въ маленькой статьѣ „Письмо въ редакцію“ (*Вѣстн. Евр.*, мартъ) онъ говоритъ: „Н. Н. Страховъ никакъ не могъ меня опровергнуть, по той простой причинѣ, что о главныхъ моихъ возраженіяхъ онъ даже вовсе не упоминаетъ“.

Казалось бы, тутъ уже непременно слѣдовало бы пояснить, что это за главные возраженія, и почему они главные, а не тѣ, которыя я разбиралъ. Но вмѣсто того, мой противникъ вдругъ заявляетъ, что „разрѣшить такое противорѣчіе могутъ, конечно, только читатели“, а что „ему остается“ одно средство,—указать мѣста, гдѣ находятся у него главные возраженія.—И что же онъ указываетъ? Цифры разныхъ страницъ своей статьи, всего до десяти страницъ. Поставивши рядъ этихъ цифръ, онъ потомъ рѣшительно заключаетъ: „Затѣмъ уже было бы

совершенно излишне возвращаться къ тому, что Н. Н. Страховъ называетъ своими доказательствами“.

Вотъ какъ просто разрѣшилось это дѣло. Удивительно только, почему онъ меня не посрамилъ этимъ съ самаго начала. Если бы точно мои опроверженія не касались никакихъ главныхъ пунктовъ, то этимъ самымъ статья моя была бы сразу подрѣзана подъ корень.

Но только это вѣдь нужно доказывать, а не утверждать голословно. Ну что теперь будутъ дѣлать бѣдные читатели? Имъ вдругъ сказали: почитайте-ка такія-то десять страницъ, да сравните ихъ съ остальными восьмидесятью, и съ тѣмъ, что пишетъ мой противникъ, да взвѣсьте все хорошенько; тогда вы и увидите, что всего важнѣе въ нашемъ спорѣ, и какъ не важны пункты, которые мой противникъ принялъ за главные; этихъ указаній совершенно довольно, чтобы вамъ убѣдиться въ моей правотѣ.

Вотъ какимъ образомъ г. Вл. Соловьевъ ушелъ отъ существеннаго предмета полемики, голословно заявляя, что ему не нужно ничего опровергать. Голословныя утвержденія всегда позволительны, и ихъ избѣжать невозможно. Нехорошо только одно, — когда они признаются за нѣчто вполне доказанное и когда никакихъ другихъ основаній для дальнѣйшаго сужденія не имѣется. Такъ и у моего противника нѣтъ другихъ основаній на то, что онъ, будто бы, „доказалъ историческую и логическую неосновательность теоріи культурныхъ типовъ“. (тамъ же, стр. 432).

III.

Г. Тимирязевъ не принимаетъ ни одного моего аргумента, то есть ни одного изъ нихъ онъ не признаетъ за серьезное возраженіе, которое стоило бы серьезно опровергать. Всю книгу Данилевскаго „Дарвинизмъ“ онъ считаетъ основанною „на двухъ-трехъ жалкихъ софизмахъ“ (май, стр. 18). Словомъ, онъ ведетъ дѣло такъ, какъ будто и не можетъ быть никакихъ достойныхъ вниманія возраженій противъ теоріи Дарвина, какъ будто возражать противъ нея то же, что, на примѣръ, пытаться опровергать систему Коперника. Поэтому, въ моихъ разсужденіяхъ онъ находитъ лишь „софистическую эристику“, „діалектическіе фокусы“, „гипнотизированіе читателей“, и т. п.

Мнѣ слѣдовало бы теперь, чтобы защищаться, опять излагать и разъяснить свои возраженія. Считаю это совершенно излишнимъ, такъ какъ полагаю, что изложилъ ихъ съ достаточною ясностію, и такъ какъ мой противникъ, который призналъ мои вопросы какъ бы вѣльными и потому не пошелъ на нихъ, тѣмъ самымъ отнялъ у себя возможность сказать что-нибудь новое въ пользу Дарвиновой теоріи, и повторяетъ лишь то, что уже говорилъ.

Но въ его нападеніяхъ есть еще особая черта, на которой нельзя не остановиться. Онъ часто прямо объявляетъ, или что онъ меня не понимаетъ, или что не видитъ никакой связи между моими сужденіями, а иногда онъ даже отказывается ихъ разбирать. Такъ, говоря о главѣ, носящей названіе „Стереотипъ“, онъ пишетъ: „для чего понадобилась г. Страхову эта аллегорическая

личность, — такъ для меня и осталось *непонятнымъ*“ (май, стр. 33). Въ силу этого, конечно, и вся моя глава пропала даромъ. Между тѣмъ, я думаю, всякому знакомы такія выраженія, что наследственность *стереотипно* повторяетъ родовые и видовые признаки, и т. п.

Далѣе мнѣ дѣлается упрекъ, что я привожу „выписки изъ Негели, къ *дѣлу не относящіяся*, лишь бы въ нихъ были выраженія неодобрительныя для дарвинизма“ (май, стр. 38). Не стану вновь указывать, къ какому дѣлу относятся эти выписки; повторю только, что Негели мнѣ вовсе не нуженъ былъ какъ авторитетъ, такъ что напрасно г. Тимирязевъ потратилъ столько доказательствъ, чтобы понизить ученое значеніе Негели; мнѣ нуженъ былъ только человѣкъ, котораго нельзя было бы назвать „дилеттантомъ“ съ высоты какого нибудь другаго авторитета.

Нѣсколько далѣе, мой противникъ вовсе отказывается отъ разбора моей главы „Скращиваніе“. Онъ посвятилъ ей, правда, больше двухъ страницъ, но на второй страницѣ говоритъ: „не стану утомлять читателя *разоблаченіемъ всѣхъ изворотовъ*, въ какимъ прибѣгаетъ г. Страховъ для того, чтобы спасти безнадежную аргументацію Данилевскаго“ (май, стр. 46). Между тѣмъ, это самая важная глава въ нашемъ спорѣ; ибо, тутъ излагается *теорія ограниченаго скращиванія*, которую придумалъ г. Тимирязевъ для защиты Дарвина, тутъ объясняется законъ, по которому дѣйствуетъ въ этомъ вопросѣ скращиваніе, тутъ показывается взаимное противорѣчіе предположеній, которыя сдѣлалъ г. Тимирязевъ въ свою пользу. Эта глава направлена противъ самаго центра его аргументаціи, между тѣмъ она не разобрана, а только голословно названа *утомительными изворотами*.

Черезъ нѣсколько страницъ, опять прямое сознаніе въ непониманіи. „Приводится“, сказано, „рядъ выписокъ изъ Негели, изъ которыхъ читателю понятно только то, что Негели *въ чемъ-то* несогласенъ съ Дарвиномъ, но въ чемъ именно и на какомъ основаніи, изъ этихъ глухихъ отрывочныхъ выписокъ, конечно, *ничего понять невозможно*“ (май, стр. 51).

Затѣмъ, укажу на слѣдующія мѣста: „г. Страховъ на полустраницѣ развиваетъ какую-то *темную теорію*“ (іюнь, стр. 67); „если не могу отвѣтить на спорный вопросъ, то поговорю о *другомъ, рядомъ стоящемъ*, — разсуждаетъ онъ“ (стр. 70); „онъ отвлекаетъ вниманіе читателя *совершенно въ сторону*“ (стр. 78); „при помощи разговора о совершенно *къ дѣлу не относящихся побочных обстоятельствахъ* онъ увильнулъ отъ сущности вопроса“ (стр. 79); „въ *безконечно-запутанномъ изложеніи*, извивающемся и ускользающемъ изъ рукъ, какъ ужъ, г. Страховъ пытается“ и пр. (іюль, стр. 70) *).

Приведу еще слѣдующую отговорку: „г. Страховъ укоряетъ меня, зачѣмъ я не проникся какимъ-то сравненіемъ Данилевскаго съ игрою въ банкъ; долженъ покаяться, что все, касающееся картъ, для меня тарабарская грамота, да и между знакомыми не нашлось свѣдущихъ людей по этой части“ (стр. 79). На этомъ основаніи г. Тимирязевъ отказывается вникать въ соображеніе вѣроятностей, весьма важное для дѣла.

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ, а еще яснѣе изъ полного текста, откуда онѣ взяты, видно, что, дѣйствительно, мой противникъ часто или вовсе не входитъ въ смыслъ моихъ разсужденій, или теряетъ ихъ связь и находитъ въ нихъ одну путаницу. Поэтому очень естественно,

что въ концѣ онъ о моей статьѣ произноситъ слѣдующій общій приговоръ:

„Такъ или иначе, но по всей статьѣ сквозитъ одинъ „пріемъ, одно неизмѣнное стремленіе: запутать, затемнить дѣло въ глазахъ читателя, лишить читателя возможности самому разобратъ, составить себѣ ясное „понятіе о предметѣ спора“ (іюль, стр. 77).

И такъ, въ моей статьѣ господствуетъ темнота, путаница и всякое другое препятствіе къ ясному понятію о дѣлѣ. Приговоръ жестокій, но вѣдь онъ допускаетъ двойное истолкованіе. Когда мы невнимательны, или когда очень заняты чѣмъ-нибудь другимъ, то самыя ясныя рѣчи бываютъ для насъ невразумительны, и аргументъ, требующій прочтенія двухъ страницъ, кажется только несноснымъ препятствіемъ для дѣла. Вообще, есть много различныхъ причинъ для непониманія, а не всегда одинъ авторъ виноватъ. Мнѣ естественно думать, что если г. Тимирязевъ меня не понялъ, то виноватъ не я, а онъ; и далѣе, что если онъ меня не понялъ, то и не могъ опровергнуть. Мнѣ позволительно утѣшаться мыслью, что нашлись и найдутся читатели болѣе внимательные и снисходительные, чѣмъ мой критикъ, и что они поймутъ мои разсужденія, поймутъ и то, что значитъ у меня *стереотипъ*, для чего приводятся выписки изъ Негели, что содержится въ „утомительныхъ изворотахъ“, и даже, какое соображеніе поясняется посредствомъ трудной игры въ банкъ. Тогда окажется, что ссыла на непониманіе есть оружіе, которымъ гораздо легче поранить себя, чѣмъ противника.

IV.

Какъ меня бранятъ.

Мои противники, конечно, больше бы вникали въ мои разсужденія и серіозно входили бы со мною въ разбирательство, если бы они не пришли быстро къ мысли, что дѣло ведется мною недобросовѣстно. Обвинилъ меня въ недобросовѣстности первый Вл. С. Соловьевъ, а потомъ, отчасти ссылаясь на него, г. Тимирязевъ сталъ уже распространять это обвиненіе почти на каждое мое слово. Въ моей статьѣ, по его мнѣнію, все фальшиво и злоумышленно. Онъ нигдѣ не хочетъ видѣть выраженія моей искренней мысли, не признаетъ за мною даже искренняго заблужденія. Въ одномъ мѣстѣ, онъ пишетъ обо мнѣ: „понимать-то онъ понимаетъ, въ чемъ дѣло, но можетъ отвѣчать такъ, какъ будто и не понялъ“ (іюнь, стр. 79).

Какое странное явленіе! Съ какой стати сталъ бы я лгать и обманывать, завѣдомо строить софизмы, умышленно искажать дѣло? Чего же это мнѣ такъ захотѣлось? Развѣ не было бы черезъ чуръ глупо прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, чтобы блеснуть передъ публикою, или чтобы защищать дорогую мнѣ память покойнаго писателя?

И неужели такія обвиненія можно произносить такъ легко, не задумываясь, какъ будто это самое обыкновенное дѣло? Довольно ли о томъ подумали мои противники? Этотъ избытокъ подозрительности, самъ по себѣ, вѣдь не говоритъ еще въ пользу обвинителей, не доказываетъ ихъ безупречной чистоты и правдивости.

Да и основательности, или того, что называется ученою

добросовѣстностію, тутъ бываетъ мало. Спорящіе часто забываютъ, что доказывать эти обвиненія чрезвычайно трудно, и увлекаются тѣмъ, что ихъ легко составлять. Рецептъ для составленія обвиненій въ недобросовѣстности слѣдующій: если, по вашему мнѣнію, вы нашли что-нибудь сказать въ вашу пользу, или во вредъ противника, то утверждайте, что это самое вашъ противникъ хорошо зналъ, но притворяется незнающимъ, что всѣ свои собственные противорѣчія и нелѣпости онъ отлично видитъ, но нарочно выдаетъ ихъ за правильныя разсужденія, что онъ прекрасно понимаетъ силу и достоинство вашихъ доводовъ, но именно потому самые лучшіе нарочно пропустилъ, а другіе нарочно извратилъ или подмѣнилъ. Словомъ, не говорите, что онъ сдѣлалъ *ошибку*, а утверждайте, что онъ сдѣлалъ *обманъ*.

Подобными рѣчами можно безъ труда тѣшить свое недоброжелательство и раздраженіе; но обыкновенно онѣ доказываютъ только крайнюю неспособность войти въ мысли противника, стать на его точку зрѣнія. Когда мы вникаемъ въ ошибку и раскрываемъ ее, то это полезно, и мы тутъ опираемся на логику и факты. Но, вообразивъ, что передъ нами обманъ, мы почти безъ исключенія ничѣмъ этого не можемъ доказать, кромѣ нашего подозрѣнія и желанія видѣть противника въ дурномъ свѣтѣ, а между тѣмъ мы перестаемъ слѣдить за нитью заблужденія. Гораздо выгоднѣе для дѣла давать рѣчамъ противника самый большой вѣсъ, какой только въ нихъ можетъ вмѣститься.

Единственная польза, которую я извлекъ изъ нападокъ г. Тимирязева на мою недобросовѣстность, заключается въ томъ, что узналъ объ одной *опискѣ*, мною сдѣланной. Дѣлая выдержку изъ его статьи, я вмѣсто

„борьба съ условіями“ поставилъ „борьба за существованіе“. Противникъ мой видитъ тутъ не описку, а умышленное искаженіе его текста и подробно разсматриваетъ, въ какихъ нелѣпостяхъ я могъ бы его обличать, приписавъ ему одно слово вмѣсто другаго. По истинѣ, напрасный трудъ! Положимъ, и могъ бы, да вѣдь я же не обличалъ, а продолжалъ разсуждать такъ, какъ будто въ выдержкѣ стоитъ подлинное слово. Еслибы у моего противника не было такого желанія размышлять о моихъ *возможныхъ* злодѣйствахъ, то онъ легко бы могъ понять связь моей рѣчи, и тогда убѣдился бы въ моей *дѣйствительной* невинности. Когда буду перепечатывать свою статью, то я просто поправлю свою описку, не измѣняя въ остальномъ ни одного слова *).

Не въ видѣ похвалы, а только ради подтвержденія своихъ мыслей, прибавлю одно: во всѣхъ случаяхъ, когда мнѣ приходилось вести полемику, самъ я слѣдовалъ тѣмъ правиламъ, которыя теперь изложилъ; я не упрекалъ своихъ противниковъ ни въ непонятности, ни въ недобросовѣстности. При такихъ условіяхъ, я и считалъ полемику дѣломъ полезнымъ, хотя и труднымъ въ его истинномъ видѣ.

V.

Опроверженіе теоріи изъ ея защиты.

Для заключенія, сдѣлаю нѣсколько замѣчаній по существу дѣла, хотя это будетъ лишь повтореніе уже высказанныхъ доводовъ.

*) Это исполнено на стр. 492, строка 9.

Какъ видно изъ послѣдней статьи г. Тимирязева, онъ продолжаетъ настаивать на нѣкоторыхъ общихъ положеніяхъ, на которыхъ основалъ свою защиту Дарвиновой теоріи. Онъ утверждаетъ:

1) Что теорія образованія видовъ посредствомъ подбора есть „необходимый логическій выводъ изъ наблюдаемой дѣйствительности“ (іюль, стр. 76).

2) Что никакое индивидуальное измѣненіе не можетъ исчезнуть безъ слѣда въ потомствѣ измѣнившагося организма, ибо *все сохраняется въ природѣ*.

3) Что Дарвинъ никогда не предполагалъ, что естественный подборъ можетъ сохранить индивидуальныя измѣненія въ ихъ чистомъ видѣ.

4) Что подборомъ сохраняются лишь измѣненныя недѣлимая, явившіяся въ нѣкоторомъ числѣ, напримѣръ, потомки организма, въ которомъ появилось индивидуальное измѣненіе. Такимъ образомъ, скрещиваніе даже необходимо для подбора.

5) Что такъ и Дарвинъ всегда предполагалъ, что измѣненія, подлежащія подбору, бываютъ не одиночныя, а появляются въ нѣкоторомъ числѣ. Поэтому напрасно говорятъ, что онъ сперва предполагалъ одиночныя, а потомъ принужденъ былъ отступить отъ этого предположенія.

6) Что „скрещиванію въ природѣ владется весьма скоро предѣлъ какимъ-то ближе намъ неизвѣстнымъ, но не подлежащимъ сомнѣнію свойствомъ организмовъ“ (май, стр. 40). Это открылъ Негели, и изъ этого слѣдуетъ, что тутъ новая форма не будетъ поглощена старою, какъ настаивалъ Данилевскій.

Всѣ эти положенія, по моему сужденію, невѣрны и произвольны, кромѣ послѣдняго, которое справедливо,

но ничего не говоритъ въ пользу Дарвина и противъ Данилевскаго. Ибо, если гдѣ нибудь распаденіе формъ происходитъ въ силу „свойства организмовъ“, то, значитъ, оно не происходитъ отъ борьбы за существованіе, и Данилевскій можетъ оставаться вполне правымъ, доказывая, что, при одной лишь этой борьбѣ, скрещиваніе должно поглощать новыя формы.

Невѣрность и произвольность остальныхъ положеній были уже мною доказываемы во „Всегдашней ошибкѣ“. Повторяя ихъ, авторъ теперь поддерѣпляетъ ихъ развѣ только новыми сравненіями. Такъ, у него возможность Дарвиновскаго процесса происхожденія видовъ приравняется къ возможности образованія рѣкъ изъ атмосферныхъ осадковъ; сохраненіе слѣдовъ индивидуальнаго измѣненія сравнивается съ сохраненіемъ долей соли, растворяемой все въ большемъ и большемъ количествѣ воды; совмѣстное дѣйствіе подбора и скрещиванія поясняется ходомъ ядра, выстрѣленнаго изъ пушки. Всякое сравненіе, какъ извѣстно, есть нѣкоторое обобщеніе и можетъ повести лишь къ нелѣпостямъ, если мы съ полной точностію не обозначимъ, что есть общаго въ сравниваемыхъ явленіяхъ. „По Данилевскому и г. Страхову выходитъ“, пишетъ г. Тимирязевъ, „что, если существуетъ земное притяженіе, то, значитъ, ядро никогда не можетъ вылетѣть изъ пушки“ (май, стр. 48). Можно отвѣчать: конечно не вылетитъ, если пороху очень мало, и конечно, даже вылетѣвши, вернется назадъ въ дуло, если пушка стоитъ вертикально, такъ что порохъ дѣйствовалъ прямо противъ направленія силы тяжести. Сравненія и примѣры, когда дѣлаются безъ точности, ведутъ лишь къ неопредѣленнымъ обобщеніямъ, т. е. ко всегдашней ошибкѣ дарвинистовъ. Тогда и вся теорія представляется „логи-

ческимъ выводомъ“, между тѣмъ какъ она есть лишь безмѣрно невѣроятная возможность. Кстати: этотъ „логическій выводъ“ въ наилучшей его формѣ изложенъ самимъ Данилевскимъ (*Дарвинизмъ*, ч. II, стр. 484 и сл.), для того именно, чтобы показать, чѣмъ обольщала умы теорія Дарвина. Что касается до общаго положенія: „все сохраняется въ природѣ“, то вѣдь ясно, что мы получимъ одну путаницу, если станемъ подводить подъ него все безъ разбора. „Г. Страховъ спрашиваетъ“, пишетъ г. Тимирязевъ, „что же сохраняется (когда мы говоримъ *кровь*)—матерія, или энергія?“ (май, стр. 44). Прошу извиненія, я этого не спрашивалъ, ибо твердо знаю, что и вещество и энергія сохраняются; напротивъ, объ индивидуальномъ измѣненіи (новая кровь) я прямо говорилъ, что если оно могло возникнуть, то можетъ и исчезнуть. Напримѣръ, ростъ животнаго въ послѣдовательныхъ поколѣніяхъ можетъ безъ конца колебаться, то уменьшаясь, то увеличиваясь. Тутъ нечему сохраняться. Это не то, что соль, количество которой не убываетъ отъ раствора, но никогда и не прибываетъ.

Но самое важное въ положеніяхъ г. Тимирязева есть, конечно, новый видъ, въ которомъ является ученіе Дарвина, видъ, названный мною „теоріею ограниченнаго скрещиванія“. Теорія эта построена, очевидно, для избѣжанія затрудненій, указанныхъ Данилевскимъ; но, пытаясь опредѣленнѣе указать кой-какія черты того процесса, который въ общихъ формахъ предполагается Дарвиномъ, она, въ сущности, только обнаруживаетъ невозможность этихъ предположеній.

Главное затрудненіе состояло въ томъ, что въ природѣ никто не дѣлаетъ подбора, какъ его дѣлаютъ въ конюшняхъ и голубятняхъ, и, слѣдовательно, одиночное или

очень малочисленное появившееся измѣненіе должно исчезнуть вслѣдствіе скрещиванья. Чтобы какое нибудь измѣненіе не исчезло, необходимо, чтобы оно появилось въ значительномъ числѣ; между тѣмъ, предполагать, что вдругъ явится много одинаково-измѣненныхъ недѣлимыхъ, нельзя, ибо тогда это не будетъ индивидуальное измѣненіе, изъ котораго должна исходить теорія *). Поэтому г. Тимирязевъ и придумалъ прибѣгнуть къ размноженію. У него дѣло начинается все таки съ единичнаго случая, но потомъ, измѣненное недѣлимое скрещивается, плодится, и тогда подбору подлежитъ уже значительное число измѣненныхъ недѣлимыхъ, и онъ можетъ дать имъ перевѣсъ надъ старою формою.

Но вѣдь это будетъ коренное отступленіе отъ предположеній Дарвина. Въ самомъ дѣлѣ, если мы представимъ, что случилось *крупное* измѣненіе, что оно *упорно* передается наслѣдственностію, что самая малая часть его крови даетъ его потомкамъ перевѣсъ надъ потомками другихъ недѣлимыхъ, да, кромѣ того, уменьшаетъ расположеніе къ скрещиванію, то, конечно, можетъ образоваться новая порода. Но, въ такомъ случаѣ, мы должны будемъ сказать, что она образовалась въ силу какого-то таинственнаго скачка въ развитіи организмовъ, а не тѣмъ процессомъ, какой указывалъ Дарвинъ. Ибо, для Дарвинова процесса нужно, чтобы измѣненія были *мелкія*, чтобы, въ передачѣ наслѣдственностію и въ скрещиваніи, они *ничѣмъ не отличались* отъ другихъ, и чтобы слу-

*) «Никто не станетъ утверждать, что всѣ недѣлимые того же вида отлиты точь-въ-точь по одной и той же формѣ. Эти индивидуальныя отличія имѣютъ для насъ высокую важность, ибо они составляютъ матеріалъ для естественнаго подбора». Darw. Orig. of sp. Chapt. II, вѣ. началъ.

чайная ихъ выгода была *незначительная*. Только въ такомъ случаѣ цѣлесообразность новой формы получалась бы не *вдругъ* (необъяснимымъ образомъ), а выводилась бы изъ накопленія вовсе нецѣлесообразныхъ, притомъ безсвязныхъ и непослѣдовательныхъ измѣненій, то есть получалось бы Дарвиновское объясненіе цѣлесообразности. Такимъ образомъ, г. Тимирязевъ, дѣлая свои новыя предположенія, только показалъ, что это Дарвиновское объясненіе невозможно, что нужно принять прямо *цѣлесообразные скачки*, а иначе скрещиваніе поглотитъ всякій зачатокъ новой формы.

Если же обратимъ вниманіе на факты, въ которыхъ передъ нами совершается что-нибудь подобное выдѣленію новыхъ формъ, то мы всегда найдемъ, что при этомъ происходитъ какой-то другой процессъ, а не Дарвиновскій, въ которомъ, слѣдовательно, если бы онъ былъ и возможенъ, *нѣтъ необходимости*. Такъ, изъ наблюденій Негели слѣдуетъ, что зачинающіяся разновидности разъединяются тѣмъ, что теряютъ способность къ скрещиванію, а вовсе не подборомъ, дающимъ преобладаніе новой формѣ надъ старою. Такъ, когда наблюдаемъ сохраненіе во многихъ поколѣніяхъ какихъ нибудь особенностей (носъ и подбородокъ Бурбоновъ), мы вовсе не замѣчаемъ при этомъ ни борьбы за существованіе, ни ограниченія скрещиванія.

Вообще, всякая опредѣленность, всякій законъ, всякое правило, которые мы откроемъ въ измѣненіяхъ организмовъ, въ ходѣ наслѣдственности, въ явленіяхъ скрещиванія и размноженія, — *упраздняютъ* теорію Дарвина. Ибо, непремѣнное условіе Дарвиновскаго процесса — полная неопредѣленность во всѣхъ этихъ областяхъ, полный хаосъ, изъ котораго потомъ самъ собою родится поря-

Слава Богу, мнѣ можно, кажется, прекратить эту полемику, которую я велъ не по охотѣ, а по нѣкому долгу. Книги Н. Я. Данилевскаго пользуются теперь большимъ и общимъ вниманіемъ; можно, поэтому, надѣяться, что онѣ встрѣтятъ критиковъ и толкователей не только болѣе спокойныхъ, но иногда и болѣе проникательныхъ, чѣмъ мы, участники теперешняго спора. Умственное наслѣдство, оставленное Данилевскимъ, безъ сомнѣнія, принесетъ прекрасные плоды.

9 ноября 1889.

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ КНИЖКИ.







Stanford University Libraries

3 6105 124 447 223



PG

2975

S75

1887

V. 2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR 20 1979

SPRING 1979

DOC APR 24 1989



Stanford University Libraries

3 6105 124 447 223



PG

2975

S75

1887

V. 2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

APR 2 0 1979

SPRING 1979

DOC APR 24 1989

